5
1965

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДЖОН ОЛИВЕР КИЛЛЕНЗ—И тогда мы услышали гром (Продолжение) 105

ПОВЕСТИ

МАРИЯ РУТКЕВИЧ — Граница бытия 11

ПЬЕСЫ

МАКС ФРИШ — Бидерман и поджигатели. Поучительная пьеса без поучения, с эпилогом 52

РАССКАЗЫ

РОБЕРТ ШЕКЛИ — Фантастические рассказы 168

СТИХИ

ГОЛОСА, ЗОВУЩИЕ К МИРУ 3

ВИЛЕМ ЗАВАДА — Стихи разных лет 101

НЕ УБИТЬ, НЕ СЛОМИТЬ НАШЕЙ ВОЛИ!.. (Из немецкой антифашистской поэзии) 163

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ МИРА

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ — Друзьям, в Испанию 10

5

МАЙ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КРИТИКА

П. ТОПЕР — Жизнь против смерти 205

КНИГИ О ВОЙНЕ, КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

М. Игнатов — Пропуск в историю. ◇ Степан Злобин — Славный образ героя. ◇ Е. Ипатов — На стороне правды. ◇ С. Ильинская — Выбор — Сопротивление. ◇ И. Млечина — Дети и отцы. ◇ И. Голик — Против угрозы новой войны. ◇ И. Кулаковская — Больше не должны звучать горны. ◇ С. Беглов — Репортаж с винтовкой в руках. ◇ Александр Исбах — Лицом к огню. 286

ВЬЕТНАМ БОРЮЩИЙСЯ

ПИСЬМО, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА 215

М. ТКАЧЕВ — Литература на линии огня 219

СЛОВО В ЗАЩИТУ МИРА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ (Анкета «Иностранной литературы») 222

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

«НЕТ!» ФАШИЗМУ, «НЕТ!» ВОЙНЕ! (Из работ современных зарубежных художников) 232

АМНИСТИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ФОТОДОКУМЕНТЫ О ЗЛОДЕЯНИЯХ ГИТЛЕРОВЦЕВ 225

МЛАДЕН ОЛЯЧА — Это было в Крагуеваце... (Послесловие Бориса Слуцкого) 247

ГЕЙНЦ АБОШ — Преступление без возмездия 251

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР КЛЮГЕ — Описание одной битвы (Предисловие Константина Симонова) 255

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

КНИГИ М. А. ШОЛОХОВА ЗА РУБЕЖОМ — СЕГОДНЯ 303

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 304

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 319

Обложка работы художника В. Ф. ЛАКТИОНОВА.

ГОЛОСА, ЗОВУЩИЕ К МИРУ

ЭДУАРДО ГАЛЬЕГОС МАНСЕРА

Луна-партизанка

Товарищам, сражающимся в горах

Луна-подруга, ты, что считаешь звезды на небесных пастбищах, спустись, пересчитай партизан в горах Венесуэлы. Поищи их, луна-подруга, среди скал и в гротах нашей сьерры. Взгляни, каковы герои у нас!

Если холодно им, дай огня твоего немного, чтоб могли они костры разжечь, обогреться.

Если голодно им, испеки лепешек на жаровне твоей, угости их.

Если пить захотят, заставь облака, что ведут хоровод, на вершины гор лунным дождем пролиться.

Если жандармский пес выслеживает их, укажи им лучом твоим в Кордильерах потаенные тропы. А окружил их враг, так ослепи убийцу, сбей его со следа!

Если грустно им, зажги на губах их улыбку. Если ж весело, добавь им задора, чтобы праздник вышел на славу.

Не медли, луна-подруга, луна-товарищ, помоги им скорее. Не забудь, это они на горах и в ущельях спасают честь нашей Венесуэлы!

А когда в час полнолуния ты будешь по ту сторону земли, приглядись к джунглям Вьетнама иль Конго, посмотри на тех, кто, сжимая в руках винтовку, сбивает с народа оковы.

Расскажи им, как сражаются в нашей Венесуэле, поведай про наших юных героев, как умирают они, слагая колыбельную песнь жизни для того, чтобы жизнь стала прекрасной и радостной, и поведай о том, как во мраке ночи песнь героев — ветеранов борьбы сливается в сельве с песнью земли — песнью о заре для народа.

Луна-посланец, передай партизанам Азии братское слово от тех, кто сражается в Латинской Америке, желая покончить с войной,— во имя мира на земле. И ответ братьев далеких принеси с полнолунием, засияв в небе тропиков наших.

Далеким и близким подари лунный свет твой — нежный и щедрый. С бойцами иди из ночи в ночь, из ущелья в ущелье, со скалы на скалу — вступай поскорее в отряд партизанский.

Луна-посланец, луна-товарищ, луна-партизанка!

Перевод с испанского Д. ВЛАДИМИРОВА

АХМАД НАДИМ КАСМИ

Судьба солдата

1

Напрасно ты молишься день и ночь
за сына на поле битвы:
Солдату не может ничто помочь —
даже твои молитвы!
Как знать, не пришлют ли к тебе домой
конверт с кусочком металла —
С осколком от бомбы, что пепел мой
в чужих полях разметала.

2

Все бредут и бредут по лазурной степи
караваны кудрявых туч.
Все растут и растут голубые горбы
окаймленных лесами круч.
Все доверчивей вьются в зеленых полях
золотые змейки дорог.
Серебрятся все радостней блики озер,
все призывней шумит поток.
Вон по склонам тенистым отары ползут.
вон пастух сидит на скале,
Вот доносится таблы * прерывистый звук —
видно, праздник в ближнем селе.
Лишь над краем земли, омрачив небеса,
грозовая морщина видна,
Будто горькая мысль на лазурном челе,
и не знаю, о чем она...
Возвращаюсь домой, возвращаюсь домой!
Я в строю пять лет отслужил —
И хотел бы забыть, и забыть не смогу
все, что видел и пережил...
Возвращаюсь домой, возвращаюсь домой!
Вот уж виден конец пути!
Почему ж этим пыльным, тяжелым ногам
все трудней и трудней идти?..
О аллах милосердный! Ты слышал не раз,
как в тоске я рыдал по ночам,
Привязал бы ты молнии мне к ногам,
дал бы крылья моим плечам,
Чтобы птицей взлететь, чтоб родные глаза
увидать до исхода дня...
Двадцать миль до порога осталось шагать,
где любимая ждет меня!

Перевод с урду Сергея СЕВЕРЦЕВА

* Табла — небольшой барабан.

УМБЕРТО САБА

Короткий рассказ

Родимый дом разграблен,
стал грудою развалин,
и сказки Шахразады в нем больше не живут.

Зеленый, словно сад, родной Алеппо
мать нежная все время вспоминала,
подруг гостеприимно принимала,
бранила непоседливого сына
и подавала кофе по-турецки.

Родимый дом разграблен,
стал грудою развалин,
и сказки Шахразады в нем больше не живут.

Он с воздуха разрушен
войною.
Виною
всему проклятый немец. Молча плакать
ей оставалось над своей бедою,
которая была бедою общей.
(Мать не умела ненавидеть.) В горы
подался сын, там повстречал он друга,
и жизнь они поставили на карту.

Их дружба доброю была, но каждый
хотел, чуть-чуть завидуя другому,
ему казаться страшным сердцеедом.
Их дружба верною была, и дружно
они с чудовищем вступили в битву
и победили.

Родимый дом разграблен,
стал грудою развалин.
Но оба парня здравствуют поныне,
и здравствуют их матери седые.

Перевод с итальянского Евгения СОЛОНОВИЧА

ХУЛИЯ АГУСТИНА ЭСКАЛОНА

Мир будет цвести для нас!

Стихи, которые мы предлагаем вашему вниманию, имеют характерную особенность: их автору... пятнадцать лет. Детские стихи? — спросите вы. И да и нет, потому что родина их автора — Куба, а еще точнее — кубинская революция. А кубинская революция молода, и молоды ее бойцы — солдаты свободы, прошедшие славный путь Сьерры-Маэстра и вздевшие в воздух, как знамя, гордые слова — «Куба, свободная территория Америки»; солдаты боев за плодородие кубинской земли, что трудятся на мирных полях под боевым девизом — «Родина или смерть! Мы победим!»; солдаты армии культуры, повторившие трудный путь Сьерры-Маэстра, неся за спиной другое, тоже без промаха бьющее оружие —

книги, чтоб осветить жизнь многим тысячам простых людей, которых «национальная» реакционная диктатура и американский империализм лишали света образования...

Нашей поэтессе пятнадцать лет, а писать она начала с тринадцати или еще раньше. Она учится. Она готовит к изданию книгу стихов. Она пишет о войне и мире, о прошлом, запятнанном войнами, о будущем, когда больше не будет войн. Нет, она не ребенок, она маленький боец за дело мира, маленький солдат поэзии — поэзии кубинской революции, поэзии острова Свободы, родины тех, кто вместе с нами отстаивает мир.

Мне было радостно переводить эти стихи.

Инна Тынянова

Войны — как пятна крови
на белой стене Мира.
Они непохожи на пятна
греха на чьей-то душе.

Пятна в душе человечьей
бывают для нас незримы,
но пятна на теле Мира
видимы всем.

Их невозможно спрятать,
они проступают сами,
пятна войны.

Гитлер нанес когда-то
Миру глубокие раны
и, запятнав землю,
всходы крови взрастил.

И не успеют народы
свои залечить раны,
как новый является Гитлер,
чтоб Мир запятнать
и чтоб новые раны ему нанести.

Но только когда-нибудь — знайте! —
это им не удастся,
но только когда-нибудь — знайте! —
придет их последний час.

Мы вылечим раны Мира
и выполем всходы крови.
И Мир, без ран и без пятен,
будет цвести для нас!

ФРЭНК МАРШАЛЛ ДЭВИС

Мир — это хрупкая чашка

Я пою за молчащих мертвых,
Говорю за разорванных в клочья,
За солдат, погибших на фронте,
За детей, замерзших в руинах,
Я — их голос, зовущий к миру.
Мы проделали долгий путь
От пещер к небоскребам, от телег к самолетам,
Но что от того человеку,
Которого вчера спасли пенициллином
И который завтра может погибнуть от атомной
бомбы?

Молчащие мертвые говорят на простом языке,
Разорванные в клочья поют ту же песню:
Мир для них — это крест на могиле,
Война для них кончилась вместе с их смертью.
Неужели так всегда будет
Лишь потому, что всегда так было?
Спросите об этом экспертов.

Которые, сидя в оффисах,
Безошибочно подсчитали:
Убить человека стоит столько-то,
Вооружить такую-то армию
Стоит столько-то миллионов долларов.
И доход гарантирован:
Ни тебе драки за рынки,
Ни побочного расхода на рекламу —
Только успевай получать за поставки!

Солдат, а что это зеленеет —
Доллары или трава на могиле?

И вот все кончено.
Богач, любуйся своим богатством!
Завод твой вырос —
Больше продукции пойдет на рынок.
Проникай в государства, которые
Опустошила война:
Эксперты все подсчитали,
Они не помнят о Хиросиме.

Я заявляю:
Мы не для того остались живыми,
Чтобы стать новым поколением убитых.

Мир был хрупким фарфоровым сервизом.
Но в эпоху атомной бомбы
От него осталась одна лишь чашка.
Так возьмем ее из трясущихся рук
Богачей, опьяневших от золота,
И в протянутые руки,
Надежные, крепкие руки
Простых людей
Отдадим ее,
Чтобы они осторожно
Поставили ее за стеклянные дверцы буфета
И гостям, которые будут к ним приходить
В бесконечных спокойных завтра,
Они гордо показывали ее, говоря:
— Посмотрите, это она!
Мы в семье сохраняем ее
Уже долгие годы.

КАРЛ СЭНДБЕРГ

Позовите следующего свидетеля

люди еще останутся
какое-то число эскимосов
обитателей джунглей
жителей гор и равнин
городов и деревень уцелевших
от искусственной радиации
достаточно для переписи населения

достаточно для того чтобы зваться миром
хотя конечно друзья мои дорогие мои друзья
это явно не тот добрый старый мир
побежденные скажут: «Что случилось?»
победители скажут: «Мы так и хотели».
если так должно быть в конце
в дыму в тумане в молчанье конца
кто-то проиграет и кто-то победит

переменится жизнь уцелевших людей
немногих пощаженных радиацией
их планы их книги и музыка
будут просты и недвусмысленны
как у первобытных мужчин и женщин
дети будут играть
труд правителей и дипломатов упростится
тут и там невиданные доселе калеки
неописуемые лепечущие счастливцы
вслушаются в простые слова ученых
если уцелеют простые ученые:
«Мир это то, что приходит после каждой войны».

в разоренных и нетронутых странах
историки примутся за свое дело
будут искать на месте побоищ в руинах
странные предметы и удивительные
свидетельства то занятные то ужасные
у убитых ядерной бомбой один вид
у жертв радиации другой
бактериологической войны — знакомый
картины намного превосходящие

ужасы Первой мировой войны
и Второй или Глобальной войны
— историки примутся за свое дело
испещрят записные книжки пометками
разыщут испепеленные документы
и скажут друг другу:
«Что за черт! Об этом не стоит писать,
потомки наплюют на наши писания».

Перевод с английского Андрея СЕРГЕЕВА

ЮЛИАН ТУВИМ

Мать

1

На еврейском кладбище в Лодзи,
Под сенью березы унылой,
Мамы моей еврейки
Польская могила.

Прах моей матери милой,
Еврейской, польской,
На берег фабричной Лудки
Я перенес из Отвоцка.

На этот могильный камень,
Что ее покой охраняет,
Только листочки лавра
Береза порой роняет.

Когда же солнечный ветер,
Играя, в них золотится,
Он в ордена и медали
Преображает листья.

2

Застрелили фашисты
Тосковавшую обо мне.
Застрелили фашисты
Обмиравшую обо мне.

Пуля тоску прострелила.
Стали сызнова заряжать,
Чтобы после... но после было
Не в кого разряжать.

Прострелили мир материнский —
Два ласковых слога моих губ.
На святую отвоцкую мостовую
Из окна бросили труп.

Доченька, ты запомни,
Чтоб внук будущий не забывал,—
Исполнилось слово: о мостовую
Разбился идеал.

С поля славы унес я мать,
Чтобы матери-земле предать,
Но трупу имени моего
Навек в Отвоцке лежать.

Перевод с польского Б. СЛУЦКОГО

ЛАУРЕАТЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ МИРА

ПОЭТ ИСПАНСКОГО НАРОДА

Завтра оставлю мой дом, оставлю быков и деревню... Я ухожу в Пятый полк!..— этими словами героя своего стихотворения Рафаэль Альберти как бы определил собственное место на поле боя, когда фашизм поднялся против испанского народа. Поэт вышел на улицу. Поэт взял в руки оружие — стал бойцом среди бойцов, отстаивавших демократию и свободу.

Оружие он не выпускает из рук и поныне, сколь тяжела ни была бы битва, сколь тягостны ни были бы годы изгнания. «Мою поэзию я всегда посвящал миру»,— говорит Рафаэль Альберти, лучший поэт испанской современности.

И вдали от родины Рафаэль Альберти — народный певец Испании. Он — голос и совесть Испании. Он со всеми, кто сражается за мир и прогресс, за счастье народов земли. А сегодня все честные люди земли поздравляют выдающегося сына испанского народа Рафаэля Альберти — лауреата Международной Ленинской премии мира.

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

Друзьям, в Испанию

Ампаро Гастон и Габриэлю Селайе

Моя Ампаро, Габриэль мой милый,
над морем, разрывая черный круг
бескрайних этих лет и наших мук,
тянусь я к вам, влекомый той же силой.

Придите же. Пусть ветер легкокрылый
благословит касанье наших рук,
пусть зерна крови, пролитой вокруг,
взойдут — в мильон колосьев — над могилой.

Однажды на заре исчадья ада
пришли в наш дом, и день одели в иней,
и все запеленали в саван сна.

Но не разбита наша баррикада,
и живы наши павшие доныне,
и зелена — в который раз — весна.

Перевод с испанского Павла ГРУШКО

ГРАНИЦА БЫТИЯ

МАРИЯ РУТКЕВИЧ

ПРЫЖОК

В тот декабрьский день мороз узорами расписал окна. Я напряженно жду ночи, и тонкий рисунок на окнах расплывается от моего дыхания. День тянется бесконечно долго. Невыносимо медленно начинает темнеть. Я вглядываюсь в густеющие фиолетовые сумерки, и вдруг мрак окутывает меня липкой тревогой.

Сегодня один из последних дней тысяча девятьсот сорок первого года, последний день нашего здесь пребывания. Мы в военной Москве, которая переживает сейчас самое трудное время. Идем на Красную площадь, бесцельно бродим по ней, потом по заснеженной черно-белой улице Горького, по Арбату — еще и еще раз прощаемся с городом. Но думаем мы о Варшаве. Уже нынешней ночью мы будем там. Думаем об этом, как о чем-то совершенно реальном — ведь всего несколько часов отделяет нас от Варшавы — и в то же время как о чем-то неизмеримо далеком.

Все готово к вылету. Минуты неожиданной тишины. Только Мариан * большими шагами меряет комнату и машинально повторяет слова, вот уже много дней сопутствующие нам повсюду: «...Родина, я возвращусь, ты воспрянешь в сиянии славы...» **

Но вот, словно очнувшись от внезапно наступившей тишины, Мариан оглядывается на нас:

— Что ж, ребята, трогаемся, пора! (Ребята... Мой пол во внимание не принимается.)

Начинается предотъездная сутолока — мы натягиваем на себя запасные свитеры, шерстяные носки, тяжелые сапоги, пальто, которые теперь едва застегиваются; превращаемся в нечто бесформенное и забавное — шутки смягчают напряжение момента.

Темное поле замаскированного аэродрома. Удивительное ощущение: словно время, обозначенное на циферблате часов без стрелок, определяется теперь совершенно иначе — мы уже не здесь, но и нигде в другом месте нас еще нет; мы как бы слились с ночью. Из темноты выплывают контуры самолета — он уже ждет. Все сейчас здесь полно ожидания: самолет, черная бездна неба, парашют на плечах, руки, сердце, дающее знать о себе. Минуты, которые мы сейчас переживаем, настолько

---

* Мариан, Старик — партийные клички Марцелия Новотко, одного из руководителей Польской рабочей партии.

** Строка из стихотворения В. Броневского «Сын покоренной страны...» (Перевод М. Живова.)

Перевод с польского М. РЫМЖИ

Под редакцией С. ТОНКОНОГОВОЙ

необычны, что кажутся нереальными. А может быть, только я так все воспринимаю? Ощущения смешались во мне, я будто нахожусь в состоянии какой-то внутренней невесомости. Просто удивительно, как мы можем так спокойно прохаживаться с Чеком и Анджеем по темному аэродрому и говорить о делах, ничего общего не имеющих с тем, что мы сейчас чувствуем. Лишь когда падают слова «перед лицом смерти...», я вдруг осознаю: все, что происходит во мне, неразрывно связано с событиями, которые нас ожидают.

Подходит Старик, берет меня под руку, я стараюсь приспособиться к его широкому шагу. Старик явно хочет подбодрить меня, голос его теплеет при воспоминании о том, как я, находясь в эвакуации, забросившей меня далеко под Новосибирск, присылала телеграмму за телеграммой, приставала, просила, чтобы мне разрешили вернуться в Польшу, вернуться к моей работе. И вот теперь еще одно усилие — и моя мечта сбудется.

— Вон оно как, дочка ты моя, герой ты мой...

Слова эти, произнесенные с ласковой иронией, вызвали во мне страстное желание излить перед ним душу. Говорила я нескладно, но искренне. Перед лицом тяжелого испытания мне захотелось отмести все лишнее, быть самой собой.

— Ну да,— возразила я,— герой в юбке. Если бы ты знал, как у меня сжимается все внутри от страха, когда я думаю о том, как встанет передо мной эта стена тьмы, как придется рвануть кольцо парашюта. Не смейся, да, конечно, я сама знаю, что, если бы мне пришлось снова выбирать, я выбрала бы то же самое — и эту ночь, и самолет, и парашют; снова пришла бы сюда и снова боялась бы; и знаю — нет такой силы, которая бы вырвала меня отсюда. И все-таки я должна была открыться тебе, именно потому, что ты мне веришь, потому что, когда мы прикоснемся к той земле, я, возможно, забуду о том, как трудно стать лицом к лицу с опасностью.

В темноте я не видела лица Старика.

То, что я услышала тогда в ответ, не раз воскресало в моей памяти потом, в трудные минуты жизни, когда страх сжимал мне сердце.

— Героизм,— сказал Старик,— не исключает страха перед смертью, героизм — не презрение к жизни, это умение преодолеть в себе страх, когда того требуют обстановка и интересы дела. Не дрогнуть, не согнуться, верить в свое дело, верить, что ради него стоит пожертвовать всем, даже жизнью. И это, пожалуй, самое важное.— В голосе Старика я не уловила и тени осуждения.— Америку открыла,— сказал он.— Да спроси любого из нас, крепких парней, разве мы не чувствуем страха? Кто меньше боится, кто больше — этого не измеришь. Никто из нас не знает, что его ждет через день, через час, а жить-то каждому хочется. Ведь у человека сильно развит инстинкт самосохранения, да и слабость людскую тоже со счетов не скинешь. Вот видишь, героизм — это вовсе не значит не бояться смерти.

■

Переступаем порог «дугласа».

Теперь наши судьбы в руках советского пилота-грузина, ни имени, ни фамилии которого мы не знали и никогда уже не узнаем. Он рассматривает штабную карту, район варшавского пригорода: переплетающиеся линии дорог, железнодорожных путей, лесов. Двадцать километров от Варшавы — мелкая мозаика символизирует лес, а в ней пятнышко поляны. На этой карте Старик поставил маленький крестик. Здесь, под Вязовной, мы хотели бы быть сегодня, через несколько часов. Вот все, что мы знаем в этот момент о нашей судьбе.

Скорее, скорее оторваться от земли.

Пронзительно, оглушающе взревел мотор. Шум мотора и биение сердца ни на минуту не позволяют сосредоточиться, в голове лишь бессвязные обрывки мыслей.

Я лежу на бензобаке, всматриваясь во тьму. Самолет увеличивает скорость, набирает высоту, холод все глубже проникает в тело. Толстая одежда и парашют за спиной, ремни на плечах и на ногах затрудняют малейшее движение. Через отверстие в потолке вытянулся к небу ствол авиапушки. В кабине сгущаются мрак и тишина. Чувствую, что мы поднимаемся все выше — температура быстро падает, тело начинает цепенеть от холода, от связанности, дышать становится труднее.

Через иллюминаторы самолета проникает отблеск прожекторов. Мы на линии фронта.

Прозвучит выстрел или нет? Прозвучит или нет? Где-то в уголке мозга отдается эхо последнего перед вылетом инструктажа:

— Над фронтом нас могут заметить. По сигналу револьверного выстрела прыгать, прыгать даже на линии огня.

Мы привыкли к шуму мотора — он стал нашей тишиной. И вдруг тишину эту разорвали чьи-то слова. Я вздрогнула. Мне показалось, что именно этот голос, который с трудом доходит до меня, услышат там, внизу, у немецких зениток. Голос повторяет отчетливее:

— Марыся, что-то тебя не слышно. Ты там не замерзла?

Прошли мгновения, прежде чем я смогла ответить. Вопрос Старика словно вырвал меня из иного мира. Пошевелила пальцами рук и ног, как бы желая удостовериться, не превратилась ли я на самом деле в сосульку, и, уже посмеиваясь над собой, ответила:

— Нет, не замерзла, Старичок. Жив еще курилка. Но здесь, однако, дьявольски неудобно. Долго ли еще, Старик?

А самолет между тем снижался. И вдруг голос пилота:

— Мы на линии Вислы.

Долгие, долгие месяцы ожидали мы этих простых слов. Завтра опять будем в Варшаве, в Варша...

— Приготовиться! — прозвучала команда.

Выстраиваемся в заранее намеченном порядке. Передо мной Павел. Дотрагиваюсь до него: да, это он. За мной Мариан. А дальше Чеслав, Анджей, Эдвард — все, ставшие вдруг такими близкими. Беспредельность пространства и неповторимость минуты еще больше сроднили нас.

Самолет все снижается, снижается, сбавляет скорость, вот он будто застыл на месте. Дверцы раскрываются, и в синем отблеске ворвавшейся сюда ночи фигуры наши похожи на высеченные из камня скульптуры.

Я вижу четкое движение стоящего передо мной Павла, вижу, как он раскидывает руки, и, прежде чем успеваю подумать, отрываюсь от самолета и лечу в пропасть, падаю в ночь, растворяюсь в ней. Какое-то мгновение я остро чувствую себя потерянной в пространстве, повисшей в каком-то нереальном мире.

Вдруг — рывок, и надо мной раскрывается купол парашюта. Что это, я плыву вверх? И нелепая мысль: как высоко улечу?

В легкие, распирая грудь, врываются потоки холодного воздуха, и я невольно вскрикиваю. Одной рукой я ухватилась за стропы парашюта, другой стараюсь поправить опоясывающие меня ремни и нащупываю револьвер, заткнутый за пояс.

Вокруг все залито холодным, призрачным светом луны.

Не верится, что прыжок длится всего несколько минут. Путь мой длинен, от него захватывает дыхание. Опасный, жуткий, незабываемый путь.

Осевший на волосах иней тает, капли воды на разгоряченном лице смешиваются со слезами, непрошенные, стыдливые, они неудержимо текут из глаз.

А навстречу мне мчится лесная поляна, желанная земля моя.

Примчалась, коснулась ног моих.

Ощущаю груды вспаханной земли. Лицом припадаю к замерзшим комьям.

■

Окоченевшими руками мы срываем парашюты и бежим навстречу друг другу. Падаем друг другу в объятия, лица у нас мокрые, горло сжимает спазм. Когда говоришь теперь об этом, становится как-то неловко, хочется закрыть лицо руками... Ибо все высокое и волнующее, что пришлось нам тогда пережить, рассказанное и повторенное уже в другое время, теряет свою остроту. А ведь было так: приземлившись, мы все в каком-то исступлении, не стыдясь — как крик, который исторгся из моей груди, когда парашюты несли нас в пространстве,— повторяли одно и то же слово, имя нашей родины. Родины, казавшейся нам такой недосягаемой. Родины, с которой мгновение назад слились наши обессиленные в падении тела.

Самолет исчезает вдали. Теперь он не имеет к нам никакого отношения, еще минута — и вот он уже едва заметная блестка на небосводе, угасающий звук.

Стоим, затерявшись в ночи, перед лицом неизвестности.

Напрасно мы стараемся разрыхлить землю, чтобы спрятать в ней парашюты. Мороз сковал комья и прикрыл их лишь тонким слоем снега. Свертываем парашюты и заталкиваем их в заледеневшие кусты, стараясь замаскировать как можно лучше.

Безуспешно ищем мы парашют с радиоаппаратурой. В лунном мерцании лихорадочно просматриваем кусты, покрытые снегом кочки — все напрасно. И почему только мне не разрешили держать рацию при себе, ведь потеряна такая ценность — орудие моего труда! Что теперь делать?

Раздается приказ:

— Поиски прекратить, дольше оставаться здесь нельзя.

Повинуюсь с яростным отчаянием.

Осматриваемся вокруг — где мы? В том ли месте, что было обозначено на штабной карте крестиком? Ночь и лунное сияние придают окрестностям фантастические, нереальные очертания.

Мы на небольшой лесной поляне.

Направо лежит шоссе, за ним вырисовываются низкие силуэты строений. Вероятно, деревня. Так, нужно пересечь шоссе. Мы подошли уже совсем близко к нему, когда в темноте вдруг разлился желтый свет автомобильных фар.

— Погоня за нами. Нас заметили.

Всех охватывает страх. В мозгу вспыхивают зловещие слова: живые торпеды. Так нас называли еще вчера, когда мы навсегда прощались с друзьями.

Бросаемся в придорожный ров. Жалкий слой снега не укрывает даже ступней, а хотелось бы окунуться в него с головой, чтобы не слышать нарастающего гула, или самому превратиться в хрупкую белую снежинку... Шум тем временем усиливается, до боли сверлит в ушах. Автомобиль все ближе, ближе, вот он уже над нами, и кажется, мчится он не по шоссе, а прямо по нашим головам, втиснутым в тонкий слой придорожного снега. Промчался.

Спустя мгновение мы, не веря глазам своим, оглядываем друг друга. Неужто живы?

Уходить, как можно скорее уходить от места приземления!

И мы трогаемся в путь.

Эта ночь до предела обострила слух наш и зрение. Мы слышим зимние шорохи уснувшей деревни, шелест голых ветвей. Трещат под ногами сухие, промерзшие ветки и тонкие корочки льда — в колеях, в придорожных канавах, в следах лошадиных копыт. Вот где-то поблизости залаяла собака, ей вторит другая, третья.

Надо ускорить шаг, пора, в конце концов, разобраться, где мы очутились. Высказываются самые невероятные предположения. Трудно поверить, что мы находимся в том самом месте, что обозначено крестиком на карте замечательного пилота-грузина, впервые в жизни прилетевшего сюда, к нашей земле. В лунном освещении окрестности весьма мало напоминают подваршавский пейзаж. Шоссе кажется необычно широким и чересчур блестящим, деревья — слишком пышными, дома — какими-то большими и уж очень белыми.

Минуем деревню и углубляемся в лес. На краю дороги стоит одинокая хата. Решаем узнать, куда мы попали.

Стучимся. Проходит добрых несколько минут, прежде чем до нас доносится, наконец, чей-то испуганный голос:

— До Варшавы недалеко. Километров около двадцати будет. Это Вянзовна. Пожалуйста, не задерживайтесь тут...

Дальше мы не слушаем.

Итак, желание наше сбылось — Варшава рядом.

■

Время не ждет. Быстро углубляемся в лес.

Но что это с нашим Стариком? Мы уже давно заметили, что каждый шаг стоит ему колоссальных усилий. Сквозь густые сумерки вглядываемся в страдающее лицо.

— Что с тобой, Старик?

И тут-то мы узнаем о самой большой неудаче, постигшей нас в эту ночь. Напрасно Мариан старается скрыть случившееся: при приземлении он сломал ногу. Удар обрушился на нас с самой неожиданной стороны.

Высокий, плечистый, Мариан вдруг сгорбился, помрачнел. Твердая решимость звучала в его голосе, когда он сказал нам:

— Да, я сломал ногу. Думал, что как-то продержусь, но нет, теперь уже не скроешь. Одним словом, я остаюсь здесь, а вы должны как можно быстрее дойти до места. Обо мне не беспокойтесь, я уж как-нибудь сам справлюсь. А теперь приказываю: быстрее вперед.

Сунув револьвер в карман, Мариан достает пачку бумаг и пытается впихнуть ее Павлу. Болью отзывается в нас его страшное, абсурдное решение.

Нет, мы не подчинимся этому приказу. На свете не существует такой опасности и такого врага, который заставил бы нас пойти на предательство — изменить Мариану, а значит, и самим себе. Мы спасем, мы не оставим его.

Не помню, кто первый сказал эти слова, впрочем, какая разница? Любой из нас тогда сказал бы то же самое:

— Старик, сейчас не до громких слов, но ты нам необходим и должен быть с нами. Ты отвечаешь за нас, за себя, за все, что нам предстоит сделать.

Он, большой, широкоплечий, выпрямился, поднял голову, обдумывая, как поступить. Наконец плечи его дрогнули, с лица исчезло напряжение.

Я подхожу к нему, к моему товарищу, и спазм сдавливает мне горло. Он кладет мне на плечо свою широкую ладонь, я чувствую тяжесть его тела. И вот он идет, опираясь на свою здоровую ногу и на мое плечо.

В молчании продвигаемся вперед. Нога в ногу. Тяжело идти в лесу давно забытыми тропками, по снегу, во тьме.

Лес начинает редеть. Здесь дороги расходятся. Налево — более короткая, направо — кружная, через поселок; обе дороги ведут к Варшаве.

Короткое совещание. Разделяемся по трое, так безопаснее, да и следы запутать легче. Мариан решает, что я пойду с ним и Павлом. Я буду вести Мариана, а Павел — прокладывать нам дорогу. Прощаемся с товарищами, все взволнованы так, словно расстаемся мы навечно.

До встречи в Варшаве! Адреса? Их у нас немного. Улица Кошикова — у профессора. Жолибож — у старых товарищей, улица Ружана — у моих родных, наконец, у сапожника на улице Сталёвой.

Товарищи уходят дорогой, которая ведет их в неведомое. Темные фигуры сливаются с ночью. Мгновение мы вслушиваемся в тишину.

Павел идет впереди, прокладывает нам путь. Я веду Мариана. Удивительно деликатно опирается на меня этот огромный мужчина. Проходят минуты, часы. Павел держится поблизости. Разговариваем вполголоса. И я снова вижу Мариана таким, каким знаю его давно.

— В целом все сложилось не так уж плохо,— говорит он.— Теперь, по крайней мере, к нам никто не привяжется. Какие могут быть сомнения? Ты ведешь больного отца. И в документах черным по белому написано, что ты моя родная дочь. А вообще-то, милые мои, вы только подумайте, какая удивительная это ночь, сколько долгих месяцев, сколько лет мы ждали ее!

Он ступает медленно, у него глубоко запавшие глаза, но он уже вновь обрел силу, и его спокойствие передается нам.

Дорога петляет, ни одной живой души, куда ни кинешь взгляд — всюду лес. Мне все чаще начинает казаться, что мы топчемся вокруг одного и того же места. Мрак густеет. Пошел снег. Примерно через час он засыплет наши следы. Идем медленно, упорно. С трудом преодолеваем километр за километром. Похоже, что дороге этой нет ни конца, ни края.

Мороз крепчает, а может, это нас так прохватило? Пальцы рук и ног покалывает, словно мелкими иголочками. Сумка оттягивает руку, выбрасываю из нее все, кроме предметов первой необходимости.

Далекий рассвет разжижает ночную тьму. Я вглядываюсь в лицо Мариана. Оно пепельно-серое. А может, только кажется таким в предрассветной мгле?

Я совершенно выбилась из сил, веки сами закрываются, засыпаю на ходу. Споткнулась и вдруг слышу стон Мариана — ведь он опирается на мое плечо. Это заставляет меня очнуться. Дорога опять сворачивает в лес, там мороз как будто помягче. Глаза слипаются. Только бы не оступиться и не причинить боль Мариану. Хочу позвать Павла, но не в состоянии произнести ни звука. И тут как сквозь туман слышу спасительные слова:

— Пора передохнуть, проверить оружие.

Помогаю Мариану сесть, а сама, как была с сумкой на плече и с пистолетом в руке, падаю в снег и сразу же, мгновенно погружаюсь в крепкий сон, который длится не более двух-трех минут. Когда я открыла глаза, оба моих товарища улыбались, подшучивая над тем, с какой жадностью бросилась я на снег. А ведь произошло истинное чудо! За эти несколько минут напряжение всей ночи как рукой сняло, и я, сама того не ожидая, встала отдохнувшая и бодрая.

Наступило туманное морозное утро. Вдалеке виднеется довольно большое селение, его надо обойти. Сворачиваем в сторону. Павел шагов на двадцать-тридцать опережает нас, чтобы обследовать дорогу. Мы потихоньку следуем за ним и вдруг теряем его из виду. Лишь спустя несколько минут, когда мы уже начали беспокоиться, до нас донесся его возглас:

— Черт возьми, ну и влип же я!

Боже мой, что случилось? Павел возвращается в ужасном виде — брюки его промокли до колен, замерзли и звенят, как листовое железо.

В нескольких десятках метров отсюда протекает какая-то покрытая льдом речушка. Намереваясь вести нас через нее, Павел решил проверить прочность льда, а лед, несмотря на мороз, оказался слабым, не выдержал, и Павел по колено провалился в ледяную воду.

Что теперь делать? Торопливо перебираем наши скудные пожитки. Помогаем Павлу быстро переодеть носки и заставляем его глотнуть из фляжки, чтобы согреться. Единственное, что нам остается, это как можно скорее добраться до Радосьци, где, если служба нам не изменит, мы найдем родных Старика.

Павел идет как ни в чем не бывало и нет-нет да отпустит шутку по поводу своих звенящих брюк:

— Теперь уж мы не заблудимся — услышите меня даже издалека, как горную овцу.

А нам совсем не до смеха. Это приключение наверняка будет стоить Павлу здоровья. В голову лезут невеселые мысли.

Только около полудня мы наконец добрались до шоссе близ Радосьци. Здесь в селе перед войной жила вдова брата Старика. С этим незнакомым мне домом связаны сейчас все наши надежды на ближайшее будущее. Здесь мы надеемся найти убежище для обоих больных, получить первую информацию о Варшаве, о товарищах, о родных.

Долго искал Мариан давно забытую дорогу. Все дома казались похожими один на другой, отличить их было трудно.

Павел трясся от холода и все глубже прятал лицо в поднятый воротник пальто. Старик совсем выбился из сил. И вдруг — вот он, этот дом!

Когда мы подошли к забору, дом глянул на нас, как слепой, заколоченными окнами, закрытыми ставнями.

Так. Ясно. Что же делать дальше?

Погодите, тут кто-то живет! В одном из окон, выходящем во дворик, за белой занавеской угадывается жизнь. Подбегаю к калитке, толкаю, она поддается. Идем, еще не зная, что нас ожидает. Но вот на ступеньках лестницы появляется закутанная в платок женщина.

— Она,— тихо говорит нам Мариан.

Уже на пороге нас охватило тепло гостеприимного дома.

— Марцелий! — восклицает женщина, узнав Старика.— Ты ли это? Откуда ты взялся? Какое счастье! Живы, живы твои, и Фемка, и ребята.

Сердечно пожимаю руку Констанции. Какими словами выразить благодарность этой седеющей женщине с милым круглым лицом за то, что она оказалась на нашем пути, за то, что мы нашли здесь приют?

Когда мы разрезали сапог Марцелия, оказалось, что нога его распухла и почернела до колена.

— Что с вами случилось, откуда вы идете? Нет, это просто в голове не укладывается! — восклицала женщина.— Да ведь с такой ногой человек не в состоянии и километра пройти.

Я смотрю на улыбающееся бледное лицо Марцелия, и мне хочется сказать: да, есть люди, способные на очень многое, даже на то, что выше человеческих сил. Но я молчу. Голос мне не повинуется.

■

В комнате тепло и уютно. Эх, сбросить бы сейчас тяжелые сапоги и улечься где-нибудь в уголке, чтобы отогреться, прийти в себя. Но время не ждет. Из неприкосновенного запаса мы выпиваем последнюю в эту войну чашку натурального кофе. Усталости как не бывало — так хочется скорей добраться до Варшавы. Намечаем план действий. Завтра утром я пришлю врача. Завтра же свяжусь с товарищами. Старик и Павел нежно со мной прощаются, а я тщетно пытаюсь скрыть волнение. Старик подтрунивает надо мной:

— Вот видишь, птенец желторотый, как оно получается: не мы о тебе, а ты о нас должна заботиться.

Уже темнеет, когда я покидаю дом в Радосьци.

■

Пригородный поезд въезжает на станцию Варшава Главная. Приближается комендантский час.

Ошеломленная, я стою в толпе, направляющейся к выходу.

В горле у меня пересохло.

После этой необычайной ночи и уже угасающего дня я с нетерпением, с болью в сердце ожидаю встречи с моим городом, с городом, в котором я не была два долгих военных года и который уже казался мне недосягаемым.

Вместе с толпой меня выносит на улицу.

Перед Аллеями Ерозолимскими в моей памяти в последний раз возник живой, цельный образ свободной Варшавы, но в ту же минуту песня проходящей мимо немецкой воинской части оборвала это воспоминание.

Там, на вокзале, я сразу же попала в еще неведомую мне суматоху приближающегося комендантского часа и, слыша вокруг чужую, гортанную, хриплую речь, почувствовала себя потерянной и одинокой. Однако, когда минуту спустя я смешалась с уличной толпой, предо мной стали возникать как бы знакомые, только непривычно встревоженные лица людей. Людей, к которым я бы уже не побоялась подойти, с которыми завтра я уже буду разговаривать. Наконец-то я напала на след истинной Варшавы!

В переполненном до предела трамвае я стараюсь пробиться вперед и не замечаю надписи «Только для немцев». Кто-то тянет меня за рукав назад.

— Куда лезешь, глупая!

В растерянности пытаюсь выбраться на заднюю площадку. Вдруг слышу название улицы, название, которое всегда означало, что здесь, близко мой дом. А сейчас...

С трудом протискиваюсь к двери. Трамвай трогается. Выскакиваю и чуть не попадаю в объятия жандарма.

Вот и такая знакомая мне улица Ружана. Сворачиваю. Теперь надо пройти ее почти до конца, и я — у цели. Пустынная улица словно замерла в испуге, затемненные окна не пропускают даже проблеска света. Улица неузнаваема, как неузнаваемо бывает лицо постаревшего, изнуренного человека, которого ты знал в молодости. Ружана! Около здания школы, некогда моей школы, громыхают по панели сапоги часового. Здесь проход закрыт. Быстро перехожу на другую сторону.

У меня в запасе еще несколько минут до комендантского часа, а дом уже вот он, в нескольких шагах, но тут-то я начинаю страшно волноваться. Успею ли? А что, если я не найду никого из своих, если дом уже не наш? Не могу справиться с охватившей меня тревогой. Оглядываюсь назад, ночь смотрит на меня глазами оккупанта.

Мокотовские чиновничьи виллы похожи друг на друга, как близнецы. Номеров не видно. Заглядываю в щели забора — кажется, здесь. Толкаю калитку, бегу к двери, нажимаю кнопку звонка и тут же сознаю, что я в чужом доме. Не дожидаясь, пока мне откроют — тогда надо будет извиняться,— я стремглав бегу назад, на секунду задерживаюсь у калитки рядом — она тоже как две капли воды похожа на ту, что я ищу. Даже дыхание перехватывает: опять не та? А может, я уже не найду своих? Может их и в живых-то нет?

Какое-то мгновение я борюсь с этой навязчивой мыслью, вызывающей в воображении страшные картины. Борюсь со своей тревогой.

Кнопка звонка. Протягиваю к ней руку и натыкаюсь на табличку. Темень такая, что прочесть ничего невозможно, но теперь я уже твердо знаю — это мой дом.

Дверь открывает незнакомая девушка. Хочу выгадать минуту, чтобы совладать с собой.

— Здесь проживает доктор Руткевич?

— Да, здесь. Только он уже не принимает. Прием давно закончился.

Девушка пытается убедить меня, что мой визит безуспешен. А я молча разглядываю все вокруг. Вдыхаю атмосферу родного дома. На стенах, как и прежде, репродукции Родена, на дверях те же самые портьеры, вышитые руками моей свекрови. Только ветки аспарагуса разрослись на столике около телефона.

Стою по-прежнему молча, стараясь разгадать, что же произошло здесь за время моего отсутствия. Напряженно вслушиваюсь в голоса, населяющие дом. Вот сейчас кто-нибудь станет на пороге, и я узнаю о судьбах моих близких, моего Вицека. Словно невыносимая тяжесть нависла надо мной.

На мгновение в голову приходит нелепая мысль: есть еще время бежать от дурных известий, вернуться в неведомое, в ночь.

Но нет, нет такой силы, которая заставила бы меня уйти отсюда.

Девушка в удивлении смотрит на меня, показывает рукой на кабинет, а сама, встревоженная, не спуская с меня глаз, бежит наверх доложить хозяйке.

Я приоткрываю двери кабинета. В комнате — полумрак, лишь настольная лампа отбрасывает небольшой круг света. Последние секунды здесь царит будничная атмосфера дома, в котором еще не подозревают о моем вторжении. И вдруг чувствую — больше не могу, вот сейчас не выдержу и крикну что есть мочи: «Говорите скорее, где те, к кому я шла всю эту ночь, два долгих года?! Живы ли они?»

За кругом света, падающего на стол, вижу в полумраке прищуренные глаза и слышу сдержанный голос:

— Присядьте, пожалуйста.

А я не могу двинуться с места, ноги словно вросли в пол. Тогда направленный на меня взгляд становится более внимательным, безразличие в нем сменяется удивлением, потом изумлением, в глазах отражается полная мешанина чувств, еще мгновение — и я в объятиях Янека. Прежде чем успеваю произнести хоть слово, сыплется град вопросов:

— Откуда ты явилась? Ведь тебя не было в Варшаве! Откуда ты? Ну говори, говори же, что произошло? А Вицек так беспокоится! Без конца просит хоть что-нибудь сообщить ему о тебе в лагерь для военнопленных.

Я закрываю лицо руками.

Значит, жив! А я так боялась даже думать об этом!

И вот самое главное о родных мне людях, о важнейших делах мне уже известно. Просто удивительно, как много можно узнать в такой короткий миг!

За дверями кто-то с нетерпением ждет ухода запоздалой пациентки. Но вот двери тихо приотворяются, и я вижу в щели милое лицо Наталии, жены Янека. Странная сцена в кабинете мужа с неизвестной ей особой, видимо, повергает ее в смущение, и она пытается ретироваться.

Ну конечно, я же еще в пальто и в берете, лихо сдвинутом на затылок, меня трудно узнать!

Встаю, стаскиваю берет и смеясь иду к ней. Тогда двери открываются шире и глаза Наталии от изумления становятся круглыми.

Наконец-то я среди родных! Взволнованная, целую родителей Вицека, которые стоят ошеломленные, с раскрытыми объятиями и ничего не могут понять.

— Как ты добралась к нам, девочка? Что с тобой приключилось? Устала? Хочешь есть?

Глажу руку матери, рассеянно улыбаюсь и не знаю, что и как отвечать.

— Все хорошо, теперь уже все хорошо.

На меня смотрят удивленные, недоверчивые глаза. А я и сама не могу поверить в реальность того, что здесь происходит. Может, это продолжение сна на снегу?

Трудно даже вообразить себе, что еще вчера меня отделяли от этого дома многие сотни километров, огневая линия фронта и путь сквозь долгую ночь.

Я слушаю родственников, я вся внимание, и в то же время какая-то частица меня здесь отсутствует.

Где-то подсознательно во мне живет еще крик, вырвавшийся из груди, когда парашют нес меня в необозримое пространство; я вижу страдание на лице Мариана; вот больной Павел делает знак рукой — идите тише; а вокруг — лес, лес, и хруст льдинок под ногами, и тяжесть опирающейся на мое плечо руки, и распахнутые двери нашего первого, долгожданного убежища, и почерневшая по колено, распухшая нога Мариана.

Как трудно расстаться с этим удивительным днем, уже вступающим в ночь, во вторую ночь. Усталость одолевает меня. Мы уже обо всем договорились. Я твердо уверена, что Янек и на этот раз не подведет и завтра утром поспешит на помощь Мариану и Павлу. Острое беспокойство за судьбу товарищей постепенно гаснет.

Целую моих родных. От великих забот избавили они меня.

С трудом стаскиваю с себя одежду и тут только замечаю, как сильно распухли суставы ног и горят ступни. А это что? На плече, о которое, казалось бы, так осторожно опирался в пути Марцелий,— большущий синяк. Но никакой боли я сейчас не чувствую.

Укладываюсь в постель, она пахнет хвоей и домашним теплом.

Наступает какая-то особенная тишина, как в доме, где кто-то тяжко болен.

Но почему я опять в лесу? Крупные снежинки падают на лицо и руки. Еще немного — и снег покроет меня с головой.

«МУХОБОЙ»

Этот небольшой, шестизарядный револьвер сегодня уже не представляет никакой ценности. Ржавый, забавный «мухобой». Впрочем, он никогда не играл сколько-нибудь заметной роли в моей жизни. Но в те трудные годы он служил мне — значит, в этом бесполезном мертвом предмете заключена живая крупица моей судьбы и других, связанных со мною, человеческих судеб. Когда я касаюсь его, во мне оживают тревожные ощущения тех дней. Именно ощущения. Вот и сегодня, когда я наткнулась на него где-то в шкафу, в памяти моей возникли далекие воспоминания, в которых он отнюдь не играл главной роли. У этого маленького револьвера нет интересной биографии, он не совершил ничего героического: я не убила им ни одного врага, не послужил он мне и средством самозащиты. Роль его обычно ограничивалась тем, что он лежал на дне сумки, в кармане — в общем, находился рядом и создавал слабую видимость безопасности.

Револьвер этот, новенький и блестящий, вручил мне перед вылетом на замаскированном подмосковном аэродроме советский товарищ, когда обнаружилось, что огромный «кольт», прикрепленный к моему поясу, мне — тогда маленькой и хрупкой— явно не по силам. Вручил с сердечным пожеланием: «Пусть хранит тебя от смерти».

Время может отдалить пережитое, смягчить его остроту и даже начисто все перечеркнуть. Но бывает и так, что, стирая в памяти отдельные подробности, время не властно лишить пережитое красок...

Подобное происходит и с моими воспоминаниями о тех днях. Минуты, когда мы окажемся наконец в Польше, мы ждали с нетерпением, которое трудно теперь передать; с этой минутой связывалось все, что вмещается в понятия война, родина, борьба. А за всем этим, как тень, следовал вполне объяснимый страх. Ведь мы летели в неведомое. Там, в Москве, друзья смотрели на нас с нежностью и с нескрываемым беспокойством — как знать, ведь завтра нас могло бы уже не быть в живых. Как-никак, прошло два военных года, мы не имели ни малейшего понятия о том, что происходит в Польше, у нас не было никаких связей даже с самыми близкими, оставшимися там людьми. Куда мы прилетим? Кого найдем там? Единственное и главное, что мы твердо знали,— это то, что если мы доберемся до Польши, то найдем там немало коммунистов, вокруг которых объединяются люди, и что мы будем бороться в их рядах.

Дни, предшествовавшие нашему вылету, были заполнены занятиями, горячими спорами, рассуждениями о том, что мы застанем в Польше, как будем действовать. А когда, уставшие от дневной суеты, мы вечерами собирались у Марцелия, наступали удивительные, незабываемые минуты. Нас было одиннадцать. Десять мужчин и я. Поскольку я была «единственной», то пользовалась кое-какими привилегиями, вместе с тем я старалась во что бы то ни стало быть во всем равной мужчинам, не казаться слабее или сентиментальнее их. Поэтому, когда мы вот так собирались вечерком и всеми незаметно овладевало лирическое настроение, я забивалась куда-нибудь в уголок и вся обращалась в слух. Я слушала отрывочные, беспорядочные воспоминания о конспиративной работе, о пребывании в тюрьмах, часто эти воспоминания перемежались веселыми историями, неожиданной откровенностью, теплой улыбкой, когда речь шла о ком-то близком. Я заново открывала для себя этих людей. Будто на знакомое лицо падал яркий луч света, освещая черты, ранее не замеченные. «Ведь мы же сейчас, как никогда, близки друг другу,— думала я,— мы связаны общей — и в хорошем и в плохом — нелегкой судьбой; и все-таки как трудно, оказывается, узнать даже о близком тебе человеке больше, чем лежит на поверхности. Сколько загадок таит в себе душа человеческая, и раскрывается человек вот так неожиданно, как сегодня вечером,— в случайной беседе, в слове, в жесте...

А потом кто-нибудь запевал. Чаще всего — Марцелий, у него был на редкость громкий, прямо трубный голос. Ребята подхватывали песню, и тогда стены содрогались. Марцелий очень любил стихи. Особенно одно. Мы знали об этой его слабости, и каждый из нас на свой манер пользовался этим. Марцелий не заставлял себя долго упрашивать, он становился в позу и начинал читать взволнованно, даже с пафосом:

— Чего они хотят? — Чернь шумит,
издевается, сыплет оскорблениями.
— Чего они хотят? — Разве ж их поймешь?
Хлеба, свободы? Кого это трогает?
— Мы золота хотим! За блеск золота
мы можем сплести жизнь из роскоши...

Стихотворение это корнями своими уходило в глубь времен, а за Стариком следовало с того момента, когда он, будучи еще мальчонкой, впервые столкнулся с революционной средой. Старик вряд ли помнил, что написал это стихотворение Вацлав Серошевский и что оно передает бунтарскую атмосферу борьбы за независимость в далекие от нас годы. Марцелий со всей юношеской впечатлительностью впитал слова этого стихотворения, он чувствовал его и передавал нам так, как впервые воспринял.

Впрочем, меня тоже очень легко было уговорить читать стихи. Стоило кому-либо из товарищей смеха ради, прижав руки к груди, произнести: «Ах, Марианна, Марианна, не заставляй себя упрашивать» — и я начинала декламировать, сначала несмело, а потом все увереннее, страшно волнуясь, бесконечно доверяя каждому поэтическому слову. Так проходила ночь, пока кто-либо из наиболее рассудительных, взглянув на часы, не замечал удивленно: «А знаете, уже светает, пора спать. Ведь утром опять за работу».

Казалось бы, до поэзии ли нам, людям, занимающимся нелегким делом, да еще в такой необычной ситуации? А ведь мы, по сути дела, не мыслили себя тогда без поэзии...

Временами я задумывалась: почему этот ритм слов, это волнующее сплетение рифм так созвучно нашему настроению? Значит, не только музыка, не только звуковая абстракция ритмов и рифм способна вызвать подобный комплекс ощущений?

Иногда слова стихотворения в наших устах меняли истинный смысл, приобретали совершенно иное содержание.

Помню, так случилось с лирическим тувимовским «Если». Я читала его так, словно высказывала свои думы, зная, что это наши общие думы. Лирическая сущность стихотворения отошла на задний план. Осталось лишь страстное желание, чтобы мечта осуществилась:

Ну, а если да? Если будет так?..
Вспыхнут зори в жгучей дрожи,
Разгорится день погожий,
Как багряный мак,
Ибо если так,
Тогда... — Боже!!! *

А строфы Броневского... «Родина, я возвращусь...»

Казалось, эти слова были написаны специально для нас. Мы произносили их, как клятву, повторяли, как присягу.

Я мечтала рассказать об этом когда-нибудь нашему поэту, выразить ему признательность за слова, которые помогали нам жить и бороться. Много лет спустя, уже после войны, я поведала об этом Владиславу Броневскому, признаться, думая, что для него это не более чем незначительный эпизод. Броневский слушал, и слезы текли по его лицу. За его слова, такие нужные нам тогда, за его волнение я останусь благодарна ему на всю жизнь.

■

День вылета..

Аэродром. На плечах парашют. Ощущаю тяжесть большущего «кольта» на ремне.

В этот самый момент советский товарищ и сунул мне за пояс маленький револьвер...

Запустили мотор.

Страстное желание — победим.

Скрытая мысль — погибнем.

А потом только шум и темнота.

■

В тот же день я добралась до Варшавы. Мой маленький револьвер был при мне. Я каждой клеточкой мозга помнила о его существовании. В трудных, изменившихся условиях жизни моего города он перестал казаться игрушкой — «мухобоем», как иронически окрестил его Старик. «Дай-ка мы проверим твой «мухобой»,— вспоминала я те минуты ночью, в лесу, когда, отдав револьвер Павлу, провалилась в удивительный сон на снегу. «Мухобой»! — смеялись потом мы с Павлом.

В Варшаве револьвер стал для меня чем-то значительным: он призван был охранять меня, я рассчитывала на его помощь, а не раз и боялась его, ибо в случае облавы он мог выдать меня с головой.

Но все это — много позже.

А сейчас вернемся к тому памятному дню накануне нового, сорок второго года, дню, который запомнился мне в мельчайших подробностях.

После долгого, продолжавшегося более суток сна, во время которого я полностью «рассчиталась» с напряжением той страшной ночи, когда мы приземлились близ Варшавы, я проснулась с нетерпеливым желанием как можно скорее отыскать друзей, встретиться с ними, начать действовать.

---

* Перевод М. Петровых.

Еще прежде, чем наступил поздний зимний рассвет, я успела мысленно переговорить с десятком знакомых мне людей, с которыми, я уже знала это, можно связаться. Было нечто необычное в том, что я находилась так близко от своих, чувствовала их почти рядом, а они даже не подозревали об этом. С каким нетерпением я ждала момента, когда можно будет «объявиться»!

«Представлять» меня должен был мой деверь Янек и его жена Наталия, которые с тех пор до самого конца делили с нами — со мной и с Вицеком — все заботы и тревоги.

Рано утром раздался телефонный звонок, и я вне себя от удивления стала свидетелем такого примерно разговора:

— Хочешь знать, как Марыся? Ничего, чувствует себя вполне прилично. Ноги, правда, опухли, да и руки еще болят. Как сердце? Да сердце замечательное. Нет, не шучу, совершенно серьезно. В отличной форме. Не веришь? Говоришь, я с ума сошел? Да нет же, приходи, сам увидишь.

Я во все глаза смотрела на Янека.

— Как ты можешь рассказывать обо мне по телефону? Смилуйся, Янек! С кем ты разговаривал?

И Янек, улыбаясь, объясняет: к ним сюда ежедневно звонит Метек Лясоцкий, расспрашивает о состоянии здоровья Марыси. В связи с тем, что я была в Советском Союзе, «Марыся» в семейном коде означает Советский Союз. Если вести оттуда поступали хорошие, Ян на своем медицинском языке сообщал утешительные сведения, что с сердцем, мол, получше, давление снизилось; когда сообщения приходили плохие, Ян на том же языке соответственно информировал Метека.

— Ловко я над ним сегодня подшутил, а? Он спросил о Марысе, я и рассказал ему о тебе. А ситуация на фронте вовсе не изменилась к лучшему. Метек знает об этом. Поэтому он ничего не понял и в самом деле решил, что я сошел с ума. Вот увидишь — сейчас примчится.

Метек не заставил себя долго ждать. Обычно сдержанный, спокойный, он наскочил на Янека чуть ли не с кулаками.

— Ты что дурака валяешь? Наплел с три короба. Ну, что случилось, говори скорее.

Янек, любитель подшутить, еще несколько минут разыгрывал его, а затем провел в комнату рядом, где находилась я.

— Вот что случилось.

Те дни приносили мне много трогательных переживаний. Встреча с родной землей, с моим городом, с семьей, с друзьями... Все это до сих пор занимало в моей памяти свое, особое место, а теперь слилось в одно волнующее чувство.

Метек, приятель моего Вицека с самых юных лет, «третий сын», как называла его моя свекровь, и, наконец, мой верный друг с тех пор, как я живу в этом доме,— Метек был намного старше меня и всегда относился ко мне несколько покровительственно. И вот теперь мы снова встретились. Эта первая наша встреча была короткой. О многом, в целях конспирации, умалчивалось, разговор то и дело прерывался взволнованными восклицаниями. Но не успела я сказать Метеку, что он будет нам нужен, как он опередил меня.

— Время сейчас очень тяжелое,— сказал он.— Можете твердо на меня рассчитывать. А тебе я готов оказать любую помощь. Помни об этом.

Да, я помнила. Такое было уже однажды. В памяти всплыли воспоминания двухтрехлетней давности.

Партия распущена. Моя партийная конспиративная квартира у сапожника на улице Зомбковской стала ненужной. Необходимо было переходить на «легальное» положение, прописаться, найти работу. Все это было не так-то просто. Поэтому на первых порах мы вместе с Зосей, моим товарищем по партийной работе, ухватились за первую представившуюся возможность — поступили в ученики к нашему сапожнику. Шить дамскую обувь оказалось делом нехитрым. Через несколько недель мы уже вполне освоились с нашей новой профессией. Из наших рук выходили недурные дамские выворотные туфельки. Хозяин удивлялся: барышни вроде бы интеллигентные, а занимаются сапожным делом... Но работу эту пришлось в конце концов бросить. Зося

поехала к родным, а меня отыскал Вицек и еще прежде, чем мы поженились, стал руководить моей судьбой.

Когда я познакомилась с Метеком Лясоцким, он был уже обстоятельно посвящен Вицеком в мои дела и какое-то время подыскивал мне работу. Повозиться ему пришлось немало. Наконец нашел — я стала чертежницей и секретарем в одном лице в небольшой строительной фирме пана Гжимальского. Метек снабдил меня нужными инструментами, а Вицек поднатаскал в черчении. Впрочем, черчение мне очень понравилось. Так начался короткий период моей «житейской стабилизации».

Через несколько месяцев разразилась война. И я на три долгих года потеряла Вицека, который пережил тяжкие дни сентябрьского поражения, плен, лагерь для военнопленных. Наконец ему удалось вернуться в Варшаву. Но, увы, ненадолго. Короток был перерыв между лагерем военнопленных и концлагерем. Не прошло и года, как я опять потеряла Вицека, на этот раз уже навсегда.

Я помню, Метек, те прошлые годы, помню до мельчайших подробностей все твои заботы обо мне!

И вот я снова могла рассчитывать на него, причем теперь — когда он стал членом партии и бойцом Гвардии Людовой, когда он втянул в нашу работу свою жену Ядвигу,— я могла рассчитывать на него в делах куда более важных, чем прежде.

Незримая нить связывает Метека с моим «мухобоем», воскресившим во мне все эти разрозненные воспоминания прошлого...

О Метеке говорили, что у него золотые руки. По образованию и профессии он был техником-металлистом. Его страстное увлечение — резьба по металлу — очень пригодилось в условиях конспирации. Благодаря ему у меня была пудреница с прекрасно замаскированным двойным дном, настольная лампа с тайниками и много других подобных вещичек. Метек сделал замечательный тайник и для моего револьвера — в первый период моих скитаний и установления контактов с товарищами он должен был храниться особенно надежно.

Когда я вышла из тюрьмы, новая преграда встала между мною и моими близкими — варшавское восстание. Метека я уже никогда больше не увидела. Значительно позже мне удалось узнать, что Метек был смертельно ранен на баррикаде на улице Злотой во время восстания, 3 сентября. В повстанческом госпитале, теряя сознание, он еще спрашивал обо мне: сумею ли я вырваться из тюремного ада и спасти детей.

Мы, друзья Метека, часто вспоминаем его — живого и умирающего,— вспоминаем даже тогда, когда не говорим о нем. И думаем: насколько легче и проще бы жилось, будь сейчас с нами такие люди, как Метек.

■

В тот самый день, накануне Нового года, вскоре после прихода Метека, к нам явилась доктор Ядвига Понговская с дружескими новогодними пожеланиями.

Пожелания тех времен... В них не было ничего банального. В них выражалось горячее желание: чтобы пришел конец нашим поражениям, нашей неволе, чтобы отыскались без вести пропавшие, оторванные от нас, заключенные в тюрьмы... Тут голос срывался. Слишком рано было верить в это. И слишком трудно не верить.

Слыша за дверями глубокий, теплый голос Ядвиги, я с трудом сдерживалась, чтобы не крикнуть:

— Ядя, пропавшие без вести уже отыскиваются! — Но сказала я это тихо, со смехом.

Деликатная, умная, она не задавала мне лишних вопросов. Только все прижимала к себе и нежно гладила мою руку.

О чем мы тогда разговаривали, не помню.

Зато помню, в каких трудных условиях она помогала мне потом. Ее квартира на улице Вспульной была моей надежной базой, если в других местах грозил провал. Так было и когда я не знала, куда деться с большим пакетом шрифта, и когда неожиданно пришлось оставить квартиру и я не представляла себе, где спрятать радиоаппаратуру, сумки с лампами, конденсаторами, ключом. А когда мне самой пришлось прятаться, Ядвига устроила меня в удобной квартире пани Гизелы, на улице Вильчей, полной картин, старинных вещей и различных чуланчиков. Здесь был наш с Вицеком дом

вплоть до того июльского дня, когда Вицек, как обычно, вышел на работу, напутствуя меня — будь внимательна, будь осторожна,— а сам уже не вернулся. Это был последний день нашей совместной жизни.

Сюда приходил Старик, на этот раз как мой «дядя» пан Высоцкий. В этой роли он завоевал большую симпатию пани Гизелы. Сюда приходила Яся — Малгося Форнальская, в длинном пальто, в платке или в синем берете, Малгося, которая постоянно заботилась о всех нас и была нам крайне необходима.

Здесь Вицек сбросил с лестницы шантажиста, который пронюхал, что рядом в комнате живут женщина с дочерью «подозрительной национальности».

Здесь же мы собирались иногда небольшой группой, чтобы обсудить важные вопросы, выпить эрзац-кофе с сахарином и, проанализировав политическую ситуацию, еще раз попытаться заверить себя, что это уже последняя осень, зима, весна...

Отсюда Вицек вышел в последний раз, чтобы уже не вернуться...

Но все это происходило значительно позже.

В тот день, о котором я начала так подробно рассказывать, мне предстояла еще одна встреча — с Ядвигой Кошутской,— организованная по моей инициативе.

Старшее поколение Руткевичей и Кошутских было связано узами дружбы еще со времен борьбы за независимость в 20—30-е годы. Эту дружбу унаследовало и младшее поколение.

Приглашение по телефону, вероятно, не удивило бы Ядвигу, но по тону Янека она почувствовала, что дело безотлагательное. Ядька, без пяти минут архитектор, работала в то время кладовщицей на строительстве. Заинтригованная, она стремглав прилетела к нам, вся в пыли, в брюках и в ватнике, и еще с порога раздраженно спросила:

— Что случилось?

Я стояла в дверях.

Рослая, выше, чем я, она схватила меня в объятия и начала кружить. А я прижималась к ней, целовала в щеки и все время повторяла:

— Ядзя, понимаешь, партия будет, понимаешь, люди нужны, понимаешь...

Уж кто-кто, а Ядя, с которой мы вместе очень тяжело пережили роспуск партии, должна была понять меня с полуслова. И она поняла. Как необходим мне был такой вот близкий человек! Конечно же никто лучше ее не расскажет о наших общих знакомых. Всегда такая энергичная, активная, она наверняка поддерживает связь со многими из них, и, значит, мы не мешкая сможем приступить к работе.

Обретя, наконец, дар речи, она прежде всего спросила:

— Откуда ты взялась?

— С неба упала,— уклончиво ответила я. Кажется, Ядвигу это удовлетворило.

На следующий день мы уже были в одном из кварталов ВСМ на Жолибоже. Ядвига провела меня в какую-то квартиру. Людей, которые собрались там, я тогда еще не знала. Разговор с Зеноном Клишко и его женой Ганкой длился недолго. Казалось, мы понимаем друг друга с полуслова. Душевная теплота Ганки сразу же расположила меня к ней. С Зеноном мы договорились о его встрече с Павлом Финдером. Первый «партийный контакт» был установлен.

Во время этой и многих других встреч с товарищами я слышала упорно повторяемые слова: «Партия должна быть создана немедленно. Мы давно ждем этого».

Люди, так говорившие, не сидели сложа руки, дожидаясь, пока будет создана партия. Они уже активно действовали, организовывались в политические боевые группы, издавали бюллетени, осуществляли акты саботажа и вели пропагандистскую работу. Создание партии означало умножение революционных сил, являлось самой насущной потребностью коммунистов, которые своей борьбой подготовили условия для ее возрождения.

Возвращаясь в Польшу, мы были уверены, что именно так и будет. Но лишь теперь я впервые услышала от товарищей названия этих боевых организаций, увидела некоторых руководителей.

Помню, например, первую встречу с товарищем Альфредом Фидеркевичем, старым коммунистом, одним из организаторов группы «Пролетарий». Но это, кажется, произошло несколько позднее.

Шел январь. Я постоянно общалась со знакомыми и незнакомыми мне людьми, устанавливала контакты. Встречалась я в то время и с Павлом, и со Стариком, познакомилась с его семьей, с женой (о которой Старик не без основания еще в Москве говорил: «Моя прелестная Фемка»), познакомилась со многими товарищами из Жолибожского района.

И вот пришел, наконец, день, когда счастливый Павел показал мне первый плохонький оттиск так горячо обсуждавшегося программного обращения партии. Слова эти я еще до сих пор помню на память:

...Польская рабочая партия призывает к непримиримой борьбе с немецко-фашистскими захватчиками...

...к самоотверженной работе по подготовке всеобщего восстания...

...к борьбе за свободную и независимую Польшу, в которой народ сам будет решать свою судьбу, за Польшу, в которой не будет ни фашизма, ни помещичьей эксплуатации, не будет ни концентрационных лагерей, ни позорящего народ гетто, не будет национального угнетения, не будет голода, нищеты и безработицы.

...В бой! На борьбу за свободную и независимую Польшу!

Мы победим.

■

Вновь и вновь перечитывала я это обращение.

Вскоре на серой бумаге плохой типографской краской был отпечатан первый номер «Трибуны вольносьци». Какая ж это была радость! Нам казалось, что номер удался на славу. А с какой гордостью мы читали: «Центральный орган Польской рабочей партии». Вот и удивляйся тут матерям, которые, держа в объятиях своего новорожденного младенца, не замечают, что ребенок-то еще уродец, и носик у него пуговкой, и жалкий пушок на головке.

В феврале мне предстояло приступить к моей основной работе — организовывать радиосвязь. При одной мысли об аппаратуре, потерянной во время прыжка, я приходила в отчаяние. Но делать было нечего, пришлось начинать с самого начала.

Раздобыть радиодетали, тем более для передатчика, было делом чрезвычайно трудным. Наконец мы отыскали людей, которые могли нам как-то помочь. Первые шаги в этом направлении сделал старый партиец, именуемый всеми нами Доктором.

Мое знакомство с Доктором началось с довольно забавного приключения. К Доктору в Милянувку мы должны были поехать вместе с Марцелием Новотко. К вокзалу на улицу Новогродскую мы приехали с ним порознь. Я увидела Марцелия издалека, однако из конспиративных соображений не подошла к нему. И вдруг потеряла Старика из виду. Подали поезд. «Сяду,— решила я.— Старик, наверно, тоже сядет, и мы встретимся на станции в Милянувке». Сошла я в Милянувке, а Марцелия нет. Что делать? Я почувствовала себя виноватой, ведь Старик, наверно, искал меня, а я держалась слишком далеко. Надо что-то предпринять, иначе не миновать «нагоняя», ведь со Стариком шутки плохи. Ни фамилии, ни адреса Доктора, конечно, я не знала. Конспирация есть конспирация, Старик знает — и достаточно. Я решила искать вслепую, рискуя попасть в заваруху.

Как найти врача в небольшом населенном пункте? Конечно, через аптеку. Я зашла туда, надеясь, что мне назовут адрес врача, вероятно единственного в этом маленьком поселке. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в Милянувке несколько врачей, а двое-трое даже из Варшавы. К тому же мне задали вполне логичный вопрос: о какой специальности идет речь? Признаться, я не сразу нашлась, но тут, к счастью, вспомнила, что кто-то при мне в шутку говорил: «бабский доктор».

— ...Гинеколог,— робко сказала я.

Но и гинекологов здесь было несколько. Минуточку, ведь наш Доктор — старый партийный деятель... И я быстро добавила:

— ...Он уже немолодой...

— А, тогда Фидеркевич, на улице Жвировой. Очень опытный, хороший врач,— вежливо объяснил мне аптекарь.

В приемной я учтиво пропустила вперед всех пациенток. Вошла последней.

— Слушаю вас, на что вы жалуетесь? —машинально спросил врач.

— Извините, пожалуйста,— сказала я, мокрая от волнения, как мышь.— Я, собственно, пришла к вам не как пациентка. Меня прислал к вам мой дядя, Старик.

Сказала и замерла в ожидании. Слово Старик должно было все прояснить. Если это наш Доктор, то он должен знать кличку Новотки и сразу отозваться. Если нет — нужно ретироваться. Но прежде чем я успела до конца продумать эту мысль, Доктор вскочил, схватил меня за руку и, не дав мне сказать ни слова, потянул за собой, крича жене:

— Стася, скорее обедать! Ведь это же Марыся приехала!

Неожиданный, сердечный прием. Незнакомые, но такие душевные, близкие мне люди.

Когда мы вдвоем остались пить чай за небольшим столиком, я рассказала Доктору о злоключении с радиоаппаратурой и о том, что необходимо срочно найти человека, который помог бы нам раздобыть нужные для радиопередатчика детали.

— Что-нибудь придумаем,— сказал Доктор.— Выше голову!

В тот же день я встретилась с одним техником, который хоть и не без внутренних опасений, как позже стало известно, но все же помог нам добыть кое-какие детали.

■

Вернувшись в Варшаву, я сразу побежала к Старику.

— Где тебя носило? — спросил он меня с таким грозным видом, что казалось, вот-вот разорвет на куски.

К счастью, я успела предотвратить взрыв его негодования, заявив с деланным безразличием:

— Доктор велел тебе кланяться и просил тебя завтра приехать.

Старик, пораженный, так и замер на месте, пыл его угас, а когда я ему красочно рассказала, как ловко вышла из положения, он перестал хмуриться, повеселел и наконец рассмеялся.

— Ну и повезло же тебе на этот раз. Молодчина!

Однако, чтобы я не считала себя совсем уж безгрешной, он тут же добавил:

— Но дисциплину ты все-таки нарушила.

■

Нигде не было таких чудесных цветов и фруктов, как в саду нашего Доктора. Когда мне нужно было перевозить бесценные для нас радиолампы и конденсаторы, я укладывала их в корзинку, сверху покрывала овощами, фруктами и цветами, а в самом низу прятала свой маленький револьвер.

Случалось, что эти цветы навлекали и опасность. Особенно поздним летом. Попутчики то и дело расспрашивали, как называется тот или иной сорт, кто и где их вырастил. Однажды на них соблаговолил обратить внимание даже немецкий офицер. Он любовался великолепными цветами, трогал их, а меня мороз по коже подирал.

— Милые, дорогие, не одаривайте меня так щедро,— просила я пани Станиславу и Доктора.

Но Доктор и слышать об этом не хотел, а пани Станислава заботливыми материнскими руками наполняла корзинку замечательными сливами и грушами, прикрывала их сверху цветами и говорила:

— Забирайте все это. Питаетесь вы кое-как, а такие фрукты на дороге не валяются. И, пожалуйста, без возражений.

Пани Станислава всячески проявляла заботу о нас. Стоило нам со Стариком прийти к ним, как на столе появлялось все самое лучшее, что есть в доме. Мы просили их не быть такими расточительными, но, не в силах противиться гостеприимству хозяев, все-таки принимались за еду. Спокойная, благожелательная атмосфера царила в этом доме.

Милянувский садик! Здесь священнодействовал садовник Войцех Адамчик, которого мы называли паном Станиславом. Погруженный в свою работу, деликатный, услуж-

ливый, он приносил нам немалую помощь, умело пряча документы, а если нужно было, засовывал куда-нибудь, закапывал, а то и перевозил на садовой тележке радиоаппаратуру.

Милянувский садик — или Милянувский приют, как мы иногда его называли,— доставлял Старику много радости. Он ходил по садику, словно его подменили, спокойный, умиротворенный. Забирался в густой малинник, бродил среди цветов, касаясь исполинских гладиолусов, двухцветных каприфолиумов, оплетающих дом, а позже, осенью, поглаживал кисти мелкого винограда и лепестки золотистых георгинов.

— Я у вас замечательно отдыхаю,— говорил он.

Как-то в один из удивительных вечеров, будто излучавших все оттенки света и запаха ранней осени, Старик полушутя-полусерьезно сказал:

— Как хотелось бы перед смертью хоть две недели пожить в таком вот доме, с такими цветами.

Была это мимолетная мечта или действительное желание? Кто знает?

На следующий день Старик, конечно, уже не помнил о своих словах. Но было в них что-то такое, что заставило меня и товарища Фидеркевича надолго их запомнить. Мимолетное, скромное желание очень измученного человека, к которому кличка Старик пристала, когда он был еще совсем молодым. Человека, который четверть жизни провел в тюрьмах и почти всегда жил под чужой фамилией, на нелегальном положении; постоянно преследуемый, он так и не познал простых радостей нормального существования; имел жену, детей, семью, но никогда не мог с ними жить вместе более или менее длительный срок. А между тем человек этот, как никто другой, любил жизнь в ее движении, в развитии. Любил активной, деятельной любовью. Он погиб через несколько недель после того дня, когда высказал такое неожиданное и такое естественное для человека желание.

■

С величайшими трудностями мы все же смонтировали передаточный и приемный аппараты. В мае 1942 года к нам прибыла новая группа товарищей, среди них Форнальская, Янек Красицкий, ну и мой «коллега по специальности» Метек Хейман. Им удалось перевезти аппаратуру.

И вот в мае наконец в эфире прозвучали позывные нашей станции. Связь была установлена. Это был один из самых радостных дней за время оккупации. Рацию обслуживали мы с Метеком Хейманом. Когда на посланные сигналы мы услышали ответ наших корреспондентов, когда нам передана была первая радиограмма, победа над фашистами стала казаться более реальной. Мы не знали, как выразить свой восторг, и вели себя как дети. Меломан Метек стал выбивать дробь на крышках от кастрюль, а мы вместе с Зулей и Янеком, в квартире которых находилась наша радиостанция, вторили ему на гребешках и свистели, создавая удивительную какофонию — гимн свободному эфиру.

Именно в эту квартиру на улице Шрогера, в районе Белян, я принесла, как основное средство самозащиты, свой небольшой шестизарядный револьвер. Метек с нескрываемой иронией взглянул на «мухобоя» и с тех пор, когда мы начинали свои передачи, клал рядом с моим маленьким револьвером свой огромный «кольт». А мне и в голову не приходило обижаться на Метека, потому что не так уж много партийцев имели в то время оружие.

Уже летом, до предела использовав квартиру на улице Шрогера, где наш хозяин, человек с добрым сердцем, видимо, не очень отдавая себе отчет в том, что он делает, ибо кроме нашей радиостанции прятал также и евреев (о чем, впрочем, мы не знали), мы с Метеком перенесли радиоаппаратуру за город, в Бураково.

Над нами тогда шефствовала старая коммунистка Аделя Матысяк, заботливо нас опекавшая. Она сняла нам квартиру в Бураково, при этом выдавая себя за родную тетку Метека. Для посторонних дело представлялось так: Метек (о котором Аделя рассказывала, что он — инженер, приехавший из провинции) проводит якобы отпуск у тетки. Это вроде бы выглядело солидно и не вызывало подозрений. Мои частые посещения комментировались кратко: я его невеста. Однако и в Бураково мы не испыты-

вали недостатка в тревогах, да и опасность нам угрожала немалая. Одно, хоть и незначительное по своим последствиям, событие запало мне в память, может быть, потому, что это случилось в последние дни нашей совместной работы с Метеком.

Однажды вечером я приехала на квартиру с радиограммами, которые ночью должна была передать. Около полуночи мы стали настраивать рацию, натягивать антенны.

Кругом стояла тишина. Летняя ночь нежно шелестела листьями — под окном в садике росла сирень. Через закрытые ставни и завешанные одеялами окна слабо доходили отголоски заснувшей деревни. Работа спорилась. И вдруг во время передачи очередной радиограммы я заметила, что Метек чем-то очень обеспокоен. Я сняла наушники.

Под окном, тут же, за забором, неожиданно затрещали кусты, и мы услышали топот множества ног и приглушенную немецкую речь.

Рука моя, лежавшая на ключе, задрожала.

С минуту Метек напряженно вслушивался в голоса, доносившиеся из-за окна. Затем схватил револьвер и, держа его в вытянутой руке, стал у двери.

Я вопросительно взглянула на него: что будем делать?

В ответ Метек лишь кивнул головой. Я поняла: продолжаем работать. Собрав всю силу воли, я снова застучала. Ровные ряды цифр шифра посыпались из-под ключа.

Кончила. Оторвала руку от ключа. Выключить аппарат уже не было сил. Взглянула на Метека. Он продолжал стоять в той же позе, бледный, как полотно. Револьвер, видимо, оттянул ему руку, на ней вздулись жилы.

Я застыла, опершись на спинку стула. Машинально положила руку на свой маленький револьвер, лежавший рядом с рацией. За окном еще несколько минут слышен был топот ног, шелест листьев. Потом наступила тишина.

В это трудно было поверить. То, что немцы не ворвались к нам, скорее вызывало удивление. Не доверяя тишине, мы стояли, не шелохнувшись. Но вот в какой-то неуловимый момент Метек опустил руку. Бесшумно двигаясь по комнате, мы прятали аппараты, сматывали антенны.

На следующий день соседи спрашивали, не слышали ли мы, как немцы кружили ночью вокруг домов.

— Нет, ничего не слышали,— отвечали мы.— А что, собственно, они могли искать в такой тихой деревне?

— Вот что значит невеста очаровала,— с понимающей улыбкой говорил хозяин.— Известное дело, молодежь...

В ответ мы слабо улыбались. Пусть думают, что от смущения. А на самом деле мы в эту ночь не сомкнули глаз — так были расстроены, что на какое-то время придется прервать работу. Другого выхода не было. Ведь как знать, может быть, гестаповцы напали на наш след? В полдень мы уже переносили аппаратуру. Начались новые скитания. С тех пор мы редко встречались с Метеком. Вместе с молоденькой Крысей, дочерью Адели Матысяк, мы поместили рацию в каком-то небольшом домике в деревне за Стругой. Метек с Зулей отправились в другом направлении.

Прошло несколько месяцев. Как-то январским днем я встретилась с Казиком — Янеком Красицким, и он сообщил мне страшную весть: Метек погиб.

■

Старик. Потом Метек. Потом Казик. Непостижимое, случайное стечение обстоятельств, а в результате — круговорот смертей, который как-то коснулся и меня. Да, знаю, это простое совпадение: как произвольно брошенные предметы вдруг неожиданно укладываются в странный, тревожащий душу узор, так и эти смерти втянули меня в роковой круг — случайные места наших встреч стали вехами на пути тяжких потерь.

Этот день был особенно трагичен. Ко мне он пришел с опозданием на сутки. 29 ноября 1942 года меня известили, что я должна встретиться с Метеком Хейманом

на площади Трех Крестов. Встревоженная, я побежала туда. И вот здесь Метек, едва владея собой, сказал мне:

— Старик погиб. Убит вчера вечером. Нет, не ранен. Убит!

Старик погиб...

Мрак вокруг, мрак, от которого нет спасения. Я шла, ничего не видя перед собой, словно онемев от горя.

Очнулась я лишь при виде Вицека и с трудом произнесла:

— Наш Старик погиб.

Пришла Малгося. Вместе мы пытались осознать случившееся, но поверить в него было невозможно.

■

Теперь я редко встречала Метека. Иногда, забегая к Янеку Красицкому, я заставала его там, решающего, как мы в шутку говорили, «проблемы мировой революции». Как-то в один из январских дней Янек дал мне знать, что хочет срочно встретиться. Придя в условленное место на улицу Ясную в район филармонии и увидев его, я поняла, что нас опять постигло какое-то несчастье. Так оно и было. Мы потеряли Метека.

Янек, с трудом подбирая слова, рассказал мне о его смерти.

Накануне Метек пришел на площадь Трех Крестов, да, да, на ту самую площадь, где недавно сообщил мне, что Старик погиб. Он стоял неподалеку от магазина радиотоваров «Мегон», ожидая Зулю, которая пыталась купить какие-то радиодетали. Но вдруг его окружили со всех сторон. Он хладнокровно выхватил револьвер и стал стрелять, пытаясь ускользнуть от полиции и жандармов. Люди потом рассказывали, что добежав до киоска, он закричал продавщице: «Бегите! Я буду отсюда стрелять!» — и еще пытался защищаться. Раненый, окруженный, одинокий, он последней пулей покончил с собой.

■

Янек Красицкий, милый наш мальчик... Мы восхищались им, любили его, видели в нем надежду партии. Как стремились мы укротить его излишнюю страсть к лихачеству, защитить от смерти. Помню, как-то дано было партийное задание пробраться к бывшей границе Советской Белоруссии. Задание это взялся выполнить Вицек. Однако Янек, узнав об этом, стал упрашивать и убеждать всех в том что именно он должен пойти туда, так как хорошо знает местность, людей, язык. Спор был довольно резкий, но Янек все же поставил на своем и только в знак примирения принял от меня на дорогу теплую куртку Вицека. Впрочем, это рискованное «приключение» удалось Янеку замечательно.

Но жить ему оставалось уже совсем недолго. 2 сентября гестаповцы ворвались в его квартиру.

Да, произошло это на той самой улице, где он сообщил мне о гибели Метека. На Ясной. Короткая борьба, безнадежная попытка к бегству и пуля, принесшая смерть. Иначе и быть не могло. Мы знали, что Янек не дастся живой в руки врага.

Об этой невозместимой, угнетающей душу смерти я узнала от Малгожаты. Малгося, которая вынесла столько ударов судьбы и которую еще ожидало столько мучений, плакала так, словно потеряла собственного сына.

Прошло немного дней с тех пор, и я сама была арестована. Мне казалось тогда, что круг этот будет замкнут моей смертью. Но там, в тюрьме, в Павяке, спустя несколько месяцев после моего ареста я через окно больницы увидела Малгожату — человека, бесконечно мне близкого.

Только позже я узнала, какие жестокие муки ей пришлось перенести. Любимая моя Малгося... Через нечеловеческие страдания прошла она, зная, твердо зная, что впереди у нее только смерть. Даже сегодня я трусливо пытаюсь отогнать от себя картины этих страданий...

26 июля 1944 года, когда сквозь тюремные решетки прорывался гул битвы и освобождение было близко, здесь, неподалеку от стен Павяка, были расстреляны Малгожата и Павел Финдер. Может быть, звук этих выстрелов достиг моей камеры. Не знаю. Этого я не знаю.

■

Я далеко отклонилась от воспоминаний о «мухобое», хотя он — маленький, почти незаметный — незримо присутствует в моих мыслях, связывая разрозненные воспоминания.

Мы работали не покладая рук. Без отдыха. Меняя квартиры, обманывая бдительность врага, петляя, заметая следы. Квартира на Жолибоже, затем Марымонт, Беляны, Бураково, Струга и опять Беляны. Бесконечные хлопоты, поиски квартир, переселения вместе с радиоаппаратурой. И всюду следовал за мной мой маленький револьвер — часто единственное средство самозащиты и защиты рабочего места, на которое поставила меня партия.

Как просто сейчас писать: меняли квартиры, переносили рацию, маленький револьвер. А сколько человеческих мук и переживаний скрывается за всем этим!

За каждым таким словом и за тысячами еще не высказанных слов — люди, десятки и сотни людей, без которых мы были бы бессильны что-либо сделать: Зуля Плосарек и Янек Бжезинский; тетя Аделя, ее муж Юзеф и дочь, прелестная восемнадцатилетняя Крыся,— вся эта семья была арестована за работой на рации и уничтожена гестапо. Под стенами гетто был расстрелян незабвенный Эдек Бониславский, его жена, всегда оказывавшая нам услуги (к тому же она прятала у себя советских партизан и скрывала евреев), и два их сына — маленькие связные партии. Вероника Галяк — незаменимая связная Новотко. Марымонтский сапожник — товарищ Сета и сын его Метек, маленький конспиратор, который под коротким своим пиджачишком помогал мне переносить аппараты и оружие. Сильвестр Марош, русский парень с раскосыми глазами, сражавшийся в наших рядах. После захвата гитлеровцами его родной смоленской земли он пробрался в Польшу и здесь под руководством нашей партии боролся за общее наше дело. Это о нем написал поэму Галчинский:

Сильвестр, русский, погиб, как поляк, за Варшаву.
За Варшаву! Как поляк. За Европу.

Я назвала лишь немногих. А в памяти возникает бесконечная вереница лиц. Обыкновенные люди, помогавшие нам. Бескорыстные, самоотверженные. Многие из них не были непосредственно связаны с партией, а помогали нам потому, что были поляками, потому что верили в правоту наших идей, в смысл нашей борьбы с оккупантами.

Старые коммунисты и молодые, лишь недавно посвятившие себя служению партии. Трудно передать, что это были за люди. Героизм и величие подвига самым естественным образом сочетались у них с будничной каждодневной жизнью. С одной стороны — погоня за куском хлеба, за горсткой угля: ведь каждый хотел жить; с другой — поразительная самоотверженность, необычайные, с риском для жизни, поступки. Свойственное каждому человеку стремление к счастью, зарождающаяся любовь и постоянный спутник всего этого — ненависть. Потребность коллективной деятельности, единства в борьбе с врагом — и чувство одиночества, затравленности во время уличных облав, организованной погони за людьми, у которых отобраны все их человеческие права.

Большие дела, истинный героизм и величие неприметных, казалось бы, поступков — все это, по сути дела, было буднями... Поступок моего товарища по партийной работе Рени Доманской, которая, в надежде спасти меня, с риском для жизни вернулась на квартиру, где я была арестована гестаповцами,— этот поступок поведал мне о человеческой дружбе куда больше, нежели самые мудрые книги.

Я называю здесь лишь отдельные имена, вспоминаю лишь о горсточке борцов партии, пытаюсь хоть что-то рассказать об их судьбе, об испытаниях, которые выпали на их долю. Но слова оказываются бессильными... Нет, не нашли мы еще правдивых слов, чтобы поведать о трудном и простом героизме этих людей.

■

Когда свора гестаповцев окружила мою радиостанцию в Медзешине, я даже не успела протянуть руку за пузырьком с цианистым калием — этим оружием побежденного. Под подушкой, правда, лежал револьвер, на этот раз другой, большой, но ничего уже нельзя было сделать. Как знать, находись при мне тогда мой «мухобой», может быть, меня уже не было бы в живых...

Потом, позже мои родственники отыскали «мухобой» в Варшаве и вместе с моими записочками из тюрьмы закопали его в садике. Много лет спустя я извлекла все это.

Много лет спустя, уже в свободной Польше, я встретилась с почти незнакомым мне другом, бывшим полковником советской авиации, с тем самым, который когда-то подарил мне маленький револьвер со словами: «Пусть он хранит тебя от смерти».

Полковник этот приехал в Польшу на какой-то международный съезд. Не зная моей фамилии, не зная даже, жива ли я, он все-таки случайно напал на мой след, разговорившись с моим старым приятелем Ромуальдом. Ромуальд по телефону пригласил меня в кафе.

— Там ожидает тебя некто,— сказал он,— фамилия ничего тебе не скажет. Но может быть, ты помнишь об одном маленьком эпизоде, происшедшем много лет назад. О револьвере, врученном тебе на подмосковном аэродроме...

Я хорошо помнила об этом маленьком эпизоде. Помнила разумом и сердцем. Но при мысли о предстоящей встрече меня охватило волнение и беспокойство. Как же я узнаю, найду его, если совершенно не помню его лица? Однако в толпе посетителей кафе, среди десятков незнакомых лиц я сразу узнала этого человека. И он, прежде чем я сделала первый шаг в его сторону, встал из-за стола и, тяжело хромая, пошел мне навстречу. Долго сидели мы с ним и говорили, говорили... Кофе давно остыл, рюмки с вином так и остались нетронутыми, а мы все восстанавливали в памяти стершиеся следы давно минувших лет. И не только события оживали в этой нашей беседе. Оживала и крепла какая-то неожиданная близость, словно нас соединяла не только его забота обо мне в те дни и необычайный подарок в трудную дорогу, но и нечто неуловимое, возникающее иной раз между почти незнакомыми людьми, которых связывает общее большое дело.

— Я желал вам остаться в живых. И хотя сам я не раз находился на волосок от смерти — в трудных битвах, в горящем самолете,— всегда как-то верил, что вы не должны погибнуть. Это было бы слишком нелепо. И вот, пожалуйста: невероятно, непостижимо, но вы здесь!

Передо мной сидел летчик-герой. Пожилой, измученный, весь израненный, потерявший ногу человек. Человек с очень больным, угасающим сердцем.

На обратном пути из Варшавы больное сердце доконало его. До Москвы долетели лишь его останки.

Смерть этого едва знакомого мне человека, словно связавшего два далеко отстоящих друг от друга периода моей жизни, была для меня тяжелой утратой.

Трудно примириться с неотвратимой правдой жизни: сердце человеческое невыносливо.

■

Мой сынишка как-то спросил меня:

— Мама, когда ты сражалась с немцами, у тебя, наверно, был большой автомат?

Мальчик мой, не было у меня и в помине никакого автомата, а был всего лишь маленький «мухобой». Револьвер, который служил мне и помогал в борьбе, а раз даже спас мне жизнь самим фактом своего отсутствия: я не смогла пустить себе пулю в лоб.

Вот он. Маленькая, ничего не значащая частичка страшных, канувших в прошлое лет.

Иногда я думаю: тебе, сынок, не должно быть безразлично то, что мы помним о тех далеких годах.

А может быть, человеческое сердце все способно вынести?

МОЛЧАЛИВАЯ СТЕНА

Маршрут этот я знала на память. В трамвае я с закрытыми глазами могла почти безошибочно определить — сейчас Маршалковскую пересекает такая-то улица, а сейчас мы въезжаем в развалины на Крулевской, а вот и стены гетто. Трамвай долго шел почти касаясь молчаливой стены, которой была огорожена территория гетто. Наконец, кажется, на Бонифратерской улице стена сворачивала в сторону, огибая кривые, жалкие улочки Муранова, а трамвай бежал вперед — к виадуку. Характерное гуденье вагона на виадуке свидетельствовало о том, что мы въезжаем в Жолибож.

В районе улицы Гданской мой маршрут обрывался. Здесь находился небольшой каменный дом, на четвертый этаж которого я торопливо вбегала день за днем. Ровно в 9.00 я приступала к работе. Именно в это время маленький, густо оплетенный антенной передаточно-приемный аппарат, который я ежедневно старательно извлекала из тайника, а потом вновь туда прятала, начинал вести прием. Среди множества заполняющих эфир сигналов я с легкостью вылавливала рассыпчатую морзянку — адресованный нам условный пароль, и посылала в ответ свой пароль. И так на расстоянии нескольких сотен километров начинался наш разговор. Зашифрованные сведения, включенные в ряды цифр, с космической скоростью преодолевали кордоны и полыхавшие огнем фронты. Во время этой напряженной работы, которая в любую минуту могла быть прервана грохотом прикладов в дверь, ко мне на короткое мгновение приходило острое ощущение свободы. Ведь отсюда, из оккупированной Варшавы, я вела переговоры с находившимися на свободе товарищами о ходе нашей борьбы.

А через час-два я вновь стояла на остановке в ожидании трамвая, который повезет меня по тому же маршруту, на этот раз от Жолибожа через виадук, мимо молчаливой стены, через развалины Крулевской.

Проходили недели. Путь не менялся. Но дни отличались степенью напряжения. Вчера трамвай задержали на площади Вильсона, сегодня — облава в районе Саксонского сада. Нужно было уметь вовремя соскочить, почуять надвигающуюся опасность, уловить предупредительный шепот неизвестного прохожего.

Время шло, надо было менять квартиру. Немцы преследовали нас даже в эфире. Если передачи слишком долго велись из одного и того же места, то при внимательном подслушивании не стоило большого труда обнаружить координаты радиостанции. Необходимо было как-то петлять, менять районы, переносить аппаратуру за пределы города, менять часы работы, пароль, чтобы как-то продлить существование радиостанции.

Мои прежние «хозяева», Янек и Зуля, помогли мне установить рацию у знакомого сапожника на Марымонте. Немало пришлось поломать голову, прежде чем мы составили план — как перенести довольно большой передатчик (собственной конструкции), почти не разбирая его. Но план планом, а осуществить его оказалось делом чрезвычайно трудным. С нас сошло десять потов, пока все детали наконец не были перетащены на новую квартиру и я смогла возобновить работу.

Здесь, на Марымонте, с меня не сводили любопытных глазенок двое чумазых, милых, молчаливых ребятишек. Они следили за каждым моим движением, пока я не исчезала за перегородкой отведенного мне угла. Когда, окончив работу, я покидала квартиру, два кудлатых человечка с минами солидных конспираторов молча провожали меня до ворот.

И опять возвращение домой. Беляны, Жолибож и неизменная стена гетто. Молчаливая, разделяющая два мира стена, с существованием которой невозможно было примириться. Бессильный, мучительный протест вызывала эта стена.

Лишь один раз я коснулась стен гетто с внутренней стороны. Мне казалось, что я так и не узнаю всей правды о тех годах, если не увижу собственными глазами хотя бы на минуту жизнь за стеной гетто. Конечно, видела я очень немного. Ведь я находилась в привилегированном положении человека «оттуда», который в любую минуту может покинуть гетто. Покрытый газетами труп посреди улицы, крик обезумевшей женщины, полунагие дети, выпрашивающие крохи еды, и наряду с этим сытые, хоро-

шо одетые люди, с безразличным видом протискивающиеся сквозь людской муравейник на страшных улицах гетто,— все это врезалось в мою память, так же как экзекуции на улицах Варшавы и ночные расстрелы в Павяке.

Тревожной весной 1943 года до нас дошли первые отголоски сражений за стеной гетто. В тот день моя трасса была уже перерезана. Я бежала через Старое Място маленькими кривыми улочками, чтобы добраться до своей станции и передать сообщение: «Гетто поднимается на борьбу». В сумерках на небосклоне в северной части города вспыхнуло зарево. Город был взволнован неожиданной вестью. Еще не все отдавали себе отчет о масштабах этой борьбы, не знали, насколько решительной она будет. Но на варшавской улице уже зародилась горячая симпатия к восставшим и восхищение их мужеством. И в этом восхищении тонули голоса обывателей.

Пани Гизела, хозяйка квартиры, у которой мы с Вицеком снимали комнату, особа, политические взгляды которой отнюдь не отличались прогрессивностью, узнав о восстании в гетто, прибежала к нам возбужденная:

— Я бы все сделала, чтобы помочь этим людям,— сказала она.— Сегодня гибнут они, а завтра нас уничтожат. Теперь судьба нас сроднила.

В тот вечер мы не зажигали у себя света. Стоя у окна на далекой от гетто улице Вильчей, мы всматривались в грозное зарево над герметически закрытой для нас территорией. Бессильные и молчаливые. Страшно устав от дневной работы, я в конце концов заснула. Но запах дыма и ощущение рези в глазах, словно их засыпало раскаленным песком, долго еще не покидали меня.

С тех пор когда внезапная тревога будила меня среди ночи, я невольно становилась свидетелем скрытых мук родного мне и такого сдержанного обычно человека. В розоватом свете отражавшегося в окнах зарева я каждую ночь видела силуэт мужа. Он неподвижно стоял у окна, всматриваясь в зловещий мрак над сражающимся и умирающим гетто.

Свинцовые клубы дыма постепенно вытеснили на севере пурпур с небосклона. Потом дым рассеялся, горизонт в той стороне, еще затянутый серой пеленой, слегка посветлел, а вскоре уже приобрел спокойный, ничем не замутненный весенний колорит. Стрельба прекратилась. Огромное скопище людей, отгороженное от нас зловещей стеной, было истреблено.

И вот я вновь еду по тому же маршруту. Опять, как прежде, с закрытыми глазами угадываю каждый перекресток Маршалковской, Крулевскую, стены уничтоженного, пустого гетто. На задней площадке вагона люди с напряжением всматриваются в эти стены.

И вдруг в районе Бонифратерской улицы, где стена огибает убогие и теперь уже совершенно безлюдные улочки Муранова, на пятом этаже устрашающе пустого, словно вымершего дома я увидела электрический свет.

Кто среди бела дня может жечь свет в этом мертвом доме?

Неужели кто-то еще жив на этой опустошенной земле?

Когда я возвращалась домой, свет все еще горел. С тех пор я каждый день с каким-то мучительным нетерпением ждала появления этой стены. Проезжая мимо на трамвае, я не могла отвести глаз от освещенного пустого окна на пятом этаже. Словно последняя ниточка связывала погибшее гетто с миром людей.

Было уже лето, и в ярком блеске дня мерцающий свет в окне поблек. Однажды трамвай неожиданно затормозил как раз напротив того дома. И вдруг мне представилось, что вот сейчас, сию минуту, там, в тех окнах, покажется кто-то и станет звать на помощь. Но там была лишь глухая, освещенная тишина. Трамвай тронулся, и тогда я заметила, что этот странный, тусклый свет привлекал взоры многих людей.

Мужчина, стоявший рядом со мной, как будто отгадав общее беспокойство, вполголоса сказал:

— Я жил недалеко отсюда. Из этого окна обезумевшая женщина выбросила своего ребенка. Сама не успела выскочить.

Проходили недели и месяцы. И среди множества мыслей и дел, которыми я бывала озабочена, направляясь каждое утро к трамвайной остановке, всегда находилось место неотступному, преследовавшему меня вопросу: увижу ли я еще сегодня освещенный прямоугольник окна?

А в окне на пятом этаже все горела электрическая лампочка — единственный живой глаз безжизненного фасада.

И потом, позже, когда я вынуждена была переносить свою рацию в разные концы города, я уже не по необходимости ездила к стенам гетто, а просто для того, чтобы еще раз увидеть тусклый огонек, убедиться, что он горит, как будто этот никому не нужный свет мог иметь хоть какое-то значение...

Один из дней позднего лета. Воздух густой, тяжелый. Стоя на задней площадке трамвая, я почти машинально повернула голову в сторону «моего» дома. И впервые за много месяцев не смогла сразу найти «то» окно. Напрасно искала его взглядом. Стена была серой и молчаливой, а все окна стали, как близнецы, похожи одно на другое. Слабый свет догорел до конца.

Оборвалось, навсегда ушло нечто очень необходимое и вместе с тем мучительное.

■

В наши дни из центра города в Жолибож ведет новая трасса. Широкие улицы, дома в современном стиле, освещенные дугами матовых фонарей, обрамленные массой зелени. Кроме названий ничего не осталось от лабиринта старых, хилых улочек, от их уродства, от их унизительного прошлого. Я теперь уже не способна отыскать ни одну из известных мне когда-то улиц.

Но в одном месте, где высится массив светлых домов, я всегда ощущаю тот самый, так хорошо знакомый мне тревожный спазм сердца. Здесь долго не хотело закрыться открытое веко мертвого гетто. Здесь, под этим спокойным сегодня небом, раздался душераздирающий крик обезумевшей матери. Да, я совершенно точно знаю — это было здесь.

ДВЕ ЗАПИСКИ

Так приходит смерть: в стуке гестаповских сапог, в грохоте прикладов в дверь. Еще несколько мгновений, и двери будут сорваны, а я окажусь до ужаса рядом — лицом к лицу — с теми, кто несет гибель. Я одна. Реню они не найдут, она спасена. Грохот усиливается — я буду одна до самого конца, до неожиданно приблизившегося момента, который так трудно понять. Мысли проносятся в моей голове с быстротой молнии, и вот я уже почти не думаю, но каждая мышца напряжена до боли — только бы не поддаться, не поддаться хаосу, который надвигается; не знаю, как его назвать, но чувствую его, как частоту своего дыхания; не пугаться, пусть будет так, как было, когда я еще жила,— ведь теперь уже недолго.

Стук в дверь переходит в оглушительный грохот, который отдается в висках, в ушах. Срываю наушники, отдергиваю руку от ключа. Руки сами, быстрее чем я, в состоянии принять решение, хватают какие-то документы, шифры, пароли — уничтожают их, но на столе остаются предметы побольше, которых я не смогу уничтожить,— орудия моего труда и борьбы, радиоаппаратура, наушники, ключ. Я вдираюсь в сети оплетающих комнату проводов и напряжением всех сил дергаю и рву их. Еще одно движение, и я, подавленная собственным бессилием, сбрасываю на пол свой замечательный аппарат, о котором в течение стольких месяцев так трогательно заботилась. И еще последнее движение: выхватить из-под подушки револьвер и отсечь себя от событий, которые должны наступить через минуту. Поздно! Комната наполняется криком множества разверстых глоток. Яростные взгляды и движения цепких рук. Одним прыжком — лишь инстинкт преследуемого человека руководит мною — я, без малейшей надежды на спасение, выскакиваю на веранду, хватаюсь за барьер, перепрыгиваю и попадаю прямо в руки гестаповцев, окруживших дом.

Я еще вижу все вокруг, но знаю, что на самом деле ничего этого уже нет. Дом за деревьями с верандой, оплетенной диким виноградом, тихий, облитый сентябрьским солнцем дом — разве это когда-то существовало в действительности? И вообще, разве бывает где-нибудь безопасное место, где сердце может биться спокойно?

Меня втаскивают в комнату. Сколько их — не могу даже мысленно представить. И вдруг все становится поразительно ясным: замкнулся какой-то круг, и не осталось ничего, даже щели, через которую могла бы просочиться хотя бы капля надежды. Надежды, которая — знаю — означала бы лишь слабость. И еще я знаю, что через минуту раздастся выстрел, и все станет еще более простым. Так вот он, тот момент, о котором думалось иногда, почти без слов, который напоминал о себе каким-то спазмом в периоды опасности, напряженной конспиративной работы и проблеском тревоги проскальзывал во время спокойного и совершенно отвлеченного разговора.

Об этом думалось и говорилось, и, казалось бы, ничего неожиданного тут не было, но только теперь я заглянула в пропасть между сознанием того, что смерть может прийти, и моментом ее вторжения. Это было так, как будто сон и явь смешались и связь между ними утерялась. От сновидений спасает явь, смерть — явление необратимое. Круг замкнулся, это необходимо понять немедленно. Только тогда наступит спокойствие — иное, трудное, которое никогда раньше не приходило.

А может быть, страх перед смертью более мучителен, нежели сама смерть?

Кровь от лица словно отлила куда-то далеко, к пальцам. Руки лежат спокойно, не дрожат, только на шее чувствую, как быстро-быстро бьется жилка. Как бы не заметили. Подумают, что от страха,— начнут издеваться.

Нужно до предела напрячь волю, не выдать себя даже жестом, все собрать воедино — мысли, тайны — и нести все это в себе до конца вместе с ребенком, которого уже не будет.

Я сижу на табурете в углу комнаты, опершись о стену. Бьется жилка на шее.

То, что происходит теперь здесь, в этой комнате, угнетает, и вместе с тем в этом есть что-то от гротеска. Множество людей беспрерывно двигаются, жестикулируют, от их гортанных пронзительных голосов, кажется, вот-вот обрушатся стены. А я наблюдаю за всем происходящим как бы со стороны, одеревеневшая, словно это не имеет ко мне никакого отношения. Вот эти сверхчеловеки жадно хватают предметы, имеющие хоть какую-то материальную ценность: мою нехитрую одежонку, туфли. А теперь они грузят в чемоданы обломки радиооборудования, то, чем я боролась с ними. Чертовски, однако же, привязалась я к этим аппаратам, ну просто на диво.

Неприятная неожиданность. Двое гестаповцев просматривают содержимое моей сумки: несколько мелких, обиходных предметов, связывающих живого человека с повседневностью,— гребень, зеркало, носовой платок, несколько мелких безделушек, смешных, казалось бы, но дорогих мне пустячков. Но почему я нервничаю, когда все это уже не может иметь для меня никакого значения? Ведь через минуту все важное и неважное смешается, расплывется, и я перестану сознавать что-либо.

Но вот я вижу в руках гестаповца нечто такое, от чего мне сразу становится страшно — маленький перочинный ножик в футляре. Там, в этом футлярчике, спрятана маленькая записочка — единственное и последнее письмо от мужа из тюрьмы, из Павяка.

Если они найдут это, что станет с моим Вицеком? Ведь они будут издеваться над ним, замучают его. Передо мной возникает вдруг его лицо, совсем близко, как живое, и мне кажется, что сейчас я не выдержу, совершу что-то невероятное, начну кричать, вырву это из их рук. Но сдвинуться с места — нету сил. Мне душно, дурно. Теперь я знаю, что такое смертельный страх. Глаза не могут оторваться от одного-единственного маленького предмета. Чудовище все ближе, ближе, я вижу только пальцы, пальцы, десятки пальцев, а в них крохотную бумажонку.

Футлярчик раскрыт. Вот он, ножик... кто-то хватает его, и маленькая, туго скрученная записочка выскальзывает на пол. Словно вся жизнь моя зависит сейчас от этого клочка бумаги. Холод пронизывает меня всю, на верхней губе проступают мелкие капельки пота.

Я опускаю глаза, чтобы никто не заметил моих переживаний. Ноги, ноги, много пар ног, они движутся, топчут жалкую бумажонку. И никто не подозревает, что на табурете перед ними сидит лишенный жизни человек, а то, что еще живет в нем и чувствует, топчут сапоги.

Не знаю, сколько продолжалась эта мука. Потом приступили к допросу. В ответ они не услышали ни слова. До моего сознания дошло только, что о положении моем

они знают. Откуда? Позже я сообразила, что они нашли в сумке врачебную справку, которая должна была спасать меня от облав. Но тогда я обо всем думала через призму маленькой записки, которую они так и не нашли, и в памяти вставали столько раз читанные мною слова: «Ты должна сберечь самое большое наше сокровище...» Потом они принялись уговаривать, что, мол, это для спасения ребенка... признание смягчит... и много других ненужных слов. Потом стали таскать за волосы, избивать. А я упорно думала лишь об одном: скорей бы кончилась эта мучительная болтовня! Скорей бы увели меня отсюда, из этой комнаты, где лежат только мне адресованные слова!

Было уже далеко за полдень, когда к дому подъехал еще один автомобиль. Из него вышли два немца: важный чин из гестапо и его переводчик. Гестаповец вбежал в квартиру и потребовал доложить о ходе обыска. Затем, приказав продолжать поиски соучастников, он обнюхал все углы, подбежал к кровати и велел искать в ней оружие. Кто-то с усердием бросился выполнять приказ, и в мгновение ока содержимое распоротого матраца оказалось на полу. Заклубились, закружились вороха соломы, и маленькая записка потонула в ней, унося с собой мои страдания. Словно гора свалилась с моих плеч, казалось, ничто плохое не может уже со мной случиться.

С тех пор я знаю, что, покуда бьется у человека сердце, смерть может явиться к нему в разных обличьях.

Важный гестаповец приказал мне встать. Посыпались вопросы. Я, неожиданно для себя самой, гордо ответила:

— Была здесь одна, больше ничего не знаю и отвечать не буду.

— Das ist eine typische verfluchte Polin, das ist Bolschewistin *,— рассвирепевший гестаповец с силой ударил меня в лицо.

Кто-то из стоявших рядом тихо сказал ему по-немецки:

— Sie ist schwanger.**

Ответ был краток, в нем звучало бешенство:

— Solche Weiber sollen nicht gebären.***

Я слушала, до боли стиснув челюсти, и внушала себе: ничего, выдержишь. И если будет еще страшней — тоже выдержишь. Знаю, уверена. Потерпи, это недолго, а потом настанет тишина. Ничего не будешь слышать, ничего не будешь чувствовать. Никакой боли. Выдержишь.

Меня вывели в сад. Поставили под деревом, лицом к стволу. Я стояла совершенно спокойная. Ведь, собственно говоря, жизнь кончилась уже раньше, вон в том деревянном доме, рядом. Там испытала я первый смертельный испуг, и там наступило полное напряжения спокойствие.

Здесь все было иначе.

Я стояла лицом к стволу, глядя прямо перед собой. Никогда раньше я не видела мир таким, как в ту минуту. В поле моего зрения находилась поросшая вереском поляна с деревьями. Я воспринимала каждое дерево по частям: узорчатая кора, листья. Каждый лист в отдельности — словно он существовал сам по себе. Густая сеть выпуклых, отчетливых жилок. А под ногами ярко-фиолетовые, странно увеличенные головки вереска.

Время словно остановилось. Мною овладело такое чувство, как будто из меня медленно, капля по капле, вытекала кровь. Никакой боли. То же самое, вероятно, чувствуют люди, которые замерзают в снегу, заблудившись. Жизнь кончилась, бороться бессмысленно — значит, никакого решения можно не принимать.

Я ожидала, стоя спиной к своим мучителям, и как-то болезненно ощущала то место на голове, которое должна была пробить пуля. Через минуту будет еще спокойнее, думала я. Даже выстрела я не услышу, и это будет конец.

Но вдруг все изменилось. Перед моими глазами — бронемашина, за ней на грузовиках — гестаповцы с винтовками. А я втиснута в машину и, странно маленькая, с окровавленным лицом, с растрепанными волосами, еду куда-то в окружении страш-

---

* Типичная проклятая полька, большевичка *(нем.)*.
** Она беременна *(нем.)*
*** Такие женщины не должны рожать *(нем.)*.

но враждебных, смертельно чужих мне людей. Прежде чем я успела понять, что меня везут в Варшаву, снова начался перекрестный огонь вопросов:

— На кого работала? С какого времени? Где те, кто тебе помогал, говори!

Я молчала. Тишине пришел конец.

Кровь словно прибывала, капля по капле. Так должны чувствовать себя люди, пробуждающиеся от долгой летаргии. Состояния инертности, бессилия как не бывало.

Я начала лихорадочно соображать.

Меня везут в Варшаву, в гестапо. Значит, все нужно начать сначала. Выстоять. Конец уже близко. Последний отрезок трудного пути. Как странно переплетается все в жизни. Медзешин. Радосьц. Ведь именно здесь я пробиралась в ту зимнюю ночь после прыжка.

Гестапо. Бесконечный поток дней. Следствия, зверские избиения, крики, обещания и угрозы. Но даже те страшные дни моего отчаянного бунта, когда я постоянно чувствовала привкус крови на губах и испытывала стыд за людей, ставших зверями, даже те дни не были беспросветно трагическими. Судьба преподнесла мне неожиданный дар — великолепный (хотя, вероятно, достойный осуждения) пример дружбы.

Когда гестаповцы вторглись в квартиру, где работали мы с Реней, я была одна.

Реня вышла из дома всего лишь несколькими минутами раньше. У нас существовал такой распорядок работы: в половине передачи, когда я заканчивала прием радиограмм, Реня тщательно прятала их на дне своей сумки и выбегала, чтобы успеть на варшавский поезд. Я в это время сигнализировала короткий перерыв, прощалась с Реней, проводив ее до дверей, закрывала их на ключ и спешила обратно к рации, чтобы приступить к передаче наших радиограмм.

Итак, Рени не было. Я верила, что она на свободе.

Во время обыска гестаповец привел соседку, которая услужливо подтвердила, что здесь находилась еще одна молодая женщина. Я крикнула, что это ложь, что никакой женщины здесь не было, и получила удар в лицо.

А тем временем бегущая к станции Реня была внезапно кем-то задержана недалеко от дома. Ее обыскали и отпустили. С минуту она колебалась, не вернуться ли назад, ко мне. Однако рассудок победил, и она побежала дальше.

В Варшаве она получила указание немедленно скрыться и порвать всякий контакт с Медзешином.

Весь день Реня бродила по городу в поисках какого-то выхода, искала способ установления связи со мной. Но время шло, она была в полном неведении, тревога ее все возрастала. Все ее усилия оказались тщетными. Так и не получив никакой вести обо мне, Реня вернулась в Медзешин. Было уже совсем темно, когда она подошла к нашему домику. В этом домике я изо дня в день посвящала ее — свою понятливую ученицу — в таинства радиосхем, обучала несложным комбинациям точек и тире — азбуке Морзе. Здесь мы учились, читали, здесь в долгих беседах крепла наша дружба... И здесь, еще сегодня утром мы, как обычно, вместе развешивали антенны. Теперь антенн уже не было, но Реня этого не знала. Она вернулась с надеждой застать все как прежде. Темные окна ее не насторожили. Реня отворила калитку. Спрятавшиеся в темноте гестаповцы немедленно схватили ее.

А я в это время уже находилась на улице Шуха, в прямоугольной камере, называемой «трамваем». Стояла лицом к стене. Отвернуться от стены не разрешалось. Тяжелая решетка отделяла камеру от коридора.

Почувствовав сильную слабость и тошноту, я подошла к решетке и потребовала, чтобы меня выпустили хотя бы на минуту. Гестаповец открыл решетчатую дверь и повел меня по коридору. В этот самый момент, словно в ответ на звук моего голоса, раздался стук из другой камеры. Стучали так сильно и нетерпеливо, что гестаповец, вопреки существующим здесь правилам, выпустил и другую женщину.

В уборную вбежала Реня. Прежде чем я успела оглянуться, она крепко обняла меня и быстро-быстро начала говорить:

— Я страшно беспокоилась о тебе. Вернулась. Меня поймали. Не надо ничего говорить — чему быть, тому не миновать. А уж они-то как бесились, что ты не показала на меня! Теперь мы должны признать друг друга. Я придумала план. Мы познакомились в твоем доме. У доктора, где я лечилась. Не говори, что я жизнью своей по-

жертвовала, все равно не было бы мне покоя, не говори — и так тяжело. Может, плохо я поступила, но иначе не могла. Тебе, наверно, холодно, возьми мой свитер.

— Ренечка, милая, выбрось это из головы! — крикнула я.

И вдруг мы замолчали, приблизив друг к другу разгоряченные лица.

В этот момент ворвался гестаповец и с бранью вывел нас. Я шла ошеломленная и подавленная. Что она наделала, что наделала... Как защитить ее? Как отразить удары, которые теперь будут уже сыпаться на нас обеих?

От ударов мы не уберегли, хотя тупость гестаповцев оказала нам немалую услугу. На следующий день после первых тяжелых допросов нас отправили в Павяк. Меня велели поместить в одиночную камеру, Реню — нормальным путем через «карантин» — в общую камеру. Но с этого дня нас ежедневно возили на допросы, погружая вместе с десятками других заключенных в одну тюремную машину. Там, прижавшись друг к другу, мы договаривались о том, как будем отражать обвинения, а на обратном пути в подробностях делились тем, как проходил допрос. Гестаповцев бесил тот факт, что наши показания совпадали до мелочей. Был отдан приказ проверить, действительно ли я изолирована от остальных заключенных. Проверка полностью подтвердила это: я находилась в камере-одиночке № 39. А на следующий день нас опять грузили в общую тюремную душегубку.

Что нам это дало? Может быть, Реню стали меньше избивать, меньше увечить ее тело? Или удары, наносимые мне, стали менее болезненными?

Спустя семь дней мы подписали ничего не значащие протоколы допросов, которые нам даже не зачитали.

Гестаповец Рудольф, в последний раз ударив меня кулаком, сказал:

— Ты и так приговорена к смертной казни.

С изуродованным и опухшим лицом я возвратилась в Павяк, в свою одиночку, в камеру № 39.

Что же дальше? Допросов больше не будет? И как долго придется мне ждать?

Дни проходят в одиночестве. Я не верю этому спокойствию. Каждое утро ожидаю, что меня опять возьмут на допрос, может быть, на последний... Прислушиваюсь к шагам в коридоре — может быть, это уже за мной?

Голода почти не чувствую. Когда в полдень мне просовывают в камеру миску с супом, я выбираю из нее только неочищенную картошку, снимаю кожицу и съедаю, наверняка зная, что через минуту у меня начнется рвота. Борюсь против окончательного истощения. Борюсь и с одиночеством. Я хочу, мне необходимо слышать человеческий голос. И вот в памяти начинают оживать давно забытые стихи, стихи, которые я когда-то слышала, выучила, запомнила... Оживают детские стихи, читавшиеся в семейном кругу («ах, как замечательно декламирует этот ребенок!»), оживают поэтические строки, впервые услышанные в школе. И вдруг — русские слова .. Пушкин... (откуда я это знаю?). А потом «Слово о Якубе Шеле»*, вся поэма, целиком, Маяковский, Броневский, Станде...— и «Фарис» и «Бенёвский», и «Марафон»...**

Да не все ли равно что, лишь бы источник не иссяк! Как я благодарна своей спасительной памяти! Я меряю камеру шагами и самозабвенно говорю, говорю, часами, и слышу свой голос. Потом мне кто-то рассказывал, что на нашем блоке прошел слух, будто заключенная из одиночки № 39 сошла с ума — она целыми днями разговаривает сама с собой.

Время от времени я замечаю, что кто-то заглядывает в «глазок». Знаю, это Реня. Я постоянно чувствую ее заботу, но не могу выразить, как взволнована этим, как благодарна ей. А перед вечерней поверкой ко мне иногда забегает кто-нибудь из наших врачей — Ирена Кононович, наша любимая Ноно, или Марыся Копец,— с ложечкой микстуры, с безвредным порошком, чтобы под этим предлогом иметь возможность перебросить несколькими словами, оставить дружескую улыбку.

Октябрь 1943 года. На улицах Варшавы карательные отряды уничтожают сотни людей. Все чаще формируются транспорты заключенных, отправляемые в неизвестном направлении. Почти каждую ночь узников вызывают на расстрел.

---

* Поэма Бруно Ясенского.

** «Фарис» — элегия А. Мицкевича. «Бенёвский» — поэма Ю. Словацкого. «Марафон» — патриотическая поэма К. Уейского.

Я уверена, что мой конец не заставит себя долго ждать. Когда после утренней поверки в коридоре начинается движение, я прислушиваюсь, не заскрежещет ли ключ в дверях моей камеры. Окрики немцев вызывают такой же спазм сердца, как во время допросов на улице Шуха. Ночью опять будет перекличка смерти.

Камеры, расположенные на левой стороне, камеры-одиночки пока закрыты. Но я слышу, как на противоположной стороне открываются общие камеры. Крики, топот, беготня. Торопливо выкликаются фамилии. «Raus! Raus!» Шарканье множества ног, проклятия. Вот людей выстраивают, выводят... Каждая названная фамилия похожа на мою. Куда они идут? Неужели это конец? Я готова, я жду своей очереди, не сводя глаз с двери, изолированная даже от своих подруг по тюрьме. Потом наступает тишина, словно внезапно прерывается рыдание. Заснуть в такой тишине невозможно.

Я сажусь на нары. Но потом все-таки засыпаю, и мне снятся трупы. Вижу умирающую мать, мужа, сестру. Пробуждаюсь продрогшая, вся в холодном поту. Не дай бог опять заснуть. Ногтем на стене вывожу имя мужа. О нем мне известно лишь, что недавно его вывезли в Освенцим. Мне необходимо сейчас хоть какое-то, пусть призрачное, условное, но зримое свидетельство того, что он есть на свете.

Навязчивая мысль посещает меня: как-то в камеру заползло насекомое. Я заметила его на стене и стала внимательно следить за каждым его движением. Жучок полз, срывался, снова с трудом карабкался вверх, кружил, кружил и потом вновь подползал к изгибу решетки, чтобы скрыться, уползти, когда я на момент потеряю его из вида.

И вдруг мне страстно захотелось сжаться в комочек, превратиться в такого вот маленького жучка, выползти из этих стен и пусть погибнуть, но только не здесь, а там, под небом, где живут люди. Утром после поверки, освежившись холодной водой, я опять принималась ждать.

Так проходили дни и недели. И вот в какой-то момент, когда ждать и терпеть стало невмоготу, пришло решение — мучительное, но твердое: так или иначе, я приговорена к смерти, какой же смысл ждать, испытывать такие страдания, умирать каждый день, каждую ночь? Да, конечно, теперь самое время, пока еще не зашевелился во мне мой ребенок, так же, как и я, обреченный на смерть.

Я еще не знаю, как осуществлю это свое решение, не знаю, кто мне поможет. Но от того, что оно принято, тревога моя улеглась, и я немного успокоилась: конец близок. Впервые за много дней я заснула крепким сном человека, которого освободили от всех непосильных забот.

Потом я уже не могла припомнить, когда — через день или много дней спустя — в обеденный перерыв вместе с миской супа чья-то рука воткнула мне в руку крохотную — величиной с фасоль — свернутую в трубочку записку.

Когда двери захлопнулись и «глазок» закрылся, я осторожно расправила на ладони записку, и, прежде чем сообразила, кто ее прислал, дуновение «с того берега» одурманило меня.

Несколько слов, знакомые подписи: Малгося и Павел.

Малгося и Павел. Как объяснить такое? Словно я подала сигнал и на него тут же последовал ответ. В голове моей воскрешается все, что связано с ними и что трудно выразить словами: мельчайшие, волнующие подробности, воспоминания об их героических поступках и вызывающие боль воспоминания... А один смешной случай память моя хранит, как незабываемый красочный рисунок. Декабрьский вечер прошлого года. Я возвращаюсь с квартиры, откуда вела передачу, тороплюсь, чтобы комендантский час не застал меня на улице. На остановке меня ожидает Вицек. Мы открываем двери нашей комнаты и вдруг видим: на столе стоит маленькая елочка, обвешанная разноцветными игрушками. Удивленные, смотрим друг на друга. На обратной стороне лежащей тут же коробки надпись: «Целую, родные. Ваша М.».

Я смотрю на записку, начинаю различать буквы и наконец читаю добрые, нежные слова, полные доверия и надежды. Такие слова, которые, знаю, я не могла бы заслужить ценой всей своей жизни, и такие, в которые ни один здравомыслящий человек не мог бы тогда и поверить... «Ты еще будешь с нами — ты и твой ребенок».

И вдруг я поняла: нет, я не одинока, я никогда не была одинокой. Малгося, Павел! Это была необычайная минута. Никогда раньше я так остро не ощущала, что

тесно связана с партией, что ее борьба — это моя борьба. Я долго стояла, сжимая в руке крохотный бумажный комочек. Нет, добровольно я не уйду из жизни, попытаюсь выстоять.

Много месяцев я с риском для себя хранила эту бумажку, хотя знала на память каждое написанное в ней слово.

■

Близнецов своих, родившихся в тюрьме, я назвала именами тех, кто был мне самым дорогим и близким.

Сына — именем его отца.

Дочь — именем Малгожаты.

ГРАНИЦА БЫТИЯ

На утреннюю поверку я уже не встала с постели. Сердце неспокойно билось — притворяться я не умела. Я сидела на нарах, скорчившись, обессиленная и одновременно напуганная тем, что предстояло симулировать: так решили за меня друзья. Сидела и ждала, что же будет дальше.

Я знала: сейчас откроется «глазок», потом заскрежещет ключ и с шумом распахнется дверь камеры. Тогда я поверну голову и увижу напуганное лицо дежурной по этажу и разъяренную, лоснящуюся физиономию шарфюрера.

— Was ist los? *

Я знала, что будет именно так, и все же, когда пронзительный крик заполнил маленькую камеру, меня словно больно толкнули в грудь.

Привстав с нар, хотя не должна была этого делать, я сказала:

— Я очень плохо себя чувствую. У меня появились боли.

Мой вид не вызывал сомнений. Гестаповец, конечно, знал, что роды — единственное обстоятельство, которое открывает двери больницы для заключенной в камеру-одиночку. Он вызвал врача. Врачи тюремной больницы, Людка и Ноно, только и ждали такого сигнала. Это они несколько дней подряд, под любым предлогом проникая ко мне в камеру, уговаривали меня:

— Тебе даже не придется симулировать. Надо только решиться заявить, что, мол, начались боли. Остальное мы сами устроим. Во время беременности близнецами трудно с точностью определить сроки родов, а бывают случаи, когда беременность затягивается. Нам за это ничего не будет. А вот ты выберешься из одиночки, будешь с людьми. Ведь больница в наших условиях — это уже частичка свободы. Используй такой шанс. Надо же, в конце концов, вырваться из этого кошмара.

Вырваться из кошмара... Я уже перестала воспринимать окружающее. Мир за пределами камеры кажется мне нереальным. Единственное, что может вывести меня отсюда,— расстрел.

Дни и месяцы проходили в ожидании. И все же ни один день не был похож на другой. Вроде бы какая разница, все то же одиночество, ужас, смирение, надежда? Но нет, каждый новый день ощущался по-иному, оставляя свой, отличный от других след. Если бы я смогла восстановить поочередно переживания каждого дня, то оказалось бы, что и молчаливое ожидание собственной смерти постоянно меняет обличье.

Первые дни — ошеломление по поводу того, что я еще живу. Сколько это продлится? День, неделю, месяцы? Ведь приговор объявлен. Ночь, глаз смыкать нельзя, надо бодрствовать — возможно, это последняя ночь. Потом прислушиваешься, не тебя ли вызывают. Прогулка по двору, потом в уборную — там для меня припрятана книга, Кант, одна из немногих книг, прочитанных в тюрьме. Жажда печатного слова заставила меня заучить ее почти наизусть; кто-то сует мне еду, чье-то дружески улыбающееся лицо виднеется в щель приоткрытой камеры. Крики, отзвуки коридора, трудное искусство различать голоса из-за закрытой двери. Обыски, поверки, вывоз заключенных, кошмарные сны, желание услышать хоть чей-нибудь голос, разговор с самой собой,

* Что случилось? *(Нем.)*.

ночные расправы, эхо выстрелов. Бешеная брань гестаповцев, попытки распознать по походке, кто находится в соседних одиночках (как человек с закрытыми глазами), записочки — скупые вести с воли, надежды и неверие, стена с еле заметными надписями (слова, которые я хотела иметь при себе), лихорадочные поиски выхода, отблеск солнца на полу и кусочек неба — все, что есть у меня от свободного мира; жажда жизни и жажда смерти. Чья-то рука во время моей прогулки положила в камеру несколько цветочков — спазм в горле от волнения; мытье пола, уборка камеры, чтение стихов — бегство и спасение, многочасовые беседы наедине с собой, неуменье найти нужные слова для самой себя.

Неужели от всего этого можно бежать к жизни?

Моя тюремная подруга Людка Тарловская, сама до недавнего времени заключенная в соседней одиночке, а теперь, как врач, получившая относительную свободу, поставила мне вчера ультиматум:

— Ты должна это сделать, ты должна использовать такой шанс. Ты просто не имеешь права отказываться, это твой долг. Иначе...

— Но может не получиться, а вы пострадаете.

— Нет, мы ничем не рискуем, только не откладывай. Значит — до завтра. Ждем, завтра обязательно.

Людка приказывает. У меня уже нет больше сил сопротивляться, она решила за меня.

Бежать от кошмара. Я даже не в состоянии представить себе, что будет там, за пределами камеры № 39. Там будут люди. Я уже забыла, как разговаривают с людьми.

А назавтра... Вот оно. Врач Ганна официальна и спокойна. Она также посвящена в наш план. С самой серьезной миной она обследует меня, после чего докладывает офицеру:

— Начинаются роды. Заключенную (фамилии здесь не называют) необходимо немедленно перевести в больницу.

Гестаповец озабочен. Без разрешения с улицы Шуха арестанта не положено куда-либо переводить. Он уводит врача, двери захлопываются. Я остаюсь одна. Проходят часы, а решения все нет. Ранний зимний вечер. Наконец в камеру вместе с Ганкой входит главный врач — немец. Я, кажется, лежу в той же позе, в какой меня оставили. Ганка что-то объясняет главному и, улучив момент, подмигивает мне. Они выходят. (Позже Ганка рассказывала мне, какое замешательство я вызвала в гестапо.) Лежу и рассматриваю свою камеру. До того как зажигают тусклую лампочку, серые вечерние тени кажутся клубами пыли, сквозь которую с трудом можно различить отдельные предметы: табуретку, полку, парашу, тазик. Здесь я оставляю много тяжелых своих переживаний. Смешно, нелепо, но мне даже становится немного жалко, что это мои последние часы в камере. Конечно, я жалею не о том, что уйду отсюда, а о том, что здесь останется какая-то частица меня.

Встаю. Тщательно осматриваю каждый закоулок. Стираю со стены начертанные ногтем, только мне понятные иероглифы. Смотрю на отрезок противоположной стены — это все, что я видела отсюда. Разглядываю убогий мой скарб: миску, ложку, несколько мелких предметов личного пользования.

Незадолго до поверки шарфюрер открывает дверь моей камеры и, как ценную посылку, направляет меня в больницу. Последнее его распоряжение гласит: «Поместить на последней койке в углу, запретить разговаривать с ней — она продолжает оставаться одиночной заключенной».

В палате тишина. Пробираюсь между тесно уставленными койками, меня сопровождают взгляды больных женщин, сажусь на отведенное мне место и не знаю, что делать с собой дальше. Руки бессильно свисают, и вся я какая-то отяжелевшая, совершенно выбитая из равновесия неожиданной переменой в моей жизни. Разговаривать мне запрещено.

Когда гестаповец вышел, врач шепотом говорит мне:

— При них не разговаривай, а когда мы одни, можешь не стесняться. А теперь ложись, и, хотя мы бы предпочли, чтобы именно сейчас ты двигалась как можно больше, тебе, увы, придется лежать, ведь «роды» продлятся не меньше месяца. Но об этом молчок.

Лежу. И вдруг я почувствовала необычайное возбуждение, мною овладело страстное, непреодолимое желание говорить. Говорить во что бы то ни стало!

Рядом лежит молодая женщина с нежными чертами лица, как будто нарисованными пастелью. Я наклоняюсь к ней. Зовут ее Агнешка, она после операции. Агнешка тоже испытывает потребность говорить — она недавно узнала, что ее муж и родные предпринимают какие-то важные шаги, чтобы вызволить ее отсюда, и что дело как будто на мази.

Теперь я начинаю понимать, что значит «больница — частичка свободы». Отсюда люди, случается, выходят на свободу. А у тех, с которыми я встречалась в редкие минуты прогулки на тюремном дворе, когда мы шагали на расстоянии пяти метров друг от друга, у заключенных в камеры-одиночки не было никакой надежды на свободу.

Соседка замолкает. А я лихорадочно начинаю говорить. Односложные слова, потом предложения, и, наконец, из меня вырывается поток слов, с которым я не могу совладать.

О чем я говорила?

Я приговорена к смертной казни, но этот момент оттягивают дети, которых я еще не произвела на свет, но которых должна все-таки родить. Когда это произойдет, мне станет еще тяжелее, но сейчас, в этой больнице, мне лучше. Лучше находиться среди людей.

Человек не может долго быть в одиночестве. Впрочем, я не была одинокой. Нет, нет, я не детей своих имею в виду, дети для меня пока что не облечены в зримую, телесную оболочку — я ничего о них не знаю, даже не представляю, какие они будут. Как странно, что человек так мало знает о самых близких ему существах и ждет внезапного появления на свет кого-то подобного ему; ах, да, на рентгеновском снимке, сделанном для меня доктором Фелицианом, я видела два махоньких позвоночника — удивительно, невероятно! — и это все, что я о них знаю.

Так вот, я не была одинокой — как-то получилось, что я, живая, словно видела себя со стороны уже неживой, мертвой. Странное, а временами просто невыносимое раздвоение, вызывающее отчаянный, до крика, протест. Иногда эти два ощущения накладываются одно на другое, и тогда уже не понять, кто ты — живое существо или безмолвное тело, труп. Бывало так: моюсь, привожу себя в порядок, принимаюсь за еду и вдруг ловлю себя на мысли — а для чего я все это делаю? Или ночью, лежу с открытыми глазами и никак не могу взять в толк, почему еще дышу, касаюсь тела своего — и странно, что оно еще теплое; временами ко мне приходило страшное ощущение, что в этой одиночке лежит кто-то мертвый, а я тут, рядом с ним, и даже не могу отодвинуться, потому что мы с ним — одно и то же лицо; я боялась самое себя, представляя, что уже завтра стану «неодушевленной материей». Я неверующая, и у меня нет никакой отдушины — я не могу спасаться мыслями о бренности земного бытия и вечности загробной жизни. А если ночь проходит спокойно, если из-за дверей, этой непреодолимой преграды, не доносится суматоха переклички на расстрел, тогда в короткие часы дня кошмары ночи отступают и снова появляется жажда жизни. Жизни, которая, возможно, еще придет, потому что борьба продолжается, потому что Реня просовывает мне в щель вместе с едой пищу, во сто крат более важную,— сообщение о том, что немцам на фронте нанесен еще один сокрушительный удар. Так, попеременно, я то жила, то умирала, то была до ужаса одинокой, то ощущала себя участницей великой борьбы, которую ведут миллионы.

Потом я принялась без ножниц выкраивать распашонку очень странными инструментами собственного производства и ниткой, вытащенной из полотна, делать на ней мережку. Для детей, которые все-таки появятся на свет. Эта нитка как-то примирила меня с жизнью. Вскоре кто-то передал мне в камеру клубок шерстяной пряжи и две спицы, и я стала вязать кофтенку, хотя до сих пор никогда не держала спиц в руках. Кофточка удалась на славу, и я бесконечно радуюсь своей изобретательности. В камеру с какой-то микстурой, служащей лишь предлогом, забегает доктор Ноно. Она целует меня, как малого ребенка, в обе щеки и хвалит за красивую вязку. Я растрогана ее сердечностью и с грустью думаю, какой опасности подвергает она себя, принося каждой из нас вместе с аспирином или ложкой микстуры нежное, чуткое слово.

Нет, я не была одна в своей камере. Тени не отходили от меня ни на шаг. Одна будила жажду жизни, другая была самой смертью.

■

...А теперь вот я лежу рядом с вами, с человеком, можно сказать, почти свободным. Уже совсем скоро вы уйдете из этого проклятого здания. Я даже могу коснуться вас, а вы через несколько дней снова будете среди живых. Вы для меня словно дуновение свободы. Вы, наверно, хотите спать. Спите, пожалуйста. А я должна, я буду говорить, ведь мне столько времени не с кем было даже словом перекинуться. Лишь иногда, когда на меня нападало непреодолимое желание убедить самое себя в том, что я еще живу, я читала в камере стихи самой себе, стихи, которых я, к счастью, знаю много. А теперь во мне что-то прорвалось, какая-то чертова плотина болтливости, меня лихорадит, и я знаю, что все пройдет, когда я наговорюсь досыта.

Мне кажется, что если бы я была врачом или медсестрой, если бы такое естественное явление, как смерть, было бы для меня привычным (я имею в виду биологическую смерть, а вообще разновидностей смерти столько же, сколько людей на земле, и сам факт рождения человека — свидетельство неотвратимости его смерти), я бы, вероятно, не испытывала таких тревог и раздвоений. А ведь я всю свою сознательную жизнь находилась в центре борьбы и так или иначе была подготовлена к тому, что жизнь моя в любой момент может оборваться. Почему же так случилось со мной? Вероятно, потому, что есть и должна быть разница между готовностью к смерти и ощущением в момент ее прихода. А приходит смерть всегда преждевременно, и то, что человек чувствует при этом, не имеет ничего общего с его умозаключениями относительно готовности к смерти.

Но я отвлекаюсь от своей мысли, что-то мешает мне логически ее развивать. Так вот, со смертью я встречалась не раз, но не лицом к лицу. Никогда не случалось мне присутствовать при кончине близкого человека, темное обличье смерти было мне незнакомо.

Мое первое столкновение со смертью произошло много лет назад. Я была еще маленькой девочкой и жила в Варшаве, в мрачном доме, так называемом колодце.

В центре большого прямоугольного двора находился маленький прямоугольник зелени — несколько хилых, никогда не цветущих деревьев. Во дворе, довольно, впрочем, просторном, всегда царил сумрак — высокие стены отбрасывали длинные тени. А в углу двора, около дворницкой, у южной стены, на которую время от времени падал луч солнца, долго умирал от туберкулеза сын дворничихи — Мундек. Мы, ребята, постепенно привыкли к этому вечно брюзжавшему несчастному мальчику, к тому, что он медленно угасал. Его смерть и тихие, без слез, похороны потрясли нас, но ненадолго. Это было мое первое столкновение со смертью, которая у ребенка вызывает скорей не боль, а какое-то грустное удивление.

Мое следующее переживание было несравненно более тяжелым, бурным и словно отделенным от меня непреодолимой стеной. На чужбине, за океаном, одинокий, среди чужих ему людей, умер мой отец — мудрый, покинутый и несчастный. Когда эта весть дошла до нас, его тело уже превратилось в прах. Я очень глубоко пережила эту смерть, хотя и ее восприняла как свершившийся, не совсем реальный факт, как многоголосое эхо смерти.

Разразилась война. Настек, мой младший брат... Вспоминаю о нем про себя... К чему тут рассказывать, кем был он для нас? Еще теперь, встречая какого-нибудь на редкость обаятельного человека, я думаю — вот он, Настек. Его, вероятно, нельзя было назвать красивым: уж очень худощав, чересчур большие глаза, излишне чувствителен — такие долго не живут. Когда разразилась война, он как раз проходил военную службу. Пошел на фронт и не вернулся. Это случилось в первый день войны. За несколько дней до этого мой муж тоже был призван в армию, и я очень беспокоилась. На рассвете первые бомбы упали на Варшаву. Когда я, измученная бессонной ночью, на минуту прикрыла глаза, то увидела мрачную картину: пустырь и на нем, распластавшись, уткнувшись лицом в землю, лежит труп человека. Что-то кольнуло меня в сердце: Настек! Я вскрикнула. Свекровь схватила меня за плечо: «Что с тобой?» Не отдавая

себе отчета, что мой сонный мираж может перепугать ее не на шутку, я быстро рассказала ей о виденном. Она заломила руки: «Это Вицек!» «Нет,— ответила я,— это наверняка не Вицек. Я знаю. Это Настек».

Проведя несколько лет в немецком плену, Вицек вернулся ко мне. Настек никогда.

С того времени цепь смертей стала быстро расти.

Когда первые бомбы обрушились на Варшаву, я выбежала на улицу, чтобы найти сестру, укрывавшуюся в большом доме на улице Крулевской. Улица еще дрожала от взрывов, дома горели. Недалеко от Главного вокзала, посредине Маршалковской улицы я увидела валявшуюся на мостовой лошадь с развороченными внутренностями. Рядом лежал труп женщины. Жизнь показалась мне страшной, бессмысленной катастрофой. Дикая мысль пришла мне в голову: броситься вот так рядом с ними на мостовую, умереть, как они, чтобы уж больше ничего не переживать.

Через секунду я уже бежала дальше.

А потом смерти посыпались одна за другой. Смерть близких в лагерях, на улицах, во время карательных операций. Я все чаще узнавала со стороны об этих смертях, но сама при них не присутствовала. И потому так и не привыкла к смерти...

■

Куда ушла я мыслями в эту первую свою не в одиночестве проведенную ночь? Мне хотелось проследить, почему я так и не свыклась с жестокостью жизни и смерти. А может быть, не в этом дело. Может быть, самое трудное — примириться с неизбежностью собственного небытия? А может быть, на это и не следует искать ответа?

■

Агнешка спала. Вероятно, она находилась за пределами подобных рассуждений. Она верила, что вскоре выберется отсюда. Утром, уставшая от собственных хаотических мыслей, я извинилась перед соседкой за свой длинный монолог шепотом. Впрочем, она мало что слышала из него.

После поверки жизнь в больнице потекла неожиданно быстро для меня. Я смотрела на все широко открытыми глазами — все здесь было для меня совершенно новым.

Я уже слышала, как вызывают заключенных на допрос в гестапо — обычное явление в повседневной жизни Павяка. А спустя какое-то время пришел часовой, встал на пороге и выкрикнул:

— Агнешка В.

Моя соседка. Страшно взволнованная, она вскочила и быстро оделась. Стройная и какая-то хрупкая, она почти изящным движением набросила на себя подбитый рыжими лисами жакет, торопливо улыбнулась всем, обняла стоявшую в немом молчании докторшу и быстро проследовала за гестаповцем.

— На волю,— раздался чей-то голос.

Тишина. Наши женщины-врачи продолжали стоять в каком-то оцепенении. Когда наконец они немного пришли в себя, одна из них, закрыв лицо руками, глухо сказала:

— Она ничего не знала. Ее муж неделю назад расстрелян в Павяке. Она пошла не на волю.

У меня в горле будто застрял тяжелый оловянный ком: вот сейчас, еще немного — и я задохнусь.

Она пошла на смерть.

«Вы для меня словно дуновение свободы»,— так, кажется, сказала я Агнешке...

■

Вот она, мнимая грань между смертью и жизнью. Ведь ее, Агнешку, я считала воплощением жизни, а себя — обреченной на смерть. И снова я коснулась мнимой грани, грани, которая не существует.

ЧЕЛОВЕК НА КРЫЛЕ

Эти отрывки воспоминаний относятся к более раннему периоду.

Впрочем, я не думаю, что можно отделить чистые зерна времени, не тронутые тем, что было раньше и позже. Ведь обычно зерна эти смешиваются, обрастают не всегда контролируемыми, иными восприятиями.

Я хочу сейчас рассказать не про тот самый важный наш парашютный прыжок, в результате которого мы перенеслись со свободной земли в самое сердце нашей сражающейся родины и мое заветное желание быть здесь, в родном, незаменимом для меня городе наконец осуществилось.

Я хочу рассказать про другой мой прыжок.

Несколько раньше, в нефронтовых условиях, в далекой от Москвы Уфе, произошло нечто такое, что, как мне кажется, не имело существенного влияния на позднейшие, важные для меня события. Это был учебный прыжок с парашютом на территории безопасной и дружественной, прыжок, совершенный в белый, искристый зимний день.

Маленький моноплан взмыл высоко в небо. Я спокойно сижу в кабине, ставшей тесной от моего мехового комбинезона и от парашютного тюка на спине. Вокруг во всю ширь раскинулся морозный, яркий простор. Я не свожу глаз со спины пилота, а он то взносит машину вверх, то ловко бросает ее вчиз, описывая большой круг, и так резко снижает скорость, что я теряю ощущение движения. Но вот пилот, обернувшись ко мне, делает знак рукой. Я пытаюсь подняться, уверенная в том, что через мгновение, выпрямившись во весь рост, смогу действовать дальше. И тут-то со мной происходит нечто неожиданное, от чего я просто цепенею. Порыв ветра забивает мне рот и нос плотным морозным воздухом, у меня перехватывает дыхание, я стараюсь преодолеть сопротивление ветра, но толстый комбинезон и тяжелый парашют сковывают движения, я наполовину перегнулась через кабину, хочу крикнуть, но ветер с силой затыкает мне рот и я давлюсь криком. А пилот тем временем уже описал полукруг, он энергично делает мне знак «вернись» и круто взмывает в гору. Я снова втискиваюсь в кабину. Яростное отчаяние охватывает меня. Нет сомнения, инструктор и товарищи, наблюдавшие за мной с земли, не видя, что произошло, решат, что я испугалась! Самолет снова летит вниз, пилот медленно поворачивает голову. Ясно, сейчас он начнет описывать круг, я перестану ощущать движение и тогда — *это*. Я — словно стянутый узел. Сигнал. Стиснув зубы, я с огромными усилиями встаю, высовываюсь из кабины. Сильный ветер бьет мне в грудь, я отворачиваюсь, выпрямляюсь во весь рост, с трудом перекидываю ногу на крыло, вылезаю из кабины. Передо мной небольшая плоскость — крыло самолета, покрытое искрящейся на солнце коркой льда. Страх овладевает мною, я делаю первый шаг, ноги разъезжаются, я спотыкаюсь, теряю опору, равновесие, качусь куда-то. От ветра перехватывает дыхание, я балансирую, скольжу, шатаюсь и наконец останавливаюсь. Острое чувство одиночества охватывает меня с такой силой, что кажется безмерным. Я даже забываю, что рядом человек. Минута проходит или сто минут — не все ли равно? Соизмеримым бывает только время между началом и концом каких-то событий. А я не вижу ни конца, ни края. Время длится, оно воплотилось в ожидание и не связано ни с чем конкретным. Оно позволяет испытать ощущение бесконечности.

Но вот я делаю какое-то странное движение вперед и вижу край подвижной плоскости, повисшей в пространстве. Этот край, находящийся от меня на расстоянии вытянутой руки, становится достижимой целью, зримой границей времени и одиночества. Все встало на место. Чувства, которое завладело мною на крыле, я не предвидела, лишь прыжок вызывал страх. Теперь, когда я достигла края крыла, я была уже у цели. Прыжок в пропасть отозвался лишь спазмом в сердце, да удивление легко коснулось прикрытых глаз.

А на земле, когда окружившие меня деревенские ребятишки принялись радостно кричать: «Смотрите, девушка-а прыгнула!», а инструктор прибежал, чтобы поздравить (о, кошмар!) с классическим прыжком,— недавние ощущения растаяли, как утренний туман.

Только значительно позднее новое, казалось бы, совершенно иное переживание неожиданно воскресило в моей памяти давнее состояние, пережитое мною на крыле самолета. Видимо, было что-то родственное в этих двух переживаниях.

■

Я сижу в «камере матерей» между рядами детских кроваток, сижу, склонившись над своими детьми, и снова не понимаю, как я могу еще дышать? Сегодня опять пришло сообщение, что детей отберут у меня. Я склоняюсь над кроватками, не в силах проститься с моими малышами. Да как же можно проститься с собственными своими глазами, собственными легкими, с мозгом? Боюсь дотронуться мертвыми пальцами до этих спящих, изумительно живых существ. Они живут в прикосновении моих пальцев, в глазах моих. Они так срослись со мной каждой клеточкой своего существа, что, кажется, останутся жить во мне, даже когда меня не будет. Безграничное одиночество перед прыжком в пропасть.

Кто-то касается моего плеча, но я даже не вздрагиваю. Это врач Крыся Оссовская, тюремная воспитательница наших детей.

— Ну, ну, спокойно,— говорит она.— Все в порядке, удалось все уладить, не отдадим наших детей.

Лишь теперь дала я волю чувствам. Меня трясет, как в лихорадке, я почти теряю сознание.

Который уже раз отбирают у меня детей и жизнь? Раньше, во время следствия, мне говорили: «Все равно не родишь, ты же приговорена к смерти». Но тогда я еще была одна. Настоящие муки наступили позже, когда я стала матерью. «Через неделю»,— говорили мне. «Через месяц». И снова: «Сегодня», «Сейчас».

Где-то за пределами моих возможностей ведется какая-то борьба за нашу жизнь. На свободе близкие мои ищут всяческих путей, чтобы нас спасти. В записках, которые я получаю от них, они пишут: «Продержись, спасем», но я-то знаю, сколько во всем этом от самообмана. Врачи из заключенных проявляют чудеса изобретательности— до меня доходит лишь немногое: они составляют фальшивые данные о здоровье детей, сообщают, что дети убавляют в весе, что они гибнут и что только материнское кормление... Главный тюремный врач Бохмауэр, единственный немец, о котором заключенные сохранили добрую память, спокойно выслушивает мрачные данные о состоянии детей и говорит врачу Ганне Чуперской, что, хотя в таких делах не за ним последнее слово, ему и на этот раз, возможно, удастся кое-что сделать. Но вот когда дети достигнут шести месяцев, тогда он не знает... «Danke, Herr Hauptarzt *,— отвечает ему польский врач.— Мы этого не забудем». Вероятно, Бохмауэру эти слова не безразличны. Ведь уже лето сорок четвертого года.

Воспитательница патроната Гелена Данелевич, необычайно энергичная и безумно отважная женщина, бессчетное количество раз переступавшая порог Павяка без всякой надежды вырваться оттуда, значительно позднее расскажет мне, сколько денег, сигар и коньяка стоило, чтобы каждое мое прощание с детьми не было последним.

Но все это делалось за моей спиной и зависело от воли случая. Для меня же существовало только то, что приговор, сегодня отсроченный, завтра станет неизбежным и я должна буду переступить последнюю черту. Балансирую на страшном крыле, повисшем между пустотой и землей, и никак не могу достичь края крыла.

■

Прошло полгода со дня рождения моих «павяцких близнецов». В Павяке потом говорили иначе: «Дети, родившие свою мать». Случилось это в феврале...

Около моей кровати расселась, терзая меня одним своим видом, огромных размеров немка надзирательница. А за дверями неотлучно дежурила моя подруга Реня. Когда немка прерывала свое бдение, меня окружала целая бригада врачей Павяка. Самым большим авторитетом среди них по праву пользовалась Стася Вуйцик — единственный человек, специальность которой могла пригодиться в данной ситуации. Стася была акушеркой.

---

* Спасибо, господин главный врач *(нем.)*.

Милый, остроумный доктор Фелициан Лот (ортопед!), вероятно, впервые в своей жизни готовится принимать роды и создает вокруг такое настроение, будто через минуту всем предстоит присутствовать при свершении невероятно важного и необычайно радостного акта.

— Марыся, поросенок ты мой милый,— в возбуждении обращается он ко мне.— Это я, Фелек,— и целует меня в потный лоб.

Не знаю, может быть, я не совсем верно истолковываю подчеркнуто благожелательное к себе отношение, но мне кажется, мои товарищи по заключению пытались как-то отвлечь меня от тяжелых мыслей, которые наравне с болью терзали мою душу.

Я до сих пор не знаю, кто из них, когда я была уже вконец измучена, сказал, держа меня за руку:

— Ну, теперь все будет хорошо. Дети спасут тебя.

■

Был июль. Мальчик мой после тяжелой болезни, из которой он, казалось, уже не выкарабкается, стал вдруг поправляться. Не сводя с него глаз, я бормотала какие-то языческие заклинания, чтобы он выздоровел, глубоко уверенная в том, что самое большое счастье — сохранить этих детей.

На коротких прогулках малыши громко смеются, наблюдая, как шевелятся листочки на дереве — единственном дереве тюремного двора. Я смотрю на источник их радости и в этом убогом деревце Павяка вижу вдруг грустный символ неволи. Как хочется еще увидеть и почувствовать лес, его кудрявую, зеленую глубь с пятнами солнца и тени, прорезанную косыми линиями ветвей! И запах речной воды — рыбный, болотный, травяной.

Позже, когда дети мои уже ничем не отличались от нормальных детей, были здоровыми, улыбающимися, я стала мечтать — вот она, человеческая ненасытность! — о новых чудесах для них, для себя, для всего мира, с борьбой за счастье которого всегда была связана моя жизнь.

Июль подходил к концу. За стенами Павяка шел тяжелый, невидимый для нас бой. Сюда доходили лишь его отголоски. В какой-то степени отражением действительности являлось для нас в те дни лицо врага. По поведению немецких стражей можно было безошибочно заключить, что мир их — накануне гибели. И все же, если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что мы переживаем последние дни Павяка, этому бы вряд ли поверили, столь долговечным казалось существование этой тюрьмы и бесконечными накопленные здесь неимоверные страдания.

Последняя большая эвакуация из Павяка состоялась тридцатого июля. Около двух тысяч мужчин и женщин со связанными проволокой руками погнали в те дни в концентрационные лагеря на немецкую землю. Транспорты, сопровождаемые грубыми окриками и отборной руганью немцев, отправлялись теперь днем и ночью. В развалинах гетто расстреливали людей — гестапо избавлялось от самых опасных своих врагов.

А в редкие минуты тишины слышался глухой гул артиллерии.

В женском отделении Павяка осталась небольшая группа, примерно пятьдесят женщин: матери с детьми, тяжелобольные, роженица, врачебный персонал.

На дворе немецкая тюремная охрана сжигала груды документов. Мы остались без фамилий и параграфов, определявших наши «преступления».

Июльская жара сливалась с дымом и криками. Мы видим страх в глазах гестаповцев, как будто на их шеях уже стягивается петля. А в наших глазах засветилась надежда. На освобождение? На смерть? Неизвестно. Во всяком случае — на свободу.

В самом деле, логично предположить, что еще день, два — и гестапо захочет избавиться от ненужного балласта единственным привычным для него способом — путем расстрела.

Дни и ночи смешались для нас.

И тут с воли пришла весть: в Варшаве готовятся необычайные события. Павяк будет отбит.

Эту новость мне потихоньку сообщили Ганка Чуперская и Аня Сипович. Как перед долгожданной, великой битвой, мы одновременно предчувствуем и свободу, и опасность. В самом деле, как мы сможем здесь защищаться? Удастся ли спасти беззащитных больных женщин и тринадцать детей? Гелена Данелевич еще раз пробирается в тюрьму, чтобы дать знать, что патронат добивается получения согласия на отправку детей к родным. Матери с младенцами на руках, величайшим напряжением сил взяв себя в руки, с тревогой ожидают дальнейшего развития событий.

— Что делать? — спрашиваем мы друг друга. «Что делать?» — спрашиваем мы сами себя.

У меня не остается никаких сомнений — детей нужно немедленно отослать домой. Если здесь будут бои, нам их не уберечь. Дети должны находиться в безопасности. Тогда и мы не будем балластом и тоже сможем драться. Решение нелегкое, но оно кажется бесспорным, поэтому мне непонятно неожиданное сопротивление женщин-врачей — этого штаба нашей «общественности».

Я объясняю, уговариваю:

— Отправьте детей, ведь они должны жить.

— А что будет с вами? — спрашивают врачи.— Можем ли мы, имеем ли мы право развязывать немцам руки, подвергать опасности ваши жизни?

Я советуюсь с другими матерями — что будем делать? Одни молчат, не в силах ни на что решиться, и полагаются на милость божию. Другие, прижимая к груди плачущих малышей, говорят: «Погибать — так вместе». Некоторым просто некуда отослать ребенка.

Ночью мы снова обсуждаем создавшуюся ситуацию. Павяк отбить не удалось. С гестаповцами происходит нечто необычное — они ходят пьяные. Осталась лишь немногочисленная охрана, главным образом «власовцы», потерявшие уверенность в себе. В глазах у этих подонков словно застыла вся мерзость их предательства.

Я принимаю твердое решение — обязательно отослать детей; их у меня двое, я не справлюсь и потеряю их. В доказательство привожу последний аргумент:

— Поймите, ведь я отвечаю за жизнь детей.

— А мы отвечаем и за них, и за вас, матерей. За тебя,— парируют врачи.

Я понимаю, какое бремя ответственности лежит на них, понимаю, как им трудно, и все же возражаю, не могу согласиться с ними. Между нами происходит какая-то странная борьба, борьба за детей. Мы полны решимости оберегать детей до конца. Пять молодых женщин-врачей возложили на себя всю тяжесть нашего материнства.

Но я не могу сбросить с себя этой безмерной тяжести. В «камере матерей», под прикрытием тишины, в каждой из нас, женщин, пульсирует страх и надежда — беззащитная, пылкая; все мы бодрствуем. Задремлешь на секунду — и тут же вскидываешься, инстинктивно хватаясь за что-то невидимое, словно ты вот-вот соскользнешь в бездну с обледеневшей поверхности. Каждая из нас по-своему испытывала одиночество. И теперь, когда я хочу припомнить ощущения, владевшие мною в те ночи, я будто представляю себе многократно повторяющийся сон: у меня спирает дыхание, я спотыкаюсь, скольжу и повисаю между небом и землей, в равной степени недосягаемыми...

Последний день июля. Мы уже еле держимся на ногах. Нас осталось совсем немного. Вокруг необычная напряженная пустота, к которой невозможно привыкнуть. С тревогой и ожиданием смотрим мы друг на друга. Откуда-то издалека доносятся артиллерийские залпы. Мы перебрасываемся отрывочными фразами:

— Ну и что дальше? Что будет?

Время идет, но кажется, что оно стоит на месте. Как трудно добраться до края...

И вдруг что-то произошло — задвигалось, забурлило. Прибегают врачи и с радостью, за которой явно кроется что-то еще, кричат:

— А ну-ка, мамаши, живо собирайтесь, есть разрешение на отправку детей. Родственники об этом уже извещены, будьте спокойны, не унывайте.

— Ганя, Крыся, что значит «не унывайте»?

— Спокойно, спокойно, там увидите, может, и вы...

Они опасаются слишком нас обнадежить и в возбуждении начинают безалаберно, но сердечно помогать нам. Собственно говоря, дети у нас почти собраны, ведь в

последние дни мы все время пребывали в состоянии готовности, однако к внезапной отправке у нас оказалось не все готово — накопилось множество дел и со своими, и с чужими детьми. В эти последние минуты мы чувствовали себя крепкими, как никогда. Общая судьба связала нас.

— Но что же будет с нами? — снова спрашиваем мы у девушек.

— Есть шанс на освобождение. Только держитесь. Теперь все возможно.

Я укладываю детей в их большую, присланную родителями колясочку, покрываю одеяльцами, которые когда-то передала мне Малгося Форнальская. Мне и в голову не приходит, что «шанс на освобождение» может осуществиться, поэтому, хотя дети мои еще со мной, я уже чувствую себя страшно осиротевшей.

Проходит полдень, потом еще сколько-то времени. Который сейчас может быть час? Вдруг во двор въезжает двухконная патронажная повозка.

На дворе всего несколько часовых — то ли они пьяны, то ли просто как-то странно держатся.

— Мамаши, садитесь! — кричат они.

Мы понимаем, что речь идет о наших детях, и с трудом пытаемся уложить их на повозку. Женщины, собравшиеся вокруг, помогают нам. И вдруг человек в немецком мундире, всегда вызывавший во мне лишь страх и ненависть, поднял наверх мою большую коляску, а потом подал руку мне, помогая взобраться на высокую повозку. Стася и Крыся что-то еще говорят мне, но я уже не слышу.

— Быстрей, быстрей, мамаши! — Девушки подсаживают, поддерживают нас, смеются, целуют.— Быстрей, быстрей, поторапливайтесь...

Я кое-как вскарабкиваюсь наверх, хватаюсь за край повозки, а другой рукой держу свою колясочку.

И вот наконец мы все погрузились — с детьми, с узелками; крепко прижав детей, мы смотрим друг на друга, все еще не веря глазам своим, все еще не зная, что будет дальше.

Вдруг повозка качнулась и тронулась — с детьми, с нами, с узелками...

Рядом со мной сидит Данка с маленьким Мареком.

— Господи, возможно ли такое? — спрашивает она.

— Неужели такое возможно? — вторю я ей.

Ворота открываются. Нас никто не задерживает. Нас никто не возвращает. Мы въезжаем в мертвые улицы гетто. Тут нет ничего похожего на свободу. Что-то стучит, стучит в голове. И все же это — край...

Скорей, скорей. Мы с беспокойством оглядываемся. Руины, сплошные руины, но ворот уже не видно.

Свобода? Так вот как выглядит эта недосягаемая свобода? В минуты тщетной надежды, когда я ожидала прихода смерти, мне казалось, что свобода — это безумное клокотание мыслей и неудержимый, взахлеб, крик. А на самом деле это лишь тревога при виде железной решетки ворот, руины мертвых улиц и спазм в сердце.

Но вот мы у цели, остановились. Здесь мы выгружаемся из своего необычного экипажа, здесь обрывается последняя нить, связывавшая одно состояние бытия с другим.

Наталия уже ждет. Нет, не меня — детей. Она протягивает руки к колясочке, не уверенная, что можно дотронуться до меня. Ведь я — не существую. Ведь я, вероятно, сразу же должна буду вернуться туда, за территорию мертвого гетто.

Выражение испуга и страдания на ее лице сразу же тает, когда я, целуя ее, говорю:

— Бежим отсюда скорее, Наталия. Я не вернусь туда больше. Я иду с вами.

Дом. Испуганные недоверчивые глаза и слезы — самые трогательные в мире. Слезы эти выражают весь ужас тех нечеловеческих лет, когда смерть стала явлением обычным, а жизнь — невероятным чудом.

■

На следующий день в Варшаве вспыхнуло восстание.

ПОД ПОКРОВОМ МОЛЧАНИЯ

Казалось, мы пришли с тобой к полному согласию. Но когда мы расстались, я вдруг почувствовала, что мне не дает покоя одна мысль, что ты не убедил меня и все во мне протестует. Да, иногда нам кажется, что все забыто. Но забвение это мнимое. Достаточно бывает нескольких случайно оброненных слов — и вот уже возникают ассоциации, картины прошлого... Туго натянутая пелена рвется. Покровы забвения падают.

■

Случилось это вскоре после освобождения Варшавы, вернее, ее руин. Я вернулась сюда, в мой город. Не верь, если кто-нибудь, пусть даже самый сильный человек, скажет тебе, что при первой встрече с этим превращенным в развалины городом у него не подступили к горлу слезы.

Переночевала я у друзей в одном из немногих варшавских домов, где потолок не обвалился, а выбитые окна можно было завесить одеялами. Ночью саперы уже разминировали участки, через которые должна была проходить первая улица нового города.

Взрывы разбудили маленькую Агнешку, все полтора года своей жизни прожившую вместе с родителями в этом городе. Она вскочила и, широко раскрыв глаза, напрягши свое маленькое тельце, закричала, не помня себя: «Нет, нет, нет!..»

Когда взрывы умолкли, Агнешка успокоилась и, усталая, быстро заснула.

Подобное происходит и с нами. Что-то вдруг взбудоражит нашу слабеющую память — и в нас сразу же пробуждается бурный, болезненный протест, голос перенесенных нами жестоких испытаний.

■

Мы шли тогда по твоему прекрасному городу, самому прекрасному, как говорят, городу в мире. А я, маловер, хотела сама убедиться в этом: все пощупать, все узнать, чтобы иметь свое собственное представление. Ведь известно, что только личный опыт по-настоящему убеждает в чем-то.

Как-то так уж случилось, что во время наших бесконечных блужданий по твоему полному исторических памятников городу, мы постоянно возвращались мыслями к моему городу, восставшему из пепла на пустом месте, к городу, в котором почти не осталось памятников старины и патины веков, но который по-настоящему тебя волнует.

Как-то уж случилось, что, когда мы брели вот так, глубокой ночью, ты вдруг категорически заявил:

— Нет, нет, не надо, нельзя возвращаться к тому, против чего восстает человеческая натура. Зачем после стольких лет снова возвращаться к тем страшным временам, зачем бередить зарубцевавшиеся было раны? Мы хотим покоя, мы хотим дышать, а не вздыхать. Ну скажи, разве ты сама этого не чувствуешь? Разве в твоей стране нет тоски по забвению? Зачем признавать за гитлеризмом такую силу, чтобы он и после своего поражения постоянно терзал наши искалеченные сердца?

Ты затронул то, что и меня иногда волнует и у меня порой вызывает протест. Почему мы не можем молчать? Почему не умеем забыть?

На набережной твоей реки, твоей Сены, словно на старинной гравюре, в то туманное утро сидел рыбак, не отрывая глаз от поплавка. Рассветало. Люди торопились на работу. Мимо нас прошла группа молодых девушек — они, видимо, спешили на ближайшую фабрику. И одна твоя вскользь брошенная фраза, милая и банальная, этакое мимолетное утверждение той самой жизни без тяжких воспоминаний, когда люди дышат, а не вздыхают,— фраза эта прорвала пелену, затянувшую мою память. Над городом легкой дымкой повис туман, утро обещало быть теплым и ясным. Что еще нужно, чтобы спокойно встретить наступающий день? Но когда я мысленно перевела сказанные тобою слова на свой родной польский язык, то поразилась. Эти обычные

слова зазвучали совсем иначе, они что-то задели во мне, открыли бездну человеческой памяти.

— Смотри, какие красивые девушки. Как цветы! — так ты сказал.

Попробуй повторить эти слова на трудном польском языке, попробуй запомнить их. Ведь когда я их произнесла, ко мне сразу вернулась память о тех днях.

Нет, сто раз нет! Забывать нельзя!

Когда мы смотрим на живых людей, то никогда не думаем об этом. Но ты знай — в девушках, как сок по стеблю, течет кровь. Погоди, погоди! Человеческое тело до краев наполнено кровью, по венам и артериям кровь поступает в каждую клеточку, от мозга до кончиков пальцев. И еще знай — эту кровь можно делить на группы, взвешивать, переливать, да, да, а можно и высосать ее до последней капли.

Я вижу все так ясно, как будто сама это пережила, подобно тому, как видела лицо Вицека, когда шла в страшной тишине мертвого концлагеря. А картина, возникшая в памяти, коротка, как вспышка...

...Освенцим. Группа узников идет на работу. В этот момент их никто не погоняет. Идут устало, не спеша. Они уже далеко от центра лагеря. Вдруг мимо проезжает телега. В телеге — молодые девушки в полосатой одежде. Мужчины оживляются. Девушки улыбаются им, машут руками. Страдания и голод оказались не в силах лишить прелести и обаяния эти юные женские лица.

Один из узников бросает им всю пайку хлеба, другой луковицу — лагерное лакомство. Девушки ловко подхватывают еду. Телега словно ожила, девушки смеются, делятся крохами.

Измученный человек смотрит вслед удаляющейся телеге и бесстрастно говорит:

— Даже в этой навозной яме девушки как девушки. В другое время я бы, вероятно, сказал: «Девушки — как цветы».

Телега скрывается из глаз.

Проходит несколько часов. Все уже забыли о девушках. По дороге вновь едет телега. Та самая. Она плоская, прикрыта брезентом. Под брезентом что-то колышется, бьется о края. Один из узников крадучись подбегает к телеге, поднимает брезент. В глазах его бездна ужаса.

На телеге лежат мешки человеческих тел, смятые, запавшие, бесформенные, синие. Те самые девушки.

Там, в одном из больничных бараков некто в человечьем облике, врач по специальности, выпустил, выкачал из этих тел всю кровь. Нет, не в переносном, а в самом прямом смысле, без всякой метафоры. Он аккуратно выцедил всю кровь, до последней капли — ведь нельзя допустить, чтобы кровь пропадала зря. А на следующий день эта кровь, разделенная на группы, в контейнерах, термосах и ампулах начнет поступать на фронт, в госпитали. Для них, для тех, кто нас убивает.

■

Что в мире равно по весу крови девушек, заключенной в ампулах? Или уже никогда об этом не спрашивать?

МАКС ФРИШ

Бидерман и поджигатели

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ПЬЕСА
БЕЗ ПОУЧЕНИЯ,
С ЭПИЛОГОМ

Перевод с немецкого
Е. ЛИПИНСКОЙ и Р. МАЛЕЦ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Господин БИДЕРМАН
БАБЕТТА, его жена
АННА, горничная
ШМИЦ, борец
АЙЗЕНРИНГ, кельнер
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ДОКТОР ФИЛОСОФИИ
ВДОВА КНЕХТЛИНГА
ХОР пожарников
КОРИФЕЙ хора

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — КОМНАТА, ЧЕРДАК

На сцене темно, затем вспыхивает спичка: видно лицо господина Бидермана, закуривающего сигару; теперь, когда стало светлее, он озирается. Вокруг стоят пожарники в касках.

Бидерман. Даже сигару нынче закурить нельзя, не подумав о пожаре... Это невыносимо.

Бидерман прячет дымящуюся сигару и скрывается в темноте, после чего выступает вперед пожарная команда на манер античного хора. Башенные часы отбивают четверть.

Хор. Жители города, вы
Видите стражу свою.
Зорко мы смотрим,
Слушаем чутко.
Преданы вам, благосклонным...

Корифей. Нас как-никак ведь содержите вы.

Хор. В полной готовности
Мы совершаем обход
Без подозрений излишних.

Корифей. Сядем порой отдохнуть,
Но не задремлем, о нет,—
Неутомимы.

Хор. Зорко мы смотрим,
Слушаем чутко,
Да обнаружится скрытое,
Огнеопасное,
Не опоздать бы огонь потушить.

Башенные часы отбивают половину.

Корифей. В мире горючего много,
Только не всякий пожар —
Рок неизбежный, судьба
Неотвратимая.

Хор. Дабы причин не искал ты,
Роком назвали
Также и то, что чудовищем страшным
Город за городом рушит,
Рок неизбежный? Нет, дело
Грязное...

Корифей. ...рук человеческих!

Хор. Да, человеческих — только.

Корифей. Хоть и безжалостно косит оно
Смертное племя людское.

Башенные часы отбивают три четверти.

Хор. Предотвратить
Многое разум бы мог.

Корифей. Истинно так.

Хор. Имени рока, судьбы
Не заслужила земля
Вечно плодами обильная
Ни этот воздух,
Ни это солнце, ни бог,
Ни человек,
Если он впрямь человечен.
Их ли вина, что безумье свершается
Непогасимое?

Корифей. Час нашей стражи настал.

Часы отбивают десять. Под бой часов хор садится.

СЦЕНА 1

Комната.

Готлиб Бидерман сидит в своей комнате, читает газету, курит сигару;

Анна, горничная в белом фартучке, приносит бутылку вина.

Анна. Господин Бидерман!

Ответа нет.

Господин Бидерман!

Он складывает газету.

Бидерман. Вешать их надо. Я всегда это говорил. Опять поджог. И опять та же история, точь-в-точь: снова забрался на чердак этакий вот разносчик, безобидный разносчик. *(Берет бутылку.)* Вешать их надо! *(Берет штопор.)*

Анна. Господин Бидерман...

Бидерман. Ну, что?

Анна. Он все еще здесь.

Бидерман. Кто?

Анна. Разносчик, который хочет поговорить с вами.

Бидерман. Меня нет дома!

Анна. Я ему так и сказала, господин Бидерман, еще час назад. Говорит, что знает вас. Господин Бидерман, не могу я вышвырнуть за дверь этого человека. Не могу!

Бидерман. Почему?

Анна. Да он такой здоровенный...

Бидерман *(откупоривает бутылку)*. Пусть зайдет завтра ко мне в магазин.

Анна. Говорила ему, господин Бидерман, раза три говорила, да он не желает.

Бидерман. Почему?

Анна. Жидкость для волос ему не нужна.

Бидерман. Что же ему нужно?

Анна. Человечность...

Бидерман *(нюхает пробку)*. Передайте ему, что я собственноручно вышвырну его на улицу, если он сейчас же не уберется. *(Осторожно наполняет бокал.)* Человечность! *(Пробует вино.)* Пусть подождет в передней. Сейчас выйду. Если он что-нибудь продает, трактаты или там бритвы,— что ж, я не злодей какой-нибудь... я не злодей, Анна, вам это хорошо известно, но в дом ко мне никто не войдет. Сто раз говорил вам это. У нас три свободных кровати, но я никого не пущу — никого. Знаем, к чему это ведет... в наше-то время.

Анна хочет идти и видит только что вошедшего незнакомца. Это атлет, одет он не то как арестант, не то как циркач, на руках татуировка, на запястьях кожаные напульсники. Анна незаметно выскользнула, незнакомец ждет, пока Бидерман отведает вина и обернется.

Шмиц. Добрый вечер.

Бидерман, пораженный, роняет сигару.

Ваша сигара, господин Бидерман! *(Поднимает сигару и подает Бидерману.)*

Бидерман. Скажите-ка, вы...

Шмиц. Добрый вечер!

Бидерман. Как это понимать? Я же ясно сказал горничной, чтобы вы подождали в передней. Уж это, скажу я вам... не постучавшись.

Шмиц. Моя фамилия Шмиц.

Бидерман. Не постучавшись...

Шмиц. Шмиц, Йозеф.

Молчание.

Добрый вечер!

Бидерман. Итак, что вам угодно?

Шмиц. Господин Бидерман, вам бояться нечего — я не разносчик.

Бидерман. Кто же вы?

Шмиц. По профессии — борец.

Бидерман. Борец?

Шмиц. Тяжеловес.

Бидерман. Это заметно.

Шмиц. То есть бывший борец.

Бидерман. А теперь?

Шмиц. Теперь безработный.

Пауза.

Господин Бидерман, вам бояться нечего, я работы не ищу. Наоборот. Борьба мне опротивела. Зашел сюда только потому, что на улице проливной дождь.

Пауза.

Здесь потеплее.

Пауза.

Надеюсь, я не помешал?

Пауза.

Бидерман. Курите? *(Протягивает сигары.)*

Шмиц. Беда, господин Бидерман, если кто вот такого роста, как я. Все меня боятся... Спасибо!

Бидерман подносит спичку.

Спасибо!

Стоят и курят.

Бидерман. Одним словом — что вам угодно?

Шмиц. Моя фамилия Шмиц.

Бидерман. Да, вы уже сказали, очень приятно.

Шмиц. У меня нет крыши над головой. *(Подносит сигару к носу, смакует аромат.)* Мне негде жить.

Бидерман. Может быть, дать вам хлеба?

Шмиц. Если у вас больше ничего нет...

Бидерман. Или бокал вина?

Шмиц. Хлеба и вина... Но только если не помешаю, господин Бидерман, если не помешаю!

Бидерман идет к двери.

Бидерман. Анна! *(Возвращается.)*

Шмиц. Мне девушка сказала, что господин Бидерман собирается собственноручно вышвырнуть меня вон, но я подумал, господин Бидерман: не может быть, чтобы вы это всерьез!

Анна входит.

Бидерман. Анна, принесите еще один бокал.

Анна. Извольте.

Бидерман. И немного хлеба, ладно?

Шмиц. И если девушку не затруднит — немного масла. Сыру, ветчины или чего-нибудь в этом роде. Пару огурчиков, помидоры и еще что-нибудь, малость горчицы — что у вас там найдется, девушка.

Анна. Извольте.

Шмиц. Только без церемоний.

Анна выходит.

Бидерман. Вы сказали горничной, что знаете меня.

Шмиц. Само собой, господин Бидерман, само собой.

Бидерман. Откуда же вы меня знаете?

Шмиц. Только с лучшей стороны, господин Бидерман, только с наилучшей стороны. Вчера вечером вы сидели за своим столиком в пивной — я знаю, господин Бидерман, вы меня и не заметили в углу... так ведь вся пивная ликовала, господин Бидерман, всякий раз, как вы стучали кулаком по столу.

Бидерман. А что же я говорил?

Шмиц. Очень правильные вещи. *(Затягивается сигарой.)* Вешать их надо. Всех. Чем скорее, тем лучше. Вешать их, этих поджигателей.

Бидерман *(указывает на кресло)*. Прошу!

Шмиц садится.

Шмиц. Такие люди, как вы, господин Бидерман,— это как раз то, что нам нужно!

Бидерман. Да, да, конечно, но...

Шмиц. Никаких но, господин Бидерман, никаких но! Вы человек старого закала, у вас еще есть свои правила. В этом все дело.

Бидерман. Конечно...

Шмиц. У вас еще есть гражданское мужество.

Бидерман. Да, да...

Шмиц. В этом все дело.

Бидерман. В чем?

Шмиц. У вас еще есть совесть, это вся пивная почуяла, совесть что надо.

Бидерман. Да, да, естественно...

Шмиц. И вовсе это не естественно, господин Бидерман. В наше-то время... В цирке, например, где я боролся — потому-то, видите ли, он и сгорел, сгорел дотла,— так наш директор, например, говаривал: идите вы, Зепп, знаете куда... Меня зовут Йозеф... На кой черт мне совесть, говорил. Буквально. Чтобы совладать с моим зверьем, мне нужна плетка. Буквально. Вот какой был. Совесть! Он только смеялся: если у кого и есть совесть, так почти всегда нечистая. *(Курит с наслаждением.)* Царство ему небесное.

Бидерман. То есть как, он умер?

Шмиц. Сгорел со всем своим хламом.

Столовые часы бьют девять.

Бидерман. Не понимаю, что там Анна копается.

Шмиц. Мне не к спеху.

Внезапно их взгляды встречаются.

У вас ведь и свободной кровати в доме нет, господин Бидерман, горничная мне сказала.

Бидерман. Чему вы смеетесь?

Шмиц. К сожалению, нет свободной кровати. Все говорят одно и то же, как только бездомный... А мне вовсе и не надо кровати.

Бидерман. Не надо?

Шмиц. Я, господин Бидерман, привык спать на полу. Отец у меня угольщиком был. Я привык. *(Курит, медленно выпуская дым.)* Никаких но, господин Бидерман, никаких но, говорю я: вы не из тех, кто дерет глотку в пивной, а сам трясется. Вам я верю. К сожалению, нет свободной кровати — все так говорят, но вам, господин Бидерман, я верю на слово. Куда это нас заведет, коли люди друг другу верить перестанут? Я всегда говорю: куда это нас заведет, ребята! Каждый считает другого поджигателем, во всем мире сплошное недоверие. Верно ведь? Вся пивная это почуяла, господин Бидерман: вы еще верите в людскую доброту и в свою тоже. Верно ведь? Вы в этом городе первый, кто нашего брата не считает поджигателями.

Бидерман. Вот пепельница.

Шмиц. Верно я говорю? *(Осторожно стряхивает пепел с сигары.)* Большинство людей теперь не в бога верует, а в пожарную охрану.

Бидерман. Что вы хотите этим сказать?

Шмиц. Истинную правду.

Анна вносит поднос с едой.

Анна. Ветчины у нас нет.

Шмиц. И так сойдет, девушка, и так сойдет, только вот горчицу вы забыли.

Анна. Извините. *(Выходит.)*

Бидерман. Кушайте! *(Наполняет бокалы.)*

Шмиц. Не везде нас так принимают, господин Бидерман. Это уж поверьте. Ведь как оно бывает: едва наш брат переступит порог, без галстука, голодный, бездомный... Садитесь, говорят, а за спиной тут же звонят в полицию. Каково? Я прошу приюта, больше ничего, я бравый борец, всю жизнь боролся, и вот этакий господин, который сроду не боролся, хватает нашего брата за шиворот. Как же так? — спрошу я, и едва обернусь, чтоб только на него взглянуть, а у него уж и рука сломана. *(Берет бокал.)* Ваше здоровье!

Пьют, Шмиц набрасывается на еду.

Бидерман. Да, такие-то дела, уважаемый, в наше время... Только заглянешь в газету — опять поджог! И всякий раз одно и то же, точь-в-точь: заходит разносчик, просит его приютить, а на другой день дом пылает. Откровенно говоря, я полагаю, некоторое недоверие можно и понять. *(Берет свою газету.)* Вот, пожалуйста! *(Кладет развернутую газету рядом с тарелкой.)*

Шмиц. Я видел.

Бидерман. Целый квартал сгорел. *(Поднимается, чтобы показать газету Шмицу)*. Вот, читайте!

Шмиц жует, читает и пьет вино.

Шмиц. Beaujolais? *

Бидерман. Да.

Шмиц. Могло бы быть чуть потеплее. *(Читает газету, глядя поверх тарелки.)* «...создалось впечатление, что поджог был подготовлен и осуществлен таким же способом, как и в прошлый раз...»

Взгляды их встречаются.

Бидерман. Это же неслыханно, а?

Шмиц откладывает газету.

Шмиц. Потому-то я и не читаю газет.

Бидерман. Почему?

Шмиц. Да в них вечно одно и то же.

Бидерман. Да, да, конечно, но это же не выход, уважаемый,— просто не читать газет, надо же знать, в конце концов, что нас ожидает.

Шмиц. Зачем?

Бидерман. Просто так.

Шмиц. Все равно не миновать, господин Бидерман, все равно не миновать. *(Нюхает колбасу.)* Дух-то силен! *(Отрезает себе колбасы.)*

Бидерман. Вы полагаете?

Анна приносит горчицу.

Шмиц. Спасибо, девушка, спасибо!

Анна. Вам угодно еще что-нибудь?

Шмиц. Сегодня — нет.

Анна останавливается у двери.

Горчицу я обожаю. *(Выжимает из тюбика.)*

Бидерман. Как это — дух силен?

Шмиц. А я знаю? *(Жует, снова заглядывает в газету.)* «...у экспертизы создалось впечатление, что поджог подготовлен и осуществлен таким же способом, как и в прошлый раз». *(Короткий смешок, затем он наполняет бокал вином.)*

Анна. Господин Бидерман!

Бидерман. Что еще?

Анна. Вас хочет видеть господин Кнехтлинг.

Бидерман. Кнехтлинг? Сейчас? Кнехтлинг?

Анна. Он говорит...

Бидерман. Ни в коем случае.

Анна. Говорит, что просто не может вас понять.

Бидерман. Зачем ему меня понимать?

Анна. У него-де больная жена и трое детей...

Бидерман. Я сказал: ни в коем случае. *(Встает в негодовании.)* Господин Кнехтлинг! Господин Кнехтлинг! Не будет ли господин Кнехтлинг столь любезен оставить меня в покое, черт возьми, или пусть берет себе адвоката. Пожалуйста! Мой рабочий день кончен, господин Кнехтлинг! Нечего поднимать суматоху из-за какого-то там увольнения! Смешно! И к тому же нынче такие пособия, каких не

---

* Марка французского вина.

бывало в истории человечества! Да! Пусть берет себе адвоката! Пожалуйста! Я тоже возьму адвоката. Доля в прибыли от его изобретения! Пусть отравится газом или возьмет адвоката — пожалуйста,— если господин Кнехтлинг может себе позволить проиграть или выиграть процесс. Пожалуйста! Прошу! *(Берет себя в руки при взгляде на Шмица).* Скажите господину Кнехтлингу: у меня гости.

Анна выходит.

Извините!

Шмиц. Вы же у себя дома, господин Бидерман!

Бидерман. Ну как, вкусно? *(Садится и смотрит, как гость уписывает за обе щеки.)*

Шмиц. Кто бы мог подумать, да, кто бы мог подумать, что на свете есть еще такие вещи. В наше-то время!

Бидерман. Что, горчица?

Шмиц. Человечность! *(Завинчивает тюбик с горчицей.)* Я так рассуждаю: вот вы не хватаете нашего брата за шиворот, да и за дверь — туда, под дождь. А нам только одно и нужно, господин Бидерман,— человечность! *(Берет бутылку и наливает себе.)* Награди вас бог! *(Пьет с явным наслаждением.)*

Бидерман. Вы не должны думать, господин Шмиц, что я злодей какой-нибудь...

Шмиц. Да что вы, господин Бидерман!

Бидерман. А вот госпожа Кнехтлинг утверждает, что это так.

Шмиц. Будь вы злодеем, господин Бидерман, так не приютили бы меня на ночь, уж это как пить дать.

Бидерман. Верно ведь?

Шмиц. Пусть хотя бы на чердаке *(Ставит бокал.)* Вот теперь наше вино в самый раз.

Звонок у входной двери.

Полиция?

Бидерман. Моя жена.

Шмиц. Гм.

Опять звонок.

Бидерман. Пойдемте... Но с одним условием: без шума. У жены больное сердце.

Снаружи слышны женские голоса. Бидерман делает Шмицу знак, чтобы тот поторопился, и помогает ему: поднос, бокал и бутылку они берут с собой и идут на цыпочках направо, туда, где сидит хор.

(К хору.) Извините, пожалуйста. *(Перешагивает через скамью.)*

Шмиц. Извиняюсь.

Перешагивают через скамью и скрываются, в то время как слева входит госпожа Бидерман вместе с Анной, которая принимает у нее вещи.

Бабетта. Где же мой муж? Вы, Анна, знаете, мы не мещане — пусть у вас будет ухажер, но я не хочу, Анна, чтобы вы его прятали в доме.

Анна. Госпожа Бидерман, да нет у меня ухажера.

Бабетта. А чей это ржавый велосипед внизу у подъезда? Я же до смерти напугалась...

Чердак.

Бидерман включает свет, виден чердак. Кивает Шмицу, чтобы тот вошел. Говорят только шепотом.

Бидерман. Выключатель здесь. Если вам будет холодно, где-то тут была старая овчина... Но тихо, черт побери... Снимите ботинки.

Шмиц ставит поднос и снимает один ботинок.

Господин Шмиц!

Шмиц. Господин Бидерман?

Бидерман. Но вы даете слово, что вы в самом деле не поджигатель?

Шмиц не может удержаться от смеха.

Тсс!

Кивает на прощанье, выходит и закрывает дверь. Шмиц снимает второй ботинок.

Комната.

Бабетта что-то услышала и настораживается. Взгляд выражает ужас, потом внезапное облегчение. Оборачивается к зрителям.

Бабетта. Муж мой, Готлиб, обещал мне каждый вечер лично подниматься на чердак и лично проверять, нет ли там поджигателя. Я ему так благодарна. А то бы я до утра не смогла уснуть.

Чердак.

Шмиц идет к выключателю, теперь в носках, и гасит свет.

Хор. Жители города, мы
Здесь начеку,
Стражи невинных.
Нет подозрений доселе у нас,
Преданных городу спящему.
Сидя,
Стоя...

Корифей. Трубку порой набивая со скуки...

Хор. ...Зорко мы смотрим,
Слушаем чутко,
Чтобы не вспыхнул под кровлей
Жадный огонь,
Город родной пожирая.

Башенные часы бьют три часа.

Корифей. Каждому ведомо: мы начеку,
Стоит лишь номер набрать. *(Набивает себе трубку.)*

Хор. В час неурочный зачем
В комнате свет?
В нервном расстройстве,
Тревожно-бессонную
Вижу супругу, увы...

Входит Бабетта в халате.

Бабетта. Там кто-то кашляет!..

Слышен храп.

Готлиб! Не слышишь ты, что ли?

Слышен кашель.

Там кто-то есть!

Слышен храп.

Мужчины всегда так! Чуть что, принимают снотворное.

Башенные часы бьют четыре.

Корифей. Вот и четыре часа.

Бабетта снова гасит свет.

Но не последовал вызов. *(Прячет трубку, фон светлеет.)*

Хор. Солнца лучи,
Божьего ока ресницы!
День воссиял, озарив
Города кровли родные.
Слава нам!
Город ночной не постигла беда,
Нынче еще не постигла,
Слава нам! *(Хор садится.)*

СЦЕНА 2

Комната.

Бидерман стоит в пальто и шляпе, с портфелем под мышкой, пьет утренний кофе и говорит, обращаясь к кому-то в другой комнате.

Бидерман. ...говорю тебе последний раз: никакой он не поджигатель!

Голос. Откуда ты знаешь?

Бидерман. Я его самого спрашивал... И вообще: нельзя, что ли, на этом свете ни о чем другом и думать? Просто с ума можно сойти. Только и слышишь о поджигателях...

Бабетта входит с молочником.

С ума можно сойти!

Бабетта. Не кричи на меня!

Бидерман. Я кричу не на тебя, Бабетта, я кричу вообще.

Она наливает ему молока.

Мне же пора идти! *(Пьет кофе, чересчур горячий.)* Если всех считать поджигателями, куда это нас заведет? Надо, чтобы было и немножко доверия, Бабетта, немножко доверия. *(Смотрит на свои ручные часы.)*

Бабетта. Ты такой добряк... Я так не могу, Готлиб. Ты всех жалеешь, а я целую ночь не сплю. Я угощу его завтраком, но потом, Готлиб, я выставлю его за дверь.

Бидерман. Так и сделай.

Бабетта. Очень любезно, чтобы его не обидеть.

Бидерман. Так и сделай. *(Ставит чашку.)* Мне надо к адвокату.

Чмокает Бабетту на прощание, в эту минуту входит Шмиц с овчиной на плечах; они его пока не замечают.

Бабетта. Почему ты уволил Кнехтлинга?

Бидерман. Потому что он мне больше не нужен.

Бабетта. Ты всегда был им очень доволен.

Бидерман. Как раз это он и хочет использовать. Доля в прибыли от его изобретения! А ведь Кнехтлинг отлично знает, что такое наша жидкость для волос — уменье торговать, а не изобретение. Смешно! Простачки, которые смазывают лысину нашей жидкостью, с таким же успехом могли бы смазывать ее своей мочой.

Бабетта. Готлиб!

Бидерман. Но это же правда! *(Проверяет, все ли положил в портфель.)* Да, я просто добряк, ты права,— уж этому Кнехтлингу я сверну шею! *(Хочет идти и видит Шмица.)*

Шмиц. Доброе утро, господа!

Бидерман. Господин Шмиц...

Шмиц протягивает ему руку.

Шмиц. Зовите меня просто Зепп!

Бидерман не подает ему руки.

Бидерман. Моя жена поговорит с вами, господин Шмиц. Мне надо идти, к сожалению. Но я желаю вам всего хорошего... *(Трясет руку Шмица.)* Всего хорошего, Зепп, всего хорошего!

Бидерман уходит.

Шмиц. Всего хорошего, Готлиб, всего хорошего!

Бабетта изумленно уставилась на него.

Ведь вашего мужа зовут Готлиб?..

Бабетта. Как вы спали?

Шмиц. Спасибо, мерз. Но я позволил себе, мадам, взять овчину. Это мне так напомнило мое детство в избушке угольщика. Да... К холоду я привычен.

Б а б е т т а. Ваш завтрак готов.
Ш м и ц. Мадам!

Она указывает ему на кресло.

Этс слишком!

Она наливает ему кофе.

Б а б е т т а. Вам надо основательно поесть, Зепп. Вам наверняка предстоит долгий путь.
Ш м и ц. То есть почему?

Она еще раз указывает ему на кресло.

Б а б е т т а. Может быть, яйцо всмятку?
Ш м и ц. Два.
Б а б е т т а. Анна!
Ш м и ц. Вот видите, мадам, я уже чувствую себя как дома... С вашего позволения... *(Садится.)*

Входит А н н а.

Б а б е т т а. Два яйца всмятку.
А н н а. Извольте.
Ш м и ц. Три с половиной минуты!
А н н а. Извольте.

Анна хочет идти.

Ш м и ц. Девушка!

Анна останавливается в дверях.

Добрый день!
А н н а. Здрасте! *(Выходит.)*
Ш м и ц. Как эта девица на меня смотрит, черт возьми! Если бы от нее зависело, я бы наверняка уже стоял на улице под проливным дождем.

Бабетта наливает кофе.

Б а б е т т а. Господин Шмиц!
Ш м и ц. Да?
Б а б е т т а. Говоря откровенно...
Ш м и ц. Вы дрожите, мадам?!
Б а б е т т а. Господин Шмиц...
Ш м и ц. Что вас беспокоит?
Б а б е т т а. Вот сыр.
Ш м и ц. Спасибо.
Б а б е т т а. Вот джем.
Ш м и ц. Спасибо.
Б а б е т т а. Вот мед...
Ш м и ц. Не все сразу, мадам, не все сразу. *(Откидывается назад и жует бутерброд, приготовившись слушать.)* В чем дело?
Б а б е т т а. Говоря напрямик, господин Шмиц...
Ш м и ц. Зовите меня просто Зепп.
Б а б е т т а. Говоря напрямик...
Ш м и ц. Вы хотите от меня отделаться?
Б а б е т т а. Нет, господин Шмиц, нет, этого я не хотела сказать.
Ш м и ц. А что же вы хотели сказать? *(Берет сыр.)* Тильзитский я просто обожаю! *(Снова откидывается назад и жует, приготовившись слушать.)* Итак, мадам, вы считаете меня поджигателем...
Б а б е т т а. Не поймите меня превратно. Что я такого сказала? Я никоим образом не думала вас обидеть, господин Шмиц! Честное слово! Вы меня совсем смутили. Кто же говорит о поджигателях? Я на ваше поведение не жалуюсь, господин Шмиц...
Ш м и ц *(кладет вилку и нож)*. Я знаю, у меня дурные манеры.
Б а б е т т а. Да нет же, господин Шмиц, не в этом дело...
Ш м и ц. Человек чавкает...
Б а б е т т а. Пустяки!

Шмиц. Мне и в сиротском доме всегда говорили: «Шмиц, не чавкай!»

Она берет кофейник, чтобы налить ему кофе.

Бабетта. Боже мой, вы не так меня поняли, совсем не так...

Шмиц. Я ухожу.

Он прикрывает ладонью свою чашку.

Бабетта. Господин Шмиц!

Шмиц. Я ухожу!

Бабетта. Еще чашку кофе.

Он отрицательно качает головой.

Полчашки!

Он отрицательно качает головой.

Не уходите так, господин Шмиц, я вовсе не хотела вас обидеть, я же ни слова не сказала о том, что вы чавкаете!

Он поднимается.

Я вас обидела?

Он складывает салфетку.

Шмиц. Чем вы виноваты, мадам, коли у меня дурные манеры? Отец мой был угольщиком. Откуда нашему брату взять хорошие манеры? Голод и холод, мадам, мне нипочем, но... ни образования, мадам, ни манер, мадам, ни культуры.

Бабетта. Понимаю.

Шмиц. Я ухожу.

Бабетта. Куда?

Шмиц. Туда, под дождь...

Бабетта. Ах, боже мой...

Шмиц. Я привычный...

Бабетта. Господин Шмиц... Не смотрите на меня так!.. Ваш отец был угольщиком, я понимаю, господин Шмиц, у вас, вероятно, было тяжелое детство.

Шмиц. Его вовсе не было, мадам... *(Опускает взгляд, перебирает пальцами.)* Вовсе не было. Мне исполнилось семь лет, когда умерла моя мать... *(Отворачивается и утирает глаза.)*

Бабетта. Зепп!.. Ну же, Зепп!

Анна входит и приносит яйца.

Анна. Еще что-нибудь? *(Не получает ответа и выходит.)*

Бабетта. Я же вас не прогоняю, господин Шмиц, я этого вовсе не говорила. Что я вам такого сказала? Вы меня в самом деле не так поняли, господин Шмиц, это ужасно. Что мне сделать, чтобы вы поверили? *(Берет его, не без колебания, за рукав.)* Садитесь, Зепп, кушайте!

Шмиц снова садится за стол.

За кого вы нас принимаете? Я совсем и не заметила, что вы чавкаете, честное слово! Да если бы и так — мы не придаем значения условностям, господин Шмиц, вы могли это заметить, господин Шмиц, мы не такие.

Он срезает верхушку с яйца.

Шмиц. Награди вас бог!

Бабетта. Вот соль.

Он ест яйцо ложечкой.

Шмиц. И верно, мадам, вы меня вовсе не прогоняли, об этом не было и речи, это правда. Прошу извинить, мадам, что я так неправильно вас понял...

Бабетта. Как сварено яйцо, хорошо?

Шмиц. Покруче бы... Очень прошу извинить. *(Доел яйцо.)* А что это вы хотели сказать, мадам, раньше, когда повторяли «говоря напрямик»?

Б а б е т т а. Да, что же, собственно, я хотела сказать...

Ш м и ц *(срезает верхушку со второго яйца)*. Награди вас бог. *(Ест ложечкой второе яйцо.)* Вилли, тот всегда говорит: нынче у частных лиц сочувствия не сыщешь. Нет больше добрых людей. Все государственное! Человечности не стало, говорит он. Потому-то и мир идет на свалку — потому!.. *(Солит яйцо.)* Вот уж он вытаращит глаза! Если получит такой завтрак, вот уж вытаращит глаза!.. Наш Вилли...

Звонок у входной двери.

Может, это он.

Б а б е т т а. Кто такой Вилли?

Ш м и ц. Он-то культурный, мадам, сами увидите, он был кельнером в «Метрополе», пока тот не сгорел, «Метрополь»...

Б а б е т т а. Сгорел?

Ш м и ц. Обер-кельнером.

Входит А н н а.

Б а б е т т а. Кто это там?

А н н а. Какой-то господин.

Б а б е т т а. Что ему надо?

А н н а. Говорит, что от пожарной инспекции, и ему, значит, надо осмотреть дом.

Бабетта встает.

Он во фраке.

Бабетта и Анна выходят, Шмиц наливает себе кофе.

Ш м и ц. Это Вилли!

Х о р. Будят у нас подозренье
Эти у входа стоящие
Ржавые велосипеды.
Чьи же они?

К о р и ф е й. Был там вчера лишь один,
Нынче второй появился.

Х о р. Горе!

К о р и ф е й. Ночь, и мы снова на страже.

Бьют башенные часы.

Х о р. Жалок бывает пугливый —
Собственной тени страшится,
Слухи он ловит усердно,
Мечется в страхе.
Так он дрожа и живет
Вплоть до минуты, когда
В дом его входит беда.

Бьют башенные часы.

К о р и ф е й. Что ж не покинули дом
Двое пришельцев?
Как это надо понять?

Бьют башенные часы.

Х о р. Трус — он слепее слепца,
С трепетом робкой надежды
Зло за добро принимая,
Зло он встречает радушно,
Страхом измучен, отпора
Злу не дает он, покамест
Поздно не станет...

Бьют башенные часы.

Х о р. Горе! *(Хор садится.)*

СЦЕНА 3

Чердак.

Шмиц, все еще в одежде борца, и Другой, сняв фрак и оставшись в белом жилете, заняты тем, что катят по чердаку баки, в каких обычно перевозят бензин; стараются действовать как можно бесшумнее, оба сняли ботинки.

Другой. Тише! Тише!

Шмиц. А что, если ему взбредет в голову вызвать полицию?

Другой. Толкай!

Шмиц. Что тогда?

Другой. Помаленьку! Помаленьку! Стоп.

Они подкатили бак к остальным, уже стоящим в полутьме. Другой берет ветошь и обтирает пальцы.

Как это он вызовет полицию?

Шмиц. А как же не вызвать?

Другой. Да ведь у него у самого рыльце в пушку.

Слышно воркованье голубей.

Жаль, уже утро, пойдем спать! *(Бросает ветошь.)* У каждого рыльце в пушку, коли водятся деньги. Не беспокойся.

Кто-то стучит в дверь, запертую на задвижку.

Бидерман. Отоприте! Отоприте! *(Колотит в дверь и дергает ее.)*

Другой. Это не похоже на приглашение к завтраку.

Бидерман. Отоприте, я сказал! Сейчас же!

Шмиц. Таким он еще не бывал.

В дверь колотят все сильнее. Другой надевает фрак — не спеша, но и не слишком медленно. Поправляет галстук и отряхивает с себя пыль, затем открывает дверь. Входит Бидерман в халате, он не замечает вновь прибывшего, так как тот стоит за отворенной дверью.

Бидерман. Господин Шмиц!

Шмиц. Доброе утро, господин Бидерман, доброе утро. Надеюсь, вас не разбудил этот дурацкий грохот...

Бидерман. Господин Шмиц!

Шмиц. Больше это не повторится...

Бидерман. Извольте оставить мой дом.

Пауза.

Я сказал: извольте оставить мой дом!

Шмиц. Когда?

Бидерман. Сию же минуту!

Шмиц. Как же так?

Бидерман. Не то моя жена (а я не могу и не стану этому мешать) вызовет полицию.

Шмиц. Гм.

Бидерман. И сию же минуту.

Пауза.

Чего вы ждете?

Шмиц молча берет ботинки.

Я не намерен это обсуждать!

Шмиц. Да я ничего и не говорю.

Бидерман. Или вы полагаете, господин Шмиц, я стану все терпеть только потому, что вы борец,— такой грохот всю ночь... *(Указывает вытянутой рукой на дверь.)* Вон! Вон! Я сказал — вон!

Шмиц *(обращается к Другому)*. Таким он еще не бывал...

Бидерман оборачивается и немеет.

Другой. Моя фамилия Айзенринг.

Бидерман. Господа...

Айзенринг. Вильгельм Мария Айзенринг.

Бидерман. Как же так, господа, как же так вас вдруг стало двое?

Шмиц и Айзенринг переглядываются.

Без спроса!

Айзенринг. Вот видишь.

Бидерман. Что это значит?

Айзенринг. Говорил же я тебе. Так не делают, Зепп, ты не умеешь себя вести. Без спроса! Что это за манера, вдруг нас стало двое.

Бидерман. Я вне себя...

Айзенринг. Вот видишь. *(Обращается к Бидерману.)* Я ему говорил. *(Оборачиваясь к Шмицу.)* Говорил я тебе?

Шмиц стыдится.

Бидерман. Да как вы смеете, господа! В конце концов, господа, хозяин этого дома — я. Я спрашиваю: как вы смеете?

Пауза.

Айзенринг. Отвечай, когда тебя спрашивают!

Пауза.

Шмиц. Да ведь Вилли — мой друг...

Бидерман. Ну и что из того?

Шмиц. Мы же вместе ходили в школу, господин Бидерман, еще малышами...

Бидерман. Ну и что же?

Шмиц. Так вот я и думал...

Бидерман. Что?

Шмиц. Так вот я и думал...

Пауза.

Айзенринг. Ничего ты не думал! *(Обращается к Бидерману.)* Я вас вполне понимаю, господин Бидерман. Всему есть мера, но в конце концов... *(Кричит на Шмица.)* Ты что же, думаешь, хозяин дома обязан все терпеть? *(Обращается к Бидерману.)* Зепп вас вообще не спрашивал?

Бидерман. Ни разу.

Айзенринг. Зепп!..

Бидерман. Ни разу!

Айзенринг. ...и ты еще удивляешься, что тебя выбрасывают на улицу? *(Качает головой и смеется, будто над дурачком.)*

Бидерман. Смеяться тут нечему, господа. Мне совсем не до шуток. У моей жены больное сердце...

Айзенринг. Вот видишь!

Бидерман. Она до утра не могла уснуть. Из-за этого грохота. И вообще: что вы тут, собственно, делаете? *(Оглядывается.)* Зачем здесь, к дьяволу, эти баки?

Шмиц и Айзенринг смотрят туда, где баков нет.

Вот здесь! Пожалуйста! Что это такое? *(Стучит по баку.)* Что это такое?

Шмиц. Баки...

Бидерман. Откуда они взялись?

Шмиц. Тебе известно, Вилли? Откуда они?

Айзенринг. Импорт, на них написано.

Бидерман. Господа...

Айзенринг. Где-то там написано!

Айзенринг и Шмиц ищут надписи.

Бидерман. Я вне себя. Да как вы смеете? Весь мой чердак заставлен баками — забит, просто забит.

Айзенринг. Вот именно...

Бидерман. Что вы хотите этим сказать?

Айзенринг. Зепп не рассчитал... Ты сказал — двенадцать на пятнадцать, а здесь во всем чердаке не будет и ста квадратных метров... Не могу же я оставить свои баки на улице, господин Бидерман, вы меня понимаете.

Бидерман. Ничего я не понимаю.

Шмиц показывает этикетку.

Шмиц. Вот, господин Бидерман, вот она, этикетка!

Бидерман. Я вне себя...

Шмиц. Здесь написано, откуда они. Вот.

Бидерман. ...просто вне себя. *(Смотрит на этикетку.)*

Внизу.
Анна вводит Полицейского в комнату.

Анна. Я его позову. *(Уходит.)*

Полицейский ждет.
Наверху.

Бидерман. Бензин?!

Внизу.
Анна возвращается.

Анна. А по какому вы делу, господин вахмистр?

Полицейский. По служебному.

Анна уходит. Полицейский ждет.

Бидерман. Это правда, господа? Неужели это правда?

Наверху.

Айзенринг. Что?

Бидерман. То, что здесь написано. *(Показывает на этикетку.)* За кого вы меня, собственно, принимаете? Нет, такого со мной еще не бывало. Вы что же, думаете, что я неграмотный?

Они смотрят на этикетку.

Вот, пожалуйста! *(Смеется, как смеются над бесстыдной наглостью.)* Бензин! *(Говорит тоном следователя.)* Что в этих баках?

Айзенринг. Бензин.

Бидерман. Прекратите шуточки! Последний раз спрашиваю: что в этих баках? Вы не хуже меня знаете, что бензину на чердаке не место. *(Проводит пальцем по баку.)* Вот — нюхайте сами! *(Подносит им палец к носу.)* Бензин это или не бензин?

Они нюхают и переглядываются.

Отвечайте!

Айзенринг. Бензин.

Шмиц. Бензин.

Оба. Точно.

Бидерман. С ума вы, что ли, спятили? Весь мой чердак забит — везде бензин.

Шмиц. Как раз поэтому, господин Бидерман, мы и не курим.

Бидерман. И это, господа, в наше время, когда в любой газете, какую ни возьми, только и разговору что о поджогах. О чем вы думаете, хотел бы я знать! Мою жену хватит удар, если она обнаружит эти баки.

Айзенринг. Вот видишь!

Бидерман. Да перестаньте вы повторять: вот видишь, вот видишь!

Айзенринг. Нельзя же требовать, Зепп, чтобы женщина, хозяйка, я знаю хозяек...

Анна *(зовет с лестницы.)* Господин Бидерман! Господин Бидерман!

Бидерман закрывает дверь.

Бидерман. Господин Шмиц! Господин...

Айзенринг. Айзенринг.

Бидерман. Если вы сию же минуту не уберете баки из моего дома, я сказал, сию же минуту!..

Айзенринг. То вы позовете полицию.

Бидерман. Да.

Шмиц. Вот видишь!

Анна *(зовет с лестницы)*. Господин Бидерман!

Бидерман *(шепотом)*. Это мое последнее слово.

Айзенринг. Какое?

Бидерман. Я не потерплю бензина у себя на чердаке. Раз навсегда! Не потерплю!

В дверь стучат.

Иду! *(Отворяет дверь, чтобы выйти.)*

Входит Полицейский.

Полицейский. Вот и вы, господин Бидерман, вот и вы. Можете вниз не спускаться, я вас не задержу.

Бидерман. Доброе утро!

Полицейский. Доброе утро!

Айзенринг. Здрасте.

Шмиц. Здрасте.

Шмиц и Айзенринг кланяются.

Полицейский. Речь идет о несчастном случае...

Бидерман. Боже милостивый!

Полицейский. Старик, жена которого утверждает, будто он работал у вас изобретателем, сегодня ночью отравился газом. *(Заглядывает в блокнотик.)* Кнехтлинг Иоганн, место жительства — Росгассе, одиннадцать. *(Прячет блокнотик.)* Знали вы такого?

Бидерман. Я...

Полицейский. Может быть, вам приятнее, господин Бидерман, если мы поговорим с глазу на глаз...

Бидерман. Да.

Полицейский. Ваших служащих ведь это не касается.

Бидерман. Нет. *(Останавливается в дверях.)* Если меня будут искать, господа,— я в полиции. Понятно? Я сейчас же вернусь.

Шмиц и Айзенринг кивают.

Полицейский. Господин Бидерман!

Бидерман. Пойдемте.

Полицейский. Что у вас в этих баках?

Бидерман. У меня?!

Полицейский. Если смею спросить...

Бидерман. Жидкость для волос... *(Смотрит на Шмица и Айзенринга.)*

Айзенринг. Гормофлор.

Шмиц. «Мужчины всего мира, ликуйте».

Айзенринг. Гормофлор.

Шмиц. «Испробуйте сегодня же!»

Айзенринг. «Вы об этом не пожалеете».

Оба. Гормофлор, гормофлор, гормофлор.

Полицейский смеется.

Бидерман. Он умер?

Бидерман и Полицейский уходят.

Айзенринг. Душа-человек.

Шмиц. А что я говорил?

Айзенринг. Но о завтраке ни слова.

Шмиц. Таким он еще не бывал...

Айзенринг сует руку в карман.

Айзенринг. Запал у тебя?

Шмиц шарит в кармане брюк.

Шмиц. Таким он еще не бывал...

Хор. Солнца лучи,
Божьего ока ресницы!
День воссиял, озарив
Города кровли...

Корифей. Нынче опять, как вчера.

Хор. Слава нам!

Корифей. Город наш спящий беда не постигла.

Хор. Слава нам!

Корифей. Нынче еще не постигла.

Хор. Слава нам!

Слышен шум городского движения, гудки машин, трамвай.

Корифей. Мудр человек, и опасность
Он пресечет, осознав
То, что увидел воочью.
Духом он бодр и заметит
Вовремя знаки беды,
Если захочет.

Хор. Что же, когда он не хочет?

Корифей. Весть о грозящей напасти
Ищет в газетах он,
Завтрак вкушая,
Каждое утро готов возмущаться
Дальним событием.
Все растолковано,
Думать не надо,
Он узнает ежедневно
То, что случилось вчера у других,
Видеть не хочет он только
Происходящее нынче, сейчас
В собственном доме.

Хор. Неопубликованное!

Корифей. Очевидное.

Хор. Неслыханное.

Корифей. Несомненное.

Хор. Видеть не хочет, не то бы...

Корифей жестом прерывает хор.

Корифей. Вот он идет.

Хор разворачивается в шеренгу.

Хор. Город ночной не постигла беда,
Нынче опять, как вчера,
Чтобы забыть об угрозе,
Выбритый гладко,
Спешит обыватель
Дельце обделать...

Входит Бидерман в пальто и шляпе, с портфелем под мышкой.

Бидерман. Такси!.. Такси!.. Такси...

Хор стоит, преграждая ему путь.

В чем дело?

Хор. Горе!

Бидерман. Что вам угодно?

Хор. Горе!

Бидерман. Это вы уже сказали.

Хор. Трижды горе!
Бидерман. Почему?
Корифей. Слишком сильны подозренья,
Слишком огнеопасное
Взглядам открылось твоим,
Также и нашим.
Как понимать это надо?
Баки с бензином под крышей...
Бидерман *(кричит)*. Вам-то что за дело?

Молчание.

Пропустите меня. Мне надо к моему адвокату. Чего от меня хотят? Я не виноват... *(Пугаясь.)* Что это, допрос? *(Проявляет властную уверенность.)* А ну-ка, пропустите меня!

Хор стоит неподвижно.

Хор. Хору не подобает
Суд совершать над поступками граждан.
Корифей. Со стороны ж ему, хору, видней,
Да и яснее опасность.
Хор. Даже при явной угрозе,
Страхом истерзаны сами,
Можем мы только спросить,
Вежливо предостеречь.
Хор, как известно, античный
Бдителен, ах, но бессилен
Грозный конец отвратить.
Так и пожарники.

Бидерман смотрит на ручные часы.

Бидерман. Я тороплюсь.
Хор. Горе!
Бидерман. Я в самом деле не знаю, что вам угодно.
Корифей. Бидерман Готлиб, ты терпишь
Баки с горючим под крышей,
Как объяснишь это ты?
Бидерман. Как объясню?
Корифей. Зная, что мир так горюч,
Бидерман Готлиб, что думаешь ты?
Бидерман. Что думаю? *(Вызывающе оглядывает хор.)* Господа, я свободный гражданин. Могу думать все, что мне угодно. Что это за расспросы? Я имею право, господа, вообще не думать... не говоря уже вот о чем, господа: раз это происходит под крышей моего дома, скажу я вам... в конце концов, хозяин этого дома — я.
Хор. Свято святое для нас —
Собственность.
Пусть порождает она
Непоправимое зло,
Пусть мы и сами погибнем, сгорим —
Свято святое для нас!
Бидерман. Вот так-то.

Молчание.

Почему вы меня не пропускаете?

Молчание.

Не следует вечно подозревать наихудшее. Куда это нас заведет? Я хочу, чтобы меня оставили в покое, что же касается тех двух господ... не говоря о том, что у меня сейчас другие заботы...

Входит Бабетта в пальто и шляпе.

Что тебе здесь надо?

Бабетта. Я помешала?

Бидерман. У меня тут небольшое совещание с хором.

Бабетта кивает хору, затем шепчет что-то на ухо Бидерману.

Конечно с лентой. Не важно, сколько будет стоить, главное, чтобы был приличный венок.

Бабетта кивает хору.

Бабетта. Извините меня, господа. *(Удаляется.)*

Бидерман. Одним словом, господа, мне это надоело. Вечно вы с вашими поджигателями! Я даже в пивную не хожу, до того мне это опротивело. Неужели в наши дни больше не о чем и говорить? В конце концов, живешь только раз. Если мы каждого, кроме себя, будем считать поджигателем, станет ли в мире лучше? Немножко доверия, черт подери, все-таки надо иметь, немножко доброй воли. Так я считаю. Не следует всегда и везде видеть зло. Черт подери! Не всякий человек — поджигатель. Так я считаю. Немножко доверия, немножко...

Пауза.

Не могу я жить в вечном страхе!

Пауза.

Думаете, сегодня ночью я хоть на миг сомкнул глаза? Не идиот же я. Бензин есть бензин. Чего я только не передумал, я влез на стол подслушивать, а потом забрался даже на шкаф и приложил ухо к потолку. Ну да! Они храпели. Храпели! Я влезал на шкаф раза четыре — мирно храпели! И все же я даже выскочил на лестницу, верите вы или нет, выскочил в пижаме, так я рассвирепел. Я готов был разбудить этих негодяев и вышвырнуть их на улицу вместе с баками — собственноручно, решительно, ночью!

Хор. Собственноручно?

Бидерман. Да.

Хор. Решительно?

Бидерман. Да.

Хор. Ночью?

Бидерман. Я был готов, да, и если бы не пришла жена,— она боялась, что я простужусь... Готов был... *(В смущении достает сигару.)*

Корифей. Как толковать это нам?
Ночью в бессоннице тяжкой
Думал: возможно ль, чтоб мне
Злом за добро отплатили?
Грызли его подозренья.
Как же понять это нам?

Бидерман закуривает сигару.

Хор. Да, нелегко богачу!
Он не уступит в делах,
Дома — душа-человек,
Рад он добро сотворить.

Корифей. Если удобно ему.

Хор. Злая ошибка — поверить,
Будто к добру добродушье ведет.

Бидерман. Что вы хотите этим сказать?

Хор. Нам вот сдается, что пахнет бензином.

Бидерман принюхивается.

Бидерман. А я, господа, никакого запаха не чувствую.

Хор. Горе нам!

Бидерман. Совершенно не чувствую.

Хор. Горе нам!
Корифей. Стал уж привычен ему
Запах зловещий.
Хор. Горе нам!
Бидерман. И оставьте вы, господа, это пораженчество, не повторяйте без конца: горе нам!

Слышны гудки автомобиля.

Такси! Такси!

Слышно, как останавливается автомобиль.

Извините...

Бидерман поспешно уходит.

Хор. Бидерман Готлиб, куда ты?
Корифей. Что он намерен, злосчастный,
Делать теперь? Мне казалось,
Он и напуган, и дерзок.
Борются страх и решимость
В нем, но на что он решится?

Слышны гудки автомобиля.

Хор. Стал уж привычен ему
Запах зловещий.

Слышны гудки в отдалении.

Горе нам!
Корифей. Горе вам!

Хор отступает в глубь сцены, за исключением Корифея, который достает свою трубку.

Корифей. Если бояться любой перемены
Больше, чем бедствия,
Разве сумеешь предотвратить
Бедствие злое?

СЦЕНА 4

Чердак.

Айзенринг один, сматывает шнур с катушки, насвистывая «Лили Марлен». Перестает свистеть, слюнявит указательный палец и высовывает его в слуховое окно, чтобы определить направление ветра.

Комната.

Входит Бидерман, за ним Бабетта, он снимает пальто и бросает портфель, во рту сигара.

Бидерман. Сделай, как я сказал.
Бабетта. Гуся?
Бидерман. Гуся. *(Снимает галстук, не выпуская изо рта сигары.)*
Бабетта. Почему ты снимаешь галстук, Готлиб?
Бидерман *(протягивает ей галстук)*. Если я на них донесу, на этих молодчиков, то они наверняка станут моими врагами. Какой в этом прок? Одна спичка — и наш дом запылает. Какой в этом прок? Если же я схожу наверх и приглашу их и, предположим, они примут приглашение...
Бабетта. Тогда что?
Бидерман. Тогда мы будем друзьями. *(Снимает пиджак, отдает жене и уходит.)*
Бабетта *(входящей Анне)*. Имейте в виду, Анна: сегодня вечером вам придется остаться дома. У нас гости. Накроете стол на четверых.

Чердак.

Айзенринг напевает «Лили Марлен», потом слышен стук в дверь.

Айзенринг. Войдите!

Продолжает петь и насвистывать, но никто не входит.

Войдите!

Входит Бидерман, без пиджака, с сигарой в руке.

Айзенринг. Доброе утро, господин Бидерман.

Бидерман. Разрешите...

Айзенринг. Как вы спали?

Бидерман. Спасибо, очень скверно.

Айзенринг. Я тоже. Все этот южный ветер, фён. *(Снова берется за шнур и катушку.)*

Бидерман. Я бы не хотел вам мешать.

Айзенринг. Что вы, пожалуйста, господин Бидерман, вы же у себя дома.

Бидерман. Я бы не хотел быть навязчивым...

Слышно воркованье голубей.

А где наш друг?

Айзенринг. Зепп? Ушел по делу, ленивый пес. Не хотел идти без завтрака! Я послал его раздобыть стружек.

Бидерман. Стружек?

Айзенринг. Стружки разносят искры дальше всего.

Бидерман смеется из вежливости, как над неудачной остротой.

Бидерман. Да, я хотел вам сказать, господин Айзенринг...

Айзенринг. Вы опять собираетесь нас вышвырнуть?

Бидерман. Поздно ночью... я не спал, снотворное у меня кончилось... и вот мне пришло в голову: у вас же, господа, здесь даже уборной нет.

Айзенринг. У нас есть водосточная труба.

Бидерман. Как вам угодно, господа, как вам угодно. Только я не мог отделаться от этой мысли. Всю ночь. Может быть, вы хотите помыться, принять душ. Не стесняйтесь, пользуйтесь моей ванной. Я сказал Анне, чтобы она приготовила вам полотенца.

Айзенринг качает головой.

Почему вы качаете головой?

Айзенринг. Куда он его опять задевал?

Бидерман. Что?

Айзенринг. Вы не заметили тут где-нибудь запал? *(Ищет в разных местах.)* Не беспокойтесь насчет ванной, господин Бидерман. Серьезно. В тюрьме, знаете, тоже не было ванной.

Бидерман. В тюрьме?

Айзенринг. Вам разве Зепп не рассказывал, что я только что из тюрьмы?

Бидерман. Нет.

Айзенринг. Ни словечка?

Бидерман. Нет.

Айзенринг. Он только о себе и рассказывает. Бывают же такие люди! В конце концов, мы не виноваты, что у него была трагическая молодость. А у вас, господин Бидерман, молодость была трагическая? У меня нет. Я бы мог учиться, папаша хотел, чтобы я стал юристом. *(Стоит у слухового окна и беседует с голубями.)* Гули... гули, гули!

Бидерман снова закуривает сигару.

Бидерман. Господин Айзенринг, я всю ночь не мог уснуть, скажите по совести, в этих баках действительно бензин?

Айзенринг. Вы нам не доверяете?

Бидерман. Я только спрашиваю.

Айзенринг. За кого вы, собственно, нас принимаете, господин Бидерман, скажите прямо — за кого?

Бидерман. Не думайте, мой друг, что у меня нет чувства юмора, но, должен сознаться, у вас такая манера шутить...

Айзенринг. Уж это мы усвоили...

Бидерман. Что?

Айзенринг. Шутка — это маскировка третьего сорта. Второй сорт — сентиментальность. То, что рассказывает наш Зепп: детство среди угольщиков в лесу, сиротский дом, цирк и все такое прочее. Но самая лучшая, самая надежная маскировка, так я считаю, это все же чистая и голая правда. Как ни смешно. Правде не верит никто.

Комната.

Анна вводит вдову Кнехтлинга в трауре.

Анна. Садитесь.

Вдова садится.

Но если вы — госпожа Кнехтлинг, то вы пришли зря. Господин Бидерман сказал — он не желает иметь с вами дела.

Вдова встает.

Садитесь!

Вдова садится.

Но не надейтесь понапрасну.

Анна выходит.

Чердак.

Айзенринг, стоя, что-то прилаживает. Бидерман стоит и курит.

Айзенринг. Где это застрял наш Зепп? Стружки — это же сущий пустяк. Надеюсь, его не сцапали.

Бидерман. Сцапали?

Айзенринг. Вас это смешит?

Бидерман. Когда вы так говорите, господин Айзенринг, мне кажется, будто вы из другого мира. Сцапали! Это потрясающе. Будто вы из другого мира! В нашем кругу, знаете, редко кого цапают.

Айзенринг. Ясно — потому что в вашем кругу не воруют стружек, господин Бидерман. Это и есть классовые различия.

Бидерман. Ерунда!

Айзенринг. Не хотите же вы сказать, господин Бидерман...

Бидерман. Не верю я в классовые различия! Вы должны были это почувствовать, Айзенринг, не такой я старомодный. Наоборот. Я искренне сожалею, что как раз низшие классы все еще болтают о классовых различиях. Разве все мы, бедные и богатые,— не творения одного и того же творца? Также и среднее сословие. Разве мы, вы и я,— не люди из плоти и крови?.. Не знаю, господин Айзенринг, курите ли вы сигары...

Протягивает сигары, но Айзенринг отрицательно качает головой.

Я не стою за уравниловку, само собой, всегда будут, слава богу, дельные люди и бездельники, но почему нам просто не протянуть друг другу руки?.. Немножко доброй воли, черт побери, немножко идеализма, совсем немножко — и у всех был бы мир и покой, у бедных и у богатых, верно ведь?

Айзенринг. Могу я быть с вами откровенным, господин Бидерман...

Бидерман. Да, прошу вас.

Айзенринг. А вы не обидитесь?

Бидерман. Чем откровеннее, тем лучше.

Айзенринг. Я считаю — откровенно говоря,— что вам не следовало бы здесь курить.

Бидерман пугается и гасит сигару.

Я вам не могу указывать, господин Бидерман, в конце концов, это ваш собственный дом, но вы понимаете...

Бидерман. Разумеется!

Айзенринг нагибается.

Айзенринг. А, вот он. *(Поднимает что-то с пола, сдувает пыль, укрепляет на шнуре, опять насвистывая «Лили Марлен».)*

Бидерман. Скажите, господин Айзенринг, что вы, собственно, мастерите здесь все время? Если смею спросить. Что это за штука?

Айзенринг. Запал.

Бидерман. ?..

Айзенринг. А это запальный шнур.

Бидерман. ?..

Айзенринг. Зепп говорит, будто теперь бывают шнуры и получше. Но на складах их пока что нет, а о покупке нам и думать нечего. Все, что связано с войной, ужасно дорого, все сплошь высшего качества.

Бидерман. Вы сказали — запальный шнур?..

Айзенринг. Запальный шнур. *(Дает Бидерману конец шнура.)* Будьте так любезны, господин Бидерман, подержите конец. Мне надо измерить длину.

Бидерман держит шнур.

Бидерман. Шутки в сторону, мой друг!

Айзенринг. Только одну минуту. *(Насвистывая «Лили Марлен», измеряет длину шнура.)* Спасибо, господин Бидерман, большое спасибо.

Бидерман внезапно разражается смехом.

Бидерман. Нет, Вилли, меня вы не запугаете. Меня — нет! Но должен сказать, уж очень вы полагаетесь на чувство юмора у людей. Уж чересчур. Когда вы вот такое говорите, я могу себе представить, что вас нет-нет да и арестуют. Не все, мой друг, далеко не все чувствуют юмор так, как я.

Айзенринг. Надо уметь найти нужного человека.

Бидерман. Моим собутыльникам в пивной, например, сразу чудится Содом и Гоморра, как только им скажешь, что надо верить людской доброте.

Айзенринг. Ха.

Бидерман. И притом я пожертвовал нашей пожарной охране такую сумму, что и назвать страшно.

Айзенринг. Ха. *(Прилаживает шнур.)* Тем, у кого нет чувства юмора, тоже не спастись, когда дойдет до дела, будьте спокойны.

Бидерман вынужден присесть на бак, его бросает в пот.

Что с вами? Господин Бидерман! На вас лица нет. *(Хлопает его по плечу.)* Все этот запах, я знаю, так бывает с непривычки от запаха бензина. Открою-ка я окошко. *(Открывает дверь.)*

Бидерман. Спасибо...

Анна *(зовет с лестницы)*. Господин Бидерман! Господин Бидерман!

Айзенринг. Что, снова полиция?

Анна. Господин Бидерман!

Айзенринг. Это ли не полицейское государство?..

Бидерман. Иду!

Дальше разговор ведется шепотом.

Господин Айзенринг, вы гуся любите?

Айзенринг. Гуся?

Бидерман. Гуся, да, гуся.

Айзенринг. Люблю. А что?

Бидерман. Фаршированного, с каштанами.

Айзенринг. С красной капустой?

Бидерман. Да... Так вот, я хотел сказать: мы с женой, в особенности я... я подумал... если вам будет приятно... Я не хочу быть назойли-

вым! Если вам будет приятно, господин Айзенринг, по-домашнему поужинать с нами... Вам и Зеппу...

Айзенринг. Сегодня?

Бидерман. Или лучше завтра?

Айзенринг. Завтра, полагаю, нас уже здесь не будет. А нынче с удовольствием, господин Бидерман, с удовольствием.

Бидерман. Скажем, в семь часов.

Анна *(зовет с лестницы)*. Господин Бидерман!

Он подает руку Айзенрингу.

Бидерман. Решено?

Айзенринг. Решено!

Бидерман идет к двери и там еще раз оборачивается и приветливо кивает, бросая на баки и шнур взгляд, полный ужаса.

Решено!

Бидерман уходит, Айзенринг продолжает свое дело, насвистывая. Выступает вперед хор, как будто сцена закончена, но в тот момент, когда хор собрался перед рампой, на чердаке раздается шум — что-то свалилось.

Чердак.

Айзенринг. Можешь выйти, доктор.

Третий выползает из-за баков, он в очках.

Ты слышал — мы с Зеппом идем на ужин, а ты тут постереги. Чтобы никто не вошел и не закурил. Понятно? Раньше времени.

Третий протирает очки.

Я иногда спрашиваю себя, доктор: что тебе, собственно, у нас надо, если тебя не веселят пожары, искры и треск пламени, сирены пожарников, которые вечно опаздывают, лай собак, дым, крики людей — и груды пепла?..

Третий надевает очки, молча и серьезно. Айзенринг смеется.

Все мир улучшаешь? *(Насвистывает, не глядя на доктора.)* Не люблю вас, ученую братию, да ты это знаешь, доктор, я тебе сразу сказал: вы только портите удовольствие, вечно вы суетесь с идеологией, вечно всерьез, пока не докатитесь до измены. Только портите нам удовольствие... *(Продолжает орудовать и насвистывать.)*

Хор. Мы наготове —
Красные шланги
Скатаны плотно,
Все по уставу,
Винтики медные ярко начищены,
Тщательно смазаны.
Каждый на месте и знает, что делать.

Корифей. Ветер силен, вот беда.

Хор. Каждый на месте и знает, что делать.
В полном порядке насосы.
Все предусмотрено,
Чтобы напор не ослаб.

Корифей. Ну, а пожарные краны?

Хор. Тоже в порядке.
Каждый на месте и знает, что делать.

Корифей. Мы наготове.

Входит Бабетта с гусем в руках и Доктор философии.

Бабетта. Да, господин доктор, да, знаю, но мой муж... да, это срочно, господин доктор, да, конечно, я передам... *(Отходит от Доктора философии и приближается к рампе.)* Муж велел мне купить гуся — пожалуйста, вот он. Его надо зажарить! Это чтобы подружиться с теми, что на чердаке.

Слышен колокольный звон.

Нынче субботний вечер, как вы слышите, и я не могу отделаться от нелепого предчувствия: может быть, последний раз они так звонят, колокола нашего города...

Бидерман зовет Бабетту.

Не знаю, уважаемые дамы, всегда ли прав Готлиб. Когда-то ведь он так же вот говорил: конечно, это негодяи, но, если я сделаю их своими врагами, пропала наша жидкость для волос. И едва он присягнул фюреру...

Бидерман зовет Бабетту.

Вечно одно и то же! Я-то знаю своего Готлиба. Такой уж он добряк, ах, всегда-то он слишком добродушен!

Бабетта уходит с гусем.

Хор. Этот в очках — не из бедных,
Зависть его не терзает,
Он и начитан, и бледен.
Этот уж больше не верит,
Будто к добру добродушье ведет,
Нет, он решимости полон
Действовать — цель оправдает все средства.
Ах,
С этой наивно-недоброй надеждой,
Стать дальновидным желая,
Он протирает очки,
Но не горючее видит
В баках с бензином —
Видит он там лишь идею
Вплоть до минуты, когда
Вспыхнет пожар!

Доктор философии. Добрый вечер...

Корифей. К шлангам!
К насосам!
К стремянкам!

Пожарники спешат на свои места.

Добрый вечер. *(К публике, после того как отовсюду послышались крики «Готов!»)* Мы наготове.

СЦЕНА 5

Комната.

Вдова Кнехтлинга все еще здесь, она стоит. Слышен очень громкий колокольный звон. Анна накрывает на стол, Бидерман вносит два кресла.

Бидерман. ...поскольку мне некогда, госпожа Кнехтлинг, как видите, некогда заниматься покойниками, обратитесь к моему адвокату, как уже было вам сказано.

Вдова Кнехтлинга уходит.

Анна, закройте окно, собственного голоса не слышно!

Анна закрывает окно, колокольный звон звучит слабее.

Я сказал: уютный и скромный ужин. К чему эти идиотские канделябры?

Анна. Они же у нас всегда, господин Бидерман.

Бидерман. Я сказал: уютно и скромно. Только без чванства! И к дьяволу эти чашки, эти подставки для ножей, серебро, сплошное серебро и хрусталь! Какое это произведет впечатление? *(Собирает подставки для ножей и сует их в карман брюк.)* Вы же видите, Анна, я надел самую старую домашнюю куртку, а вы... Большой нож для птицы можете оставить, Анна, он понадобится. Но в остальном —

убрать это серебро! Оба гостя должны себя чувствовать как дома... Где штопор?

Анна. Вот он.

Бидерман. Попроще у нас нет?

Анна. Есть на кухне, да тот ржавый.

Бидерман. Давайте его сюда! *(Берет со стола серебряное ведерко.)* Это еще зачем?

Анна. Для вина.

Бидерман. Серебро! *(Уставился на ведерко, потом на Анну.)* Это ведерко у нас всегда было?

Анна. Да это же нужно, господин Бидерман.

Бидерман. Нужно! Что значит нужно? Если нам что и нужно, так это человечность, братство. Убрать это! А что вы там еще тащите, черт побери?

Анна. Салфетки.

Бидерман. Из дамассé!

Анна. Других у нас нет.

Он собирает салфетки и сует их в серебряное ведерко.

Бидерман. Целые племена преспокойно обходятся без салфеток, такие же люди, как и мы...

Входит Бабетта с большим венком, Бидерман ее пока не замечает, он стоит перед столом.

Я спрашиваю себя, зачем нам вообще скатерть.

Бабетта. Готлиб!

Бидерман. Никаких классовых различий! *(Смотрит на Бабетту.)* Что это за венок?

Бабетта. Да тот, что мы заказали. Подумай только, Готлиб, они прислали венок сюда! А ведь я сама написала им адрес Кнехтлингов, черным по белому. И надпись, и все перепутано.

Бидерман. Какая надпись?

Бабетта. На ленте. А счет, говорит посыльный, они отправили госпоже Кнехтлинг. *(Показывает ленту с надписью: «Нашему незабвенному Готлибу Бидерману».)*

Бидерман *(смотрит на ленту)*. Это мы не примем. Ни в коем случае. Пускай переделают. *(Идет обратно к столу.)* Не нервируй меня, Бабетта, мне сейчас не до того, не могу я везде поспеть, бог ты мой!

Бабетта уходит с венком.

Итак — убрать скатерть! Помогите же мне, Анна. И как уже сказано — никакой сервировки. Ни под каким видом! Вы просто входите не стучась и ставите гусятницу прямо на стол.

Анна. Гусятницу?

Бидерман *(стягивает со стола скатерть.)* Сразу совершенно другое настроение. Смотрите. Деревянный стол — и ничего больше, как на тайной вечере. *(Подает ей скатерть.)*

Анна. Вы сказали, господин Бидерман, гуся принести прямо в гусятнице? *(Складывает скатерть.)* Какое же достать вино, господин Бидерман?

Бидерман. Я сам достану.

Анна. Господин Бидерман!

Бидерман. Что еще там?

Анна. У меня нет такого свитера, как вы говорили, такого, чтобы я выглядела как член семьи.

Бидерман. Возьмите у моей жены.

Анна. Желтый или красный?

Бидерман. Только без церемоний! Чтобы не было ни наколки, ни фартучка. Понятно? И как уже сказано — убрать эти канделябры.

И вообще присмотрите, Анна, чтобы здесь не было такой чистоты и порядка. Я буду в погребе.

Бидерман выходит. Анна складывает скатерть, бросает ее в угол и топчет ногами.

Анна. Что ж, извольте!

Входят Шмиц и Айзенринг, у обоих по розе в руках.

Оба. Добрый вечер, девушка!

Анна выходит, не взглянув на них.

Айзенринг. Как так нет стружек?

Шмиц. Конфискованы полицией. Мера предосторожности. Арестовывают всякого, кто покупает или хранит стружки без разрешения полиции. Мера предосторожности по всей стране. *(Причесывается.)*

Айзенринг. А спички у тебя остались?

Шмиц. У меня нет.

Айзенринг. У меня тоже нет.

Шмиц продувает свою расческу.

Шмиц. Придется попросить у него.

Айзенринг. У Бидермана?

Шмиц. Только бы не забыть. *(Убирает расческу, принюхивается.)* М-да, пахнет уже здорово!

Бидерман выходит к рампе, в руках у него бутылки.

Бидерман. Вы, господа, можете думать обо мне все, что хотите. Но ответьте мне на один вопрос.

В глубине сцены горланят и хохочут.

Я говорю себе: пока они горланят и пьянствуют, они не делают чего-нибудь еще... Кто бы сказал мне неделю назад, что я достану для них лучшее вино из моего погреба... Положа руку на сердце: когда именно вам стало ясно, господа, что это поджигатели? Ведь все происходит не так, как ожидаешь, господа, а постепенно и в то же время внезапно... Подозрение! Подозрение у меня появилось сразу, господа, подозреваешь постоянно, но, положа руку на сердце, господа: как бы вы поступили на моем месте, черт побери? Что бы вы сделали — и когда? *(Прислушивается. Тишина.)* Мне надо наверх! *(Быстро удаляется.)*

СЦЕНА 6

Комната.

Пиршество в разгаре, хохочут, особенно Бидерман, все еще с бутылками в руках, никак не может успокоиться после только что брошенной шутки; одна Бабетта не смеется.

Бидерман. Ветошь! Ты слышала? Ветошь, говорит он, ветошь горит еще лучше!

Бабетта. Что же тут смешного?

Бидерман. Ветошь! Ты знаешь, что такое ветошь?

Бабетта. Да.

Бидерман. У тебя нет чувства юмора, Бабетточка. *(Ставит бутылки на стол.)* Что тут поделаешь, друзья мои, если человек не чувствует юмора...

Бабетта. Объясни же мне.

Бидерман. Так вот: нынче утром Вилли говорит, что он послал Зеппа украсть стружек. Стружек, понимаешь? А теперь я спрашиваю Зеппа: «Ну, как дела со стружками?» А он мне на это: «Стружек я не сумел раздобыть, зато достал ветоши». Понимаешь? А Вилли сказал: «Ветошь-то горит еще лучше!»

Бабетта. Это я поняла.

Бидерман. Да? Ты поняла?

Б а б е т т а. А что здесь смешного?

Бидерман теряет надежду объяснить ей.

Б и д е р м а н. Выпьем, господа! *(Откупоривает бутылку.)*

Б а б е т т а. Неужели это правда, господин Шмиц, что вы натащили ветоши к нам на чердак?

Б и д е р м а н. Ты будешь смеяться, Бабетта, но сегодня утром мы даже измеряли запальный шнур, мы с Вилли.

Б а б е т т а. Запальный шнур?

Б и д е р м а н. Запальный шнур. *(Наполняет бокалы.)*

Б а б е т т а. А теперь уже серьезно, господа, что все это значит?

Бидерман смеется.

Б и д е р м а н. Серьезно! Она говорит — серьезно! Вы слышите? Серьезно!.. Не давай себя одурачить, Бабетта, я же говорил тебе, у наших друзей такая манера шутить, я всегда говорю: другая среда, другие остроты... Теперь не хватает только, чтобы они у нас попросили спичек!

Шмиц и Айзенринг переглядываются.

Дело в том, что эти господа все еще считают меня трусливым мещанином, без чувства юмора, знаешь, таким, которого ничего не стоит запугать... *(Поднимает бокал.)* Ваше здоровье!

А й з е н р и н г. Ваше здоровье!

Ш м и ц. Ваше здоровье!

Чокаются.

Б и д е р м а н. За нашу дружбу.

Пьют и снова садятся.

Не ждите, пока вас угостят, у нас это не принято, господа, берите запросто сами.

Ш м и ц. Но я больше не могу.

А й з е н р и н г. Не ломайся. Ты не в сиротском доме, Шмиц, не ломайся. *(Берет себе кусок гуся.)* Ваш гусь, мадам, — высший класс.

Б а б е т т а. Мне очень приятно.

А й з е н р и н г. Гусь и бургундское! К этому полагалась бы еще, собственно, только скатерть.

Б а б е т т а. Слышишь, Готлиб?

А й з е н р и н г. Не обязательно, конечно! Белая скатерть, дамассе и на ней серебро.

Б и д е р м а н. Анна!

А й з е н р и н г. Белая, знаете, и по ней цветы, точно морозный узор. Но не обязательно, господин Бидерман, вовсе не обязательно. В тюрьме у нас тоже не было скатерти.

Б и д е р м а н. Анна!

Б а б е т т а. В тюрьме?

Б и д е р м а н. Где же Анна?

Б а б е т т а. Вы были в тюрьме?

Входит А н н а, на ней ярко-красный свитер.

Б и д е р м а н. Анна, сейчас же принесите скатерть.

А н н а. Извольте.

А й з е н р и н г. И если у вас есть что-нибудь вроде чаш для мытья рук...

А н н а. Извольте.

А й з е н р и н г. Возможно, вы сочтете это ребячеством, мадам, но таковы уж люди из народа. Зепп, например, тот вырос среди угольщиков и сроду не видывал подставок для ножей. И мечта его пропащей жизни — такой вот стол с серебром и хрусталем.

Б а б е т т а. Готлиб, ведь у нас все это есть.

А й з е н р и н г. Но это не обязательно.

А н н а. Вот, пожалуйста.

Айзенринг. И если уж у вас есть салфетки, девушка, давайте их сюда!

Анна. Господин Бидерман сказал...

Бидерман. Давайте их сюда!

Анна. Извольте. *(Приносит все снова.)*

Айзенринг. Надеюсь, мадам, вы не сочтете за обиду. Когда выйдешь из тюрьмы, знаете ли, долгие месяцы без культуры... *(Берет скатерть и показывает Шмицу.)* Ты знаешь, что это такое? *(Обращаясь к Бабетте.)* Он этого сроду не видывал! *(Снова к Шмицу.)* Это дамассе.

Шмиц. Ну и что? На что он мне сдался?

Айзенринг повязывает ему скатерть на шею.

Айзенринг. Вот так.

Бидерман пытается усмотреть в этом что-то веселое и смеется.

Бабетта. А где же наши подставки для ножей, Анна, наши подставки?

Анна. Господин Бидерман...

Бидерман. Давайте их сюда!

Анна. Вы же сказали: уберите их прочь.

Бидерман. Я сказал: давайте их сюда. Где они, черт побери?

Анна. В левом кармане ваших брюк.

Бидерман сует руку в карман и обнаруживает там подставки.

Айзенринг. Только не волноваться!

Анна. Я же не виновата!

Айзенринг. Только не волноваться, девушка!

Анна разражается рыданиями, отворачивается и убегает.

Это все фён.

Пауза.

Бидерман. Пейте, друзья мои, пейте!

Пьют молча.

Айзенринг. Гуся я ел каждый день, знаете, в бытность кельнером. Носишься по длинным коридорам с подносом на ладони... Да, но как же, мадам, как нашему брату вытереть пальцы? То-то и оно! Как же иначе, если не о свои волосы? А у других есть на то хрустальные чаши! Вот чего я никогда не забуду. *(Погружает пальцы в чашу.)* Знаете вы, что такое травма?

Бидерман. Нет.

Айзенринг. Мне-то в тюрьме все объяснили... *(Вытирает пальцы.)*

Бабетта. А каким образом, господин Айзенринг, вы попали в тюрьму?

Бидерман. Бабетта!

Айзенринг. Как я попал в тюрьму?

Бидерман. О таких вещах не спрашивают!

Айзенринг. Я и сам себя спрашиваю... Был я, как уже сказано, всего-навсего обер-кельнером, маленьким человеком, и вдруг меня спутали с крупным поджигателем.

Бидерман. Гм.

Айзенринг. Арестовали меня на квартире.

Бидерман. Гм.

Айзенринг. Я так удивился, что не возражал.

Бидерман. Гм.

Айзенринг. Мне посчастливилось, мадам, меня сопровождали семеро прямо-таки очаровательных полицейских. Когда я сказал, что мне некогда, надо на работу, они ответили: ваше заведение сгорело.

Бидерман. Сгорело?

Айзенринг. Да, за одну ночь, кажется.

Бабетта. Сгорело?

Айзенринг. Прекрасно, сказал я. Значит, у меня есть время. От нашего заведения остались одни балки, я видел проездом, знаете, через решетку тюремной машины. *(Пьет с видом знатока.)*

Бидерман. А потом?

Айзенринг рассматривает этикетку.

Айзенринг. Это у нас тоже было — сорок девятый. Cave de l'Echanpon.* А потом? Это уж Зепп вам должен рассказать. Сижу я этак в предварилке, играю наручниками, и что бы вы думали, кого туда вводят? Его!

Шмиц сияет.

Твое здоровье, Зепп!

Шмиц. Твое, Вилли!

Пьют.

Бидерман. А потом?

Шмиц. Его спрашивают: «Вы поджигатель?» — и предлагают ему сигареты. А он говорит: «Извините, господин комиссар, спичек у меня, к сожалению, нет, хоть вы и считаете меня поджигателем».

Смеются оглушительным смехом и хлопают друг друга по ляжкам.

Бидерман. Гм...

Входит Анна, на ней опять наколка и фартучек, она подает Бидерману визитную карточку, он разглядывает.

Анна. Он говорит — срочно.

Бидерман. Но у меня гости...

Шмиц и Айзенринг снова чокаются.

Шмиц. Твое здоровье, Вилли!

Айзенринг. Твое, Зепп!

Пьют, Бидерман разглядывает визитную карточку.

Бабетта. Кто это там, Готлиб?

Бидерман. Да тот самый доктор философии.

Анна занята чем-то у буфета.

Айзенринг. А что у вас там, девушка, вон то, серебряное?

Анна. Канделябры.

Айзенринг. Что же вы их прячете?

Бидерман. Давайте их сюда!

Анна. Господин Бидерман, вы сами сказали...

Бидерман. Я сказал: давайте их сюда!

Анна ставит канделябры на стол.

Айзенринг. Зепп, что ты на это скажешь? У них есть канделябры, а они прячут... Чего тебе еще надо? Серебро и свечи... У тебя есть спички? *(Шарит в кармане брюк.)*

Шмиц. У меня? Нет. *(Шарит в кармане брюк.)*

Айзенринг. К сожалению, у нас нет спичек, господин Бидерман, в самом деле нет.

Бидерман. У меня есть.

Айзенринг. Дайте их сюда.

Бидерман. Я сам. Не беспокойтесь. Я сам. *(Зажигает свечи.)*

Бабетта. Так чего же хочет тот господин?

Анна. Я его не понимаю, мадам: говорит, что не может больше молчать, и ждет на лестнице.

Бабетта. Хочет поговорить с глазу на глаз?

Анна. Да, и все желает что-то разоблачить.

Бабетта. Что?

---

* Марка французского вина.

Анна. Я его никак не пойму, мадам. Хочет отмежеваться. Хоть он мне сто раз это повтори, все равно не пойму.

Зажжено много свечей.

Айзенринг. Вот теперь совсем другое впечатление. Вы не находите, мадам? Candle light.*

Бабетта. О да.

Айзенринг. Я за настроение...

Бидерман. Вот-вот, господин Айзенринг, меня это радует.

Все свечи зажжены.

Айзенринг. Шмиц, не чавкай!

Бабетта отводит Айзенринга в сторону.

Бабетта. Ну, оставьте же его!

Айзенринг. У него дурные манеры, мадам, прошу прощения, мне это ужасно неприятно. И где ему было набраться манер? Ведь каков его жизненный путь: от избушки угольщика к сиротскому дому.

Бабетта. Я знаю!

Айзенринг. От сиротского дома к цирку...

Бабетта. Я знаю!

Айзенринг. От цирка к театру.

Бабетта. Этого я не знала, нет.

Айзенринг. Судьбы, мадам, таковы судьбы человеческие!

Бабетта *(обращается к Шмицу)*. Вы и в театре служили?

Шмиц обгладывает ножку гуся и кивает.

Где же именно?

Шмиц. Да там, за сценой.

Айзенринг. А ведь он способный. Зепп в роли духа — это стоит посмотреть.

Шмиц. Не теперь же!

Айзенринг. Почему бы и нет?

Шмиц. Я только неделю состоял при театре, мадам, а потом он сгорел.

Бабетта. Сгорел?

Айзенринг. Не ломайся!

Бабетта. Сгорел?

Айзенринг. Не ломайся. *(Снимает скатерть, повязанную на шею Шмицу в виде салфетки, и набрасывает ему на голову.)* Давай.

Шмиц, окутанный белой скатертью, встает.

Вот, пожалуйста. Разве он не похож на духа?

Анна. Мне страшно.

Айзенринг. Милочка. *(Обнимает Анну, она закрывает лицо руками.)*

Шмиц. Дозволено ли нам?

Айзенринг. Так говорят в театре, мадам, он обучился этому на репетициях, всего за одну неделю, пока театр не сгорел, как это ни странно.

Бабетта. Не говорите же все время о пожарах.

Шмиц. Дозволено ли нам?

Айзенринг. Готово.

Все сидят, Айзенринг прижимает Анну к груди.

Шмиц. Всяк! Всяк!

Бабетта. Готлиб!

Бидерман. Тише!

Бабетта. Мы же это видели в Зальцбурге**.

---

* При свете свечей *(англ.)*.

** На ежегодном фестивале в Зальцбурге обычно показывают спектакль «Jedermann» по пьесе Г. Гофмансталя «Всяк человек таков. Действо о смерти богатого человека». Там во время пира Богачу является Смерть.

Шмиц. Добряк! Добряк!
Айзенринг. По-моему, у него здорово получается.
Шмиц. Добряк! Добряк!
Айзенринг. Вы должны спросить: кто ты?
Бидерман. Я?
Айзенринг. А то он собьется.
Шмиц. Всяк! Добряк!
Бидерман. Итак: кто я такой?
Бабетта. Да нет! Ты должен спросить, кто он такой.
Бидерман. Ах, так.
Шмиц. Слышите ли вы меня?
Айзенринг. Нет, Зепп, еще раз сначала!

Пересаживаются.

Шмиц. Всяк! Добряк!
Бабетта. Спроси, к примеру: ты — Смерть?
Бидерман. Чепуха!
Бабетта. А кем же ему быть?
Бидерман. Спроси его: кто ты такой? Это может оказаться гамлетова тень. Или, знаешь, Каменный Гость. Или этот тип, как его, да тот, что на Макбета работал, его служащий.
Шмиц. Кто зовет меня?
Айзенринг. Дальше.
Шмиц. Бидерман Готлиб!
Бабетта. Спроси его ты, он же к тебе обращается.
Шмиц. Слышишь ли ты меня?
Бидерман. Кто же ты?
Шмиц. Я — дух Кнехтлинга!

Бабетта вскакивает и кричит.

Айзенринг. Стоп! *(Срывает со Шмица белую скатерть.)* Ты идиот. Нельзя же так. Кнехтлинг! Так не делают. Кнехтлинга сегодня похоронили.
Шмиц. Вот именно.

Бабетта закрывает лицо руками.

Айзенринг. Мадам, это был не он! *(Укоризненно качает головой Шмицу.)* Можно ли быть таким бестактным?
Шмиц. Мне ничего больше в голову не пришло.
Айзенринг. Кнехтлинг! Попал в точку! Служащий господина Бидермана, старый, надежный, подумай только: сегодня похоронили, он еще целехонек, бледен, как скатерть, белый и блестящий, как это полотно, застывший, холодный, но выставлять его напоказ... *(Хватает Бабетту за плечо.)* Честное слово, мадам, это не он.

Шмиц утирает пот.

Шмиц. Извиняюсь.
Бидерман. Сядем.
Анна. Ну, всё теперь?

Садятся, неловкая пауза.

Бидерман. Как насчет сигарки, господа? *(Протягивает коробку сигар.)*
Айзенринг. Идиот! Видишь, как дрожит господин Бидерман!.. Спасибо, господин Бидерман, спасибо!.. По-твоему, это весело? Ты же прекрасно знаешь: Кнехтлинг отравился газом, а ведь наш Готлиб сделал все, что мог, для этого Кнехтлинга. Четырнадцать лет он давал ему работу, этому Кнехтлингу,— и вот благодарность!
Бидерман. Не будем больше говорить об этом.
Айзенринг. И вот твоя благодарность за гуся!

Обрезают концы сигар и закуривают.

Шмиц. Спеть, что ли?
Айзенринг. А что бы спеть?
Шмиц. Ты, лиса, украла гуся. *(Поет во весь голос.)*
Ты, лиса, украла гуся,
Отдавай живьем...
Айзенринг. Брось.
Шмиц. Отдавай живьем,
А не то придет охотник
Со своим ружьем...
Айзенринг. Он пьян.
Шмиц. ...Со своим дерьмом.
Айзенринг. Не слушайте его, мадам.
Шмиц. Отдавай живьем,
А не то придет охотник
Со своим дерьмом!
Бидерман. Со своим дерьмом — это удачно.
Все мужчины. Ты, лиса, украла гуся...

Поют на два голоса, то очень громко, то очень тихо, потом вразброд; хохот, крики, пьяные объятья; иногда возникает пауза, но Бидерман начинает все сначала и превосходит остальных развязностью. Это повторяется до тех пор, пока все не выдохлись.

Бидерман. Итак, ваше здоровье!

Поднимают бокалы, вдали слышны сирены.

Что это такое?
Айзенринг. Сирены.
Бидерман. Шутки в сторону!
Бабетта. Поджигатели, поджигатели!
Бидерман. Не кричи.

Бабетта распахивает окно, звук сирен слышен все ближе, они воют так, что мороз подирает по коже, и проносятся мимо.

Бидерман. По крайней мере, не у нас.
Бабетта. Где это может быть?
Айзенринг. Там, откуда дует ветер.
Бидерман. По крайней мере, не у нас.
Айзенринг. Мы обычно так делаем. Отвлекаем пожарников на окраины, в кварталы бедняков, а позже, как начнется самая заваруха, им уже обратно не проехать.
Бидерман. Нет, господа, шутки в сторону.
Шмиц. Шутки в сторону, мы поступаем именно так.
Бидерман. Оставьте эту чепуху! Прошу вас. Всему есть мера, вы же видите, на жене лица нет.
Бабетта. А на тебе?
Бидерман. И вообще: сирены есть сирены, над этим я не могу смеяться, господа; где-то затухает, где-то загорается, иначе бы наши пожарники не выезжали.

Айзенринг смотрит на свои часы.

Айзенринг. Нам пора идти.
Бидерман. Сейчас?
Айзенринг. Очень жаль...
Шмиц. А не то придет охотник...

Снова слышатся сирены.

Бидерман. Приготовь кофе, Бабетта!

Бабетта выходит.

А вы, Анна, что стоите и глазеете?

Анна выходит.

Между нами, господа, хорошенького понемножку. У жены больное сердце. Оставим шутки насчет поджогов.

Шмиц. Да мы и не шутим, господин Бидерман.

Айзенринг. Мы поджигатели.

Бидерман. Господа, но теперь совершенно серьезно...

Шмиц. Совершенно серьезно.

Айзенринг. Совершенно серьезно.

Шмиц. Почему вы нам не верите?

Айзенринг. Ваш дом, господин Бидерман, расположен очень удобно, это вы должны признать: пять таких очагов пожара вокруг газгольдеров, которые, к сожалению, охраняются, да к тому же сильный ветер...

Бидерман. Это неправда.

Шмиц. Господин Бидерман! Если уж вы считаете нас поджигателями, почему не сказать об этом прямо?

Бидерман смотрит на них, как побитая собака.

Бидерман. Я вас не считаю поджигателями, господа, это неправда, вы ко мне несправедливы, я вас не считаю... поджигателями.

Айзенринг. Положа руку на сердце?

Бидерман. Нет! Нет! Нет, нет!

Шмиц. А кем же вы нас считаете?

Бидерман. Моими... друзьями...

Они хлопают его по плечу и отходят.

Куда же вы теперь?

Айзенринг. Нам пора.

Бидерман. Клянусь вам богом, господа!

Айзенринг. Богом?

Бидерман. Да! *(Медленно поднимает два пальца в присяге.)*

Шмиц. Да Вилли так же мало верит в бога, как и вы, господин Бидерман, можете клясться сколько вам угодно.

Идут дальше к дверям.

Бидерман. Что сделать, чтобы вы мне поверили? *(Он заступает им дорогу.)*

Айзенринг. Дайте нам спички.

Бидерман. Как? Я?

Айзенринг. У нас кончились.

Бидерман. Мне... дать вам?!

Айзенринг. Да. Если вы не считаете нас поджигателями.

Бидерман. Спички?

Шмиц. Он считает, вам надо дать их в знак доверия.

Бидерман опускает руку в карман.

Айзенринг. Он колеблется. Видишь? Он колеблется.

Бидерман. Тише! Только не при жене...

Бабетта возвращается.

Бабетта. Кофе сейчас будет.

Пауза.

Вам уже надо идти?

Бидерман. Да, мои друзья, как ни жаль... но — главное, что вы почувствовали... не стану говорить громких фраз, друзья мои, но почему бы, собственно, нам не перейти на «ты»?

Бабетта. Гм.

Бидерман. Я за то, чтобы выпить на брудершафт. *(Берет бутылку и штопор.)*

Айзенринг. Скажите-ка вашему любезному супругу, чтобы не открывал ради этого бутылку, уже не стоит.

Бидерман откупоривает.

Бидерман. Мне для вас ничего не жаль, друзья, ничего не жаль, и если у вас есть еще желание, какое-нибудь желание... *(Торопливо наполняет бокалы и подает им.)* Чокнемся, друзья.

Чокаются.

Готлиб! *(Целует Шмица в щеку.)*

Шмиц. Зепп.

Бидерман. Готлиб... *(Целует Айзенринга в щеку.)*

Айзенринг. Вилли.

Пьют стоя.

И все же, Готлиб, нам пора идти.

Шмиц. К сожалению.

Айзенринг. Мадам...

Слышатся сирены.

Бабетта. Это был прелестный вечер...

Слышен набат.

Айзенринг. Еще только одно, Готлиб.

Бидерман. Что же?

Айзенринг. Ты знаешь.

Бидерман. Если у вас есть какое-нибудь желание...

Айзенринг. Спички.

Анна вносит кофе.

Бабетта. Анна, что случилось?

Анна. Вот кофе.

Бабетта. Вы на себя не похожи...

Анна. С той стороны, госпожа Бидерман, такое небо... если смотреть из кухни... небо горит...

Все уже залито красным светом, Шмиц и Айзенринг кланяются и уходят. Бидерман стоит бледный и неподвижный.

Бидерман. По счастью, это не у нас... По счастью, не у нас... По счастью...

Входит Доктор философии.

Что вам угодно?

Доктор философии. Я больше не могу молчать. *(Достает из нагрудного кармана бумагу и читает.)* «Нижеподписавшийся, глубоко потрясенный событиями, которые происходят в настоящее время и которые также и с нашей точки зрения, как мне представляется, не могут быть названы иначе, как преступными, делает следующее заявление перед лицом общественности».

Воют сирены, он читает длинный текст, из которого нельзя разобрать ни слова; слышится лай собак, набат, крики, сирены вдали, треск огня вблизи; потом Доктор философии подходит к Бидерману и вручает ему бумагу.

Я отмежевываюсь.

Бидерман. Ну и что?

Доктор философии. Я высказал то, что должен был высказать. *(Снимает очки и складывает их.)* Видите ли, господин Бидерман, я честно и всерьез хотел улучшить мир, мне было известно все, что они делали на чердаке, не знал я только одного — что они делают это лишь ради своего удовольствия!

Бидерман. Господин доктор...

Доктор философии удаляется.

Господин доктор, на что мне это?

Доктор философии перелезает через рампу и садится в партере.

Бабетта. Готлиб!

Бидерман. Ушел...

Б а б е т т а. Что ты им дал? Я видела — спички.
Б и д е р м а н. Почему бы и нет?
Б а б е т т а. Спички?
Б и д е р м а н. Если бы они на самом деле были поджигателями, неужели у них не нашлось бы спичек... Бабетточка, Бабетточка!

Бьют столовые часы, тишина, свет все краснее, и в то время, как на сцене темнеет, слышны набат, лай собак, сирены, грохот рушащихся балок, гудки, треск огня, крики — до тех пор, пока на сцену не выходит хор.

Х о р. Многое в мире нелепо, но что
Этой истории страшной нелепей?
Вспыхнув однажды,
Многих она погубила,
Только не всех, и увы —
Не принесла перемен...

Первый взрыв.

К о р и ф е й. Это газгольдер.

Второй взрыв.

Х о р. Хоть и предвидит все это любой,
Да и задолго,
Все ж наконец совершается
Это безумие непогасимое,
Так называемый рок!

Третий взрыв.

К о р и ф е й. Снова газгольдер.

Следует серия ужасающих взрывов.

Х о р. Горе нам! Горе нам! Горе!

Свет в зрительном зале.

ЭПИЛОГ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Господин БИДЕРМАН
БАБЕТТА
АННА
ВЕЛЬЗЕВУЛ
ФИГУРА
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
МАРТЫШКА
ВДОВА КНЕХТЛИНГА
ХОР
КОРИФЕЙ хора

Со сцены все убрано, и она совершенно пуста; Б а б е т т а и Б и д е р м а н стоят в тех же позах, как и в конце последней сцены.

Б а б е т т а. Готлиб!
Б и д е р м а н. Молчи!
Б а б е т т а. Мы умерли?

Кричит попугай.

Что это?

Кричит попугай.

Б и д е р м а н. Почему ты не вышла, пока не загорелась лестница? Я же тебе говорил! Зачем ты снова побежала в спальню?
Б а б е т т а. За моими драгоценностями.
Б и д е р м а н. ...конечно, мы умерли.

Кричит попугай.

Б а б е т т а. Готлиб!
Б и д е р м а н. Помолчи-ка.
Б а б е т т а. А где мы сейчас?
Б и д е р м а н. В раю. Где же еще?

Плачет младенец.

Бабетта. Что это?

Плачет младенец.

Откровенно говоря, Готлиб, я совсем не так представляла себе рай...

Бидерман. Главное теперь — не терять веры.

Бабетта. А ты представлял себе рай именно так?

Кричит попугай.

Бидерман. Это попугай.

Кричит попугай.

Бабетта. Готлиб!

Бидерман. Главное теперь — не терять веры.

Бабетта. Мы ждем уже целую вечность.

Плачет младенец.

Опять этот ребенок!

Кричит попугай.

Готлиб!

Бидерман. Ну, что?

Бабетта. Как же попугай попал на небо?

Звонит дверной звонок.

Бидерман. Не нервируй меня сейчас, Бабетта. Прошу тебя. Почему бы не попасть в рай и попугаю, если он безгрешен?

Звонит дверной звонок.

Что это?

Бабетта. Звонок-то наш.

Бидерман. Кто бы это мог быть?

Слышно все сразу: вопли младенца, крики попугая и звонок.

Бабетта. Хоть бы этот попугай не орал! И ребенок! Я не выдержу этого, Готлиб,— вечно слушать такой шум и визг, будто мы в рабочем поселке.

Бидерман. Молчи!

Бабетта. Нельзя же требовать, чтобы мы это терпели.

Бидерман. Успокойся.

Бабетта. Мы к этому не привыкли.

Бидерман. Почему бы нам и не быть в раю? Все наши знакомые в раю, даже мой адвокат. Безусловно, это рай, а что же еще! Конечно рай. Что мы сделали худого?

Звонит звонок.

Бабетта. Может быть, надо открыть?

Звонит звонок.

Откуда у них наш звонок?

Звонит звонок.

Может быть, это ангел...

Звонит звонок.

Бидерман. Я безгрешен: я почитал отца и мать, ты ведь знаешь, особенно маму, это всегда тебя раздражало. Всю жизнь я соблюдал десять заповедей, Бабетта. Никогда я не сотворял себе кумира, чего не было, того не было. Я не крал; мы имели все, в чем нуждались. И я не убивал. Никогда не работал по воскресеньям. Не возжелал дома ближнего моего, а если желал, то покупал. Покупать-то уж, наверно, можно! И лжи я тоже за собой не замечал. Я не прелюбодействовал, Бабетта, ей же богу нет — в сравнении с другими! Если придет ангел, будь моим свидетелем, Бабетта, на земле у меня был только один порок — слишком доброе сердце, да, пожалуй, просто слишком доброе сердце.

Кричит попугай.

Бабетта. Ты понимаешь, что он выкрикивает?

Кричит попугай.

Бидерман. Ты не убивала? Я просто так спрашиваю. Как у тебя насчет других богов? Вот разве что йогами ты немножко увлекалась. Ты не прелюбодействовала, Бабетта?

Бабетта. Да с кем же?

Бидерман. То-то и есть.

Звонит звонок.

Да, конечно, мы в раю.

Входит Анна в наколке и фартучке.

Бабетта. А как же Анна попала в рай?

Анна плавно проходит мимо, у нее длинные ядовито-зеленые волосы.

Надеюсь, она не заметила, Готлиб, как ты давал им спички. Не донесла бы, с нее станется.

Бидерман. Спички!

Бабетта. Ведь я тебе говорила, Готлиб, что это поджигатели, в первую же ночь говорила...

Входят Анна и Полицейский, у него белые крылышки.

Анна. Я его позову.

Анна выходит, Ангел-Полицейский ждет.

Бидерман. Видишь?

Бабетта. Кого?

Бидерман. Ангела.

Полицейский отдает честь.

Бабетта. Ангелов я себе представляла иначе.

Бидерман. Нынче не средневековье.

Бабетта. А ты представлял себе их именно так?

Полицейский оборачивается и ждет.

Стать нам на колени?

Бидерман. Спроси его, рай это или нет.

Бабетта колеблется, он ободряет ее кивком.

Скажи, что мы ждем уже целую вечность.

Бабетта приближается к Полицейскому.

Бабетта. Мы с мужем...

Бидерман. Скажи, что мы жертвы.

Бабетта. Мы с мужем жертвы.

Бидерман. От нашей виллы остались одни развалины.

Бабетта. Мы с мужем...

Бидерман. Скажи, скажи ему!

Бабетта. Развалины...

Бидерман. Он и представить себе не может, сколько пришлось нам выстрадать. Скажи ему это! Мы все потеряли. Скажи ему! К тому же мы безгрешны.

Бабетта. Вы и представить себе не можете...

Бидерман. Сколько нам пришлось выстрадать...

Бабетта. Все мои драгоценности расплавились!

Бидерман. Скажи ему, что мы безгрешны.

Бабетта. К тому же мы безгрешны.

Бидерман. ...в сравнении с другими!

Бабетта. ...в сравнении с другими.

Ангел-Полицейский достает сигару.

Полицейский. Спички у вас есть?

Бидерман бледнеет.

Бидерман. У меня? Спички? То есть как?

Пламя в человеческий рост вырывается из-под земли.

Полицейский. Вот и огонь, спасибо.

Бабетта и Бидерман уставились на пламя.

Бабетта. Готлиб...
Бидерман. Молчи!
Бабетта. Что это значит?

Входит Мартышка.

Мартышка. Что нового?
Полицейский. Пара грешников.

Мартышка надевает очки.

Бабетта. Готлиб, мы же его знаем!
Бидерман. Откуда?
Бабетта. Это тот самый доктор философии.

Мартышка берет рапорты и перелистывает их.

Мартышка. Как у вас дела там, наверху?
Полицейский. Не жалуемся. Никто не знает, где обитает бог, но живется нам хорошо. Не жалуемся, спасибо.
Мартышка. Эти за что к нам попали?

Полицейский заглядывает в рапорты.

Полицейский. Вольнодумцы.

У Мартышки десять штемпелей: она штемпелюет, приговаривая.

Мартышка. Не сотвори себе кумира.
Полицейский. Врач, который впрыснул не то лекарство.
Мартышка. Не убий.
Полицейский. Директор с семью секретаршами.
Мартышка. Не прелюбодействуй.
Полицейский. Содержательница подпольного абортария.
Мартышка. Не убий.
Полицейский. Пьяный мотоциклист.
Мартышка. Не убий.
Полицейский. Беженцы.
Мартышка. В чем грешны?
Полицейский. Вот — 52 картофелины, один зонт, два шерстяных одеяла.
Мартышка. Не укради.
Полицейский. Адвокат, специалист по налогам*.
Мартышка. Не лжесвидетельствуй.
Полицейский. Еще один пьяный мотоциклист.

Мартышка молча ставит штемпель.

Опять вольнодумец.

Мартышка молча ставит штемпель.

Семь мародеров. По ошибке попали в рай как партизаны. Теперь установлено, что занимались грабежами, прежде чем их схватили и поставили к стенке.
Мартышка. Гм.
Полицейский. Позволяли себе грабить, хотя и не носили военной формы.
Мартышка. Не укради.
Полицейский. Еще одна содержательница абортария.
Мартышка. Не убий.
Полицейский. И вот остальные.
Мартышка. Не прелюбодействуй.

Ставит штемпель на рапорты, их не меньше дюжины.

Опять одно среднее сословие! Нечего сказать, порадуется Сатана. Опять одна мелюзга! Прямо не знаю, как и доложить Сатане. Ни одной важной персоны! Ни единого министра, ни единого маршала!

---

* Юрист в Западной Германии, привлекаемый крупными фирмами преимущественно для того, чтобы скрыть капиталы, подлежащие обложению налогом.

Полицейский. Н-да.

Мартышка. Проводите этих людишек вниз, наш Вельзевул, верно, уже затопил или затапливает.

Полицейский отдает честь и уходит.

Бабетта. Готлиб, мы в аду!

Бидерман. Не кричи!

Бабетта. Готлиб...

Бабетта разражается рыданиями.

Бидерман. Господин доктор!

Мартышка. Что вам угодно?

Бидерман. Это, конечно, ошибка. Об этом не может быть и речи. Необходимо исправить... С какой стати мы с женой попали в ад? *(Обращаясь к Бабетте.)* Успокойся, Бабетта, это, конечно, ошибка... *(Обращаясь к Мартышке.)* Могу я поговорить с Сатаной?

Бабетта. Готлиб...

Мартышка приглашает их сесть, указывая в пустоту, словно там есть кресла.

Мартышка. Садитесь.

Бидерман и Бабетта не видят кресел.

В чем дело?

Бидерман достает свои документы.

Что это у вас?

Бидерман. Права, данные мне фюрером.

Мартышка. Не требуется. *(Возвращает документы, не взглянув на них.)* Ваша фамилия Бидерман?

Бидерман. Да.

Мартышка. Бидерман Готлиб?

Бидерман. Торговец.

Мартышка. Богач...

Бидерман. ...откуда вы знаете?

Мартышка. Место жительства — улица Розенвег, 33.

Бидерман. Да...

Мартышка. Сатана знает вас.

Бабетта и Бидерман переглядываются.

Садитесь!

На сцену спускаются два обугленных кресла.

Прошу...

Бабетта. Готлиб, наши кресла!

Мартышка. Прошу.

Бидерман и Бабетта садятся.

Вы курите?

Бидерман. Бросил.

Мартышка. Ваши собственные сигары, господин Бидерман... *(Берет сигару.)* Вы погорели?

Бидерман. Да.

Мартышка. Это было для вас неожиданностью?

Семь языков пламени в человеческий рост вырываются из-под земли.

Спасибо, у меня есть спички... *(Закуривает.)* Короче говоря, что вам угодно?

Бидерман. У нас нет крыши над головой.

Мартышка. Может быть, дать вам хлеба?

Бабетта. Хлеба?

Мартышка. Или бокал вина?

Бидерман. У нас нет крыши над головой!

Мартышка *(зовет)*. Анна! *(Курит.)*

Бабетта. Мы не хотим хлеба и вина.

Мартышка. Не хотите?

Бабетта. Мы не нищие...

Бидерман. Мы жертвы.
Бабетта. Нам не нужно снисхождения.
Бидерман. Мы к этому не привыкли.
Бабетта. Мы в этом не нуждаемся!

Входит Анна.

Анна. Что прикажете?
Мартышка. Им не нужно снисхождения.
Анна. Извольте.

Анна выходит.

Бидерман. Мы настаиваем на своих правах.
Бабетта. У нас был собственный дом.
Бидерман. Наши скромные законные права!
Бабетта. Наш скромный уютный домик!
Бидерман. Мы требуем возмещения убытков!

Мартышка удаляется молча, как подобает секретарю.

Бабетта. Что он имел в виду, говоря, что тебя знает Сатана?
Бидерман. Понятия не имею...

Бьют стенные часы.

Бабетта. Готлиб, наши часы!

Часы бьют девять.

Бидерман. Мы имеем право на возмещение всех убытков от пожара. Мы были застрахованы. Будь уверена, я не успокоюсь, пока нам полностью не вернут все имущество.

Мартышка возвращается слева.

Мартышка. Минуточку, минуточку.

Мартышка выходит направо.

Бидерман. Черти напускают на себя важность.
Бабетта. Тс-с.
Бидерман. Нет, в самом деле! Не хватает только, чтобы у нас взяли отпечатки пальцев. Точно в консульстве! И все, чтобы внушить нам, будто у нас нечистая совесть.

Бабетта кладет ему руку на плечо.

Но у меня совесть чиста, будь спокойна, мне нечего волноваться, Бабетта, я буду говорить только о деле.

Кричит попугай.

Только о деле.
Бабетта. А если они спросят о спичках?
Бидерман. Я дал их, ну и что! Все давали спички. Почти все! Иначе не сгорел бы весь город, я ведь видел, как пламя рвалось из всех крыш! И у Гофманов! И у Карла! И у профессора Мора! Не говоря уже о том, что я доверился тем двоим и потому сделал это.
Бабетта. Не волнуйся.
Бидерман. Скажи, пожалуйста, если бы мы с тобой не дали им спичек, разве это помогло бы избежать катастрофы?
Бабетта. Я спичек не давала.
Бидерман. И вообще, нельзя загонять в ад всех, если все делают одно и то же.
Бабетта. Почему нельзя?
Бидерман. Есть же какое-то милосердие.

Мартышка возвращается.

Мартышка. Сожалею, но главарь преисподней еще не прибыл. Может быть, господа поговорят с Вельзевулом?
Бабетта. С Вельзевулом?
Мартышка. Он здесь.
Бидерман. Вельзевул?

Мартышка. Только он воняет. Знаете, тот, что с лошадиными копытами, козлиным хвостом и рогами. Вы с ним знакомы! Но едва ли он сумеет вам как-то помочь, мадам, он только мелкий бес, этот Зепп...

Бидерман. Зепп?

Бабетта вскакивает.

Сядь.

Бабетта. Разве я не говорила тебе, Готлиб, с самого начала, в первую же ночь?..

Бидерман. Молчи! *(Так смотрит на Бабетту, что она садится.)* У моей жены было больное сердце.

Мартышка. Ах.

Бидерман. Моя жена часто страдала бессонницей. В такие часы всякое может померещиться. Но при свете дня, господин доктор, у нас не было повода для подозрений, клянусь вам, ни на минуту...

Бабетта бросает взгляд на Бидермана.

То есть у меня не было!

Бабетта. Почему же ты собирался выставить их за дверь, Готлиб, собственноручно, да еще ночью?

Бидерман. Но ведь не выставил!

Бабетта. Вот именно.

Бидерман. А почему, черт возьми, ты-то его не выставила?

Бабетта. Я?

Бидерман. Да, ты. Вместо того чтобы кормить завтраком и угощать сыром, джемом и яйцами всмятку.

Мартышка курит сигару.

Одним словом, господин доктор, мы тогда и понятия не имели, что происходит в нашем доме, просто понятия не имели...

Слышатся звуки фанфар.

Мартышка. Может быть, это он?

Бабетта. Кто?

Мартышка. Главарь преисподней.

Слышатся звуки фанфар.

Он ездил на небеса и теперь, возможно, очень не в духе. Мы ждали его еще вчера, но, видимо, опять затянулись переговоры...

Бидерман. Насчет меня?

Мартышка. Насчет последней амнистии... *(Шепчет что-то Бидерману на ухо.)*

Бидерман. Об этом я читал.

Мартышка. И что вы на это скажете? *(Шепчет что-то Бидерману на ухо.)*

Бидерман. Не понимаю.

Мартышка шепчет что-то Бидерману на ухо.

Каким образом?

Мартышка шепчет что-то Бидерману на ухо.

Вы так думаете?

Мартышка. Если в раю не будут соблюдать десять заповедей.

Бидерман. Гм.

Мартышка. Без рая нет ада!

Бидерман. Гм.

Мартышка. Об этом и ведутся переговоры!

Бидерман. О десяти заповедях?

Мартышка. О принципе.

Бидерман. Гм.

Мартышка. Если на небесах полагают, что преисподняя все стерпит... *(Шепчет что-то Бидерману на ухо.)*

Бидерман. Забастовка?

Мартышка шепчет что-то Бидерману на ухо.

Вы так думаете?

Мартышка. Не знаю, господин Бидерман, но это возможно. Очень возможно. Все зависит от исхода переговоров.

Слышны звуки фанфар.

Это он! *(Удаляется.)*

Бабетта. Что он сказал?

Бидерман. Возможно, говорит он, очень возможно, что в ад никого больше не пустят. С нынешнего дня. Понимаешь: вообще никого.

Бабетта. Почему?

Бидерман. Потому что ад забастует.

Звонит дверной звонок.

Он говорит, что черти вне себя. Они считают, что их обманули, они надеялись заполучить ряд важных персон, которых на небесах, как видно, гуртом помиловали, и теперь, по его словам, черти вообще отказываются обслуживать ад. Поговаривают о кризисе ада.

Анна приходит слева и уходит направо.

Почему Анна в аду?

Бабетта. Она украла у меня пару чулок. Я тогда не решилась тебе сказать. Пару новых нейлоновых чулок.

Анна входит и вводит вдову Кнехтлинга.

Анна. Садитесь. Но если вы вдова Кнехтлинга, то не надейтесь понапрасну: ваш муж самоубийца. Садитесь! Но не надейтесь понапрасну.

Анна уходит, вдова Кнехтлинга стоит, так как кресла нет.

Бабетта. А этой что здесь надо?

Бидерман кивает вдове с кисло-сладкой улыбкой.

Она собирается на нас донести, Готлиб. *(Кивает вдове с кисло-сладкой улыбкой.)*

Бидерман. Ну и пусть.

Слышатся звуки фанфар, теперь ближе, чем раньше.

Это же просто чепуха. Почему Кнехтлинг не выждал недельку и не поговорил со мной в подходящий момент, черт возьми? Не мог же я знать, что Кнехтлинг действительно отравится газом из-за какого-то там увольнения.

Слышны фанфары, теперь еще ближе.

Одним словом, я не боюсь.

Фанфары еще ближе.

Спички! Спички!

Бабетта. Может быть, никто не видел.

Бидерман. Нечего поднимать суматоху из-за какой-то там катастрофы! Катастрофы всегда бывали... и вообще, взгляните-ка сегодня на наш город! Весь из стекла и металла. Откровенно говоря, это прямо-таки благо, что он сгорел дотла, прямо-таки благословенье божье, с точки зрения градостроительства...

Слышны звуки фанфар, потом органа, торжественно и величаво появляется роскошно одетая Фигура, ее одежда несколько напоминает облачение епископа.

Бидерман и Бабетта становятся на колени возле рампы. Фигура останавливается посреди сцены.

Фигура. Анна! *(Медленно снимает фиолетовую перчатку.)* Я только что с неба.

Бидерман. Ты слышишь?

Фигура. Надежды нет. *(Бросает первую перчатку.)* Анна! *(Медленно стягивает вторую перчатку.)* Я сомневаюсь, был ли это истинный рай, хотя они это и утверждают. Сомневаюсь... Они усыпаны орденами, и фимиам курится из всех репродукторов. Я видел Млечный Путь орденов и такое празднество, что чертям тошно. Я повстречал всех моих клиентов, всех, кто убивал оптом. Вокруг их лысин кружат ангелочки, всюду ликование, все они упиваются аллилуйей и хихикают на радостях, что их помиловали. Зато святые — те молчат, потому что они каменные или деревянные. Их просто взяли напрокат. И князья церкви (я затесался между ними, чтобы узнать, где живет бог) тоже молчат, хотя они-то не каменные и не деревянные. *(Бросает вторую перчатку.)* Анна! *(Снимает головной убор, это Айзенринг.)* Я был переодет, и меня так и не узнали те, которые там, наверху, стоят у власти и сами себя амнистируют. Я благословил их.

Входят Анна и Мартышка, они кланяются.

Разоблачить меня!

Фигура торжественно и важно протягивает обе руки, чтобы можно было расстегнуть четыре шелковых одеяния: первое — серебристо-белое, второе — золотое, третье — фиолетовое, четвертое — кроваво-красное. Орган затихает. Бидерман и Бабетта стоят на коленях у рампы.

Подать мой фрак.

Анна. Извольте.

Фигура. И парик обер-кельнера.

Анна и Мартышка снимают первое одеяние.

Я сомневаюсь, был ли господом богом тот, кто принял меня. Он, правда, всеведущ, но как только начинает вещать, изрекает все то же, что пишут в газетах,— дословно.

Кричит попугай.

Где Вельзевул?

Мартышка. У котлов.

Фигура. Пусть явится.

Внезапно свет становится очень красным.

Почему такое зарево?

Мартышка. Он топит. Только что прибыло несколько грешников. Ничего путного, так, обычная мелюзга.

Они снимают с него второе одеяние.

Фигура. Пусть погасит топки.

Мартышка. Погасит?

Фигура. Да, пусть погасит.

Кричит попугай.

Как поживает мой попугай?

Фигура замечает Бабетту и Бидермана.

Спросите этих людей, почему они молятся.

Мартышка. Они не молятся.

Фигура. Но они на коленях...

Мартышка. Они хотят вернуть себе свой дом.

Фигура. Хотят чего?

Мартышка. Возмещения убытков.

Кричит попугай.

Фигура. Люблю моего попугая. Единственное живое существо, которое не меняет своих лозунгов! Я нашел его в горящем доме. Предан мне, бестия! Я посажу его на правое плечо, когда снова отправлюсь на землю.

С него снимают третье одеяние.

А теперь, милочка, подай мне фрак.

Анна. Извольте.

Фигура. А вы, доктор, сходите за велосипедами. Нам понадобятся ржавые велосипеды, те самые.

Мартышка и Анна уходят с поклоном.

Бидерман. Вилли! Ведь это же он?.. Я — Готлиб, твой друг, Вилли, неужели ты не помнишь?

Фигура снимает четвертое, последнее, одеяние

Бабетта. Мы безгрешны, господин Айзенринг. Почему же мы угодили к вам, господин Айзенринг? Мы жертвы, господин Айзенринг. Все мои драгоценности расплавились...

Фигура стоит в рубахе и носках.

Бидерман. Почему он делает вид, что не узнает нас?

Бабетта. Он стесняется, не смотри в его сторону!

Анна приносит фрачные брюки.

Фигура. Спасибо, милочка, большое спасибо.

Анна хочет идти.

Анна!

Анна. Что прикажете?

Фигура. Принесите две бархатные подушки.

Анна. Извольте.

Фигура. Для этих коленопреклоненных.

Анна. Извольте.

Анна выходит, Фигура надевает брюки.

Бидерман. Вилли...

Бабетта. Вы, конечно, помните нас, господин Айзенринг, мой гусь был высший класс, вы сами сказали.

Бидерман. Гусь и бургундское.

Бабетта. С каштанами.

Бидерман. И с гарниром из красной капусты.

Бабетта. И свечи, господин Айзенринг, candle light.

Бидерман. И как мы пели...

Бабетта. Ах, да!

Бидерман. Неужели ты не помнишь?

Бабетта. Это был прелестный вечер.

Бидерман. Сорок девятый номер, Вилли. Cave de l'Echannon. Лучшая бутылка из моего погреба, Вилли! Я ничего не жалел ради того, чтобы мы стали друзьями!

Фигура разглаживает складку на фрачных брюках.

Ты свидетельница, Бабетта, я предоставил им все, что было в доме.

Бабетта. Да, да. Даже спички!

Анна приносит две красные бархатные подушки.

Фигура. Спасибо, милочка, большое спасибо.

Анна подает подушки Бидерману и Бабетте.

Анна. Еще что-нибудь угодно?

Бидерман и Бабетта стоят на коленях на красных подушках.

Фигура. Теперь жилет, милочка, мой белый жилет!

Анна. Извольте.

Фигура. И парик!

Анна уходит, Фигура завязывает себе галстук.

Cave de l'Echannon?

Бидерман кивает, сияя радостной уверенностью, что теперь все обойдется.

Помню, Готлиб, все помню, как может помнить только дьявол. Ты пил с нами на брудершафт, тебе даже приспичило поцеловать черта в щеку, и это было довольно-таки противно.

Кричит попугай.

Бидерман. Мы ведь не знали, Вилли, что вы черти. Честное слово! Если бы мы знали, что вы действительно черти...

Входит Зепп в образе Вельзевула с лошадиными копытами, козлиным хвостом и рогами; в руках у него большая лопата.

Вельзевул. Что еще надо?
Фигура. Не ори.
Вельзевул. Зачем ты переодеваешься?
Фигура. Нам придется снова вернуться на землю, Зепп.

Анна приносит белый жилет.

Спасибо, милочка, большое спасибо. (*Надевает жилет.*) Ты потушил топки?
Вельзевул. Нет.
Фигура. Делай, что тебе приказано.

Зарево становится еще ярче.

Вельзевул. Но уголь уже засыпан!..

Анна приносит фрак.

Фигура. Минуточку, милочка, минутку! (*Застегивает жилет.*) Я был на небесах...
Вельзевул. Ну и что?
Фигура. Я вел переговоры, спорил, делал все возможное и ничего не добился. Они не выдают никого. Надежды нет.
Вельзевул. Совсем никого?
Фигура. Никого.

Анна подает фрак.

Фигура. Доктор!
Мартышка. К вашим услугам.
Фигура. Вызовите пожарных.

Мартышка кланяется и уходит.

Вельзевул. Так-таки никого и не выдают?!
Фигура. Все, кто носит военную форму, или носил ее, когда убивал, или обещает надеть ее, когда будет убивать сам или прикажет убивать другим,— все они спасены.
Вельзевул. Спасены?
Фигура. Не ори.
Вельзевул. Спасены?!

Слышно эхо наверху.

Эхо. Спасены.
Фигура. Слышишь?
Эхо. Спасены... спасены... спасены...

Вельзевул уставился вверх, выпучив глаза.

Фигура. Сбрось-ка эти тряпки, Зепп, нам пора взяться за дело.

Входит хор.

Хор. Горе! Горе! Горе!
Бабетта. Готлиб!
Бидерман. Молчи.
Бабетта. Эти-то что здесь делают?
Хор. Жители города, вы
Видите наше бессилье:
Города стражи когда-то,
Делу пожарному славно обучены,
В полной готовности, ах,
Осуждены мы теперь
Вечно глядеть на огонь преисподней,
Мы же бессильны помочь...
Где дорогих обывателей жарят,

Фигура. Господа, погасите топки ада!

Хор, пораженный, безмолвствует.

Я не подумаю содержать ад для бидерманов и интеллигентов, для карманников, прелюбодеев, для горничных, укравших пару нейлоновых чулок, для уклонившихся от воинской службы — и не подумаю!

Хор безмолвствует.

Чего вы ждете?

Хор. Мы наготове.
Красные шланги
Скатаны плотно,
Все по уставу,
Винтики медные ярко начищены,
Тщательно смазаны.
Каждый на месте и знает, что делать.
В полном порядке насосы,
Все предусмотрено,
Чтобы напор не ослаб.

Корифей. Краны в порядке?

Хор. Все по уставу.
Каждый на месте и знает, что делать.

Корифей. Мы наготове.

Фигура одергивает фрак.

Фигура. Ну-ка, за дело.

Отблеск огня опять очень силен.

Корифей. К шлангам! К насосам!
К стремянкам!

Пожарники бегут на свои места и кричат.

Хор. Готов!

Корифей. Мы готовы.

Фигура. Прошу.

Слышно шипение пожарных кранов, зарево бледнеет.

Мартышка. Как видите, господин Бидерман, все идет, как я предполагал...

Фигура. Доктор!

Мартышка. Что прикажете?

Фигура. Наши велосипеды!

Мартышка. Извольте.

Фигура. И парик, милочка, мой парик.

Анна. Извольте.

Фигура. И попугая.

Мартышка и Анна уходят.

Вельзевул. Моя детская вера! Моя детская вера! Не убий, ха, и я в это верил. Что делают они с моей детской верой!

Фигура чистит ногти.

Я сын угольщика и цыганки, которая читать не умела, но твердо знала десять заповедей, а я осатанел. Я издевался над всеми заповедями. Катись в преисподнюю, Зепп, ты осатанел. Так мне говорили, и я покатился. Я лгал, потому что, когда врешь, все идет как по маслу, и я осатанел. Я крал все, что хотелось, и осатанел. Я развратничал с кем попало, с девицами и замужними, сколько душе угодно, и я осатанел. Меня боялись в каждой деревне, ведь я был сильнее всех, потому что осатанел. Я подставлял им ножку, когда они шли в церковь, потому что мне так хотелось, я каждое воскресенье поджигал их конюшни, пока они молились и пели. Я смеялся над их богом, который не мог со мной совладать. Кто подрубил ель, что убила средь

бела дня моего отца? А мать молилась за меня и умерла с горя, глядя на мои дела, и я попал в приют и поджег его, а потом в цирк — и поджег его, потому что мне хотелось этого все сильнее и сильнее, и я поджигал везде, во всех городах, и все больше сатанел. Не убий! Возлюби!.. Не возжелай!.. Ведь там, у нас в лесу, не было ни газет, ни радио, была только библия, и я верил, что предаешься дьяволу, если убиваешь, насилуешь и грабишь, попираешь все заповеди и уничтожаешь тысячи людей, целые города,— в это я верил!..

Фигура смеется.

...мне не до смеха, Вилли!

Анна приносит парик.

Фигура. Спасибо, милочка, большое спасибо.

Мартышка катит два ржавых велосипеда.

Вельзевул. ...мне не до смеха. Меня тошнит, когда я смотрю на ход событий. Что делают они с моей детской верой? Меня рвет, меня так и выворачивает наизнанку!

Фигура надела парик.

Фигура. Собирайся! *(Берет один из ржавых велосипедов.)* Я сгораю от желания вновь увидеть моих клиентов, эти сливки общества, которые никогда не попадают в ад, мне не терпится еще раз им послужить!.. Пусть снова будут искры и треск пламени, сирены пожарников, которые всегда опаздывают, лай собак, дым, крики людей — и груды пепла!

Вельзевул отстегивает козлиный хвост.

Фигура. Ты готов?

Вельзевул. Минутку...

Фигура садится на велосипед и дает звонок.

Иду, иду. *(Отстегивает лошадиные копыта.)*

Корифей. Насосы — стоп!
Шланги свернуть!
Краны закрыть!

Красное зарево совсем исчезает.

Фигура. Готов?

Вельзевул берется за другой велосипед.

Вельзевул. Готов! *(Садится на велосипед и дает звонок.)*

Фигура. А рога!

Вельзевул снимает рога.

Анна!

Анна. Что угодно?

Фигура. Спасибо, милочка, большое спасибо за все твои услуги. Почему ты дуешься с утра до вечера? Только один разок ты засмеялась. Помнишь, когда мы пели песенку о лисе, охотнике и гусе.

Анна смеется.

Мы еще споем ее!

Анна. О, пожалуйста!

Выступает вперед хор.

Хор. Жители города, видите...

Фигура. Прошу покороче!

Хор. Ад потушен.

Фигура. Спасибо. *(Шарит в кармане брюк.)* А спички у тебя есть?

Вельзевул. У меня нет.

Фигура. У меня тоже нет.

Вельзевул. Вечно одно и то же!

Фигура. Ничего, нам дадут...

Мартышка приносит попугая.

Мой попугай! *(Сажает попугая на правое плечо.)* Да, доктор, чуть было не забыл — приема душ больше нет. Скажите этим мелким людишкам, что ад бастует. А если нас будет искать какой-нибудь ангел, скажите ему, что мы на земле.

Вельзевул дает звонок.

Ну, поехали.

Шмиц и Айзенринг уезжают и машут на прощанье

Оба. Всего хорошего, Готлиб, всего хорошего!

Хор выходит на авансцену.

Хор. Солнца лучи,
Божьего ока ресницы,
Вспыхнули снова, и день озарил...

Корифей. Город, из пепла восставший.

Хор. Аллилуйя!

Вдали кричит попугай

Бабетта. Готлиб!

Бидерман. Помолчи-ка.

Бабетта. Теперь-то мы спасены?

Бидерман. Главное теперь — не терять веры.

Вдова Кнехтлинга уходит.

Хор. Аллилуйя!

Бабетта. Вдова ушла.

Хор. Прежнего краше
Он возродился из праха,
Город родной.
Убраны прочь и забыты руины,
Кто вспоминает сожженных до тла,
Крики из пламени...

Бидерман. Жизнь идет своим чередом.

Хор. Древней историей стали погибшие,
Немы навек.

Корифей. Аллилуйя!

Хор. Прежнего краше, богаче,
Весь из стекла и металла,
Ультрамодерн,
Но духом все тот же, все тот же,
Аллилуйя,
Город из пепла восстал.

Начинает играть орган.

Бабетта. Готлиб!

Бидерман. Ну что?

Бабетта. Как ты думаешь, мы спасены?

Бидерман. Думаю, да...

Орган играет все громче, Бидерман и Бабетта стоят на коленях.
Занавес падает.

ВИЛЕМ ЗАВАДА

Стихи разных лет

Перевод с чешского Д. САМОЙЛОВА, вступление Л. БУДАГОВОЙ

«У поэтического искусства огромные перспективы. Материал, ждущий своего художника, который бы воплотил, осмыслил и воспел его, так же велик и многообразен, как сама жизнь. Темы, которых сотни и тысячи раз касалась поэзия, по-прежнему полны ожиданий, как земля с неисследованными глубинами... Поэзия — постоянное открытие новых жизненных областей и связей. Целый космос все еще лежит перед нами, как на рассвете истории человечества: земля, воды, природа, любовь, жизнь, стремления одиночек и целых народов...» Эти слова принадлежат чешскому поэту Вилему Заваде. Жизнь и смерть, природу и любовь, чаяния одиночек и целых народов — извечные поэтические темы, скорректированные потребностями XX века, славного своими революциями, жестокого своими войнами,— вмещает в себя поэзия Завады. Но все в этом поэтическом мире, покоящемся на извечных тематических сваях, впервые и неповторимо, как неповторима судьба и личность художника.

Завада, сын рабочего, не вернувшегося с фронтов первой мировой войны, начинает свое творчество трагическими мотивами панихиды, горькой тризны по убитым на войне, по погибшим и погибающим в бесчеловечье капиталистического мира. «Панихида» (1927) — первая книга стихов двадцатидвухлетнего поэта, пытавшегося лишить обывателя довольства и самоуспокоенности, разбудить, растревожить человека, как был растревожен он сам. А рядом в его поэзии живет мотив горячей и скорбной любви к родине, страдающей от безработицы и голода.

После 1945 года изменился «климат» поэзии Завады. Растаял холодок отрешенности и одиночества, помогавший Заваде отделять себя от ненавистного мира капиталистических отношений. В его поэзии становится больше света, воздуха, солнца. Поэт «трагического поколения», каким считали Заваду в тридцатые годы, обретает прочную веру в людей, в настоящее и будущее своей страны.

Один из ранних сборников Завады назван «Дорога пешком». Дорога пешком... Именно этот путь, облюбованный поэтом, приводит его к контакту с природой, с людьми, с весенней оттаявшей землей, холодным дождем, стогом сена, крестьянином, тяжело шагающим за плугом. Завада — неутомимый ходок по дорогам и бездорожьям своей земли, вступающий в городские кварталы и вновь покидающий городские стены. Но поэзия его, бережно хранящая и послегрозовую свежесть, и блеск пруда за родной деревней, не ограничивается лишь этими, милыми его сердцу подробностями бытия. Завада умеет взглянуть на мир «с перспективы птичьего полета», охватить взглядом большие просторы и увидеть в них главное. Еще в тридцатые годы он сформулировал нравственное кредо своей поэзии: «Бремя человечности нести в вечность...» А это бремя не из легких. Оно налагает на поэта большую моральную ответственность, делает его непримиримым ко всему, что враждебно человечности,— к войнам, рабству, лжи.

Своеобразный центр поэзии Завады, центр притяжения его внимания — дымный Остравский край, где вырос поэт. Острава — огненная наковальня, высекающая темы и образы поэзии Завады. Она наполняет его стихи ревом заводских сирен, сверканием раскаленного металла. Завада влюблен в шахтерский труд, в каменный уголь, в котором ему всегда слышится шум древнего, зеленого, давно отшумевшего леса.

Свои метафоры Завада нередко добывает в забоях и штреках. Весенняя ночь у него — «штольня, где звезды шурфуют с шахтерской лампой». Он и труд поэта часто сравнивает с трудом шахтера и тоже пытается пробиться в глубинные пласты жизни, подобно шахтеру, пробивающемуся в глубь земли.

Поэзия Завады — человечна и мужественна.

Лучшие стихи его покоряют своей искренностью, неожиданностью ритмов и образов. Они, если развивать метафоры поэта, тяжелы и весомы, как каменный уголь, и, как каменный уголь, несут в себе свет и тепло.

Города

Я видел города из мрамора и
злата —
Москву я видел, видел Ленинград,
где бронзовые всадники крылаты.

Я видел города — и Дрезден,
и Берлин,—
разбитые бомбежками, где травы
плечом зеленым рвутся из руин.

Я видел города, шумящие, как
пена,—
Венецию, и Вену, и Париж,
где пляшут и поют самозабвенно.

Склоненные к воде я видел города,
сверкающие Амстердам и Брюгге —
как полузатонувшие суда.

Я был в Стокгольме, городе
старинном,
что холодно мерцает, как алмаз
в ночном свету на золоте витринном.

Я видел негу южных городов,
Монако, и Дубровника, и Сплита,
не ведающих зимних холодов.

Я видел города, роскошней
фейерверка,
где гаснет шум и умолкает жизнь,
где порохом усталость пахнет
терпко.

Я вижу Прагу, город с теплой
кожей,
где переливчатый струится свет,
на серую жемчужину похожий.

Я знаю город в копоти, в огне,
огромный, черный и всегда
усталый —
Остраву, прикипевшую ко мне.

Я знаю этот город — дым и пар,—
что, как вулкан, бессменно выдыхает
из уст земли неохлажденный жар.

Я знаю города, знал много городов,
иные расплываются в тумане,
и лишь один гремит во мгле годов,

огнем меня от смерти охраняя,
один во мне, как сердце, он стучит —
Острава черная, земля моя родная.

Черная земля

Здесь небо — тьма беззвездная,
здесь небо — бездна грозная,
зловещее, как черная вода,
когда она осеннею порой
в бассейнах туч повиснет над
землей.

Струится дождь, прорвав препоны,
и ливень огненной листвы
на города, на терриконы
так безнадежно, грустно так,
как будто жизнь летит во мрак.

Дождь обволакивает даль
и всех вещей стирает грани,
и с этим ровным ливнем слит
плащей угрюмый игелит —
туман, спрессованный в тумане.

Торчат лишь голые копры,
вода переполняет реки,
а в глубине земной коры,
где черные пробиты штреки,—
пора тропической жары.

Там в глубине, на дне земли,
шахтеры, согнутые вдвое,
от пыли угольной черны —
нам не видны и не слышны,—
рубают в тесноте забоя
окаменевшие стволы.

Струится дождь, прорвав препоны,
и ливень огненной листвы
на города, на терриконы
так безнадежно, грустно так,
как будто жизнь летит во мрак.

Из шахт, сквозь узкое жерло,
выходит уголь тяжело.
Чем он чернее, тем прекрасней:
свечной, а также — смоляной,
и с перламутровой блесной,
и с металлическим отливом,
и с радугою слюдяной.

Теряет память чернозем,
и смерть не помнит ни о чем,
а уголь помнит обо всем.
Он не суглинок и не глина,
и нам рассказывает длинно
в печи веселый огонек
про все, что знает уголек.

Он нам поведает о том,
как жил он в веке золотом,
тот острый, умудренный камень.
Из века в век идет огонь,
высокий, ясный и мятежный.
Взлетает к небу огонек,
как желтоперый петушок,
веселья полный и надежды.

Тихие леса

Стоят деревья, не качнутся,
не зашумят и не очнутся,
и словно в мертвом царстве сна
здесь нарастает тишина.

Ты слышишь, как листва слетает,
как цвет за цветом увядает,
роса скользнет по стеблю в мох,
слетит снежинка, словно вздох.

Но эта чаща — не немая,
в ней тишина живет земная.
Она живет, шуршит, поет,
как будто буря настает.

И немота зеленой хвои —
как тишина на поле боя,
как вдруг настигший нас покой
на магистрали городской.

После дождя

Дым мирно вьется из трубы.
Во всей округе — сочный запах.
И скоро ужинать пора.
А небо тихо сходит вниз
в своем переднике небесном
и с радугой через плечо.

Оно с минутку постоит
близ женщин, что идут к колодцу.

Цивилизация смерти

Прощупывают облака,
прощупывают океаны.

Везде:
на море,
в небе,
на земле —
они свои раскидывают базы.

А их унылые пророки,
предвкушают радости
от апокалипсических видений:

когда человек,
нагой, как червяк,
поползет,

страдающий и растленный,
по острым обломкам разбитой
вселенной
и сохранит лишь пылинку души,
пылинку души,
алмаз,
вкруг которого станет вращаться
их будущий опустошенный мир.

А в нашем мире — кипенье,
горенье,
как в первый день сотворенья.

Уже расправила и напрягла
душа могучие крыла.
И в них трепещет мощь живая,
весь мир от смерти прикрывая.

Деревенская женщина

Пусть с гордостью твои топочут
башмаки —
твоя душа готова в них обуться,
когда тебе за полночь надо встать
и через двор бежать в коровник,
где медленно мычит во тьме корова,
позвякивая цепью о кормушку,
рогами ударяя в стену,
как будто впрямь чего-то
испугалась.

Но как ты только в хлев войдешь,
едва корову ласково окликнешь,
по-матерински ей потреплешь шею,
так мирная корова с мудрым
взглядом,
степенная домашняя скотина,
мгновенно успокоенная речью,
лизнет тебя шершавым языком,
и ты почувствуешь ее дыхание,
в котором запах клевера и трав.

У кошки-плаксы тонкий нюх,
она канючит, как дитя, под дверью,
в глазах зеленых вспыхивает
фосфор,
как у тигрицы в диких камышах.
Она о ноги о твои потрется,
поластится и выгнет спинку,
как будто знает:
ты ее не тронешь
и обратишься с нею по-людски.

А сколько ты земли весной
перетаскаешь!
Ведь у тебя и зябкие ростки
не захворают, не исчезнут с поля.

Тебе не возводили монументов,
и о тебе в газетах не писали.

Но здесь, в деревне,
вкруг тебя
вращается земля.

Трубочист

Тебе бы хотелось
меня отбелить своими слезами,
и прополаскивать, и отжимать
до последней капельки мглы.

А я ведь чищу трубы
и выгребные ямы.

Как солнце
сбрасывает тучу за тучей
и наконец бросается голышом
в бездонный черный омут
в безбрежном темном лесу —
так и поэт
кидается в город,
бросается к людям,
чтобы прочистить им души,
чтобы стала хорошая тяга,
чтоб горели они ясным огнем.

ДЖОН ОЛИВЕР КИЛЛЕНЗ

ТОГДА МЫ УСЛЫШАЛИ ГРОМ

РОМАН

Перевод с английского
В. ЛИМАНОВСКОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

Глава 9

Если каждый вечер слушать Габриэля Хиттера, слушать его «добрые вести на сегодня», то вам покажется, что русские через две недели будут в Берлине и война несомненно кончится к новому году, и поэтому многие солдаты уже фантазировали, как они весело будут встречать рождество с помощью Бинга Кросби и Ирвина Берлина *.

Как-то вечером Солли пошел в гарнизонный бар выпить стаканчик шоколадного. Так, во всяком случае, говорил он себе. Он испытывал непреодолимое желание снова ощутить во рту восхитительный вкус шоколадного коктейля, приготовленного мисс Фанни Мэй, приготовленного именно ею и специально для него. Сегодня это было ему просто необходимо. Он просто не мог без этого обойтись. Он не был в баре с того самого вечера, когда оставил свой стакан на стойке нетронутым.

— А где же ваш приятель? — спросила его Фанни Мэй.— Я не знала, что вы появляетесь где-нибудь без вашей личной охраны.

— Если вы спрашиваете про рядового Джозефа Тейлора,— сказал Солли,— то он сегодня в карауле.

— О,— произнесла она.— А как он поживает?

— В настоящую минуту рядовой Джозеф Тейлор, вооруженный до зубов красивой черной палкой, несет охрану склада.

Она улыбнулась и отошла — приготовить коктейль.

Они болтали решительно обо всем, не касались только армии и военной полиции и Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения; она отходила на минуту, чтобы обслужить какого-нибудь солдата, который скалил зубы, и пялил на нее глаза, и требовал, чтобы она обслуживала только его одного, и снова возвращалась к Солли, и они продолжали болтать.

Возвратясь к нему в очередной раз, она сказала, и взгляд ее широко раскрытых темных глаз глубоко проник ему в душу:

— Мне нужно о многом с вами поговорить.

Продолжение. Начало в № 4.

* Бинг Кросби — популярный в США киноактер и исполнитель джазовых песен; Ирвин Берлин — композитор.

Сердце у него бешено заколотилось и стало расти, и казалось, еще секунда и оно выпрыгнет из грудной клетки. Бар уже закрывался. Солли выпил четыре или пять коктейлей, но не заметил вкуса ни одного из них. Только не говори с ней о борьбе на два фронта. Только не касайся этой темы.

Она снизу вверх заглянула ему в лицо. Ее глаза казались сейчас совершенно черными, и взгляд был очень серьезен.

— Хотите проводить меня домой? Мы поедем на моей машине. Моя приятельница не вышла сегодня на работу.

— А как же Джо? Он мой друг...

Это прозвучало очень глупо, но она была так красива, а он так впечатлителен. Правда, за последнюю неделю они с Тейлором мало общались. После того вечера, когда они так и не написали письма, они не обмолвились почти ни словом, хотя их койки и стояли рядом.

— Он и мой друг тоже,— сказала она.— Такой же друг, как и вы. Не больше и не меньше. Я ведь надеюсь, что вы мой друг?

— Я бы очень хотел...— Что тут дурного в конце-то концов, если он проводит ее домой?

— Ну, все в порядке,— сказала она быстро.— Я вас понимаю.— Ее глаза говорили больше, чем ее губы, и ему бы следовало хорошенько подумать сначала...

Когда они уже подъезжали к воротам, Солли вспомнил вдруг, что у него нет пропуска.

— Как же я выеду без пропуска? — с досадой произнес он, обращаясь не столько к Фанни Мэй, сколько к самому себе. Все, чего он достиг своими стараниями, может сейчас, в одну секунду, полететь к черту. Очаровательное оживленное личико улыбнулось ему, и он окончательно потерял голову.

— Они меня знают. Знают, что я работаю в гарнизонном баре, и никогда не останавливают мою машину.

— Сегодня они остановят ее в первый раз, на мое счастье,— сказал он.— Я забыл вас предупредить: мне всегда необыкновенно везет... на разные неприятности.

Они были уже у самых ворот, когда один из солдат в форме военной полиции поднял руку, приказывая остановить машину.

— Вот тебе и на! — прошептала Фанни Мэй.— Это какой-то новый. Я его впервые вижу.

Солли не промолвил ни слова, в нем закипала досада. Больше всего он злился на себя за свою удивительную глупость. Попасться у ворот гарнизона в машине без пропуска один на один с подружкой Тейлора! Об этом, конечно, станет известно и капитану, и Тейлору, и всей роте — и вот вам пятно на его репутации. Его даже могут разжаловать в рядовые. И никаких офицерских курсов, ничего. Это было похоже на заговор против Соломона Сондерса. Впрочем, он сам во всем виноват.

Рыжий солдат военной полиции подошел к машине и направил свет электрического фонарика сначала на Фанни Мэй, а затем на злое потное лицо Солли. Но в это время другой полицейский прогулялся лучом своего фонарика по автомобилю.

— Все в порядке, Майк,— крикнул он рыжеголовому.— Это девчонка из нашего бара.— Он улыбнулся Солли и Фанни Мэй.— Поехали! — крикнул он.— Война не ждет!

Солли тихонько чертыхнулся про себя, а Фанни Мэй включила скорость и медленно выехала за ворота на темное пыльное шоссе.

Они добрались до города, и Солли смотрел в окно на маленькие невзрачные и какие-то беззащитные с виду домики, а затем потянулись кварталы залитых огнями улиц, где стояли солидные внушительные особняки с высокими белыми колоннами и темными величественными

дубами, огромными и грозными, расставленными, словно часовые, на темно-зеленых газонах.

— Вот здесь живут уже настоящие богачи,— сказала Фанни Мэй.— Это Кингс-Роу-авеню. Надо снять шляпу и приглушить мотор, когда проезжаете мимо.

Машина свернула в переулок, потом в другой, и они снова очутились на темной узкой улочке: мостовая была в выбоинах, дома стали маленькими, жалкими, смиренными, похожими друг на друга, и даже листва на деревьях словно поредела. Затем внезапно мостовая кончилась, и машина пошла осторожно ковылять по ямам и колдобинам пыльной проселочной дороги.

— Вот теперь я уже знаю, где мы находимся,— сказал Солли.— Можете мне не объяснять.

— Вы совершенно правы,— сказала она.— Здесь живет наш народ. Это отчий дом. Это родной мой дом.

Они оба рассмеялись, и Солли почувствовал, как все в нем напряглось, и в то же время давно уже не было у него так легко и спокойно на душе. Всю дорогу они старательно избегали разговора о борьбе на два фронта, боялись его, как чумы. Сейчас Солли должен был бы сидеть в казарме и писать письма домой. А вместо этого он был в самовольной отлучке. Все свое будущее он поставил на карту ради того, чтобы проводить эту хорошенькую барышню домой. Ему надо пойти к психиатру.

Машина остановилась перед двухэтажным белоснежным деревянным домиком, с белой оградой и цветником, полным блеска и сияния в лунном свете.

— А это, добрый господин,— наш дом,— сказала Фанни Мэй.— Почему вы смотрите на него с таким испугом? Он не так уж безобразен! И никто вас в нем не укусит.

Солли нервно глотнул воздух.

— Очень красивый дом,— сказал он. Мысли его были далеко.— Право, красивый.

Никаких споров сегодня. Никаких Национальных ассоциаций. Никакой войны. Никакой политики. Никакой борьбы на два фронта.

Они вошли в калитку и по усыпанной гравием дорожке направились к дому.

Просто теплые, дружеские отношения, и все. Она взяла его под руку, и он чуть не подпрыгнул от неожиданности. Он искоса бросил взгляд на ее лицо, и оно так светилось радостью, довольством, счастьем и столько в нем было очарования, что это испугало его не на шутку. Он должен сегодня же сказать ей про Милли. Сказать, что он женат. Это зашло уже слишком далеко. Слишком далеко, черт побери! И она слишком хороша и слишком женственна, невзирая на всю свою борьбу на два фронта и все прочее. Она красива, умна, темпераментна, она... она... Нет, он идиот, проклятый идиот!

Из прихожей они попали в длинный коридор: направо и налево в него выходили двери. Фанни Мэй отворила первую дверь налево — в гостиную, и он прошел следом за ней в самую уютную комнату на свете, с большими семейными портретами на стенах и большой фотографией Дюбуа* над камином, с глубоким мягким креслом по одну сторону камина, с качалкой — по другую и старомодным диваном — напротив.

— Садитесь,— сказала Фанни Мэй.— Может быть, разжечь камин? Здесь довольно прохладно, вы не находите?

Он опустился на диван и уставился на камин.

— Нет, нисколько. Мне вполне хорошо,— солгал он.

---

* Дюбуа, Уильям Эдвард (1868—1963), — писатель, историк, прогрессивный негритянский общественный деятель.

Она присела рядом с ним и, чтобы отвлечь его внимание от камина, на который он смотрел, как завороженный, на какую-то секунду положила руку ему на колено, и он подскочил, как ужаленный.

— Что с вами, Солли? — спросила она. Ее большие темные глаза стали совсем черными и смотрели на него с глубоким участием.

Он сказал:

— Нет, нет, ничего... Немного устал и издергался, больше ничего. Просто я... должно быть, военная служба действует мне на нервы.— Он принужденно рассмеялся.

— Слишком много умственной работы,— сказала она.— Джо Тейлор рассказывал мне. В вашей роте всю работу в канцелярии выполняете вы один. Сержант и капитан абсолютно ничего не делают. Вы командуете ротой.

— Мистер Тейлор — мой друг и, как я теперь вижу, специалист по части рекламы, да еще большой любитель преувеличений.

— Ваша скромность делает вам честь, молодой человек,— сказала она; лицо ее сияло.

Она встала с дивана, и растопила камин, и вернулась, и снова села возле Солли, глядя на огонь, и огонь разгорался, и поленья потрескивали и шипели, и огонь все рос и рос, заполняя все углы камина, и черное чрево уже полыхало огнем, а потом огонь притих, успокоился, и камин горел ровным, сонным, уютным пламенем. И Солли захотелось сползти с дивана прямо на коврик перед камином и уснуть мертвым сном.

Он чувствовал, что Фанни Мэй хочет продолжить разговор, который они вели в то воскресенье, но, как и он, боится этого, боится испортить этот вечер, эти минуты. Оба они словно заключили соглашение о перемирии. Неписаное, не высказанное словами. Никаких военных действий в этот вечер. Мир. Только мир.

И все располагало к миру. Тепло камина на лице, вкус этого тепла во рту. Он вдруг почувствовал себя здесь как дома, и у него заныло сердце. Так же было и в тот воскресный вечер. Какое странное это чувство! Оно всегда возникало, когда он оставался с ней вдвоем! Какая-то сладкая ностальгия. Словно однажды он уже проделал этот путь — и был в этой самой комнате, и так же горел камин, и та же девушка, прелестная и нежная, находилась рядом, и тот же разговор, и ощущение тепла, и запах... повторялось все. И тот же Дюбуа с эспаньолкой строго смотрел на него со стены над камином. И он даже знал, что Фанни Мэй скажет ему сейчас.

— Какие хорошие стоят дни, просто на редкость для этого времени года.

Итак, он проделал весь этот путь из гарнизона в город, чтобы выслушать ее замечание о погоде. Вот, значит, о каких важных вещах хотелось ей с ним поговорить. Ну что ж, тут, по крайней мере, не о чем будет спорить.

— А дома у нас уже, верно, снег идет,— сказал он.

Она подняла на него глаза, и он увидел, отчетливо увидел — это было там, глубоко-глубоко, в самой их темной глуби, это сквозило в каждом едва уловимом, напряженном ее движении,— она хотела завоевать его, иметь его, любить его. Он прочел этот призыв на влажных розовых губах, на вздрагивающей от толчков сердца блузке на груди и ощутил его в своих жилах, во всем своем теле, и он должен был теперь поведать ей о Милли, о его Милли, которую он любит больше всего на свете. Да, теперь пора, приказывал он себе, он должен сказать ей, и это необходимо сделать именно сейчас, ему ведь достаточно протянуть руки, и она окажется в его объятиях, и... Боже праведный! Или она сама пойдет к нему, прильнет к нему жадно и не отпустит его больше, никогда-никогда не отпустит его, или... Или, быть может, эта хорошенькая провин-

циальная девушка отпрянет от него и убежит, убежит куда глаза глядят... Но она хочет его и, позабыв стыд, тянется к нему, и он видит это, чувствует, осязает, и ему стыдно, потому что и его влечет к ней. Он должен был сказать этому милому, славному ребенку про Милли, но у него не было сил.

— Ну, пожалуй, мне пора.

— Ах, боже мой, я же хотела угостить вас кофе!

И она исчезла, прежде чем он успел открыть рот. А через несколько минут она уже вернулась вместе со своими родителями и представила им его. Мать Фанни Мэй была миниатюрная женщина, во всем очень схожая с дочерью,— те же глаза, тот же рот, та же мягкая непринужденность манер, а отец был плотен, широкоплеч, с энергичной складкой в углах рта и твердым взглядом темно-карих продолговатых глаз. По словам Тейлора, он был директором негритянской средней школы имени Букера Т. Вашингтона.

Миссис Брэнтон сказала:

— Мы так много слышали о вас, что как будто уже давно знакомы. Мне кажется, у нас с вами очень много общего. Да, я в этом уверена.

— Вы, вероятно, путаете меня с Червяком... Я хотел сказать — с Джо Тейлором.

— О нет! Вы — капрал Соломон Сондерс, ротный писарь, и первый голова в вашей части, и очень милый молодой человек. И красивый притом. И активный работник нью-йоркского отделения НААСП. Я все про вас знаю. Фанни Мэй работает в лагере уже третий месяц, и были случаи, когда кто-то провожал ее до крыльца, но вы первый военный, которого она пригласила в дом.

Солли стоял перед ними и чувствовал себя очень неловко — самозванцем, двуличным, двоедушным обманщиком,— чувствовал нервную угодливую улыбку на своем лице, делавшую его похожим на застенчивого, простодушного юнца.

Миссис Брэнтон лукаво улыбнулась ему, а Фанни Мэй сделала ей какой-то знак и вышла из комнаты.

— Прошу вас, навещайте нас запросто, когда будет охота,— сказала миссис Брэнтон Солли, встала и попросила извинить ее.— Надо помочь Фанни Мэй на кухне.

Мистер Брэнтон опустился в качалку.

— Вам, жителю большого города, наш маленький городишко, вероятно, кажется захолустьем?

— Нет, на первый взгляд он мне понравился,— солгал Солли.— Я сам ведь не из очень большого города.

— Ну, я бы не сказал, что Нью-Йорк — это так себе, не слишком большой городок...

— Я родился в Джорджии, в Драй-Крике.

Мистер Брэнтон расхохотался и хлопнул себя по ляжке.

— Вот это да! Подумать только!

— Да, сэр,— сказал Солли.— В Джексонвильском округе. И жил там до семи лет.

— Ну, подумать только! А я было собрался вас спросить, как вам понравились наши кракеры-южане. Вы, верно, чувствуете себя здесь, как ягненок среди волков.— Он хмыкнул.— Что ни говори, а это же черт-те что, позор — послать вас сюда, в этот расистский город, и учить тут, как надо умирать за родину! Если на то пошло, то мне и здесь, в Джорджии, есть за что сложить голову.

«Вот оно опять, опять борьба на два фронта»,— с беспокойством подумал Солли.

— Потише, папочка. Ты, кажется, склонен забывать, какое общественное положение ты занимаешь. За такие речи школа подыщет себе

другого директора, после всей твоей долголетней службы.— Фанни Мэй уже возвратилась с кофе и печеньем на подносе.

— Прежде всего, я слишком стар, чтобы ползать на коленях перед кем бы то ни было, кроме всевышнего. Но порой начинаешь задумываться: а что, если и он тоже белый?

Они сидели, пили кофе. Солли слышал, как мамаша гремела чем-то на кухне. Папаша сидел напротив Солли, приглядывался к нему — что он за птица. Ощущение покоя и уюта исчезло. Мистер Брэнтон сказал:

— Вам остался еще год на юридическом?

Солли чуть не крикнул: «Я женат! Я не ищу руки вашей дочери. Не смотрите на меня, как на будущего зятя». Но он сказал:

— Да, сэр.

Мистер Брэнтон сказал:

— Отлично. Наш народ нуждается в боевых адвокатах.

Солли подумал: «Ну, вот он, расовый вопрос». Они старались обойти его весь вечер. Он сказал:

— Да, конечно.— И умолк.

Но мистер Брэнтон продолжал :

— Я только на днях говорил Фанни Мэй: «Куй железо, пока горячо. Ни один цветной не должен сидеть сложа руки, пока белые стреляют друг в друга, иначе, когда они покончат со своими делами, нам придется снова брать у них все с боя».

Фанни Мэй кашлянула и начала собирать кофейную посуду на поднос. Она бросила отцу взгляд.

Солли думал: «Цветной, цветные, цветному! Эти люди помешались на цветном вопросе. Неужели они не понимают, что цветные — это еще не весь мир?» Отец Фанни Мэй ждал, что он скажет. Солли сказал уклончиво:

— Отчасти вы, конечно, правы, сэр.

Глаза дочери встретились с глазами отца; получив еще один сигнал, он поднялся, пожелал Солли доброй ночи и последовал за Фанни Мэй на кухню.

Потом она вернулась, опять села рядом с Солли и рассмеялась немного нервно.

— Не придавайте слишком большого значения папиным словам. С годами он начинает придерживаться все более и более крайних взглядов. Это своего рода болезнь, и она у него прогрессирует.

— Мне нравится ваш отец,— не совсем уверенно сказал Солли.— И ваша мама тоже.

— Я рада,— сказала она негромко.— Я очень рада.

В доме было тихо, и он слышал, как ее родители прошли по коридору и поднялись по лестнице к себе в спальню. Он слышал, как отец откашлялся, громко и многозначительно. Солли и Фанни Мэй сидели, глядели на огонь в камине, молчали. Потом она сказала:

— В самом деле, уже поздно. Я хотела поговорить с вами о вечере, который мы решили устроить в День благодарения...— Она не докончила и повернулась к нему.— Я очень рада, что вам понравились мои родители. Особенно папа. Он не со всяким разговорится.— Она хотела что-то прибавить, помолчала, решилась не сразу.— И я рада, что вы не забыли, о чем мы с вами как-то говорили.— Она снова умолкла.— И теперь вы, хотя бы отчасти, согласны со мной: я хочу сказать, моя точка зрения вам теперь понятна. Вы ее поддержали в разговоре с папой.

Его взяла досада, он встал, сказал, глядя сверху вниз на ее взволнованное лицо:

— Я просто не хотел спорить с ним.

Боже милостивый! Хоть бы уж она не смотрела на него так!

Она сказала:

— Я понимаю, Солли.

Это прозвучало почти как вздох — нежный, чистый, самозабвенный.

Он сказал:

— Вот как? — и глухая тревога пробудила в нем желание выбежать из этой комнаты в прихожую, и на крыльцо, и в сад и бежать, бежать без оглядки.

Она сказала:

— Да, да! Правда, правда! — Так, словно он спросил, любит ли она его.

Он снова сел на диван рядом с ней.

— Я бы сам хотел все понять. Порой мне кажется: хорошо бы забыть, что я негр, и сложить оружие, и думать только о собственной персоне, и стараться использовать то небольшое образование, которое мне посчастливилось получить, и продвигаться, продвигаться вперед и вверх, словом, куда следует, карабкаться, как окаянный, по лестнице успеха, добиваться этих самых продвижений по службе, пока не кончилась война. Прежде всего мне осточертело слушать вопли слюнявых младенцев у нас в роте, которые как будто даже не слыхали, что идет война против фашизма!

Она покачала головой, и негромкое восклицание против воли слетело с ее влажных губ:

— Неверно, Солли!

Он снова вскочил с дивана и воинственно воззрился на нее сверху вниз:

— Почему неверно? Прежде всего, мы — американцы, разве не так? Прежде всего — американцы, а потом, между прочим,— негры.

— Разве, Солли? — Ему показалось, что она сейчас расплачется, но в то же время он почему-то был уверен, что она никогда этого себе не позволит.— Это что же — новый девиз вашей нью-йоркской Национальной ассоциации?

— Вот именно,— сказал он.— Мы — американцы, и у нас общий враг, и потому сейчас не время для домашних распрей. Мы их разрешим потом. И...

Она покачала головой, красивая, гневная.

— Вы не можете так думать.

— Что дурного в том, что я хочу стать офицером, позвольте узнать? Что это — фешенебельный клуб только для белых? А негры не должны даже пытаться проникнуть за этот барьер? Или вы думаете, что я не способен быть таким же хорошим офицером, как некоторые из этих скороспелых белых офицериков?

Она снова покачала головой, словно страдая от невыносимой боли.

Но он намеренно сделал вид, что не понял ее.

— Спасибо за высокое доверие.

— Если вы офицер, вы всегда против солдат,— с упреком сказала она.

— Простите,— сказал он.— Я имел в виду нечто прямо противоположное: солдаты и офицеры — союз людей, объединенных общей целью, но состоящий из ведущих и ведомых.

Она сказала:

— Да... Ну, хорошо, Солли. Я не знаю... Вы меня совсем сбили с толку. Конечно, вы должны стать офицером. Я сама это знаю... И я хочу этого...

Он сказал:

— А я знаю только одно: я устал, мне надоело выслушивать вечные попреки моих так называемых друзей, которые только и делают, что читают мне прописную мораль и обвиняют меня в карьеризме и в измене

своему народу.— Он умолк, у него перехватило дыхание.— И еще я знаю, что уже поздно, и мне пора возвращаться в мой драгоценный лагерь Джонсона Генри...— Он взглянул ей в лицо и прибавил почти шепотом: — Фанни Мэй.— И внезапно почувствовал, как сладко ему произносить ее имя. Оно было у него на языке, как нежная и простая музыка ее голоса — у него в ушах. А глаза пили ее прелесть, ее красоту, тонули в ней. Фанни Мэй... Фанни Мэй... Фанни Мэй... Не только прелесть ее глаз, губ, носа, очертаний ее подбородка, нежного овала лица... Прелесть была глубже, огромней — в высокой доброте и одухотворенности этого прекрасного, дорогого лица. Проклятый романтик! Она казалась ему столь же возвышенно прекрасной, как и ее красота. Он, сумасшедший, верил, что она такая, какой представлялась ему. И он хотел, чтобы она верила в него. Ему отчаянно было нужно, чтобы она поняла его именно так, как ему хотелось. Она встала.

— Хорошо, Солли. Так вот насчет этого вечера — в День благодарения. Мы в первую очередь думали пригласить солдат, которые совсем оторваны от дома — таких, как вы. Человек пятьдесят. Вы поможете мне составить список?

Он сказал:

— Конечно, я к вашим услугам.— И они вышли из комнаты и по коридору направились к двери.

Они остановились на крыльце, залитом лунным светом, таким мучительно беспокойным, и Солли задохнулся от невыносимо пряного аромата поздних осенних цветов и близости Фанни Мэй. Милая Фанни Мэй! Он нахмурился, сам того не замечая, между бровями залегла глубокая складка. Он сказал:

— Очень хорошо, Фанни Мэй, прекрасно. Вы знаете, что всегда можете рассчитывать на меня.

Он подумал: «Вот мы с ней говорим о войне, о Национальной ассоциации, об офицерских курсах, а ведь это вовсе не то, что у нас на душе». Они стояли молча, и в ее глазах, в нежных, ждущих губах, полуоткрытых и влажных, в порывистых, нервных движениях снова было то, что он угадал раньше, но уже надо было прощаться и идти своей дорогой, и вот сейчас, решил он, сейчас он скажет ей, что он женат. Он заставит себя сказать ей. Впрочем, лучше не сейчас. Только не сейчас, не сию минуту. Можно ведь и в другой раз. Зачем портить эти чудесные мгновения? Нет, он скажет ей сейчас же, немедленно. Он заставит себя рассказать ей о Милли. Он сказал:

— Я чувствую себя ужасно виноватым, оттого что поехал провожать вас сегодня. Мне бы не следовало этого делать, потому что...

— Послушайте,— вне себя от возмущения перебила она его,— если вы чувствуете себя виноватым, можете никогда не появляться больше. Джо Тейлор не имеет на меня никаких прав. Он славный и очень мне по душе, но больше решительно ничего между нами нет и никогда не будет, как бы вы об этом ни пеклись по каким-то непонятным причинам.

Да, это верно, чувство большой вины возникло в нем отчасти из-за Джо Тейлора, благородного, воинствующего, неподкупного друга, назначенного в караул согласно расписанию нарядов караульной службы, составленному Солли, но главное было не в этом. Он просто хотел сказать ей, что он женат.

— Фанни Мэй...— Слова застряли в его пересохшем горле, словно комок загустевшего клея.

— Вы пойдете прямо по Пайн-стрит, пройдете три квартала, потом повернете направо, на Джесси-авеню, пройдете еще четыре квартала и выйдете прямо к автобусной станции. До свидания, Солли Сондерс.

— Мне очень жаль, Фанни Мэй...

— До свидания, капрал Сондерс.

Он попрощался и стал спускаться с крыльца, презирая себя за малодушие.

— Солли! — негромко окликнула она его.— Солли! — Он снова обернулся к ней.— Будьте осторожны. Пожалуйста, будьте осторожны, берегитесь полицейских машин. Они иногда ловят на улице солдат в эти часы.

Он снова поднялся по ступенькам, и они снова стояли совсем рядом, совсем близко друг к другу. Над ее пунцовым ртом выступили крошечные капельки пота; в матовом лунном свете, разбросавшем причудливые тени по крыльцу, ее тонкое стройное тело казалось округлым и гибким, как молодое деревце, он видел, как от порывистого ее дыхания вздрагивала блузка у нее на груди, и все казалось таким простым — протянуть руки, сжать ее в объятиях, и все споры, и недомолвки, и тягостное это напряжение — все растворится в поцелуях, и высохнут слезы, которые стоят в ее больших темных глазах. Но остерегись, сказал он себе, не делай этого. Не трогай этих ждущих тебя губ, не зажигай божественного огня. Пламя, сжигающее ее, беспощадно, оно сожжет и тебя, сожжет вас обоих, вы сгорите заживо. И это может случиться каждую секунду, одно неуловимое движение — шелохнуться, потянуться к ней... И тогда, и тогда, и тогда... О боже милостивый!

— Пожалуй, лучше отвезти вас на станцию. Обождите минутку, я только возьму ключи от машины.

— О нет, нет, Фанни Мэй, не тревожьтесь. Ничего со мной не случится. Сотни солдат бывают в городе каждый вечер.

— Вы уверены, что это не опасно? Прошу вас, Солли, позвольте мне вас отвезти. Право, так будет лучше.

Он покачал головой.

— Ну хорошо,— сказала она,— только будьте осторожны.

— Конечно.

Он хотел повернуться и спуститься с крыльца, но вместо этого его руки безотчетно протянулись к ней и сжали ее пальцы и ощутили ответное пожатие, и он почувствовал, как по телу его прошла дрожь, и желание горело в них обоих, но даже сейчас, даже в эту минуту он искал в себе силы убежать отсюда без оглядки. Но он не мог. Не мог выпустить ее рук. Не было такой силы на земле, чтобы заставить его это сделать. И прежде чем он успел опомниться, она уже была в его объятиях, и губы их слились, и тела слились, и словно в каком-то сладостном и смертельном поединке каждый старался слиться с другим еще теснее, еще яростнее.

— Фанни Мэй!

— Солли! Солли! Дорогой мой Солли...— Крик шепотом.

Где-то в закоулках его совести прозвучал тревожный сигнал, и образ Милли возник в последнее мгновение, когда его рука уже бродила по нежному трепещущему телу, жар которого обжигал его, и он чувствовал легкое дуновение ночного ветерка на своей шее и плечах и влажную, мучительную сладость ее губ. Фанни Мэй! Солли! Ее шепот, как нежный вздох, как дыхание на его щеке. Теперь поздно для угрызений совести: сила, слишком могущественная, была вызвана к жизни, и она смела их и сокрушила все преграды. В этот миг он освободился от одиночества. Жизнь была полна, полна, жизнь была полна! Жизнь — это любовь. И любовь — это жизнь. Жизнь-любовь.

Раздвижная дверь отворилась бесшумно, и Солли последовал за Фанни Мэй в притихший темный дом, в длинный темный коридор, и он знал, что теперь должно произойти то, чего он давно подсознательно ждал, хотя и боролся против этого. И он чувствовал себя обманщиком, но уже не испытывал сожалений. Они вошли в полутемную гостиную, и здесь было так тихо, что их дыхание казалось шелестом ветра в опав-

ших осенних листьях. Фанни Мэй! Дорогая Фанни Мэй! Он уже не мог пощадить ее теперь! Она обернулась к нему, и он увидел ее дивное светившееся любовью лицо, и ее стройное тело, и округлую грудь, вздымавшуюся порывисто, словно от рыданий, и она была самой желанной женщиной, которая когда-либо жила на земле за все миллионы и миллиарды лет. Он хотел сказать: «Фанни Мэй!» — хотел произнести это как жаркую молитву, но кровь застучала у него в висках, и он задохнулся, и она снова была в его объятиях, и его губы на ее губах, и их тела сплелись, и он почувствовал, как слабеют ее колени, и ему показалось, что сейчас они оба упадут.

— Пусти! — отчаянно, шепотом.— Пусти, или я позову отца!

Ее слова били его, как хлыстом, но хлыст только гнал его вперед, вперед, без оглядки. И наконец она затихла.

— Потуши свет, милый, потуши свет!

Его рука поднялась почти бессознательно, словно он был у себя дома, знал здесь все, и он щелкнул выключателем, и в тишине этот звук разнесся, как выстрел. Обернувшись к ней, он увидел в медленно меркнущем свете ее счастливое, испуганное лицо. И теперь она снова была в его объятиях, и все исчезло.

■

Он сидел возле нее, и вкус любви был еще у него на губах, и аромат любви еще не растворился, и ее голова еще покоилась на его плече, а мысль о Милли Сондерс уже неотступно, неотвязно сверлила мозг, и он искал в своей душе сожалений о содеянном, но оно было еще слишком близко, и он не мог пробудить в себе ни печали, ни раскаяния. Он еще был полон этим, все в нем и все вокруг было этим полно, он ощущал это на губах, в ноздрях, во всем теле, и Фанни Мэй прислонилась к его плечу. Он думал о Милли, но не мог вызвать в памяти ее образ. Всякий раз перед ним была снова Фанни Мэй. Везде, всюду была Фанни Мэй, и только Фанни Мэй, и Фанни Мэй, и Фанни Мэй!

■

— Что с тобой, дорогой?

— Ничего.— Он не хотел, чтобы она называла его так. Он прелюбодей. Он смотрел во мрак, туда, где давно уже погас в камине огонь, но ему казалось, что отблески пламени все еще отплясывают свой дикий, бессмысленный танец света и тени на ковре, и это еще больше бередило душу.

Она зажгла свет и пытливо вгляделась в его смятенное лицо, а он видел только огромные темные глаза, нежно изогнутый, полуоткрытый рот и белые, ровные, влажно поблескивающие зубы. И любовь. любовь — любовь бездумную, быть может, даже безлюбовную любовь. Любовь завершенную. Она придала ее лицу такую спокойную, величавую красоту, которая была для него чем-то новым, невиданным. Это было преображение. Ее лицо — нежнейшее, прекраснейшее в мире. Быть может, подумалось ему, так преображается каждая женщина, когда она по-настоящему любима и близка с тем, кого она любит. Но он не мог припомнить, чтобы лицо Милли когда-нибудь так преображалось.

— Солли! Любимый! Скажи, что с тобой?

В голосе ее звучала тревога, взгляд стал озабоченным, но невинная радость удовлетворенной любви, небывалой красотой озарявшая ее лицо, вызывала в нем глухую досаду. И ему были неприятны ее нежные слова, потому что он чувствовал себя подлой скотиной.

Ему хотелось встать, найти свою пилотку и уйти, но он не мог двинуться с места.

— Ты любишь меня, Солли?

Но теперь уже образ Милли стоял перед ним как живой, и он не мог, ничего не мог ответить Фанни Мэй.

— Солли! Ты любишь меня?

Он повторил про себя ее вопрос, стараясь, чтобы он звучал как можно наивнее, инфантильней. Он хотел сказать ей: «Разве это необходимо? Разве мужчина непременно должен любить тебя, чтобы иметь право ласкать? Ты думаешь, что теперь я уже принадлежу тебе целиком — и телом, и душой, и помыслами,— весь принадлежу тебе только потому, что ты владела моим телом несколько опьяняющих мгновений?» Но вместо этих слов он молча обнял ее, и под его поцелуями растаяли все ее сомнения и страхи, и она позволила себе поверить, что он ответил ей: «Да! Люблю! Люблю! Люблю!» Он целовал ее рот, щеки, темные, влажно сияющие глаза и, сладко замирая, чувствовал солоноватый вкус ее слез на губах и корил себя за то, что он подлая скотина.

Он поглядел на свои часы, хотя ничего не мог увидеть в темноте.

— Все же мне надо идти,— сказал он. «Надо бежать отсюда, бежать со всех ног».

— Конечно, тебе надо идти,— сказала она.— Если ты не уйдешь, мой отец вышвырнет тебя за дверь.— Ему неприятно было, что в голосе ее звучит такое счастье, такое довольство и умиротворение.

На крыльце, залитом лунным светом, они на секунду, как в беспамятстве, прильнули друг к другу снова, и он поцеловал ее в губы, и она прошептала:

— Ради бога, будь осторожен, Солли!

Он сбежал по ступенькам.

— Спокойной ночи, Фанни Мэй! — сказал он, не оборачиваясь.

— Спокойной ночи, Солли, будь осторожен! — крикнула она, но он не обернулся. Он не мог.

Глава 10

Фанни Мэй все еще была с ним, он вдыхал ее аромат, и его губы еще хранили сладость воспоминания о ней, и весь он был переполнен ею, но мыслями он был уже возле Милли и возле мамы, далеко на севере, в Нью-Йорке. Они были с ним, когда он в полном одиночестве пробирался сквозь непроглядный мрак незнакомого южного городка Эббенсвилля в штате Джорджия. Нью-Йорк — Эббенсвилль, штат Джорджия. А он обманщик, паскудник, грязный пес.

Фонари в цветном квартале горели только на перекрестках. Переулки не освещались, и там царил бы непроглядный мрак, если бы не дымный желтоватый свет луны. Солли шагал почти ощупью, ему казалось, что ноги заменяют ему глаза. С отчаянной решимостью он нащупывал свой путь на неровных пыльных тротуарах, спотыкался о камни и выбоины на дороге. А тут еще луна скрылась за большой черной тучей, и он теперь уже не видел даже собственных рук в темноте и был один, совершенно один в этом подлом белом городишке, и черт бы побрал Фанни Мэй! Как она хороша! Весь мир, казалось, спал глубоким сном или прикидывался спящим. Лишь бы добраться до автобусной станции! Больше он никогда не будет так рисковать. А в городе Эббенсвилле, штат Джорджия, с ним могут сделать решительно все, стоит им только захотеть. Могут убить его, если кому-нибудь придет в голову такая фантазия. Но все же ему как-то не верилось, что они посмеют тронуть солдата американской армии. Нет, не посмеют! Какого черта он так нервничает? Он прошел еще два квартала и вышел на улицу, в конце которой была расположена автобусная станция. «Автобус должен скоро отойти»,— поду-

мал он, когда вдали, в глубине просторной площади, словно оазис в пустыне, замаячила станция. Он уже различал две длинные темные цепочки людей — две очереди на автобус. Он заставил себя не ускорять шага. Он уже дома, в безопасности. Он дома, в безопасности.

Он купил билет и занял место в конце негритянской очереди. Теперь он мог дышать свободно. Вдыхать в себя ароматную южную ночь и ноздрями и ртом. Он вытер лицо армейским платком и почувствовал, как проходит напряжение, расслабляются мускулы лица, шеи, плеч, живота и наступает сладостное облегчение.

Он дома, в безопасности! Пот на спине понемногу высыхал. Ни за что на свете не позволит он себе больше свалять такого дурака! Только сейчас, пробираясь один-одинешенек через этот ночной пустынный город, впервые понял он по-настоящему, как отчаянно хочется ему добиться повышения в армии, получить офицерское звание и все прочее. Ну а почему бы нет? Чем больше будет офицеров-негров, тем демократичнее станет армия. Что можно против этого возразить? Не за это разве мы воюем?

Высокий белый — шофер автобуса — сказал:

— Посадка!

И само собой разумеется, белые солдаты стали лезть в автобус первыми, а когда подошла очередь цветных, набежали еще белые солдаты — некоторые, едва держась на ногах после выпитого виски, отплевываясь на ходу,— и пока они всё подбегали и подбегали, цветные солдаты должны были пропускать их и ждать. Солли Сондерс стоял в конце своей очереди и кипел от бессильной злобы, наблюдая, как белые солдаты подбегали в последнюю минуту, смеясь, перекликаясь, добродушно переругиваясь.

К автобусу подошли два белых солдата, оба невысокого роста, один серьезный с виду, другой — с лукавой ухмылкой на лице. Они стали возле дверей автобуса, поглядели на выстроившихся в очереди цветных солдат, потом на шофера.

— Ладно, залезайте,— сказал шофер.

— Но эти ребята пришли раньше нас,— сказал белый солдат — тот, что показался Солли серьезным с виду.

— Это цветные,— сказал шофер.— Они садятся в последнюю очередь. Такое правило.

Солли почувствовал, как все в нем потянулось к этим белым солдатам, которые хотели вправить мозги кракеру. Встань и ты за свои права, черт побери! Не позволяй измываться над тобой. Вот видишь, эти двое белых солдат знают, за что они воюют. Он чувствовал свое с ними сродство.

— Это несправедливо,— сказал белый солдат, глядя на своего дружелюбно улыбающегося товарища.

Солли был прямо-таки рад, что попал сюда, рад, что ему довелось это видеть и слышать.

— Не я устанавливаю правила, приятель,— сказал шофер. Он напомнил Солли Резерфорда. Такой же длинный, тощий, с большим пистолетом в поблескивающей кобуре.

— Ну как, будете садиться или останетесь торчать здесь? — спросил шофер белых солдат.

Те поглядели друг на друга, и улыбающийся сказал:

— Да какого черта! Что мы можем сделать? В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

И, потоптавшись еще немного, они тихонько полезли в автобус.

А белые солдаты все подбегали и подбегали, а цветные солдаты, хмурые и обозленные, продолжали стоять в очереди, и наконец автобус заполнился, и остались только стоячие места, и вот уже мотор прокаш-

лялся и загудел ровно, и дверь захлопнулась, и автобус отъехал от станции, не взяв ни одного цветного солдата. И в прошлый раз, когда Солли был в городе, происходило то же самое. Пока они не отправили всех белых солдат, он должен был стоять, как последний идиот, и смотреть на отъезжающие один за другим автобусы, заполненные белыми солдатами. И каждый автобус, казалось, увозил с собой частицу его человеческого и мужского достоинства, и он, Солли Сондерс из Нью-Йорка, солдат американской армии, чувствовал себя раздавленным, униженным, обворованным. Он, Солли Сондерс из Нью-Йорка, солдат американской армии, которому предстояло со временем стать офицером!

Он поглядел на злые, угрюмые лица остальных негров. Его ухо уловило ворчание, приглушенную брань. Какого черта они ничего не предпринимают? Какого черта стоят они здесь каждый вечер — они, солдаты американской армии,— и позволяют лишать себя человеческого достоинства, солдатской чести, гордости за свою страну, которой они служат, права называться мужчинами? Он разжигал в своей душе самую жгучую ненависть и презрение к ним и к самому себе. А он какого черта ничего не предпринимает? Но у него нет даже пропуска. Он в самовольной отлучке, в самоволке, черт бы побрал все на свете! Он не смеет даже пикнуть.

Второй автобус лишь до половины был заполнен белыми солдатами, и поблизости их больше нигде не было видно... Почему же солдаты из его очереди мешкают и не садятся в автобус? Белый шофер поглядел по сторонам — нет ли где еще белых солдат, желающих попасть на автобус. Он подошел к дверце автобуса, окинул взглядом одну сторону широкой площади, потом другую — не спешит ли где к автобусу белый солдат — и наконец дружелюбно кивнул цветным солдатам:

— Ну, давай, ребята, чего мы ждем?

На улице, по ту сторону площади, примерно за квартал от угла, появился полицейский автомобиль; он медленно приближался к автобусной станции. Все протекало медленно в Эббенсвилле — медленно, легко, приятно, сладко, как яблочный пирог, как тростниковый сахар,— и вдруг раздавался гром среди ясного неба, и в мгновение ока могло произойти все, что угодно. Но ведь тревожиться нет причины. Тревожиться абсолютно нечего. Автомобиль проехал вдоль сквера, замедлил ход, почти стал, свернул в проезд, ведущий к автобусной станции, и медленно пополз вперед. Солли почувствовал, как в других солдатах-неграх накипает такая же злоба, как и в нем, и увидел, что стоявшие впереди солдаты начали подниматься в автобус, не дожидаясь повторного приглашения со стороны шофера. Но шофер с той же дружелюбной улыбкой на лице стал в дверях, преграждая им путь, небрежно пощелкивая пальцами по кобуре своего сорокапятикалиберного.

— Ну-ка обождите, ребята. Не спешите.— Он поглядел в сторону полицейского автомобиля, который медленно полз к автобусной станции.

— Да ладно, к чертям, поехали! — крикнул какой-то белый солдат из автобуса.— Ты задерживаешь эту...— он прибавил крепкое словцо,— войну.

Полицейский автомобиль наконец не спеша подъехал, остановился, и из него вышли двое местных полицейских и направились к автобусу. Один из них был огромный, здоровенный, белобрысый детина, похожий на громилу; полицейская фуражка была у него сдвинута на затылок и сидела, словно наседка, на его исполинской кудлатой шевелюре. У него были громадные и такие кривые безобразные ноги, что, казалось, их надо бы запрятать куда-нибудь с глаз подальше. Он ступал так, словно шагал по раскаленным углям. Другой полицейский был небольшого роста, с нежным хорошеньким личиком над длинной, тонкой, как ручка от метлы, шеей, украшенной большим кадыком.

— Здорово, ребята,— сказал шофер автобуса.— Ищете кого-нибудь из этих парней? Что-нибудь случилось сегодня в городе?

— Нет,— ответил тощий.— Просто проверяем пропуска. Чтобы не было самовольных отлучек. Ты знаешь, это не положено.

— Валяйте тогда, проверяйте. Вы подоспели как раз вовремя. Только не задерживайте нас до утра.

Верзила-полицейский уже подошел к стоявшим впереди солдатам и начал проверять у них пропуска. Солдаты-негры шарили по карманам, доставали свои пропуска и показывали их этому детине, который прежде всего не имел никакого права производить проверку, черт бы его побрал! И Солли Сондерс тоже полез в карман за пропуском, которого у него не было, молясь в душе, чтобы кто-нибудь из солдат, прежде чем полицейские дойдут до него, до Солли, спросил этого верзилу, по какому праву проверяет он у них пропуска. Он же не из военной полиции. Но верзила-полицейский переходил от одного солдата-негра к другому, и ни один из них не подверг сомнению его права. Каждый молча лез в карман и вытаскивал свой пропуск — одни с непроницаемым выражением лица, другие — сердито, третьи — с испугом. Между здоровенным кривоногим полицейским и Солли оставалось всего пять-шесть солдат, и надежда теперь была только на то, что полицейский, быть может, бросит проверять пропуска, прежде чем доберется до конца очереди. Другой полицейский — невысокий, нежнолицый — стоял немного в стороне, подбоченясь, положив руку на блестящую кобуру своего пистолета. Ждет, хочет показать, какой он герой! Вот так они оскопляют негров в Джорджии — каждый божий день, все триста шестьдесят пять дней в году! Солли вдруг почудилось, что этот громила-полицейский с длинной острой бритвой в руке переходит от одного негра солдата к другому и оскопляет их всех подряд. А негры солдаты стоят голые напоказ всему свету. Солли померещилось даже, что он слышит, как с глухим тошнотворно-монотонным стуком падают на землю коричневые и черные мошонки. Он представил себе все это столь живо, что у него мучительно заныло в паху.

Маленький темно-коричневый солдат с большими карими, совсем девичьими глазами, стоявший через двух солдат от Солли, сунул руку в карман, но не вытащил пропуска. Он посмотрел на верзилу-полицейского и спросил:

— А почему вы не проверяете пропуска у тех солдат, которые уже сели в автобус?

— А это не твоя забота, малый. Твое дело — показать мне *твой* пропуск. Вот если его у тебя нет, тогда уже будет другой разговор.

Здоровенный, кривоногий, похожий на громилу полицейский продолжал улыбаться, но лицо его уже наливалось кровью, а невысокий полицейский стоял все в той же позе, держа руку на кобуре пистолета. Солдаты-негры стояли, напряженно-встревоженные, злые, угрюмые, а некоторые — испуганные. И на секунду весь город, казалось, затаил дыхание, а затем облегченно вздохнул и снова погрузился в сон, когда маленький темнокожий солдат с красивыми карими глазами судорожно глотнул свежий ночной воздух и, достав пропуск из кармана, показал его верзиле-полицейскому. А за ним еще один солдат проделал то же и еще один, и теперь настала очередь Солли Сондерса, капрала Сондерса, ротного писаря, кандидата на офицерские курсы, гордости роты «А». Солдата, обладающего всеми качествами, необходимыми будущему офицеру.

Он поглядел на белобрысого верзилу-полицейского и опустил глаза. У него в сущности не было выбора. Единственное, что он мог сделать,— это усомниться в праве этих полицейских проверять пропуска у солдат. Единственное — по той простой причине, что пропуска у него не было.

Никакого, даже липового. Он поднял глаза и заставил себя взглянуть полицейскому в лицо. Слушается дело капрала Сондерса. Суд идет, встать.

Он подумал: «Надо сказать им, что я — лояльный американец и верю в войну. И сказать это нужно с добрым, старым южным акцентом, как положено «черномазому». Сказать, что я самый надежный цветной солдат, меня даже хотят произвести в офицеры. Убедить их в том, что я не агитатор и не смутьян. Я знаю свое место, а если они мне не верят, пусть справятся у моего командира. Он благородный господин, уроженец Юга, как и они». Быть может, дело еще не принято к производству. И не будет принято, если он сам все не испортит.

Здоровенный детина-полицейский сказал (как будто бы довольно дружелюбно):

— Ну, малый, давай сюда твой пропуск. Мы не хотим валандаться здесь всю ночь. Все ребята торопятся домой, в казармы.

В конце концов, он просто делает свое дело, и все. Отступи, спрячься, а сражение дашь в другой раз! Солли почувствовал, как лоб у него снова покрывается испариной, откашлялся, переступил с ноги на ногу и услышал свой голос:

— Мне кажется, вы не имеете права проверять наши пропуска. Вы не военная полиция.

— А это не твоя забота, я уж тут объяснил одному. Таким, как ты, думать вредно. Голова разболится. Думать ты предоставь нам. Покажи мне свой пропуск, и дело с концом. Если, конечно, он у тебя есть.

— Ваши полномочия не распространяются на военнослужащих американской армии, особенно в тех случаях, когда они не нарушили гражданского кодекса.

Верзила-полицейский уже больше не улыбался. Он положил руку на кобуру.

— Беда с этими черномазыми, когда они немножко овладеют грамотой. Никак не могут уразуметь, где она к месту, а где нет.

Солли не произнес больше ни слова. Он только глядел на полицейского. Он сделал этот шаг и уже не мог повернуть обратно. Дорога лежала перед ним — прямая, одинокая, без пересечений, без обходных путей, она вела вперед, только вперед, бесконечная, пустынная.

— Ну как? Покажешь ты мне свой пропуск, малый, или будешь еще валять дурака?

— Я повторяю, вы не имеете на это полномочий.

Неспешная, сонная жизнь Эббенсвилля внезапно понеслась, как вихрь, и все произошло со страшной быстротой. Оба полицейских наставили свои пистолеты на Солли.

— Эй, ты! Показывай пропуск, слышишь? — И на какой-то краткий миг он вдруг пожалел — зачем с самого начала не признался, что у него нет пропуска, и не отдался на их милость, на их белое добросердечие, на их южное гостеприимство. Если бы только у него был пропуск, чтобы он мог показать им его! Но он понимал, что теперь говорить что-либо бесполезно. Теперь это бесполезно. Он бросил вызов их белой коже, их закону и праву, их божественному всемогуществу, и теперь ему ничего не оставалось, как держаться этого до конца, и сознание это было по-своему отрадным. Он был испуган, очень испуган, до самой глубины своего существа: он ощущал этот испуг и животом, и ягодицами, и всем покрытым испариной телом. Но все же он не дрогнул, не отступил перед их длинной блестящей бритвой, не позволил себя оскопить. С первого же дня в армии вокруг него бушевала война. Но он был изворотлив и всегда настороже, а пули свистели вокруг, поражая то Тейлора, то Скотти, то

сержанта Грира. Ум, честолюбие, внешность помогали ему, и он ни разу не попался на удочку. Но теперь все! Теперь он попался, и дело завертелось. Возлагая надежды на свое образование, на свои личные достоинства, он думал, что белые его, конечно, пощадят, но они его предали.

— Я — солдат, я не нарушил ни одной статьи гражданского кодекса, и ваши полномочия не распространяются на меня.— Он прилагал отчаянные усилия, чтобы голос его звучал твердо.

Они всегда предавали его. Но прежде всего он предал себя.

— Ладно, черномазый, ты на это напросился.

И они грубо вытолкнули его из очереди, храбро сверкая своими пистолетами в ласковом сиянии луны, под крики шофера, торопившего: «Полезайте, полезайте, поехали!» — и в это время несколько солдат, и в их числе маленький солдатик с большими карими глазами, вышли из очереди и придвинулись к полицейским, и маленький солдатик спросил:

— Что тут такое происходит?

И еще пять-шесть солдат сгрудились у них за спиной.

Верзила-полицейский обернулся к ним со своим сорокапятикалиберным в руке.

— Назад, сволочи, лезьте в автобус, или я перестреляю вас тут всех к чертовой матери! — Его голубые глаза стали совсем круглыми и дикими от страха, уже граничившего с паникой.

— Мы в Америке, а не в Германии.— Маленький кареглазый солдатик и бровью не повел.— Что вы хотите сделать с этим солдатом?

— Раз уж тебя это так интересует,— сказал верзила-полицейский,— так мы захватим и тебя заодно.— Он помахал пистолетом.— А вы все полезайте, черт вас дери, в автобус! Слышали? Я второй раз повторять не стану.

Полицейские оттеснили всех остальных солдат к автобусу; оба они — и верзила и маленький — рычали, и чертыхались, и отважно размахивали своими пистолетами, и храбрый шофер тоже вытащил пистолет из кобуры, и солдаты-негры полезли в автобус, и он покатил прочь, оставив Солли и маленького большеглазого солдата вдвоем с белыми полицейскими, и все это случилось так быстро, хотя сначала тянулось так медленно. И в эту минуту его жизнь показалась ему совсем короткой, и он подумал о Милли, о своей Милли, которая мирно спит сейчас далеко-далеко, так страшно далеко отсюда, и не знает, в какую переделку он попал, и крепко спит, и мама тоже спит крепко, и Фанни Мэй тоже, быть может, уже уснула где-то здесь близко, всего в нескольких кварталах отсюда, и все это случилось по ее милости, только она совсем в этом не виновата. Он понимал, что она не виновата.

И полицейские взяли двух американских солдат, хотя не имели на это никакого права, и повезли их в полицейское управление города Эббенсвилля, помещавшееся в городской ратуше, и Солли, когда их везли в полицейской машине, сказал другому солдату:

— Тебе незачем было встревать в это грязное дело.

И глаза его вдруг наполнились слезами от восторженного восхищения, от теплого чувства товарищества, от гордости за свой народ, и он почувствовал, как его согревает это тепло, как оно проникает во все поры его тела. И его собственные беды исчезли на миг из поля его зрения. И в эту минуту ему было так хорошо и легко, как не было еще никогда с тех пор, как он стал солдатом армии дяди Сэма. Это чувство проникло в него глубоко-глубоко, до самого нутра.

Маленький солдатик прошептал:

— Меня зовут Джеймс Ларкер. Я из Десятого саперного, из штрафного батальона. А тебя как зовут?

— Солли Сондерс. Я из роты «А» Пятьдесят пятого транспортного полка.— Ему хотелось прибавить еще что-то, но он не нашел, что сказать.

Он молча сидел в полицейской машине и улыбался, ощущая горечь во рту. Будь они все прокляты. Он все-таки попался им на удочку. Они охотились за ним чуть ли не с того дня, когда он еще лежал в колыбели, и всю-то жизнь его мать жила в тревоге, что в один прекрасный день она придет домой с работы или они сами явятся к ней на работу и скажут, что он, ее сын, нарушил закон и полиция забрала его и упрятала за решетку, но этого ни разу не случилось в том громадном шумном городе, где столько опасностей подстерегает одинокого мальчишку, у которого нет отца, а мать работает с утра до ночи. Ему пришлось долго ждать, и приехать сюда на Юг, в страну хлопка, и вступить в Великую Демократическую армию Соединенных Штатов Америки, чтобы наконец попасть в беду. Кровь бросилась ему в голову. Здорово они его купили! Он и не заметил сразу. Куда как смешно! Ему припомнилось, как они выследили и едва не затравили его в первый раз...

Это произошло в самый разгар кризиса, даже мама сидела тогда без работы. И из вечера в вечер он наблюдал, как нью-йоркские полицейские разгоняли на улицах Гарлема митинги и демонстрации безработных, врезались в толпу на своих красавцах конях и колотили дубинками по головам, и дубинки от крови становились бурыми, словно их окунули в томатный соус, и окровавленные головы снились ему потом всю ночь, а в газетах писали, что все это происки коммунистов. И тем не менее почти каждый день после обеда Фредди, Джимми, Лонни, а иногда еще и Джо Мак-Брай и Солли собирались вместе, и кто-нибудь из них спрашивал: «Интересно, а где будет сегодня?» — и они отправлялись бродить по всему Гарлему, пока не натыкались на очередную свалку. Однажды вечером они попали на митинг. Там какой-то маленький темнокожий человечек стоял на стремянке, а над ней легкий ночной ветерок колыхал полосатое и звездастое полотнище, а этот человечек кричал, надрываясь, что-то насчет президента Гувера, и безработицы, и дискриминации, и вдруг полицейские на своих огромных спесивых красавцах конях врезались в толпу, а Солли и его приятели начали швырять гладкие камешки под ноги этим беднягам лошадям, и те начали скользить, и спотыкаться, и валиться на мостовую, и по всей площади лошади и полицейские так и летели на мостовую. Этой проделке научил их как-то раз один из выступавших на митинге. И вдруг Солли увидел, что высоченный, толстомордый белый полицейский устремляется к нему с криком: «Ах ты проклятый, черномазый гаденыш!» — и бросился наутек, подставив спину под полицейский пистолет, и каждую секунду ждал, что ему всадят пулю между лопаток, и страх полоснул его по спине, как ножом. По Ленокс-авеню до Сто двадцать второй и обратно до Сто двадцать пятой, а позади все время: «Держите черномазого!» Пот лил ручьями из всех пор его изнемогавшего от страха тела. И вот он наконец на своей улице, и юркнул в свой дом, и захлопнул дверь, и замок щелкнул, и уже накинута цепочка, и...

— Что с тобой, Солли? Где ты был, малыш?

А он:

— Ничего, мама...

Но мама уже трясла его за плечи, пока слезы не брызнули у него из глаз. И тут: БАХ, БАХ, БАХ в дверь и:

— Откройте именем закона!

И мама — к двери, а Солли — в чулан.

— Что вам надо?

— Нам надо этого мальчишку! Сами знаете, что нам надо!

— Какого мальчишку?

— Сами знаете какого!

И мама и полицейский кричали друг на друга через запертую дверь, и полицейский называл маму коммунисткой, а мама даже и не знала, что это значит. Наконец, полицейский ушел, но пригрозил, что вернется и разыщет этого черномазого, даже если придется сравнять с землей весь этот чертов квартал. И когда полицейский ушел, у мамы уже не было времени задавать вопросы. Она сунула Солли монетку в пять центов и велела ему поскорее смыться в Бронкс и переночевать там у одной ее подруги. И он вылез через окно на задний двор, заваленный консервными жестянками, битыми бутылками и отбросами, а посередине двора стоял какой-то оборванный негр, распевая во все горло: «Твоя мать была ирландкой?» — и в вечереющем воздухе ветер кружил бумажный сор и шумел сырым бельем, раскачивая его на протянутых через двор веревках.

Маленький солдатик, сидевший рядом с Солли, вернул его к действительности:

— Я выберусь из этой Джорджии, даже если бы пришлось попроситься добровольцем за океан, в самое пекло. Все лучше, чем торчать здесь.

Солли проворчал:

— И ты не раз в этом убедишься.

Он мысленно все еще был в Нью-Йорке и думал о том, что там им ни разу не удалось его поймать, и он решил тогда, что *они* уже перестали охотиться за ним. Он окончил среднюю школу, окончил колледж, поступил на работу и на юридический факультет и, наконец, на военную службу, исполненный самых грандиозных упований и высокой гражданственности.

Машина остановилась. Низенький полицейский сказал:

— Ну вы, черномазые, давай!

Они провели Солли в полицейское управление города Эббенсвилля и разлучили с маленьким солдатом-негром. Они втолкнули Солли в небольшую, пахнущую чем-то затхлым комнату с яркой электрической лампочкой под потолком, и начальник полиции зашел поглядеть на него. Верзила-полицейский сказал:

— Вот он, этот паршивый черномазый, начальник.

— Вы не имеете права держать меня здесь. Я солдат.— Но произнося эти слова, Солли уже сам чувствовал, как нелепо они звучат.

Начальник полиции — красивый, крупный, величественный, голубоглазый мужчина, с белыми, как хлопок, волосами — оглядел Солли сверху вниз.

— Вот когда мы разделаемся с тобой по-свойски, черномазая нью-йоркская обезьяна, ты уже до конца дней своих не захочешь напяливать на себя солдатскую форму.

Теперь Солли испугался всерьез. Они здесь могут забить его до смерти — проломят ему череп, запрут его труп в какой-нибудь каземат и скажут, что он оказал сопротивление полиции.

— Где у вас телефон? Я требую, чтобы мне дали возможность позвонить нашему старшему сержанту и командиру роты.

Отворилась дверь, и вошел высокий белый человек в военной форме, и при виде этого высокого белого полковника в душе у Солли Сондерса затеплилась надежда и стала расти и шириться, и сердце чуть не выпрыгнуло у него из груди. Как-никак, он солдат армии Соединенных Штатов, и эти полицейские не посмеют морочить голову полковнику. Им придется посчитаться с ним.

— Что тут происходит? — спросил полковник.

Военная полиция — это, конечно, тоже не сахар, но он рискнет прибегнуть к ее защите, как-никак это лучше, чем эббенсвилльские фараоны. Все же, подумал Солли, может быть, они... может быть, они не посмеют перечить полковнику. Да, черт побери, может быть... Этот полковник не похож на южанина, он говорит без их акцента.

— Да вот, попалась одна из этих гарнизонных обезьян, полковник. Воображает, что он солдат, оттого что ему позволили напялить на себя солдатскую форму.

У высокого красивого полковника на рукаве была эмблема военной полиции.

— А за что вы его забрали? Что он сделал?

Им придется держать ответ перед полковником, потому что он, Солли,— солдат армии Соединенных Штатов, а гражданская полиция, даже в штате Джорджия, не может подменять собой армию Соединенных Штатов.

— Они не имели права арестовать меня. Вы возглавляете военную полицию в этом городе, сэр? Будьте так добры, разъясните им, пожалуйста, что они превысили свои полномочия.

Полковник обернулся и поглядел на Солли, и, холодея от отчаяния в эту бесконечную, страшную минуту, Солли понял, какого он позволил себе свалять дурака.

— Разве тебя кто-нибудь о чем-нибудь спрашивал? — проронил полковник. Он снова повернулся к начальнику полиции.— А что он натворил?

Начальник полиции усмехнулся.

— Да ничего особенного. У него не было пропуска, и он оказал неповиновение двум моим полицейским. Словом, это сволочной негр, и мы хотели его немножко проучить. Ну, вы понимаете.

Полковник сказал:

— Верно, эту черномазую обезьяну завезли сюда с Севера. У него от военной формы башка закружилась.

Глупый беспомощный крик Солли отчетливо звучал в его ушах, когда он выпалил полковнику:

— Вы не имеете права называть меня черномазой обезьяной! Я солдат американской армии. Я человек, черт побери!

Полковник подошел к Солли.

— Ах, так! Ты человек?

Со всего размаха он ударил Солли ладонью по лицу, и белые пятна запрыгали у Солли перед глазами, и голова качнулась куда-то в пустое белое пространство, и на мгновение он совершенно оглох, но при этом все же вполне отчетливо слышал голос полковника.

— Запомни хорошенько, черномазый: ты только черномазый, и больше ничего. Ты — черномазый, и твоя мать — черномазая, еще черномазее тебя, и мать твоей матери — тоже черномазая, самая черномазая из всех черномазых обезьян.

Вероятно, Солли на секунду потерял всякое соображение, потому что он вырвался из рук двух державших его полицейских, и кинулся на полковника, и сбил его с ног, и, вероятно, убил бы его, но тут подоспели полицейские и принялись колотить Солли дубинками куда попало.

Начальник полиции рычал:

— Убейте этого черномазого! Разве так бьют! Вы что тут в игрушки играете?

Солли охватил дикий страх, он понял, что они действительно могут убить его, здесь, сейчас, на этом самом месте. Через несколько минут они умертвят его, он будет мертв! А он не хочет умирать! Он не хочет умирать! Он старался прикрыть голову руками и от страха не ощущал боли в руках. Они решили убить его! Он старался вырвать дубинку у

низенького полицейского. Если бы прорваться к двери, выскочить, убежать... Но они начнут палить ему в спину!

— Убивать его не надо,— сказал полковник.— Посадите его на стул, я хочу сам проучить его.

Они пихнули его на стул и пригвоздили к спинке. Он должен был благодарить полковника за то, что остался в живых. Полковник сказал:

— Раздвиньте ему ноги и держите его покрепче.

И корчась от боли и страха, Солли еще успел беспомощно удивиться: зачем полковник отдал такой приказ полицейским? Но долго удивляться ему не пришлось.

Полковник взял у верзилы-полицейского дубинку, в его холодных серых глазах вспыхнул огонек, и он начал наносить Солли удары по ногам, и по животу, и в пах, но Солли сдвинул колени и согнулся вдвое, спасаясь от ударов. Такой ужас обуял его, что сердце у него перестало биться. Страх заглушил боль. Они силой притиснули его обратно к спинке стула, и полковник снова подошел к нему с дубинкой в руке, и снова на Солли посыпались удары, а он бился, извивался, рвался у них из рук, как бешеный. Страх, что они изуродуют его, заглушил в нем страх смерти. Боль была жгучей, как огонь, а полковник наносил удар за ударом, словно хотел раздробить ему кости. Однако возраст давал себя знать, и полковник довольно скоро начал выдыхаться, и удары становились все слабее и слабее — такие удары мог бы уже наносить ребенок,— но испепеленным жгучей болью, вибрирующим от страха и муки мышцам Солли они казались тяжелыми, как удары молота. Туманная белизна постепенно обволакивала все вокруг, все теряло цвет и очертания и начинало погружаться в какую-то тошнотворно-белую солоноватую яму и затягивать туда Солли все глубже и глубже, и в мозгу его в последнее мгновение промелькнула мысль о Милли, мирно спящей где-то там далеко, в Нью-Йорке, и грезящей во сне о том, как она подталкивает его все вперед и все выше, к вершине успеха, и о маме, безмятежно спящей, ничего не ведая, и о Фанни Мэй, спящей где-то здесь, совсем рядом, в нескольких кварталах от полицейского управления, и о Джо Тейлоре, крепко спящем на своей караульной службе, и о том, что только бы не дать этим кракерам бить его в пах... не дать им... не дать... не дать... даже если они убьют его. Не дать... не дать...

И последнее, что запечатлелось в его мозгу: низенький полицейский с нежным детским личиком отошел в угол, и его стошнило.

— Черт возьми, полковник, сэр, может быть, уже хватит? Я сам не больно-то люблю этих черномазых, да он все равно ничего уже не чувствует.

А Солли уже не мог больше держаться и... Спасите меня! Спасите! Кто-нибудь, спасите меня, не дайте мне упасть туда, в эту яму!.. Но белая пелена заволокла все, и Солли повалился головой вниз со стула.

А потом Солли Сондерс уснул.

Глава II

На следующее утро старший сержант Андерсон и лейтенант Сэмюэлс приехали в полицию, забрали еле волочащего ноги, истерзанного жгучей болью Солли в гарнизонный госпиталь и поместили в одну из палат для негров.

Когда они уже уходили, старшой обернулся и прошептал, наклонившись над постелью:

— Насчет самоволки ты не беспокойся. Я сказал капитану, что у тебя был пропуск. Сам его писал и знаю, сказал я, а капитан, дескать,

подписал его вместе с остальными. Ты, верно, потерял его где-нибудь в городе, сказал я, потому что он у тебя был, это я знаю наверняка.

— Спасибо,— сказал Солли. Ему все это было совершенно безразлично.

Старшой сказал:

— Возвращайся поскорее в роту, пока наша канцелярия не развалилась к свиньям собачьим. А в следующий раз, если тебе захочется перебить всех белых в Джорджии, ты уж не забудь пригласить нашу роту участвовать в спектакле.— И он улыбнулся и побежал догонять лейтенанта Сэмюэлса.

После этого у Солли была пропасть свободного времени, так как он целых две недели был предоставлен самому себе. Он лежал в белоснежной постели, и все вокруг было новенькое с иголочки и ослепительно-белое — и стены, и потолок, и урыльник,— и все напоминало ему полицию, и военных полицейских, и армейских полковников, все, даже сиделки и доктора. Да, все вокруг было незапятнанно-божественно-чистое и навечно белое, как только что выпавший снег, как самые белые голуби, как самые белые из всех белых ангелов. Все было белое в этой черной палате, за исключением самих пациентов и черных солдат со швабрами. И эта белизна утомляла его, ему от нее делалось тошно.

Он ненавидел Великую Белую Демократическую армию Соединенных Штатов Америки. Она пустила в ход самое страшное свое оружие и убила частицу его души, где жила Великая Иллюзия этой армии и этой войны. И теперь он ненавидел все, что имело отношение к этой армии, а больше всего — свое собственное честолюбивое стремление попасть в Начальство. И ненависть в нем бурлила и переливалась через край, и брызги ее попадали на самых близких и любимых.

Он ненавидел Милли с ее проклятой философией «все вперед и все выше», и Червяка за то, что тот был слишком примитивен и честен, чтобы его можно было принимать всерьез, и лейтенанта Сэмюэлса и его линовое Культурное, Либеральное Высокоэтическое Братство Белых и Черных, и капитана Резерфорда, пожелавшего быть его Добрым Белым Отцом-Покровителем. И особенно сильно он ненавидел Фанни Мэй Брэнтон, за то что она была слишком красива, и слишком воинственна, и слишком прямолинейна, и слишком человечна, и слишком женственна, и слишком влюблена в Солли Сондерса, и слишком, черт побери, уверена в его любви.

Когда Червяк в первый раз пришел его проведать, они разговаривали друг с другом как незнакомые люди и осторожно подбирали слова, будто говорили на чужом языке. Наконец, Тейлор попрощался и встал, и тогда Солли сел на постели, преодолевая острую боль, пронзавшую тело, словно где-то внутри задели огромный, обнаженный, как в гнилом зубе, нерв. Добродушное лицо Тейлора так безмятежно сияло, словно его поцеловал сам архангел Гавриил. Солли спросил с досадой:

— Ты знаешь, почему я был в городе? Я провожал Фанни Мэй домой.

— Ну само собой понятно,— сказал Тейлор, нисколько не изменившись в лице.— Все ребята только и говорят о том, как ты сцепился с этим... Они говорят...

Солли сказал:

— Что это значит — само собой понятно?

Ему захотелось влепить Тейлору хорошую оплеуху, чтобы это благодушие с него слетело. Кого, черт подери, он из себя корчит? Тейлор сказал:

— Ну а как же? Ясно. Само собой понятно. Я был в карауле, а ты был в баре, и она попросила тебя проводить ее домой. Ты как раз подвернулся вовремя и постарался за своего дружка. А я всегда говорил

ребятам, что ты никакой не белый прихвостень. Я говорил этому тупоголовому подонку Бейкеру...

— Это было совсем не так,— сказал Солли.— Мне просто хотелось проводить ее домой, и я вовсе не думал о том, что должен выполнять какую-то обязанность за тебя, друг сердечный.

— Ну, так и в чем дело? Ты ей здорово нравишься. Может, она даже любит тебя. Капрал Сондерс, ротный писарь, не сходит у нее с языка. Она от тебя без ума. Я это уже давным-давно заметил. Я вчера сказал Быку Роджерсу, что я всегда и раньше знал, что ты никакой не белый прихвостень.

— Ты... ты никогда не говорил мне... Никогда не говорил, что она... что Фанни Мэй...

— А зачем мне было тебе говорить? Ты женат. Ты ведь то и дело поминаешь о том, что ты женат. Да и кому охота так сразу сдавать позиции... Ты сказал ей, что ты женат?

— А какого черта должен я это говорить? — Солли невольно повысил голос, кровь бросилась ему в лицо.— Я просто отвез ее домой, и все.— Свет не видал второго такого лгуна, как он!

— Совсем это не все, и ты, черт побери, прекрасно это знаешь! А если не знаешь, так спроси кого хочешь. Она не такая девушка, чтобы поиграть и бросить.

Солли сказал:

— Сделай одолжение, Червяк, проваливай отсюда к черту и без лишних церемоний! — Он снова откинулся на подушки, повернулся спиной к Тейлору, и слушал, как его армейский дружок сердито шагает к выходу из этой черной палаты, и чувствовал, как снова поднимается боль, еще более жестокая, чем прежде, и все тело его горит, как в огне, и пульсирует от боли. Он уже не мог больше сдерживаться и тихонько заплакал, кусая губы. Никто не слышал.

На второй день Фанни Мэй пришла его навестить и принесла ему цветов, и фруктов, и несколько книг, и после этого она уже приходила каждый вечер — в перерыв, во время ужина. Появляясь, она всякий раз целовала его — на мгновение легко касалась губами его губ — и точно так же целовала его уходя. И пока она была с ним, он снова чувствовал себя живым, и цельным, и целеустремленным, и ему казалось, что он что-то собой представляет. Если Фанни Мэй Брэнтон любит его, значит, он не просто первостатейный лгун и обманщик, каким он себя считал. А когда она уходила, он весь день думал о том, что в следующий раз скажет ей, что он женат, и давал себе слово.

Придя к нему в другой раз, она сказала:

— Ну что ж, война скоро кончится, и тогда многое переменится для нас, после всех этих жертв, которые негры солдаты приносят и здесь, и там — за океаном.

Он понимал, что она отчаянно старается смягчить горечь, раздиравшую его сердце, но не намерен был ей в этом помочь.

— Не слишком-то на это полагайтесь.— Голос его дрожал.

— Вот увидите,— сказала она.— Все станет по-другому.

Но в ее любимом голосе уже не звучало той прежней убежденности, к которой он привык, которая поддерживала его, и слезы подступили у него к горлу, потому что ему хотелось, чтобы она всегда была тверда в своих убеждениях. Он хотел, чтобы она была совершенством, а увидел, что она такой же человек, как все. Ангелы не совокупляются. И в то время как она старалась утешить его, он судорожно рылся в памяти, ища слова, которые могли бы ее ободрить.

Она подсунула руку под его ладонь, и утешительное тепло сразу обогрело все его истерзанное существо. Она сказала, и в голосе ее на этот раз звучала глубокая вера:

— Для нас с вами, во всяком случае, все будет по-другому.

— И на это не слишком полагайтесь.

Глаза ее расширились от недоумения и тревоги.

Теперь он должен был сказать ей, тут же, сейчас же сказать ей напрямик, что для них будущего не существует. Особенно для них. Но он отчаянно боялся, что она никогда больше не придет к нему, если он скажет ей, что женат, а тогда, без нее, он умрет. Просто перестанет дышать, и все, будет лежать здесь, на этой койке, и перестанет дышать. Он сказал:

— Ну, понимаете, надо ведь еще дожить до конца войны. Каждый божий день это случается с тысячами солдат — и в Европе, и на Тихом океане, и в Джорджии, и в Миссисипи.

Она крепко сжала его руку.

— Не говорите так, Солли! Держитесь, не падайте духом! Мы не можем позволить им согнуть нас.— У нее сделались испуганные глаза.— И обещайте мне: что бы ни случилось, вы не позволите себе умереть заживо. Не позволите им убить вас заживо. Может быть, я говорю не то, не так, потому что теперь, после того, что случилось, у меня нет той уверенности, как прежде, но я верю в вас и в себя...

Голос ее прервался, она не решилась продолжать. Боялась расплакаться перед ним. Она пришла сюда, чтобы подбодрить его, придать ему силы и веры в то, что когда-нибудь, где-нибудь настанут лучшие дни, особенно для него и для нее. Она так отчаянно хотела этому верить. Ему это было понятно.

Он медленно покачал головой. Она сказала совсем тихо, почти шепотом:

— Я многого не понимаю, но одно я знаю твердо — сердцем знаю. Вы возвратитесь. И станете знаменитым адвокатом. А пока вы будете в армии, я могу тоже поступить на юридический факультет, и, когда вы вернетесь, мы сможем работать вместе. «Контора Сондерс и Сондерс».— Она все время стремительно убегала от него вперед — далеко-далеко, за сотни миль.

— Я не собираюсь быть адвокатом! — воскликнул он громким шепотом.— Если я вернусь назад, я буду писать. А если это кому-нибудь не понравится, мне наплевать!

Она сказала:

— Чудесно! Писатели — самые великие люди на земле. Они никогда не умирают. Они живут вечно в своих книгах и пьесах. И вы тоже будете великим писателем. И когда вы вернетесь, и мы поженимся, вы будете мне первой прочитывать все. Каждую главу, каждую страничку, как только напишете! Как только вынете из пишущей машинки! И я буду учиться у вас и, быть может, тоже буду писать...

Ну же, обними ее и скажи ей, что она единственная, кто понимает, что́ ему надо, покрой ее поцелуями, всю с головы до пят — и эти широко раскрытые темные глаза, и эти нежно изогнутые пухлые, чуть вздрагивающие губы. Ему хотелось припасть к ее плечу, и выплакать в ее объятиях все слезы, и поведать ей все свои былые мечты. И в то же время хотелось укорить ее за то, что он избит, за то, что он лежит здесь в госпитале, и вся его военная карьера рухнула навсегда. И он не хотел слышать, какой верой звучит ее голос, не хотел видеть, какой любовью светится ее лицо. Потому что он любил ее. И что-то против воли заставило его крикнуть негромко:

— Замолчите! — Но он тут же сказал:— Простите, Фанни Мэй. Но мне сегодня как-то не хочется об этом думать. Мне до смерти надоело, что решительно все и каждый строят за меня какие-то планы, а потом возлагают на меня какие-то обязательства. Я ничем и ни перед кем не хочу быть обязанным — только перед самим собой.— «Даже перед Мил-

ли,— подумал он.— Все они следят за мной, не сводят с меня глаз. И каждому от меня что-то надо, каждый хочет обтесать меня по своему шаблону. А я ни черта им не должен— ни Милли, ни Фанни Мэй, ни Тейлору, ни Сэмюэлсу, ни Резерфорду, ни офицерским курсам. Ни маме даже». Он сказал: — Если завтра в три часа пополудни мне взбредет на ум отправиться на тот свет, это, черт побери, мое личное дело и никого не касается.— Он чувствовал, как к горлу у него подкатил комок, но знал, что не позволит себе расплакаться перед ней.

Она сказала:

— Кем вам захочется, тем и будете, мой дорогой.

Он сказал:

— Не старайтесь указывать мне, кем я должен быть! Не старайтесь устраивать мою жизнь за меня...

Она взглянула на свои часики. Он увидел по ее глазам, как глубоко она задета.

— Мне пора, Солли. Но очень грустно оставлять вас в таком настроении. У нас же есть все, ради чего стоит жить.

Он сказал:

— Пожалуйста, не делайте мне никаких благодеяний.

Теперь уже глаза ее наполнились слезами, казалось, слезы вот-вот хлынут, и он подумал: «Не плачь здесь! Только не плачь здесь!»

Она коснулась губами его злобно искривленного рта, и он еще раз на мгновение ощутил, что к нему возвращается жизнь. А потом Фанни Мэй повернулась и поспешно вышла из палаты.

Он получил восхитительное письмо от Милли. Она поздравляла его с производством в капралы. Когда собираются отправить его на офицерские курсы? Он будет самым красивым офицером во всей армии Соединенных Штатов Америки. А тем временем она в тылу вносит свою лепту фронту, поднимая дух бойцов в войсковом клубе, и пытается не унывать и не позволяет себе слишком тревожиться о нем. И она откладывает деньги, старается откладывать как можно больше, чтобы он по возвращении домой мог закончить юридический факультет и они могли бы свить себе уютное гнездышко, когда он прибьет к двери свою адвокатскую дощечку. Она так любит его! О господи, как она его любит! Она готова пожертвовать всем на свете ради своей безграничной любви к нему!

Все строят за него планы. Делают ему различные одолжения, которые накладывают на него обязательства. Даже мама.

Все мамины письма кончались одинаково: «Береги себя. Не лезь в герои». Он посмеивался, читая это, но переставал смеяться, когда доходил до последней фразы: «Кроме тебя, у меня нет никого на свете».

Наконец Солли уснул, и всю ночь ему снилось полицейское управление, и Джим Ларкер, и начальники полиции, и армейские полковники. Он дрался с этими мерзавцами всю ночь. Он и Джим Ларкер. Он не сразу понял, что заставило его проснуться, но обрадовался пробуждению. Было около восьми часов утра, и он не замечал, что Тейлор стоит возле его койки, пока тот не спросил:

— Что с тобой, дружище?

Лицо Солли было мокрым от слез.

Солли поглядел на Тейлора, но даже рукой не шелохнул, чтобы вытереть слезы.

— А как ты, черт побери, полагаешь, что со мной? Они мочатся нам на головы всю нашу жизнь изо дня в день и говорят, что это, дескать, дождик идет, и большинство из нас верит этому, а кто не верит, все равно ни черта не может сделать.

— Мы можем написать это письмо,— сказал Тейлор. Так, словно он заглянул сюда мимоходом и вот случайно заговорил о письме.

— Какое письмо? — Солли уставился на Тейлора: ему показалось, что этот добродушный парень тоже не в своем уме.

— Да вот то письмо, которое ты собирался написать в негритянские газеты и в Национальную ассоциацию, ну, словом, всюду, где ведется борьба на два фронта.

Боль на мгновение стала глуше, и слезы высохли, и, кажется, даже сердце дало перебой. В усталом его мозгу что-то повернулось тяжело, словно жернова, и что-то вспыхнуло ярко, и голова у него была как в огне. А он не хотел думать, не хотел рассуждать, не хотел говорить. Он хотел действовать. Ему до черта надоели все эти самоанализы. Он сказал:

— А что мы теряем?

Тейлор сказал:

— Я-то ровным счетом ничего. А ты — зависит, конечно, от того, что для тебя дорого.

Солли сказал:

— Обожди. Дай мне подумать.

Тяжелые жернова продолжали вращаться, и голова горела, как в огне. Эта армия, война — живы ли еще в нем эти иллюзии? Их выжигали каленым железом, взрывали динамитом, истребляли огнем — неужели честолюбие и иллюзии так несокрушимы? И все же он колебался и мямлил что-то, запинаясь. Ненавидел себя и колебался, а мир действительный и мир иллюзорный вели смертельный поединок в его душе. Но что действительность и что иллюзия? Ему нужно было во что-то верить. Тейлор сказал спокойно:

— Раз ты все еще раздумываешь, давай бросим. Ты, значит, еще к этому не готов.

Солли сказал:

— Пошел ты, знаешь куда. И можешь не возвращаться. Откуда ты набрался такой праведности и благочестия? Верно, прислуживал в алтаре?

Тейлор сказал:

— Хоть ты и капрал этой Прекрасной Белой Армии, а я не обязан идти по любому адресу, куда бы ты меня ни послал. Вот так-то.

Солли сказал, разгорячась:

— Так стащи у них пишущую машинку и вали с ней сюда, тогда сегодня вечером мы накатаем это письмо.

Голос Тейлора дрогнул:

— Прошу, не приносите мне такой жертвы, приятель. Не позволяйте мне втравить вас в дело, к которому у вас не лежит душа. Не давайте вашему доброму сердцу толкать вас на то, что не под силу вашей бедной заднице.

Солли сказал запальчиво:

— Если ты трусишь притащить сюда машинку, так и скажи, а не виляй.

В тот же вечер Тейлор приволок машинку в госпиталь, и они вдвоем часа три подряд писали письма во все негритянские газеты, а также преподобному Джонсону Дигби, и миссис Безьюн, и президенту Соединенных Штатов, и миссис Элеоноре Рузвельт.

■

Тейлор пришел за ним, когда его выписывали из госпиталя. Принес ему отутюженную форму, новенький галстук и башмаки, которые сверкали так, что в них можно было смотреться, точно в зеркало. Пока Солли обряжался, он поглядывал на него, ухмыляясь во весь рот.

— Ну, брат, прямо хоть под венец. Хорошо, что моя старуха далеко.

Солли проворчал что-то. Он уже был совсем готов. Завязал галстук, заправил рубашку в брюки. Тейлор сказал хвастливо:

— Лихо, ядрена вошь, получились у нас с тобой эти письма. Верно, Солли?

Солли быстро обернулся и поглядел на Тейлора.

— Тебе еще ничего не присылали из газет? Никакого ответа?

— Нет еще.— Тейлор рассмеялся.— Ты бы уж услышал об этом раньше всех. Ведь как-никак ты этому делу заводила.

— Да,— сказал Солли. Он был заводила. Тайный идейный вдохновитель.

— Не беспокойся,— заверил его Тейлор.— Мы еще об этом услышим. Представляешь себе, что будет, когда они раздуют кадило...

Солли остановил на своем закадычном армейском друге долгий пристальный взгляд. Сказал ровным голосом:

— Ну а пока еще ничего не произошло, ты об этом не болтай, понял? В конце концов, они могли бросить наши письма в мусорную корзину. И, если хочешь знать, глупо было затевать все это.

Червяк Тейлор перестал смеяться и смотрел, смотрел во все глаза на этого щеголеватого солдатика, своего закадычного друга.

Глава 12

Был первый день его возвращения в роту. Солли стучал на пишущей машинке, перепечатывая ротную платежную ведомость, а капитан Резерфорд молча сидел за столом старшего сержанта и смотрел Солли в затылок. Наконец он сказал:

— Сондерс, я сделал все, что в моей власти, чтобы способствовать вашему продвижению в армии, а теперь, по-видимому, мне придется сложить оружие.

Солли перестал печатать и повернулся к капитану.

— Об офицерских курсах вы можете забыть. После всех моих хлопот все это пошло прахом. И если бы не старший сержант Андерсон, я бы разжаловал вас в рядовые, но он вас покрыл. Я знаю, что он лжет, и не верю ни одному слову, но не могу его изобличить. Если я его изобличу, я принужден буду разжаловать и его. Поэтому пока что я даю вам возможность сохранить ваши нашивки. Но я предупреждаю, Сондерс, предупреждаю в последний раз: плевать я хотел на то, что вы лучший ротный писарь в полку. Даже если бы вы были лучшим ротным писарем во всей чертовой армии! Плевать я хотел и на это. Если еще раз вы нарушите дисциплину или,— капитан нецензурно выругался,— позволите себе любое нарушение в любом виде, в любой форме, в любой, самой ничтожной степени, я с вас шкуру спущу! Так что берегитесь. Ясно?

Солли сказал:

— Ясно, сэр.

С этой минуты впредь он никогда не позволит этому человеку проникнуть в его мысли, узнать его чувства. Он будет говорить: «Да, сэр, нет, сэр», а про себя: «Чтоб ты сдох, сэр». В голове у него теперь прояснилось. У него не было больше иллюзий.

— В нашей канцелярской отчетности сейчас сам черт ногу сломит. Попрошу вас немедленно привести дела в порядок. Можете работать двадцать четыре часа в сутки — меня это не касается. В пятницу утром здесь будет полковая инспекция, и, если мы оскандалимся, нам это нешево обойдется, между нами говоря. Если же мы пройдем инспекцию

с развернутыми знаменами, я готов предать забвению старые счеты. Больше того, я готов прислать вам кого хотите на подмогу. Все ясно?

Солли ответил:

— Да, сэр.— «Мой КУР * на двадцать три очка выше, чем у него. Я обведу вокруг пальца этого надутого болвана».

— Это ваш последний шанс, Сондерс. Если лично у вас возникнут какие-нибудь затруднения, приходите ко мне, я постараюсь разобраться, но не вздумайте являться вместе с целой шайкой. Вы мой ротный писарь, и ваш первостепенный долг — быть преданным мне.

А Солли всегда думал — родине и богу. И сейчас ему припомнилось письмо, которое они с Тейлором сочинили и дали подписать некоторым солдатам роты. Романтизм, идеализм, другими словами — глупость. Никогда больше не позволит он чувству увлечь себя вопреки рассудку. Для чего дан человеку разум, как не для того, чтобы руководствоваться им себе на благо!

— Вы скоро убедитесь, Сондерс, что такие типы, как Сэмюэлс, не доведут вас до добра.— Капитан встал, потом снова сел.— Я — южанин, а вы, нью-йоркские негры, предубеждены против нас, я это знаю. И я не люблю заявлять, как некоторые фарисеи, что в числе самых близких моих друзей есть негры. И меня не растила кормилица-негритянка, потому что моей семье это было не по карману. Но я и не позволяю себе коверкать слово «негр» или вместо него говорить «черномазый». И одно, во всяком случае, могу заявить со спокойной совестью: я свободен от расовых предрассудков. На этой планете хватит места для всех. Все мы — создания нашего вседержителя-творца и должны жить в согласии, и я готов пойти вам навстречу всегда и во всем.

Голос Резерфорда звучал мягко и задушевно, в нем даже проскальзывало волнение, и Солли в изумлении глядел на него во все глаза, неожиданно обнаружив, что капитан говорит вполне серьезно и убежденно и в этом смысле вполне честно.

Солли думал: «Честный человек прежде всего не должен обманывать самого себя». Он сказал:

— Да, сэр.— Если эти письма будут когда-нибудь опубликованы, тогда уж он влип на веки вечные. Но какая газета может быть настолько глупа, чтобы опубликовать в такое время, как сейчас, нечто подобное? Нет, отныне он будет слушаться только голоса рассудка. Он сам подставил свою шею под топор, и теперь уже от него ничего не зависит. И когда придет время, если оно придет, капитану Чарли останется только стукнуть посильнее. Он сам вложил ему топор в руки. Никогда больше этого не повторится, Милли, крошка! Он сказал: — Было бы хорошо, сэр, если бы ефрейтор Мур мог поработать вместе со мной до пятницы.

Капитан сказал:

— Скажите сержанту его взвода, что я распорядился отпустить ефрейтора Мура.

Они с Клинтом работали день и ночь, как ломовые лошади. Сэмюэлс помогал им. Потом явился полковник и произвел ревизию. В пятницу вечером Резерфорд призвал Солли к себе в кабинет. Он устремил на него строгий, пристальный взгляд. Затем сказал:

— Сондерс, я решительно не знаю, что мне с вами делать. Клянусь богом, не знаю. Вы снова...— Он грязно выбранился.

Солли подумал, что капитану стало известно про письма, и только тут понял, как он этого боится! Сердце у него бешено заколотилось. К черту Скотти! Он не хочет делить с ним гауптвахту!

— Вы сделали максимум того, что от вас требовалось. Ваша работа получила лучшую оценку во всем полку.— Командир ухмылялся во весь

* КУР — коэффициент умственного развития.

рот.— Продолжайте...— он снова выругался,— стараться и дальше, и в самые ближайшие дни вас могут произвести в сержанты.

Солли так обозлился, что не мог заставить себя улыбнуться. Эта белая паскуда забавляется, разыгрывая его, словно мальчишку! Ладно, пусть себе улыбается, он будет улыбаться тоже. И он еще будет сержантом и, может быть, даже не только сержантом. И тут он снова вспомнил про письма, и ему стало и радостно и грустно. Им, конечно, не суждено когда-нибудь увидеть свет. Никто не решится их напечатать. Дураков нет.

■

Когда Солли лежал в госпитале, лейтенант Сэмюэлс частенько наведывался к нему и всякий раз расспрашивал его о том, что произошло с ним в Эббенсвилле. В субботу утром, когда Солли уже выписался из госпиталя, лейтенант сказал, что у него дела в городе, и попросил Солли отвезти его. Утро было омыто жарким солнцем, что в ноябре не часто случается даже в Джорджии, и над дорогой, словно еще не растаявший утренний туман, висела тонкая пелена красной пыли. В этой Джорджии вы либо увязаете по колено в грязи, либо купаетесь в пыли по щиколотку. Другого выбора нет.

Когда они подъезжали к городу, лейтенант в сотый раз спросил Солли:

— Так вы не помните его имя?

— Я не помню, чтобы кто-нибудь вообще называл его по имени,— беспечно отвечал Солли.— Его зовут Полковник. Полковник Паскуда Третий.

— Хорошо,— сказал лейтенант, досадливо краснея.— Вы знаете, где помещается полицейское управление. Прежде всего туда.

Солли молчал и глядел прямо перед собой на раскаленную пыльную дорогу. Ехал и вез своего Великого Белого Брата.

Они были теперь уже в самом сердце города, на одной из тех двух улиц, которые щеголяли светофорами, и поскольку день был субботний, здесь было полно кракеров: кракеров в рабочих комбинезонах — среди них попадались жирные, но большинство было сухопарых,— и кракеров с красными загорелыми шеями, и кракеров в грубых деревенских башмаках, но принарядившихся по-праздничному для города, и целые повозки с кракерами, где их было напихано видимо-невидимо — и мужчин, и женщин, и ребятишек. А магазины и лавчонки уже торговали по-субботнему вовсю, и в воздухе стоял крепкий запах свежего конского навоза, золотисто-коричневые кучки которого дымились на мостовой, и повсюду звучала протяжная южная речь, а из окон неслась трескучая музыка дешевых радиол и громкий смех, и все это воскрешало забытые картины, будило воспоминания, которые долгие годы хранила память, о господи, господи, господи, как это было давно — Драй-Крик, Джорджия, где протекли первые семь лет его жизни! Чье-то черное лицо встало на мгновение перед его глазами, и ему вспомнилась другая суббота — лет десять-пятнадцать назад: они с матерью идут пешком из Гленвуд Боттома, из негритянского квартала, через весь город кракеров, через его торговую часть — пешком до самого вокзала — и тащат на себе свой единственный скарб, три туго набитых чемодана, в которых все их богатство, а розовощекие кракеры с красными шеями пялят на них глаза, словно на зверей, убежавших из клетки бродячего зверинца. А потом они с матерью сидят на специальной скамье, отведенной для черных, сидят час и другой — ждут пыхтящий, дымящий паровоз, который отвезет их на Север в город Нью-Йорк. Воспоминания пробудили странное

щемящее чувство в груди и сладковатую горечь во рту, и ему казалось, что он вдыхает острый и пряный аромат цветущей жимолости, и он вглядывался в странно знакомые чужие лица, словно хотел отыскать среди них кого-то, кого знал в те далекие годы. Голос Сэмюэлса резко вернул его к действительности:

— Вот здесь, капрал.

Сэмюэлс вышел из «джипа». Солли вышел тоже и прислонился к крылу машины.

— Да, это здесь, лейтенант.— Теперь, когда они прибыли на место, на лицо лейтенанта набежало облачко тревоги. Он снял очки, протер их носовым платком.

— Мне подождать вас здесь, лейтенант? Заглушить мотор?

— Как вам будет угодно.

Солли вытянулся, щелкнул каблуками и с подчеркнутой лихостью отдал честь, а Сэмюэлс повернулся и по длинной дорожке направился к зданию. На полпути он остановился, постоял немного и вернулся к машине.

Солли сказал не без злорадства:

— Вы что, раздумали, лейтенант? Побаиваетесь гадкого большого начальника полиции?

— Я думаю, что вам следует пойти со мной, Сондерс.

— Как прикажете. Я всего-навсего солдат, который не видит никакой необходимости строить из себя героя.

Сэмюэлс принужденно улыбнулся:

— Вы, может быть, сами немного побаиваетесь, капрал?

Солли ничего не ответил, в нем поднималась ненависть к лейтенанту. «Может быть, я и боюсь. Может быть, это все-таки меня колотили дубинкой, а не моего Великого Белого Друга».

— Пошли, капрал.

За столом сидел молодой полицейский и, ковыряя в угреватом носу, читал воскресный комикс. Лицо его было усыпано крупными рыжими веснушками. Лейтенант неуверенно откашлялся. Белый полицейский притворился, что ничего не слышит. Наконец он поднял глаза от газеты и сказал:

— Вы хотите, чтобы мы подержали этого малого у себя до завтрашнего утра, лейтенант? Это мы можем. Мы позаботимся о нем.— Он поглядел на Солли и рассмеялся.

Солли бросило в пот. Он злобно взглянул на полицейского. Потом на лейтенанта.

— Я хочу поговорить с начальником полиции,— сказал лейтенант.

— Что ж, это можно.

Начальник полиции появился из соседней комнаты, и Солли бросило в жар, и под ложечкой у него заныло, и кровь застучала в висках. Удары сердца отдавались в ушах. Вибрирующая боль пронзила мускулы ног. Все его тело помнило и воскрешало боль. Какого черта надо было ему сюда соваться!

— Что тут происходит? — спросил начальник полиции.— А, это вы, лейтенант,— сказал он, увидев Сэмюэлса.— Чем могу служить? Почему вы не приказали этому малому ждать вас за дверью, пока вы не закончите свои дела? Проходите, садитесь. Мы за это платы не берем. А может быть, вы хотите, чтобы мы снова засадили его за решетку? Мы всегда готовы пойти вам навстречу.

— Я очень рад, мистер Уотсон, шеф. Я...

— Бросьте официальности,— дружелюбно улыбаясь, сказал начальник полиции.— Пройдемте ко мне. Пусть этот малый подождет на улице, если, конечно, вы не хотите, чтобы мы снова запрятали его за решетку.— Он посмотрел на Солли и рассмеялся.

— Мне, шеф, нужно только узнать фамилию того полковника, который присутствовал здесь ночью при аресте этого солдата. И больше я вас беспокоить не стану.

Южное радушие и дружелюбие как рукой сняло.

— Какого полковника?

— Полковника, который был здесь в ту ночь, когда привели этого солдата.

В комнате сразу стало нестерпимо жарко, и с каждой минутой воздух становился все жарче, все удушливее.

— Зачем он вам нужен?

Уже стала совсем отчетливой мучительная болезненная дрожь в ногах; мускулы горели, как в огне, и вибрировали, выплясывая какой-то дикий танец, и все тело у Солли ослабело, обмякло.

— Мне нужно только узнать его фамилию, чтобы я мог его найти,— сказал лейтенант.— Я хочу с ним немного побеседовать.

— О чем вы хотите с ним беседовать?

— О кое-каких армейских делах,— сказал лейтенант.

— Какой это полковник? — спросил начальник полиции. Теперь уже он говорил резко, настороженно.— Не знаю, о каком полковнике вы толкуете.— Лицо его побагровело, оно пылало праведным, южным, «белым» гневом.

— Вот капрал Сондерс утверждает, что в ту ночь, когда его сюда привели, здесь был один армейский полковник.

— На вашем месте, лейтенант, я бы не стал придавать значения тому, что говорит этот малый. Он, верно, что-нибудь напутал. Ты что-то напутал, да?

Солли стоял, делая вид, будто он не понимает, что вопрос обращен к нему.

— Вот видите,— сказал начальник полиции лейтенанту.— Здесь, в управлении, у него уже не хватает нахальства повторять свою ложь нам, честным полицейским, в глаза. Вероятно, он был просто пьян — опился этого дрянного самогона, который черномазые гонят из нюхательного табака, мочи и стирального порошка. Вы не знаете этих черномазых так, как я, лейтенант.

— Что вы на это скажете, капрал? — спросил лейтенант.

— А что я могу сказать? Я говорил вам — он был здесь. Говорил, какой он с виду. Назвать его имя я не могу по той простой причине, что оно мне не известно.

— Послушай, малый, ты что же — стоишь вот тут передо мной и пытаешься уличить меня во лжи? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? — Начальник полиции подошел почти вплотную к Солли.

Солли попятился, но, не мигая, поглядел в голубые глаза седовласого кракера.

— Я знаю другое. Я знаю, что вы говорите не с мальчишкой. Вы говорите с мужчиной, которого вы не запугаете ни вашим белым лицом, ни вашими белыми волосами, ни голубыми глазами, ни вашим южным произношением.

Начальник полиции переменился в лице и воззрился на Солли, словно тот сбежал из сумасшедшего дома. После того как они так здорово проучили его месяц назад, этот малый все еще воображает себя мужчиной!

— Он лгун и сумасшедший, лейтенант, — сказал начальник полиции.— Я уверен, что вы не станете слушать его, раз я даю слово белого человека. Я совершенно уверен...

На минуту воцарилось молчание.

— Пошли, капрал.

— Похоже, он из нью-йоркских евреев, — громко произнес кто-то из полицейских. — Если он будет привязываться к полковнику, ему не-

долго оставаться офицером. Полковник — человек влиятельный и умеет своим влиянием пользоваться, а к тому же он очень недолюбливает евреев.

Солли рассмеялся, и Сэмюэлс вспыхнул.

Солли казалось, что они бесконечно долго выходили из канцелярии, и шли по коридору, и спускались по кирпичным ступенькам, и шагали по тротуару, и пересекали площадь. Оба молчали, и не оглядывались назад, и не глядели по сторонам — просто шли вперед, вытянувшись в струнку, расправив плечи, как положено солдатам, и только Солли Сондерс слегка прихрамывал, а лицо Роберта Сэмюэлса пылало. А над головой, поднимая чудовищный гвалт в этом маленьком, сонном городишке, проносились к югу стаи перелетных птиц.

Когда они подошли к автомобилю, Сэмюэлсу удалось взять себя в руки.

— А это было не напрасное испытание для нас с вами, как вы находите, капрал? Мы растревожили их немножко, даже если не достигли нашей главной цели.

Сэмюэлс был доволен собой, и Солли уловил в его голосе покровительственную нотку. А Солли и так был уже очень зол на лейтенанта за то, что тот притащил его в город и заставил побывать на месте своего унижения, и теперь он пришел в ярость. Вежливо, как полагается рядовому, он подождал, пока офицер сядет в машину, а затем прыгнул сам, включил зажигание, дал газ и помчался по улице, заставляя разлетаться во все стороны голубей, а иногда и кое-кого из кракеров. Промчавшись два квартала, он завернул за угол на двух колесах.

— Что с вами, Сондерс? В лагерь не сюда.

— Мне что-то помнится, будто Управление военной полиции города Эббенсвилля находится на этой улице, примерно в полутора милях отсюда.

— Нам не нужно в Управление военной полиции.

Солли внезапно свернул к тротуару и резко нажал на тормоза.

— А я подумал, что нам может посчастливиться, и мы встретим там полковника собственной персоной, и я смогу сразу показать его вам. Я хочу сказать, что мы могли бы, пожалуй, достигнуть нашей главной цели. Ведь в этом заключается наша главная цель, не так ли, лейтенант?

Загорелое лицо Сэмюэлса побледнело.

— У меня сейчас офицерское собрание в гарнизоне, капрал. Едем обратно.

Солли пристально на него поглядел.

— Приказывайте, лейтенант, сэр. Я — ваш покорный слуга.— Солли лихо развернул машину и покатил обратно. Это собрание должно быть очень, очень важным, если его созвали в субботу днем, когда больше половины офицеров уже получили отпуск до понедельника.

Глава 13

Выписавшись из госпиталя, Солли не появлялся в гарнизонном баре больше двух недель. Не появлялся, пока Фанни Мэй через Тейлора не попросила его прийти.

Она спросила его, как он себя чувствует и что он делал эти дни. Он сказал:

— Ничего, просто приходил в себя.— И улыбнулся вымученной кривой улыбкой.

— А теперь вы совсем поправились? — спросила она с тревогой, и ее большие глаза расширились; они были полны сочувствия к нему и

видели только его, его одного, и она показалась ему еще прелестнее, чем прежде, и при воспоминании о тех часах, которые он провел с ней, у него тоскливо и сладко заныло в груди. Но он сказал резко:

— Я здоров.

— Меня удивляло, почему вы не приходите больше в бар. Вас здесь никто не обидит. Мне хотелось поговорить с вами относительно вечера, который устраивает наша Национальная ассоциация в День благодарения.

Он сказал:

— Ну вот, я здесь. Говорите. — Деятельность этой Национальной ассоциации у нее предлог для всего на свете, подумалось ему.

Она обсуждала с ним предстоящий вечер, то и дело отрываясь, чтобы обслужить других клиентов, и Солли торчал возле ее стойки до самого закрытия и болтал с ней, но ни разу не поглядел прямо в ее прелестное взволнованное лицо. Наконец она спросила:

— Что случилось, Солли?

Он сказал:

— Ничего не случилось. Я уже вам говорил — все в порядке, я здоров.

— Я не это имела в виду. Вы уже больше недели, как выписались из госпиталя, но ни разу не заглянули сюда даже на минутку.

— Я был очень занят, — сказал он. — Очень, очень занят. — Голос у него уже не дрожал больше, но стоило ему взглянуть на нее, как его бросало в жар. Бросало в жар и становилось не по себе. И ему казалось, что теперь уже так будет всегда: он никогда не сможет смотреть на нее без того, чтобы не ощутить этот жар во всем теле. И желание.

— Может быть, вы сердитесь на меня за то, что я попросила вас тогда проводить меня домой? Может быть, вы считаете меня виновной в том, что произошло...

И казалось, этот сон
Уже приснился мне однажды...

— Не говорите глупостей, — сказал он. Этот бар был поистине самым шумным местом во всей армии, которая, несомненно, была самым шумным местом на всем земном шаре.

— Прошу прощения, барышня, я не хочу ни с кем ссориться, но вот уже пятнадцать минут, как я торчу здесь и жду, чтобы меня обслужили. Я понимаю, конечно, но...— Негр солдат постучал кулаком по стойке.

— Солли, я просто не знаю, что мне и думать. Я...

Много, много раз луна всходила...

— Отпустите ему полпорции, пока его не разорвало пополам от злости, — сказал Солли.

— Благодарю вас, генерал, сэр, большое спасибо,— сказал этот огромный солдатище и поклонился Солли.

И мы с тобой вдвоем навеки...

Когда она вернулась к Солли, уже пора было закрывать, и он проводил ее вместе с подружкой к ее «колымаге», как она называла свой автомобиль.

Фанни Мэй обернулась к нему: ее пухлые губы были чуть приоткрыты, глаза казались совсем черными и блестящими, и в них отражалась луна.

— Только одного вы никогда не должны допускать, Солли, — не позволяйте им вас ожесточать. Я хочу сказать, вы не должны ожесточаться против армии, против этой войны. Я немножко понимаю, что вы сейчас чувствуете. Все это ненавистно мне тоже... Но я не хочу, чтобы они заставили вас пасть духом. Нет, только не вас, Соломон

Сондерс. Вот ведь в чем дело. Вы слишком, слишком много можете дать людям.

Он подумал ядовито: «Я очень легко могу развеять этот романтический образ. Для этого мне стоит только сказать ей: я женат, детка... И лицо ее затуманится, как небо перед ненастьем, и мой прекрасный образ рассыплется в прах».

— Мы должны сражаться за свои права повсюду и везде,— горячо сказала она. — И в армии, и за ее пределами. Для нас нет другого пути.

— Я сражаюсь только за себя, малютка, только за себя и ни за кого больше, отныне и присно и во веки веков. Я теперь самый воинственный из всех приспособленцев, каких вы когда-либо видели на протяжении всей вашей очаровательной жизни. — Потом он добавил уже другим тоном. — Видите ли, в чем дело, Фанни Мэй, быть может, я просто вдолбил себе это в голову — заставил себя поверить в высокие цели этой армии и войны, — но теперь я знаю, что вся эта проклятая штука такая же фальшивка, как девятидолларовая бумажка. И не нужно говорить со мной об ожесточении души.

— Я понимаю... Я понимаю, любимый, — сказала она. Она совершенно забыла, что Салли Энн стоит рядом.

Он любил ее — напрасно стал бы он это отрицать. Любил больше всего на свете. Он сказал:

— Фанни Мэй...

Она придвинулась к нему, взяла его за руку.

— Мой дорогой, я тоже ненавижу все это. Все, что ненавистно тебе, ненавистно и мне! — Внезапно она закинула руки ему за шею и быстро, горячо поцеловала его в губы. — Я никогда не покину тебя, клянусь! — прошептала она. — Никогда, никогда! Скорее умру.

Он чувствовал себя подлой скотиной, и это было ужасно. Он почти зашипел на нее:

— Не давай никаких обетов! Ты не обязана мне ничем, и я ничем не обязан тебе. Я чувствую себя превосходно. У меня просто нет никаких иллюзий. Они мне не нужны. Я счастливее без них.

Она сказала:

— Это единственный обет, достойный того, чтобы его давать и хранить. Ничто не имеет для меня значения, кроме тебя. Если даже эта война обманет и меня и тебя, ты просто вернешься назад, ко мне, и мы будем строить жизнь вместе.

■

В эту ночь он лежал на своей койке, и думал о Фанни Мэй и о Милли, и рисовал себе их лица, и видел их перед собой, и видел их где-то в отдалении, и обнимал их, и ему казалось, что они совсем близко, рядом, и он прислушивался к их голосам. Как, черт возьми, может он любить двух женщин? Что для него Фанни Мэй, если вдуматься? Если судить здраво? Красивая девушка, которую он увидел и от которой ему захотелось кое-чего добиться. Вот и все. И он добился и заплатил за это с лихвой. Значит, хватит идеализировать хорошенькую провинциальную девчонку. Но он любил ее, как никогда не любил ни одной женщины на свете. Даже Милли Сондерс. Он не мог больше себя обманывать. Он любил ее. И его мысли все упорнее и упорнее возвращались к тому, чтобы написать Милли, рассказать ей все про Фанни Мэй и попросить ее расторгнуть их брак, на любых условиях, какие она предложит. Милли — разумная женщина. Но для этого он должен сначала обсудить все это с Фанни Мэй, а он не находил в себе мужества признаться ей в том, что он женат. Он обыкновенный прелюбодей и, конечно, не достоин ни

одной из этих прекрасных, сильных, умных женщин — ни Фанни Мэй, ни Милли. Завтра вечером он напишет Милли и расскажет ей про Фанни Мэй, а потом пойдет в бар и расскажет Фанни Мэй про Милли. Он твердо решил сделать это завтра. Слишком долго он откладывал.

На следующий день в полдень пришло письмо из дома. Он поднялся по лестнице к себе в казарму и присел на койку. Милли всегда писала совершенно так же, как разговаривала. Он боялся читать ее письмо и распечатал конверт не сразу.

«Дорогой Солли!

Я так тоскую по тебе эти дни, и чем бы я ни старалась заполнить жизнь, мне все равно не хватает тебя. Я по-прежнему работаю в Красном Кресте и в противовоздушной обороне и хожу в войсковой клуб. Только ничего не помогает».

Кровь бросилась ему в лицо, он оторвался от письма и поглядел по сторонам.

«Вероятно, это потому, что ты — вся моя жизнь, и, когда тебя нет со мной, ничего нет, все пусто. По-видимому, я просто не умею держать голову высоко и улыбаться, как другие жены, которых я знаю. Некоторые из моих подруг ходят танцевать и встречаются с мужчинами, но меня все это нисколько не привлекает. Я изо всех сил стараюсь быть мужественной и сильной — такой, какой ты хотел бы меня видеть, но порой слезы просто льются у меня из глаз, и я сама не знаю почему. Ах, если б ты был здесь, чтобы осушить их поцелуями, мой дорогой! Дома меня никто не понимает. Все говорят: развлекайся, не сиди одна как перст. Не будь такой серьезной. Молодости не вернешь. Но как я могу развлекаться без тебя, любимый? Только твоя мать, мне кажется, понимает меня».

Он смотрел на письмо и горько улыбался. Твоя семья права. Тебе бы надо выбрать себе хорошего, полноценного мужчину. Тогда я не чувствовал бы себя таким подлецом.

«На днях я говорила о тебе со своим начальником. Они могут взять тебя в нашу фирму после того, как ты окончишь юридический факультет. Я рассказала им, какая у тебя голова на плечах».

Нашу фирму! Она, кажется, уже воображает себя совладелицей.

«Куда бы я ни пошла, мой дорогой, я думаю о тебе. Только о тебе все мои помыслы».

Все равно, сказал он себе зло, он не допустит, чтобы это письмо могло что-нибудь изменить. Письмо — это только письмо, и ничего больше. Оно ничего не меняет ни в нем, ни в мире, и слова, написанные в нем, не могут вычеркнуть Фанни Мэй из его жизни. Больше он не будет откладывать. Сегодня вечером он напишет Милли про Фанни Мэй, и она должна будет отнестись к этому разумно. У нее есть ее благовоспитанные мамаша с папашей, проживающие в Краун-Хейтсе, и все эти светские цветные мальчики, которые за ней ухаживают. Она красива, обаятельна и быстро выйдет замуж снова. Ей стоит только поманить.

«Я так люблю тебя, что порой сердце у меня разрывается от одиночества. Никогда, никогда никто не заменит мне тебя, мой дорогой, даже если война продлится сто лет».

— Ты ведь даже не знаешь, каким стал этот человек, которому ты пишешь,— вслух подумал он.— Я же самый низкий подлец. Как, черт возьми, может меня кто-нибудь любить?

Она еще никогда не писала ему таких писем. Вот ведь, черт побери! Словно она каким-то образом угадала все, что произошло у него с Фанни Мэй, и старается забежать вперед, предотвратить удар. Словно там, в Нью-Йорке, на Уолл-стрите, сидя в своей лилейно-белой конторе юридической фирмы, она учуяла всю эту историю, которая произошла с ним здесь.

Не дочитав письма до конца, он отложил его в сторону и встал с койки. Он не нужен ей. Ее семейка — это снобы, они будут рады освободиться от него. В конце концов, она принадлежит к одному из «первых» семейств в Бруклине, хотя и цветных, конечно. И она гордится своей светлой кожей и буржуазным происхождением. Ее дед мальчишкой приехал из Вирджинии и начал работать на Уолл-стрите у одного из биржевых воротил — метла, шварба и ведерко были его орудием труда. Хозяин благоволил к нему и великодушно давал дельные советы; он помог ему разумно поместить свои сбережения, и дедушка мало-помалу сделался человеком довольно состоятельным — для черномазого. После этого он открыл свое собственное дело — стал поставщиком провизии для богатых белых людей. В семье часто любили вспоминать, какой великой похвалы удостоился дедушка от своего уолл-стритского босса (эти слова стали своего рода семейной реликвией): «Найл, мальчик, ты самый белый из всех черных, каких я когда-либо встречал. Если бы ты родился белым, ты стал бы одной из этих акул, вроде Вандербильда или Моргана».

Это было одно из *первых* семейств, поселившихся в фешенебельном Краун-Хейтсе на Президент-стрит еще до того, как великие белые люди начали бежать отсюда, как от чумы. Дедушка работал, как проклятый, а бабушка задавала тон. Молодые люди из лучших семей — сливки негритянского общества — были к услугам Милли, но ее выбор пал на Солли, с которым она была знакома всего три месяца. Она встретила его на собрании городской лиги. Встретила юношу Соломона Сондерса, не имевшего ни гроша за душой, не обладавшего ни связями, ни родословной. Он даже не был коренным нью-йоркцем. Ну и прекрасно, теперь она может вернуться в свой круг, к своим очаровательным светлокожим цветным мальчикам.

Солли вспомнился тот воскресный вечер, когда он — совсем как в старомодных романах из ультравеликосветской жизни — приехал представляться ее родителям. Они взирали на него сверху вниз, с высоты своего севернобуржуазного величия, взирали подозрительно и высокомерно. Но бабушке он сразу пришелся по душе. Она сказала:

«Он совсем черный, но он красив. И чем-то напоминает вашего деда в молодости. Я чувствую, что этот малый гораздо большего стоит, чем все ваши никчемушние светлокожие бездельники-студенты, вместе взятые».

Он рассмеялся про себя, вспоминая. Когда он ухаживал за Милли и ему хотелось немножко ее позлить, немножко сбить с нее эту царственную спесь, он принимался дразнить ее, подшучивая над ее семейством.

Ее семья была просто неподражаема. Отец уже не был таким хватким, предприимчивым дельцом, как дед. Он управлял фирмой, будучи уже не владельцем, а пайщиком. Его энергичная, очаровательная супруга была честолюбивая светская карьеристка, хотя никому не было ясно, к какой карьере она стремится. Брат Милли считал отцовское предприятие вульгарным. Он носил элегантное имя Родерик, сильно заикался и называл дедушку «папа́».

Временами Солли казалось просто невероятным, что семейство Белфорд действительно существует на свете. Словно он прочел о них в каком-то дешевом издании старомодного романа.

Солли снова опустился на койку в залитой солнцем казарме. Одного он все-таки добился от Милли — заставил ее уйти от семьи и поселиться отдельно. И сейчас она живет в *его* квартире, вместе с *его* матерью. Ну, а теперь она может вернуться к своим. И все будут только счастливы. Солли снова взялся за письмо.

«У меня есть хорошая новость для тебя, любимый. Я жду ребенка».

Не веря своим глазам, он впился взглядом в написанные строчки, чувствуя, как у него все холодеет внутри. Это, конечно, ложная трево-

га — у женщин постоянно бывают ложные тревоги. Холодок расползался веерообразно у него по спине и набегал снова, волна за волной, волна за волной, волна за волной. Кровь отлила от сердца, в ушах зашумело.

«Доктор говорит, что сомнений нет. Я, конечно, знала об этом уже давно, но не хотела тебя тревожить. И без того слишком много у тебя забот...»

Он не стал читать дальше. Сердце готово было выпрыгнуть у него из груди. Он сунул письмо под подушку, встал, вышел из казармы, спустился по лестнице и зашагал под проливным дождем. Он скоро будет отцом. Дождь лил, но он его не замечал. Он будет отцом... Это происходило с ним впервые в жизни.

■

Вечер в Эббенсвилле в День благодарения удался на славу. В нем приняли участие около шестидесяти солдат и тридцать молодых бесстрашных женщин. Обед был сервирован в негритянском банкетном зале «Храм Пифии». Это был обильный обед с традиционной индейкой со всеми южными приправами — с глазированными бататами, и картофельным салатом, и зеленым горошком, и клюквенным соусом, а потом было мороженое, и кекс, и пунш, и множество прочих угощений, а после обеда начались танцы под духовой гарнизонный оркестр, и Солли за весь вечер едва-едва удалось перекинуться словом с Фанни Мэй. Он потанцевал с ней один раз в самом начале, а потом танцевал то с одной местной барышней, то с другой, а Фанни Мэй несколько раз проносилась мимо него с каким-нибудь солдатом, и порой он ловил на себе ее взгляд и читал в ее глазах какой-то невысказанный вопрос, на который у него не было ответа. Ее взгляд на мгновение задерживался на нем, а затем устремлялся куда-то вдаль, в пространство. А Книжный Червяк Тейлор веселился напропалую.

«В Нью-Йорке сейчас тоже празднуют День благодарения,— думал Солли,— и во всех магазинах уже началась предпраздничная лихорадка, и все витрины иллюминированы и разукрашены, и везде неизменный Санта Клаус, и интересно бы знать, что делает Милли в этот вечер, в этот первый вечер Дня благодарения после их свадьбы?» Ему казалось, что она отделена от него миллионами миль и миллионами лет, что она недостижима для него во времени и пространстве. Сейчас ему было даже трудно вызвать в своем усталом воображении ее образ. Образ прелестной, энергичной, соблазнительной Милли Сондерс с ребенком в животе. С его ребенком в животе.

— У вас какой-то потерянный вид,— услышал Солли голос Фанни Мэй у себя за спиной.— Вам невесело? А как вы думаете,— с насильственной улыбкой продолжала она,— зачем я все это затеяла и приложила столько стараний? Только для того, в конце-то концов, чтобы немножко вас развлечь.— Теперь она уже снова была в его объятиях и плавно, легко двигалась вместе с ним в ритме танца.

«Я всегда буду верен тебе, малютка»,—пел мужской голос, подражая Билли Экстейну. Именно так и представлял себе Солли свой танец с ней, когда думал об этом. Знал, что в его объятиях она будет невесомой, как нежный летний ветерок, и что ему станет так легко на душе, словно он опять дома, словно он всю жизнь живет в этом южном городишке, и вместе с тем это будет так волнующе, так сладостно-тревожно, и он будет ощущать ее теплое дыхание на своей шее, и она будет напоминать ему Милли. И она напоминала ему Милли, танцуя с ним, мучительно напоминала... Милли Сондерс, его жену, с его ребенком в животе, за сотни и сотни миль отсюда, с его ребенком в раздавшемся животе... Мил-

ли Сондерс. И в эту минуту Фанни Мэй была больше похожа на Милли, чем сама Милли.

Вернись, вернись, красотка,
И подари любовь мне еще раз...

Он любит Милли Белфорд-Сондерс, и никого другого, никого другого! Но Фанни Мэй была здесь, сейчас, она была горькой, нежной и сладкой реальностью, и эта минута связывала его с ней глубочайшими узами. Певец импровизировал свои слова на знакомую мелодию.

— Столько ухищрений,— поддразнивая его, говорила Фанни Мэй,— и все только для того, чтобы заставить вас потанцевать со мной. Только для того, чтобы снова иметь возможность обнимать вас. Какой стыд, грех какой.

А этот певец и правда поет совсем как Экстейн.

— Вы действительно наделали себе массу хлопот,— сказал он, как ему казалось, очень непринужденно.— Не говоря уже о колоссальных затратах. — От ее близости его бросало в жар. И было неловко.

— Но почему вы не веселитесь?— почти сердито спросила она, глядя в его потемневшие глаза.

Она так уютно уместилась в его объятиях, словно была создана для них, но, черт возьми, все это было совсем не так.

— Я веселюсь. Почему вы думаете, что мне невесело? Почему бы мне не веселиться? Я танцую с самой прелестной девушкой из всего штата Джорджия. Ну как? Хорошо это у меня получается?— «А что? Кажется, и в самом деле получается неплохо?»

Вернись домой, малютка,
Мне так не хватает тебя.

— Из штата Джорджия, но не из штата Нью-Йорк? Я угадала?

И теперь он должен сказать ей, что он женат. Теперь, когда она сама почти задала этот вопрос. Но он чувствовал, что не может испортить ей вечер. Не так, не во время танца. Он скажет ей сегодня же, когда вечер придет к концу. И тогда придет к концу и все, что между ними начиналось. Да ничего в сущности между ними еще и не началось. И никогда не может начаться.

— Штат Нью-Йорк велик, как известно. Там уйма всякого народа.

— Да, я что-то слышала,— сказала она,— но, будучи глупенькой, наивной провинциалкой, просто не в состоянии себе этого представить.

Оркестр сменил «Ненастный понедельник» на «Доброй ночи, любовь моя», и темп убыстрился, а когда он заиграл «Дом мой, дом родной», темп стал еще быстрее. Фанни Мэй сказала, подняв на него глаза:

— Джо Тейлор просил разрешения проводить меня домой.

— Очень мило с его стороны,— сказал Солли. Что еще мог он сказать?— Джозеф Тейлор галантен, как принц. Отличный малый. Я это вполне серьезно, между прочим.

— А я сказала ему, что *вы* будете меня провожать.

— А это и того лучше,— небрежно промолвил Солли.— Но советую вам быть начеку с этим малым, Соломоном Сондерсом. Он далеко не такой добродетельный, как Джозеф Тейлор.

— Я думала, что, может быть, нам с вами захочется о чем-нибудь поговорить... Но, может быть, это не так.

— Это так,— прошептал он.— Это действительно так.

Но она поняла его по-другому. Ее лицо вспыхнуло, а глаза засияли.

Прохладный ночной воздух овевал их разгоряченные тела, когда она, тесно прижавшись к нему, вела его к своему автомобилю. Отворив дверцу, она обернулась и спросила:

— Может быть, вы поведете машину?

— Ну что ж!

Она дала ему ключ, и он сел за баранку, а она села рядом, совсем близко, и с невинной и счастливой улыбкой прижалась щекой к его горячему плечу. Но его красивое лицо было мрачно, и она протянула руку и погладила его по щеке. Она объяснила ему, как нужно ехать, и всю дорогу они молчали, а когда подъехали к ее дому, она сказала:

— Посидим немного на веранде? Сегодня полнолунье.

Он сказал:

— Я люблю, когда полнолунье.

И они пошли через сад, держась за руки, а полная луна, желтая и яркая, отбрасывала мягкие тени на дорожку и на цветочные клумбы по обеим сторонам от нее, и Солли все время чувствовал рядом стройное, гибкое тело Фанни Мэй. Они поднялись по ступенькам и сели на скамью, и она повернулась к нему и прошептала:

— Солли! Солли! — и обвила руками его шею, и его руки потянулись к ней и обхватили ее талию, и она опять лежала в его объятиях и, казалось, была создана для них, и на мгновение он забыл все, когда его губы встретились с ее губами. И ее губы были такими же нежными и такими же твердыми, какими они запомнились ему, и он чувствовал ее теплое дыхание на своей щеке и ее трепещущую грудь возле своей груди, и, когда он оторвался от нее, чтобы перевести дыхание, она спросила:

— Что с тобой, Солли?

Ее бархатисто-певучий акцент действовал ему на нервы.

— Уже поздно, — сказал он. — Невзирая ни на какие Дни благодарения, у нас утром будет побудка. Война за демократию, ничего не поделаешь. Война на два фронта до победы.

— Я понимаю,— сказала она тихо. — Я понимаю.— И она снова обвила руками его шею, но он решительно и твердо расцепил ее руки и положил их ей на колени.

— Ну что случилось, Солли? Что я сделала? Ведь не можешь же ты ревновать меня к Джо Тейлору?..

Он задумался на минуту, повторяя про себя этот вопрос, прикидывая так и этак. В какой-то мере он, пожалуй, ревновал ее к Червяку Тейлору.

— О да, я безумно ревную вас к нашему доброму Джозефу Тейлору, по прозванию Книжный Червяк, да, конечно я ревную.

Книжный Червяк имел одно огромное преимущество — он мог быть абсолютно честен с Фанни Мэй, а вот его отношение к ней все было построено на лжи, недоговоренности и недомолвках.

— Может быть,— сказала она,— ты все еще сердишься на меня за то, что я увезла тебя тогда ночью в город и ты попал в полицию? Может быть, в этом дело? — Помолчав, она добавила: — Все девушки в клубе твердили мне сегодня весь вечер о том, какой ты красивый, словно я сама не знаю, что ты самый красивый на свете, и самый добрый, и самый умный, и самый сердечный, и самый глубокий и тонкий, и я самая счастливая женщина на земле... — Она задыхалась от волнения. — Не вини меня, Солли! Прошу тебя, дорогой, прошу тебя, не вини меня за ту ночь. Мне так жаль, так жаль...

Он сказал сердито:

— Я не виню тебя!

Она снова обхватила его руками за шею.

— Спасибо, милый!

Он мерзавец, сукин сын!

— Спасибо, любимый! Я понимаю, что́ ты чувствуешь, и я ненавижу их так же, как ты! Ненавижу всю эту свору! Все и всех ненавижу! — Она снова поцеловала его в губы.— Ненавижу! Ненавижу!

Он расцепил ее руки, обвивавшие его шею.

— Солли, что с то...

— Я женат,— услышал он свой голос и не узнал его. В эту минуту он ненавидел себя сильнее, чем когда-либо в жизни. Сильнее даже, чем армию. От ужасного чувства стыда и вины голова у него раскалывалась на части, и противно дрожало под ложечкой.

Она не проронила ни слова, и он не решался взглянуть на нее. Существовали тысячи других, более легких способов сообщить ей это, но после того как он ходил вокруг да около, собирался сказать и не решался, после всех умолчаний и недомолвок он в конце концов избрал наиболее прямой путь — прямой и, быть может, наиболее жестокий и грубый, а быть может, и самый милосердный. Он был садист, и мазохист, и сукин сын. Ему показалось, что она плачет. Он попытался обнять ее. Ему хотелось ее утешить, но она спокойно отстранилась от него. Просунув пальцы в темную гущу ее волос, он старался повернуть к себе ее голову.

— Нет,— сказала она.— Этого не нужно, капрал Сондерс.

— Фанни Мэй, я...

— Пожалуйста, не огорчайтесь и не мучьте себя раскаянием из-за бедной провинциальной простушки,— язвительно сказала она.— Я увидела вас, вы понравились мне, и мне показалось, что и я нравлюсь вам. Я сама все это затеяла, а вы не прилагали ни малейших усилий.— В голосе ее звучали горечь и гнев, и каждое слово жгло его, как удар бича.— Если и можно кого-то винить, то только одну меня: я была слишком... слишком... слишком предприимчива... Воспитанные девушки не должны быть так смелы. Еще никогда в жизни не вела я себя так, в этом я могу вас заверить. Когда я встретила вас, мне показалось, что весь мой жизненный путь я совершила только для того, чтобы найти вас. Это было глупое, сентиментальное чувство. Прежде я никогда не верила в судьбу, но тут почему-то стала твердить себе: «Солли Сондерс — вот, оказывается, зачем должна я была взяться за эту работу в гарнизонном баре!» Я говорила себе: «Это моя судьба». Теперь я вижу, как я ошибалась, как я...— Голос ее оборвался.

Он сдавленно крикнул:

— Перестаньте! Фанни Мэй, я же не могу, черт побери!

— Ведь, по правде-то говоря, вы даже пытались меня образумить, но я думала, что вы просто чрезмерно застенчивы или, быть может, слишком преданы Джо Тейлору, и от этого я любила вас еще сильнее. Ну, вы знаете, как это бывает. А для вас все это время я была просто глупой, наивной провинциальной девчонкой...— Горечь душила ее.— Мне бы следовало знать, что красивый, галантный, обходительный молодой джентльмен из Нью-Йорка никак не может быть столь необычайно скромен...— Горло у нее снова сдавило, и она с трудом перевела дыхание.— Почему вы не сказали мне, Солли? Объясните, почему вы не сказали мне? Я не понимаю, как такой тонкий, деликатный человек, как вы, может быть так жесток, так бессердечен? Или просто я для вас существо низшего разряда, не человек, а букашка? В конце концов, я не так уж беспредельно наивна. Я знаю, как это бывает у мужчин. Но как могла я... как могла я так ошибиться в вас? Вы ведь не такой, как все. У вас есть душа...

— Я хотел сказать вам, Фанни Мэй. Я...

— Вы любите свою жену, Солли?

Любит ли он свою жену? Теперь он даже не мог ответить себе на этот вопрос.

— Я люблю мою жену. Я очень люблю мою жену.

Все происходящее стало вдруг казаться ему каким-то нереальным. Как это могло случиться, что он так запутался, оказался в связи с другой женщиной? Прелестное лицо Милли вдруг воскресло перед ним, и

ему почудилось, что он слышит ее нежный голос, держит ее в объятиях, перечитывает ее письма. Три месяца назад он никогда бы не поверил, что может почувствовать влечение к другой женщине всего через несколько недель после свадьбы. Когда они с Милли поцеловались на вокзале, ему казалось, что этот поцелуй будет жить в нем до тех пор, пока они не соединятся снова — даже если эта разлука продлится всю жизнь,— потому что это была любовь. Теперь же ему казалось, что с того утра, когда они прощались, прошли уже сотни лет. А Фанни Мэй была живая, настоящая, и она сидела рядом с ним и тихонько плакала, и его губы еще хранили прикосновение ее нежных, пухлых губ. Как же это могло случиться? И удивительнее всего было то, что он не хотел бы, чтобы той ночи, которую он провел с Фанни Мэй, никогда не было,— он не мог в душе себе в этом не признаться. Он не мог заставить себя желать, чтобы Фанни Мэй никогда не встретилась на его пути.

— Почему, Солли? Почему? Неужели я была для вас просто еще одной дурочкой, с которой вам захотелось поиграть? Неужели это правда, Солли? Неужели я для вас ничто?

Солли молчал. Как иначе мог он объяснить ей то, что случилось?

— Неужели это правда, Солли?

Его голос опять показался ему чужим.

— Вы — изумительный человек, Фанни Мэй. И необычайная, самая очаровательная девушка, какую я когда-либо встречал... А я был очень одинок здесь, вдали от Нью-Йорка, от жены, от матери. Быть может, вы не знаете, что такое одиночество. В армии человек страшно одинок. А у вас столько тепла и дружелюбия, и вы так красивы и так по-человечески привлекательны, и у меня просто не хватало мужества взглянуть в лицо тому, что надвигалось. А потом внезапно мы оказались связанными друг с другом так, словно никого, кроме нас, в мире не существовало.

— Но почему было попросту не сказать мне, что вы женаты?

— Мне кажется, это тоже потому, что вы так напоминали мне ее.

То, что произошло, поразило его своей неожиданностью: ее рука внезапно поднялась и резко ударила его по щеке, и звук пощечины нарушил глубокую немую тишину праздничной лунной ночи, и он почувствовал боль, и звон в голове, и шум в ушах и продолжал сидеть неподвижно, стараясь пробудить в себе гнев и справедливое негодование, но ничего не получалось, он не чувствовал ни того, ни другого, и, прежде чем он успел прийти в себя, она ударила его снова, и ему показалось, что он совсем оглох.

А она сжала его лицо в своих ладонях.

— Я люблю тебя, Солли. Мне все равно, я люблю тебя! Я люблю тебя! Я ничего не могу с этим поделать. Ты — подлый, но я люблю тебя! Ты неверный, гадкий человек, я ненавижу тебя, но я тебя люблю! — И она целовала его рот, и глаза, и нос, и щеки, и снова рот, и руки ее снова оплели его шею, и он снова держал ее в объятиях, для которых она и была создана, но только этого никогда, никогда не могло больше быть. И он целовал ее соленые слезы, ее сладкие слезы, и он знал, что любит ее, любит ее, и пусть все идет прахом, он любит ее! И этот звон в ушах был для него сладок, и ему хотелось, чтобы он не прекращался вечно. А затем она отстранилась от него.— Ну хорошо,— сказала она.— Все кончено, мой дорогой. Мой прекрасный Дон-Жуан. Но в сущности ничего ведь и не начиналось... Для вас не начиналось,не так ли? Вы просто воспользовались благоприятным моментом.

Она встала, и он встал тоже, и полная луна заливала своим золотисто-желтым светом веранду, и сверчки лезли из кожи вон, стрекоча, и прохладный ветерок овеял его разгоряченное лицо — застывшую маску стыда и страдания. И слова ее были похожи на плевки.

— Я презираю вас! Я проклинаю день, когда я вас увидела! Я вас не знаю и знать не хочу! Знать не хочу! Вы обманщик. Я теперь это ясно вижу.

Он отчасти был даже рад, что она ударила его. Это принесло ему облегчение — именно то, что она ударила его не один раз, не просто в исступлении, не помня себя, а дважды, и очень сильно, намеренно, со злобой. И когда она кричала, что ненавидит его, это тоже доставляло ему противоестественное чувство удовлетворения. И он подумал: «Ты никогда по-настоящему не любила меня. Тебе просто хотелось завладеть мной для самовозвеличения, для удовольствия, завладеть, присвоить себе, и как только ты увидела, что не можешь превратить меня в свою собственность, тебе захотелось ударить меня, уничтожить. Разве это любовь?» Ему хотелось сказать: «Обманщик? Рыбак рыбака видит издалека». Он сказал:

— Ну что ж, ударьте меня еще раз. Вы не можете причинить мне боль. Прошу вас, развлекайтесь.

Каждое его слово ранило ее все глубже, и он понимал это и не хотел обижать ее, но уже не мог остановиться, слова слетали с языка против его воли. Она подарила ему свою любовь, и он принял ее и надругался над нею.

— Я не могу слышать ваш голос, он мне мерзок,— громким шепотом произнесла она.— Надеюсь, что ваше имя никогда больше не осквернит моего слуха.— Ее черные глаза влажно блестели в холодном осеннем свете луны.

— Спокойной ночи, Фанни Мэй.

Ему хотелось плакать, но он не мог проявить недостойную мужчины слабость. Он протянул ей на прощанье руку, но она отвернулась, вошла в дом и с шумом захлопнула дверь.

Глава 14

Почти каждый день приходили письма от Милли, но он не мог изгнать воспоминание о Фанни Мэй, оно проникло в него глубоко-глубоко, в самое нутро. У себя в казарме, сидя на койке, он читал письмо от Милли, где она описывала свою работу в Красном Кресте и в войсковом клубе или рассказывала, как протекает ее беременность, и ловил себя на том, что думает о Фанни Мэй, словно Фанни Мэй была Милли или Милли — Фанни Мэй. И дни проходили, складываясь в недели, но время не исцеляло. Девушка из гарнизонного бара заполняла собой все уголки его сознания. Он думал о ней, и теплая волна обдавала его с головы до пят. И порой от этого жаркого томления ему становилось не по себе, и возникало чувство вины. Вспоминались какие-то мелочи, которых в свое время он как будто даже не замечал. Вспомнился изгиб ее пухлого рта, ее чуть кривая усмешка; вспомнилось, как оживлялось ее лицо, когда она говорила, и как порой потухал блеск ее темно-карих глаз, и они становились глубокими-глубокими и почти черными; вспомнилось, как взлетали вверх ее широкие густые брови, когда она сердилась или была озабочена; вспомнилась ее походка — такая стремительная, словно она всегда спешила куда-то по очень важному делу. И он помнил все, что она говорила о Национальной ассоциации и о борьбе на два фронта до победы. Теперь война имела для него только одну положительную сторону — на какой-то сладчайший и краткий миг она свела их вместе. Но, думая о ней, острее всего он ощущал пламя, сжигавшее ее изнутри и озарявшее ее своим мерцанием. Фанни Мэй никогда не могла стоять в стороне и равнодушно наблюдать за тем, что творится в мире. И она преображала все, к чему бы ни прикоснулась.

«Ты мое alter ego*, Фанни Мэй. Ты — это я, каким я хотел бы быть, но никогда не был. И никогда не буду. *Ты* — мое второе, более возвышенное «я». Не презирай же меня, молю». И тут же он твердил себе, что ему наплевать.

Как-то вечером, когда он писал письмо Милли, в канцелярию зашел его Великий Белый Брат. После знаменательной поездки в город они, помимо чисто служебных дел, почти не общались друг с другом. Минут пять они поговорили о том, о сем, а в сущности ни о чем: оба были смущены и чувствовали себя неловко. Впрочем, Солли был больше раздосадован, чем смущен. Ему хотелось вернуться к своему письму. Им совершенно не о чем было говорить, они теперь уже знали друг друга. И у них уже не было иллюзий.

— Потрясающие вести, Сондерс: мы гоним неприятеля на всех фронтах.

— Вот как! — уронил Солли.

Сэмюэлс сказал:

— Я просто не могу дождаться, когда нас наконец отправят туда! Разделаться с проклятыми нацистскими убийцами!

Солли сказал:

— Я тоже.

Он услышал на лестнице шаги капитана, а затем его дискантовый тенор, его интеллигентно-южный говор:

— Я вижу, у нас тут небольшое дружеское чаепитие? Непрошеному гостю разрешат на минутку присесть к столу? Все вы, нью-йоркцы, крепко держитесь друг за друга. Такому бедному захудалому провинциалу, как я, конечно, не следовало бы лезть в вашу компанию. Я не сомневаюсь, что вы понимаете друг друга с полуслова.

И лейтенант и Сондерс — оба встали. Лейтенант сказал:

— Заходите, заходите, капитан.

Лицо его пылало, а капитан расплывался в улыбке. Капитан сказал:

— Очень вам признателен.— Затем повернулся к Сондерсу: — Вам известно, как пишется моя фамилия, Сондерс?

— Да, сэр. Я полагаю, что известно, сэр.

Капитан полез в карман и вытащил какую-то бумагу.

— Почему же вы хоть раз в жизни не потрудитесь написать правильно? Моя фамилия Резерфорд. РЕ-ЗЕР-ФОРД. А не Ретерфорд, как вы написали в этом приказе.— Он швырнул бумагу на стол.

— Извините, сэр. Сегодня была такая гонка. Я спешил составить ведомость на выплату жалованья.

— Извинить? — Голос капитана уже явственно дрожал. Казалось, он сознательно старается себя распалить.— Извинить? В этой роте все только и делают, что извиняются. В конце концов, я хотел бы знать: в состоянии вы исполнять вашу работу или нет? Может быть, она слишком сложна для вас? Или, может быть, вам следует больше внимания уделять работе и меньше тратить усилий на то, чтобы сеять недовольство среди солдат и ездить в город и устраивать там дебоши?

— Вы ошибаетесь, капитан, это не я...

В канцелярии было довольно тесно, но длинноногий Резерфорд шагал из угла в угол, останавливаясь посредине комнаты, чтобы подтянуть штаны и бросить взгляд на блестящие полоски у себя на плечах.

— Не думаю, чтобы я ошибался, Сондерс. Отнюдь этого не думаю. Я наблюдаю за вами с первой минуты вашего появления в роте. Вы небрежно выполняли свои обязанности и сеяли смуту. Вот к чему сводится ваша деятельность в армии. Я тысячу раз давал вам возможность показать себя с хорошей стороны, но все мои старания шли прахом.

---

* Второе «я» (*лат.*).

Я относился к вам по-отечески, но теперь намерен прибегнуть к дисциплинарным взысканиям. Извольте отправиться в казарму и быть готовым к маршу с полной полевой выкладкой, к пятимильному маршу. И не завтра, а сейчас. Попрошу быть готовым через пять минут. А лейтенант поедет рядом с вами на своем «джипе» и будет считать мили, чтобы вы не могли сплутовать. Я приказываю вам, лейтенант Сэмюэлс, отправиться вместе с ним по Миллер-Филд-роуд. Я приказываю вам проехать на вашем «джипе» пять миль, следуя за капралом, после чего повернуть обратно. А по возвращении вы, Сондерс, правильно напишете мою фамилию пятьсот раз и передадите эту бумагу лейтенанту, а он передаст мне.

Лицо лейтенанта стало пунцовым, как спелый гранат. И Солли тоже кровь бросилась в голову, и он чувствовал, как она пульсирует у него под кожей. Но он должен держать себя в руках. Надо стиснуть зубы и молчать, иначе он совсем потеряет контроль над собой, а именно этого и добивается Резерфорд. Нельзя терять голову. Он обязан владеть собой. Капитан спит и видит, как бы составить рапорт на капрала Сондерса и подвести его под трибунал, обвинив в нарушении военной дисциплины. Он, не мигая, смотрел на капитана, и с минуту они стояли молча, глядя друг другу в глаза, а потом капитан отвел взгляд и посмотрел на Сэмюэлса и снова взглянул на Солли, улыбнулся и повернулся к Сэмюэлсу:

— Между прочим, лейтенант, как я вам уже говорил, этот полковник из военной полиции — мой знакомый. Я играю с ним в гольф. Так что, если вы захотите познакомиться с ним, я буду счастлив представить ему вас.

Воцарившаяся в комнате тишина молотом стучала в ушах. На лестнице раздались шаги Червяка, он топал своими толстыми ножищами по ступенькам, распевая во все горло. Потом остановился на площадке и крикнул:

— Выползай из своей вонючей канцелярии, Соломон Сондерс! Ты слишком долго гнешь спину на «резерфордовской плантации». Рабство отменено, черт подери...

Внезапно весь второй этаж казармы затаил дыхание. И все заметили это, кроме Червяка Тейлора.

Червяк уже стоял почти у самой двери.

— Черт побери, Солли, даже рабы не лезут так из кожи вон, когда хозяин Чарли их не видит. А барышня из гарнизонного бара то и дело справляется о тебе — как, дескать, ты поживаешь. Она...

Он не закончил своей фразы. Ее оборвал голос Резерфорда:

— Зайдите сюда, Тейлор, и расскажите нам пообстоятельнее про эту плантацию.

Червяк остановился на пороге, стараясь оценить положение. Рот его был раскрыт, но слова застряли в горле.

Резерфорд, единственный из присутствующих, оценил юмор положения. По его костлявому лицу проползла усмешка, он сказал:

— Входите, Тейлор, и сообщите нам все, что вам по этому поводу известно.

Червяк сумел наконец выдавить из себя:

— Нет, сэр, я не то чтобы... Я ничего такого не имел в виду... Я хотел сказать, надо бы поскорее на боковую... Мне бы только добраться до койки да соснуть малость...

— Ты слышал мой приказ, солдат? Подойди сюда и расскажи нам все, что тебе известно про эту пресловутую плантацию.

На лице Червяка неожиданно появилась ангельски-слащавая улыбочка. Он шагнул вперед.

— Слушаю, сэр. Раз вы настаиваете... На старой плантации, где работал мой прадедушка, рабы так любили своего хозяина, что он, как

стемнеет, боялся появляться возле их хибарок. Боялся, что какой-нибудь из этих счастливчиков схватит его за горло и придушит...

■

Десять минут спустя солдаты, возвращавшиеся в бараки роты «А», прирастали к месту при виде двух хмурых, злых солдат, стоявших с полной выкладкой на дворе перед казармой, и бледного как смерть лейтенанта, сидевшего в «джипе». Лейтенант выкрикнул команду: «Вперед, шагом марш!» И все трое двинулись прочь.

— Мать пресвятая богородица! Что это Солли с Червяком натворили? Уж, верно, что-нибудь рванули — будь здоров! — Длинный Линкольн следил за ними глазами, пока они не скрылись из виду, свернув за угол.— Пусть меня повесят, если мой тезка знал про «резерфордовскую плантацию», когда освобождал рабов...

Глава 15

Он устало сидел на своей койке между двумя сигналами — на раздачу почты и на ужин — и читал письмо от Милли, в котором она подробно описывала грандиозный вечер, устроенный в войсковом клубе. Приехали и Фил Силверс, и миссис Рузвельт, и Поль Робсон, и Бетт Дэвис, и Лена Хорн. И Элла Логан пела «Мой кролик уплыл за океан», и Хэди Ламар разрезала огромный торт и перецеловала шестерых солдат, у которых был в этом месяце день рождения, и в том числе даже одного мулата! Милли спрашивала Солли, когда он собирается поступить в офицерское училище. Но больше всего в письме было уделено места ребенку и его будущему. Солли иронически улыбнулся. Милли всегда писала о ребенке в мужском роде, и Солли доставляло противоестественное удовольствие, саркастически улыбаясь, думать о том, что это будет девочка. «Мы с тобой уже сейчас должны подготавливать его будущий успех. Он будет хорош собой, и нам надо подумать о том, чтобы ему были открыты все пути. Надо научить его пользоваться тем, что...» Глаза Солли горели и наливались злобой. «Образование... доктор... или юрист... Он должен быть впереди всех своих сверстников...»

Солли встал с койки и поглядел по сторонам. Он чувствовал, как струйки пота ползут у него по телу, словно солдаты в разведку. «Черт побери, дай ему родиться сначала, успеешь еще задушить в нем все живое!»

Он снова опустился на койку, отложил в сторону письмо и взял «Пиплз геральд», газету, которую издавал преподобный Джонсон Дигби и мать посылала Солли каждую неделю.

Взгляд Солли рассеянно скользил по строчкам какого-то письма, присланного в редакцию «Пиплз геральд». Но слова не проникали в его сознание, пока он не дошел до конца первого абзаца:

«Мы, солдаты-негры, находимся во враждебной стране, в расистской, антидемократической армии, и нас готовят здесь к отправке за океан, где нам предстоит сложить головы в мировой борьбе против расизма и фашизма во имя Свободы и Демократии. Такую горькую пилюлю нелегко проглотить».

Солли улыбнулся, перевел дыхание, кровь прихлынула к щекам, теплой волной разлилась в груди. Он поглядел на Червяка.

— Какие-то негры написали письмо в «Пиплз геральд», совсем вроде как наше.

Червяк сразу сел и повернулся к Солли.

— Что ты там мелешь?

Солли начал читать вслух, и внезапно холодок побежал у него по спине снизу вверх и сверху вниз, и снизу вверх и сверху вниз...

«Мы, негры, призванные в армию, служим под началом белых офицеров, большинство которых — южане и почти все — яростные негроненавистники. Наш ротный командир — типичный южанин до мозга костей и притом нацистской складки. Истребление Гитлером евреев вызывает одобрение нашего командира. Когда мы, солдаты-негры, попадаем в город, нам приходится подвергаться всевозможным оскорблениям. В этом живописном городке, именуемом Эббенсвилль, белые смотрят на нас с нескрываемым презрением, а эббенсвилльские полицейские вкупе с военной полицией безнаказанно нас избивают. А наш ротный командир еще вознаграждает нас за это десятимильным маршем». Голос Солли начал дрожать. Червяк сказал:

— Поцелуйте меня в зад!

«Наши протесты — это глас вопиющего в пустыне враждебности и надругательство над демократией; мы — жертвы жестокого, садистского, извращенного ханжества и обмана. Многие из нас понимают, что нам совсем не нужно отправляться за четыре-пять тысяч миль, чтобы вступить в борьбу с врагами демократии. Эти враги здесь, среди нас, и они плюют нам в лицо...»

— Это же наше письмо! — закричал Червяк.

Голос Солли упал до шепота и стал сиплым от страха.

«...Они оседлали нас и ездят на нас верхом и измываются над нами. Одному богу известно, почему мы не расправились с ними до сих пор и когда же...»

Он уже был весь в поту теперь, и голос его замер. Он тяжело, прерывисто дышал. Пробежав глазами конец письма, он увидел подписи:

Рядовой Джозеф Тейлор,
Капрал Соломон Сондерс,
Сержант Рендольф П. Грир.

Остальные подписи он читать не стал. Он слышал, как по всему лагерю играли сигнал к ужину, слышал, как солдаты спешили со всех сторон казармы к лестнице и топали вниз по ступенькам, слышал металлическое позвякивание ложек и удары своего сердца... Червяк сказал:

— Милосердный боже!

У Солли дрожали руки, когда он сунул газету под подушку, достал свою ложку и вместе с Червяком направился к двери. Он всегда со страхом думал об их письмах, но до этой минуты никогда не позволял себе задумываться над последствиями. Он заставил себя поверить, что их письма были брошены в мусорную корзинку и никто не обратил на них внимания. Он почти уверил себя в том, что они вовсе не были написаны, что ему просто пригрезилось все это, когда он лежал в госпитале.

— Ужин! Ужин! — драл глотку какой-то голосистый сержант внизу.

Солли же теперь был испуган уже по-настоящему и злился на себя за свой испуг. Мучительное ощущение пустоты в груди, спазмы в кишках. Ему совсем не хотелось есть. Под ложечкой что-то пульсировало, как больной зуб. К черту, он не боится! Какого дьявола он испугался!

После ужина, который не шел ему в горло, они с Червяком снова взялись за «Пиплз геральд». В соседнем столбце они прочли всю историю. Преподобный Джонсон Дигби взял их письмо, отправился с ним в военное министерство и потребовал расследования. Он созвал пресс-конференцию и с возмущением рассказал о том, как обращаются с солдатами-неграми — и на Юге, и на Севере. Письмо вместе с описанием действий, предпринятых преподобным Джонсоном Дигби, было напечатано во всех негритянских газетах и даже в некото-

рых белых. Солли поднял глаза от газеты, поглядел на Червяка и сдавленно рассмеялся. Червяк сказал:

— Ну, друг мой, теперь держись! Теперь нам остается только ждать, когда грянет гром.

Голос Солли прозвучал хрипло и сердито:

— Да уж скорее бы! Что верно, то верно.— Ему был гадок охвативший его страх.

На другой день вечером Червяк принес ему записочку от Фанни Мэй: «Мне необходимо видеть вас, Солли. Пожалуйста, приходите в бар». Его тянуло к ней, и он пошел в бар, раздумывая, что ей от него надо.

Когда он подошел к стойке, она взглянула на него, отвела глаза и проговорила быстро:

— Вы можете поехать сегодня вечером со мной в город? Мне нужно с вами поговорить.

У него жарко забилось сердце.

— Я не могу второй раз попадаться без пропуска.— Весь день сегодня он ждал, что вот сейчас взорвется бомба. Всякий раз, когда капитан Резерфорд заходил в канцелярию, Солли думал: «Вот оно, вот оно!» Быть может, капитан играет с ним, как кошка с мышью? Он уже все знает про это письмо. Почему же он молчит, почему не открывает военных действий? Но наступил вечер, и ничего не произошло. А теперь Фанни Мэй приготовила для него другую бомбу. Но он не забыл ту ночь, когда они были вместе.

Ее большие, широко поставленные темные глаза внимательно вглядывались в его встревоженное, виновато-смущенное лицо. Пухлые, красиво очерченные губы произнесли:

— Тогда достаньте пропуск.— Это прозвучало как приказ.— У вас достаточно времени. Мы закрываемся только через полтора часа.

Он старался угадать по выражению ее лица, что́ его ждет. Еще какие-нибудь неприятности? Дурные вести? Беда никогда не приходит одна.

— Хорошо, Фанни Мэй.

Она сказала:

— Спасибо, Солли.— И отвернулась от него, чтобы обслужить еще одного истосковавшегося по дому солдата.

Через сорок пять минут он отыскал лейтенанта Сэмюэлса; тот сразу же подписал ему пропуск, но посоветовал вернуться в казарму до побудки.

Всю дорогу, пока они ехали в город, он порывался спросить ее, что хотела она ему сказать, но страшился услышать ее ответ. Не может быть, чтобы случилось то, чего он боялся. Не может быть, чтобы она была беременна. Да, лишь бы не это, мой бедный Солли!

Когда они уже проезжали негритянский район города, он спросил:

— Ваши отец и мать... они знают? Я хочу сказать, как же я...

Она рассмеялась.

— Не тревожьтесь, милый. Мы едем к Салли Энн.

— О...— Он почувствовал огромное облегчение. Но тут же подумал: «Так, значит, Салли Энн тоже посвящена. Почему бы нам просто не напечатать объявление в «Блэк диспетч» и не оповестить об этом весь мир?»

Она сказала:

— Салли Энн со всей семьей отправилась за город на воскресенье. Она позволила мне воспользоваться ее квартирой на сегодняшний вечер.

— О...— Успокойся же, дурак, и будь что будет.

В квартире у Салли Энн Фанни Мэй приготовила виски со льдом, поставила на стол печенье, а он сидел, как приговоренный к казни, и

ждал, когда упадет нож гильотины. Фанни Мэй подошла, села рядом с ним на диван, подала ему бокал и подняла свой.

— За вас, за меня и за свободу!

— И за дружбу.— Чему это она так радуется? Можно было подумать, что война уже позади, а она — генерал, одержавший решительную победу.

Она отхлебнула немного из бокала, поставила его на кофейный столик и повернулась к Солли. «Вот оно! — подумал Солли, и сердце у него сделало сальтомортале.— Вот оно. И теперь все кончено, поставь на прошлом крест».

— Я так горда, ну просто лопнуть могу от гордости!

Ее сияющее лицо было прекрасно, и у него заныло в груди. Ему казалось, что он тонет, погружается в ее красоту, как в водоворот, и ему надо ухватиться за что-нибудь, чтобы удержаться на поверхности. Спасите меня, пока не поздно, или я пойду ко дну! Чем она так гордится? Неужели она беременна? И думает, что ребенок заставит его бросить жену и жениться на ней? Здорово! Забавная штука получается! Он рассмеялся. Она спросила:

— Чему вы смеетесь, Солли?

Вот, черт возьми, какой он, оказывается, великий специалист по детопроизводству! Он сказал:

— А чему вы радуетесь?

Она сказала:

— Я горжусь вами, и Тейлором, и всеми остальными, а особенно вами, потому что Тейлор сказал мне, что это вы писали письмо. Но он мог бы мне и не говорить. Я сама это поняла, когда прочла в «Курьере». Вот почему мне хотелось увидеться с вами сегодня; мне хотелось сказать вам: как бы ни сложились наши отношения, даже если мы никогда больше не увидим друг друга, все равно я люблю вас и горжусь вами.

В нем все запело от радости. Он рассмеялся и обнял ее, и все остальное отодвинулось куда-то. Его рука скользила по ее спине. На секунду она забылась в его объятиях. Потом отстранилась. И покачала головой.

— Нет. Мы не для этого приехали сюда.— Она встала и пересела на стул.

Может быть, то, чего он боялся, существует само собой? Может быть, этот разговор — лишь прелюдия к самому банальному диалогу на свете? Что гласит древнейшая из заповедей?

— Так сделайте мне одолжение, скажите, зачем мы здесь? — спросил он.

С одной стороны армия, с другой — Фанни Мэй... Он увяз во всем этом по уши. И все потому, что не сумел подчинить свои чувства рассудку. Она рассмеялась:

— Просто чтобы побеседовать, любимый. Чтобы убедиться в том, что мы еще добрые друзья и не забыли друг друга... Настоящие, большие друзья.— Она сделала еще глоток.— Мне просто очень хотелось... Я так горжусь вами... Не знаю, может быть, мне и не следовало так затруднять вас и привозить сюда.

— И это действительно все, что вам от меня надо? — спросил он.

— Да — дружбы. Или я прошу слишком многого? Или я совсем ничего не значу для вас? И вы жалеете, что понапрасну потратили время? — Он услышал воинственно-враждебные нотки в ее голосе.

— Нет... малютка.— Он встал и шагнул к ней. Она покачала головой.

— Просто чтобы побеседовать. Взаимно насладиться хорошей дружеской беседой в последний раз. Вот и все.— Он снова опустился на диван. Она отхлебнула еще глоток.— Никогда не могла выпить больше одного бокала... Я была так горда, когда прочла ваше письмо в газете.

Так, словно я сама сделала что-то хорошее. Я уверена, что она гордится вами. Я имею в виду миссис Сондерс. Она счастливая женщина!

Солли налил себе второй бокал, сделал большой глоток, почувствовал, как алкоголь проникает глубоко внутрь, и подумал: «Милли даже не знает, что произошло. Она не читает негритянских газет. Нет, моя жена их не читает. А если бы она узнала, так подняла бы дикий скандал. Она бы сказала, что я болван. И была бы абсолютно права. Это было глупо. И я глупец. Был, есть и буду глупцом». Он молча, пристально поглядел на Фанни Мэй.

Она допила свой бокал, налила себе еще. Высоко подняла бокал.

— За нашу дружбу до гробовой доски, милый.

— Да, дорогая, за нашу дружбу до гроба.

— Через десять лет я уже буду сухая, как палка, старая дева — школьная учительница.

— Вы выйдете замуж,— сказал он.— Всякий мужчина, если он в здравом уме, будет счастлив назвать вас своей женой.

— Я не хочу *всякого*. Для меня существует только один мужчина, а он уже принадлежит другой.— Она поднесла бокал к губам, сделала большой глоток и поглядела на Солли с ненавистью.— Вы, конечно, правы, черт побери, и я, конечно, выйду замуж. Я не нуждаюсь в вашем сочувствии, капрал Соломон Сондерс. И если вы думаете, что на вас свет клином сошелся, вы...— Голос ее оборвался.— Солли, я понимаю... Это не ваша вина... Я не хочу, чтобы вы презирали меня. Я даже знаю, почему я понравилась вам. Да, как вы сами сказали, во всем виновато одиночество... Вы были одиноки, а я чем-то напомнила вам ее. У вас есть ее фотография? Я похожа на нее лицом? Или характером? Или... Или у нас с ней одинаковые взгляды, вкусы? Я такая же энергичная в борьбе за наше дело, как она? Я так же привлекательна, как она? Или хотя бы наполовину?

Он глядел на нее и только отрицательно покачивал головой.

Она вскочила, негодующе посмотрела на него.

— Вот как... Я не выдерживаю сравнения с ней? Поэтому вы и не любите меня больше? Я не так красива...

Он снова покачал головой.

— Вы сами сказали, что я напомнила вам ее. Вы сказали мне.

Он встал.

— Я вам солгал.

Глаза ее расширились, встретив его взгляд.

— Вы солгали мне? — Ее губы дрожали.

— Вы не похожи на нее. Вы напоминали мне все то, чего в ней нет. Вы — лучшая женщина на свете, а я проклятый дурак и люблю вас.

В ее темных глазах был вопрос, на который у него не было и никогда не могло быть ответа.

— Я не понимаю.

— Вы самая красивая женщина на свете, и самая умная, и самая нежная, и самая пылкая, и самая безрассудная, и я никогда, ни на единый миг не забуду вас, пока жив.

Она уже была в его объятиях. Она сказала:

— Солли... Солли... Солли! Нельзя так поступать со мной, Солли. Я этого не вынесу! Это нечестно! Нечестно! Не будь таким жестоким, милый!

Он целовал ее глаза, щеки, ее чуть полуоткрытый рот.

— К черту все, пусть будет нечестно,— сказал он.— К черту эту армию, и меня, и мои честолюбивые планы, все к черту, кроме тебя!

Она отстранилась от него.

— Постойте. Я не этого хотела. Я не за этим попросила вас поехать

со мной сегодня. Я хотела поговорить с вами и восстановить нашу дружбу, ничего другого у меня не было на уме. Так что, пожалуйста, не воображайте бог весть что.— Она снова села на стул напротив него.

Он опустился на диван. Безусловно, она права.

— Хорошо. В таком случае давайте поговорим. Я, Соломон Сондерс, заявляю и клятвенно утверждаю, что ценю вашу дружбу, как ничью другую на свете. Вы оказали огромное влияние на меня, и происшедшая во мне перемена неизгладима. Я стараюсь привить себе ваши взгляды на жизнь. Вы мое alter ego. Лучшая половина меня.

Она смотрела на него во все глаза, и лицо ее пылало и было прекрасно и светилось любовью, и счастьем, и таким глубоким удовлетворением, словно он держал ее в объятиях, ласкал ее. Это было слишком!

— Замолчи, Солли, замолчи! Ты не понимаешь, что ты делаешь со мной! Это садизм.

Он подошел к ней, обнял ее. Она сказала:

— Нет! Я не хочу, чтобы ты обнимал меня. Ты низкий, бессердечный, лживый, ты просто хочешь добиться своего, как в тот раз. Теперь я знаю тебя. Все, что ты говоришь, неправда. Ты просто смеешься надо мной...

Поток ее слов лился, как кровь из раны. Он крикнул:

— Замолчи!

— Да! Да! Да! Это ничего не может нам с тобой дать, но я люблю тебя! — И он снова целовал ее глаза, ее щеки, и она не противилась. Он целовал ее нос, ее полуоткрытый ждущий его поцелуев рот.

— Пощади меня, Солли. Пожалей. Я беззащитна против тебя.

— Это неправда. Только не ты.— «Она не должна так говорить!»

— Да, дорогой. Это правда, истинная правда. Все остальное притворство и ложь.

У него не было слов. А она сказала:

— Ты в самом деле любишь меня?

— Люблю! Люблю!

— Пощади меня на этот раз. Не трогай меня. Давай поклянемся друг другу в вечной дружбе.

— Хорошо,— сказал он, и они сели рядом на диван.

Она сказала:

— Мне надо взять себя в руки. Не следовало пить второй бокал, я не привыкла.— Она отхлебнула немножко из его бокала.— Самое главное, дорогой, не дай им сломить твой дух, какие бы последствия ни возымело ваше письмо. Вот о чем, в сущности, я хотела с тобой поговорить. Потому что я знаю: даром это не пройдет. Но что бы ни случилось, никогда не жалей, что ты это сделал. Это же твое настоящее «я», подлинное, скрытое глубоко-глубоко, все лучшее, что в тебе есть, вышло наружу. В этом выразился настоящий ты. Тот ты, которого я всегда угадывала в тебе. Тот, которого я люблю и всегда буду любить. Вовсе не за то, что ты красив, я люблю тебя. А потому, что у тебя есть чувство собственного достоинства и мужественность. Это дороже денег, дороже того, что называют успехом в жизни. Запомни, прошу тебя: никогда не поступайся своим достоинством, не теряй своей мужественности. Если негр ведет себя как настоящий мужчина, этого белые ему не прощают. Но если человек не может постоять за себя, все остальное не имеет цены. Мой отец уже двадцать лет директор школы, но для любого белого ничтожества он до сих пор «эй ты, малый!» Они оскорбляют ваших женщин у вас на глазах, и вы либо ухмыляетесь, либо вешаете голову, либо расстаетесь с жизнью.

Он попытался снова обнять ее, но она сказала нетвердо:

— Нет... нет.— Потом прибавила: — Хорошо, поцелуй меня еще раз. Один только раз...

И он поцеловал ее, и она почувствовала сладкий жар во всем теле и затрепетала. Но она знала, что не должна быть слабой. Не должна позволить ему запутать его жизнь и свою. Она отстранилась.

— Может быть, когда ты возвратишься,— сказала она,— если ты все еще будешь любить меня... Я хочу сказать, если ты не любишь свою жену по-настоящему... Словом, ты мог бы развестись... Ну, я хочу сказать... Почему, в сущности, это невозможно? — Она почувствовала ненависть к нему за то, что он вынудил ее это произнести.

Он молча покачал головой. Она сказала:

— Ты прав. У меня нет гордости. Я должна была бы подождать, пока ты не предложишь этого... если бы ты вообще захотел... И к тому же я ведь сама, в сущности, никогда на это не пойду. Я не смогу построить свое счастье на чужом несчастье. Но если когда-нибудь ты останешься один... Я хочу сказать... Нет, забудем это.

Он сказал:

— Моя жена ждет ребенка.

Она подняла на него широко раскрытые темные, испуганные глаза, и он увидел, как они меркнут, мертвеют.

Он сказал:

— Я люблю тебя и всегда буду любить — вот и все, что я могу тебе сказать.

Она прошептала еле слышно:

— Значит, все хорошо. И я не буду плакать. Я не хочу плакать. Я не должна плакать.— Она почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног, и в отчаянии рванулась к нему, и он схватил ее в объятия, и ее руки обвились вокруг его шеи, и ее полуоткрытый влажный рот прильнул к его губам, и все ее тело напряглось, призывая его, и ей показалось, что она стоит на вершине высокой горы и падает вниз, и ей захотелось крикнуть: «Солли, спаси меня! Спаси!» И вместе с тем она знала, что не хочет, чтобы он ее спас. А, может быть, еще раз, один-единственный, последний раз и никогда больше? Желание сжигало ее.

Она прошептала:

— Это последний раз, любимый. Последний поцелуй. Только поцелуй, ничего больше.— И она поцеловала его, и отстранилась от него, и оправила платье, и вытерла глаза. Она сказала, и теперь голос ее звучал твердо:— Видишь, я нашла в себе силы, Солли, любимый, и теперь мы должны расстаться.

— Еще рано,— сказал он.

Она сказала:

— Нет, нет... Уже слишком, слишком поздно.

Глава 16

Несколько дней спустя командир полка вызвал к себе капитана Резерфорда.

Капитан, бравый служака с головы до пят (все семьдесят шесть с половиной дюймов — образец военной выправки), бодрым шагом прошел через помещение штаба в личный кабинет полковника. В дверях его встретил темнокожий загорелый сержант технической службы.

— Входите, капитан, сэр. Полковник вас ждет.

Капитан Резерфорд локтями подтянул сползающие брюки, шагнул через порог и притворил за собою дверь. Одним быстрым взглядом он оценил обстановку. Полковник сидел за своим письменным столом. Батальонный командир майор Дэвидсон сидел сбоку от стола, а капитан Мэрдок, полковой адъютант,— по другую сторону, напротив майора. Ого, как видно, происходит что-то чрезвычайно серьезное, черт побери!

Капитан Резерфорд едва сдержал улыбку. Однако военная муштра сидела в нем крепко, и он не выдал своих чувств. Он лихо отдал честь полковнику.

— Садитесь, капитан,— сказал полковник и показал на стул, стоявший перед письменным столом.

— Слушаю, сэр,— сказал капитан с горделивым достоинством, опускаясь на предложенный стул, и взглянул прямо в лицо полковнику, потом перевел взгляд на майора, за ним — на капитана и снова — на полковника. Это была та единственная уязвимая черта во внешнем облике капитана Резерфорда, которая вызывала в нем глухое недовольство собой,— у него был бегающий взгляд. Ему никогда не удавалось приковать глаз к одному предмету. Любой человек мог заставить его отвести взгляд, а уж полковник особенно.

Полковник был холеный мужчина лет пятидесяти, среднего роста, крепкого сложения, с несколько сонливым выражением лица. Если жизнь — это сцена, то ему, как видно, до тошноты приелось все происходящее на ней. Однако на этот раз Резерфорд уловил на лице полковника признаки весьма необычного для него волнения и снова улыбнулся про себя. Да, черт возьми, тут, по-видимому, что-то весьма важное! Полковник сказал:

— Ну, капитан, как ваша рота «А»? Впрочем, она теперь, кажется, называется «Адова рота»? — Полковник сухо, отрывисто фыркнул, и Резерфорд подумал, что для полковника это то же, что для другого покатываться со смеха.

— Все прекрасно, сэр. Пожалуй, лучшего и желать не приходится. Но, конечно, мы все время стремимся и дальше повышать показатели. Таков наш девиз.

— А моральное состояние солдат?

— Отличное, сэр. Самое отличное. Лучшее во всем полку.

— Никаких смутьянов в вашем подразделении? Никаких агитаторов? Никаких коммунистов?

— Нет, сэр. А если бы завелся один-другой, никто бы не стал их слушать. Мы гордимся нашим esprit de corps *.

Полковник уставил на Резерфорда долгий, пристальный, тяжелый взгляд, словно отказывался верить своим глазам и ушам, и шея капитана внезапно начала краснеть, и краска поползла на щеки.

— У вас просто-таки редкостное подразделение, капитан,— сказал полковник.

Капитан ответил тихо:

— Да, сэр. Благодарю вас, сэр.

Полковник сказал:

— Рота «А» прославила себя, не сделав ни единого выстрела. Не побывав ни разу на стрельбище. Она ухитрилась приобрести бóльшую известность в печати, чем...

— В следующий понедельник у нас уже начинаются стрелковые занятия сэр, и я не сомневаюсь, что мои солдаты сумеют отличиться.

Полковник не сводил с него глаз.

— *Так вы не сомневаетесь?* — спокойно, с расстановкой повторил он.— А вам известно, что такое НААСП, капитан?

Резерфорд ответил не сразу, он обдумывал. Если ответить утвердительно, полковник может потребовать, чтобы он расшифровал. Рассчитывать на деликатность полковника никак не приходилось. Он не лучше этого еврея. Капитан решил играть в открытую и сказал:

— Нет, сэр.

---

* За честь полка *(франц.)*.

— Ну, так вам следовало бы это знать. Каждый командир цветного подразделения обязан знать, что такое НААСП. Эта организация похуже профсоюзов.

— Слушаюсь, сэр.— Капитан от волнения почти лишился голоса.

— Вы читаете газеты, капитан?

— Да, сэр.

— А вам не попалось на глаза одно пикантное сообщение в «Афро-Американ»? — Полковник взял лежавшую на столе газету и сунул ее капитану под нос, и тело Резерфорда покрыла холодная липкая испарина. Он взял газету, поглядел на нее, потом бросил взгляд на адъютанта, потом на майора и наконец снова на полковника. Полковник сказал:

— Будьте любезны обратить внимание на небольшую заметку в центре этой полосы, посвященную знаменитому подразделению, обладающему самым выдающимся esprit de corps и самым что ни на есть высоким боевым духом солдат, а именно роте «А» Пятьдесят пятого транспортного полка, более известной под названием «Адовой роты» или «Потогонной плантации капитана Резерфорда».

Капитан Резерфорд читал и покрывался испариной и менялся в лице — то краснел, то зеленел, как хамелеон. Он прочел заметку до конца, но не мог оторвать глаз от газетной полосы и встретить гневный взгляд полковника. Мозг его оцепенел. Он начал перечитывать заметку, но взгляд его машинально перебежал на соседний столбец, не имевший ни малейшей связи с прочитанным. Голос полковника нарушил агонизирующую тишину.

— Я полагаю, что даже вы уже усвоили эту заметку, капитан.

Капитан открыл свой маленький ротик, но слова не шли у него с языка. Наконец он просипел:

— Да, сэр.

Полковник сказал:

— Из всех безответственных, лицемерных, отъявленных вралей, каких я только встречал в своей жизни, пальму первенства, несомненно, приходится отдать вам.

— Но, сэр...

— Как же это вы столь легкомысленно относитесь к такому важному вопросу, как моральное состояние ваших солдат?

— Но, сэр, ведь...

— Ваши солдаты находятся на грани мятежа, а вы смотрите мне в глаза и заявляете, что их моральное состояние превыше всех похвал. Более наглой...— Полковник взвинчивал себя, в груди у него что-то рокотало, как маленький вулкан. Лицо приняло апоплексически-багровый оттенок.— Я получил письмо из военного министерства, пересланное мне начальником гарнизона за его личной подписью. Нам предлагают обратить наше благосклонное внимание на неслыханное, недопустимое моральное состояние солдат вашего подразделения. По-видимому, ваши солдаты достигли в этом отношении таких головокружительных успехов, что поспешили оповестить об этом весь мир и в том числе цветные газеты НААСП и даже президента Соединенных Штатов.

— Сэр, позвольте мне объяснить...

— Я достаточно наслушался сегодня ваших объяснений, Резерфорд. Но будьте спокойны, вам еще придется их давать, и довольно скоро, черт побери. А пока что отправляйтесь в вашу роту и получите кое-какие объяснения там. Если военное министерство захочет заняться этим вопросом, вам это даром не пройдет. В одиннадцать тридцать я должен встретиться с комендантом базы. Отправляйтесь в свою роту и доберитесь до самой сути всего этого дела, да побыстрее, черт возьми. В тринадцать ноль-ноль я буду ждать вас к себе с докладом.

Капитан вскочил, вытянулся, отдал честь:

— Есть, сэр!

— Можете идти! — сказал полковник.

Резерфорд с газетой в руке повернулся, быстро вышел из кабинета полковник, бегом промчался через весь штаб, вскочил в свой «джип» и, поднимая облака красной пыли, срезая углы и едва не передавив всех, кто попадался ему на пути, прилетел в расположение роты. Он выскочил из машины, взбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки, и вошел в канцелярию, где старший сержант Андерсон мирно сидел за своим столом, взгромоздив на него ноги.

— Сержант, живей, где этот прохвост Сондерс?

Сержант вскочил на ноги:

— Что случилось, капитан Резерфорд?

— Я спрашиваю вас: где, черт побери, Сондерс?

— Он... Он пошел в штаб батальона, у него там какие-то дела.

— Какие-то дела?! — заорал капитан.— В дальнейшем, если он будет отлучаться из канцелярии, извольте знать абсолютно точно, куда и зачем. Вы поняли?

— Да, сэр.

Резерфорд швырнул «Афро-Американ» на стол.

— Вот,— сказал он.— Вот! Все солдаты, подписавшие это письмо, должны через пять минут явиться ко мне в кабинет, и вы, сержант Андерсон, в том числе. Независимо от того, где они сейчас находятся и чем, черт побери, заняты! — Длинного, тощего капитана трясло от злости.

— А что случилось, капитан?

— Вы, кажется, умеете читать, сержант? Я приказал: немедленно всем перечисленным здесь явиться ко мне. Где вы их раздобудете, меня не интересует, но чтобы через пять минут все были в сборе.

Все же потребовалось двенадцать минут, чтобы их собрать.

И вот теперь, тревожно переглядываясь, они все сидели в кабинете капитана: старший сержант Андерсон, Солли Сондерс, Книжный Червяк Тейлор, Бейкер, Линкольн, Мур и Грир. Солли нервно откашлялся. Лицо Резерфорда так побледнело, что стало совсем бесцветным. Он встал, подтянул брюки. Взял «Афро-Американ» и стукнул по газете тыльной стороной своей длинной костлявой руки и открыл рот, но язык ему не повиновался. Он швырнул газету обратно на стол. Солли, как и все остальные, смотрел прямо перед собой в пространство и слышал мерный стук солдатских сапог, марширующих внизу перед казармой, и слова команды: *«Правый фланг, вперед, шагом марш! Левый фланг, вперед, шагом марш!»* Он слышал даже ритмичный звук трущихся друг о друга солдатских штанин. В кабинете командира было так тихо, что слух Солли улавливал шорох ветра, похожий на шум морской раковины, если ее приложить к уху, и так жарко и душно, словно весь воздух был выкачан, и с каждой минутой становилось все жарче, и Солли казалось, что еще секунда —и эта жаркая тишина взорвется, и все разлетится на куски, а напряжение нарастало, нарастало, нарастало...

Капитан внезапно что было силы хлопнул ладонью по столу, и кое-кто из солдат нервно подскочил на месте.

— Мне надоели эти козни у меня за спиной! И вы у меня не уйдете отсюда живыми, пока я не раскопаю всю эту историю до самого дна. Я должен знать, что за всем этим кроется и кто тут зачинщик. Стоит мне пойти в штаб, и я получаю там нагоняй за какое-нибудь непотребство, которое происходит в роте.— Он умолк, взгляд его перебегал с одного лица на другое.— Итак, что вы намерены мне сообщить?

Никто ничего не говорил, и даже не шевелился, и даже не смотрел на капитана, и даже не мигал, и даже не дышал. Капитан стоял перед

ними, вытянувшись во весь рост, тощий, злой. Он подтянул брюки, вытащил из кармана носовой платок цвета хаки, вытер лоб.

— Что случилось, почему это у вас язык вдруг отнялся? — спросил он.— То вы так ловко подличаете у меня за спиной, а то вдруг не можете рта разжать.— Он поглядывал то на одного солдата, то на другого, тонкий его фальцет звучал все пронзительнее.— Что скажете вы, сержант Андерсон? Что вам по поводу всего этого известно?

Старший сержант откашлялся, и голос его прозвучал чисто и звонко:

— Я не знаю, о чем вы говорите, капитан Резерфорд. Я не понимаю, из-за чего весь этот шум.

Капитан сдержался, заговорил более спокойно.

— Ну послушайте, старшой,— он обычно никогда так его не называл,— я вас во всей этой грязной истории не виню. Вы мой старший сержант, и я не сомневаюсь в вашей лояльности. Если вас обманули или ввели в заблуждение, я должен знать, кто и как, только таким путем мы можем до конца разобраться в этом деле. Это чудовищная история, сержант, но мы с вами можем еще кое-что исправить. Мы с вами из одного штата и найдем, я уверен, общий язык. И я не сомневаюсь также, что вы хотите поступить правильно. Разве не так?

Солли весь обратился в слух и в то же время не хотел ничего слышать. Он страшился ответа старшего сержанта. Не нужно, не нужно, старшой!

Старший сержант ответил своему командиру:

— Конечно, я хочу поступить правильно, капитан Резерфорд. Я всегда стараюсь поступать правильно.

Солли закрыл глаза и пожалел, что нельзя заткнуть уши. Он очень боялся потерять уважение к старшему сержанту.

— Ну прекрасно, сержант. Тогда говорите откровенно. Кто у вас тут смутьяны? Кто авторы этого письма? Кто во время войны занимается подстрекательством против армии Соединенных Штатов?

Капли пота поползли у Солли по всему телу. Не лучше ли сказать сейчас капитану: «Во всем виноват один я!» Сказать: «Я написал это письмо, когда попал в госпиталь...»

— О каком подстрекательстве говорите вы, капитан? — очень спокойно и серьезно спросил старший сержант.

«...написал после того, как меня избили и я был не в себе. Вот тогда я и написал, сэр!» Скажи ему! Скажи капитану!

— Разве я не стараюсь быть хорошим командиром для всех вас, сержант? Разве я не стараюсь делать только то, что, по моему разумению, служит на пользу солдатам?

Скажи ему, что в следующую секунду ты уже пожалел об этом, но было поздно!

Сержант снова откашлялся.

— Да, сэр.

«Я совсем потерял голову от побоев, иначе я никогда бы этого не сделал. Один я виноват во всем, сэр».

— Вы хороший солдат, Андерсон, и я не хочу, чтобы вы были замешаны в этой грязной истории. Это весьма серьезное дело. Это... Это... Это коммунистический заговор против правительства Соединенных Штатов, да еще в такую минуту, когда самому существованию нашему, как свободной нации, угрожает опасность. Вы отдаете себе в этом отчет, не правда ли, сержант?

Шевели мозгами, Солли Сондерс! Не позволяй своим чувствам завести тебя слишком далеко. Повинись во всем и проси суд о снисхождении.

Лица солдат все мрачнели, в душе их росла тревога, а духота в кабинете становилась все более невыносимой. Солли чувствовал отвратительный запах этой жаркой духоты. Запах страха, чужого и его собственного, хотя он и твердил себе, что не боится. Он рад, что написал эти письма, твердил он себе. Рад.

— Да, капитан, сэр,— ответил Андерсон.

— Я уже сказал вам, сержант,— продолжал капитан, и голос его стал более жестким,— я уже сказал вам, что верю в вашу непричастность к этому заговору, но для того чтобы я мог полностью в этом убедиться и свидетельствовать в вашу пользу в трибунале, вы должны сказать все начистоту — это единственный способ, другого нет. Скажите мне, кто зачинщик? Кто обманул вас, ввел вас в заблуждение?

— Я не знаю, о чем вы говорите, капитан, сэр,— отвечал сержант.

— Сержант Андерсон, я говорю об этой проклятой истории, об этих... об этих письмах в негритянские газеты...— Капитан схватил газету со стола.— Об этом письме в военное министерство... Об этом письме к президенту Соединенных Штатов, черт бы его побрал... Что вы об этом скажете, сержант?

— Что я скажу о чем, сэр? — спросил сержант.

— Кто затеял все это?

— Не имею ни малейшего представления.

— Чья была идея разослать письма в газеты?

— Я не знаю.

— Вы подписали письмо, не так ли? Или кто-то подделал вашу подпись?

— Я сам его подписал,— сказал сержант, и голос его чуть дрогнул.

— Я стараюсь помочь вам, друг мой, потому что мы с вами земляки, и я понимаю, что вы не знали о том, что тут затевается. Но прежде всего вы сами себе должны помочь, а вы никак не идете мне навстречу.

Молчание сержанта звоном отдавалось в ушах.

— Это не шуточное дело, сержант. Это заговор против правительства Соединенных Штатов. А вы не даете мне помочь вам, дружище. Вы связываете мне руки.

Есть у тебя голова на плечах, Соломон Сондерс? Перехитри этого техасца, этого расиста. Принеси повинную и проси суд о снисхождении. Ты чем-то импонируешь капитану, несмотря на все его южные предрассудки, несмотря на то, что ты сам презираешь этого ублюдка. Ему хочется покровительствовать тебе, быть твоим Великим Белым Отцом.

Ему были отвратительны мысли, проносившиеся у него в голове, но они не оставляли его, упорно требовали к себе внимания.

Сержант продолжал молчать, и Солли слышал стук собственного сердца, и шаги солдат, поднимавшихся по лестнице на второй этаж, и шум автомобиля, проехавшего внизу под окнами по пыльной улице, и рев мотора, который завел кто-то. И чувствовал удушливый запах жары, пота, страха, злобы и мучительное жжение под ложечкой.

— Ну, а вы, ребята, что вы скажете? — спросил капитан Резерфорд.

Все молчали, а Солли был в таком волнении, что не смог бы раскрыть рта, даже если бы захотел.

— А что вы скажете, Грир? Я ведь стараюсь вам помочь.

Бывший сержант-автомеханик хмуро поглядел на капитана.

— Вы один раз уже помогли мне, когда военная полиция избила меня в Эббенсвилле.

— А вы, Линкольн? Вы хотите что-нибудь сказать?

Ответа не последовало. Ну, давай, сказал себе Солли. Пора! Если ты не последняя размазня, ты должен сейчас это сделать.

— А вы, Тейлор?

Скажи ему, что ты в эту минуту не отвечал за свои поступки.

— Я ничего не могу сказать, капитан.

Резерфорд повернулся к Солли, маленькие глазки его злобно сверкнули. Солли поднял глаза и поглядел на капитана — поглядел прямо сквозь капитана, словно того не существовало вовсе. Он подумал о Фанни Мэй. Что-то глубоко-глубоко запрятанное в нем воскресило в эту минуту ее образ. Не жалей о том, что сделал, сказала она ему. И он смотрел прямо перед собой, как самый тихий, мирный солдат на свете, хотя мокрое от испарины тело, и жжение под ложечкой, и боль, и урчание в животе говорили другое. Он был испуган. Фанни Мэй, казалось, была где-то рядом, она говорила ему, что гордится им, он слышал ее голос. Но он был испуган.

— Ну, а вы, капрал? Мне бы все-таки хотелось спасти вашу шкуру, если только это возможно.

Ну, теперь принеси повинную! Сделай это! Сделай! Этим ты сразу вызволишь из беды и остальных. И они поймут, что ты сделал это ради них же. Ты станешь героем в их глазах. Но его голос, словно против воли, спокойно произнес:

— Я ничем не могу быть вам полезен, капитан Резерфорд.

— Я знаю, что вы один из зачинщиков, Сондерс. Я слежу за вами с первого дня вашего появления в роте. Вы вели тут агитацию как самый заядлый коммунист! И я доберусь до каждого из вас. Я старался быть снисходительным, особенно по отношению к вам, потому что вы получили образование, и я думал, что вы лучше других, но теперь я вижу, что никто из вас не ценит моего доброго отношения к вам. С такими, как вы, даже образование не может сделать чуда. Все вы попадете в военный трибунал за организацию заговора против правительства Соединенных Штатов. За то, что вы пытались выставить его в смешном свете перед всем миром. Играли на руку врагам. Я добьюсь, чтобы вас всех до единого поставили к стенке. Сейчас война, будьте вы прокляты!

Спасибо тебе, Фанни Мэй! Мне теперь легче, много легче, спасибо.

— Постойте, капитан! — выкрикнул Головастый.— Я тут ни при чем, я тут совершенно ни при чем. А вы меня ничего... вы меня даже ни о чем не спросили!

— Ну? — капитан повернулся к Бейкеру.

— Да ты не бойся трибунала, Бейкер,— услышал Солли свой негромкий голос.— Капитан просто пытается нас запугать. Он не хочет, чтобы ты вел себя, как подобает мужчине. Зачем тебе быть доносчиком? Писать письма в газеты — это не преступление.

— Молчать, Сондерс!

— Капитан, сэр, пожалуйста, прошу вас, я ничего, совершенно ничего обо всем этом не знаю. Я совсем тут ни при чем.— Бейкер в волнении забегал по комнате, тряся своей большой круглой головой.

— Кто мне поручится, что вы не лжете так же бессовестно, как все остальные?

Бейкер прирос к месту.

— Нет, сэр. Я бы не стал лгать вам. Я не хочу попадать ни в какую историю. Я не знал, что подписываю. Я думал просто... я... не знаю, что я думал. Может быть, я думал, что это расписание нарядов в караул.

Солли все время казалось, что Головастый сейчас упадет на колени перед этим тощим белым капитаном и покроет поцелуями его офицерские башмаки:

— Кто дал вам это подписать?

— Капрал Сондерс, сэр. А может быть, Джо Тейлор. Я очень расстроен, очень волнуюсь, сам не знаю, что говорю.

— А может быть, они оба? — настойчиво спрашивал Резерфорд.

— Может быть, сэр. Может быть, и оба.

— Можете вы присягнуть в трибунале, что эти двое солдат совместно состряпали весь этот заговор против армии и американского правительства?

— Я... я... я ничего про это не знаю, сэр. Я не хочу свидетельствовать в трибунале. Нет, сэр.

— Послушайте, Бейкер, если вы будете вилять, я не стану с вами разговаривать. Либо вы здесь, либо там, понятно? Либо вы будете свидетельствовать в трибунале, либо предстанете перед трибуналом вместе с остальными. И то же самое относится и к Андерсону, и к Сондерсу, и ко всем прочим.

— Понимаю, сэр! — сказал Бейкер, тряся своей большой красивой головой.— Я буду свидетельствовать. Ни о чем не беспокойтесь, капитан.

— Я не беспокоюсь,— сказал капитан.— И если вы явитесь в трибунал и чистосердечно признаетесь во всем, что вам известно, вам тоже не о чем будет беспокоиться. Ну, а вы, сержант Андерсон? — Капитану очень хотелось перетянуть старшего сержанта на свою сторону.

— Я так считаю, сэр, что моей вины тут не меньше, чем капрала Сондерса. Только я не вижу, что мы такого плохого сделали. Ну, а потом я не доносчик. Никогда им не был и не буду.

— Не разыгрывайте из себя героя, сержант. Не идите на поводу у этой парочки нью-йоркских коммунистов.

— Я не разыгрываю из себя героя, капитан Резерфорд. Но уж если правду сказать, то я, пожалуй, скорее согласен быть, как вы изволили выразиться, героем, или коммунистом, или кем-нибудь еще, но только не дядей Томом. Если мне присвоили чин старшего сержанта, то это еще не значит, что я должен доносить на своих товарищей.

Капитан повернулся к Головастому Бейкеру.

— Отлично. Бейкер, кто предложил вам подписать письмо?

Бейкер со свирепым видом уставился в пол.

— Червяк,— пробормотал он.

— Кто? Ну же, повторите!

— Рядовой Тейлор, сэр.

— А кто первый все это затеял, а, Бейкер?

— Как вы сказали, сэр?

— Вы меня слышали.

— Капрал Сондерс, сэр.

Солли вскочил; его намерения были ему самому еще не ясны, но между мыслями и чувствами не было на этот раз разлада. Капитан сказал:

— Сядьте, Сондерс.

Солли сказал:

— Я не в силах больше все это выносить, сэр...

Капитан заорал:

— Сесть! Вы меня слышите? Вы, проклятый коммунист! Вы слышите, что с вами разговаривает офицер?

— А я не намерен сидеть тут и смотреть, как вы разлагаете человека, топчете его, попираете моральные устои, заставляете этого беднягу Бейкера терять всякое уважение к себе.— Голос Солли дрожал. Он в упор поглядел на апоплексически-красное лицо южанина и повернулся к двери.

— Предупреждаю вас, Сондерс: если вы сейчас шагнете за порог, вам придется об этом горько пожалеть. До конца дней ваших вы будете хранить память обо мне в вашей черной неблагодарной душе!

Солли повернулся к капитану. Отступать теперь было уже поздно. Внутри у него все дрожало, и он уже видел, как закрываются за ним двери гауптвахты, где сидел раньше Скотти, и видел себя в федеральной тюрьме, и видел, как его с позором выгоняют из армии, но повер-

нуть обратно не мог. И в какой-то мере он был даже рад, что благодаря этим письмам вскрылся нарыв. Он был очень испуган и все же рад.

— Вы — большой человек, белый человек и можете делать все, что находите нужным, но не думайте, что мы сдадимся вам без борьбы.— Ему казалось, что он все глубже и глубже погружается в океан ярости, и еще минута — и волны сомкнутся у него над головой.— Мы будем бороться и дойдем до Вашингтона, и я постараюсь не забыть, как вы в нашем присутствии чертыхались по адресу нашего главнокомандующего, президента Соединенных Штатов, и как вы называли рядового Скотти проклятым черномазым ублюдком, и поминали мою черную душу, и совершали прочие непозволительные для кадрового офицера поступки, и, если судьба еще сведет нас когда-нибудь вместе, я искренне надеюсь, что уже не увижу у вас на плечах этих двух полосок, за которые вы прячетесь.— Солли снова повернулся к двери. Его трясло от ярости.

На мгновение и капитан, и все остальные потеряли дар речи. Но прежде чем Солли успел отворить дверь, Андерсон бросился к нему.

— Стой! Так не годится, капрал. Не валяй дурака. Ты не должен уходить самовольно, пока разговор не окончен. В этом деле ты не один, мы все вместе несем ответ.

Солли обернулся. Он посмотрел на старшого. Опять он дал своим чувствам увлечь его неведомо куда, опять позволил капитану спровоцировать его и потерял голову. Но вкус этого безумства был сладок. В животе еще гнездился страх, а в груди было приятное ощущение легкости.

— Горячо советую вам побеседовать с ним, сержант,— сказал капитан, обращаясь к Андерсону.— Он действует по наущению этого нью-йоркского адвоката — Сэмюэлса. Вот кто втравил его в эту историю.

— Никто меня ни во что не втравил, капитан Резерфорд. Давайте поставим точки над и. Я мужчина, а не ребенок, и сам отвечаю за свои поступки.— Вот это по крайней мере Солли знал твердо. И это было для него очень важно. Нет, он не потерял на этот раз головы. Ум и сердце были в полном согласии на этот раз. Да, это так.

— Значит, вы признаетесь?

— Ни в чем я не признаюсь. Я сказал только, что все, что бы я ни делал, я делаю вполне сознательно и по доброй воле. Не пользуюсь ничьей указкой. Руководствуюсь своими собственными соображениями. И ни у кого не спрашиваю совета.

— Вы можете признаваться или не признаваться, это безразлично,— сказал Резерфорд.— Мне все известно. Решительно все. Мне известно, как вы вместе с лейтенантом подняли целую бучу в городе. Мне известно, что вы напали на полковника. Мне известно, кто у нас в роте разводит агитацию в духе этой самой НААСП, и я не намерен щадить никого из вас.— Капитан задохнулся, словно бежал в гору, и с трудом перевел дыхание.— А особенно вас, особенно вас! — Он снова поддернул брюки локтями.— И это не пустая угроза. Вы меня попомните.— Он окинул всех быстрым взглядом, исполненным презрения и ненависти. Жилы у него на лбу вздулись и пульсировали под тонкой, туго натянутой, словно на барабане, кожей. Сделав усилие, он взял себя в руки.— Последний раз я даю каждому из вас возможность спасти себя. Кто хочет что-нибудь сказать?

Внутренняя борьба в Солли еще не утихла. Это был последний, единственный шанс принести повинную, взять все на себя и тем спасти свою шкуру и разыграть из себя героя. Он уже открыл было рот, но не произнес ни слова.

— Я жду.

Солли услышал чье-то тяжелое дыхание.

Головастый сипло откашлялся.

(Окончание следует)

ИЗ НЕМЕЦКОЙ АНТИФАШИСТСКОЙ ПОЭЗИИ

Вступление и перевод с немецкого ЛЬВА ГИНЗБУРГА

В день победы над фашистской Германией вспомним стихи немцев — узников гитлеровских тюрем и лагерей смерти...

Советскому читателю известны некоторые образцы поэзии немецкого антифашистского Сопротивления. В свое время в русском переводе В. Левика были напечатаны стихи Эриха Мюзама, Адама Кукхофа, Альбрехта Гаусхофера, Харро Шульце-Бойзена, Альфреда Шмидта-Заса, Вильгельма Тевса и других немецких товарищей, сложивших головы в борьбе с ненавистным фашизмом. Эти стихи, которые воспринимаются как неподдельные человеческие документы, отмечены высокими поэтическими достоинствами и по праву составляют одну из ярких страниц в истории прогрессивной немецкой поэзии.

Однако немецкая поэзия антигитлеровского Сопротивления еще ждет своих исследователей и переводчиков. В многочисленных сборниках, антологиях, журналах, газетах таятся строки борьбы и мужества, отчаяния и надежды, стихи-проклятия и стихи-клятвы.

В этом смысле предлагаемую вниманию читателя подборку следует рассматривать лишь как своего рода заявку на более обстоятельное знакомство с поэзией, которая создавалась в невероятных, ни с чем не сравнимых условиях, буквально «в пяти шагах» и «в пяти минутах» от смерти.

Меня, например, давно увлекает идея — сделать достоянием наших читателей «Моабитские сонеты» Альбрехта Гаусхофера, по-своему перекликающиеся с «Моабитской тетрадью» нашего прославленного соотечественника Мусы Джалиля. Разве не говорит о многом это соседство двух поэтов-антифашистов, которые в одно и то же время, в одной и той же тюрьме писали — один на татарском, другой на немецком языке — стихи, исполненные ненависти к общему врагу и веры в победу общего справедливого дела?

Большой интерес представляют стихи так называемых «неизвестных» авторов. Антифашистский фольклор концлагерей дополняет то, что сделано профессиональными поэтами, и обогащает наше представление о всенародном характере борьбы против гитлеризма внутри Германии. Впрочем, вся эта работа еще впереди. Пока же остается сказать несколько слов о стихах, помещенных в настоящей подборке.

Впервые мы знакомим читателя с «безымянными» стихами и песнями, которые распространялись в Дахау, Бухенвальде и Заксенхаузене. Нам эти стихи особенно дороги: сквозь время к нам доносятся слова, некогда подхваченные тысячами голосов. И мы знаем, что запевалами этих песен были коммунисты.

«Стихотворение, написанное в Дахау», так же как и «Бухенвальдская песня», взято нами из сборника «Damit Deutschland lebe» («Чтобы жила Германия», 1958). В этой книге рядом со стихами напечатаны также документы о пребывании в Дахау лучших

людей Германии. Среди них был и Ганс Баймлер. Этот легендарный человек — в прошлом матрос на минном тральщике, член союза «Спартак», затем Коммунистической партии Германии, депутат рейхстага, брошенный гитлеровцами в Дахау, действительно прорвал страшное кольцо смерти. За несколько минут до казни он бежал. Вскоре о нем услышали во Франции, в Чехословакии и наконец в Испании, где он стал комиссаром батальона имени Тельмана и героически погиб в боях против фашизма...

Стихи, найденные в 1954 году при разборке развалин лагерного лазарета в Заксенхаузене, также имеют свою историю. Из приложенной к стихам записи видно, что они возникли среди узников-коммунистов и были посвящены одному из руководителей лагерного подполья, деятельность которого особенно оживилась после прибытия в Заксенхаузен первой группы советских военнопленных.

В 1961 году, собирая материал для своей книги «Цена пепла», где это стихотворение цитировалось, я побывал в музее «Заксенхаузен» и пытался узнать, о каком «Густаве» идет в этих стихах речь. Товарищи назвали мне имя Густава Шрерса.

Вместе с коммунистами в антигитлеровском Сопротивлении участвовали честные люди различных взглядов и убеждений. Подпольную работу среди верующих вел берлинский священник и профессор теологии Дитрих Бонхёфер. Арестованный в 1943 году, он был брошен в гестаповскую тюрьму на Принц-Альбрехт-штрассе в Берлине, позже переведен в лагерь смерти Флоссенбюрг, где его казнили 9 апреля 1945 года, за месяц до освобождения Германии.

Немецких узников Берген-Бельзена в нашей подборке представляет поэт Герман Адлер, уроженец Нюрнберга, по профессии учитель. В 1941 году Адлер был заточен в вильнюсское гетто, бежал, принимал участие в варшавском восстании, сидел в Берген-Бельзене. Поэт жив. После войны он поселился в Швейцарии, в Базеле.

Может быть, стихотворение Адлера «Вороны» покажется слишком безысходным: здесь говорится не столько о борьбе, сколько о муках, которые выпали на долю узников. Но я включил эти стихи в подборку с известным умыслом. Меня привлекло самое слово «вороны». Ведь речь идет о том самом эсэсовском «воронье», о тех самых стервятниках, которые в Западной Германии так бессовестно избавлены от справедливого возмездия. Вороны, некогда кружившие над Освенцимом, над Дахау, Бухенвальдом и Берген-Бельзеном, сегодня проникли во все важнейшие ведомства ФРГ, они задают тон, далеко разносится их зловещее карканье.

Пусть же суровые и скорбные стихи поэтов-узников неумолимо будят нашу память...

Найдено в лагере смерти Заксенхаузен

«...Только что мы узнали о том, что в большой лагерь вновь привезли на казнь 400 *красногвардейцев*. Мы все потрясены этими убийствами, число которых перевалило за тысячу. Пока мы не в состоянии чем-нибудь помочь товарищам. Обстановка в нашем лагере еще очень неясная, нет еще необходимого единства, но мы — коммунисты — делаем все для того, чтобы устранить трудности. Настроение среди членов партии бодрое и уверенное...»

19 сентября 1941 года.

■ ■ ■

Подобно акробату
(Нам души страх изгрыз),
Идем, как по канату,
Боясь сорваться вниз.

Лавируем, не знаем,
Куда верней шагнуть...
Но, тверд и несгибаем,
Ты подсказал нам путь.

«Друзья! Не только выжить —
Важней задача есть:
Не дать из сердца выжечь
Достоинство и честь.

Пред сильными не гнуться,
А слабых не топтать.
Не попросту вернуться,
А в строй бойцами встать!»

К нам силы возвращались —
Мы верили тебе,
Мы снова приобщались
К надежде и к борьбе.

Тебя вели на пытки,
Глумились над тобой,
Но мужеством в избытке
Ты наделен судьбой.

Как дом прочнейшей кладки,
Что не сломить вовек,
Ты — в драной полосатке,
Обычный человек.

Твое услышав слово,
Здесь, средь кромешной тьмы,
Не умереть готовы,
А жить готовы мы,

Забыв тоску и усталь,
Сквозь ночь и смерть пройдем...
Нет, мы, товарищ Густав,
Тебя не подведем!

В глухом тюремном блоке,
В последний смертный час
Свободы свет далекий
Ты сохранил для нас...

Стихотворение, написанное в Дахау

■ ■ ■

Вышка, проволока, рвы —
Немота вокруг,
Но не вешай головы,
Дорогой мой друг!..

Стоя над могильным рвом,
Смерти плюй в лицо...
Выйдем! Выживем! Прорвем
Страшное кольцо!..

Вороны

Кто нам сомкнет неподвижные веки,
Ласковой кто их прикроет рукой?..
Вы, кто лишил нас покоя навеки,
Дайте хотя бы нам вечный покой.
Здесь, где мы в польских снегах изнывали,
Здесь, где нас гетто душило в петле,
Вы, кто нам жить на земле не давали,
Дайте хотя бы нам место в земле!..

В небеса уставясь тупо,
Смотрят очи мертвецов.
И летит на запах трупов
Воронье со всех концов.
Воронья-то! Воронья-то!
Стай бесчисленных полет...
Старый ворон воровато
В мертвый лоб меня клюет.

Ночь над концлагерем солнце затмила.
Вера — обман и надежда — вранье.
Где же вы, голуби, вестники мира?
Или на свете одно воронье?

Сбыться ль надежде? Свершиться ли чуду?
Долго ли будет нас ужас томить?..
Вороны, вороны, вороны всюду;
Хватит ли трупов, чтоб их прокормить?..

В небеса уставясь тупо.
Смотрят очи мертвецов.
И летит на запах трупов
Воронье со всех концов.
Воронья-то! Воронья-то!
Стай бесчисленных полет...
Старый ворон воровато
В мертвый лоб меня клюет...

ГЕРМАН АДЛЕР

В концлагере Флоссенбюрг

Серый, бледный рассвет сквозь решетку
Ко мне заглянул.
Вегер горячей рукою
Погладил меня.
Издалека доносится в камеру гул
Наступившего дня.
Летний день... летний день... Может, именно он
Станет днем моей смерти, моих похорон?
Между тем
Раздаются шаги за стеной...
Я весь обмер.
Затих...
Неужели за мной?

Нет,
В соседней камере звякнул засов...
Лают в несколько голосов:
— Выходи! Выходи! Выходи!..
О, как ёкнуло сердце в груди.
— Мужайся, товарищ! Мужайся, друг!..
Скоро, скоро
Сомкнется круг...

...Повели его коридором.
Вот идет человек-кремень,
Проникая гаснущим взором
Сквозь сегодняшний —
В завтрашний день.

Он взывает ко мне,
Веру в братство храня:
«Отомсти за меня! Доживи за меня!»

И я слышу последнее слово его
И живу,
Не страшась никого,
Ничего!..

ДИТРИХ БОНХЁФЕР

Бухенвальдская песня

Скоро ночь пройдет — солнце нить прядет,
Ночь уйдет восвояси, а день придет.
Отопрут конвоиры ворота.
Небо красное, черный лес высок.
А в мешке моем черствого хлеба кусок,
А на сердце — забота, забота.

Духота в бараке, что жар печной.
Но когда ветерок налетит ночной,
Мне моя девчоночка снится.

Обещает ждать, говорит: «Люблю»...
Я киркою треклятые камни долблю,
А любовь в моем сердце теснится...

А как долог день! А как ночь коротка!
И давно бы сглодала нам душу тоска,
Если б голос не слышался с воли:
«Эй, приятель, не хнычь! Эй, товарищ,
держись!».
Не убить им в сердцах наших веру в жизнь!
Не убить, не сломить нашей воли!

О, Бухенвальд, тебя навек запомню —
Ты стал моей судьбой.
Будь прокляты твои каменоломни!
Но день придет — простимся мы с тобой.
И скажем, вспоминая эти годы,
Из тьмы могильной вырвавшись на свет,—
Нет ничего прекраснее свободы
И ничего дороже в мире нет!..

РОБЕРТ ШЕКЛИ

Если правда, что настоящий писатель является рупором общественной совести, то такое определение приложимо и к современному западному писателю-фантасту. Сразу оговоримся, что речь здесь пойдет именно о настоящей литературе, об уровне Брэдбери, Абэ, Пристли, а не о романах, описывающих похождения межпланетных тарзанов или войны мятежных наместников Магеллановых Облаков против галактических императоров.

До последнего времени некоторые критики утверждали, будто американские, английские, японские фантасты видят свое назначение в выполнении социальных заказов империализма, ставят перед собой задачу разложить душу читателя, напугать его до полусмерти, демобилизовать перед силами социального зла «и вообще лить воду на мельницу». При этом, как правило, ссылаются на то обстоятельство, что действие фантастического произведения происходит в будущем, а будущее это столь неприглядно, что жить не хочется. «Для чего страдать, для чего бороться,— восклицает, по мнению указанных критиков, читатель,— если в будущем вся наша планета погибнет в пламени ядерной войны или, в лучшем случае, правительство запретит книги, узаконит убийства из-за угла и ввяжется в бессмысленную свару с марсианами?» Если этот гипотетический читатель хоть в какой-то мере сходен с читателем реальным, то писатели-фантасты действительно оказываются в двусмысленном положении. Главное, нельзя не признать, что соображения указанных критиков не лишены некоторых оснований. Когда речь идет о псевдолитературе, которую мы с самого начала условились исключить из рассмотрения, эти соображения протеста вызвать не могут. Действительно, литературная серость и скудомыслие опасны уже сами по себе, а когда вдобавок в ход идет безграмотный антисоветский бред, детальное описание патологических гнусностей, порнография, опасность возрастает стократно. Но, как это часто случается, упомянутые критики норовят выплеснуть вместе с очень грязной водой и ребенка, ведь нельзя же отказываться от англо-американской фантастики только потому, что некоторые известные писатели оглушены антикоммунистической пропагандой.

Между тем, как правило, настоящие писатели-фантасты за рубежом являются нашими союзниками в идеологической борьбе. Кингсли Эмис, большой знаток западной фантастики, заметил в своей превосходной книге «Новые карты ада», что фантастическая литература несет на себе яркий отпечаток радикализма. И это еще, пожалуй, мягко сказано. Объективно — а зачастую и по убеждениям — многие зарубежные фантасты воюют против тех, против кого воюем мы. И отлично воюют! Как остро высмеял американскую военщину автор «Пана Сатируса», какую едкую сатиру на современную Америку представляет собой повесть «Странствия Джона», и недаром же аме-

риканские фашисты в разгар предвыборной борьбы, когда Голдуотер рвался к власти, сожгли дом Рэя Брэдбери! Западная фантастика в лучших своих книгах неустанно борется за изменение действительности, она снова и снова атакует то, что называется западным образом жизни, самые скверные и опасные его проявления, начиная с военных и политических институтов и кончая индивидуализмом, эгоизмом, пошлостью, одним словом — мещанством. Перенесение действия в будущее, которое так смущает осторожных критиков, является для фантастики лишь приемом, позволяющим автору выделить объект атаки в чистом и созревшем виде, своего рода увеличительным стеклом для рассматривания едва еще наметившихся, но могущих иметь грозные последствия тенденций. Современное фантастическое произведение — это зеркало настоящего, а не загляд в будущее. Что же до способности этого зеркала правильно отражать действительность, то тот же Кингсли Эмис рекомендовал марсианским разведгруппам, высадившимся на нашей планете, не приниматься за составление отчетного доклада, не познакомившись предварительно с хорошими фантастическими произведениями.

Каждый, кто знаком с зарубежной фантастикой, согласится, что для писателей-фантастов перенос действия в будущее является лишь удобным приемом для выполнения задач, никак не связанных с попытками прорицания или предвидения. Исключение составляет разве что англичанин Артур Кларк, который сознательно поставил перед собой задачу добросовестно, ни на йоту не отклоняясь от духа и буквы современных научных знаний, нарисовать правдоподобные картины ближайшего будущего человечества. Но Рэй Брэдбери переносит действие своей повести в будущее, чтобы выразить ужас и ненависть, которые внушает ему антигуманизм современной американской цивилизации. Айзек Азимов (если озорная прихоть не толкает его на создание романов о космических ковбоях) исследует этим приемом социально-психологические аспекты развития науки. Кобо Абэ демонстрирует растущий разрыв между ушедшей далеко вперед организованной научной мыслью и косной, от века неподвижной мещанской психологией. А вот для Роберта Шекли, как это можно видеть хотя бы из публикуемой подборки его рассказов, перенос действия в будущее — прием для создания гротеска, сатиры, жуткой в своей убедительности карикатуры на ненавистные ему стороны жизни.

Шекли был замечен читателями и прессой после опубликования первых же рассказов. Как писала о нем «Нью-Йорк геральд трибюн», «за последние годы никому еще не удавалось так стремительно вырваться в первые ряды литературы». Этим возвышением он обязан своему яркому и живому воображению, способностью создавать острые сюжеты, умением передать читателю свой гнев и свою боль. А главное, пожалуй, было в том, что самые неправдоподобные ситуации, в которые Шекли ставил своих героев, всегда — и порой совершенно неожиданно — ассоциировались у читателя с реальными, привычными до незаметности явлениями окружающего мира. Очень, очень знакомые вещи просвечивают сквозь подержанные ракеты, доставляющие переселенцев на необжитые планетоиды; сквозь законы, легализующие свободную охоту на людей; сквозь тир с живыми мишенями и проститутку с искусственно внушенной любовью; сквозь крошечную колонию на забытой планете, где представление о цивилизации связано с тюрьмой, полицией, преступностью. И, перевернув последнюю страницу, читатель с новой, болезненной отчетливостью видит то, что уже примелькалось, притупилось, забылось. Безработного, путешествующего по стране в стареньком «фордике». Гангстеров, торгующих наркотиками и смертью. И практических людей, деловых людей, крайне озабоченных тем, чтобы обеспечить молодежи заморские прогулки с автоматом наперевес... Почти каждый рассказ Шекли — это воззвание к читателям, к соотечественникам: «Думай! Оглянись во гневе!»

Одна из последних его книг, повесть «Странствия Джона», представляет собой настоящую сатирическую энциклопедию американской жизни. Гротеск в ней обнажен, вещи называются своими именами, наследие Анатоля Франса и Акутагавы освоено полностью. Простак Джон, покинувший родной островок на южных морях, отправляется путешествовать по Соединенным Штатам Америки. Обыкновенное дело: человек ищет истину. И вот — столкновение с тупым и кровожадным чином из комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Встреча с полицейским, бывшим бандитом, который расстреливает прохожих за нарушение правил уличного движения.

Беседы с профессорами, воображающими, будто они стоят вне всякой политики. С вездесущими и глупыми агентами всевозможных американских разведок. С военными, поставившими свою страну и весь мир на край атомной катастрофы... Одного только не увидел простак Джон (и Роберт Шекли) ни в своей стране, ни во всем мире: силы, которая способна противостоять всем этим чудовищам, рожденным дремотой общественного разума, и вывести человечество в светлое завтра. Почему?

В прошлом году сотрудница японского журнала научной фантастики Оби навестила в Бостонском университете Айзека Азимова. В ходе беседы она задала Азимову вопрос: «Что вы думаете о советской фантастике?»

— Я читал всего несколько произведений,— ответил Азимов,— и то в переводах. Интересно то, что советская фантастика, в отличие от других фантастических литератур мира, не испытывает влияния американской фантастики. Она описывает общество, совершенно отличное от нашего. Я родился в России, и мне кажется, я мог бы полюбить русскую фантастику. Но для человека, привыкшего смотреть на вещи с американской точки зрения, оптимистическое видение современного общества неприемлемо. Я использую фантастику для критики общества. Так же поступают в общем и все другие американские фантасты. Мы считаем, что поразительные достижения современной науки могут привести к уничтожению человечества. А вот советская фантастика оптимистична. Она полагает, будто прогресс науки рано или поздно приведет человечество к огромному расцвету. Мы думали так лет пятьдесят назад. Я тоже раньше был таким же оптимистом. Но сейчас я познал ужас перед тем, что создает наука...

(Заметим тут же, что Азимов совершенно правильно определил оптимизм как отличительную черту советской фантастики. Но он ошибся в другом. Советская фантастика никогда не полагала, будто прогресс науки сам собой приведет человечество к процветанию. Советская фантастика всегда утверждала, что все дело в том, в чьих руках наука находится.)

Затем Азимов добавил:

— Меня не покидает сложное ощущение, что, живи я в Советском Союзе, я бы тоже писал такие произведения. Это ощущение неотступно преследует меня всякий раз, когда я читаю советское фантастическое произведение...

Возможно, эта тоска по оптимизму, испытываемая ученым и писателем Азимовым, свойственна и Шекли. А возможно, что и нет. Ясно одно: «Для человека, привыкшего смотреть на вещи с американской точки зрения, оптимистическое видение современного общества невозможно».

А. Стругацкий, Б. Стругацкий

ОРДЕР НА УБИЙСТВО

Том Рыбак никак не предполагал, что его ждет карьера преступника. Было утро. Большое красное солнце только что поднялось над горизонтом вместе с плетущимся за ним маленьким желтым спутником. Крохотная, аккуратная деревушка — диковинная белая точка на зеленом пространстве планеты — поблескивала в летних лучах своих двух солнц.

Том только что проснулся у себя в домике. Том был высокий молодой мужчина с дубленной солнцем кожей, унаследовавший продолговатый разрез глаз от своего отца и простодушное нежелание обременять себя работой — от своей матери. Том не спешил: до осенних дождей не рыбачат, а значит, и настоящей работы для рыбака нет. До осени он намерен был немного поваландаться и починить рыболовную снасть.

— Да говорят же тебе: крыша должна быть красная! — донесся до него с улицы голос Билли Маляра.

— У церквей никогда не бывает красных крыш! — кричал в ответ Эд Ткач.

Том нахмурился. Он совсем было позабыл о переменах, которые произошли в деревне за последние две недели, поскольку лично его они никак не касались. Он надел штаны и неторопливо зашагал на деревенскую площадь.

Там ему сразу бросился в глаза большой новый плакат, гласивший:

ЧУЖДЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
ДОСТУП В ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА ЗАПРЕЩЕН

Никаких чуждых элементов на всем пространстве планеты Новый Дилавер не существовало. На ней росли леса и стояла только эта одна-единственная деревушка. Плакат имел чисто риторическое значение, выражая определенную политическую тенденцию.

На площади помещались: церковь, тюрьма и почта. Все три здания были воздвигнуты в течение последних двух сумасшедших недель в результате бешеной деятельности и поставлены аккуратно в ряд, фасадами на площадь. Никто не знал, что с ними делать — деревня уже свыше двух столетий недурно обходилась и без них. Но теперь, само собой разумеется, их необходимо было построить.

Эд Ткач стоял перед только что воздвигнутой церковью и прищурившись глядел вверх. Билли Маляр с опасностью для жизни балансировал на крутом скате церковной крыши, рыжеватые его усы возмущенно топорщились. Внизу собралась небольшая толпа.

— Да пошел ты к черту! — сердился Билли Маляр.— Говорят тебе, я как раз только на прошлой неделе все это прочел Белая крыша — пожалуйста. Красная крыша — ни в коем случае.

— Нет, ты что-то путаешь,— сказал Ткач.— Как ты считаешь, Том?

Том пожал плечами; у него не было своего мнения на этот счет. И тут, откуда ни возьмись, весь в поту, появился мэр. Полы незаправленной рубахи свободно колыхались вокруг его большого живота.

— Слезай! — крикнул он Билли.— Я все нашел в книжке. Там сказано: *маленькое красное школьное здание*, а не *церковное здание*.

У Билли был очень рассерженный вид. Он вообще был человек раздражительный. Все Маляры народ раздражительный. Но с тех пор как мэр на прошлой неделе назначил Билли Маляра начальником полиции, у Билли окончательно испортился характер.

— Но у нас же ничего такого нет. Нет этого самого — маленького школьного здания,— продолжал упорствовать Билли, уже наполовину спустившись с лестницы.

— А вот мы его сейчас и построим, — сказал мэр.— И придется поторопиться.

Он глянул на небо. Невольно все тоже поглядели вверх. Но там пока еще ничего не было видно.

— А где же эти ребята, где Плотники? — спросил мэр.— Сид, Сэм, Марв — куда вы подевались?

Из толпы высунулась голова Сида Плотника. Он все еще ходил на костылях, с тех пор как свалился в прошлом месяце с дерева, когда доставал яйца из птичьих гнезд. Все Плотники были не мастера лазать по деревьям.

— Остальные ребята сидят у Эда Пиво,— сказал Сид.

— Конечно, где же им еще быть! — прозвучал в толпе возглас Мэри Паромщицы.

— Ладно, позови их,— сказал мэр.— Нужно построить маленькое школьное здание, да побыстрей. Скажи им, чтобы строили рядом с

тюрьмой.— Он повернулся к Билли Маляру, который уже спустился на землю.— А ты, Билли, покрасишь школьное здание хорошей яркой красной краской. И снаружи, и изнутри. Это очень важно.

— А когда я получу свою полицейскую бляху? — спросил Билли.— Я читал, что все начальники полиции носят бляхи.

— Сделай ее себе сам,— сказал мэр. Он вытер лицо подолом рубахи.— Ну и жарища. Что бы этому инспектору прибыть зимой... Том! Том Рыбак! У меня есть очень важное поручение для тебя. Пойдем, я тебе сейчас все растолкую.

Мэр обнял Тома за плечи, они пересекли пустынную рыночную площадь и по единственной мощеной улице направились к дому мэра. В былые времена дорожным покрытием служила здесь хорошо слежавшаяся грязь. Но былые времена кончились две недели назад, и теперь улица была вымощена битым камнем. Ходить по ней босиком стало так неудобно, что жители деревни предпочитали лазать друг к другу через забор. Мэр, однако, ходил по улице — для него это было делом чести.

— Послушайте, мэр, ведь я сейчас отдыхаю...

— Какой сейчас может быть отдых? — сказал мэр.— Только не сейчас. Он ведь может появиться в любой день.

Мэр пропустил Тома вперед, они вошли в дом, и мэр плюхнулся в большое кресло, придвинутое почти вплотную к межпланетному радио.

— Том,— без проволочки приступил мэр к делу,— как ты насчет того, чтобы стать преступником?

— Не знаю,— сказал Том.— А что такое преступник?

Беспокойно поерзав в кресле, мэр сказал, положив руку для придания себе авторитета на радиоприемник.

— Это, понимаешь ли, вот что... — и принялся разъяснять.

Том слушал, слушал, и чем дальше, тем меньше ему это нравилось. А во всем виновато межпланетное радио, решил он. Жаль, что оно и в самом деле не сломалось.

Никто не верил, что оно когда-нибудь может заговорить. Один мэр сменял другого, одно поколение сменялось другим, а межпланетное радио стояло и покрывалось пылью в конторе — последнее безмолвное звено, связующее их планету с Матерью-Землей. Двести лет назад Земля разговаривала с Новым Дилавером, и с Фордом IV, и с альфой Центавра, и с Новой Испанией, и с прочими колониями, входившими в Содружество Демократий Земли. А потом все сообщения прекратились.

На Земле, по-видимому, шла война. Новый Дилавер с его единственной деревушкой был слишком мал и слишком далек, чтобы принимать в ней участие. Дилаверцы ждали известий, но никаких известий не поступало. А потом в деревне начался мор и унес в могилу три четверти населения.

Мало-помалу деревня оправилась. Жители приспособились, приобрели свой особый уклад жизни, который постепенно стал для них привычным. Они позабыли про Землю.

Прошло двести лет.

И вот две недели назад древнее радио закашляло и возродилось к жизни. Час за часом оно урчало и плевалось атмосферными помехами, а вся деревня столпилась на улице вокруг дома мэра.

Наконец стали различимы слова:

— ...ты слышишь меня? Новый Дилавер! Ты меня слышишь?

— Да, да, мы тебя слышим,— сказал мэр.

— Колония все еще существует?

— А то как же! — горделиво отвечал мэр.

Голос стал строг и официален:

— В течение некоторого времени из-за неустойчивости внутреннего положения мы не поддерживали контакта с нашими Внеземными Коло-

ниями. Но теперь с этим покончено, осталось навести кое-где порядок. Вы, Новый Дилавер, по-прежнему являетесь колонией Империи Земли и, следовательно, должны подчиняться ее законам. Вы подтверждаете этот статус?

Мэр смутился. Во всех книгах Земля упоминалась как Содружество Демократий. Но, в конце концов, за два столетия название могло перемениться.

— Мы по-прежнему верны Земле,— с достоинством отвечал мэр.

— Отлично. Это освобождает нас от необходимости посылать экспедиционный корпус. С ближайшей планеты к вам будет направлен инспектор-резидент, чтобы проверить, действительно ли вы придерживаетесь обычаев, установлений и традиций, принятых на Земле.

— Как вы сказали? — обеспокоенно спросил мэр.

Строгий голос взял октавой выше:

— Вы, разумеется, отдаете себе отчет в том, что во Вселенной есть место только для одного разумного существа — для Человека! Все остальное должно быть уничтожено раз и навсегда. Мы не потерпим проникновения к нам каких бы то ни было чуждых элементов. Надеюсь, вы меня понимаете, Генерал?

— Я не генерал. Я — мэр.

— Вы возглавляете, не так ли?

— Да, но...

— В таком случае вы — Генерал. Разрешите мне продолжать. В нашей Галактике не может быть места чуждым элементам. Это исключено! Совершенно так же в ней не может быть места какой бы то ни было человеческой культуре, хоть чем-либо отличающейся от нашей и, следовательно, нам чуждой. Невозможно управлять Империей, если каждый будет делать что ему заблагорассудится. Порядок должен быть установлен — любой ценой.

Мэр судорожно глотнул воздух и впился глазами в радио.

— Помните, что вы управляете колонией Земли, Генерал, и не должны допускать никаких отклонений от нормы, никакого радикализма, наподобие свободы воли, свободы любви, свободных выборов или еще чего-либо, внесенного в проскрипционные списки. Все это нам чуждо, а ко всему чуждому мы будем беспощадны. Наведите у себя в колонии порядок, Генерал. Инспектор прибудет к вам в течение ближайших двух недель. Это все.

В деревне был срочно созван митинг: требовалось немедленно решить, как наилучшим образом выполнить наказ Земли. Сошлись на том, что нужно со всей возможной быстротой перестроить привычный уклад жизни на земной манер в соответствии с древними книгами.

— Что-то я никак в толк не возьму, зачем нам преступник,— сказал Том.

— На Земле преступник играет чрезвычайно важную роль в жизни общества,— объяснил мэр.— На этом все книги сходятся. Преступник не менее важен, чем, к примеру, почтальон. Или, скажем, начальник полиции. Только разница в том, что действия преступника должны быть антисоциальны. Он должен действовать во вред обществу, понимаешь, Том? А если у нас никто не будет действовать во вред обществу, как мы можем заставить кого-нибудь действовать в его пользу? Тогда все это будет ни к чему.

Том покачал головой:

— Все равно не понимаю я, зачем это нужно.

— Не упрямься, Том. Мы должны все устроить на земной манер. Взять хотя бы эти мощеные дороги. Во всех книгах про них написано. И про церкви, и про школы, и про тюрьмы. И во всех книгах написано про преступников.

— А я не стану этого делать,— сказал Том.

— Встань же ты на мое место! — взмолился мэр.— Появляется инспектор и встречает Билли Маляра, нашего начальника полиции. Инспектор хочет видеть тюрьму. Он спрашивает: «Ни одного заключенного?» А я отвечаю: «Конечно, ни одного. У нас здесь преступлений не бывает». «Не бывает преступлений? — говорит он.— Но во всех колониях Земли всегда совершаются преступления. Вам же это хорошо известно». «Нам это не известно,— отвечаю я.— Мы даже понятия не имели о том, что значит это слово, пока на прошлой неделе не поглядели в словарь». «Так зачем же вы построили тюрьму?— спросит он меня. — Для чего у вас существует начальник полиции?»

Мэр умолк и перевел дыхание.

— Ну, ты видишь? Все пойдет прахом. Инспектор сразу поймет, что мы уже не настоящие земляне. Что все это для отвода глаз. Что мы *чуждый элемент!*

— Хм,— хмыкнул Том, невольно подавленный этими доводами.

— А так,— быстро продолжал мэр,— я могу сказать: разумеется, у нас есть преступления — совсем как на Земле. У нас есть вор и убийца в одном лице — комбинированный вор-убийца. У бедного малого были дурные наклонности, и он получился какой-то неуравновешенный. Однако наш начальник полиции уже собрал улики, и в течение ближайших суток преступник будет арестован. Мы запрячем его за решетку, а потом амнистируем.

— Что это значит — амнистируем? — спросил Том.

— Не знаю точно. Выясню со временем. Ну, теперь ты видишь, какая это важная птица — преступник?

— Да, похоже, что так. Но почему именно я?

— Все остальные мне нужны для других целей. И кроме того, у тебя узкий разрез глаз. У всех преступников узкий разрез глаз.

— Не такой уж у меня узкий. Не у́же, чем у Эда Ткача.

— Том, прошу тебя,— сказал мэр.— Каждый из нас делает что может. Ты же хочешь нам помочь, так или нет?

— Хочу конечно,— неуверенно сказал Том.

— Вот и прекрасно. Ты будешь наш городской преступник. Вот, смотри, все будет оформлено по закону.

Мэр протянул Тому документ. В документе было сказано:

«ОРДЕР НА УБИЙСТВО. К всеобщему сведению. Предъявитель сего, Том Рыбак, официально уполномочивается *осуществлять воровство и убийство.* В соответствии с этим ему надлежит *укрываться от закона в темных закоулках, околачиваться в местах, пользующихся дурной славой, и нарушать закон».*

Том перечел этот документ дважды. Потом спросил:

— Какой закон?

— Это я тебе сообщу, как только я его издам,— сказал мэр.— Все колонии Земли имеют законы.

— Но что я все-таки должен делать?

— Ты должен воровать. И убивать. Это не так уж трудно.— Мэр подошел к книжному шкафу и достал с полки старинный многотомный труд, озаглавленный: «Преступник и его среда. Психология убийцы. Исследование мотивов воровства».

— Здесь ты найдешь все, что тебе необходимо знать. Воруй на здоровье, сколько влезет. Ну, а насчет убийств — один раз, пожалуй, будет достаточно. Тут перестараться тоже не след.

Том кивнул.

— Правильно. Может, я и разберусь что к чему.

Он взял книги в охапку и пошел домой.

День был нестерпимо жаркий, и весь этот разговор о преступлениях очень его утомил и расстроил. Том улегся на кровать и принялся изучать древние книги.

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Том, протирая усталые глаза.

Марв Плотник, самый старший и самый длинный из всех длинных рыжеволосых братьев Плотников, появился в дверях в сопровождении старика Джеда Фермера. Они несли небольшую торбу.

— Ты теперь городской преступник, Том? — спросил Марв.

— Похоже, что так.

— Тогда это для тебя. — Они положили торбу на пол и вынули оттуда маленький топорик, два ножа, гарпун, палку и дубинку.

— Что это вы принесли?— спросил Том, спуская ноги с кровати.

— Оружие принесли, а по-твоему, что? — раздраженно сказал Джед Фермер.— Какой же ты преступник, если у тебя нет оружия?

Том почесал в затылке:

— Это ты точно знаешь?

— Тебе бы самому пора разобраться в этом деле,— все так же ворчливо сказал Фермер.— Не жди, что мы все будем делать за тебя.

Марв Плотник подмигнул Тому:

— Джед злится, потому что мэр назначил его почтальоном.

— Я свой долг исполняю,— сказал Джед.— Противно только писать самому все эти письма.

— Ну уж не так это, думается мне, трудно, — ухмыльнулся Марв Плотник.— А как же почтальоны на Земле справляются? Им куда больше писем написать надо, сколько там людей-то! Ну, желаю удачи, Том.

Они ушли.

Том склонился над оружием, чтобы получше его рассмотреть. Он знал, что́ это за оружие: в древних книгах про него много было написано. Но в Новом Дилавере практически еще никто никогда не пускал в ход оружия. Единственные животные, обитавшие на планете,— маленькие безобидные пушистые зверьки, убежденные вегетарианцы,— питались одной травой. Обращать же оружие против своих земляков — такого, разумеется, никому еще не приходило в голову.

Том взял один из ножей. Нож был холодный. Том потрогал кончик ножа. Он был острый.

Том встал и зашагал из угла в угол, поглядывая на оружие. И каждый раз, как он на него глядел, у него противно холодело в животе. Он подумал, что слишком поспешил взяться за это поручение.

Впрочем, пока особенно беспокоиться не о чем. Ведь сначала ему надо прочитать все эти книги. А тогда, быть может, он еще докопается, какой во всем этом смысл.

■

Он читал несколько часов подряд — оторвался от чтения только раз, чтобы слегка перекусить: Книги были написаны очень толково. Разнообразные методы, применяемые преступниками, разбирались весьма подробно и вполне доступно, иной раз даже с диаграммами. Однако все в целом выглядело совершенно бессмысленно. Для чего нужно совершать преступления? Кому от этого польза? Что может это дать людям?

На эти вопросы книги не давали ответа. Том перелистывал страницы, разглядывал фотографии преступников. У них был очень серьезный, сосредоточенный вид; казалось, они в полной мере сознают значение своей роли в обществе. Тому очень бы хотелось понять, в чем же это значение. Быть может, тогда все бы прояснилось.

— Том? — раздался за окном голос мэра.

— Я здесь, мэр,— отозвался Том.

Дверь приотворилась, и мэр просунул голову в комнату. Из-за его спины выглядывали Джейн Фермерша, Мэри Паромщица и Элис Повариха.

— Ну так как же, Том? — спросил мэр.

— Что — как же?

— Когда думаешь начать?

Том смущенно улыбнулся.

— Да вот собираюсь,— сказал он.— Читаю книжки, разобраться хочу...

Три почтенные дамы уставились на него, и Том умолк в замешательстве.

— Ты попусту тратишь время,— сказала Элис Повариха.

— Все работают, никто не сидит дома,— сказала Джейн Фермерша.

— Неужто так трудно что-нибудь украсть? — вызывающе крикнула Мэри Паромщица.

— Это верно, Том,— сказал мэр.— Инспектор может пожаловать к нам в любую минуту, а у нас до сих пор нет ни одного преступления. Нам ему и предъявить будет нечего.

— Хорошо, хорошо,— сказал Том.

Он сунул нож и дубинку за пояс, взял торбу, чтобы было куда класть награбленное, и вышел из дому.

Но куда направиться? Было около трех часов пополудни. Рынок — по сути дела, наиболее подходящее место для кражи, будет пустовать до вечера. К тому же Тому очень не хотелось воровать при свете дня. Это выглядело бы как-то непрофессионально.

Он достал свой ордер, предписывавший ему совершать преступления, и перечитал его еще раз от начала до конца. «...надлежит *укрываться от закона в темных закоулках, околачиваться в местах, пользующихся дурной славой...*»

Все ясно! Он будет околачиваться в *пользующихся дурной славой местах*. Там он может выработать себе какой-нибудь план и настроиться на нужный лад. Вот только выбирать-то, собственно, было не из чего. В деревне имелся ресторан «Крошка», который держали две вдовые сестры, было «Местечко отдыха» Джефа Хмеля и, наконец, была таверна, принадлежавшая Эду Пиво.

Приходилось довольствоваться таверной.

■

Таверна помещалась в домике, мало чем отличавшемся от всех прочих домов деревни. Там была одна большая комната для гостей, кухня и жилые комнаты хозяев. Жена Эда стряпала и старалась поддерживать в помещении чистоту — насколько ей это позволяли боли в пояснице. Эд за стойкой разливал напитки. Эд был бледный, с сонными глазами и необыкновенной способностью тревожиться по пустякам.

— Здоро́во, Том,— сказал Эд.— Говорят, тебя назначили преступником.

— Да, назначили,— сказал Том.— Налей-ка мне перри-колы.

Эд Пиво нацедил Тому безалкогольного напитка из корнеплодов и беспокойно потоптался перед столиком, за которым сидел Том.

— Как же это так, почему ты сидишь здесь, вместо того чтобы красть?

— Я обдумываю,— сказал Том.— В моем ордере сказано, что я должен околачиваться в *пользующихся дурной славой местах*. Вот я и сижу здесь.

— Ну хорошо ли это с твоей стороны? — грустно спросил Эд Пиво.— Разве же моя таверна пользуется дурной славой, Том?

— Хуже еды, чем у тебя, не сыщешь во всей деревне,— пояснил Том.

— Я знаю. Моя старуха не умеет стряпать. Но у нас здесь все по-доброму, по-семейному. И людям нравится заглядывать к нам.

— Теперь все будет по-другому, Эд. Я объявляю твою таверну моей штаб-квартирой.

Плечи Эда Пиво уныло поникли.

— Вот и старайся доставить людям удовольствие,— пробормотал он.— Они уж тебя так отблагодарят! — Он вернулся за стойку.

Том продолжал размышлять. Его удивляло, что это дается ему с таким трудом. Чем больше он старался, тем меньше было толку. Но с мрачным упорством он продолжал свое.

Прошел час. Ричи Фермер, младший сынишка Джеда, заглянул в дверь.

— Ты уже стащил что-нибудь, Том?

— Нет пока,— отвечал Том, сгорбившись над столом и все еще стараясь думать.

Знойный день тихо угасал. Вечер начал понемногу заглядывать в маленькие, не слишком чистые окна таверны. На улице застрекотали сверчки, и первый ночной ветерок прошелестел верхушками деревьев в лесу.

Грузный Джордж Паромщик и Макс Ткач зашли пропустить по стаканчику глявы. Они присели к столику Тома.

— Ну, как дела? — осведомился Джордж Паромщик.

— Плоховато,— сказал Том.— Никак что-то не получается у меня с этим воровством.

— Ничего, ты еще освоишься,— как всегда неторопливо, серьезно и важно заметил Джордж Паромщик.— Уж кто-кто, а ты научишься.

— Мы в тебя верим, Том,— успокоил его Ткач.

Том поблагодарил их. Они выпили и ушли. Том продолжал размышлять, уставившись на пустой стакан.

Час спустя Эд Пиво смущенно кашлянул:

— Ты меня прости, Том, но когда же ты начнешь красть?

— Вот сейчас и начну,— сказал Том.

Он поднялся, проверил, на месте ли у него оружие, и направился к двери.

■

На рыночной площади уже шел обычный вечерний меновой торг, и товар грудами лежал на лотках или на соломенных циновках, разостланных на траве. Обмен производился без денег, и обменного тарифа не существовало. За пригоршню самодельных гвоздей можно было получить ведерко молока или двух рыб или наоборот — в зависимости от того, что кому хотелось променять или в чем у кого возникла нужда. Подсчитывать, что сколько стоит,— этим никто себя не утруждал. Это был единственный земной обычай, который мэру никак не удавалось ввести в деревне.

Когда Том Рыбак появился на площади, его приветствовали все.

— Воруешь понемногу, а, Том?

— Валяй, валяй, приятель!

— У тебя получится!

Ни одному жителю деревни еще не доводилось присутствовать при краже. Для них это был экзотический обычай далекой планеты Земли,

и им очень хотелось поглядеть, как это делается. Все бросили свои товары и устремились за Томом, жадно следя за каждым его движением.

Том обнаружил, что у него дрожат руки. Ему совсем не нравилось, что столько народу будет смотреть, как он станет красть. Надо поскорее покончить с этим, решил он. Пока еще у него хватает духу.

Он внезапно остановился перед грудой фруктов, наваленной на лотке миссис Мельник.

— Довольно сочные как будто,— небрежно проронил он.

— Свеженькие, прямо из сада,— сказала миссис Мельник. Это была маленькая старушка с блестящими глазками. Тому вдруг припомнилось, как она вела нескончаемые беседы с его матерью в те далекие годы, когда его родители были еще живы.

— Да, очень сочные с виду,— сказал он, жалея, что не остановился у какого-нибудь другого лотка.

— Хорошие, хорошие,— сказала миссис Мельник.— Только сегодня после обеда собирала.

— Он сейчас начнет красть? — отчетливо прозвучал чей-то шепот.

— Ясное дело. Следи за ним! — так же шепотом раздалось в ответ.

Том взял большой зеленый плод и принялся его рассматривать. Толпа затаила дыхание.

— И правда, очень сочный на вид,— сказал Том и осторожно положил плод на место.

Толпа вздохнула.

За соседним лотком стоял Макс Ткач с женой и пятью ребятишками. Сегодня они вынесли на обмен два одеяла и рубашку. Когда Том, за которым двигалась целая толпа, подошел к ним, они застенчиво заулыбались.

— Эта рубашка как раз тебе впору, — поспешил заверить его Ткач. Ему очень хотелось, чтобы народ разошелся и не мешал Тому работать.

— Хм,— промычал Том, беря рубашку.

Толпа выжидающе зашевелилась. Какая-то девчонка нервно хихикнула. Том крепко вцепился в рубашку и начал развязывать свою торбу.

— Постой-ка! — Билли Маляр протолкался сквозь толпу. На поясе у него уже поблескивала бляха — старая монета с Земли. Выражение его лица безошибочно свидетельствовало о том, что он находится при исполнении служебных обязанностей.

— Что ты делаешь с этой рубашкой, Том? — спросил Билли.

— Я?.. Просто взял поглядеть.

— Просто взял поглядеть, вот как? — Билли отвернулся, заложив руки за спину. Затем стремительно повернулся на каблуках и уставил на Тома негнущийся указательный палец.— А мне думается, что ты не просто взял ее поглядеть, Том. Мне думается, что ты собирался ее *украсть!*

Том ничего не ответил. Уличающая его торба была беспомощно зажата у него в руке, в другой руке он держал рубашку.

— Мой долг, как начальника полиции,— продолжал Билли,— охранять этих людей. Ты, Том, подозрительный субъект. Я считаю необходимым на всякий случай запереть тебя пока что в тюрьму для дальнейшего расследования.

Том понурил голову. Этого он не ожидал. А впрочем, ему было все равно.

Если его упрячут в тюрьму, с этим по крайней мере будет покончено. А когда Билли его выпустит, он сможет вернуться к своей рыбной ловле.

Внезапно сквозь толпу пробился мэр; подол рубахи развевался вокруг его объемистой талии.

— Билли! Ты что это делаешь?

— Исполняю свой долг, мэр. Том тут вел себя как-то подозрительно. А в книгах говорится...

— Я знаю, что говорится в книгах,— сказал мэр.— Я сам дал тебе эту книгу. Ты не можешь арестовать Тома. Пока еще нет.

— Так ведь у нас же в деревне нет другого преступника,— сокрушенно сказал Билли.

— А я чем виноват? — сказал мэр.

Билли упрямо поджал губы:

— В книге говорится, что полиция должна принимать предупредительные меры. Полагается, чтобы я мешал преступлению совершиться.

Мэр устало всплеснул руками.

— Билли, неужели ты не понимаешь? Нашей деревне необходимо иметь хоть какое-нибудь преступление на своем счету. И ты тоже должен нам в этом помочь.

Билли пожал плечами.

— Ладно, мэр. Я просто хотел исполнить свой долг.— Он отвернулся, шагнул в сторону, затем внезапно устремился к Тому.— А ты мне еще попадешься! Запомни: *преступление не доводит до добра.*— Он зашагал прочь.

— Больно уж ему хочется отличиться,— объяснил мэр.— Не обращай на него внимания, Том. Давай принимайся за дело, укради что-нибудь. Надо с этим кончать.

Том не отвечал и бочком протискивался сквозь толпу, держа курс на зеленый лес за околицей деревни.

— Ты куда, Том? — с тревогой спросил мэр.

— Я сегодня еще не в настроении воровать,— сказал Том.— Может, завтра вечером...

— Нет, Том, сейчас,— настаивал мэр.— Нельзя так без конца тянуть с этим делом. Давай начинай, мы все тебе поможем.

— Конечно поможем,— сказал Макс Ткач.— Ты укради эту рубашку, Том. Она же тебе как раз впору.

— А вот хороший кувшин для воды, гляди, Том!

— Смотри, сколько у меня тут орехов!

Том окинул взглядом лотки. Когда он потянулся за рубашкой Ткача, нож вывалился у него из-за пояса и упал на землю. В толпе сочувственно захихикали.

Том, покрываясь испариной и чувствуя, что он выглядит разиней, водворил нож на место. Он протянул руку, схватил рубашку и засунул ее в свою торбу. В толпе раздались одобрительные возгласы.

Том робко улыбнулся, и у него немного отлегло от сердца.

— Кажется, я помаленьку свыкнусь с этим делом.

— Еще как свыкнешься!

— Мы знали, что ты справишься!

— Укради еще что-нибудь, дружище!

Том прошелся по рынку, прихватил кусок веревки, пригоршню орехов и плетеную шляпу из травы.

— По-моему, хватит,— сказал он мэру.

— На сегодня достаточно,— согласился мэр.— Только это, ты ведь сам понимаешь, в счет не идет. Это все равно как если б люди сами тебе все отдали. Ты пока что вроде как практиковался.

— О-о! — разочарованно протянул Том.

— Но теперь ты знаешь, как это делается. В следующий раз тебе будет совсем легко.

— Может быть.

— И смотри не забудь про убийство.

— А это в самом деле необходимо? — спросил Том.

— К сожалению,— сказал мэр.— Но что поделаешь, наша колония существует уже свыше двухсот лет, а у нас еще не было ни одного убийства. Ни единого! А если верить летописям, во всех остальных колониях людей убивали почем зря!

— Похоже, что и нам тоже надо бы иметь хоть одно убийство,— согласился Том.— Ладно, я постараюсь.

Он направился домой. Толпа проводила его ободряющими возгласами.

■

Дома Том зажег фитильную лампу и приготовил ужин. Поев, он долго сидел в глубоком кресле. Он был недоволен собой. Нескладно у него получилось с этой кражей. Целый день он только и делал, что тревожился и колебался. Людям пришлось чуть ли не насильно совать ему в руки свои вещи, чтобы он в конце концов отважился их украсть.

Какой же он после этого вор?!

А что он может сказать в свое оправдание? Воровство и убийство— такие же необходимые занятия, как всякое другое. А если он никогда еще этим не занимался и никак не может взять в толк, зачем это нужно,— это еще не причина, чтобы делать порученное тебе дело тяп-ляп.

Том направился к двери. Была дивная, ясная ночь. Около дюжины ближайших звезд-гигантов ослепительно сверкали в небе. Рыночная площадь снова опустела, и в домах затеплились огоньки.

Теперь самое время красть!

При мысли об этом по спине у него пробежала дрожь. Он испытывал горделивое чувство. Вот как зреют преступные замыслы! Так должно совершаться и воровство — украдкой, под покровом глубокой ночи.

Том быстро проверил свое оружие, высыпал награбленное из торбы и вышел во двор.

На улице последние фитильные фонари были уже погашены. Том бесшумно пробирался через деревню. Он подошел к дому Роджера Паромщика. Большой Роджер оставил свою лопату снаружи, прислонив ее к стене дома. Том взял лопату. Он миновал еще несколько домов. Кувшин для воды, принадлежавший миссис Ткач, стоял на своем обычном месте, перед дверью. Том взял кувшин. На обратном пути ему попалась маленькая деревянная лошадка, забытая кем-то из детей на улице. Лошадка последовала за кувшином и лопатой.

Благополучно доставив награбленное домой, Том был приятно взволнован. Он решил совершить еще один набег.

На этот раз он возвратился с бронзовой дощечкой, снятой с дома мэра, с самой лучшей пилой Марва Плотника и серпом, принадлежавшим Джеду Фермеру.

— Недурно,— сказал себе Том. Он и в самом деле начинал осваивать свое новое ремесло. Еще один улов, и можно считать, что ночь не пропала даром.

На этот раз под навесом у Рона Каменщика он нашел молоток и стамеску, а возле дома Элис Поварихи подобрал плетеную камышовую корзину. Он уже собирался прихватить еще грабли Джефа Хмеля, когда услышал какой-то легкий шум. Он прижался к стене.

Билли Маляр тихонько крался по улице; его металлическая бляха поблескивала в свете звезд. В одной руке у него была зажата короткая тяжелая дубинка, в другой — пара самодельных наручников. В ночном полумраке лицо его выглядело зловеще. На нем была написана решимость любой ценой искоренить *преступление,* что бы это слово ни означало.

Том затаил дыхание, когда Билли Маляр прокрался в десяти шагах от него. Том тихонечко попятился назад.

Награбленная добыча звякнула в торбе.

— Кто здесь? — зарычал Билли. Не получив ответа, он начал медленно оборачиваться, впиваясь взглядом в темноту. Том снова распластался у стены. Он был уверен, что Билли его не заметит. У Билли было слабое зрение, потому что ему приходилось все время смешивать краски и пыль попадала ему в глаза. Все маляры отличаются слабым зрением. Вот почему они такие раздражительные.

— Это ты, Том? — самым дружелюбным тоном спросил Билли. Том хотел уже было ответить, но тут он заметил, что дубинка Билли занесена у него над головой. Он замер. — Я еще до тебя доберусь! — крикнул Билли.

— Слушай! Доберись до него утром! — крикнул Джеф Хмель, высовываясь из окна своей спальни.— Тут кое-кому из нас хотелось бы поспать.

Билли двинулся дальше. Когда он скрылся из глаз, Том поспешил домой и выгрузил свою добычу на пол, рядом с остальными трофеями. Он с гордостью поглядел на свой улов. Вид награбленного добра пробудил в нем сознание исполненного долга.

Подкрепившись стаканом холодной глявы, Том улегся в постель и мгновенно погрузился в глубокий мирный сон, не отягощенный никакими сновидениями.

■

На следующее утро Том пошел поглядеть, как подвигается строительство маленького красного школьного здания. Братья Плотники трудились над ним вовсю, кое-кто из крестьян помогал им.

— Как работка? — весело окликнул их Том.

— Отлично,— сказал Марв Плотник.— И спорилась бы еще лучше, будь у меня моя пила.

— Твоя пила? — недоумевающе повторил Том.

И тут же вспомнил — ведь это он украл ее ночью. Он как-то не воспринимал ее тогда как вещь, которая кому-то принадлежит. Пила, как и все остальное, была просто предметом, который надлежало украсть. Том ни разу не подумал о том, что этими предметами пользуются, что они могут быть кому-то нужны.

Марв Плотник спросил:

— Как ты считаешь, могу я взять обратно свою пилу на время? Часика на два?

— Я что-то не знаю,— сказал Том, нахмурившись.— Она ведь *юридически* украдена, ты сам понимаешь.

— Конечно, я понимаю. Да мне бы только одолжить ее на время...

— Но тебе придется отдать ее обратно. Вернуть ее.

— А то как же! Ясное дело, я ее верну,— возмущенно сказал Марв.— Стану я держать у себя то, что юридически украдено.

— Она у меня дома, вместе со всем награбленным.

Марв поблагодарил его и побежал за пилой.

Том не спеша пошел прогуляться по деревне. Он подошел к дому мэра. Мэр стоял во дворе и глядел на небо.

— Стащил мою медную дощечку, Том? — спросил он.

— Конечно стащил,— вызывающе ответил Том.

— О! Я просто поинтересовался.— Мэр показал на небо:— Вон видишь?

Том поглядел на небо:

— Где?

— Видишь черную точку рядом с маленьким солнцем?

— Вижу. Ну и что?

— Головой ручаюсь, что это к нам летит инспектор. Как у тебя дела?

— Хорошо,— несколько неуверенно сказал Том.

— Уже разработал план убийства?

— Тут у меня неувязка получается,— признался Том.— Сказать по правде, не подвигается у меня это дело.

— Зайдем-ка в дом. Мне надо поговорить с тобой, Том.

В прохладной, затененной ставнями гостиной мэр налил два стакана глявы и пододвинул Тому стул.

— Наше время истекает,— мрачно сказал мэр.— Инспектор может теперь прибыть в любую минуту. А у меня хлопот полон рот.— Он показал на межпланетное радио.— Оно опять говорило. Что-то насчет восстания на Денге IV и о том, что все не отпавшие от Земли колонии должны быть готовы провести мобилизацию — шут его знает, что это еще такое. Я отродясь не слыхал про какой-то там Денг IV, а вот, пожалуйста, должен беспокоиться о нем, как будто у меня без того мало забот.

Он сурово поглядел на Тома.

— На Земле преступники совершают десятки убийств ежедневно и никогда над этим не задумываются, а от тебя деревня ждет всего-навсего одного-единственного, самого крошечного убийства. Неужто это так трудно?

Том нервно потер руки:

— А вы это точно знаете, что без убийства нам никак нельзя обойтись?

— Ты сам знаешь, что нельзя,— сказал мэр.— Если мы хотим быть настоящими землянами, надо идти до конца. А убийство — единственное, в чем мы проявляем отсталость. Все прочее у нас как по расписанию.

Вошел Билли Маляр в новой форменной синей рубахе с блестящими металлическими пуговицами и плюхнулся на стул.

— Убил уже кого-нибудь, Том?

Мэр сказал:

— Он хочет знать, так ли это необходимо.

— Разумеется, необходимо,— сказал начальник полиции.— Прочти любую книгу. Какой же ты преступник, если не совершил ни одного убийства?

— Кого ты думаешь убить, Том? — спросил мэр.

Том беспокойно заерзал на стуле. Нервно хрустнул пальцами.

— Ну?

— Ладно, я убью Джефа Хмеля,— выпалил Том.

Билли Маляр быстро нагнулся вперед.

— Почему? — спросил он.

— Почему? А почему бы и нет?

— Какие у тебя мотивы?

— Я так считал, что вам просто нужно, чтобы было убийство,— возразил Том.— Никто ничего не говорил о мотивах.

— Липовое убийство нам не годится,— пояснил начальник полиции.— Убийство должно быть совершено по всем правилам. А это значит, что у тебя должен быть основательный мотив.

Том задумался.

— Ну, я, например, не очень-то близко знаю Джефа. Достаточный это мотив?

Мэр покачал головой:

— Нет, Том, это не годится. Лучше выбери кого-нибудь другого.

— Давайте подумаем,— сказал Том.— А если Джорджа Паромщика?

— А какие мотивы? — немедленно спросил Билли.

— Ну... хм... Мне, признаться, очень не нравится его походка. Давно уже не нравится. И шумный он какой-то бывает... иногда.

Мэр одобрительно кивнул.

— Это, пожалуй, подходит. Что ты скажешь, Билли?

— Как, по-вашему, могу я раскрыть преступление, совершенное по таким мотивам? — сердито спросил Билли.— Нет, это еще годилось бы, если бы ты убил его в *состоянии умопомрачения.* Но ты же должен убить по всем правилам, Том. И должен отвечать характеристике: хладнокровный, безжалостный, коварный убийца. Ты не можешь убить кого-то только потому, что тебе не нравится его походка. Это звучит глупо.

— Пожалуй, мне надо еще раз хорошенько все обдумать,— сказал Том вставая.

— Только думай не слишком долго,— сказал мэр.— Чем скорее с этим будет покончено, тем лучше.

Том кивнул и направился к двери.

— Да, Том! — крикнул Билли.— Не забудь оставить улики. Это очень важно.

— Ладно,— сказал Том и вышел.

Почти все жители деревни стояли на улице, глядя на небо. Черная точка выросла до огромных размеров. Она уже почти совсем закрыла собой маленькое солнце.

Том направился в свой *пользующийся дурной славой притон,* чтобы все продумать до конца. Эд Пиво, по-видимому, пересмотрел свое отношение к преступным элементам. Он переоборудовал таверну. Появилась большая вывеска, гласившая: ЛОГОВО ПРЕСТУПНИКА. Окна были задрапированы новыми добросовестно перепачканными грязью занавесками, затруднявшими доступ дневному свету и делавшими таверну поистине довольно *мрачным притоном.* На одной стене висело всевозможное наспех вырезанное из дерева оружие. На другой стене большая кроваво-красная клякса производила поистине зловещее впечатление, хотя Том и видел, что это всего-навсего краска, которую Билли Маляр приготавливает из ягод руты.

— Входи, входи, Том,— сказал Эд Пиво и повел гостя в самый темный угол. Том заметил, что в эти часы в таверне никогда не бывало столько народу. Людям, как видно, пришлось по душе, что они попали в настоящее *логово преступника.*

Потягивая перри-колу, Том принялся размышлять.

Он должен совершить убийство.

Он достал свой ордер и прочел его еще раз от начала до конца. Скверная штука, никогда бы он по доброй воле за такое не взялся, но закон обязывает его выполнить свой долг.

Том выпил перри-колу и постарался сосредоточиться на убийстве. Он сказал себе, что должен кого-нибудь *убить.* Должен *лишить кого-нибудь жизни.* Должен *отправить кого-нибудь на тот свет.*

Но что бы он себе ни говорил, это не выражало существа дела. Это были слова, и все. Чтобы получше привести в порядок свои мысли, Том решил взять для примера здоровенного, рыжеволосого Марва Плотника. Сегодня Марв, получив напрокат свою пилу, строит школьное здание. Если Том убьет Марва... Ну тогда Марв не будет больше строить.

Том нетерпеливо покачал головой. Нет, ему все никак не удавалось осознать это до конца.

Ну ладно. Вот, значит, Марв Плотник — самый здоровенный и, по мнению многих, самый славный из всех ребят Плотников. Вот он стругает доску, прищурившись, крепко ухватив рубанок веснушчатой рукой.

А сам уже, конечно, изнывает от жажды, а в левом плече у него свербит, так как мазь Яна Аптекаря никак ему не помогла.

Вот, это Марв Плотник.

А теперь...

Марв Плотник, опрокинутый навзничь, лежит на земле; остекленелые глаза его полуоткрыты, руки и ноги окоченели, рот скривился набок, он не дышит, сердце у него не бьется. Никогда уже больше не будет он сжимать кусок дерева в своих больших веснушчатых руках. Никогда не пожалуется на ломоту в плече, которую Ян Аптекарь не сумел...

На какой-то миг Том вдруг всем своим нутром ощутил, что́ такое убийство. Видение исчезло, но воспоминание о нем осталось — оно было настолько ярко, что Том почувствовал легкую дурноту.

Он мог жить, совершив кражу. Но убийство, даже с самыми благими намерениями, в интересах деревни...

Что скажут люди, когда они увидят то, что ему сейчас померещилось? Как тогда ему жить среди них? Как помириться с самим собой?

И тем не менее он должен убить. Каждый житель деревни вносит свою лепту, а это дело выпало на его долю.

Но кого же ему убить?

■

Переполох начался несколько позже, когда межпланетное радио сердито загремело на разные голоса.

— Это и есть колония? Где ваша столица?

— Вот она,— сказал мэр.

— Где ваш аэродром?

— У нас там, кажется, теперь сделали выгон,— сказал мэр.— Я могу проверить по книгам, где тут прежде был аэродром. Ни один воздушный корабль не опускался здесь уже свыше...

— В таком случае главный корабль будет оставаться в воздухе. Соберите ваших представителей. Я приземляюсь.

Вся деревня собралась вокруг открытого поля, которое инспектор избрал себе для посадки. Том засунул за пояс свое оружие, укрылся за деревом и стал наблюдать.

Маленький воздушный кораблик отделился от большого и быстро устремился вниз. Он камнем падал вниз, на поле, и деревня затаила дыхание, ожидая, что он сейчас разобьется. Но в последнее мгновение кораблик выпустил огненные струи, которые выжгли всю траву, и плавно опустился на грунт.

Мэр, работая локтями, протискался вперед; за ним спешил Билли Маляр. Дверца корабля отворилась, и появилось четверо мужчин. Они держали в руках блестящие металлические предметы, и Том понял, что это оружие. Следом за ними из корабля вышел дородный краснолицый мужчина, одетый в черное, с четырьмя блестящими медалями на груди. Его сопровождал маленький человечек с морщинистым лицом, тоже в черном. За ними последовало еще четверо одетых в одинаковую форму людей.

— Добро пожаловать в Новый Дилавер,— сказал мэр.

— Благодарю вас, Генерал,— сказал дородный мужчина, энергично тряхнув руку мэра.— Я — инспектор Дилумейн. А это — мистер Грент, мой политический советник.

Грент кивнул мэру, делая вид, что не замечает его протянутой руки. С выражением снисходительного отвращения он окинул взглядом собравшихся дилаверцев.

— Мы бы хотели осмотреть деревню,— сказал инспектор, покосившись на Грента. Грент кивнул. Одетая в мундиры стража замкнула их в полукольцо.

Том, крадучись, как заправский злодей, и держась на безопасном расстоянии, последовал за ними. Когда они добрались до деревни, он спрятался за домом и продолжал свои наблюдения.

Мэр с законной гордостью показывал тюрьму, почту, церковь и маленькое красное школьное здание. Инспектор, казалось, был несколько озадачен. Мистер Грент противно улыбался и скреб подбородок.

— Как я и думал,— сказал он инспектору.— Пустая трата времени, горючего и ненужная амортизация линейного крейсера. Здесь нет абсолютно ничего ценного.

— Я не вполне в этом уверен,— сказал инспектор. Он повернулся к мэру: — Но для чего вы все это построили, Генерал?

— Как? Для того, чтобы быть настоящими землянами,— отвечал мэр.— Вы видите, мы делаем все, что в наших силах.

Мистер Грент прошептал что-то на ухо инспектору.

— Скажите,— обратился инспектор к мэру,— сколько у вас тут молодых мужчин в вашей деревне?

— Прошу прощения?..— растерянно переспросил мэр.

— Сколько у вас имеется молодых мужчин в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет,— пояснил мистер Грент.

— Видите ли, Генерал, Империя Матери-Земли находится в состоянии войны. Колонисты на Денге IV и в некоторых других колониях восстали против ее законного первородства. Они подняли мятеж против непререкаемого главенства Матери-Земли.

— Очень прискорбно слышать,— прочувственно произнес мэр.

— Нам нужны люди для космической пехоты,— сказал инспектор.— Крепкие, здоровые, боеспособные мужчины. Наши ресурсы исчерпаны...

— Мы хотим,— деликатно вставил мистер Грент,— предоставить всем колонистам, сохранившим верность Земле, возможность принять участие в решающей битве за Империю Матери-Земли. Мы убеждены, что не услышим от вас отказа.

— Разумеется нет,— сказал мэр.— Конечно нет. Я уверен, что все наши молодые люди будут рады... Они, правда, не особо большие специалисты по этой части, но зато очень смышленые ребята. Научатся быстро, я полагаю.

— Вот видите? — сказал инспектор, обращаясь к мистеру Гренту.— Шестьдесят, семьдесят, а быть может, и сотня рекрутов. Не такая уж потеря времени, оказывается.

Но мистер Грент по-прежнему был настроен скептически.

Инспектор вместе со своим советником направился в дом мэра, чтобы немного подкрепиться. Их сопровождало четверо солдат. Остальные четверо прошлись по деревне, не пренебрегая ничем, что попадало под руку.

Том укрылся в ближайшем лесочке, чтобы все основательно обдумать. В сумерках миссис Эд Пиво, пугливо озираясь по сторонам, вышла за околицу. Миссис Эд Пиво была тощая, начинающая седеть блондинка средних лет. Невзирая на свое подагрическое колено, она двигалась очень проворно. В руках у нее была корзина, покрытая красной клетчатой салфеткой.

— Я принесла тебе обед,— сказала она, как только увидела Тома.

— Вот как?.. Спасибо,— сказал Том, опешив от удивления.— Ты совсем не обязана была это делать.

— Как так не обязана? Ведь это наша таверна — место, пользующееся дурной славой, где тебе надлежит укрываться от закона? Разве не так? Значит, мы за тебя отвечаем и должны о тебе заботиться. Мэр велел тебе кое-что передать.

Том с набитым ртом поглядел на миссис Эд Пиво:

— Что еще?

— Он сказал, чтобы ты поторопился с убийством. Он пока что водит за нос инспектора и этого противного карлика — Грента. Но рано или поздно они с него спросят. Он в этом уверен.

Том кивнул.

— Когда ты это сделаешь, Том? — Миссис Пиво поглядела на него, склонив голову набок.

— Я не должен тебе говорить,— сказал Том.

— Как так не должен! Я же твоя *преступная сообщница*! — Миссис Пиво придвинулась ближе.

— Да, это верно,— задумчиво согласился Том.— Ладно, я собираюсь сделать это сегодня, когда стемнеет. Передай Билли Маляру, что я оставлю все отпечатки пальцев, какие только у меня получатся, и разные прочие улики.

— Ладно, Том,— сказала миссис Пиво.— Бог в помощь.

■

Том дожидался наступления темноты, а пока что наблюдал за происходящим в деревне. Он видел, что почти все солдаты напились пьяными. Они разгуливали по деревне с таким видом, словно кроме них никого больше не существовало на свете. Один из солдат выстрелил в воздух и напугал всех маленьких пушистых питающихся травой зверьков на много миль в окружности.

Инспектор и мистер Грент все еще оставались в доме мэра.

Наступила ночь. Том пробрался в деревню и притаился в узком проулочке между двумя домами. Он вытащил из-за пояса нож и стал ждать.

Кто-то шел по дороге. Том начал припоминать методы, какими пользуются убийцы, но ничего не мог припомнить. Он знал только, что должен совершить убийство, и как можно быстрее, а уж как получится, так и получится. Человек приближался. Фигура его неясно маячила во мраке.

— А, это ты, Том! — сказал мэр. Он поглядел на нож.— Что ты тут делаешь?

— Вы сказали, что нужно кого-нибудь убить, вот я и...

— Я не говорил, что меня,— сказал мэр, пятясь назад.— Меня нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Том.

— Ну, во-первых, кто-то должен принимать инспектора. Он ждет меня. Нужно показать ему....

— Это может сделать и Билли Маляр,— сказал Том. Он ухватил мэра за ворот рубахи и занес над ним нож, нацелив острие в горло.— Лично я, конечно, ничего против вас не имею,— добавил он.

— Постой! — закричал мэр.— Если ты ничего не имеешь лично, значит, у тебя нет мотива!

Том опустил нож, но продолжал держать мэра за ворот.

— Что ж, я могу придумать какой-нибудь мотив. Я, например, был очень зол, когда вы назначили меня преступником.

— Так ведь это мэр тебя назначил, верно?

— Ну да, а то кто же...

Мэр потащил Тома из темного закоулка на залитую светом звезд улицу.

— Гляди!

Том разинул рот. На мэре были длинные штаны с острой, как лезвие ножа, складкой и мундир, сверкающий медалями. На каждом плече — два ряда звезд, по десять штук в ряду. Его головной убор, густо расшитый золотым галуном, изображал летящую комету.

— Ты видишь, Том? Я теперь уже не мэр. Я — генерал!

— Какая разница? Человек-то вы тот же самый.

— Только не с официальной точки зрения. Ты, к сожалению, пропустил церемонию, которая состоялась после обеда. Инспектор заявил, что поскольку я теперь официально произведен в генералы, мне следует носить генеральский мундир. Церемония протекала в теплой, дружеской обстановке. Все прилетевшие с Земли улыбались и подмигивали мне и друг другу.

Том снова взмахнул ножом с таким видом, словно собирался выпотрошить рыбу.

— Поздравляю,— с неподдельной сердечностью сказал он,— но ведь вы были мэром, когда назначили меня преступником, значит, мой мотив остается в силе.

— Так ты же убиваешь не мэра! Ты же убиваешь генерала! А это уже не убийство.

— Не убийство? — спросил Том.— А что же это тогда?

— Видишь ли, убийство генерала это уже мятеж!

— О! — Том опустил нож. Потом выпустил ворот рубахи.— Прошу прощенья.

— Ничего, все в порядке,— сказал мэр.— Вполне простительная ошибка. Просто я прочел об этом в книгах, а ты — нет. Тебе это ни к чему. — Он глубоко, с облегчением вздохнул.— Ну, мне, пожалуй, надо идти. Инспектор просил составить ему список новобранцев.

Том крикнул ему вдогонку:

— Вы уверены, что я непременно должен кого-нибудь убить?

— Уверен! — ответил мэр, поспешно удаляясь.— Но только не меня!

Том снова сунул нож за пояс.

Не меня, не меня! Каждый так скажет. А вместе с тем кто-то должен быть убит. Кто же? Убить самого себя он не мог. Это уже самоубийство и, значит, будет не в счет.

Тома пробрала дрожь. Он старался забыть о том, как убийство на мгновение предстало перед ним во всей своей реальности. Дело должно быть сделано.

Приближался еще кто-то!

Человек подходил все ближе. Том пригнулся, мускулы его напряглись, он приготовился к прыжку.

Появилась миссис Мельник. Она возвращалась домой с рынка и несла сумку с овощами.

Том сказал себе, что это не имеет значения — миссис Мельник или кто-нибудь другой. Но он никак не мог отогнать от себя воспоминания о ее беседах с его покойной матерью. Получалось, что у него нет никаких мотивов убивать миссис Мельник.

Она прошла мимо, не заметив его.

Он ждал еще минут тридцать. В темном проулочке между домами опять появился кто-то. Том узнал Макса Ткача.

Макс всегда нравился Тому. Но это еще не означало, что у Тома не может быть мотива убить Макса. Однако ему решительно ничего не приходило на ум, кроме того, что у Макса есть жена и пятеро ребятишек, которые очень его любят и очень будут по нему убиваться. Том не хотел, чтобы Билли Маляр сказал ему потом, что это не мотив. Он отступил поглубже в тень и позволил Максу благополучно пройти мимо,

Появились трое братьев Плотников. С ними у Тома было связано слишком мучительное воспоминание. Он дал им пройти мимо. Следом за ними шел Роджер Паромщик.

У Тома не было никакой причины убивать Роджера, но и дружить они особенно никогда не дружили. К тому же у Роджера не было детей, а его жена не сказать чтоб слишком была к нему привязана. Может,

всего этого уже будет достаточно для Билли Маляра, чтобы вскрыть мотивы убийства?

Том понимал, что этого недостаточно... И что со всеми остальными жителями деревни у него получится то же самое. Он вырос среди этих людей, делил с ними пищу и труд, горести и радости. Какие, в сущности, могут у него быть мотивы, чтобы убивать кого-нибудь из них?

А убить он должен. Этого требует выданный ему ордер. Нельзя же обмануть доверие односельчан. И в то же время он не в состоянии убить никого из этих людей, которых знает с колыбели.

Постой-ка! — внезапно в сильном волнении подумал он. Можно ведь убить инспектора!

Мотивы? Да это будет даже более чудовищное злодеяние, чем убить мэра... Конечно, мэр теперь еще и генерал, но ведь это уже был бы всего-навсего мятеж. Да если бы даже мэр по-прежнему оставался только мэром, инспектор куда более солидная жертва. Том совершит это убийство ради славы, ради подвига, ради величия! Это убийство покажет Земле, насколько верна земным традициям ее колония. И на Земле будут говорить: «На Новом Дилавере преступность приняла такие размеры, что появляться там небезопасно. Какой-то преступник просто-напросто взял да и убил нашего инспектора в первый же день его прибытия туда! Во всей вселенной едва ли сыщется еще один столь страшный убийца!»

Это несомненно будет самое эффектное убийство, какое он только может совершить, думал Том. Убийство, которое под стать лишь настоящему знатоку своего дела.

Впервые ощутив прилив гордости, Том поспешил к дому мэра. До него долетели обрывки разговора, который шел внутри.

— ...весьма пассивный народ,— говорил мистер Грент.— Я бы даже сказал, робкий.

— Довольно-таки унылое качество,— заметил инспектор.— Особенно в солдатах.

— А чего вы ожидали от этих отсталых земледельцев? Хорошо еще, что мы завербовали здесь немного солдат.— Мистер Грент оглушительно зевнул.— Стража, смирно! Мы возвращаемся на корабль.

Стража! Том совершенно про нее позабыл. Он с сомнением поглядел на свой нож. Если он бросится на инспектора, стража несомненно успеет его схватить, прежде чем он совершит убийство. Их, верно, специально этому обучают.

Вот если бы у него было такое оружие, как у них...

Из дома донесся звук шагов. Том поспешно пошел дальше по улице.

Возле рынка он увидел пьяного солдата, который сидел на крылечке и что-то напевал себе под нос. У ног его валялись две пустые бутылки, оружие небрежно висело на плече.

Том подкрался ближе, вытащил свою дубинку, замахнулся...

Его тень, по-видимому, привлекла внимание солдата. Он вскочил, пригнулся и успел увернуться от удара дубинки. Он ударил Тома прикладом под ребра, вскинул винтовку к плечу и прицелился. Том зажмурился и прыгнул, лягнув его обеими ногами. Удар пришелся солдату в колено и опрокинул его навзничь. Прежде чем он успел подняться, Том огрел его дубинкой.

Том пощупал солдату пульс (не было смысла убивать кого попало) и нашел его вполне удовлетворительным. Он взял винтовку, проверил, где, что надо нажимать, и пошел разыскивать инспектора.

Он нагнал его на полпути к посадочной площадке. Инспектор и Грент шли впереди, позади них ковыляли солдаты.

Том шел, прячась за кустами. Он бесшумно догонял процессию, пока не поравнялся с Грентом и инспектором. Он прицелился, но палец его застыл на спусковом крючке...

Ему не хотелось убивать еще и Гренга. Ведь предполагалось, что он должен совершить только одно убийство.

Том припустился вперед, опережая инспектора, и вышел на дорогу, преграждая ему путь. Его оружие было направлено прямо на инспектора.

— Что это такое? — спросил инспектор.

— Стойте смирно,— сказал ему Том.— Все остальные бросьте оружие и отойдите с дороги.

Солдаты повиновались, как сомнамбулы. Один за другим они побросали оружие и отступили к кустам у обочины. Грент остался на месте.

— Что это ты задумал, малый? — спросил он.

— Я городской преступник,— горделиво отвечал Том.— Я хочу убить инспектора. Пожалуйста, отойдите в сторону.

Грент уставился на него.

— Преступник? Так вот о чем лопотал ваш мэр!

— Я знаю, что у нас уже двести лет не было ни одного убийства,— пояснил Том,— но сейчас я это исправлю. Прочь с дороги!

Грент прыгнул в сторону от наведенного на него дула. Инспектор остался один. Он стоял, легонько пошатываясь.

Том прицелился, стараясь думать о том, какой эффект произведет это убийство, и о его общественном значении. Но он видел инспектора простертым на земле, с остановившимся взглядом широко открытых глаз, с искривленным ртом, окоченевшего, бездыханного, с переставшим биться сердцем.

Он старался заставить свой палец нажать на спусковой крючок. Мозг мог сколько угодно убеждать его в том, как общественно необходимо преступление,— рука знала лучше.

— Я не могу! — выкрикнул Том.

Он бросил оружие и прыгнул в кусты.

Инспектор хотел отрядить людей на розыски Тома и повесить его на месте. Но мистер Грент был с ним не согласен. Новый Дилавер — лесная планета. Десять тысяч людей не найдут беглеца в этих дремучих лесах, если он не захочет попасться им в руки.

На шум прибежал мэр и еще кое-кто из жителей деревни. Солдаты образовали каре вокруг инспектора и мистера Грента. Они стояли, держа оружие на изготовку. Лица их были угрюмы и суровы.

Мэр все разъяснил. О прискорбной отсталости деревни по части преступлений. О поручении, данном Тому Рыбаку. О том, как он всех их осрамил, не сумев выполнить свой долг.

— Почему вы дали это поручение именно ему? — спросил мистер Грент.

— Видите ли,— сказал мэр,— я подумал, что если уж кто-нибудь у нас способен убить, так только Том. Он, понимаете ли, рыбак. Это довольно-таки кровавое занятие.

— Значит, все остальные у вас также не способны убивать?

— Никому из нас никогда бы не зайти так далеко, как зашел Том,— с грустью признался мэр.

Инспектор и мистер Грент переглянулись, потом поглядели на солдат. Солдаты с почтительным изумлением взирали на жителей деревни и начинали негромко переговариваться друг с другом.

— Смирно! — зарычал инспектор. Он обернулся к Гренту и сказал, понизив голос: — Надо, пока не поздно, поскорее убираться отсюда. Люди, не умеющие убивать, в рядах нашей армии!..

— Моральное состояние наших солдат... — весь дрожа, пробормотал мистер Грент,— опасная зараза... Один человек, если он не в состоянии

выстрелить из винтовки, может в ответственный момент поставить под удар весь воздушный корабль... быть может, даже целую эскадрилью... Нет, так рисковать нельзя.

Они приказали солдатам вернуться на корабль. Солдаты шагали ленивее, чем обычно, и то и дело оборачивались, чтобы поглядеть на деревню. Они продолжали перешептываться, невзирая на то что инспектор рычал и сыпал приказами.

Маленький воздушный корабль взмыл вверх среди шквала исторгнутых из себя струй. Через несколько минут он был проглочен большим кораблем. А затем и большой корабль скрылся из виду.

Огромное водянисто-красное солнце уже касалось края горизонта.

— Ты можешь теперь выйти, Том! — крикнул мэр. Том вылез из кустов, где он прятался, следя за всем происходящим.

— Напортачил я с этим поручением,— жалобно сказал Том.

— Не сокрушайся,— утешил его Билли Маляр.— Это же невыполнимое дело.

— Похоже, что ты прав,— сказал мэр, когда они шагали по дороге, возвращаясь в деревню.— Я просто подумал — чем черт не шутит, а вдруг ты как-нибудь справишься. Но ты не огорчайся. Никто у нас в деревне не натворил бы и половины того, что ты.

— А на что нам теперь эти постройки? — спросил Билли Маляр, указывая на тюрьму, на почту, на церковь и на маленькое красное школьное здание.

Мэр сосредоточенно размышлял с минуту.

— Я знаю,— сказал он.— Мы устроим детскую площадку для игр. Качели, горки, ящики с песком и всякие прочие штуки.

— Еще одну площадку для игр? — спросил Том.

— Ну да. А почему бы нет?

Ответить на это было нечего — конечно, почему бы нет?

— Теперь мне, верно, это больше не понадобится,— сказал Том, протягивая свой ордер мэру.

— Да, пожалуй,— сказал мэр. Все сочувственно смотрели на него, когда он рвал ордер на мелкие куски.— Ну что ж, мы сделали, что могли. Просто не вышло.

— У меня ведь была возможность,— смущенно пробормотал Том,— а я вас всех подвел.

Билли Маляр ласково положил руку ему на плечо.

— Ты не виноват, Том. И никто из нас не виноват. Вот что получается, когда к людям двести лет не проникает цивилизация. Поглядите, сколько времени понадобилось Земле, чтобы стать цивилизованной. Тысячи лет. А мы хотели достигнуть этого за две недели.

— Ну что ж, придется нам снова вернуться в нецивилизованное состояние,— сказал мэр, делая неуклюжую попытку пошутить.

Том зевнул, потянулся и зашагал домой, чтобы хорошенько отоспаться — наверстать упущенное. На пороге дома он взглянул на небо.

Густые, тяжелые облака собирались над головой, и вокруг каждого облака был черный нимб. Близились осенние дожди. Скоро можно будет снова начать рыбачить.

Почему не пришло ему в голову представить себе инспектора в виде рыбы? Но он чувствовал, что слишком устал, чтобы рассудить сейчас, могло ли бы это послужить достаточным мотивом для убийства. Во всяком случае теперь думать об этом было уже поздно. Земля отказалась от них, цивилизация отлетела, и на какое количество столетий отодвинулась она от их планеты, никому было неведомо.

Он плохо спал в эту ночь.

Перевод с английского Т. ОЗЕРСКОЙ

МИНИМУМ НЕОБХОДИМОГО

Мать ее предостерегала:

— В своем ли ты уме, Амелия? Как тебе взбрело в голову выходить замуж за пионера-первооткрывателя? Разве можно быть счастливой в пустыне?

— Кэп — не пустыня, мама,— отвечала Амелия.

— Там же нет никакой цивилизации. Это отсталый, необжитый край. И потом, надолго ли он там осядет? Я знаю этих людей, ему обязательно захочется освоить еще какое-нибудь новое место.

— В таком случае мы будем осваивать его вместе,— отвечала Амелия, не сомневаясь, что и она по натуре первооткрыватель.

Ее мать не была столь уверена:

— Жизнь в неисследованных краях трудна, дорогая. Труднее, чем ты себе представляешь. Ты в самом деле готова оставить друзей, лишиться всех тех удобств, в которых выросла?

— Да!

Ее мать хотела еще что-то сказать. Однако после смерти мужа она стала менее уверенной в своих принципах и менее склонной навязывать их другим.

— Твоя жизнь — тебе и решать,— помолчав, сказала она.

— Не беспокойся, мама, я знаю, что делаю,— сказала Амелия.

Она знала, что Дирк Богрен не терпит тесноты. Он был крупным мужчиной и нуждался в просторе, тишине и свежем воздухе. Он рассказывал ей о своем отце, который поселился в только что освоенной пустыне Гоби. Когда там стало настолько тесно, что власти округа постановили обнести участки заборами, он не выдержал. Он умер, обратившись лицом к звездам.

Дирк был такой же. Она вышла за него замуж и переехала жить на безлюдный Кэп Южного полюса.

Однако за ними следом двинулись переселенцы, и вскоре Кэп стал называться Кэп-сити. Выросли магазины и заводы, аккуратненькие дачные поселки растянулись по земле, согреваемой атомной энергией.

Все началось гораздо раньше, чем она предполагала.

Как-то вечером они сидели на веранде. Дирк рассматривал свой участок. Взгляд его задержался на верхушке радарной мачты, возвышавшейся на далеком холме.

— Здесь становится тесновато,— сказал он наконец.

— Да... немного,— согласилась Амелия.

— Недалеко время, когда здесь начнут делать площадки для игры в гольф. Как думаешь, не пора ли нам отсюда двигаться?

— Хорошо,— сказала Амелия после секундного колебания. Так они и договорились.

Они продали ферму. Купили подержанную ракету и загрузили ее самым необходимым. Вечером накануне отлета друзья устроили Дирку проводы. Они были старожилами и помнили время, когда Кэп был наполовину покрыт снегом и льдом. Втайне завидуя, они подтрунивали над Дирком.

— Так, значит, держишь путь на астероиды?

— Вот именно,— сказал Дирк.

— Но ты же белоручка! — поддразнивал его один старик.— Легкая жизнь испортила тебя, Дирк.

— Не знаю.

— А ты уверен, что еще сможешь проработать полный пятичасовой рабочий день?

Дирк широко улыбался, отхлебывая пиво, и слушал, как женщины дают Амелии советы:

— Возьмите побольше теплых вещей. Я помню, на Марсе...

— Не забудьте медицинское оборудование...

— Вся беда с малой силой тяжести в том...

— Дирк! — воскликнул один.— Неужто ты заберешь такую милую крошку на астероид?

— Конечно,— сказал Дирк.

— Ей там не понравится,— предостерег другой.— Ни вечеринок, ни новых платьев, ни безделушек.

— Люди там сходят с ума от перенапряжения.

— Не верьте им,— поспешила вставить женщина постарше.— Привыкнете, и вам там понравится.

— Я уверена, что понравится,— вежливо сказала Амелия, надеясь, что говорит правду.

Незадолго до вылета она позвонила матери и обо всем рассказала. Мать не удивилась.

— Ну что же, доченька,— сказала она.— Легко тебе не будет. Но ведь ты знала об этом, когда выходила за него замуж. Астероиды... именно туда мечтал отправиться твой отец.

Амелия помнила отца — очень мягкого и доброго человека. Каждый вечер, вернувшись из банка, он перечитывал объявления о продаже подержанных ракет и составлял подробные списки снаряжения, которое потребуется пионеру. Мама была настроена решительно против всяких перемен, и поколебать ее было невозможно. Дело редко доходило до открытых ссор, однако чувство взаимной обиды росло, пока в машину, в которой отец возвращался из банка, не врезался геликоптер.

— Постарайся быть ему хорошей женой,— напутствовала ее мать.

— Разумеется,— сказала Амелия с легким раздражением.

Граница освоенной территории пролегала в космосе. Земля была укрощена и обжита. Дирк изучил имевшиеся карты кольца астероидов, но это ему немного дало: никто еще не проникал в такие глубины, и весь обширный район был просто помечен как «неисследованная область».

Полет был длительный и опасный, но впереди была свободная земля, которую оставалось только взять, и простор, необходимый человеку. Дирк уверенно вел корабль сквозь меняющие очертания скопления космической пыли. Хотя точный маршрут не был проложен, нос ракеты неизменно был нацелен в глубины космоса.

— Мы не вернемся,— сказал он Амелии,— поэтому нет смысла вычерчивать маршрут.

Она кивнула, но у нее захватило дыхание при виде смутных мертвых бликов, маячивших впереди. Она невольно испытывала страх при мысли о новой жизни — мрачном и одиноком существовании в необитаемых местах. Задрожав, она положила руку на руку Дирка.

Он улыбнулся, не отрывая взгляда от приборов.

Корабль опустился на обломок скалы в несколько миль длиной и в одну милю шириной. Теперь это был их темный, лишенный воздуха мирок; они возвели Барокупол и включили гравитацию. Как только она достигла нормальной величины, Дирк занялся сборкой Контрольного робота. Это было долгим и трудным делом, но наконец он вставил ленту и подсоединил контакты.

Робот принялся за работу. Дирк включил все наличные прожекторы. При помощи небольшого подъемного крана он извлек из трюма корабля Складной домик, установил его близ центра купола и подключил. Домик развернулся, как гигантский бутон, распустившись в аккуратное пяти-

комнатное жилище с необходимой обстановкой, кухней, водопроводом и санузлом.

Начало было положено. Но распаковать все сразу было невозможно. Температурный контроль был запрятан где-то глубоко в трюме ракеты, и Дирку пришлось нагреть дом вспомогательным утеплителем, подсоединенным к генератору.

Амелия так замерзла, что не могла приготовить обед: температура внутри жилища была где-то в районе 52 градусов по Фаренгейту. Бессильной оказалась даже меховая одежда фирмы «Эксплорерс», а от жуткого света флюоресцентных ламп Амелии становилось еще холоднее.

— Дирк, — робко попросила она,— нельзя ли сделать потеплее?

— Пожалуй, можно, но это ослабит робота.

— Разве? — сказала Амелия.— Тогда уж я потерплю.

При свете флюоресцентных ламп работать было просто невозможно. Она ошиблась делением на шкале Походного рационного аппарата, и бифштекс вышел пережаренным, картошка недоваренной, а яблочный пирог так и остался неразмороженным.

— Боюсь, я не очень гожусь для походной жизни,— сказала Амелия, пытаясь улыбнуться.

— Ничего,— успокоил ее Дирк, расправляясь с обедом, словно это была обычная земная еда.

Они легли спать. Амелия не могла уснуть на походном матрасе. Правда, она испытывала сомнительное удовлетворение от того, что Дирку тоже неудобно. На Кэпе он привык к сравнительно легкой жизни.

Когда они проснулись, все вокруг показалось веселее. Контрольный робот, проработав всю ночь, установил Главный генератор. Теперь у них было свое маленькое солнце в небе и нечто похожее на смену дня и ночи. Контрольный робот собрал тяжелых Сельскохозяйственных роботов, а те, в свою очередь, Домашних роботов.

Дирк руководил подготовкой почвенного слоя и координировал работу Сельскохозяйственных роботов, которые производили посадку семян по способу принудительного вызревания. Он теперь работал по пять часов в день и, когда маленькое солнце опускалось за горизонт, возвращался домой, вконец измученный.

Тем временем Амелия запрограммировала основной дневной рацион, и однажды вечером она смогла угостить мужа простым, но питательным обедом из восьми блюд.

— Конечно, это не заказной обед из двадцати блюд,— извинялась она, в то время как Дирк налегал на закуску.

— Все равно никогда не мог всего доесть,— отвечал Дирк.

— И вино не охлаждено как следует...

Дирк поднял голову и улыбнулся:

— Что ты выдумываешь, милая? Я могу пить теплую ола-колу и даже не замечу этого.

— Пока я здесь готовлю, этому не бывать,— сказала Амелия. Но она уже оценила одно преимущество жизни пионеров: голодный мужчина съест все, что бы перед ним ни поставили.

После того как Дирк помог Амелии сложить посуду в мойку, он установил в гостиной проектор. На экране замелькали кадры кинопрограммы, а они сидели в прочных креслах из пенопласта, как поколения пионеров до них. Незыблемость этой традиции глубоко тронула Амелию.

Дирк распаковал постель и отрегулировал под ней гравитацию. В эту ночь они спали так же крепко, как в свое время на Кэпе.

Однако работа на астероиде не терпела простоя. Дирк работал по пять, а то и по шесть часов в сутки с Сельскохозяйственными роботами, менял ленты, выкрикивал команды, выбиваясь из сил, чтобы выжать из роботов все, что можно. Через несколько дней растения, посаженные

методом принудительного вызревания, зазеленели на фоне синтетической черной почвы. Однако с самого начала было ясно, что урожая собрать не придется.

Дирк стиснул зубы и приказал роботам вносить в почву микроэлементы. Он повозился с солнцем, пока не возросло ультрафиолетовое излучение. Прошла неделя, но заметных изменений не произошло.

В тот день Амелия вышла в поле. Под глазами у Дирка лежали глубокие тени. Он стоял, сжав кулаки, и глядел на чахлую карликовую кукурузу, не доходившую ему до плеча.

Амелия не знала, что сказать. Она ласково взяла его за руку.

— Мы еще не сдались,— пробормотал Дирк.

— Что ты собираешься делать? — спросила Амелия.

— Если потребуется, я буду сеять каждую неделю. Я буду гонять роботов, пока их суставы не заклинит. Земля родит. Она должна родить!

Амелия отступила на шаг, пораженная страстностью, с которой он произнес эти слова. Однако она понимала, каково ему. На Земле фермеру достаточно было приказать Контрольному роботу, и через несколько дней можно было собирать урожай. Не покладая рук Дирк выхаживал этот несчастный посев больше недели.

— Что ты будешь делать с кукурузой? — спросила она.

— Скормлю скотине,— презрительно сказал Дирк. Они вместе пошли к дому в наступивших сумерках.

На следующий день Дирк разморозил и одушевил домашних животных и возвел для них загоны и стойла. Животные с удовольствием пожирали кукурузу. Семена снова посадили в синтетическую почву, и на этот раз всходы поднялись до нормальных размеров.

У Амелии не хватало времени любоваться этой победой. Хотя их пятикомнатное жилище по земным стандартам было маленьким, оно нуждалось в хозяйском глазе.

Ей было нелегко. Амелия выросла в обычном загородном доме, где вся работа по хозяйству автоматически программировалась. Здесь же каждый вид работ выполнялся отдельной машиной. Некогда было убирать их в стенные ниши, и они вечно путались под ногами, портили весь вид, делали дом похожим на механическую мастерскую.

Централизованного пульта не было. Приборы, кнопки, переключатели были развешены на времянках, где попало. Поначалу ей приходилось тратить массу времени на то, чтобы обнаружить выключатели аппаратов химчистки, мытья полов, мытья окон и приборов, выполнявших другие необходимые операции, которые дома считались само собой разумеющимися. Дирк обещал соединить все цепи, но он был вечно занят.

Домашние роботы просто выводили из себя. Эти походные модели обладали большим запасом прочности, но не вышколенностью, к которой она привыкла. Запоминающая способность у них была слабой, и они ничего не умели предугадывать. К концу дня у Амелии звенело в ушах от их грубых надтреснутых голосов. Большую часть времени дом ее выглядел так, будто роботы не убирали, а разрушали его.

Долгие пятичасовые рабочие дни тянулись, заполненные скучной повседневной работой, пока Амелия не почувствовала, что ей невмоготу. В отчаянии она связалась с матерью по телесети.

На небольшом экране она увидела мать, которая сидела в своем любимом пневмокресле у стены из поляризованного стекла. Стена была включена на видимость, и вдалеке Амелия могла различить городские здания, взмывающие ввысь во всей своей сверкающей красе.

— Что случилось? — спросила мать.

Сзади к ее креслу плавно придвинулся робот и бесшумно поставил чашку чая. Амелия была уверена, что никакой команды не было. Чувст-

вительный механизм предугадал желание старой женщины. К этому приучались роботы на Земле после долгого общения с семьей.

— Так вот...— почти истерически начала объяснять Амелия.

Ее собственный робот прошел, шатаясь, через комнату и чуть не выломал дверь, потому что фотореле среагировало недостаточно быстро. Это было уже слишком.

— Я хочу домой! — заплакала Амелия.

— Ты знаешь, что тебе всегда здесь будут рады, дорогая. Но что думает твой муж?

— Дирк приедет, я уверена. Мы найдем ему хорошую работу, не правда ли, мама?

— Наверняка найдем. Но разве он этого хочет?

— Что? — не поняла Амелия.

— Будет ли такой человек, как он, счастлив на Земле? Захочет ли он вернуться?

— Захочет, если он меня любит.

— А ты его любишь?

— Мама, это нечестно! — сказала Амелия, и у нее комок подступил к горлу.

— Никогда не надо заставлять мужчину делать то, чего он не хочет,— сказала ей мать.— Твой отец... Во всяком случае, неужели ты не сможешь все наладить?

— Не знаю,— сказала Амелия.— Я... я попробую.

После этого дела действительно пошли лучше. Амелия стала привыкать к дому, научилась не обращать внимания на мелкие неудобства. Она поняла, что когда-нибудь это место будет таким же уютным, каким они сделали в конце концов свою ферму на Кэпе.

Но они уехали с Кэпа. Как только астероид станет обжитым, Дирку снова захочется отправиться в дикие края.

Однажды Дирк увидел, что Амелия сидит у их крошечного плавательного бассейна и горько плачет.

— Эй! — крикнул он.— Что случилось?

— Ничего.

Он неумело погладил ее волосы:

— Скажи мне.

— Нет, ничего.

— Нет, скажи мне.

— В общем, это все из-за того, что я работаю, чтобы создать уют, развешиваю шторы, обучаю роботов и прочее и в то же время знаю...

— Что знаешь?

— Когда-нибудь ты захочешь сняться с места, и все это было ни к чему.— Она подняла голову и попыталась улыбнуться.— Прости, Дирк, мне не следовало об этом говорить.

Дирк некоторое время думал. Затем он внимательно посмотрел на нее и сказал:

— Я хочу, чтобы ты была счастливой. Ты ведь веришь этому?

Она кивнула.

— Пожалуй, мы достаточно переезжали с места на место. Наш дом здесь. Здесь мы и останемся.

— Правда, Дирк?

— Обещаю тебе.

Она крепко его обняла. А потом вспомнила:

— Боже! Мой «наполеон» сгорит! — И побежала на кухню.

Для Амелии наступило счастливое время. Заранее настроенное солнце вспыхивало утром во всем своем великолепии и звало их к исполнению ежедневных обязанностей. После питательного завтрака начиналась работа.

Скучно никогда не было. Амелия с Дирком возводили противометеоритную сетку для укрепления Барокупола. Или же возились с Ветромашиной, которая должна была помочь одушевленным пчелам в опылении растений.

По вечерам у них были настоящие закаты. Иногда Дирк заставлял Сельскохозяйственных роботов исполнять неуклюжий танец. Он был строгим, но чутким хозяином. Он считал, что небольшое разнообразие полезно для роботов так же, как и для людей.

Амелия взгрустнула по Земле лишь однажды. Дирк поймал по телевизору лунную ретрансляцию Пасхального шествия. От музыки и ярких красок у Амелии защемило сердце, но всего лишь на мгновенье.

Первый гость прибыл через несколько месяцев в ярко раскрашенной ракете, которая опустилась на кое-как вырубленную посадочную площадку. На борту ракеты выступала надпись высотой в восемь футов: «Ракета-магазин Поттера». Из ракеты вылез энергичный молодой человек. Он пснюхал воздух, сморщил нос и пошел к дому.

— Чем могу помочь, путник? — спросил Дирк, стоя в дверях.

— Добрый день, дорогой соотечественник. Моя фамилия Поттер,— сказал молодой человек и протянул руку, которую Дирк не пожал.— Я проделывал свой обычный рейс на Марс и тут услышал о вас, друзья. Подумал, что вам захочется купить кое-какие новинки для того, чтобы... оживить ваш дом, что ли.

— Я ни в чем не нуждаюсь,— сказал Дирк.

Поттер приветливо улыбался. Он уже обратил внимание на скромный фермерский домик и спартанский плавательный бассейн.

— А как насчет супруги? — спросил Поттер, подмигнув Амелии.— Я еще не скоро буду в этих краях.

— Рад это слышать,— сказал Дирк.

Однако у Амелии загорелись глаза. Она пожелала осмотреть все запасы Поттера и потащила с собой Дирка. Как ребенок, она перепробовала все бытовые приборы — современные хитроумные машины, сберегающие время; любовно перебрала платья — модные, изысканные, с регулируемым вырезом и подолом — и вспомнила свой скучный, сшитый по заказу гардероб.

Тут она увидела актеров-роботов. Их удивительно схожая с человеком наружность и цивилизованные манеры остро напомнили ей о доме.

— Может, приобретем труппу? — спросила она у Дирка.

— Но у нас ведь есть кино! Оно вполне удовлетворяло моего отца...

— Но, Дирк, эти роботы ставят настоящие пьесы!

— В репертуар именно этой труппы входят все популярные пьесы, начиная с самого Бернарда Шоу,— сообщил им Поттер.

Дирк с неприязнью посмотрел на красивые машины-гомоноиды.

— Что они еще могут делать?

— Делать? Они играют! — сказал Поттер.— Боже мой, дорогой земляк, не думаете ли вы, что произведение искусства будет заниматься работой на ферме?

— А почему бы и нет? — спросил Дирк.— Я не люблю изнеженных роботов. Мой Контрольный робот не гнушается работой на ферме, и я могу поручиться, что он умнее этих штуковин.

— Ваш Контрольный робот не актер,— высокомерно заметил Поттер.

У Амелии был такой тоскующий вид, что Дирк купил труппу. Пока он втаскивал актеров-роботов в дом (они были слишком нежны, чтобы ходить по камням), Амелия купила платье.

— Как может такая девушка, как вы, жить в этой пустыне? — спросил Поттер.

— Мне здесь нравится.

— О, я согласен, жить здесь можно. Трудовая жизнь, отказ от комфорта, открытие новых рубежей и все такое прочее. Но разве вам не бывает тошно от всей этой романтики?

Амелия ничего не ответила. Поттер пожал плечами.

— Ну что же,— сказал он,— этот сектор созрел для колонизации. Скоро ждите гостей.

Амелия взяла платье и вернулась в дом. Поттер улетел.

Дирк нехотя согласился впоследствии, что актеры-роботы составляли приятную компанию долгими тихими вечерами. Ему даже по-настоящему понравилась пьеса «Человек и сверхчеловек». Через некоторое время он начал давать роботам режиссерские указания, которые они, естественно, игнорировали.

И все-таки он оставался при своем мнении, что Контрольный робот способен делать то же самое, стоит только немного улучшить его голосовой узел.

А пока длинные пятичасовые рабочие дни не оставляли времени для досуга. Дирк начал собирать другие маленькие астероиды и присоединять их к своей первой зарубке. Он посадил лес, построил водопад и занялся починкой старой климатической машины отца. Наконец она у него заработала, и он смог воспроизводить сезоны на их маленькой планете.

Однажды телевизионный экран ожил потоком строк — Дирк получил космограмму. Она была от «Эксплорерс инкорпорейтед» — фирмы на Земле, которая занималась производством снаряжения для пионеров. Дирку предлагали возглавить главную экспериментальную лабораторию фирмы, оклад — почти фантастических размеров.

— О, Дирк! — воскликнула Амелия.— Какая возможность!

— Возможность? О чем ты говоришь?

— Ты сможешь разбогатеть. Ты сможешь иметь все, что пожелаешь.

— У меня уже есть все, что нужно,— сказал Дирк.— Поблагодари их и скажи, что я отказываюсь.

Амелия устало вздохнула. Она телеграфировала фирме отказ Дирка, но добавила, что через некоторое время к нему снова можно будет обратиться. В конце концов, нет смысла совсем закрывать дверь.

В течение этого долгого лета еще один корабль приземлился на их посадочной площадке. Он был еще старее и потрепаннее, чем корабль Дирка, и, повиснув на высоте пяти футов, он упал, качнув астероид. Изнутри вышли, шатаясь, молодые мужчина и женщина. Они были на грани обморока.

Джин и Перси Филипс поселились на астероиде, находившемся в нескольких тысячах миль. Их преследовали сплошные неудачи. Электричество у них испортилось, роботы сломались, продовольствие кончилось. Отчаявшись, они вылетели на ферму Дирка. Они чуть не умерли от голода, оставаясь без еды почти два дня.

Дирк и Амелия приняли их в лучших традициях пионеров, окружили заботой и быстро их подлечили. Сразу было видно, что Филипсам неизвестен закон выживания. Перси Филипс даже не знал, как управляться с роботами. Дирку пришлось объяснить.

— Надо им дать почувствовать, кто в доме главный,— сказал Дирк.

— Но мне кажется, что если дать правильное приказание негромким и дружелюбным голосом...

— Только не здесь,— решительно замотал головой Дирк.— Эти Хозяйственные роботы тупы и нечувствительны. Они угрюмы и злопамятны. Команды нужно вдалбливать в них. Если понадобится, бейте их ногами.

Филипс удивленно поднял брови:

— Плохо обходиться с роботами?

— Им надо показать, кто тут человек.

— Однако в Космической школе нас учили уважать роботов,— запротестовал Филипс.

— Здесь вы откажетесь от многих убеждений, приобретенных на Земле,— отрезал Дирк.— Послушайте меня. Я был воспитан роботами. У меня есть близкие друзья среди роботов. Я знаю, о чем говорю. Они будут уважать вас только в том случае, если вы будете им приказывать.

Филипс нехотя согласился, что, может быть, Дирк и прав.

— Конечно, я прав! — заявил Дирк.— Вы говорите, у вас кончилось электричество?

— Да, но ведь не роботы же...

— А кто же? Они ведь имеют доступ к аккумуляторам, не правда ли?

— Конечно. Когда у них кончается энергия, они заряжают себя сами.

— Вы думаете, они останавливаются после полной зарядки? Роботы прирожденные пьяницы. Они будут высасывать энергию, пока она вся не кончится. Разве вы еще не знаете этот старый трюк роботов?

— Наверное, именно так и было,— сказал Филипс.— Но зачем они это сделали?

— Им это вносят в схему еще на заводе. Так они быстрее изнашиваются и приходится покупать новые роботы. Поверьте мне, если вы посадите их на голодный паек, то это будет для их же пользы.

— Видимо, мне еще многому предстоит научиться,— вздохнул Филипс.

А Джин — его жене — предстояло научиться еще большему. Амелии пришлось несколько раз объяснять ей, что кнопки не будут сами себя нажимать, переключатели не станут выключаться без реле, и стрелки не будут по своему желанию устанавливаться на нужных делениях. Роботам-уборщикам нельзя поручать стряпню, а Тёрка-мойка, хотя и универсальный аппарат, просто не способна сама готовить запасы консервов.

— Никогда не думала, что это так сложно,— сказала Джин.— Как у вас все получается?

— Привыкнете,— заверила ее Амелия, вспомнив свои первые дни походной жизни.

Филипсы вернулись на свою зарубку. Амелия думала, что без них будет скучать, но было так приятно снова остаться вдвоем с Дирком и вернуться к работе на ферме.

Однако их не собирались оставлять в покое. Следующим посетителем был представитель «Областной марсианской энергокомпании». Он рассказал, что переселенцы прибывают на кольцо астероидов, и система энергоснабжения соответственно расширяется. Он предложил присоединить ферму Дирка к плотнолучевой сети «Марсианской энергокомпании».

— Нет,— отрезал Дирк.

— Но почему? Ведь это недорого...

— У меня свой источник энергии.

— А, эти маленькие генераторы,— сказал человек, осуждающе посмотрев на солнце Дирка.— Для действительно высокой производительности...

— Я в ней не нуждаюсь. Темпы развития моей фермы меня удовлетворяют.

— Вы могли бы больше выжать из ваших роботов.

— Тогда они скорее износятся.

— Можно приобрести более новые модели.

— Новые изнашиваются еще быстрее.

— А как насчет более совершенных генераторов? — поинтересовался представитель компании.— Ваше крошечное солнце дает мало энергии.

— Для меня достаточно.

Представитель удивленно покачал головой.

— Наверное, мне никогда не понять вас — пионеров,— сказал он и отбыл.

Они попытались возобновить прежнюю жизнь. Однако с соседних астероидов начали подмигивать огоньки, а лунное телевидение забивалось местными сигналами. Еженедельно стала приходить почтовая ракета, и какое-то бюро путешествий начало организовывать поездки на кольцо астероидов.

У Дирка в глазах снова появилось знакомое выражение неудовлетворенности. Он внимательно наблюдал за небесами — они сужались, чувство простора исчезало, а тишина разрывалась выхлопами пролетавших ракет.

Однако он дал обещание Амелии и собирался сдержать его, даже если б это стоило ему жизни. Вид у него был изможденный, и он теперь работал по шесть, семь, а иногда по восемь часов в сутки.

Их посетил продавец швейных машин, а одна деловая решительная женщина попыталась продать Дирку «Солнечную энциклопедию». Регулярные маршруты были уже проложены, и длинный, опасный путь превратился в скоростное шоссе.

Однажды вечером Дирк и Амелия, сидевшие на крылечке, увидели, как огромная надпись осветила небо. Она простиралась в космосе на многие мили: «Торговый центр Розена. Магазины, ресторан, лучшая выпивка на астероидах».

— Магазины,— прошептала Амелия.— И ресторан! О, Дирк, давай посмотрим!

— А почему бы и нет? — сказал он, беспомощно пожав плечами.

На следующий день Амелия надела свое новое платье и заставила Дирка облачиться в его единственный сшитый по заказу костюм. Они залезли в свой старый корабль и отправились в путь.

«Центр Розена» — новый шумный поселок, раскинувшийся на четырех соединенных астероидах, — храбро боролся за право называться городом. Везде были проложены движущиеся мостовые. Городок заполняла толпа суетящихся нетерпеливых людей, и по улицам тяжело ступали роботы, нагруженные снаряжением.

Амелия привела Дирка в ресторан, где им подали настоящий земной обед. Дирку он не понравился. Его немного тошнило от воздуха, выдыхаемого другими людьми, а слишком изысканная пища не насыщала. Дирк закончил обед тем, что заказал не то вино и попытался дать на чай роботу-официанту.

Вконец несчастный, он позволил Амелии таскать себя из одного магазина в другой. Он оживился лишь однажды, когда они зашли в магазин тяжелого оборудования. Он осмотрел новый антигравитационный генератор. Такой модели он еще не видел.

— Это именно то, что требуется для нейтрализации чрезмерной силы тяжести,— объяснил ему продавец-робот.— Мы считаем, что машина будет отлично работать на лунах Юпитера, например.

— На лунах Юпитера?

— Это только к примеру, сэр,— сказал робот.— Никто еще там не бывал. Это совершенно необследованная территория.

Дирк рассеянно кивнул, поглаживая полированную поверхность машины.

— Слушай, Амелия,— сказал он.— Как ты думаешь, то место на Земле все еще вакантно?

— Может быть, — ответила она.— А что?

— Все равно, где жить — на Земле или здесь. Для этих людей освоение новых мест — игра.

— Ты думаешь, что будешь счастлив на Земле?

— Возможно.

— Я сомневаюсь,— сказала Амелия.

Она вспомнила, как им было хорошо на астероиде. Жизнь их была полной и счастливой; они были вдвоем и вместе, терпя лишения, отодвигали пустыню — с помощью своих грубых орудий, силой своего разума.

Так было до того, как пришли люди, до того, как шумная, толкотливая земная цивилизация оттеснила их к самым дверям дома.

Ее мать все поняла на собственном горьком опыте и пыталась ей это объяснить. Дирк никогда не будет счастлив на Земле. И она не может быть счастливой, если он попусту растратит свою жизнь, как ее отец, ненавидя свою работу и мечтая о другой, которая смогла бы удовлетворить его.

— Мы покупаем антигравитационный генератор,— сказала она роботу. Она повернулась к Дирку: — Он нам пригодится на Юпитере.

ЛАВКА МИРОВ

Обравшись до конца длинной, доходившей до плеча гряды серого щебня, Уэйн очутился перед Лавкой миров. Он сразу узнал ее по описаниям друзей. Это была маленькая лачуга, сооруженная из поломанных досок, листа оцинкованного железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся кирпичей. Снаружи все это было неровно вымазано бледно-голубой краской.

Уэйн оглянулся на длинную каменистую тропку, дабы убедиться, что за ним никто не следит. При мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепче зажал в руках сверток, открыл дверь и быстро прошел внутрь.

— Доброе утро,— сказал хозяин.

Он тоже был именно таким, каким его описывали: высокий старик с хитро прищуренными глазами и угрюмым ртом. Звали его Томпкинс. Он восседал в древней качалке, на спинке которой примостился сине-зеленый попугай. В лавке был еще стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц.

— Я узнал о вашей лавке от друзей,— сказал Уэйн.

— Тогда вам известно, сколько я беру,— сказал Томпкинс.— Принесли?

— Да, — сказал Уэйн, приподняв сверток. — Но я хотел бы узнать...

— Все они одинаковы,— сказал Томпкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул.— Валяйте, спрашивайте.

— Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время.

Томпкинс вздохнул:

— Происходит вот что. Вы мне платите. Я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем, с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание.

Кончив, Томпкинс усмехнулся, и Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся.

— А потом?

— Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из бесчисленных миров-вероятностей, которые постоянно существуют вместе с Землей.

Широко улыбнувшись, Томпкинс приподнялся в своей качалке. В его голосе послышалось вдохновение.

— Да, да, мой друг, хотя вы, наверное, и не подозревали этого, наша потрепанная Земля с момента своего рождения из огненного чрева Солнца сама начала порождать альтернативные миры-вероятности. Любые крупные или ничтожные события отражаются в несметном числе миров. И Александры Македонские и амебы — все создают эти миры; велик или мал камень, брошенный в воду, от него все равно расходятся круги. Каждый предмет отбрасывает тень, не правда ли? Земля, друг мой, существует в четырехмерном пространстве, и видимое материальное отражение Земли в любой данный момент является лишь ее трехмерной тенью. Миллионы, миллиарды Земель! Бесконечный ряд Земель! Ваше сознание, освобожденное мною, сможет выбрать любой из этих миров и на некоторое время поселиться в нем.

У Уэйна было неприятное чувство, будто перед ним балаганный зазывала, рекламирующий чудеса. И все же, напомнил он себе, за свою жизнь он насмотрелся такого, чему раньше ни за что бы не поверил. Ни за что! Поэтому возможно, что чудеса, о которых рассказывал Томпкинс, тоже могут осуществиться. Уэйн сказал:

— Мои друзья еще говорили...

— Что я отъявленный мошенник? — перебил его Томпкинс.

— Некоторые из них намекали на это,— осторожно заметил Уэйн.— Но я стараюсь не быть предубежденным. Они еще рассказывали...

— Я знаю, о чем рассказывали ваши друзья — у них ведь одно грязное на уме. Они рассказывали вам об удовлетворении желания. Именно об этом вы хотели услышать?

— Да,— сказал Уэйн.— Они говорили мне, что чего бы я ни пожелал... чего бы ни захотел...

— Вот именно,— сказал Томпкинс.— Именно так, а не иначе. Можно выбирать из бесконечного множества существующих миров. Ваше сознание выбирает, руководствуясь только желанием. Главное то, в чем заключается ваше сокровеннейшее желание. Если вы втайне мечтаете совершить убийство...

— Нет, нет, ни в коем случае! — воскликнул Уэйн.

— ...тогда вы попадете в мир, где разрешается убивать, где вы будете купаться в крови, где вы превзойдете самого графа де Сада, или Цезаря, или любого другого вашего идола. А вдруг вы стремитесь к власти? Тогда вы выберете мир, где вы будете богом в буквальном смысле. Может быть, кровожадным Джагернаутом или всемудрым Буддой.

— Я очень сомневаюсь, что я..

— Есть и другие желания,— продолжал Томпкинс.— Все, что может родить воображение ангела или дьявола. Половые извращения, обжорство, пьянство, любовь, слава — все что пожелаете.

— Поразительно! — сказал Уэйн.

— Да,— согласился Томпкинс,— конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей, всех комбинаций и трансформаций желаний. Вполне возможно, что вам захочется скромного, мирного, пасторального существования среди идеализированных туземцев на одном из островов южных морей.

— Это больше по мне,— робко засмеялся Уэйн.

— Но кто знает? — сказал Томпкинс.— Вы можете даже и не подозревать о своих действительных желаниях. Вы можете даже хотеть собственной смерти.

— И так часто бывает? — озабоченно спросил Уэйн.

— Иногда.

— Я бы не хотел умереть,— сказал Уэйн.

— Так почти никогда не бывает,— сказал Томпкинс, глядя на свер-ток, который Уэйн держал в руках.

— Если так... Но откуда я знаю, что все это правда? Плата чрезвычайно высока, мне придется отдать все, что у меня есть. А кто вас знает, дадите мне снотворного, и все мне приснится. Отдать все, что у меня есть, за... дозу героина и набор красивых фраз.

Томпкинс успокаивающе улыбнулся:

— Испытываемые ощущения не похожи на то, что дают одурманивающие средства; не похожи они и на сновидение.

— Если это правда,— слегка раздраженно сказал Уэйн,— почему нельзя навсегда остаться в мире своей мечты?

— Я работаю над этим,— сказал Томпкинс.— Вот почему я беру такую высокую плату — чтобы достать материалы, чтобы экспериментировать. Я пытаюсь найти способ сделать трансформацию устойчивой. Пока мне не удается ослабить путы, привязывающие человека к Земле и влекущие его назад. Даже великие мистики не смогли порвать этих пут, не прибегая к смерти. Но я не теряю надежды.

— Если вы добьетесь успеха, это будет великим событием,— вежливо заметил Уэйн.

— Безусловно! — выкрикнул Томпкинс с неожиданной страстью.— Тогда я превратил бы свою несчастную лавку во врата спасения! Трансформация стала бы бесплатной, бесплатной для всех! Каждый смог бы тогда отправиться в мир своей мечты, в мир, для которого он создан, и оставить эту проклятую Землю крысам и червям...

Томпкинс оборвал себя на середине фразы и неожиданно заговорил с ледяным спокойствием:

— Однако я увлекся. Пока я еще не нашел способа бегства с Земли, по надежности не уступающего смерти. Возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, переменить обстановку, ощутить другой мир, взглянуть на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру. Я возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит.

— Вы очень добры,— с искренним чувством сказал Уэйн.— Но есть еще одно обстоятельство, о котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду сокращение жизни на десять лет.

— Здесь ничего не поделаешь,— сказал Томпкинс,— и этого не возместишь. Мой метод требует колоссального напряжения нервной системы, что, естественно, ведет к сокращению продолжительности жизни. Это одна из причин, по которым наше так называемое правительство объявило мой метод незаконным.

— Однако оно не слишком строго следит за соблюдением запрета,— заметил Уэйн.

— Верно. Официально мое изобретение запрещено, как вредное мошенничество. Но чиновники тоже люди. Им тоже хочется покинуть Землю, как и всем другим.

— Отдать все,— задумчиво проговорил Уэйн, крепко сжимая в руках сверток.— И вдобавок потерять десять лет жизни! За исполнение моих тайных желаний... Вы знаете, я должен это хорошенько обдумать.

— Думайте сколько влезет,— сказал Томпкинс безразличным тоном.

Уэйн думал не переставая, пока возвращался домой. Он все еще думал, когда поезд прибыл в Порт-Вашингтон на Лонг-Айленде. Сидя за рулем машины на пути от станции домой, он вспоминал хитрое морщинистое лицо Томпкинса и думал о мирах-вероятностях и об исполнении желаний.

Однако размышления эти пришлось отставить, как только он вошел в дом. Его жена Джейнет хотела, чтобы он построже поговорил с домра-

ботницей, которая снова начала выпивать. Сыну Томми потребовалось помочь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день. А его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду.

Уэйн вежливо, но строго поговорил с домработницей. Он помог Томми нанести еще один слой медно-рыжей краски на днище парусника и выслушал рассказ Пегги о ее приключениях на детской площадке.

Позже, когда детей уложили и они остались одни в гостиной, Джейнет спросила, нет ли у него неприятностей на работе.

— Неприятностей?

— Ты чем-то озабочен,— сказал Джейнет.— Что-нибудь произошло?

— Да нет, все было как обычно...

Он ни за что не расскажет ни Джейнет, ни вообще кому бы то ни было, что он брал выходной и ездил в эту сумасшедшую Лавку миров к Томпкинсу. Не собирался он обсуждать и право каждого человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания. Джейнет, с ее прямолинейностью и здравым смыслом, никогда этого не понять.

В конторе наступили горячие дни. На Уолл-стрите царила паника из-за событий на Среднем Востоке и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении желаний ценою всего, чем он обладал. Да еще потерять десять лет жизни. Бред! Старый Томпкинс, верно, выжил из ума!

С субботы на воскресенье он уходил в плавание с Томми. У старого парусника был неплохой ход, и швы в днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные паруса, но Уэйн ему отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся. Пока же придется обойтись старыми.

Иногда вечерами, когда дети спали, они с Джейнет отправлялись на паруснике. В проливе Лонг-Айленд в такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мигающих бакенов, держа курс на большой желтый диск луны.

— Тебя что-то беспокоит, я чувствую,— сказала Джейнет.

— Милая, не надо!

— Ты от меня что-то скрываешь?

— Нет, ничего.

— Правда? Тогда обними меня крепче. Вот так...

Парусник плыл некоторое время, никем не управляемый.

...Исполнение всех желаний...

Но наступила осень, и парусник нужно было поднимать на берег. Биржа несколько стабилизировалась, но тут Пегги подхватила корь. Томми хотел узнать разницу между обычными бомбами, атомными бомбами, водородными бомбами, кобальтовыми бомбами и всеми другими видами бомб, о которых писали газеты. Уэйн объяснил, как мог. Потом от них неожиданно ушла домработница.

Тайные желания — это, конечно, здорово. Допустим, он действительно хотел кого-нибудь убить или поселиться на острове в южных морях. Но у него были еще и обязанности. У него двое маленьких детей и чудесная жена, которой он не стоит.

Вот, может быть, ближе к рождеству...

Однако зимой из-за короткого замыкания начался пожар в пустой спальне для гостей. Пожарники потушили огонь. Ущерба особого не было, и никто не пострадал. Но о Томпкинсе пришлось на время забыть. В первую очередь нужно было заняться ремонтом спальни, ведь Уэйн очень гордился своим старинным домом.

Из-за международной обстановки конъюнктура была неопределенной. По бирже ползли слухи — а как там русские, арабы, греки, китай-

цы... И потом — межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, спутники... Уэйн проводил на работе целые дни, а иногда оставался и по вечерам. У Томми началась свинка. Нужно было перекрыть крышу. Вскоре пришла пора позаботиться и о весеннем спуске на воду парусника.

Прошел год, а у него почти не было времени подумать о тайных желаниях. Возможно, в будущем году... А тем временем...

— Ну как? — спросил Томпкинс.— Чувствуете себя нормально?

— Да, вполне,— сказал Уэйн.

Он встал и потер лоб.

— Хотите, чтобы я возместил плату? — спросил Томпкинс.

— Нет. Ощущение было вполне удовлетворительным.

— Иначе и быть не могло,— сказал Томпкинс, подмигнув попугаю с грязной ухмылкой.— Так что же вы выбрали?

— Мир недавнего прошлого,— сказал Уэйн.

— Многие выбирают то же самое. Определили свое тайное желание? Что же это было, убийство? Или остров в Южных морях?

— Я бы предпочел не говорить об этом,— сказал Уэйн вежливо, но твердо.

— Многие не желают говорить со мной об этом,— угрюмо сказал Томпкинс.— Будь я проклят, если понимаю, почему так.

— Потому что... В общем, по-моему, мир тайных желаний является как бы священным, что ли, для каждого человека. Не обижайтесь... Как, по-вашему, сможете ли вы когда-нибудь сделать так, чтобы это было навсегда? Я имею в виду выбор того или иного мира.

Старик пожал плечами:

— Я пытаюсь. Вы узнаете, если это мне удастся. Все узнают.

— Да, видимо, так.— Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. В свертке была пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольших банки мясных консервов.

На мгновение в глазах Томпкинса вспыхнул огонек.

— Вполне достаточно,— сказал он.— Спасибо.

— До свидания,— сказал Уэйн.— Вам спасибо.

■

Уэйн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватал глаз, простиралась плоская буро-серо-черная равнина, усыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля мягкого белого пепла, который был когда-то человеческой плотью.

— Что ж,— сказал Уэйн вслух,— по крайней мере мы заплатили за все сполна.

Этот год в прошлом стоил ему всего состояния да десяти лет жизни впридачу. Был ли это сон? Все равно, он стоил этого! Но сейчас ему нужно было выбросить из головы мысли о Джейнет и детях. С этим покончено, если только Томпкинс не усовершенствует свое изобретение. Теперь следует позаботиться о собственном существовании.

С помощью наручного счетчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход. Успеть бы в убежище до наступления темноты, пока еще не вышли крысы. Если он не поторопится, то опоздает на вечернюю раздачу картофеля.

Перевод с английского А. ВАВИЛОВА

П. ТОПЕР

ЖИЗНЬ ПРОТИВ СМЕРТИ

(Читая новые книги о второй мировой войне)

Карл Краус, австрийский писатель-сатирик, сказал однажды:

«Человечеству пуля в одно ухо влетает, а из другого вылетает».

Если бы кто-нибудь вспомнил эти слова двадцать лет назад, в последние дни самой кровопролитной, самой жестокой войны за всю историю человечества, в обстановке общественного подъема, вызванного победой над фашизмом, они прозвучали бы странно. Кто мог поверить тогда, что найдутся люди, которые будут призывать забыть фашистские преступления, кто мог сочувствовать безумной идее реванша, идее «начать все сначала»? По дорогам Европы и всего мира нескончаемым потоком шли люди — возвращались домой демобилизованные солдаты, освобожденные узники концлагерей, увезенные в рабство, согнанные со своих мест войной, беженцы и переселенцы. Мало кого ждали дом и семья — чаще всего пепелище. Начинался новый отрезок мировой истории, народы заново решали свою судьбу, и в будущем меньше всего виделась возможность новой войны.

Но сегодня этот горький афоризм воспринимается уже по-иному. Цепочка «малых» военных авантюр и «грязных войн», протянувшаяся через все послевоенное двадцатилетие, вплоть до нынешней американской агрессии в Индокитае, политика «на грани войны», гонка атомного вооружения, амнистия гитлеризма, предпринятая боннской юстицией в честь двадцатилетия его разгрома, солдаты бундесвера во Франции, Англии, Дании, странах Африки, генералы бундесвера во главе войск НАТО — все как будто делается для того, чтобы мысль о новой войне стала будничной, повседневной. Из пепла гитлеровского рейха возродилось агрессивное немецкое государство, в Италии пытаются поднять голову «неофашисты», политика США все очевиднее идет по руслу, в которое ее направляет реакционно-милитаристская клика — многое в сегодняшней действительности живо напоминает то, что происходило после первой мировой войны и подготовило вторую. Общественное устройство буржуазного мира позволяет авантюристам, стоящим у власти, вести преступную игру, несмотря на страх и ненависть, протест и возмущение, которые война вызывает в народных массах.

В этом надо видеть главную причину того, что сегодня, двадцать лет спустя после Победы, интерес к литературе о второй мировой войне не только не иссякает, но, кажется, она все больше и больше привлекает к себе внимание. Искусство — память народов, их совесть. Тем, кто делает ставку на агрессивную войну, на руку и забвение уроков прошлого, и искажение его; бороться с ними можно только правдой.

Двадцать лет — большой срок, и не только для нашего быстротекущего времени. Но для нашего в особенности, и советским людям это хорошо понятно. Достаточно вспомнить, что всего двадцать лет отделяют конец гражданской войны от начала войны Отечественной, и в этот срок, в одно двадцатилетие, вместились и нэп, и коллективизация, и пятилетки, вместилось создание индустриальной державы, построение бесклассового общества и превращение царской России в дружную семью социалистических наций, вместилось становление советского человека — все то, что позволило советскому народу в Отечественную войну сначала выстоять, потом — победить. Колоссальная энергия революционного взрыва, который потряс мир в 1917 году, всегда была могучим ускорителем нашей жизни.

Послевоенное двадцатилетие тоже вместило в себя огромные события, и если их грандиозность не всегда столь ясно ощутима нами, то лишь потому, что они еще слишком близки во времени. Сегодняшняя политическая карта земного шара — «радужно-веселая», пользуясь выражением Л. Леонова,— не похожа на ту, довоенную, на которой капиталистический мир черным цветом окружал Советский Союз, единственное государство, строящее социализм. Страны сложившегося за эти годы социалистического лагеря прошли огромный путь

развития, путь перестройки общественной жизни на справедливых и разумных началах. Целая эпоха отделяет жизнь народов этих стран от предвоенного времени; целая эпоха отделяет те годы, когда все мы жили мыслью о неизбежности вооруженного столкновения с империализмом, от наших дней, когда народы в силах остановить агрессоров и утвердить свою волю к миру.

В стремительном полете истории меняется ракурс даже при взгляде на такое гигантское событие, как мировая война. Вступают в жизнь новые поколения, для которых мюнхенское предательство и «странная война», сражение под Дюнкерком и оборона Брестской крепости, Лидице и Орадур-сюр-Глан, Сталинградская битва и споры о втором фронте — все это уже история, которую изучают в школе. Покоритель космоса Юрий Гагарин в войну был ребенком. Герою богомоловского рассказа «Иван», останься он жив, было бы сегодня под сорок. Когда выяснилось, что мальчик, пронесенный в Освенцим в чемодане и спасенный там заключенными, членами боевой подпольной организации,— герой романа Бруно Апица «Голый среди волков» — живет и здравствует, то оказалось, что ему давно пошел третий десяток. Выросли новые читатели, родившиеся уже после того, как отгремели последние залпы, более счастливые, чем их старшие братья, и не боящиеся неба, с которого уже не падают бомбы. Молодые писатели в своих книгах пока сравнительно мало и робко касаются этих лет, наоборот, больше всего о прошедшей войне пишут сегодня те, кто сам прошел по ее полям в шинели солдата. Еще, кажется, в силе слова К. Симонова: «Я не представляю себе, чтобы роман об этой войне мог написать человек, который в ней не участвовал». Но в кинофильмах безусых офицеров, которые подымали роты в атаку, и узников концлагерей, которые молчали на допросах, играют актеры, знающие войну только по книгам и рассказам старших,— других уже не найти.

Сегодня нельзя вообразить себе ни одной серьезной книги о современности (если не считать, конечно, нарочитого, демонстративного ухода от действительности и ее проблем), в которой так или иначе не присутствовала бы прошедшая война — прямо или косвенно, в судьбах героев или в их предыстории, в мыслях действующих лиц или в рассуждениях автора. Но за последнее время стало заметнее стремление обратиться «через горы времени» непосредственно к описанию войны, которая живет на страницах новых книг контрастно по отношению к нашей сегодняшней действительности, сегодняшнему мирному быту. Среди этих книг много автобиографических; всем им свойственно стремление к достоверности, внимание к точности деталей, к описаниям фронтовой обстановки и т. д. Это относится не только к произведениям советских писателей последних лет. И многим зарубежным книгам присуще желание закрепить на бумаге неповторимые приметы того времени, «блиндажный быт», говоря словами А. Бека из его новой книги «Резерв генерала Панфилова». Писатели словно заново увидели повседневность войны, и то, что раньше хотелось забыть, отбросить, сегодня они стремятся вспомнить, утвердить. О многих этих книгах можно сказать словами Д. Самойлова:

Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

С этой точки зрения небольшое авторское вступление к «Рассказам о неизвестных героях» С. Смирнова, в котором он объяснил, почему предпочел изложить события так, как они происходили в действительности,— интереснейший литературный документ нашего времени. Дело, конечно, не в противопоставлении документального жанра художественным; недаром сам С. Смирнов говорит, что в будущем собирается написать на том же материале повесть или роман. Дело в том, что очень многие новые книги о второй мировой войне не скрывают и даже подчеркивают свою документальную основу: это относится в равной мере к повести Ладислава Мнячко «Смерть зовется Энгельхен» и к роману А. Адамовича «Война под крышами», к повести В. Рослякова «Один из нас» и к роману Бено Зупанчича «Поминки», романам Рудольфа Яшика «Мертвые не поют» и А. Ананьева «Танки идут ромбом» и т. д. Характерна также для очень многих современных книг о войне — и отнюдь не только для документального жанра — отмеченная С. Смирновым «некоторая сухость изложения», рождающаяся из мысли, что «температура повествования должна быть обратно пропорциональна температуре материала».

Но одной неумирающей памятью тех, кто «ступал в тот след горячий», нельзя объяснить ни широкий интерес к новым книгам о войне, ни их особенности. Закономерности литературного процесса всегда коренятся в текущем, сегодняшнем времени; иначе и быть не может — такова природа искусства, да и самого человеческого мышления. И не случайно во многих самых разных книгах, созданных за последние годы, уже в самом замысле, самом композиционном построении присутствует некая сегодняшняя «зацепка», заставляющая писателя разматывать, нитку за ниткой, клубок прошлых событий.

Мелкий служащий торговой фирмы в поисках врача-фтизиатра приходит в уединенный дом в пригороде Токио, поражается профессиональным умением и в то же время странной неприветливостью принявшего его врача и вскоре узнает, что он стал лечиться у одного из тех, кто был судим как военный преступник. Гонимый непонятным беспокойством, он начинает искать в архивах материалы этого судебного процесса — и перед нами возникает картина тех лет, каннибальские нравы японской военщины, преступные опыты над американским военнопленным, и во весь рост встает столь актуальная сегодня проблема соучастия в военных преступлениях.

Так строится повесть японского писателя Сюсаку Эндо «Море и яд».

Известный польский кинорежиссер ставит фильм о варшавском восстании, участником которого он был, и работа над фильмом заставляет его заново идти дорогами молодости, искать друга тех лет и любимую девушку, которую он не видел все эти годы. Для него эти поиски — путь осознания утрат, потому что его друзья тех лет порвали со своей страной и ведут безрадостную жизнь в эмиграции. Много горького остается в его душе от этой «погони» за героем прошлого, но силы дает ему народная Польша, где он живет и работает, где его знают и любят зрители.

Так сделана повесть Ежи Ставинского «В погоне за Адамом».

Душан Гамшик и Иржи Пражак написали на основе тщательного изучения материалов книгу «Бомба для Гейдриха» — историю убийства гитлеровского протектора Чехии и Моравии; но начинают они свою «документальную повесть» с имени Адольфа Эйхмана, поимки его и суда над ним. А заканчивают рассказом о посещении в 1962 году — спустя двадцать лет после справедливой кары, которая настигла палача Гейдриха,— Западной Германии, где спокойно живет его вдова, получая пенсию за погибшего «как солдат на войне» мужа, где процветают его соратники по убийствам и где «не надо даже напрягать слух», чтобы услышать воинственные крики: «Всю Чехию превратим в Лидице!»

В композиции повести словацкого писателя Ладислава Мнячко «Смерть зовется Энгельхен» нет непосредственной переклички военных лет с нашими днями, но нетрудно понять, что трагическую историю партизанского села Плоштина, сожженного вместе с его жителями отрядом немецких карателей по приказу гитлеровского любимца Скорцени, Ладислав Мнячко начал писать, думая о сегодняшнем Скорцени, чье имя несколько лет назад снова замелькало по страницам газет — на этот раз как организатора сил международного фашизма. И здесь рукою писателя водили не просто воспоминания об «испепеляющих годах», не просто горькая память о жертвах, а мысль об уроках, вынесенных им из военных лет, об уроках истории и сегодняшней угрозе фашизма.

Примеры можно было бы умножить; упомянем еще только повесть Зофьи Посмыш «Пассажирка», привлекшую большое внимание советских читателей. Как и «В погоне за Адамом» Ежи Ставинского, эта повесть принадлежит к тем произведениям, в которых столкновение настоящего с прошлым обнажено, как прием, уже в самом замысле. И если Ежи Ставинский во главу угла кладет мысль о различии путей, которые прошли за эти годы его герои, сражавшиеся по одну сторону баррикады с одним и тем же врагом, то для Зофьи Посмыш важнее другой аспект — показать преступность тех, кто был связан с гитлеровской машиной угнетения, и непроходимую пропасть, разделяющую гитлеровцев и их жертвы, пропасть, которую никогда не закроет время.

Существование процветающего западногерманского дипломата, безмятежное и незапятнанное, как фасад боннской республики с ее «экономическим чудом», с ее новыми дорогами и отстроенными городами, взрывает случайная встреча на пароходе с ожившим призраком прошлого — заключенной Освенцима, которая, по всем расчетам его жены, в прошлом надзирательницы в Освенциме, должна была погибнуть. Дальше повесть развивается, как кинофильм, в двух планах — воспоминания надзирательницы «перебиваются» спорами ее мужа, которому не известно прошлое его жены, с американским журналистом о вине и ответственности немецкого народа за фашистские преступления. И становится ясно, что от прошлого не уйти, что оно живо и требует преступников к ответу — так, как требует к ответу бывшую эсэсовку и ее благовоспитанного мужа холодный, презрительный взгляд «пассажирки».

Литература о прошедшей войне в странах социалистического лагеря развивается в иных условиях, нежели в странах буржуазного мира.

То, какой предстает война на страницах книги, зависит от многих причин, в первую очередь от особенности таланта писателя, от понимания им событий и умения разобраться в них, от национальных традиций, но также и от того, какой была война, выпавшая на долю его народа. Чудаковатый солдат армии США Весли Джексон и его подкупающие своей наивностью рассуждения о том, что ему не нужна эта война, что «пускай, как говорится, погибнет цивилизация, лишь бы я сам жив остался», могут быть поняты только в нравственной атмосфере книг Уильяма Сарояна, скептицизм которых отразил по-своему протест против своей, «домашней» военщины. Мир «Человеческой комедии» и «Приключений Весли Джексона» не похож ни на патетический эпос рушащегося государства и начинающейся освободительной войны, с которой мы встречаемся на страницах «Коммунистов» Арагона, ни на героическую, ожесточенную битву за свободу, меняющую до основания жизнь народа, о которой рассказывает трилогия словацкого писателя Владимира Минача, ни на трагический, обреченный пафос напрасной гибели, завершающий роман «Памятник» японского писателя Ёсиэ Хотта, который пишет о народе, не получившем свободы, после того как «фанатики и безумцы» довели страну до поражения. Правда о второй мировой войне, запечатленная в искусстве, складывается из многих, подчас противоречивых слагаемых и, в известном смысле, сложнее, чем правда о первой мировой войне, в которой друг другу противостояли две хищнические группировки, ведшие несправедливую, захватническую, империалистическую войну. Множество

П. ТОПЕР
ЖИЗНЬ ПРОТИВ СМЕРТИ

книг рассказало нам о том, как в годы первой мировой войны — по-разному у разных народов и в разных социальных слоях — с немалыми трудностями, нередко через неисчислимые человеческие трагедии, в сознании и чувствах людей прокладывала себе путь мысль о превращении войны империалистической в войну гражданскую, мысль о социальной революции. Вторая мировая война по своему происхождению была империалистической, но с развитием событий меняла свой характер; будучи захватнической со стороны фашистских государств, она стала освободительной со стороны государств антигитлеровской коалиции. При этом среди тех, кто шел за Гитлером, не было и не могло быть полного единства и совпадения целей, и многие из них в ходе войны поворачивали оружие против гитлеризма; в то же время среди держав антигитлеровской коалиции существовали серьезные противоречия, поскольку каждая из них стремилась продолжать на полях войны свою собственную политику. Вступление в войну Советского Союза, победоносная Отечественная война, развертывание народного движения Сопротивления в оккупированных странах резко усилили ее освободительный, антифашистский характер. Ее воздействие на народные массы как в побежденных странах, так и в странах-победительницах было и глубже, и шире, ход ее неузнаваемо изменял политическую карту мира, создавал повсюду — пользуясь выражением Марии Пуйманової из ее книги «Жизнь против смерти» — «карту новых чувств». Многие миллионы людей были втянуты в ее орбиту, самые разные течения, социальные и национальные, переплетались и сталкивались подчас самым причудливым образом.

Естественно поэтому, что реалистическая литература рисует военные годы во многих и разных аспектах, причем исторический опыт послевоенного двадцатилетия постоянно накладывается на опыт самой войны. Осмысление ее уроков повсюду отражает особенность исторического развития, свои, специфические повороты идейной борьбы вокруг этой темы. В Японии память об участии в несправедливой войне переплетается с осознанием американской оккупации, пришедшей с поражением, и тем особо обостренным восприятием страданий и жертв, которое принесли в эту страну сброшенные на ее города атомные бомбы. Во Франции, Англии, США, бывших участниками антигитлеровской коалиции, буржуазные правительства которых вели и ведут империалистические «малые войны», взгляд на годы мировой войны проходит сквозь призму острой политической борьбы вокруг событий в Алжире, Корее, Вьетнаме. В США например, антивоенная литература все больше и больше говорит об острейших противоречиях в самой американской армии: последнее произведение Джона Килленза «И тогда мы услышали гром» — живое тому доказательство. Советскому человеку странно и непривычно читать о солдате второй мировой войны, который, сражаясь против Гитлера и его союзников, с ненавистью оглядывается на расистов и реакционеров в своей собственной стране. Но это противоречие было реально для армии Соединенных Штатов, особенно для негритянских частей, воевавших на отдаленных театрах военных действий на Тихом океане. Герои Джона Килленза видят себя участниками схватки двух империалистических хищников, в которой они, угнетенные американские негры, постоянно натыкающиеся на унизительную систему дискриминации, чувствовали себя зажатыми между двух огней. И бешеное побоище между солдатами-неграми и их «однополчанами» - янки, которым заканчивается книга Джона Килленза,— это не только характерное событие из жизни армии США в годы второй мировой войны, но и заметный эпизод в многолетней борьбе американских негров за свои права, которая с такой революционной силой разворачивается в наши дни, на наших глазах.

В странах буржуазного Запада антивоенной литературе давно уже приходится вступать в бой с проповедниками насилия и убийств, с прославлением, замаскированным или явным, захватнических войн, с открыто реакционной фашистской литературой. «Центурионы» Лартеги, «Ухуру» Руарка не стоят одиноко, у них немало подражателей и последователей, новоявленных певцов империализма. Что же касается Федеративной Республики Германии, то там давно уже существует литература, широко издающаяся и, к сожалению, широко читающаяся, о которой И. Бехер говорил, что ее правильнее называть не послевоенной, а предвоенной, поскольку она готовит третью мировую войну. Старые идеи милитаризма, давно уже разоблачившие себя, прикладываются к новому историческому материалу — второй мировой войне. Здесь в почете не только прежние «классики» этого рода литературы — Юнгер, Боймельбург, Двингер,— но и множество новоявленных пророков, их учеников и последователей. Эти книги, обычно не имеющие никакого отношения к искусству, почти неизвестны за пределами Западной Германии, но у себя в стране они воздействуют на общественное мнение, на молодые умы больше, чем всемирно известные писатели, такие как Вольфганг Кёппен, Генрих Бёль — авторы сильных и гневных антивоенных книг, созданных в 50-е годы.

Социалистические страны не ведут колониальных войн. Никто не призывает там к войне и не доказывает, что солдатская жизнь в чужой завоеванной земле — идеал существования. Народы этих стран заняты мирным, созидательным трудом, они решают проблемы социального переустройства жизни и чувствуют себя уверенно в содружестве социалистических стран. Для них вторая мировая война действительно история. Герой повести Ежи Ставинского «В погоне за Адамом» говорит:

«Должно быть, мы были последним польским поколением, изрешеченным автоматами и сгноенным в концлагерях. Теперь, в новой действительности, никто не нападет на брошенную в одиночестве Варшаву.

Нашим детям не придется защищать голыми руками село Рыню от водородной бомбы или межконтинентальной ракеты».

За последнее время в русском переводе появилось много новых книг о второй мировой войне, созданных писателями социалистических стран. Можно назвать здесь «Мертвые не поют» Рудольфа Яшика, «Смерть зовется Энгельхен» Ладислава Мнячко, рассказы Арношта Люстига, «Пассажирку» Зофьи Посмыш, «В погоне за Адамом» Ежи Ставинского, «Конец» Ежи Пшезьдзецкого, «Партизанские рассказы» Веселина Андреева, воспоминания героини партизанской борьбы Митки Грыбчевой «Во имя народа», «Северное шоссе» Эуджена Барбу, «Поминки» Бено Зупанчича, «Свадьбу» Михайло Лалича, «Парламентера» Эндре Барата. Я упоминаю далеко не все книги, полученные недавно нашим читателем, не разделяя их по жанрам и вовсе не касаясь вопроса о том, какая из них более, а какая менее значительна, что в них больше, а что меньше удалось авторам, как они соотносятся с теми книгами, которые мы читали раньше. Я хочу только отметить то обстоятельство, что все эти книги в Советском Союзе вызывают интерес прежде всего по явно ощущаемой близости к тому, о чем мы читаем в советской литературе, по глубокому чувству узнавания. На жизненном материале своих стран они раскрывают родственное нашему читателю идейное и нравственное содержание.

На книжных полках и в сознании читателя они становятся рядом с новыми книгами советских авторов, принадлежащих по большей части к тому же поколению, чья молодость пришлась на войну. Да в них и есть ситуации, которые словно переходят одна в другую, есть герои, у которых словно были одни и те же прототипы в жизни. Тема боевого братства, сложившегося в освободительной войне против общего врага, продолжает звучать в них с той же силой, что и все годы, прошедшие после окончания войны. Герои «Пяди земли» Григория Бакланова, устоявшие в жестоком бою на днестровском плацдарме и погнавшие врага за румынскую границу, на последних страницах книги узнают о выходе Румынии из войны и воспринимают это известие как величайшую радость. Та же новость переворачивает жизнь героев «Северного шоссе» Эуджена Барбу, румынских подпольщиков-коммунистов, дает и им узнать «вкус победы». Воззвание, выпущенное в эти дни патриотическим фронтом, документально точно приведено в романе Эуджена Барбу, и в нем советский читатель ясно узнает знакомые слова, свои мысли и чувства:

«...Борьба ведется не на жизнь, а на смерть!

Советская Армия-освободительница приближается!

Все, кто способен носить оружие, пусть явятся в штаб боевых патриотических соединений в парке Филипеску (Жиану), аллея Александру.

Времени терять нельзя!

Смерть немецким захватчикам!»

В повести «Третья ракета» Василия Быкова артиллерийский расчет ведет кровавый неравный бой с немецкими танками, громя врага среди кукурузных полей Румынии; в его «Альпийской балладе» русский солдат спасает итальянку в последнюю минуту своей жизни. В книге Ю. Бондарева «Последние залпы» мы читаем о боях за польский город Касно, в которых советские бойцы и чешские воины бок о бок сражаются и умирают ради того, чтобы не пропустить немецкие танки, рвущиеся в Словакию на подавление того восстания, в котором участвуют герои книг Владимира Минача и Ладислава Мнячко. В повести Ежи Пшезьдзецкого русский офицер Алеша воюет на польской земле во главе партизанского отряда, состоящего из военнопленных, бежавших из Освенцима. Страницы незаконченного романа Рудольфа Яшика «Мертвые не поют», рассказывающие о трагедии словаков, посланных гитлеровцами воевать против Советского Союза, вызывают в памяти старые корреспонденции о рейде корпуса Ковпака и его встрече со словаками и переходом их на сторону Красной Армии. Картины вступления Красной Армии в освобожденные города Восточной Европы в новых произведениях наших друзей вызывают в памяти многие советские книги, вплоть до страниц фронтовых корреспонденций Н. Тихонова, К. Симонова, И. Эренбурга, П. Павленко, Л. Соболева, Л. Первомайского, В. Гроссмана. Вот как Ладислав Мнячко в повести «Смерть зовется Энгельхен» описывает марш советских войск:

«...во всю ширину улицы шагала колонна солдат Красной Армии, вступающая в город. Они нисколько не были похожи на немцев, которые здесь разгуливали целых шесть лет. Они отличались от немцев всем. Шагали легко, быстро, совсем не торжественно; лица их были серыми от пыли, гимнастерки выгоревшие, пилотки с красными звездочками пропитаны потом. Оружие, выправка, глаза... да, их глаза — все было не таким, как у немцев. Они первый раз вступали в моравский город и не могли понять, что здесь происходит. Так их еще нигде не встречали! Так их еще нигде не приветствовали, они еще не видели, чтобы люди так плакали, кричали, смеялись, просто плясали от радости; так их еще нигде не засыпали цветами, нигде не обнимали молодые, красивые девушки, нигде их так не целовали, может, даже и дома! Толпы окружили колонну солдат, порядок нарушился — теперь это была уже не колонна: каждый советский солдат был зажат в кольцо. Куда, в какую страну пришли они? Что здесь за люди? Почему встречают их так горячо?

— Милые вы наши... Голубчики... Красавцы!..— доносятся до них исступленные женские голоса.

Солдатам понятна эта радость, плач, восклицания — они поняли бы все это, даже

П. ТОПЕР
ЖИЗНЬ ПРОТИВ СМЕРТИ

если бы не понимали слов. Но здесь многие обращаются к ним на их родном языке».

Но, конечно, дело не только в схожести ситуаций и военного пути героев. Общность лежит глубже — в близости исторических судеб, общности социальных процессов. Тема антифашистского освобождения, тема народного подвига — основная в восприятии войны писателями социалистических стран. Реализм одерживает здесь многие победы. Годы, прошедшие после XX съезда КПСС, позволяют литературе глубже подойти к этой теме, не боясь трагизма реальных ситуаций, не замалчивая ошибок руководства там, где они были, не страшась показывать трудности и трагедии войны. Литературу наших стран отличает реалистическая конкретность в подходе к изображению войны и человека на войне, его возможностей, его свершений. Это особенно заметно при сопоставлении книг писателей социалистических стран с книгами многих буржуазных писателей Запада, в которых война становится «моделью» для выяснения неких общечеловеческих, изначально данных качеств, превращается в собрание наиболее острых и трагедийных ситуаций, свойственных жизни и человеку «вообще».

Французский еженедельник «Ар» недавно сетовал на «эпидемию» книг о первой мировой войне (начиная с «Огня» Анри Барбюса), возобновившуюся после второй мировой войны, и утверждал при этом, что солдатское обмундирование и «коллекцию безупречных освободителей» давно уже пора «окончательно забальзамировать». Автор этой статьи, озаглавленной «Истасканная война», восклицал: «Вот уже двадцать лет, как это продолжается. Хватит! Неужели нет других приключений для того, чтобы изобразить действующих лиц в критической ситуации?» По мнению этого автора, безразлично, «какое событие» будет использовано для создания «ужасающего эффекта»; и война в литературе наших дней «оправдана» только тогда, когда «дает предлог для постановки моральной проблемы».

У Ежи Ставинского в повести «В погоне за Адамом» есть характерная в этом смысле, открыто полемическая сцена. Герой повести, автор фильма о варшавском восстании — фильме о себе самом, о своей молодости, о своих друзьях,— дает в далекой Аргентине пресс-конференцию. Он вынужден отвечать вежливо и остроумно, не нарушая ритуала, установленного организаторами его поездки, но его раздражают вопросы репортера, для которого трагедия Польши — нечто далекое, чуждое, не ранящее ни сердце, ни память: нет ли в трагической ситуации фильма намека на положение человека в мире вообще? Есть ли влияние Сартра? Экзистенциализма? и т. д. «Не мог же я ему сказать,— размышляет герой,— что просто описал эпизод из моей жизни, а выдумал только смерть героев в конце, как и пристало приличной трагедии, потому что ведь Кама, и Адам, и я продолжаем жить, хотя нас разбросало по свету. Такое признание было бы совершенно неуместным, оно уронило бы мой престиж и вызвало бы неудовольствие Розенцвейга, который оплачивал мое путешествие из Варшавы не затем, чтобы я лишил свой фильм экзистенциализма, гомосексуализма и других тому подобных терминов, дающих полные сборы».

В то же время книги, появляющиеся в социалистических странах, в массе своей сдержанны в изображении войны, и в этом они тоже полемичны. В них нет того разгула жестокости, вакханалии смерти, которой так легко (и, казалось бы, это будет оправданно) распахнуть двери тому, кто касается темы второй мировой войны, тотальных мобилизаций, массированных бомбардировок, танковых сражений, террора, концлагерей. Среди книг писателей буржуазного Запада, прежде всего в США и ФРГ, можно найти немало таких, авторы которых словно изощряются в придумывании ситуаций одна ужаснее другой. Эти книги потрясают сознание и воображение читателя, но антивоенный пафос их по большей части условен — обилие ужасов, через которые человек должен пройти, чтобы выжить, как правило, только оправдывает в этих книгах жестокость, как единственное средство самообороны против враждебного мира. Страх перед войной — еще не протест против нее. Арнольд Цвейг в 1929 году (в разгар споров по поводу романа Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен») говорил, что «человек — храброе животное», и поэтому изображение «нечеловеческих мук, звериной смерти во время войны» так спокойно допускается силами реакции. Горы трупов могут только заслонить от читателя смысл событий, как они заслоняют его в реальной жизни от рядового солдата. Правда о войне начинается в искусстве с правды характера, с правдивого изображения поведения людей, оказавшихся в столь нечеловеческих условиях, изображения их внутреннего мира. Об этом прекрасно говорил в свое время Матэ Залка: «Надо только суметь показать человека на войне. И не сорвать голоса... Я не люблю крика».

В книгах Ладислава Мнячко и Зофьи Посмыш, Рудольфа Яшика и Бено Зупанчича — при всем подчеркнуто трагедийном колорите изображения — главное внимание направлено на психологическое, а не на физическое напряжение, выпадающее на долю их героев. По своему строю это книги аналитические. Нигде в них война не предстает перед нами как кровавый бессмысленный хаос, действия героев не превращаются в мгновенные необъяснимые порывы; писатели всегда знают логику поступков и мыслей, даже если герой и не осознает ее. Это мужественные книги. Они не из тех, которые — говоря словами одного из героев Э. Хемингуэя — «пишут нервные юноши», «чуть-чуть свихнувшиеся», «сохранившие свежесть воспоминаний о первом дне боев или о первых трех или четырех таких днях».

В повести Ладислава Мнячко «Смерть зовется Энгельхен» есть такой эпизод. В расположении партизанского отряда взрывается трофейный фауст-патрон, гибнет русский офицер Алексей, командир отряда, его создатель, любимец партизан. Совет собри-

рается для выборов нового командира, и один из членов совета, Фред, забывает на минуту, что ему поручено следить за двумя подозрительными людьми, присоединившимися к отряду. Эти люди, оказавшиеся агентами гестапо, сбежали, и все страшное, что последовало потом,— карательная экспедиция против Плоштины, разгром отряда, уничтожение подпольщиков в городе, в том числе и отца Фреда,— все это стало ценой его минутной оплошности. Таков закон войны: ошибка солдата — так же как и трусость — оплачивается кровью его друзей. Партизанский суд приговаривает своего верного товарища и храброго бойца к смерти, но он сам осудил себя еще раньше и сам, первый, произнес слова «Расстреляйте меня!» Мнения партизан, однако, разделились, и его оставили в живых. Только жить ему труднее, чем умереть: «скорей всего, рассудок его не выдержит, его стерегут, как бы он чего не выкинул». Одна-единственная минутная оплошность, стоившая стольких смертей, сломала и его жизнь.

С. Смирнов в книге «Рассказы о неизвестных героях» воспроизводит схожий эпизод тех дней, о котором «итальянские крестьяне в горах Лигурии вспоминают как о примере того, с какой беспощадной, непримиримой требовательностью относились к самим себе наши люди, как охраняли они в чистоте достоинство советского человека». Советский боец, бывший в отряде итальянских партизан, совершил в пьяном виде мародерство, и, хотя его поведение прежде было безупречным, его судили и приговорили к расстрелу.

«...На рассвете четверо итальянцев и четверо советских партизан привели приговор в исполнение. Осужденный встретил смерть спокойно и с достоинством. Перед расстрелом он оставил одному из товарищей адрес своей семьи.

— Прошу, напишите, что я погиб в бою,— обратился он к своим по-русски.— И последняя моя просьба к вам: не стреляйте в меня, стреляйте в воздух. Страшно погибнуть от рук своих; а ведь четыре пули убьют меня так же, как восемь. Если можете, ребята, простите, что я опозорил вас так.

Его просьба была исполнена, и ни один из итальянцев не упрекнул своих русских товарищей, что их винтовки выстрелили в воздух».

Эта история сродни древним мифам, народным сказаниям; она звучит, как легенда, да и стала уже легендой. Сегодня, вне атмосферы тех лет, она может показаться надуманно страшной; однако она говорит о «жестоких, но справедливых» законах жестокой войны. Только в свете этой логики, коренящейся в безмерном напряжении народных сил, в отчаянной трудности пути к победе, только в свете безжалостной требовательности к самим себе можно понять нравственную природу освободительной, антифашистской войны и то правдиво запечатленное в книгах чувство моральной чистоты тех, кто сражался за правое дело.

Эти книги рассказывают нам о бесчисленных высоких примерах самопожертвования и подвига, и тем самым они противостоят той волне «дегероизации», которая стремится захлестнуть сегодня даже литературу о второй мировой войне, обнаружившей столько бессмертных героев по силе мысли и духа, по смелости действий, породившей поистине *массовый* героизм. И не случайно в советской литературе так громко звучат сегодня прекрасные слова Юлиуса Фучика из его «Репортажа с петлей на шее» — и звучат тем настойчивее, чем внимательнее вглядываются писатели в рядового участника войны, рядового творца победы: «Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев. Были люди, у каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!

Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них, как сыновья и дочери, гордитесь им, как великим человеком, который жил будущим. Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня».

Изображению военных лет в социалистических литературах не свойственно ни умиление жертвенностью, ни ложная мысль о бесцельности активной и сознательной борьбы за будущее, о бессилии человека перед слепыми силами разрушения. Герои всех этих книг сражаются и гибнут не молча, не пассивно, а защищаясь или нападая, даже в таких условиях, когда сама мысль о сопротивлении кажется невозможной. И Ладислав Мнячко считает своим долгом особо подчеркнуть это обстоятельство: «Почему-то теперь пишут в газетах о невинных жертвах. Конечно, немцы убивали и невинных, но плоштинские мужчины боролись, боролись, как мы, нет, гораздо лучше».

О второй мировой войне написано на Западе немало книг, подчас очень сильных и талантливых, авторам которых свойственна мысль, что подвиг во имя правого дела, если он связан с насилием, пусть вынужденным, все же антигуманен в своей основе и разрушает человеческое начало совершившего его. Как бы ни были искренни исходные позиции, приводящие к этой мысли, гуманизм в таких книгах остается «абстрактным», то есть не проверенным реальными фактами истории, реальной жизнью. Приложенный к справедливой войне, он в наибольшей мере обнаруживает свою прекраснодушную несостоятельность и заставляет писателей, наперекор своему таланту, искажать изображенную действительность, ограничивать свои реалистические возможности. Под влияние этой точки зрения попадают честные противники войны, талантливые писатели, искренние

гуманисты, если они не подымаются до осознания справедливости антифашистского действия. И здесь всегда таится опасность иронического глумления над подвигом, нравственного предательства по отношению к тем, кто отдавал все свои силы, а часто и жизнь во имя нашего будущего. Война начинает вырисовываться в таких книгах, как род «игры на равных началах», пусть страшной, пусть бесчеловечной, но одинаково справедливой или несправедливой с той и с другой стороны, одинаково «честной».

Некое единое представление о современной армии вне зависимости от социального строя, который она охраняет, и идеалов, за которые она сражается, кочует сегодня по страницам буржуазной печати, как истина сама собой разумеющаяся, как аксиома, не требующая доказательств. Американский литературовед Деминг Браун, рассуждая о книгах, посвященных второй мировой войне, пишет, ничтоже сумняшеся, что, «хотя они это никогда и не признавали открыто, советские критики знают, что русский солдат был так же аполитичен, как американский, если не больше». Об этом же «русском солдате» рассуждает и Роже Кийо, не раз выступавший на страницах французского журнала «Прёв», в статье «От Шолохова до эпопеи». Без тени улыбки сопоставляет он отношение «пехоты» к своим начальникам в третьей части «Тихого Дона», где действие происходит в царской армии в первую мировую войну, и в книге «Они сражались за Родину». В этой статье, где смешаны воедино Барбюс и Ремарк, Сент-Экзюпери и Мальро, Сартр и Камю, ставится знак равенства между первой и второй мировыми войнами (и между всеми современными войнами вообще), а об участниках войны говорится как об «обычных людях, стремящихся такими же и остаться, столкнувшихся в кровавом поединке с нечеловеческим существованием, погруженных в безликий бой...» С героями покончено! — восклицает Роже Кийо; на современной войне остается только «бороться за свою жизнь, как не может бороться ни одно животное».

Случайно ли Роже Кийо не видит освободительного характера войны и оперирует только понятием «военные приключения» («aventures»)? Это те же самые «приключения», мыслью о которых полны все милитаристские боевики и которые иронически стоят в названиях многих антивоенных книг: и «Приключений Весли Джексона» Уильяма Сарояна и «Приключений Вернера Хольта» Дитера Нолля.

Идея «игры на равных началах» в своем наиболее демагогическом варианте драпируется в одежды «рыцарской чести», «облагороженного солдатства» — в таком виде она давно уже стала составной частью современной милитаристской идеологии, прикрывая ее пустоту и бесчеловечие. Хорошо известно, что гитлеровцы любили публично отдавать должное храбрости противника, и это показное благородство прекрасно сочеталось у них с концлагерями и ягдкомандами, геноцидом и массовыми расстрелами. Эта красивая бутафория служила поддержанию все той же идеи «солдатского духа», которая была взята гитлеризмом у старой прусской националистической идеологии. Воздействию ее поддалось уже не одно поколение молодежи, и сегодня, когда милитаристам приходится все в большей мере маскировать свои преступные идеи, она служит делу войны еще более верно.

Несколько лет назад мне попался на глаза поразительный по наглости документ — хвалебная рецензия на «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, опубликованная в профашистской немецкой газете «Дейче зольдатенцейтунг». Автор статьи заявлял, что эта книга имеет «особый интерес именно для немецких фронтовиков», поскольку представляет собой «патетический эпос о войне вообще».

Доказывается это с помощью нехитрого подлога — путем утверждения, что герои книги «просто люди», и тем самым их любовь к социалистической Родине, их ненависть к захватчикам — все это становится чем-то вторичным, поверхностным. Святые для нас понятия «Великая Отечественная война», «советский человек», «победа правого дела» автор статьи берет в кавычки — не потому, что он их отрицает, нет, он ведет свою игру тоньше — потому что, утверждает он, в фашистской Германии соответствующие идеи «развились в аналогичной противоположной форме».

Представив сознание и чувства сражающихся солдат всего лишь как наслоения поверх человека «вообще» (наслоения одного порядка, только как бы с противоположным знаком), автор статьи начинает доказывать то, что ему нужно: «Именно эта книга советского писателя убедительно показывает, как мало, в сущности, отличаются друг от друга фронтовики обеих сторон. И в личной, и в военной среде солдаты поставлены в равные условия, живут под одним и тем же знаком. Перед лицом смерти они ведут себя одинаково. С одинаковой энергией, одинаковым мужеством, одинаковым самопожертвованием они сражаются за дело, которое считают более справедливым». А если солдаты испытывают «чувство злобы на противника» — ну что ж, это чувство «вполне понятное».

Уравнять убийства, совершающиеся ради захвата и грабежа, уравнять военные преступления и зверства с вооруженной защитой своего родного дома и своего Отечества, свести и то, и другое вместе к «чувству злобы на противника» — дело поистине кощунственное, но за этим стоит целая программа действий, направленных на уловление западногерманской молодежи в сети казарменной романтики, в сети бундесвера.

Книги молодых талантливых писателей Германской Демократической Республики, рисующие гитлеровский вермахт «изнутри», с немалой реалистической силой еще раз доказали, что захватническая армия не может быть скреплена моральным единством, а только гипнозом ложной идеи и палочной дисциплиной. Когда поражения в несправедливой войне стирают парадный глянец, в солдате захватнической армии обнажается

не «человек вообще», а пестрая масса людей самого разного облика и нравственного опыта, проходящих суровую проверку жизнью.

Воспитанник гитлеровской школы и гитлеровской казармы Вернер Хольт и слесарь-подмастерье, а затем бывалый солдат-фронтовик Руди Хагедорн — герои хорошо известных советскому читателю книг «Приключения Вернера Хольта» Дитера Нолля и «Мы не пыль на ветру» Макса Вальтера Шульца — проходят путь определения своего положения в мире, затрагивающего все сферы их сознания и чувств. Творческая и гражданская смелость этих писателей, не убоявшихся сложностей, связанных с выбором именно такого героя, «вросшего» в фашистский режим, вскормленного на его идеях, привела к большой удаче. Им удается показать, каким путем, бесконечно трудным, но закономерным, совершался нравственный перелом в сознании миллионов немцев, как совершается на демократической, гуманистической основе — говоря словами Кристы Вольф — «восстановление нарушенной связи с нацией».

Характерно, что в романе Макса Вальтера Шульца примером человеческого поведения и нравственной цельности становится чех, борец антифашистского Сопротивления, пражский подпольщик и коммунист. Писатель определяет сущность его характера словами «веселая доброта»; в этом образе прекрасно воплощена мысль о человеческом достоинстве и нравственном превосходстве борца за свободу над теми, кто связал себя служением преступному государству. Карелу свойственна в полной мере свобода поведения и чувств, «ничем не скованный смех», и улыбку на его лице не могла закрыть даже тень тюремной решетки. Победить Карела можно было только физически, убив его,— «когда Карел смеялся, кровавые собаки снимали карабин с предохранителя».

Годы войны были для стран Европы временем порабощения и террора, унижения и страха. Но в историю они входят, как время Сопротивления. Не было страны и народа — от Норвегии до Греции, от советской земли до островков на западном побережье Атлантического океана, включая самое Германию,— где день ото дня не рос бы отпор гитлеровским захватчикам.

Социалистическая литература наших дней, обращаясь к этому времени, все больше и больше раскрывает великий нравственный смысл слова «сопротивление». Недаром так распространилась в наши дни строка из стихотворения Виктора Гюго — «Жив тот, кто борется»,— широко известная у нас по названию книги Жана Лаффита («Живые борются»).

Героиня повести Зофьи Посмыш «Пассажирка», польская девушка Марта, заключенная Освенцима, бессильна против своих врагов. Захоти они уничтожить ее физически — и она была бы забита насмерть, затравлена собаками, удушена газом, как сотни тысяч ее товарищей по судьбе. Но враг захотел победить ее морально, «возвысить» до себя — и здесь он терпит полное поражение, и ненависть его бессильна. В Марте всегда, даже когда жизнь в ней уже словно и не теплилась, оставалось нечто, что нельзя было ни сломить, ни унизить — только убить вместе с нею самою. И это нечто не было свойством, замкнутым в себе, отгороженным от мира,— наоборот, оно связывало ее с друзьями, с подпольным движением Сопротивления в самом Освенциме. Ее надзирательницы говорили о Марте такими словами: «В глазах у нее как будто есть дно. И на этом дне совсем не то, что видим мы».

Моральная проблема сопротивления социальному злу сделана стержнем всей повести Зофьи Посмыш; ведь не кто иной, как бывшая эсэсовка, оправдывая свое прошлое, произносит в повести слова: «Я не смогла быть героиней». А ее, столь, казалось бы, нравственный и ничем не запятнанный супруг развивает по этому поводу целую теорию: «...человека не следует подвергать слишком тяжелым испытаниям, он их не выдержит. Героизм — удел немногих. Естественное состояние человека — не героизм, а потому можно утверждать, что эпохи, рождающие большое количество героев, это эпохи варварства и одичания. Совершенно очевидно, что в задачи человечества отнюдь не входит изготовление героев».

Реалистическая литература опровергает эту философию мещанского бытия, оправдывающую сосуществование с любым злом и соучастие в любом преступлении, доказывает, что человек может не сдаться и под тяжестью «слишком тяжелых» испытаний, ибо человеческий характер способен изменяться, расти — говоря горьковскими словами — «в сопротивлении среде».

Только движущийся характер в полной мере раскрывает свои связи с эпохой, и к описанию военного времени это относится в первую очередь. Реалистическая литература наших дней постоянно подтверждает правоту ленинских слов, сказанных еще в 1915 году: «Опыт войны, как и опыт всякого кризиса в истории, всякого великого бедствия и всякого перелома в жизни человека, отупляет и надламывает одних, *но зато просвещает и закаляет других,* причем, в общем и целом, в истории всего мира, число и сила этих последних оказывались, за исключением отдельных случаев упадка и гибели того или иного государства, больше, чем первых»*.

Война постоянно создает предельно острые коллизии, ситуации сверхчеловеческого напряжения, обнажает скрытые противоречия; старые, отжившие связи между людьми рвутся в войну быстрее, чем в обычное время, и повороты человеческих судеб принимают формы самые неожиданные. В повести Ладислава Мнячко «Смерть зовется Энгельхен» брат дает брату-крестьянину, осужденному партизанским судом за предательство, пощечину и сам затягивает на его шее ве-

* В. И. Ленин. Сочинения, т. 21, стр. 291.

ревку, а затем уходит к партизанам, в отряд, где бок о бок сражаются чехи и словаки, русские и украинцы, сербы и немцы-антифашисты. Эта сцена, психологически правдивая и словно перенесенная из шолоховских рассказов, говорит о накале страстей и силе социального размежевания, обостренного войной. Много фактов такого рода есть в страстной и сильной книге Митки Грыбчевой «Во имя народа».

Герой романа Бено Зупанчича «Поминки» словенский школьник ненавидит отцовский дом, царящий там мир мелких, мещанских чувств. Но только военное поражение Югославии, приход итальянцев-завоевателей, разгорающееся пламя освободительной борьбы доводят его отношения с родными до взрыва. Устоявшиеся связи не рвутся так просто. «Когда я почувствовал, что беда стоит у ворот, я содрогнулся. Что же мне делать? Попытаться поддержать этот мир? Или оборвать последние нити, связывающие меня с ним? Пусть летит к дьяволу, думал я, сознавая в то же время, что это легче сказать, чем сделать». И разрыв с окружающей средой происходит так быстро, и в формах столь острых, как он представить себе не мог еще недавно. А самым близким ему человеком стал «пришлый» мальчик, сын галантерейщика, недавно приехавшего в город, по прозвищу Сверчок, который погиб, защищая его от вражеской погони, и который и после своей смерти продолжает оставаться для него защитником и советчиком. Он видит Сверчка рядом с собой во все трудные минуты, и Сверчок словно ведет его дорогой борьбы, которую он понимает не только как борьбу с фашистскими оккупантами, но и как путь в революцию.

Идея революции определяет для него представление о светлом и гармоничном будущем, с мечтой о котором он живет и сражается: «Наша мысль обгоняет время, страстно заставляет нас спешить ей вслед. Нас сжигает жажда прекрасного. Мы поэтизируем нового человека, и сами меняемся у себя на глазах — мы очистились от эгоизма, избавились от алчности, мы предаемся светлым мечтам о будущем без эксплуатации, без вопиющей нищеты и высокомерного богатства, без грязной похоти».

Когда писатель касается военной темы, он неизбежно затрагивает народную жизнь, судьбы народных движений. Изображая человека на войне, он раскрывает и соотнесенность его судьбы с судьбой народной, и это остается законом, как бы ни ограничивал писатель рамки изображаемого: без этого не может быть правды в литературе о современной войне. Книги чехословацких, польских, болгарских, югославских, румынских, венгерских, немецких писателей, о которых упоминалось в этих заметках, говорят нам, как в ходе национально-освободительной войны в переплетении сложных противоречий рождался ее социально-освободительный характер и как завоевывалось в ходе кровавой борьбы сегодняшнее социалистическое будущее.

«Старая цивилизация рушится, и у всех нас крепнет сознание, что вместе с этой войной что-то безвозвратно кончается, а что-то новое воздвигается и что исход войны будет означать не просто новый передел границ, но и новое устройство человеческой жизни».

Эти слова принадлежат Александру Матушке и сказаны им еще в годы войны. Владимир Минач привел их в предисловии к русскому изданию своей эпической трилогии («Время долгого ожидания», «Живые и мертвые», «Колокола возвещают день»), принадлежащей к лучшему, что создано в мировой литературе о годах второй мировой войны. Заключенную в этих словах мысль можно отнести к большому числу книг, которые созданы и создаются вплоть до сегодняшнего времени в странах социалистического лагеря; эти книги правдиво воссоздают то ощущение наступающего «нового дня», с которым народы этих стран встречали два десятилетия назад освобождение от оккупации, от своих и от немецких фашистов.

Нередко в печати встречаются утверждения, что годы оттесняют вторую мировую войну на задний план, что тема эта устаревает. Жизнь не подтверждает этого — каждый раз, обращаясь к военному времени, литература находит новые тематические пласты, новые сюжеты, новые точки зрения. Реалистическому искусству, правдиво исследующему действительность войны, не грозят повторения. Литература еще не исчерпала и не скоро исчерпает то важное и поучительное для грядущих поколений, что таится в океане человеческих судеб, приведенных в движение второй мировой войной.

Время, принося новые проблемы, часто усложняет восприятие сложной правды войны, но, с другой стороны, для многих писателей делает ее очертания определеннее, яснее. Становится легче раскрывать ее смысл, исходя «из крупных, простых линий», проходящих «за тысячами различных проявлений действительности»,— а в этом и состоит, как говорил Анри Барбюс, «настоящая сложность» в изображении войны.

Писатели сегодня берутся за перо, чтобы осмыслить нравственный опыт военных лет, напомнить об опасности новых военных авантюр, за которые, по выражению Макса Вальтера Шульца, народы расплачиваются «драгоценной жидкостью красного цвета». Но книги их — и предостережения; они говорят о безмерной силе, которая встает навстречу поработителям и которую нельзя победить.

Литература наших дней свидетельствует: народы не забыли уроков войны, уроков возвышения гитлеризма, его преступлений и его разгрома.

ВЬЕТНАМ БОРЮЩИЙСЯ

ПИСЬМО, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА

ПИСАТЕЛЬ АНЬ ДЫК — ПИСАТЕЛЮ НГУЕН ТУАНУ

Дорогой Нгуен Туан!

Я слышал все, что Вы написали мне*. И те письма, где Вы не называете прямо моего имени, я тоже прочел. А знаете, где довелось мне услышать Вас, когда Вы читали по радио свое письмо? В тот день, вернее, в ту ночь я только что высадился из лодки на песчаную отмель неподалеку от вражеского укрепления на берегу Меконга. Само по себе, конечно, это весьма необычно: когда Вы в непринужденной позе сидели у микрофона в освещенной неоновыми лампами студии Ханойского радио, я, перемахнув через борт лодки, зашагал по песку, едва успев сунуть в кобуру пистолет П-38 и стараясь не потерять из виду в ночном мраке силуэты моих товарищей.

Мы высаживались, держа наготове оружие вовсе не из-за близости вражеского поста, расположенного где-то тут же на дюнах. Опасались мы дозорных катеров, которые, приглушив моторы, могли подстерегать нас у берега. Подобная «встреча» довольно вероятна: нам нередко приходилось сталкиваться с их патрулями. Поэтому, только выйдя на сушу, можно чувствовать себя в безопасности. А пост на дюнах давно уже блокирован окрестными жителями и, в сущности, «парализован».

Ступив на берег, я почти сразу включил свой транзистор. Наш связной сказал мне:

— Попробуйте поймать Ханой, узнаем, не поднесли ли американцам, если они опять сунулись, хорошего «угощения»?

Я повернул регулятор настройки и вдруг услыхал Ваш голос: Вы обращались ко мне. Я опоздал и пропустил несколько первых фраз. Надеюсь, что Вы простите мне эту «бестактность»? Я думаю, Вам и без слов понятно, что почувствовал я в ту минуту. Мне казалось, что это не просто Ваш голос,— словно издалека говорил со мною Ханой, обращалась ко мне осень — оттуда, с вашей земли.

Да, Вы звали меня, дорогой Туан!

Я прекрасно Вас слышал. Я был благодарен радиоволнам, донесшим до меня Ваш голос через 17-ю параллель сюда, на песчаный берег волнующегося Меконга. Я не только слышал Ваши слова, я видел Вас, выражение Вашего лица. Не правда ли — Вы удовлетворенно кивнули головой, говоря об американском пилоте, лейтенанте Альваресе, сбитом и взятом в плен, и Вы нервно приподнялись с кресла, бросая в лицо захватчикам страстные слова обвинения?

Свойственная всем нам от века способность к точности воображения и живущая в крови у нас любовь к родине сразу перенесли меня на берег Ха-лонга. Я видел воочию рвущиеся в небо столбы огня и дым, видел объятые пламенем сбитые реактивные самолеты. Разве мог я не увидеть напряженные лица зенитчиков, которые на своих сиденьях поворачивались следом за стволами орудий? Разве мог не увидеть я опутанный черным дымом и желтыми сполохами огня Хонгай, с окраин которого вели огонь ополченцы-шахтеры, сплетая в небе трассы винтовочных пуль?..

А как все мы были счастливы, дорогой Туан, узнав, что вооруженные силы ДРВ отогнали прочь от наших берегов американских захватчиков... Бурлили сайгонские улицы. И здесь, на песчаных холмах, когда я явился сюда, старики смаковали новости, улыбаясь и степенно поглаживая усы. Они даже устроили праздничную пирушку, на которую меня и еще нескольких гостей специально привезли на лодке. Один из стариков по имени Ты Жау Шат приговаривал то и дело:

---

* Имеется в виду, что Нгуен Туан читал свои письма по радио.

— А я говорю: «они» совсем уже ополоумели, если посмели «заигрывать» с Севером. Эти реактивные «петушки», которые выпрыгивают из своих здоровенных «кастрюль», летают быстрее молнии... Они готовились и мудрили целых десять лет, а чего добились?! Только сунулись, так из них перья и полетели! Само собой, и мы должны теперь прижать их пост на берегу, пусть подыхают с голоду!..

Кто-то сказал, что сегодня утром солдаты с поста просили партизан позволить им пройти в деревенскую лавку купить соевый соус. Услыхав это, Ты Жау Шат воскликнул:

— Ни за что!.. Ишь, чего придумали. Сидеть им в своей норе, пока не явится железная лодка с харчами! Если хоть один высунет нос, пусть пеняет на себя. Нечего разводить церемонии с этими бандитами!

Я тихонько улыбался.

Откуда было нашим крестьянам научиться «теории» войны и мира? Но они были правы. Повседневная практика суровой борьбы, длящейся вот уже двадцать лет, явилась для них самым лучшим учителем. Кроме того, Вы должны еще учесть, что на этом песчаном берегу Меконга несколько лет назад разыгралась кровавая драма. Сюда являлись по ночам американцы и дьемовские молодчики; они бросали в реку ни в чем не повинных людей, вспарывали им животы и пускали плыть по течению. Здешние жители вынуждены были восстать и взяться за оружие, иначе они все бы погибли. Они шли на врага с косами и ножами, чтобы отстоять свою жизнь. Когда прозвучал сигнал к восстанию, в одну ночь содрогнулось все побережье, в деревнях гремели барабаны, метались огни факелов, а каратели удирали, как перепуганные куры. Попробуйте представить себе эту картину: огромную реку, километров в семь или восемь шириной, озаренную пламенем, перекликающиеся голоса крестьян и стук барабанов, вопли перепуганных карателей...

Если бы Вы, как и я, увидели прекрасные острова, возвышающиеся над речными водами, которые текут здесь по плодороднейшим наносным почвам. Если бы Вы ступили на этот берег, где видишь, как кончается земная твердь, и чувствуешь близость великой водной равнины, Вы бы, конечно, как никто другой, смогли написать о загадочных здешних отмелях, о том, как на заре времен рождались они из крупинок ила, медленно оседавших на дно, повинуясь могучей воле животворящей реки.

Вы услыхали бы тягучие звуки колыбельных песен, которыми убаюкивают матери своих малышей. Вы выкурили бы хитроумно набиваемую здесь трубку и отведали огромных — в обхват — арбузов с прохладной ярко-алой сердцевиной. Семечки их — черные и блестящие — напоминают мне зубы юной жены Ан Тиема * и принесенные на остров Ан Тиема небесными птицами драгоценные семена, из которых Ан Тием и его жена вырастили впервые диковинные плоды — арбузы.

Кто знает, может быть, когда-то, в давние времена, несколько плодов, брошенных в воду Ан Тиемом, прибило сюда течением...

Вечером, когда дюны затопляет ветер и солнечный свет, мы ожидали наступления темноты, чтобы переправиться на моторной лодке в Ча-винь, где на каждом шагу торчат вражеские форты. Я думал о Вас, о других писателях, художниках, артистах, живущих на Севере,— о том, как разъезжаетесь все вы на долгие сроки в деревенские кооперативы, в госхозы, на угольные карьеры... Я думал о живых цветах на улицах Ханоя и о недавно вырытых там щелях и бомбоубежищах... Я думал о лучах прожекторов, пронзающих ночное небо в поисках железных нетопырей с клеймом «USA», чтобы зенитные пушки смогли вдребезги разнести им крылья...

Правда же, дорогой Туан, если будет нужно, все вы готовы пойти на фронт! И я думаю, что вы не будете сокрушаться, если придется сменить красивые, модные костюмы на военную форму цвета увядающей травы?

Но мы здесь, на Юге, уповаем, что Север по-прежнему останется землею мира и созидания. Мы мечтаем о том, чтобы на Севере с каждым днем становилось больше новых заводов и фабрик, новых романов, новых стихов и песен, чтобы социалистические города были веселыми и многолюдными, чтобы в новых прекрасных парках расцветала яркая счастливая любовь и девушки, работающие в аэропортах, приветливо улыбались мирным воздушным кораблям.

Мы верим, что так будет, потому что Север — это надежда, вдохновляющая народ Юга в его борьбе. И чтобы сорвать замыслы американцев, пытающихся разрушить землю нашей надежды, Освободительная армия на Юге нанесла им недавно несколько сильных ударов, было уничтожено много самолетов новейших моделей — Б-57, «скайрейдер» — и самолетов-шпионов У-2, совершающих воровские полеты над той частью нашего отечества, где торжествуют жизнь и мирный труд.

Несколько дней назад я присутствовал при торжественном вручении ордена Воинского Подвига 1-й степени подразделению Освободительной армии, разгромившему аэродром в Биен-хоа. Я встретился с молодыми солдатами, участниками этой нашумевшей операции. Один из бойцов, выступавший от имени подразделения, сказал:

---

* Герой сказки, королевский сын, сосланный на необитаемый остров вместе с женой. Она, по древнему обычаю, красила зубы в черный цвет.

— Мы шли в бой, чтобы отомстить за нашего Чоя *, чтобы выполнить свой долг и сдержать нашу клятву — отстоять Север!..

Познакомившись там с товарищем из Главного командования Освободительных вооруженных сил Юга, я спросил его·

— Скажите, какой оценки заслуживают, по-вашему, действия наших орудийных расчетов при налете на Биен-хоа?

— Очень высокой,— ответил он, улыбнувшись...

Знаете, Туан, я почему-то вспомнил о печально прославившемся Максуэле Тэйлоре, которого я видел на трофейной кинопленке, заснятой сразу после операции в Биен-хоа. Он стоял под проливным дождем на поле аэродрома, тупо уставясь на груды искореженного металла и лужи бензина, нахохлившийся, словно коршун. Куда девалась былая спесь этого пирата из Вашингтона? А ведь в пятьдесят девятом или шестидесятом году, когда Тэйлор приезжал к 17-й параллели и разглядывал в бинокль северный берег, стоя около 105-миллиметрового орудия, он заявлял хвастливо марионеткам из своей свиты:

— Если бы я сейчас приказал пальнуть туда разок, было бы очень здорово!..

Я хочу обрадовать наших друзей и уж окончательно расстроить господ Тэйлора и Джонсона. Перед вручением ордена за Биен-хоа офицер из политуправления Освободительной армии, выступая на собрании, сказал:

— После того как было уничтожено и повреждено пятьдесят девять американских самолетов, наше подразделение вернулось на базу, не потеряв ни одного человека, ни у кого не было даже царапины.

Да, дорогой Туан, Южный Вьетнам — это отнюдь не уголок для легких побед и увеселительных прогулок, как убеждают американские заправилы своих солдат в Штатах. За голову каждого партизана американцам приходится платить кровью. А бывает и так, как в Биен-хоа, когда мы не несем никаких потерь, противник же теряет около 300 солдат и 30 миллионов долларов в течение получаса. Прошлой ночью я узнал, что мы атаковали аэродром Тан-чион-нит, у американцев были убитые.

Положение американцев на Юге незавидное. И мы должны напрячь все силы, чтобы нанести удары по их слабым местам.

Вообще предстоит сделать многое. Освобожденные районы расширяются с каждым днем. Нужно открывать новые больницы, родильные дома, школы. Запросы прессы, литературы и искусства таковы, что надо строить новые типографии. Массовому зрителю необходимы новые художественные ансамбли и театральные коллективы. Деньги, собранные народом, идут в основном на нужды фронта, часть их отчисляется в культурные и социальные фонды, из которых удовлетворяются потребности населения. Все мы здесь не получаем заработной платы. Нам только ежемесячно выдается сорок донгов на покупку мыла и сигарет. Живем мы так же просто, как и в первую войну Сопротивления **. Никто не требует для себя никаких льгот. Люди даже не думают об этом. Ходят все в самой простой одежде или в военной форме — черной или серой, по праздникам надевают «хаки». У писателя и у врача, у секретаря партийной ячейки и у председателя Фронта *** или у рядового солдата «имущество» одинаковое: гамак, чаще всего нейлоновый, веревки у гамака обычно из парашютных строп; две виниловые накидки — одна, чтобы накрываться ночью в джунглях, другая на случай дождя. Кроме того, оружие, фляга, электрический фонарик и фонарь с керосиновой лампой, сандалии, коробка с сухим пайком. Все это плотно уложено в дорожную сумку или рюкзак. Мы вовсю пользуемся американскими трофеями, больше, чем прежде французскими. Американские рюкзаки и фляги, американские винтовки и кинжалы, американские кинокамеры... Даже мои сандалии или линейка моего приятеля-художника вырезаны из резины и алюминия, снятых со сбитого американского вертолета.

Должен Вам сказать, что «разделка туши» сбитого вертолета — увлекательнейшее зрелище. Я как-то принимал в ней участие вместе с окрестными жителями. Старики и старухи, женщины, детвора — каждый «выкраивает» что-нибудь для себя. Одни орудуют молотком, другие — пилой. Иногда металлические части здесь же на месте переплавляются в слитки. Большая часть достается ружейным мастерским общины или уезда, остальное люди разбирают по домам... Некоторые умудряются сооружать из алюминиевых пластин котлы, в которых варят похлебку для свиней. Дети растаскивают проволоку и, устроив «телефон», кричат друг другу «алло, алло!..» Кроме того, появилась новая «мода»: парни и девушки из партизанских отрядов непременно фотографируются на память, взобравшись на фюзеляж вертолета. И так далее и тому подобное...

Описав, как «освежевывают» вертолеты, я еще хочу рассказать Вам историю про пойманный катер или, как говорят здесь,—«железную лодку». Раньше у мыса Ка-мау патруль противника ходил всегда на обычной деревянной или на надувной нейлоновой лодке, к которым подвешивали мотор. Но партизаны вскоре приноровились не-

---

* Нгуен Ван Чой, герой освободительного движения в Южном Вьетнаме.
** Сопротивление против французских колонизаторов (1946—1954 гг.).
*** Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама.

сколькими выстрелами из винтовок топить эти лодки, и тогда патруль выехал на бронированном катере. Один из солдат, горделиво похлопывая по борту катера, громко кричал:

— Алло! Глубокоуважаемые, позвольте вам разъяснить... здесь все из самого наилучшего железа!

Партизаны, лежавшие в засаде на берегу, открыли огонь. Солдаты попрятались внутрь катера, и он себе плыл, как ни в чем не бывало, под градом пуль. Партизаны были вне себя; и днем и ночью изобретали они разные хитрости, чтобы вывести из строя железную лодку. В конце концов они незаметно натянули под водой канат, который обмотался вокруг лопастей винта. Беспомощный катер прибило к берегу. Партизаны атаковали катер и перебили всю команду. Но, захватив катер, они не знали, куда его увести: вверх и вниз по реке стояли вражеские форты. Бросить железную лодку было жалко. И тогда они созвали на берег всю окрестную общину; люди сообща прорыли канал и уволокли по нему катер в лес У-минь. Канал этот, длиной более десяти километров, так теперь и называется — Канал железной лодки. Я часто спускаюсь по нему в маленькой лодчонке, чувствуя великую признательность: он намного сокращает путь. Но это еще не все. С помощью железной лодки крестьяне овладели вражеским фортом. Они установили на катере стрелу, похожую на подъемный кран, и подцепили к ней на веревке тяжелую мину. Так они и подплыли к самому форту и, подняв мину прямо над стеной, предложили солдатам сдаться. В противном случае они угрожали сбросить мину на форт. Солдаты, бледные от страха, посовещались немного и потом сдались. Когда связанных пленных погружали в железную лодку, крестьяне отпустили веревку, и мина обрушилась вниз. Но она не взорвалась, потому что была пустая, а только отбила угол стены. Хохочущие крестьяне заняли свои места в железной лодке и повезли пленных в глубь джунглей...

У меня есть для Вас, дорогой Туан, еще много разных историй, но сейчас всего не расскажешь...

Другое Ваше письмо мне довелось услышать уже далеко от песчаных отмелей. Ночью я сидел и работал над своим романом. Это будет книга о героизме жителей маленького островка, лежащего в море, неподалеку от берега,— он называется Земляная Гора. Вдруг я услыхал, как из соседнего дома меня окликает Чан Хиеу Минь*:

— Эй, Дык, Нгуен Туан разговаривает с тобой!

Я отложил ручку и быстро включил транзистор. Опять я пропустил несколько первых фраз!.. Вы рассказывали о повстанцах Венесуэлы, о событиях в Каракасе. Я не один слушал Вас, рядом со мной сидел Ли Ван Шам **. Он восхищался Вашим умением строить документальную основу очерка, богатством и яркостью Вашего воображения и искусством воодушевлять людей силой точно найденных слов...

Мне хотелось бы еще сказать Вам и всем нашим коллегам на Севере, что наш журнал «Ван нге зиай фаунг» *** часто печатает наши произведения. И читатели встречают их здесь с восторгом. Хотя на Юге и днем и ночью не прекращается борьба с врагом, все читают очень много, пользуясь каждой свободной минутой. Многим понравились у нас статьи Данг Тхай Мая и Хоай Тханя о литературе и искусстве в оккупированных врагом районах Юга. Очень популярны печатавшиеся в наших газетах стихи То Хыу. Люди зачитываются стихами Те Лан Виена, Те Ханя, Бао Динь Зянга, Суан Зиеу, Хоанг Чунг Тхонга... Когда я был на Ка-мау, я рассказывал там о книге стихов Суан Зиеу «Мыс Ка-мау — Держась за руки» и Ваших очерках. И там, и на западе Нам-бо**** люди спрашивали меня:

— Как смогли они, не побывав у нас, описать так точно наши края, наши деревья, всю нашу жизнь?

Я только улыбался в ответ. Сказать по правде, мне было бы трудно объяснить все это. Но я уже говорил Вам, что, по-моему, причина здесь в безграничной любви к родине, в силе единства Юга и Севера, и литература способна изобразить эти чувства...

Дорогой Нгуен Туан, скоро уже декабрь. Лес вокруг меня меняет листву. Наверно, и с деревьев на ханойских улицах тоже осыпались старые листья, уступая место молодой весенней зелени. И глядя, как деревья опять меняют листья, мы снова и снова с волнением спрашиваем друг друга:

— Когда же?! Когда?!

Я знаю, для этого нужно время. Югу нужно время, чтобы прийти к своему Дьен-бьен-фу. Югу необходимо время, чтобы завоевать полную и окончательную победу.

---

* Южновьетнамский публицист.

** Известный южновьетнамский прозаик.

*** «Литература и искусство освобождения» — орган Освободительной ассоциации культуры Южного Вьетнама.

**** Старое название Южного Вьетнама.

ВЬЕТНАМ БОРЮЩИЙСЯ

М. ТКАЧЕВ

ЛИТЕРАТУРА НА ЛИНИИ ОГНЯ

Бьются живые с врагом,
мертвые бьются с врагом,
Души погибших стоят
в тесном строю боевом;
Нет, не смирится народ!
Время отмщенья придет!

Нгуен Динь Тиеу «Ода в честь павших у Кан-эюока» ***

...Черные кресты самолетов в небе, пылающий дом и маленькие мечущиеся фигурки. Ближе — на переднем плане — вписанная в угол листа фигура бойца в маскировочной накидке. Вскинув автомат, он стреляет по самолетам. Вот один уже падает, волоча за собой длинный хвост дыма...

Обожженные детские пальцы медленно разглаживают рисунок.

— Это я нарисовал, как бомбили нашу школу,— говорит мальчик. Его зовут Бот. Он добирался сюда, в Ханой, вместе с взрослыми из южновьетнамской провинции Бенче. Рассказывает он медленно, с трудом: сначала деревню обстреляли из пушек, потом прилетели реактивные штурмовики. Две бомбы попали прямо в школу, и она сразу вспыхнула. Дети разбегались как живые факелы — пылала одежда, волосы, кожа. Сорок ребят погибло, шестьдесят было ранено. Раненых повезли на лодках в больницу, но возле форта Ни-лонг солдаты и жандармы остановили лодки и продержали почти весь день. За это время еще пятнадцать детей умерли. Маленькая Тюйет, у которой были выжжены глаза, просила перед смертью разрезать ей веки, чтобы в последний раз увидеть маму... Голос Бота звучит все глуше.

— А у вас была хорошая школа? — спрашиваю я мальчика.

Он поднимает глаза — ясные и блестящие,— они странно выделяются на обожженном лице.

— Да,— говорит он,— у нас была хорошая школа, большая... Но знаете, ее ведь потом восстановили. И книг у нас теперь много, больше, чем раньше.

— Ты любишь читать? — снова спрашиваю я.

И вдруг Бот улыбается: да он очень любит книжки — разные, особенно стихи...

На Севере, в ДРВ, людей с книгой в руках можно увидеть повсюду. Читают малыши, восседающие на спинах буйволов, рабочие — во время перерыва — прямо в цехах, солдаты, переправляющиеся на паромах через реки. Я видел, как парень, сидевший на багажнике велосипеда, читал вслух книжку своему приятелю, который крутил педали. Но на Севере с пятьдесят четвертого года мир, проведена широчайшая культурная революция, ведется большое строительство. А ведь Юг почти все двадцать лет, прошедшие после революции*, воюет. И все-таки даже на Юге, в условиях исключительно тяжелой войны, идет процесс духовного роста народа, формирование новой культуры. Книга и на Юге становится непременной деталью повседневной жизни.

Книги, которые издаются в освобожденных районах Юга, может быть, и не обрадовали бы взора какого-нибудь изысканного библиофила — это чаще всего небольшие брошюры, отпечатанные на серой бумаге. На такой же бумаге печатаются газеты и журналы Национального фронта освобождения, выходящие как в освобожденных районах, так и в провинциях, контролируемых американцами и южновьетнамским «правительством». Кстати, число этих журналов и газет давно уже перевалило за пятьдесят. Перелистывая их страницы, вспоминаешь книжки и газеты, выходившие в годы войны Сопротивления. Тогда в оккупированных районах за чтение и хранение произведений писателей-патриотов людей бросали в тюрьмы: романы и стихи приравнивались к «подрывным листовкам». В архивах французской полиции и контрразведки немало дел, к которым в качестве «улик» приобщены книги. Таков же «ли-

* Нгуен Динь Тиеу (1822—1888) — классик вьетнамской литературы.

** Населенный пункт, где произошло сражение с французскими войсками в 1861 г.

* Августовская революция 1945 г.

тературный вкус» и у южновьетнамской службы безопасности, организованной и заботливо опекаемой американцами...

И все-таки книжки и газеты, выпускаемые Национальным фронтом освобождения, читают тысячи людей и на территории, контролируемой южновьетнамским «правительством»,— в городах, где книжные лавки завалены привезенным из-за океана дешевым чтивом, и даже в «стратегических поселениях» — разновидностях концлагерей, куда загоняют крестьян.

В письме южновьетнамского писателя Ань Дыка, публикуемом в этом номере журнала, несколькими короткими фразами охарактеризована культурная работа Национального фронта освобождения. Нелегко представить себе, сколько труда, энергии и мужества понадобилось, чтобы создать целую сеть школ, укомплектовать их преподавателями, учебными пособиями, программами. Еще в августе 1963 года состоялся первый выпуск Педагогического училища, организованного Фронтом на свободной от захватчиков земле. Сто педагогов разъехались тогда по стране. Разрабатываются системы письменности для национальных меньшинств, живущих в освобожденных районах. Народности ка-ту и пкор уже получили письменность, на языке ка-ту издается газета. Патриотическая литература Юга получила теперь массового читателя, поэтому чрезвычайно возросла ее роль в борьбе народа за освобождение родины.

И писатели сознают лежащую на них ответственность за судьбы отечества. Как бы от лица многих своих друзей-литераторов говорит южновьетнамский поэт Тхань Хоанг:

Я пишу стихи на бруствере окопа,
А рядом — стволы винтовок,
Поднятые к небу
в ожидании самолетов...

Писатели сражаются в Освободительных войсках и партизанских отрядах — трудятся в редакциях, где часто, закончив статью или стих, становятся к наборным кассам, чтобы вовремя выпустить номер, или, как автор письма на Север, новеллист Ань Дык, уходят в «творческие командировки» с пистолетом и гранатами за поясом...

Я не знаю, где находится сейчас резиденция Освободительной ассоциации культуры Южного Вьетнама. Наверно, она помещается в таком же бамбуковом доме под крышей из тростника и пальмовых листьев, как тот, в котором была Ассоциация культуры в годы Сопротивления на Севере, в джунглях Вьет-бака и рядом с которыми засняты мои друзья, показывающие сегодня фотографию в особняке Союза писателей в Ханое, на улице Нгуен Зу. И, должно быть, так же, как тогда во Вьет-баке, за сотни километров идут пешком по лесным дорогам Юга писатели, актеры, художники в свою Ассоциацию на Съезд деятелей культуры Южного Вьетнама, который должен собраться весной 1965 года.

Освободительная ассоциация культуры, созданная четыре года назад, сплотила патриотические силы художественной интеллигенции Юга. Ассоциация выпускает ежемесячный журнал «Ван нге зиай фаунг», у нее есть свое книжное издательство. Она направляет всю культурную жизнь освобожденных районов, где работают театры и музыкальные коллективы, киностудия, проводятся художественные выставки. Председателем Ассоциации выбран известный драматург и театральный деятель Чан Хыу Чанг, в руководстве ее много писателей: Ли Ван Шам, Зианг Нам, Тхань Хай и др. Ассоциация провела творческий семинар для молодых литераторов, итог его — сборник публицистики и книга рассказов. Проходили обсуждения по различным проблемам литературы и театра. За последние полтора-два года были проведены литературные, театральные и музыкальные конкурсы в шести южновьетнамских провинциях. Кстати, в некоторых провинциях выходят свои литературно-художественные журналы. Ассоциация имеет местные отделения, в том числе и — действующие нелегально — на оккупированной территории, даже в самом Сайгоне.

Официальные власти Южного Вьетнама все эти годы тщетно пытаются создать представительную литературную организацию. Потуги их неизменно завершаются появлением мертворожденных «ассоциаций», в которых нет ничего, кроме вывески и немногочисленных членов «правления», состоящих на жалованье в правительственном Комитете по руководству «культурой свободной личности», в Управлении психологической войны или в контрразведке. Не случайно несколько лет назад, собрав в Сайгоне многих литераторов и деятелей искусства, южновьетнамские культурные заправилы метали громы и молнии, заявляя, что интеллигенция «ест рис правительства, а на деле потворствует коммунистам». Интеллигенцию призывали к единению и сотрудничеству на основе выработанной еще Нго Динь Дьемом платформы «духовного возрождения и свободной личности», на базе «возрождения национального характера культуры», утверждения «азиатского духа» и конфуцианской морали (которая — между прочим, с благословения побывавших на Юге американских востоковедов и философов — считается возможным «противоядием» против идей коммунизма) и так далее и тому подобное. Но все призывы остались безрезультатными. С правительством сотрудничает лишь кучка отщепенцев, готовых восхвалять любое деяние властей; правда, теперь им приходится туго — слишком уж часто меняется власть в Сайгоне...

В южновьетнамской «республике» царит жесточайший террор. Передо мной список:

Ле Винь Хоа — писатель, участник войны Сопротивления; тайно арестован и убит в каторжной тюрьме на Пуло-кондоре;

Чан Нгок Шом — писатель, убит на Пуло-кондоре;

Зыонг Ты Зианг — писатель, схвачен на улице, убит в тюрьме Биен-хоа...

Перечень этот можно было бы продолжить.

А вот другой список — представителей интеллигенции, подвергавшихся аресту. Здесь названы только самые известные люди — десятки имен, среди них почти половина — писатели и журналисты. Иногда, во время очередных кампаний по «чистке», «изъятию идеологических диверсантов» и т. п. арестовываются сразу сотни людей.

Цензурные строгости доведены до поистине небывалого уровня. По количеству запрещенных, штрафуемых и конфискуемых изданий марионеточное южновьетнамское государство не имеет себе равных. К примеру, Нгуен Кхань только за три месяца запретил 64 газеты и журнала. Южновьетнамский писатель Ле Тат Диеу напечатал недавно блестящий памфлет против идиотизма и мракобесия цензуры. Там выведен, среди прочих, один из начальников цензуры, который по запаху рукописи мог определить, следует ли уже сажать автора в тюрьму или можно еще подождать.

К официальной цензуре прибавляются также «просвещенные усилия» фашиствующих бандитов, которые терроризируют журналистов, громят редакции, сжигают книги. Они же «наводят порядок» в театрах, срывая постановки «прокоммунистических» пьес с помощью кастетов, дубинок и даже гранат. Поставленная в сайгонском театре «Ким тхоа» историческая драма «На реке Зиань» была сочтена «пропагандой за объединение страны». Во время представления на сцену бросили гранату, взрывом было убито и ранено много актеров, пострадали и зрители...

Благодаря учрежденной южновьетнамским «правительством» системе налогов практически можно легко довести до финансового краха любое неугодное издательство или театр.

Города Южного Вьетнама буквально затоплены западными изданиями. Здесь и человеконенавистнические бредни американских генералов и социологов, и широко рекламировавшаяся в Сайгоне «Майн кампф» Адольфа Гитлера, детективы и порнографические «романы». Киноэкраны отданы на откуп заокеанским фирмам, поставляющим сюда самую низкопробную продукцию.

Все это создает невыносимые условия существования для мыслящих и честных представителей интеллигенции. Не случайно покончил с собой в Сайгоне известный прозаик Нят Линь, ушедший в свое время на Юг «в поисках свободы». Подобные самоубийства нередки. Но это путь слабых. Другие становятся на путь протеста, на путь борьбы.

Сегодня, когда американские империалисты протянули кровавые щупальца войны на Северный Вьетнам, линия фронта как бы протянулась вдоль всей страны — от мыса Ка-мау до горных хребтов Севера. И писатели Севера так же, как одиннадцать лет назад, уходят туда, где идут бои, туда, где солдаты Народной армии дают отпор обезумевшим агрессорам. И снова приходят в газету «Ван нге» * срочные пакеты от военных корреспондентов, снова за опущенными маскировочными шторами ночные споры в редакции, и опять, как и раньше, услышав сигнал тревоги, никто не уходит в убежище — номер должен выйти без опоздания...

Идут во Вьетнам письма и телеграммы со всех концов земного шара, все человечество на стороне народа, мужественно отстаивающего свою свободу. И мне вспоминаются стихи моего друга, замечательного вьетнамского поэта Суана Зиеу:

Отчизна моя — это борьба,
Не за себя одну —
за то, чтоб сады по всей планете цвели;
И пусть тяжело нам,
пусть алая кровь вытекает из жил,
Мы — пахари счастья,
вспахивающие просторы земли.
Поэтому всюду, в разных странах
миллионы друзей
У моей любимой, у отчизны моей.

Апрель 1965 г.

---

* «Ван нге» («Литература и искусство») — выходящая в Ханое еженедельная газета, орган Ассоциации литературы и искусства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ

Торжественно отмечая двадцатую годовщину победы над фашизмом, миллионы людей на Земле возвышают в эти дни голос протеста против попыток его возрождения, против сил милитаризма и империализма, стремящихся ввергнуть человечество в истребительный пожар новой — ядерной — войны.

Усилия передовых деятелей культуры сыграли немалую роль в борьбе за освобождение народов от коричневой чумы.

Ровно тридцать лет назад с трибуны созванного в Париже Международного конгресса писателей в защиту культуры прозвучало их гневное «нет» фашистскому варварству. Анри Барбюс, Генрих Манн, Бертольт Брехт, Мартин Андерсен-Нексе, Луи Арагон, Анна Зегерс — вот имена лишь нескольких участников конгресса. Далеко за стенами зала «Мютюалитэ» отозвались пламенные призывы крупнейших писателей мира: защитить общечеловеческие ценности от фашистских вандалов. Недаром адресовал этому конгрессу свои проклятия Гитлер.

Два года спустя в сражающейся республиканской Испании был созван Второй конгресс. Сюда приехали Нексе и Зегерс, здесь были Пабло Неруда, Л. Хьюз, И. Эренбург, Мих. Кольцов, А. Толстой, Антонио Мачадо, Николас Гильен, Стивен Спендер, Людвиг Ренн и многие другие. Заседания состоялись в Мадриде, под обстрелом фашистской артиллерии. Участники конгресса выступили на митингах Валенсии, Барселоны...

В 1948 году в израненной Польше писатели собрались на Вроцлавский конгресс в защиту мира... Фашизм разгромлен. Долг деятелей культуры — помочь отстоять мир на вечные времена...

И вот сегодня в Берлине и Веймаре писатели Германской Демократической Республики вновь проводят в связи с историческим двадцатилетием международную встречу, принять участие в которой приглашены писатели многих стран, все те, кто — независимо от политических настроений, мировоззрения, взглядов на искусство — готов бороться против войны и атомного вооружения, кто осуждает как открытую, так и замаскированную подготовку к войне, кто трезво оценивает опасность, грозящую человечеству.

Каково в наши дни место художника в общей борьбе против угрозы войны, за сохранение мира на земле, против возрождающегося фашизма?

Обсуждению этих насущных проблем посвящаются и страницы приуроченного к знаменательной дате антифашистского, антивоенного форума «Иностранной литературы».

Письмо, направленное редакцией «Иностранной литературы» предполагаемым участникам нашего форума, содержало следующие вопросы:

1. Что думаете вы об уроках минувшей войны? Что может, что должен сделать деятель культуры, чтобы помочь отвести угрозу третьей мировой войны?

2. В чем видите вы сегодня своеобразие антивоенной темы в искусстве, обусловленное новыми задачами, подсказанными жизнью, опытом лучших произведений антивоенного искусства двух последних десятилетий?

Ниже мы публикуем полученные ответы. Как увидит читатель, они различаются — порой существенно — в подходе к некоторым сторонам обсуждаемых проблем, в оценке их.

С отдельными высказываниями не согласятся советские читатели: так, неверны, по-нашему, скептические замечания одного из участников анкеты по поводу того, может ли оставаться предметом изображения «давно известная действительность»,— суждения, в сущности способные оправдать уход художника в мир абстракций; внесоциальны, на наш взгляд, тезисы автора другого ответа, убежденного в некой имманентной подверженности коренным противоречиям в с е х общественных систем, настаивающего на извечном «радикализме» по отношению к л ю б о й из этих систем л ю б о г о художника; за счет полемических преувеличений мы склонны отнести «негативизм» во взгляде на нашу эпоху и «антивоенные возможности» художника, заявленный в третьем ответе — кстати, с успехом опровергаемый, как нам кажется, всем, что утверждается в этом же ответе далее...

И все же разноречие это отнюдь не ослабляет «итогового баланса» форума. Ни в коей мере не отменяет оно того, что в данном случае самое важное,— единодушно заявленного стремления к ответственности перед временем, к бдительности перед угрозой новой войны, готовности активно противостоять этой угрозе всем арсеналом средств воздействия на людские сердца, которыми располагает сегодня каждый честный художник.

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ

ВОЙНА СТАНЕТ ПРОШЛЫМ!

Когда теперь, к концу 20-го века, спрашиваешь себя, чем отличается наша сегодняшняя борьба против войны и военных преступников от пылких антивоенных воззваний, звучавших в прошлые века, то невольно хочется ответить: тем же, чем вчерашний мир от мира сегодняшнего.

Чувства и мысли поэтов и писателей, выступающих против войны от самых давних времен до дней Хиросимы и Нагасаки, сводились к искреннему желанию мира, к справедливому, но бессильному требованию прекращения санкционированного обществом массового убийства.

Сегодня же у нас над головой — бомба, сегодня мы знаем, что вопрос стоит — быть или не быть, потому что нынешние средства разрушения достигли, благодаря расщеплению атомного ядра, такой чудовищной силы, что об этом даже подумать страшно. А так как мы полны решимости жить дальше, то наша задача — заменить организацию убийства организацией сосуществования и улаживать все разногласия за столом переговоров, а не в окопах. Отныне либо война станет прошлым, либо от нас самих останется кучка пепла — а это было бы жаль!

г. Берлин

МИХАЙЛО ЛАЛИЧ

ЕСТЕСТВЕННО, КАК ДЫХАНИЕ

1. В последнее время уже почти никто не отождествляет, даже по ошибке, нашу атомную эпоху с культурной эпохой: как-то подсознательно чувствуется, что эти два понятия исключают друг друга.

Деятель культуры в атомную эпоху не может многое сделать. Он может сделать гораздо меньше, и его речь доносится слабее, его слов меньше ищут, чем слов его предшественников из «предатомной» эпохи. Это кажется парадоксальным, а на самом деле вполне логично. Но этот печальный факт не может освободить деятеля культуры от его обязанности внести свой вклад в предотвращение угрозы войны. Он должен для этой цели сделать все, что в его силах; это вытекает из его призвания, является его долгом перед собственным народом, без тесной связи с которым его искусство не может существовать. Такой долг нельзя исполнить каким-нибудь одним поступком, одним действием, если бы даже это был героический подвиг; подвиг совершается, и его помнят поколения, но бороться против войны — это обязанность, которая продолжает существовать, пока существует угроза войны. В сущности, это органическая потребность, естественная, как дыхание, как способность мыслить, как любовь к человеку, и эта обязанность сама по себе оправдывает все формы воздействия на сознание людей своей эпохи. Невзирая на то, спрашивают ли его мнения или нет, деятель культуры должен бороться с расовыми и национальными предрассудками — со всем, что вызывает ненависть и натравливает людей друг на друга. С другой стороны, он должен содействовать взаимопониманию людей, сплочению сил разума для новых побед в освоении природы, тех ее явлений, которые до сей поры малоизвестны или еще совсем неизвестны.

2. В современном искусстве я не вижу никакого своеобразия антивоенной темы. Я считаю, что писатели должны принять активное участие в борьбе с угрозой войны, но в своей литературной работе каждый из них, в соответствии со своим талантом, должен найти собственную тему и способы ее воплощения.

г. Белград

АЛЬВА БЕССИ

ЭСТАФЕТА АНТИФАШИЗМА

Летом 1961 года автор этих строк имел возможность принять участие в праздновании двадцатипятилетия Интернациональных бригад — той самой стихийно возникшей интернациональной армии, которая воевала, чтобы защитить свободу испанского народа. Сегодня все признают, что бои, которые велись тогда, стали прологом ко второй мировой войне.

Празднование годовщины состоялось в Берлине, столице Германской Демократической Республики. Со всех точек зрения это был один из самых волнующих эпизодов в моей жизни.

Кто бы мог подумать, что доведется побывать в Германии! Большинство ветеранов Интернациональных бригад прибыли туда из различных концов Европы, Азии и Западного полушария. Да, наступило время, когда все мы свободно собрались на этой территории — именно отсюда гитлеровцы поставляли оружие Франко, именно здесь вынашивали они планы удушения Республиканской Испании, а затем, всего лишь несколько месяцев спустя после ее поражения, приступили к выполнению своих захватнических планов. Видя руины и развалины там, где некогда было логово нацистского зверя, разумеется, испытываешь невольное чувство удовлетворения.

Граждане новой социалистической Германии выказывали по отношению к нам только самые добрые, дружеские чувства. У памятника советским воинам в Трептов-парке, а потом в Бухенвальде мы склонили головы перед памятью жертв фашизма (которых не избежал почти ни один народ на земле) подобно тому, как много лет назад

оплакивали наших товарищей, павших в Испании.

Каждый человек, будь то писатель или кто-либо другой, принимавший участие в войне — в справедливой войне или несправедливой,— обязан весь остаток жизни искать пути и средства к тому, чтобы присоединиться к всеобщему требованию положить конец войнам на все времена.

Особая миссия лежит на писателях, владеющих даром силой слова дойти до людских сердец. Их долг — отдать свой талант этой непрекращающейся борьбе. Я не знаю ни одного честного писателя в Соединенных Штатах (я, разумеется, не говорю о тех, кто стремится в своих произведениях лишь развлечь читателя), кто не нашел бы способа внести свою лепту в дело защиты мира.

Здесь, конечно, каждый идет своим путем. Автор этих строк, например, вернувшись из Испании, написал книгу публицистического характера об испанской войне, издал антологию, куда вошли произведения девяноста авторов из разных стран мира, чьи помыслы и чувства были отданы борьбе испанского народа. Опубликовал также роман о человеке, который в трудные годы депрессии в США был вынужден совершить убийство; и другой роман, прослеживающий связь испанских событий с процессами, которые в конце сороковых — начале пятидесятых годов в Соединенных Штатах привели к маккартизму, к «охоте за ведьмами». Вторая автобиографическая книга, которая сейчас готовится к изданию, протянет нить от Испании, «охоты за ведьмами» (жертвой которой оказался автор этих строк) к заточению в американской тюрьме, завершившему его деятельность в качестве сценариста Голливуда.

Все эти произведения по существу составляют единое целое, одно дополняет другое, показывая, как человек представляет себе жизнь — свою собственную жизнь и жизнь людей, его окружающих,— во всей ее сложности. У всех этих произведений одна цель, в той мере, разумеется, в какой художественное произведение позволяет говорить о сознательно сформулированной автором цели: раскрыть перед теми, кто будет их читать, сущность людских взаимосвязей, показать, как далеко простираются возможности человека, показать его достоинства и недостатки, победы и поражения, обусловленные обстоятельствами, в которых мы живем.

Если писатель верен себе до конца, если он наделен остротой и ясностью взгляда на жизнь, способностью постижения жизни в ее целостности, если он умеет талантливо воспроизвести то, что видит,— в таком случае, мне кажется, общество не вправе требовать большего от художника. Тем самым прямо или косвенно он поможет людям понять себя и мир, в котором они живут.

Это и будет его доля, его вклад в дело мира, который восторжествует на всей земле, мира, в котором и испанский народ, кому автор этих строк обязан своими представлениями о человеческих возможностях, вновь обретет свободу.

Милл Вэлли, Калифорния, США

ИВ ЧАМПИ

ВОСПИТЫВАТЬ НЕНАВИСТЬ К ВОЙНЕ

1. Я полагаю прежде всего, что молодое поколение плохо понимает истинный характер минувшей войны. И потому жизненно необходимо, чтобы молодежь узнала от тех, кто пережил эту войну, каким потрясением она была для всего человечества. Во многих странах еще сохранились многочисленные и глубокие следы этого бедствия — моральные, психологические и социальные.

Творческие деятели каждой страны должны сделать все, чтобы, воспитывая молодежь, внушить ей отвращение к идее третьей мировой войны, которая оказалась бы еще более ужасной, чем все предыдущие. Но, мне кажется, в наше время следует избегать речей, широковещательных деклараций, общих мест и риторики. Необходим, я считаю, более трезвый анализ фактов. Аудиторию следует поставить перед этими конкретными фактами с тем, чтобы зрители могли сами извлечь из них нужные нам выводы, без каких-либо дополнительных пояснений. Главное, очевидно, заключается в том, чтобы найти соответствующий сюжет и правильно построить фильм, пьесу, повесть.

Современная молодежь бесспорно испытывает потребность в действии. Театр и кино должны дать выход этой потребности, и притом в позитивной и вдохновляющей форме. Таким образом, я полагаю, все произведения литературы и кинематографии, которые могут привить молодежи вкус к путешествиям в будущее (как, например, «Завоевание космоса») или к любым другим дерзаниям в области науки, спорта и т. п., являются действенными средствами лишить необузданные проявления силы известного обаяния, которое они в какой-то степени неизбежно имеют для молодежи.

2. Трудно определить, в какой форме должна выражаться антивоенная тема в литературе и искусстве. Лично я полагаю, что война — это ненависть, а ненависть неотвратимо влечет за собой нетерпимость, то есть упорное нежелание поставить себя на место другого, и потому надо приветствовать любое произведение, содержащее в себе попытку преодолеть подобную нетерпимость.

Наблюдающееся в последнее время в ряде стран обострение нетерпимости не может не вызывать опасений. Ведь всякая нетерпимость — расовая, религиозная, политические притеснения — может привести к войне, сначала локальной, а потом и всеобщей.

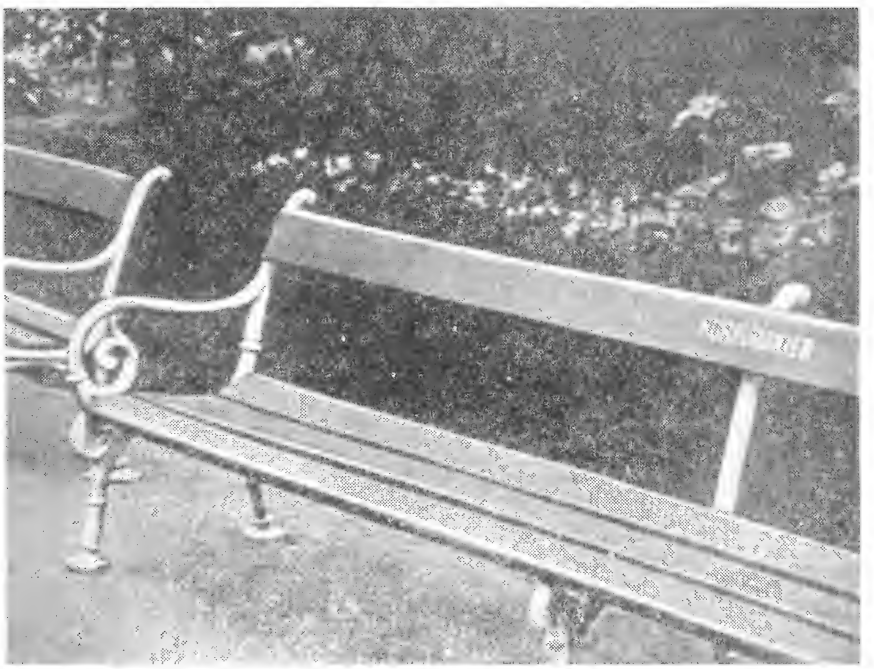
Неоспоримо, что лучшие антивоенные фильмы, выпущенные после 1945 года, созданы в странах, больше всего пострадавших от войны,—это советские, польские, а также некоторые французские и английские фильмы. Да и как мог бы режиссер правдиво восстановить столь трагические события и чувства, если он сам не пережил этих событий и не испытал этих чувств?

г. Париж

АМНИСТИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ФОТОДОКУМЕНТЫ О ЗЛОДЕЯНИЯХ ГИТЛЕРОВЦЕВ

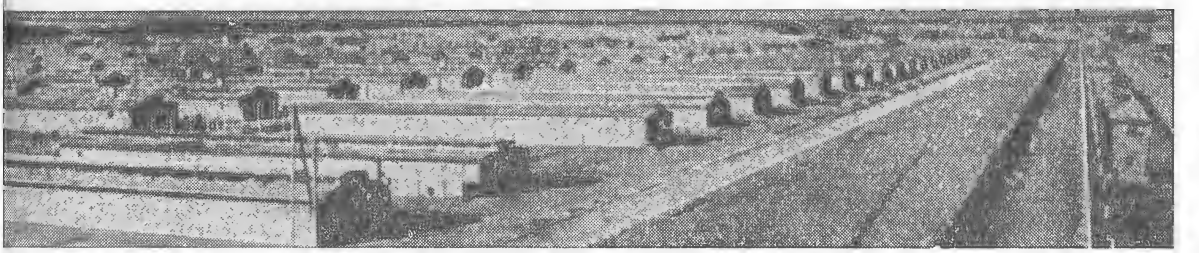
«Только для арийцев»



ПАЛАЧИ И

ИХ ЖЕРТВЫ

ПАЛАЧИ И



ИХ ЖЕРТВЫ

ДЖОН ГОВАРД ЛОУСОН

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Двадцать лет назад народы мира радовались одержанной победе над фашизмом. Я вспоминаю то ликование, те огромные надежды на лучшее будущее, которые охватили народ Соединенных Штатов. Эти чувства были сильны среди интеллигенции, верившей, что союз Соединенных Штатов и СССР в войне, который помог одержать победу, будет содействовать и укреплению мира, послужит основой для мирного и демократического решения проблем, стоящих перед людьми.

Я был в Сан-Франциско, когда там начала работу Организация Объединенных Наций. Как живые, встают передо мной картины тех бурных дней. Я помню радость, оптимизм, заполнившие сердца людей, помню и сомнения, чувство неуверенности, которые породили предложения, выдвинутые представителями Соединенных Штатов на некоторых заседаниях.

Когда грибовидное облако, поднявшееся над Хиросимой, набросило тень на все надежды, которые питали люди мира, в Соединенных Штатах стал меняться климат культурной жизни, и среди американской интеллигенции сомнения стали брать верх над оптимизмом. Под воздействием политики «холодной войны», разгула маккартизма в среде американской интеллигенции возобладала атмосфера пессимизма, растерянности. Сегодня, в середине шестидесятых годов, эти растерянность и пессимизм все еще пронизывают нашу культуру.

Мне кажется, существует разительное противоречие между этими получившими широкое распространение умонастроениями интеллигенции США и тем реальным соотношением сил, которое сложилось в Америке и во всем мире.

За истекшие двадцать лет мы стали свидетелями такого развития демократических сил в мире, такого подъема национально-освободительного движения народов, каких не знала история. Политика Соединенных Штатов состояла в том, чтобы противостоять этому движению и оказывать всяческую поддержку пережиткам колониализма.

Но политика США не может остановить неудержимое стремление народов Азии, Африки и Латинской Америки к свободе. В Соединенных Штатах растет понимание того, что американская дипломатия не может достичь успеха с помощью силы, поддержки продажных реакционных правительств. Американский народ хочет мира, и он все больше и больше осознает, что борьба за права человека во всем мире связана с общественной борьбой в самих Соединенных Штатах: негры в Америке и их белые союзники признают, что угнетение народов Азии и Африки тесно связано с разгулом расизма, с эксплуатацией негритянского народа в нашей собственной стране.

В ходе недавней предвыборной кампании это стало особенно ясным. Сокрушительное поражение Голдуотера недвусмысленно свидетельствовало об отрицательном отношении к его внешней и внутренней политической программе: война — за рубежом, расизм — дома; угнетение во Вьетнаме и угнетение в Миссисипи.

В этих изменениях, происходящих сегодня в Соединенных Штатах, много обнадеживающего, хотя в литературе и искусстве они пока еще не получили по-настоящему яркого художественного воплощения. Самые характерные черты сегодняшнего искусства — экзистенциалистское отчаяние, безнадежно-пессимистический взгляд на человека, как существо беспомощное и порочное по самой своей природе. Мир изображается как средоточие насилия, порока и всякого рода извращений. Эти тенденции важно видеть не потому, что они характеризуют американскую действительность, но потому, что они дают искаженное представление о ней, рисуя жизнь нашего общества в ложном свете.

В известной мере этот пессимизм, свойственный столь многим деятелям культуры (как в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах), коренится в неправильном отношении к недавнему прошлому. Среди американских историков и критиков стало модным атаковать тридцатые годы, как период, когда наша культура была «обесценена» тем, что один писатель назвал движением, связанным с «коммунистически-либеральным Новым курсом Рузвельта».*

В атаках на культурные ценности, созданные в период тридцатых годов, участвуют далеко не одни представители ультраправых кругов. Немалую роль здесь играют критики, слывущие «либералами» и оказывающие значительное влияние на деятелей науки и искусства.

Нападки на прогрессивную демократическую культуру рузвельтовского периода и стремление «пересмотреть» характер и цели второй мировой войны — явления одного порядка. На протяжении последних десятилетий не прекращались попытки (они продолжаются и по сей день, и причастны к ним отнюдь не только маккартистские элементы) рассматривать участие Америки в минувшей войне как ошибку или как проявление политики «с позиции силы», когда интересы народа не принимались в расчет или попросту предавались. Верно это лишь в том смысле, что поведение Америки в войне было непоследовательным: затяжка с открытием второго фронта — особенно яркий пример двойственности американских правящих кругов. Но недостаточность усилий Соединенных Штатов в войне была вызвана давлением тех самых реакционных сил, которые сегодня стремятся поставить нашу страну и весь мир на грань гибели.

Все это не только чисто политические проблемы. Они имеют и свой культурный аспект. Неверное (если употребить наиболее мягкое определение) толкование характера и целей второй мировой войны нашло отра-

* Robert Warshow, The Immediate Experience. N. Y. Garden City, 1964.

жение в сотнях американских романов, пьес, фильмов, наложило отпечаток на содержание и эмоциональный строй произведений живописи, музыки и скульптуры. В данное время Голливуд готовит семнадцать фильмов о второй мировой войне, и можно с уверенностью предсказать, что в большинстве своем эти фильмы будут игнорировать антифашистский характер борьбы, а американские солдаты будут изображены в виде головорезов и циничных скотов.

Эта концепция второй мировой войны в большой мере предопределила тот культ отчаяния, те представления о «греховности» человека, его «бессилии», которые столь распространены сегодня в нашей культуре. И ограничиться в истолковании подобных тенденций одними философскими категориями невозможно, их истоки — во взглядах, ложных взглядах на недавнее прошлое.

Концепция истории как «бессмысленного» скопления случайностей переносится на антифашистскую войну и на великие национально-освободительные движения, толчок которым она дала.

Мирное сотрудничество Советского Союза и Соединенных Штатов необходимо сегодня, как оно было необходимо и закономерно в 1945 году, когда американские и советские солдаты встретились и пожали друг другу руки. В нем заинтересованы не только граждане наших стран, но и другие народы земного шара.

Быть может, стоило бы в связи с двадцатой годовщиной со дня окончания войны провести обмен мнениями по поводу характера и итогов второй мировой войны между историками, учеными, писателями и художниками социалистических и капиталистических стран. Это должен быть взгляд на историю из сегодняшнего дня, с позиции проблем, которые ставит перед нами современность, в свете надежд, которыми живем мы — каждый из нас в отдельности и все человечество в целом.

г. Лос-Анжелес

ЯН МЮРДАЛЬ

ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Волшебство больших цифр играет двоякую роль. Вот человек: он ходит по улицам города, а в своем служебном кабинете готовит планы термоядерной атаки (за это он получает жалованье), жонглирует такими понятиями, как «зона разрушения», цифрами «будущих жертв»: тысяча—миллион—миллиард. Вряд ли он способен собственноручно перерезать горло своей дочери. Но коль скоро дочь входит в число «будущих жертв», она превращается в элемент статистики.

Говорят о многих миллионах людей, которые были отданы на заклание, сожжены в газовых камерах, замучены и убиты в годы второй мировой войны. И здесь гигантские масштабы цифр заслоняют чудовищность того, что произошло. Военного преступника, истребившего тысячи или даже десятки тысяч людей, наказывают настолько легко, что, верно, его постигла бы более суровая кара, возьми он соседскую собаку и изжарь ее на медленном огне.

Разоблачительная литература, описывающая ужасы войны, тоже играет двоякую роль. Я видел юношей, прочитавших «На западном фронте без перемен» и восхищенных «окопным братством». Даже в описании бесчеловечных условий таится нечто привлекательное.

Чувство ответственности, сознательное отношение к жизни должны быть одинаково присущи всем нам. И все же никак нельзя сказать, будто осуществить это требование легко. Но возможность войны существует. И каждый несет ответственность за судьбы мира. Долг писателя — раскрывать людям глаза на то, что происходит вокруг них.

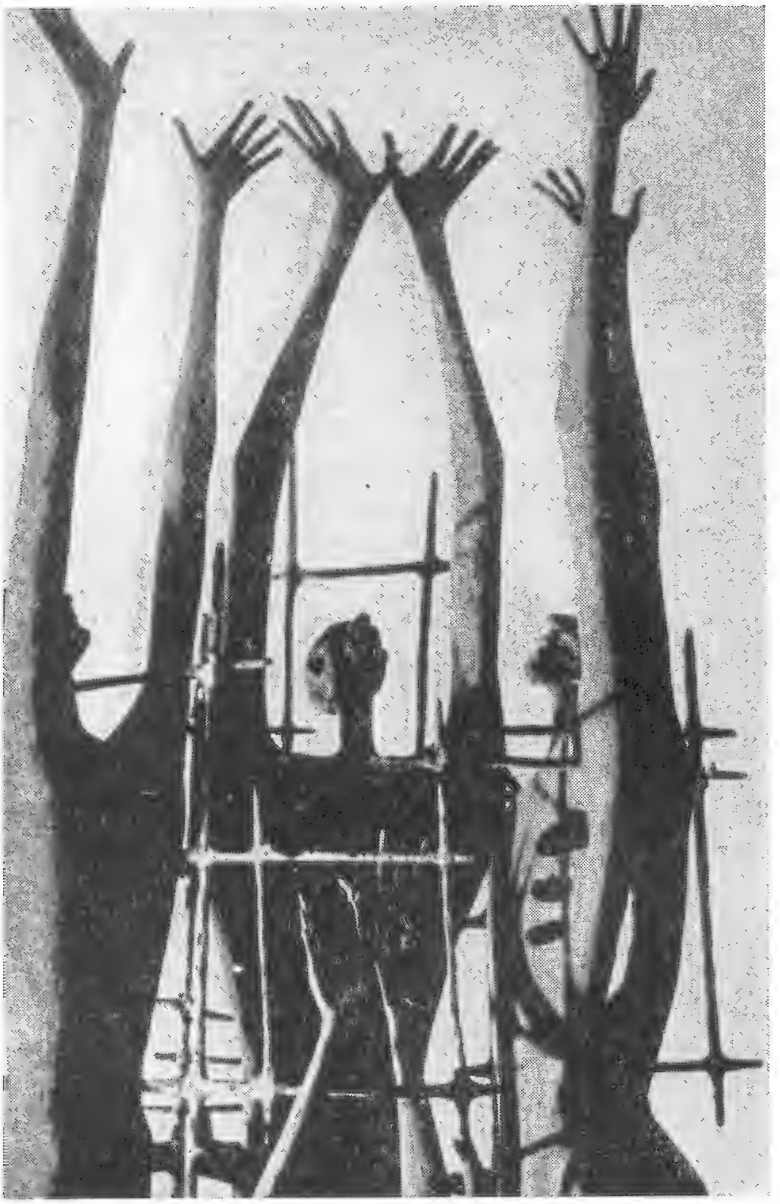
На ваши вопросы, пожалуй, лучше ответит стихотворение, которое я опубликовал в юбилейном номере «Лириквеннен» («Друг лирики»).

ПРИГОВОР

Вводят обвиняемого:
В его душе зеленеет лето,
И в ушах стоит жужжание пчел.
Ему предъявляют обвинительное заключение:
НН родился, вырос, выучился,
Теперь выращивает в своем саду рододендрон,
Любит своих детей,
Играет со своей собакой,
Исполняет свою повседневную работу.
Все его уважают,
И он помогает жене мыть посуду.
Вот что обвиняемый говорит в свою защиту:
Он полагается
На разум тех, кто стоит у власти,
На правдивость печатного слова,
Он верит, что другие лучше него разбираются во всем,
И к тому же его рододендрон как раз в цвету.
Зачитывают приговор:
Поскольку НН грешил легковерием
И потому утратил критический взгляд на жизнь,
А следовательно, и человеческий —
Потому что в дни великой нужды
Думал только о собственном саде,—
Он приговаривается к чувству ответственности.

Мариефред, Швеция

«НЕТ!» ФАШИЗМУ, «НЕТ!» ВОЙНЕ!



Фрагмент проекта архитектурно-скульптурного ансамбля в Освенциме работы скульптора М. Маскерини в содружестве с архитектором Р. Коста (Италия)

«Свободу нельзя подавить, еще раз варварство отступило перед цивилизацией... Памятник миллионам жертв Освенцима и других лагерей смерти должен быть выражением твердой неизменной веры в лучшее будущее человечества».

М. МАСКЕРИНИ, Р. КОСТА

«Какие проблемы интересуют сегодня людей в первую очередь? Нет ли угрозы миру? Не в опасности ли свобода? Гарантировано ли право на жизнь? Не являются ли эти вопросы первоочередными, жизненно важными для всего человечества, и не эти ли вопросы интересуют художников? Проблема отнюдь не метафизична, она осязаема. Ее можно так

определить:
позволим ли мы
уничтожить мир?
Можно ли спасти
человечество?»

ЖАН МИЛЬО

«Какой след
мы оставим
тем, кто будет
жить после
нас, если
не сумеем
дать отчет
в наших
произведениях
о сынах нашей
земли
и нашего века,
о стольких
слезах
и страданиях...»

РЕНАТО ГУТТУЗО

Г. Гросс ***Кавалер креста***

Георг Гросс, вынужденный эмигрировать из нацистской Германии в США, продолжает вплоть до последнего дня своей жизни (умер в 1959 году) в картинах и рисунках обличать своих смертельных врагов — фашизм, войну.

У. Гроппер (США) ***Апокалипсический всадник***

Р. Гуттузо (Италия) ***«С нами бог!»***

Серия акварелей Гуттузо «С нами бог!», удостоенная в 1946 году Золотой медали мира, навеяна одной из самых страшных трагедий, разыгравшихся в Риме за 9 месяцев немецко-фашистской оккупации,— расстрелом гитлеровцами 320 заложников в Фоссо-Ардеатино.

«Один из немногих оставшихся в живых, я из пыльного окна тюрьмы видел их сам в последний час, когда их увозили. Я видел их, стоявших с высоко поднятыми головами и открытой грудью, связанных и прижатых один к другому».

(Из предисловия Антонелло Тромбадори к альбому «С нами бог!»)

Л. Пери (Англия) ***Атомная война***

А. Боргондзони (Италия)

Матери оплакивают расстрелянных сыновей (фрагмент фрески)

Фрески в Народном доме имени А. Грамши в Виньола (Модена) выполнены на собранные трудящимися провинции Эмилии пожертвования. Во время работы и после ее завершения фрески, написанные художником Альдо Боргондзони, подверглись широкому общественному обсуждению. Труженики Эмилии помогали художнику, позировали ему, высказывали критические замечания.

В цикле фресок, занимающих 82 кв. м., рассказана вся история борьбы Эмилии против фашизма.

Ф. Мазереель *Дорога мира*

Еще в период первой мировой войны бельгийский художник Франс Мазереель посвятил свое искусство антивоенной теме: ежедневно, выбирая то, что было главным, он помещал рисунок в швейцарской газете «La feuille».

«Место художника — в первых рядах борцов за создание новой системы, исключающей эксплуатацию людей и войны».

ФРАНС МАЗЕРЕЕЛЬ

«Если бы вдруг на земле погибли все книги, памятники, фотографии и документы и уцелели лишь гравюры, которые Мазереель вырезал за десять лет, то по ним одним можно было бы узнать, как в наше время жили люди, как они одевались, представить себе чудовищную картину современной войны — фронт с его дьявольскими машинами истребления и тыл, гротескно изображенный, биржи и фабрики, вокзалы и корабли, тюрьмы, моды, людей, даже их типы,— и сверх того почувствовать темп жизни нашего века, его опасный дух и гений».

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Д. Манцу (Италия) ***Наказание***

Джакомо Манцу — известный современный итальянский скульптор. Его слава выходит далеко за пределы родной страны.

Рельеф «Наказание», как и ряд других скульптурных работ и рисунков, сделан по мотивам стихов итальянского поэта Сальваторе Квазимодо:

...пляшет погребальный ливень по ржавчине столбов и переплетов
колючих заграждений. Никаких
деревьев или птиц на сером фоне,
вне наших мыслей — только неподвижность —
и боль, которую вверяет память
глубокому безмолвию сознанья.

Ири и Тосико Маруки — лауреаты Международной премии мира

«Огонь» — из серии панно «Хиросима»

«Ослепительная зеленоватая вспышка, взрыв, сознание подавлено, волна горячего ветра, и в следующий момент все вокруг загорается. Тишина, наступившая вслед за грохотом ни с чем не сравнимой, дотоле неслыханной силы, нарушается треском разгорающегося огня. Под обломками рухнувшего дома лежат оглушенные люди, в пламени гибнут женщины, гибнут в огненном кольце очнувшиеся и пытающиеся спастись люди. Маленький ребенок отталкивает руки человека, стремящегося его вытащить, и сгорает на руках у матери, придавленной грудой тел и развалин. Люди падают обгоревшие, кто с раздробленной головой, кто с осколками стекла в животе. А здесь руки оторваны и лишь ноги продолжают двигаться...»

Ири и Тосико МАРУКИ

Г. Кралик (ФРГ)

Стратегия «холодной войны»

Ф. Кремер (ГДР)
Бухенвальдский монумент

Скульптор Фриц Кремер (ГДР) — автор одного из самых значительных послевоенных памятников-ансамблей жертвам нацизма — Бухенвальдского монумента.

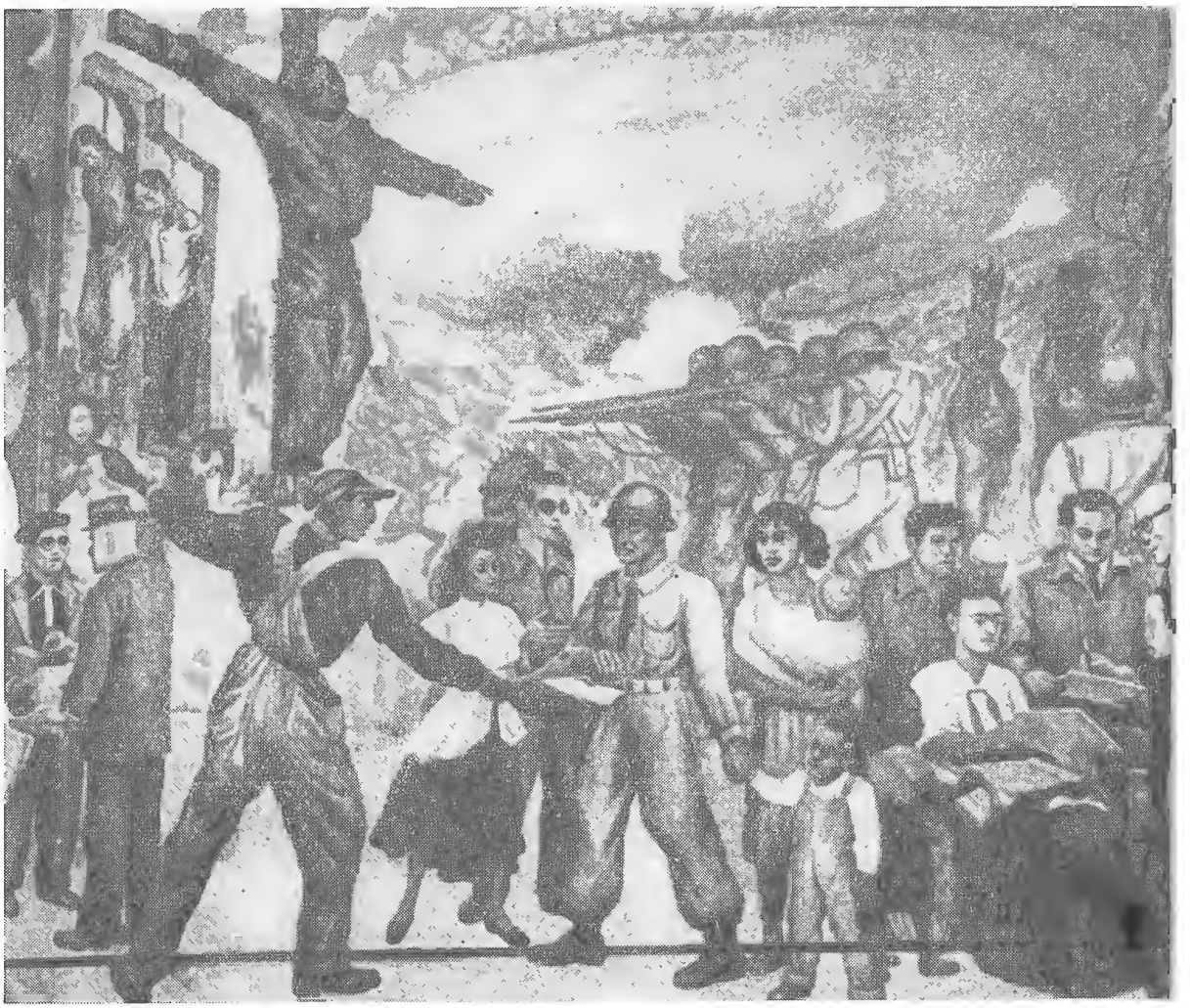
«Искусства вне времени никогда не существовало. Чем глубже искусство проникнуто духом своего времени, тем более велико и значительно оно для всех времен».

ФРИЦ КРЕМЕР

...Пепел павших за общее дело
Смешался с бронзой и медью
в памятную эпитафию
стремительного времени.

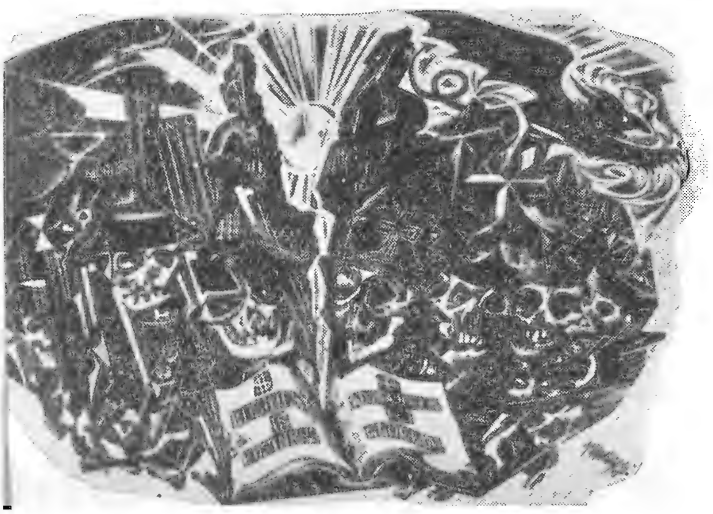
(Из стихотворения «Пепел и медь»: Карел Соика—Фрицу Кремеру)

А. Солтан (Польша)
Возвращение в Варшаву



Д. Ривера (Мексика)

Кошмар войны и мечта о мире



«Я повышаю свой слабый голос и стараюсь, чтобы он прозвучал как можно громче, чтобы обратиться ко всем тем, кто живет ради любви, красоты и человеческой чуткости — этой необходимой пищи в более возвышенной жизни,— с призывом кричать, увещевать, умолять все человечество потребовать и добиться немедленного прекращения испытаний ядерных бомб...»

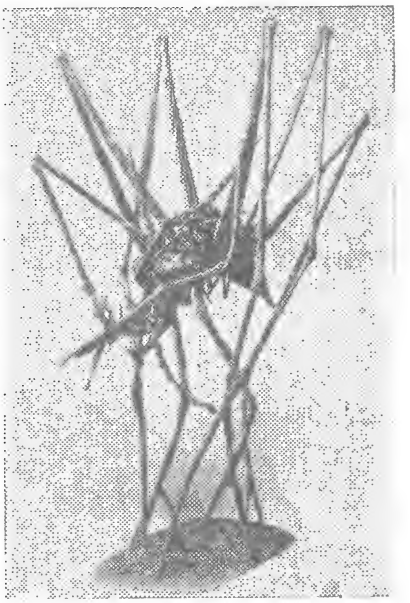
ДИЕГО РИВЕРА

Х. Ренау (Испания)

Последний смертный танец испанской реакции

Д. Дончев (Болгария)

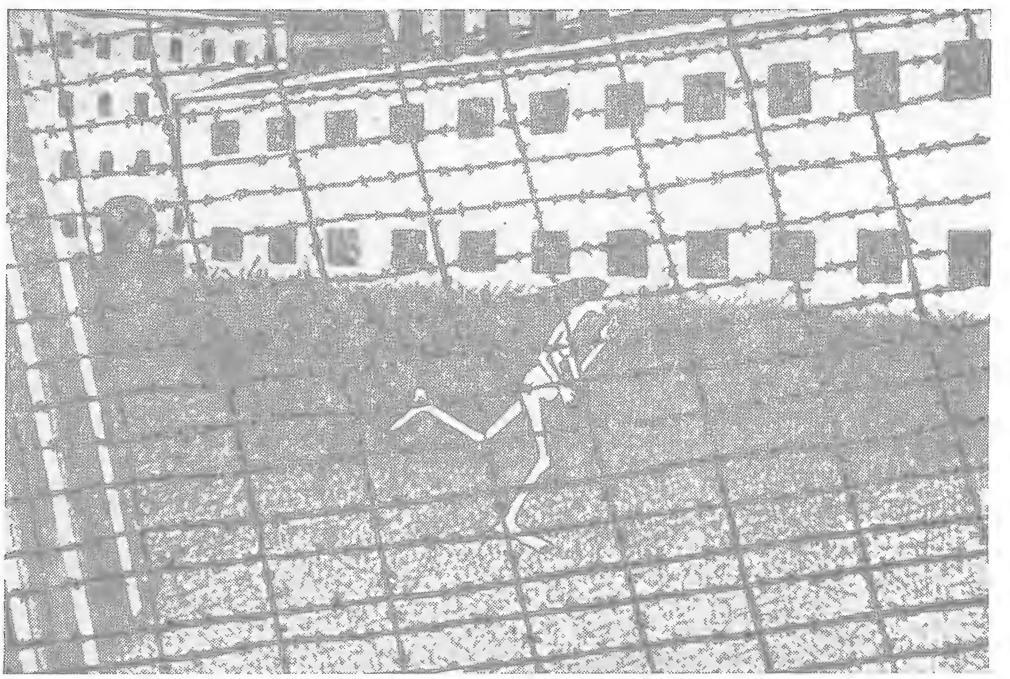
Что намелет эта мельница?



А. Фаббри (Италия)

Атомизированное насекомое

Адженоре Фаббри—автор большого цикла бронзовых скульптур на тему «Последствия атомной войны».



С. Исии (Япония)

Из серии гравюр «Ужасы войны»

«Великий русский поэт Маяковский мечтал, «чтоб к штыку приравняли перо». Мы, мексиканские художники, объединившиеся в Мастерской народной графики, мечтаем, чтоб к штыку приравняли наши орудия труда — гравировальные иглы».

Андреа Гомес, мексиканская художница

Р. Гуттузо *Каждому свое знамя*

Публикацию подготовила Е. Херсонская

НАТАЛИ САРРОТ

МИССИЯ ХУДОЖНИКА

Через двадцать лет после разгрома фашизма человечество пришло к выводу, что всякий новый международный конфликт приведет к уничтожению людского рода и что единственная его надежда на спасение заключается в мирном сосуществовании противостоящих друг другу сил.

Деятели культуры неизбежно призваны содействовать развитию взаимопонимания и согласия между народами — самой верной гарантии мирного сосуществования.

Художественные произведения, если только они правдивы, являются серьезным вкладом в достижение такого взаимопонимания и согласия, ибо все люди, независимо от их расовой или национальной принадлежности, в конечном счете одинаково воспринимают произведения подлинного искусства. Эстетические ценности принадлежат всем.

Искренний, честный художник именно в силу своей искренности не прибегает к готовым формулам. Его произведения всегда в известном смысле оригинальны. Они расширяют кругозор, развивают ум, обостряют восприятие. Будучи обращены ко всем, они сближают людей, обогащают их духовный мир, создают между ними общность мыслей и чувств. А это лучший залог взаимопонимания, взаимного уважения и согласия. Но для того, чтобы произведение искусства получило признание, чтобы оно вызывало общие чувства у всех, необходимо, разумеется, чтобы оно не ограничивалось изображением обыденной действительности, давно известной, неоднократно описанной. Необходимо, чтобы оно раскрывало новую действительность, что обусловливает и новые способы выражения.

Честность, искренность художника, не позволяющая ему подчиняться никаким другим велениям или требованиям, кроме требований искусства, независимо от его стараний дает возможность его произведению перешагнуть национальные границы. И таким образом он принимает участие в создании единой для всех цивилизованных народов интеллектуальной и художественной жизни. В то время как произведения прямолинейно-пропагандистского характера порождают недоверие или равнодушие и находят отклик за рубежами своей страны лишь у заведомых приверженцев пропагандируемых взглядов, подлинно художественное произведение прокладывает себе путь к сознанию людей. Оно является наилучшим вестником дружбы, и автор его может поэтому содействовать мирному сосуществованию между народами не только как человек и гражданин, но и как художник.

г. Париж

ЭРИХ ФРОММ

НАУКА, ИСКУССТВО, МИР

В связи с двадцатилетней годовщиной победы над фашизмом как нельзя более уместно поставить вопрос о том, в какой мере художник и ученый могут и должны способствовать предотвращению угрозы новой войны. Вопрос этот приобретает сейчас особенно важное значение потому, что великие державы, обладающие в 1965 году атомным оружием, не сумели ни заключить практически осуществимое соглашение о разоружении, ни разрешить те противоречия, которые мешают длительной политике мирного сосуществования.

Поскольку существует опасность новой войны, задача художника и ученого несомненно состоит в том, чтобы выйти за узкие рамки предрассудков и предубеждений и объяснить своему народу, что означала бы атомная война и каковы пути мирного решения спорных вопросов. Представители культуры в обоих противостоящих друг другу лагерях должны стремиться к непрерывному росту взаимных контактов с тем, чтобы иметь возможность выяснять возникающие недоразумения и разрабатывать планы совместных действий, способствующих миру. Они должны быть в первых рядах движения за мир в своих странах, потому что им лучше, чем кому бы то ни было, известно, какие культурные ценности были бы уничтожены в результате войны или даже в результате длительной угрозы войны. Деятели науки и искусства должны сказать свое слово по вопросу о войне и мире. Это не означает, однако, что труд ученых и художников служит миру лишь в том случае, если они заняты непосредственно этой проблемой. Наука и искусство служат делу мира и гуманности независимо от того, что является предметом изучения или изображения.

Для того чтобы разъяснить эту точку зрения, необходимо изложить некоторые общие соображения относительно науки и искусства. Обыкновенный человек мыслит категориями «здравого смысла», и все, что он видит или слышит, укладывается в эти категории. Его образ мыслей, вкусы, язык формируются обществом, в котором он живет; более того, влияние предшествующих общественных формаций на мышление и вкусы чувствуется еще долго после того, как сами социальные условия уже изменились. Как сказал Маркс, не сознание человека определяет его бытие, а общественное бытие определяет его сознание. До тех пор пока общество раздирают противоречия, пока оно отражает интересы определенной части общества, не совпадающие с интересами всего человечества (что, как я пола-

гаю, относится ко всем современным обществам), обыкновенный человек, сознание которого определяется этим обществом, получает искаженное представление о мире. Мышление человека, а в области искусства — восприятие являются в большей или меньшей степени выражением «ложного сознания», пока не уничтожены все противоречия внутри данного общества и между отдельными обществами.

Но есть два вида подхода к действительности, которые не умещаются в рамках восприятия ее с точки зрения «здравого смысла»,— это наука и искусство. Настоящий ученый, хотя и исходит из данных, поставляемых органами чувств, не останавливается на этих данных, не принимает их на веру. Он стремится проникнуть за обманчивую завесу чувственных восприятий и с помощью критической мысли и целенаправленного воображения получить более верное представление о действительности. Человеку, не причастному к науке, его выводы нередко кажутся непостижимыми, даже абсурдными, потому что они преступают конкретные социальные категории, вскрывая глубинные пласты реального мира. Научные поиски не только расширяют горизонты человеческого разума, но и, развивая способность человека логически мыслить, служат объединению человечества, поскольку логическое мышление является связующим звеном между людьми.

Подлинное искусство имеет то же назначение, что и наука. Оно разрывает обыденные представления о человеке и природе, которые, как и мышление, формируясь на основе здравого смысла, определяются обществом и соответственно искажаются им. Проникая сквозь обманчивую внешнюю оболочку, искусство раскрывает сущность явлений, их истинную реальность. Художник в силу необходимости *критически* относится к слуховым и зрительным восприятиям здравого смысла; будучи художником, он неизбежно *радикален*, потому что он всегда докапывается до самых корней, он *интернационалист*, потому что он имеет дело с реальной сущностью, общей для всех людей. Если задача науки — сделать мышление человека более *критичным*, то задача искусства — *обострить* у человека *чувственное восприятие* явлений.

Как научная, так и художественная правда не довольствуется общепринятыми понятиями и образами, она проникает глубже в реальный мир, обнажая силы, скрытые за кажущейся неподвижностью вещей. Я полагаю, что Гомер, описав Троянскую войну, совершил больше для дела мира, чем второстепенный автор, который пишет о мире, хотя произведения и этого автора также имеют свое значение.

Итак, я прихожу к выводу, что помимо прямых и непосредственных высказываний по вопросам войны и мира писатель и художник вносят величайший вклад в дело мира и интернационализма уже в силу своих смелых откровений, независимо от тематики их работ.

г. Мехико

АРМАН ЛАНУ

ТРЕЗВОСТЬ ВЗГЛЯДА

Ваши два вопроса неразрывно связаны между собой. Для того чтобы предотвратить угрозу третьей мировой войны, возможна только одна линия поведения: видеть войну такой, как она есть, без прикрас, без скидок, без снисхождения. Для того чтобы отвратить молодежь от фашизма, надо дать ему исчерпывающую и точную характеристику с позиций чистого реализма.

г. Париж

СТАНИСЛАВ ВЫГОДСКИЙ

КОГДА РЕШЕНИЕ ОДНОЗНАЧНО

Опыт минувшей войны, а особенно ее эпилог, то есть победа над фашизмом с одной стороны, а с другой — появление нового фактора, от которого зависит жизнь или гибель человечества (я имею в виду использование атомной энергии), привели к тому, что взгляд на войну как средство разрешения спорных идеологических и социальных проблем следует сегодня пересмотреть.

Разумеется, это старая истина, что ни одного идеологического или политического спора не разрешишь с помощью оружия. Новым, однако, является то, что в международных отношениях теперь необходимо принимать во внимание появление силы, способной уничтожить всякую жизнь на земле, саму биологическую субстанцию нашей планеты. Памятуя об этом, можно помышлять о войне исключительно в категориях самоуничтожения человечества. Понятие «локальности» будущей войны (поскольку якобы будет использовано лишь тактическое термоядерное оружие) лишено всякого смысла. Минувшая война в сопоставлении с новыми средствами уничтожения выглядит схваткой из доисторической эпохи. Однако, несмотря на такую «устарелость», мы рассматриваем минувшую войну как акт, направленный против человечества.

Чем же в таком случае оказалась бы грядущая война, способная принести смерть и гибель в неимоверно возросших масштабах? Да и что может значить в этом случае понятие «локальные масштабы»? О них нельзя говорить применительно к будущей войне; недаром так долго не предавались гласности сведения о результатах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Необходимо всеобщее и полное запрещение атомного оружия.

Понимание того, для каких целей могла бы быть использована покоренная и управляемая человеком атомная энергия, открывает перед человечеством такие неограниченные перспективы, какие даже не способна нарисовать фантазия тех людей, чье сознание связано с минувшей эпохой пара и электричества.

Об этом можем рассуждать мы, люди с трагическим опытом последней войны, в течение двадцати лет не могущие избавиться от полученных нами тяжелых травм.

Еще больше могли бы сказать на эту же тему освобожденные и только освобождающиеся народы, которым замечательные открытия в области науки и техники позволяют быстрее разрушить барьеры и преграды, возведенные некогда их поработителями. Не удивительно, что в своих устремлениях они встречают нашу симпатию и поддержку: нам лучше всех понятны их чаяния и надежды.

Поэтому каждый деятель культуры невольно оказывается на стороне тех, кто отстаивает принципы мирного сосуществования государств с различными социальными системами, сознавая, что все созданное человеком может быть сохранено лишь в том случае, если сохранится мир на земле.

Можно древнерусские иконы, творения Микеланджело и Рембрандта, произведения Данте и Шекспира упаковать в ящики и упрятать глубоко под землю, чтобы они не погибли при атомном взрыве. Но нельзя укрыть под землей все человечество, чтобы после атомной катастрофы оно могло снова приняться за чтение Вийона, Пушкина и Мицкевича.

Необходимо полностью исключить войну как средство, способное «урегулировать» споры между государствами.

Осознание всего этого и заставляет деятеля культуры становиться политическим деятелем: его задачей, целью, его «навязчивой идеей» становится проблема войны и мира, единственная и главная проблема. Характерной чертой антивоенной темы является то, что она связана с проблемой самой жизни как отдельной личности, так и целых народов, как с прошлым, так и с современностью. Антивоенная тема — это защита тех завоеваний прогресса, которые не позволяют нам вернуться в эпоху каменного топора.

Это тема лирики и драмы, сатиры и комедии, существующих во имя тех, кто открывает мир заново в каждой странице Чехова, Томаса Манна, Фолкнера, Ивашкевича и Бертрана Рассела, и даже во имя тех, кто утверждает, что современная цивилизация враждебна человеку.

Я не случайно назвал имя Бертрана Рассела: не все мыслители-интеллектуалы, писатели, художники, ученые — коммунисты. Кое-кто из них может отвергать наш образ жизни и наше мировоззрение, критиковать наши поступки, однако они поддерживают нас в главном — в борьбе за сохранение мира. Не будем обижаться на тех из них, кто еще не приемлет нашей философии, основ нашего мировоззрения. Наши философские и мировоззренческие разногласия не должны помешать общей борьбе за мирное сосуществование. Коммунизм исходит из безоговорочного утверждения жизни и отрицания смерти, самая суть его — в защите будущего человечества. Если бы наша борьба за мирное сосуществование не увенчалась успехом, оппонентам было бы нечего утверждать у себя и критиковать у нас.

Поэтому необходима полнейшая свобода в обмене мнениями, нужны беседы, встречи, международные конференции и коллоквиумы, широкие кампании в защиту сосуществования, при участии и верующих и неверующих, безбожников и священников, лесорубов, врачей, рыбаков, философов, шахтеров, агрономов — белых, черных и желтых.

Я не знаю, может быть, стоило бы поднять вопрос о государственных бюджетных ассигнованиях на организацию антивоенных международных встреч деятелей культуры и науки. Да хранит меня мой атеистический бог, я вовсе не призываю к созданию новых инстанций и учреждений. Достаточно, если уже существующие международные организации ученых и людей искусства, профессиональные союзы возьмут инициативу в свои руки.

В сознании людей всех стран должна постоянно жить мысль, что истребление людей — это то, что бесповоротно связано с прошлым.

г. Варшава

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД

МЫ ОТСТАИВАЕМ БУДУЩЕЕ

К сожалению, не миновала нужда напоминать людям о том дне, который ознаменовал победу над фашизмом, о дне, когда для человечества, настрадавшегося под игом фашистской идеологии, наконец блеснула надежда.

Интернациональная бригада, мужественно сражавшаяся в Испании, продемонстрировала силу антифашистских настроений во всех странах, где уважаются человеческие права, но после того как сопротивление Народного фронта было сломлено и Франко пришел к власти, казалось, уже ничто не сможет остановить триумфального шествия полчищ Гитлера и Муссолини, которые пользовались политической и финансовой поддержкой наиболее реакционных элементов в Англии, Франции и США.

Чехословакия, Польша, Бельгия и Франция не устояли против натиска фашизма. И только после вторжения в Советский Союз, под Сталинградом, гитлеровский вермахт впервые потерпел поражение. Это исторический факт. Никто не станет отрицать, что — как признал сэр Уинстон Черчилль — только благодаря несокрушимости духа Красной Армии и советских граждан, защищавших свою родину, удалось сломать хребет гитлеровской военной машины и сделать возможным осуществление тех целей, за которые боролись армии союзников.

Многое изменилось с тех пор. Мы были свидетелями постепенного возрождения фашистских идей в политике Западной Германии и полного отказа от всего, за что, казалось бы, сражались союзники.

Трудно поверить, что правительства Англии, Франции и Соединенных Штатов успели забыть ужасы и страдания, которые принес фашизм народам Европы. Вопреки условиям Потсдамского договора, заключенного по окончании войны, они потворствовали и сами содействовали ремилитаризации Западной Германии.

И в результате, как мы знаем, закоренелые фашисты с одобрения НАТО снова взяли верх, их реваншистская политика вновь создает угрозу миру в Европе. Каковы бы ни были доводы, выдвигаемые в пользу предоставления Западной Германии атомного оружия, вероломство такого шага в отношении всего человечества очевидно — по прихоти какого-нибудь фашиста это оружие в любую минуту может быть пущено в ход.

Можно ли после этого говорить о нереальности угрозы фашизма? Зверские, человеконенавистнические тенденции, характерные для фашистской идеологии, не уничтожены. Они снова дали ростки на благотворной почве, созданной экономической помощью Англии и Соединенных Штатов. И у нас, в Австралии, появились фашистские группы, которые пытаются завоевать последователей.

Подобные элементы обычно прикрывают свои разрушительные планы антикоммунистическими лозунгами. Как это ни позорно, в капиталистических странах такие методы обеспечивают известную поддержку. Гражданам социалистических стран трудно представить себе, что само слово «коммунизм» или «социализм» может вызвать безудержную вражду, которую трудно ослабить даже правдивой информацией и доводами разума.

Но постепенно люди все же узнают правду о коммунизме, начинают понимать, что цель коммунизма — благосостояние и счастье народа, а фашизм душит народ, несет с собой нищету, страх, войну.

Задача писателя в наше время состоит, по-моему, в том, чтобы раскрывать цели коммунизма и разоблачать фашизм, срывая с него все маски. А самое главное — активная борьба за мир. Следует помнить, что в странах капиталистической системы отдельные лица наживают состояния в результате торговли оружием, что само по себе может служить достаточным поводом для войны.

Таким образом, можно было бы сказать: лишите войну прибылей — и войн больше не будет. По крайней мере, поводов для войны стало бы значительно меньше, если разжигание вражды между нациями перестало бы приносить доходы. Возможно, это слишком грубое упрощение вопроса, но тем не менее довод этот весьма серьезен.

Хотя мы и стремимся к сотрудничеству с капиталистическими странами в борьбе за мир, надо прямо говорить о значении практического примера социалистических государств, вдохновляемых коммунистической философией, в деле сокращения вооружений, вывода войск с чужих территорий и ликвидации военных баз за пределами своей страны.

Разоружение является жизненно важной задачей нашего времени, и на решение этой задачи должны быть направлены все усилия и весь опыт международных организаций.

Состоявшийся в Сиднее в октябре 1964 года конгресс международного сотрудничества и разоружения явился яркой демонстрацией воли австралийского народа.

Конгресс пользовался поддержкой широких слоев населения Австралии. Несмотря на попытки официальных органов и прессы представить его как «коммунистическую затею» и таким образом вызвать недоброжелательное отношение к нему, тысячи людей приняли участие в шествии и митинге, которыми открылся конгресс. Во время заседаний зал всегда был полон, что свидетельствует о широком интересе к происходившим дискуссиям и к принимаемым решениям.

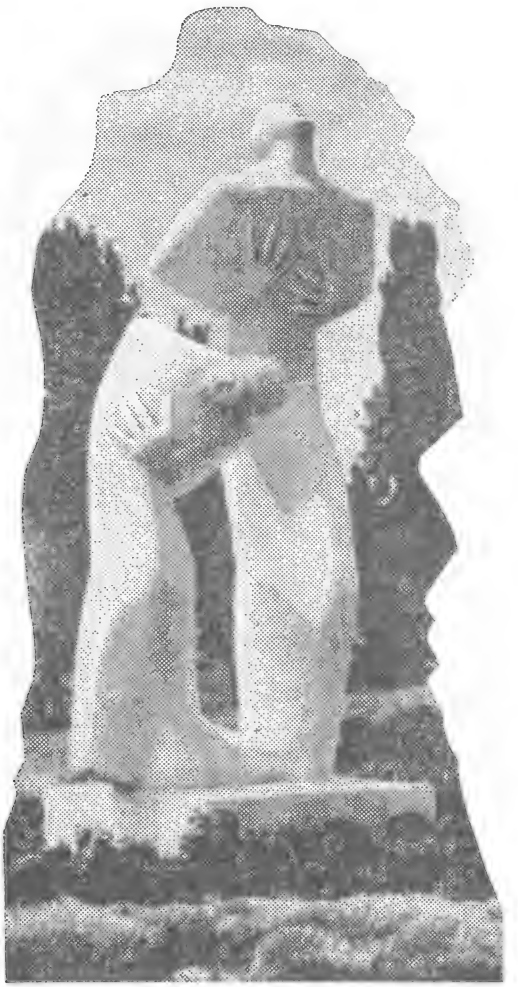
Особенно интересными были профсоюзная конференция, представлявшая бо́льшую часть организованных рабочих Австралии, и писательская конференция, на которой многие писатели говорили об ответственности перед человечеством, обязывающей их не предпринимать никаких действий, которые могут каким-либо образом способствовать усилению международной напряженности. Они подчеркивали также необходимость свободы общения и свободы творчества, без которых невозможно взаимопонимание.

В годовщину первого серьезного поражения фашизма мы не можем оставаться равнодушными. Рост и распространение фашистских идей внушают опасения, и необходимы самые энергичные действия всех исповедующих гуманность миролюбивых стран, чтобы спасти новые поколения от катастрофы.

Гринмаунт, Австралия

(Окончание следует)

АМНИСТИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ



Памятник, установленный на месте массового расстрела школьников в Крагуеваце 21 октября 1941 года. Работа скульптора А. Гржетича.

МЛАДЕН ОЛЯЧА

ЭТО БЫЛО В КРАГУЕВАЦЕ...

Они шли на смерть обнявшись. Дети и учителя вместе. Было их сто, двести, триста; все — старшеклассники. Никто не знает точного числа учеников, многие погибли, не оставив никакого следа. Учителей было 18. Среди них два директора: Лаза Пантелич, директор Первой мужской гимназии, и Милое Павлович, директор Учительской школы, одного из очагов борьбы за свободу в этом городе.

Шли они рядами, по четыре. Некоторые были связаны проволокой и веревками. Под прицелом — пели. Связанные, безоружные, лишенные возможности защищаться, они хотели идти на смерть с песней. Раздались слова гимна:

— «Гей, славяне...»

Какой-то льотичевец * крикнул:

— Ребята, хотите пойти в наши войска?

— «Гей, славяне еще живы»,— ответила песня.

Ответила песня, а потом грянул залп. Залп был громче песни, но не сильнее ее.

Залп заглушил песню, но дело свое она сделала.

Остались мертвые уста. Сто, двести, триста мертвых уст. На устах — песня, прерванная залпом, но более сильная, чем залп.

Она пережила залп, эта песня.

Откуда же такая ярость оккупантов? Скосить детей, подростков пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет, у многих из них не было даже пуха на губе!.. Что это — зверская прихоть немецкого коменданта, майора Кенига, и его карательной экспедиции? Или решение о расстреле учеников было намеренным и обдуманным?

Об этом говорят документы.

Многие из этих детей были коммунистами. Молодыми коммунистами, скойевцами *.

Крагуевацкая гимназия известна своим свободомыслием. Еще перед второй мировой войной из нее вышли многие испытанные, закаленные борцы. Здесь часто собирались, чтобы обсудить социальные, политические и культурные вопросы. Нередко эти собрания кончались горячими спорами и даже драками с учениками-льотичевцами, которых большинство ненавидело. Литературное общество гимназии «Молодежь» давало

* Льотичевцы — члены сербской фашистской организации, руководившейся Льотичем.

* СКОЙ — Союз коммунистической молодежи Югославии.

публичные концерты в пользу неимущих учеников.

Вот совсем коротко история жизни молодого коммуниста Божидара С. Петровича, воспитанника Первой мужской гимназии. Это был юноша слабого здоровья, в детстве его прозвали Барышней. В его биографии, написанной после войны гимназистами, говорится, что Божидар С. Петрович родился в 1922 году в рабочей семье каретника Светозара и его жены Станы. Когда пришли немцы, молодой Божидар, скойевский вожак, сказал матери: «Мы с отцом хотим плотничать, а не служить оккупанту». Мать беспокоилась, часто спрашивала, куда он ходит и что делает. Он обычно отвечал: «Мама, будь готова ко всему... Если я погибну, твоими сыновьями станут мои друзья».

Божидар распространял листовки, организовывал подпольные собрания СКОЙа, был партизанским разведчиком.

Он погиб в самом начале восстания. Бледный, больной малярией, не успев даже поесть, он ушел на свое последнее задание. Выполнил его в 5 часов утра. Вдвоем с товарищем разоружил двух полицейских. В тот же день попал в руки полицейского агента Чеды Златановича. Убежал от него, достал револьвер и вернулся спасать товарища.

Его арестовали.

— Скажите моей матери, чтобы не плакала,— сказал он перед расстрелом.

Немцы расстреляли его 23 августа и повесили труп в центре города.

Первую мужскую гимназию немцы с первых дней оккупации превратили в больницу. Ученики должны были искать для себя другое место. Классы разместили в частных домах.

Хотя никто не догадывался, что 21 октября принесет смерть стольким ученикам и учителям, чувствовалось, что немцы что-то готовят. 17 октября представитель городской полиции потребовал от директора Первой мужской гимназии:

1. Список учеников, которые окончили 6-й и 7-й классы, но не зарегистрировались в 7-м и, соответственно, 8-м классах.

2. Список учеников, зарегистрированных в 7-м и 8-м классах, но не посещавших занятия.

3. Список учеников, которые в начале учебного года ходили на занятия, а потом перестали.

А позже по городским улицам ходил глашатай. Он бил в барабан и выкрикивал приказ коменданта города:

«Все дети должны идти в школу! Родители, чей сын останется дома, будут строго наказаны!..»

Комендант города вызвал директоров школ и сказал им:

— Я требую, чтобы все дети были в школе. Если мой приказ не будет выполнен, вы ответите!

— Я не могу созвать детей,— ответил директор Милое Павлович.

— Почему? — заорал немец, который, кстати говоря, по профессии был педагогом.

— Не могу, так как никто не гарантирует им жизнь,— ответил Павлович спокойно.

■

20 октября 1941 года. Утро. Погода хорошая. День словно весенний.

На Бранковой улице в старинном желтом доме на втором этаже расположилась часть Первой мужской гимназии. Первый урок. Елена Стоянович ведет занятия по сербскому языку, а учитель Росич рассказывает о стихах Гете. Учитель Мачкич, у которого по расписанию урок закона божьего, проводит беседу о свободе. В шестой класс неожиданно врывается восьмиклассник Жарко Петрович. Он задыхается. Рассказывает, что убежал от немцев. Что немцы забирают людей прямо на улицах. Взволнованная учительница велит ему сесть за парту, чтобы его не нашли среди учеников младшего класса.

...Во двор гимназии входят два немца. В коридоре слышится топот солдатских сапог. Входят в класс. В руках автоматы, они направлены на учеников. Один немец маленький и толстый, другой — высокий, смуглый. На головах — каски.

Ученики шестого класса сидят за партами. Напряженно смотрят на немцев и на учителя.

— У нас урок немецкого языка,— говорил учитель Павлич.— Это ученики.

— Сколько им лет?

— Пять,— говорит растерянный учитель.

— Пятнадцать, пятнадцать,— поправляют дети хором.

Ученик Гойко Мркаль в ужасе встает. Он забыл, что нужно сидеть, не двигаться. Это высокий мальчик.

Немцы его замечают.

— Komm! Komm!

Мркаль неуверенно выходит. Затем возвращается, берет забытую шапку, но вместо того, чтобы идти к дверям, снова садится за парту и пристально смотрит на учителя.

Учитель твердит, что ученикам не больше пятнадцати. Немцы его не слушают.

— Вы тоже пойдете с нами.

В школьный двор входят еще два немца.

То же самое происходит и в других школах.

На уроке сербского языка, проводимом учительницей Бранкой Ранкович, ученик Второй мужской гимназии Владимир Нешич рассказывает о драме Якшича «Станое Главаш». Начинается разбор строк: «Свобода — манящий напиток. Я пил его потому, что испытывал жажду». В класс входит Душан Младенович. (В этот вечер его мать сошла с ума.) Он опоздал на час. Проходит на свое место.

Учительница спрашивает, почему он опоздал. Мальчик говорит, что родители заперли его дома и приказали никуда не ходить; они слышали, что немцы будут расстреливать людей.

— Я убежал,— говорит Душан.— Хочу быть вместе с товарищами. Как с ними, так и со мной...

Удар в дверь. Маленький немец, веснушчатый, с крохотной головкой, накрытой каской. С ружьем в руках он приказывает:

— Выходите все!

— А разрешение директора? — наивно спрашивает учительница.

— Все! Все!

В учительской Миле Новакович, преподаватель химии, молодой неженатый человек, взял пальто и сказал:

— Мы должны пойти со своими учениками.

Он попросил одну из учительниц, чтобы та сходила к его матери и рассказала о случившемся, но очень осторожно — у матери слабое сердце.

Вместе с ним пошел учитель Джордже Степанов...

Во дворе толпились ученики. Ученики и учителя смешались. Потом построились в ряды. По четыре. Все вопросы были напрасны. Длинная процессия двинулась на улицу. Ее сопровождали немцы и льотичевцы.

Сзади шли шесть немецких пулеметчиков.

Матери, которые тем временем узнали, что происходит, бежали за детьми, передавали им пальто, ботинки, ломти хлеба. Слышался плач, крики отчаяния.

Одному из гимназистов стало дурно. Товарищи несли его на руках. Мальчик заметил в толпе мать. Он снял часы и сказал: «Мама, возьми часы. Немцы меня убьют».

Милан Станкович, ученик 8-го класса, оставшийся в живых, рассказал мне в начале 1959 года:

— Перед расстрелом в городе арестовывали. На улицах были выставлены пулеметы... Помню немца в каске, который вошел в наш класс. Приказал нам собрать книги и выйти во двор. На улице мы увидели нескончаемую колонну людей, окруженную немецкими солдатами и льотичевцами. Льотичевец Томич, ученик нашей гимназии, помогал немцам, но сейчас он прятал глаза и от нас, и от учителей. Нас пригнали к артиллерийским складам на окраине города. У входа ждали немцы. Они отбирали все: золото, кольца, авторучки, портсигары, деньги, даже мундштуки. Нас загнали в сарай. Было тесно. Негде было даже присесть. В бараке было более двух тысяч людей... Среди них — Миле Новакович, наш классный руководитель. К нему подошел Милоне Радонич, который окончил школу в июне 1941 года, и попросил его: «Учитель, не возьмете ли вы у меня шляпу? Я хочу затеряться среди учеников, но мне мешает шляпа». Учитель исполнил его просьбу. Позднее я видел, как он шел на расстрел с этой самой шляпой в руке... О чем мы говорили в бараке? Некоторые думали, что нас отвезут в Германию на работу, другие говорили, что хотят попросту проверить наши документы. Третьи предполагали, что их арестовали потому, что к городу подходят партизаны. Перед каждым окном барака стоял пулеметчик. Когда у учителей кончился табак, ученики подбросили им сигарет, хотя за курение нас прежде исключали из школы. Не было воды... Льотичевцы вызывали своих друзей и знакомых и отпускали их. Когда отпустили группу гимназистов, комендант льотичевцев крикнул: «Кто отпустил учеников? Неужели вы не знаете, что это коммунисты? Верните их!» Ночь мы провели без сна. В тот вечер 20 октября мы услышали, как вблизи лаяли пулеметы. Стало ясно, что произойдет что-то страшное...

21 октября. Утро.

Немцы начинают уводить из бараков первые группы схваченных горожан. Куда их ведут? Какой-то ученик подходит к Милое Павловичу, директору Учительской школы:

— Господин директор, вы знаете немецкий. Попросите офицера, чтобы нас послали на работу в Германию...

Милое молчит. Глаза учеников прикованы к нему. Он отвечает:

— Нет, я не буду просить немцев.

Просьбы не прекращаются. Милое отвергает их.

— Я уверен, что ничто не поможет,— говорит он.— Наша судьба решена. Не нужно напрасно унижаться.

Одни ругаются, другие молятся.

Студентка Нада Наумович говорит:

— Умирают один раз в жизни. Умрем, как люди.

Школьного служителя, инвалида, отделили от группы заложников, в которой оставили его сына. Немцы отказались отпустить с ним его сына. Тогда он предложил: «Расстреляйте меня вместо него». Немцы разрешили ему остаться вместе с сыном в группе, которую повели на расстрел. Лазарь Перич также напрасно просил немцев, чтобы его расстреляли вместо сына. Лесник Никола Симич тоже...

Из артиллерийских складов первую группу учеников и учителей повели через поляны к ручью. Это недалеко. Может быть, метров сто-двести от барака...

— Если нас поведут на расстрел, будем петь гимн,— об этом ученики и учителя договорились еще в артиллерийских складах. Кто-то вспомнил об этом, и послышалось пение... Ученик восьмого класса, высокий, русоволосый, вынул расческу и причесался. Хотел умереть красивым.

МЛАДЕН ОЛЯЧА
ЭТО БЫЛО В КРАГУЕВАЦЕ...

Расстрелянные упали.

Лесник Симич, мертвый, обнимал мертвого сына...

Миле Новакович держал в руке переданную ему шляпу. Рядом с трупами лежали ранцы, голубые форменные шапки, тетради, альбомы с любовными стихами... Потом их тела были похоронены. Дожди смыли кровь с травы. Остался курган, длинный и широкий.

Ныне на этом кургане — плита с надписью:

ЗДЕСЬ ФАШИСТСКИЕ ПРЕСТУПНИКИ РАССТРЕЛЯЛИ ОБНЯВШИХ ДРУГ ДРУГА УЧЕНИКОВ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ШКОЛ, ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ ПОШЛИ С НИМИ НА СМЕРТЬ.

Под этими словами стоят стихи Десанки Максимович:

ВСЕ ОНИ БЫЛИ РОВЕСНИКИ,
ВСЕ ОДНОГОДКИ.
ВМЕСТЕ УЧИЛИСЬ И ВМЕСТЕ ИГРАЛИ.
ХОРОМ СТИХИ НАИЗУСТЬ ПОВТОРЯЛИ...
ВМЕСТЕ ОНИ И ПОГИБЛИ...

Было их сто, двести, триста. Смерть объединила их под Шумарицами, где они объяснялись в первой любви, куда они ездили на экскурсии. Невинные и вечные, стоят они там мертвою стражей.

21 октября 1944 года, через день после окончательного освобождения Белграда, советские и югославские войска выбили фашистов из сербского города Крагуеваца.

В тот же день крагуевчане рассказали нам историю гибели гимназистов-старшеклассников.

Крагуевац — гордый город. В нем полтораста лет назад зарождалось сербское независимое государство. В нем были особенно сильны югославские коммунисты и партизаны. На кровавом примере Крагуеваца оккупанты хотели научить сербов и все народы Югославии безмолвной покорности. Для того, чтобы удар был особенно болезненным, вместе со многими тысячами взрослых жителей на расстрел повели крагуевацких гимназистов.

Вот как писала об этом пережившая оккупацию сербская поэтесса Десанка Максимович:

Это случилось в одном государстве балканском —
в горном, крестьянском.
Горькое там приключилось злосчастье
с группой ребят —
целым классом пали они в одночасье
смертью героев...
. . . . . .
За руки взявшись,
пошли они на смерть рядами.
Самые слабые дети, и те не рыдали.
После уроков,
сложив аккуратно тетрадки,
шли на расстрел они поступью твердой
в полном порядке,
прямо и гордо.
За руки взявшись,
прямо под пули
эти ребята навстречу бессмертью шагнули.

Двадцать лет спустя, день в день, мне пришлось снова побывать в Крагуеваце. 21 октября Югославия чтит память погибших крагуевчан — детей и взрослых. В этот день гимназисты со всей Югославии собираются на огромном загородном поле, том самом поле, где в 1941 году расстреливали и где сейчас памятники.

Мы стояли перед огромной толпой молчаливых детей. Говорят, их собралось 80 тысяч. Было солнечно и ясно, однако дети сосредоточенно молчали, даже самые маленькие ребята из первых классов. Урок, который хотели дать фашисты, урок покорности и капитуляции, стал для югославских детей уроком мужества. Мальчик-гимназист Младен Оляча, в 1941 году бежавший в партизанский отряд и прошедший вместе с ним всю войну, собрал показания очевидцев и написал документальный рассказ, который вы прочли.

Борис Слуцкий

АМНИСТИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ГЕЙНЦ АБОШ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ВОЗМЕЗДИЯ

Статью Гейнца Абоша мы с небольшими сокращениями перепечатываем из французского ежемесячника «Тан модерн» (главный редактор — Жан-Поль Сартр).

Намерение боннского правительства не продлевать, по юридическим соображениям, срок преследования бывших гитлеровцев за военные преступления породило многочисленные протесты даже со стороны кругов, не без симпатии относившихся к Западной Германии. Решение прекратить преследования военных преступников начиная с 8 мая 1965 года* вызвало их гнев.

Но как ни скандальна сама по себе эта акция боннского правительства, главный позор не в ней. Мера эта — не более чем логическое следствие тактики, которая никогда не менялась. Начиная с 8 мая никто уже не сможет доставлять правительству неприятности, ставить под сомнение демократизм взглядов представителей государственной власти. Они смогут наконец вкусить полный покой и не бояться, что будет разоблачено их прошлое, что их безупречное республиканство будет запятнано темными подозрениями в содействии гитлеризму. Наиболее скомпрометированные нацисты, целые колонии которых укрываются в Южной Америке и в Египте, сумеют наконец вернуться домой. Другие же смогут отказаться от маскировки, принять свое прежнее, настоящее имя, а вместе с ним — все звания и почести, заслуженные в героическую эпоху их жизни.

Решение боннского правительства завершает давнишнюю политику, проводимую хотя и втихомолку, но систематически, о чем свидетельствуют статистические данные федерального министерства юстиции. Согласно этим данным, с 8 мая 1945 года по 1 января 1964 года западногерманские суды рассмотрели 12 862 дела военных преступников. Из них только 5445 человек — то есть менее половины — были признаны виновными, 4033 оправданы и 689 остались неразысканными. Из 5445 обвинительных приговоров лишь 172 были вынесены за убийство, 248 — за насилие, приведшее к смерти, и 5025 — за другие преступления. Только в 76 случаях суд потребовал высшей меры наказания. В сопроводительной записке к этим статистическим сведениям министерство юстиции выражает мнение, что в решениях судов «нельзя обнаружить тенденцию к преувеличенному милосердию». Это более чем сомнительно. Если судить по официальным документам, фашистский режим словно бы и не был преступным по самому своему существу; можно скорее подумать, что убийства практиковались лишь в исключительных случаях, и что совершали их лишь отдельные лица (а именно, числом 76), и что эти убийства ни в коей мере не были делом широкой организации. Этот тезис со всей ясностью вытекает из упомянутого официального документа, и вся юридическая практика Западной Германии стремится подтвердить его справедливость. Вот почему преследования и розыск военных преступников были так редки и велись с такой медлительностью (суд по делу лагерей Освенцим и Треблинка состоялся почти через двадцать лет). И вот почему столь многие лица были оправданы, а обвинительные приговоры за менее серьезные преступления выносились чаще, чем за самые крупные.

Впрочем, точку зрения министерства юстиции оспаривает Федеральное бюро, на которое возложено было преследование нацистских преступников: число участников массового истребления оно поднимает до 80 тысяч. Но даже если учесть 10 тысяч

* Хотя статья эта увидела свет до принятого боннским бундестагом решения о продлении срока давности на 5 лет, актуальности своей она ни в малейшей степени не утратила.

лиц, официально объявленных военными преступниками в СССР, то все же останется немалое количество таких, к которым суд до сих пор не проявил интереса.

Так, в частности, думает Роберт М.-У. Кемпнер, один из американских обвинителей на Международном трибунале в Нюрнберге; он требует продлить срок ответственности за военные преступления, ибо считает, что 10 тысяч крупных преступников пока еще остаются безнаказанными. Между прочим, Кемпнер считает, что по ныне действующему кодексу куда легче карать лиц подчиненных, чем тех, кто отдавал приказы. В качестве иллюстрации он приводит несколько судебных дел: так, судья Резе, сотрудник Фрейслера по знаменитому «Народному трибуналу», послал на смерть не менее сотни людей. Несмотря на то что против него несколько раз возбуждалось дело, этот нацистский судья ни разу не был осужден, ибо, с точки зрения мюнхенского суда, «нельзя доказать, что судья или прокурор, обманутый нацистскими доктринами и юридической мыслью эпохи, сознательно нарушал судебное право». Столь же знаменателен случай с доктором Клопфером, бывшим государственным секретарем и сотрудником Бормана. Клопфер должен был предстать перед Нюрнбергским судом как участник совещания в Ванзее в январе 1942 года, где было принято решение о тотальном истреблении евреев. Ввиду того, что союзнический трибунал закончил свою деятельность, дело Клопфера было передано немецким властям, которые в конце концов в январе 1962 года решили сдать его в архив. Не менее поучителен третий пример, с Ганзенмюллером. В качестве государственного секретаря при министерстве транспорта Ганзенмюллер в сотрудничестве с руководством СС организовывал эшелоны для отправки в лагеря уничтожения. Его ни разу не побеспокоили, он ведет безмятежную, материально обеспеченную жизнь крупного чиновника в отставке. К этому списку можно прибавить громадное число других имен. Так считает и депутат Яан, социал-демократ, который утверждает, что далеко не все еще раскопано в недрах гитлеровской машины, в таких обширных ее отделах, как министерство иностранных дел и центральное экономическое бюро СС. Этот депутат отмечает, в частности, что не существует центрального контрольного органа для розыска и преследования лиц, совершивших военные преступления в пределах самой Германии, ибо суд в Людвигсбурге уполномочен рассматривать только преступления, совершенные вне национальной территории. Федеральное бюро в Людвигсбурге имеет, конечно, некоторые заслуги, но знаменательно, что оно создано лишь в 1958 году, располагает немногочисленным персоналом, совершенно недостаточным для возложенных на него огромных задач, и является предметом более или менее открытой недоброжелательности со стороны других административных органов, без сотрудничества с которыми оно не может обойтись. Истина состоит в том, что высокое положение на нацистской иерархической лестнице не только не усугубляет в глазах суда вину военного преступника, а, напротив, служит для него надежной крепостью. Кажется, что на главарях лежит табу. Кажется, что преступления третьего рейха — дело одних лишь исполнителей. Крупные государственные чиновники, организаторы массового истребления людей неприкосновенны и не считаются ответственными за убийства (которые именно они и сделали возможным) по той единственной причине, что сами они не пачкали рук и манипулировали папками с делами, а не трупами. Теперь весьма охотно забывается, что только благодаря непрестанной педантичной деятельности государственных чиновников с «чистыми руками» могло свершиться преступление, что в нем участвовали все колесики государственной машины: издавали нужные законы, оказывали содействие многочисленным должностным лицам и солдатам, устраивали склады часов и золотых зубов в подвалах рейхсбанка и т. д. Теперь покровительство оказывается не только офицерам и высшим гражданским чиновникам, но и СС. Во время многочисленных процессов, имевших место в последние годы, на скамье подсудимых можно было увидеть лишь двух генералов СС. Один из них, Симон, был в конце концов оправдан, трибунал выдал ему свидетельство о патриотизме. Второй, помощник Гиммлера Карл Вольф, несущий прямую ответственность за депортацию 300 тысяч обитателей варшавского гетто, был осужден на 15 лет тюрьмы, но суд признал, что обвиняемый «вел в прошлом безупречную жизнь». Для такой благосклонности к видным преступникам третьего рейха (руководителям СС, армии, государства, экономики) есть, конечно, свои причины. Важнейшая из них — классовая и групповая солидарность. Поскольку эти главари были связаны между собою в прошлом, они заинтересованы в том, чтобы покровительствовать друг другу. Приподнять завесу можно было бы только с большим риском скомпрометировать добрую половину руководителей «Новой Германии». Оказался бы в серьезной опасности весь стоящий у власти класс. А посему следует держаться плечом к плечу. Такая тактика дает еще и другое ощутимое преимущество. Отказываясь признать, что гитлеровские преступления выражают целую государственную систему (а это единственный способ правильно их осмыслить), можно видеть в них лишь отдельные случаи, в коих повинны лишь несколько извращенных личностей. В таком случае система может быть частично спасена. Генералы, чиновники, финансисты, священники могут быть объявлены честными людьми и безупречными патриотами, которые верили, что трудятся на благо Германии, и не знали о преступлениях. Именно в таком плане и действовало с момента своего рождения боннское государство. Его представители предпочли обрушиться на людей подначальных, ва

«физических» убийц, а не на правящий класс. Преследовать подначальных очень выгодно: отыгравшись на козлах отпущения, господствующий класс сумел устоять без большого ущерба, провозглашая при этом свою невиновность в прошлом и демократические убеждения в настоящем. Поскольку ужасы нацизма не рассматриваются как следствие государственной и экономической системы и как практический результат коллективной деятельности административных органов, на процессе об Освенциме особое внимание было обращено на обвиняемых, работавших «у рампы» — там, куда пригоняли жертв газовых камер. Сосредоточив интерес на этом пункте, забывают все остальное, то есть бюрократический, технический и экономический аппарат, необходимый для того, чтобы перевезти миллионы людей, убить их газом, заставить их работать и использовать украденное у них имущество. Сводить нацистские преступления к службе «у рампы», к пыткам, к ужасам, вершившимся несколькими особо гнусными личностями,— значит заниматься мистификацией. Третий рейх характеризует прежде всего не это, а организация преступлений в масштабах всего государства, введение их в практику бюрократического аппарата, выполнение их в порядке административного «приказа», их экономическая эксплуатация. И тот, кто действительно хочет раскрыть правду, должен обнажить именно этот солидный каркас преступления, его социологические опоры.

Но боннская Германия никогда этого не хотела. Она предпочитала замаскировать основу и переложить ответственность на нескольких подчиненных. Те, кто работал в аппарате смерти, неприкосновенны. Они во многих случаях на государственной службе или в руководстве экономикой и сделали блестящую карьеру, как господин Крюгер, который из гитлеровского судьи, ответственного за многочисленные смертные приговоры в Польше, превратился в аденауэровского министра. Изображая нацистские преступления делом нескольких садистов, государственная система смогла укрепить свои главные силы путем устранения наиболее скомпрометированных лиц и замены свастики республиканским знаменем. Бюрократическая машина была спасена в качестве аппарата управления буржуазного общества, который остался нетронутым.

Бесспорно, что возмездие несравненно меньше коснулось высокопоставленных лиц, чем мелких убийц; но надо прибавить, что и эти последние по большей части не преследуются: «Как общее правило, против низших чинов зондеркоманд или охраны лагерей уничтожения не выдвигается никаких обвинений... ибо нельзя не признать, что эти простые люди боялись за свою жизнь, в случае если бы они отказались выполнить приказ об убийстве». В действительности — как было неоднократно установлено в ходе судебных процессов — тех, кто отказался убивать по приказу, не постигло никакое наказание. Кровавая работа, как правило, выполнялась добровольно, убийцы не подвергались опасностям войны и сверх того пользовались другими существенными преимуществами: «Зондеркоманды не посылались на фронт. Каждые три месяца они получали отпуск и могли съездить домой. Их жалованье было по крайней мере в три раза выше жалованья обычного солдата, им выдавался специальный «паек» спиртного». Опасность, которой будто бы подвергался солдат, оказавший неповиновение приказу,— это тот миф, к коему особенно охотно прибегали в прошлом убийцы, чтобы объяснить свое положение и как-то оправдаться.

Вот почему по делу лагеря Освенцим оказалось только двадцать обвиняемых, тогда как персонал лагеря насчитывал пять тысяч эсэсовцев. Причем остается тайной, чем руководствовались судебные органы при отборе этих двадцати.

Можно лишь разделить тревогу генерала Дж. Рейтлингера, который пишет: «Нельзя избавиться от тягостной мысли, что тот самый человек, который с сигаретой во рту и автоматом в руках сидел, свесив ноги в ров, наполненный мертвецами, сегодня с полной безмятежностью занимается своей гражданской профессией и власти его не беспокоят».

К примеру, на процессе по делу Освенцима фигурировал врач-эсэсовец, который практикует и поныне, точно так же как и профессор Катель (участник так называемых «безболезненных убийств»), и множество его коллег. Известны случаи, когда бывшие эсэсовцы из Освенцима и Бухенвальда преподают в школах. Тот факт, что они принадлежали к кадрам убийц, нимало их не дисквалифицирует. После 1945 года блестящую карьеру врача, судьи, учителя, промышленника и т. д. можно было построить без большого труда. Бютефиш, директор завода «И. Г. Фарбен» в Освенциме, снова занимает пост директора в химической промышленности. Несмотря на то что этот господин был приговорен союзническим трибуналом к шести годам тюрьмы, в самый момент открытия процесса по делу Освенцима он был награжден высшим орденом Федеральной Республики. Правда, вскоре ему пришлось вернуть орден, ибо вся история вызвала слишком большой шум, но значение самого факта от этого не меняется. В связи с этим делом выяснилось, что приговоры союзнических трибуналов не занесены в немецкие досье — практически решения союзников не имеют законной силы. Некий Йене, привлеченный к суду вместе с Бютефишем и приговоренный к полутора годам заключения за «разграбление чужой собственности в оккупированных районах», получил такой же орден. Скандал прошел незамеченным, и почтенный господин смог сохранить свою награду. Другие члены дирекции «И. Г. Фарбен», еще больше скомпрометированные сотрудничеством с эсэсовцами, такие как

Отто Амброз и Вальтер Дюрфельд, сейчас опять занимают командные посты в тяжелой индустрии.

Решение боннского правительства не должно нас удивлять, но надо всемерно разоблачать попытки выдавать себя при этом за безупречных борцов против фашизма. Действительность показывает совсем обратное. С самого начала боннское государство было, так сказать, помазано на царствование массовым освобождением осужденных нацистов. Это был драгоценный подарок западных держав, которого, как всем было известно, ожидали с нетерпением. С тех пор Бонн неутомимо старался выпустить как можно больше военных преступников. Во многих случаях это удавалось, например, в случае с д'Обергом и Кнохеном, начальниками гестапо во Франции. Климат «холодной войны» весьма облегчил эти операции. Вполне понятно, что Западная Германия хочет увенчать успехом свои усилия положить конец официальным преследованиям военных преступников, но нельзя допускать, чтобы это решение прикрывалось клятвами в верности идеям антинацизма.

Перед лицом попыток боннского правительства разыгрывать гуманного судию нельзя не вспомнить факты, сообщаемые Дж. Рейтлингером: «Все партии, за исключением коммунистов, одобрили 14 ноября 1950 года в бундестаге интерпеляцию, требующую приостановления всех процедур по выдаче преступников (нацистов) союзникам. Когда депутат, защищавший проект, напомнил, что правительство Вюртемберга-Бадена отказалось содействовать арестам, зал разразился продолжительными аплодисментами, и они усилились, когда оратор добавил: «Тот, кто выдан Польше, идет к виселице». Вместо того чтобы отправлять палачей на виселицу, им во имя права и христианского милосердия предоставляют должности и пенсии. Эта установка никогда не менялась. Можно назвать ее как угодно, но только не антинацизмом. Именно против этого злоупотребления именем антинацизма надо протестовать со всей возможной энергией. В связи с дебатами о сроке давности позиция Бонна по отношению к военным преступникам должна быть подвергнута суровому осуждению.

АЛЕКСАНДР КЛЮГЕ

ОПИСАНИЕ ОДНОЙ БИТВЫ

Перевод с немецкого Н. ВЕТЛОВА под редакцией И. КАРИНЦЕВОЙ

О КНИГЕ АЛЕКСАНДРА КЛЮГЕ

Когда в Сталинграде сдался в плен последний солдат армии Паулюса, автору книги «Описание одной битвы» Александру Клюге не исполнилось еще одиннадцати лет.

Я не знаю подробностей биографии этого молодого немецкого писателя и кинорежиссера. Знаю, что он живет в Западной Германии в Ульме. Знаю, что он работает там руководителем кафедры кино в Высшей школе художественного конструирования. Знаю, что он имеет юридическое образование.

Догадываюсь, что, как и на большинство людей его поколения, вторая мировая война наложила на него свой отпечаток, несмотря на то, что, когда она началась, ему было семь лет. Дети не участвовали в войне, но они жили и умирали во время нее. Они приняли на себя и часть ее испытаний, и весь груз ее последствий. Не говоря уже о том, что раны сиротства надо относить к тяжелым ранениям с длительными последствиями.

Я напомнил об этом потому, что мне вовсе не кажется странным, когда люди этого поколения — дети военного времени — начинают с пристрастием, заново допрашивать прошлое. Они хотят знать, как все это было на самом деле, и это не только их право, но, в сущности, их обязанность, поскольку, чем дальше идет время, тем больше ответственности за настоящее и будущее ложится на плечи этих детей войны.

Как мне кажется, книга Александра Клюге одна из тех, которые продиктованы не только желанием разобраться в прошлом, но и стремлением помешать в будущем повторению этого прошлого.

Клюге взял эпиграфом к своей книге слова Поля Валери: «И будущее, к сожалению, уже не то, каким оно когда-то было».

Я лично воспринимаю выбор этого эпиграфа как едкую иронию автора книги по отношению к людям, мечтающим о возрождении мощи германского милитаризма.

Мне кажется, что главный пафос этой очень строго и сдержанно написанной книги «об известной катастрофе в Сталинграде» состоит в том, что «катастрофы» такого рода не должны повторяться.

Мы тоже так думаем. Хотя эта катастрофа, «несчастье», как называет его Клюге, в тот исторический момент, когда оно произошло, для нас было счастьем. И ничем иным не было и не могло быть для нас, людей, видевших в сталинградской трагедии армии Паулюса начало конца фашистской империи Гитлера.

О причинах «несчастья» в Сталинграде написано много трудов, принадлежащих перу немецких генералов. Среди тех, что я читал, мне лично наиболее правдивыми показались воспоминания Паулюса, а наиболее лживыми — воспоминания фон Манштейна.

Во всех этих трудах, в меньших или больших масштабах, неизменно рассматривается один и тот же вопрос — о причинах «несчастья», о том, могло ли оно не произойти, и кто и в какой мере виноват в том, что оно все-таки произошло?

Клюге тоже рассматривает в своей книге эти причины «несчастья», уже многократно изложенные в сочинениях немецких генералов. У Клюге мы тоже найдем различные свидетельства, документы и рассуждения о том, до какого дня Паулюс мог вырваться из котла и после какого дня не мог; сделал ли Манштейн все, что от него зависело, чтобы спасти армию Паулюса, или только делал вид, что делает это; почему уперся Гитлер, не разрешавший осуществить прорыв из сталинградского котла, и что было бы, если бы он не уперся?

Клюге излагает все эти причины и следствия, бесспорные и спорные, действительные и мнимые. Но автора все-таки больше всего интересует не эта поверхность проблемы, не это внешнее, клокочущее взаимными обвинениями извержение событий, а его глубинные причины.

Не случайно в кратком предуведомлении к своей книге Клюге пишет, что «причины катастрофы зародились, может быть, тридцать дней, а может быть, и триста лет назад».

Он задает куда более глубокий вопрос, чем вопрос о том, какого именно числа Паулюс должен был начать прорываться, чтобы не оказаться в плену. Как мне представляется, для Клюге катастрофа, «несчастье» в Сталинграде — это лишь наиболее очевидный символ краха векового прусско-германско-фашистского милитаризма. Символ краха немецкой военщины, ее давно и прочно сложившихся завоевательских концепций, для которых фашизм на какой-то период оказался всего лишь наиболее удобной политической упаковкой.

На вопрос, почему в Сталинграде закончила свое существование 6-я немецкая армия и почему она потом, будучи заново символически сформирована, закончила свое существование во второй раз на полях других сражений, Клюге своей книгой дает куда более широкий и принципиальный ответ, чем тот, который коллективно пытаются дать многочисленные генералы вермахта, вот уже двадцатый год публично выясняющие свои отношения с Гитлером.

Книга Клюге говорит о том, что, несмотря на всю свою внешнюю собранность и силу, милитаризм — это идеология гниения и нравственного саморазрушения. Пытаясь стать господствующей идеологией нации и хотя бы временно начиная преуспевать в этом, он тем самым ставит нацию на грань самоубийства. Сначала, пока убивают главным образом людей других наций, это не так заметно, но потом это скольжение по наклонной плоскости к национальному самоубийству делается все очевиднее и очевиднее, превращаясь из опасности в реальность.

Этот вывод и есть то самое главное ощущение, которое я вынес, прочитав книгу Александра Клюге.

Читая книгу Клюге, я невольно задумался над одним важным обстоятельством, которое мы порой упускаем из виду. Вторая мировая война приучила нас считать почти синонимами германский милитаризм и германский фашизм. Эта привычка воз-

никла естественно, сама собой, но сейчас в ней есть своя опасная сторона. Милитаризм легко открещивается от своих старых политических оболочек, которые в свое время были удобны, а потом стали компрометирующими. И говоря сейчас о попытках возрождения в Западной Германии германского милитаризма, думается, главную опасность этого следует связывать отнюдь не с теми людьми, которые впрямую стремятся реабилитировать нацизм. Это люди без серьезных перспектив на успех. На мой взгляд, гораздо большую опасность представляют те милитаристы, которые, публично и старательно отряхнув со своих ног прах фашизма, одновременно стремятся возродить те идеалы германского милитаризма, которые являются, так сказать, исконными, историческими, рожденными в гораздо более удобный для воспоминаний и менее скомпрометированный в сознании человечества предфашистский период.

Думаю, что большинство немецких генералов, так страстно и так долго открещивающихся от Гитлера, делают это не во имя того, чтобы стать в ряды сторонников мира. Они делают это, чтобы освободить новый, возрожденный вермахт от старых неприятных ассоциаций. Они хотят перекинуть мост через физический и политический труп Гитлера прямо в «классический» период идей и замыслов германского генерального штаба, в период, который находится вне подозрений в фашизме, но вполне подходит для того, чтобы на его базе заново решать силой оружия и проблемы пересмотра границ, и проблемы расширения «жизненного пространства».

Я не собираюсь приписывать все высказанные мною здесь мысли Александру Клюге. Но именно его книга навела меня на них.

Мне остается сказать, что «Описание одной битвы» — это книга, при всей своей внешней сдержанности и даже ироничности, полная любви к своему народу и сочувствия к его страданиям и жертвам. Клюге адресует свою иронию, доходящую до сарказма, беспощадной и бесчеловечной военной системе германского милитаризма, первым похоронным колоколом которой был Сталинград. И в то же время, рассказывая языком документов и фактов страшную по своей конечной бессмыслице историю сталинградского котла, он дает представление о той мере стойкости, которая требовалась от заведомо обреченных рядовых участников этой трагедии для того, чтобы она продолжалась так долго, даже когда сопротивление казалось уже невозможным.

Клюге жалеет и не может не жалеть этих рядовых участников трагедии, трагизм положения которых тем острее, чем бессмысленнее их жертвы. И сама стойкость этих людей, за шаг до гибели, становится в книге как бы дополнительным обвинением, брошенным в лицо безликой и одновременно многоликой — от Гинденбурга до Гитлера и от Бломберга до Хойзингера,— беспощадной и самоубийственной машине германского милитаризма.

Я несколько раз употребил слово «самоубийство». При этом следует, однако, подчеркнуть, что война против Советского Союза была первоначально задумана Гитлером и германским генеральным штабом отнюдь не как самоубийство, а как убийство.

И стала она самоубийством не в силу каких-то фатальных причин, а в силу того, что наш народ не позволил ни убить себя, ни сделать из себя раба. Отступив до Сталинграда, он через два с половиной года после этого дошел до имперской канцелярии Гитлера в Берлине и до штаб-квартиры германского генерального штаба в Цоссене. Дошел — и этим надолго поставил крест на завоевательных планах германского милитаризма. Надолго, но не навсегда. И книга «Описание одной битвы», как мне кажется, очень своевременно напоминает нам об этом. Бдительность в таких делах всегда своевременна. Она не исключает возможности возникновения войн, но, будучи вовремя проявлена, иногда способна их предупредить.

На мой взгляд, книга Александра Клюге необыкновенно интересна не только по своему содержанию, но и по своей форме. Метод использования самых разнообразных документальных материалов, который избрал автор, заставил меня еще раз задуматься над безграничными возможностями той современной документальной прозы, которая в последние годы завоевывает себе и у нас, и за рубежом все более широкие круги читателей.

Константин Симонов

И будущее, к сожалению, уже не то, каким оно когда-то было.

Поль Валери

В книге этой рассказывается о том, как была организована одна известная катастрофа. Речь идет о катастрофе под Ст. Причины ее зародились, может быть, тридцать дней, а может быть, и триста лет назад. Фамилии и географические названия, примелькавшиеся из-за частого упоминания, сокращены или изменены.

Александр Клюге

I. СВОДКИ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ *

Вторник, 10 ноября 1942 г.

В Ст. — действия штурмовых групп.

Среда, 11 ноября 1942 г.

В Ст. — оживленная деятельность штурмовых групп.

Четверг, 12 ноября 1942 г.

В Ст. ожесточенными атаками штурмовых групп противник выбит из многих кварталов и опорных пунктов. Полевая и зенитная артиллерия потопили на Волге пять больших катеров и барж. Авиация нанесла мощные удары по артиллерийским позициям и путям подвоза восточнее Волги.

Среда, 18 ноября 1942 г.

Без перемен.

Суббота, 21 ноября 1942 г.

Южнее Ст. и в Калмыцких степях крупные силы противника при поддержке танков перешли в наступление. Нашими войсками была уничтожена одна моторизованная часть противника. В низовьях Дона германские войска продолжают вести упорные оборонительные бои. Прорвавшийся через наши позиции усиленный кавалерийский полк был окружен и уничтожен.

Воскресенье, 22 ноября 1942 г.

В районе южнее Ст. и в большой излучине Дона продолжаются ожесточенные оборонительные бои. Наши войска в ходе контратаки захватили 600 пленных и уничтожили 25 танков. Кроме того, 20 и 21 ноября одной танковой дивизией было уничтожено 36 советских танков. Германская авиация поддерживала боевые действия наземных войск и, совершая непрерывные налеты на исходные позиции танковых частей, пехотных соединений, районы выгрузки и автоколонны, нанесла противнику большие потери. Штурмовые группы захватили в Ст. еще несколько мощных опорных пунктов и отбили на другом участке вклинившиеся советские части.

Понедельник, 23 ноября 1942 г.

В районе южнее Ст. и в большой излучине Дона германские соединения при поддержке крупных сил тактической авиации продолжают вести тяжелые оборонительные бои.

При временном улучшении погоды на центральном участке наши бомбардировщики совершали налеты на артиллерийские позиции и расположения войск противника.

Вторник, 24 ноября 1942 г.

Южнее Ст. и в большой излучине Дона советские войска, несмотря на большие потери в живой силе и технике, вклинились в нашу полосу обороны. Соответствующие контрмеры приняты. За последние два дня в ходе ожесточенных боев с переменным успехом было уничтожено несколько сот танков противника. Соединения германской авиации, несмотря на неблагоприятную погоду, беспрерывно поддерживали сухопутные войска. В самом Ст. велись только бои местного значения.

---

* В этой главе автор день за днем воспроизводит официальные сообщения германского главного командования со Сталинградского фронта с 10 ноября 1942 г. по 3 февраля 1943 года. Разумеется, они искажают действительный ход событий — более месяца, например, в сводках замалчивался факт окружения нашими войсками 22 гитлеровских дивизий. Как увидит читатель, содержание этих сводок убедительно опровергается в книге А. Клюге — опровергается документально, при всем том, что сама документация, к которой он обращается, естественно, требует к себе критического отношения советского читателя.

Среда, 25 ноября 1942 г.

Юго-западнее Ст. и в большой излучине Дона противник продолжал атаки крупными силами пехоты и танков. Эффективную поддержку нашим обороняющимся войскам оказывали крупные соединения тактической авиации.

Четверг, 26 ноября 1942 г.

В междуречье Волги и Дона, а также в большой излучине Дона противник продолжал наступление крупными силами пехоты и танков. В ожесточенных боях были отбиты все атаки. Противник снова потерял большое количество танков. В результате налетов нашей авиации советские войска понесли большие потери в живой силе, тяжелом оружии и различных транспортных средствах. Вчера в Ст. были отбиты все вражеские атаки.

Пятница, 27 ноября 1942 г.

Все атаки пехоты и танков противника в междуречье Волги и Дона были отбиты вчера нашими войсками благодаря их необычайно высокому боевому духу. Уничтожено 55 советских танков. Соединения пикирующих бомбардировщиков нанесли противнику сокрушительные удары. На Волге в районе Ст. потоплено два моторных судна.

Суббота, 28 ноября 1942 г.

В междуречье Волги и Дона, в большой излучине Дона и в Ст. в ходе ожесточенных боев были снова отбиты крупные атаки противника. Зенитная артиллерия и штурмовая авиация, эффективно поддерживая действия наземных войск, уничтожили 34 советских танка. По имеющимся данным противник потерял между Волгой и Доном за период с 20 по 27 ноября 319 танков. Кроме того, было повреждено 26 орудий и захвачено более 2 000 пленных.

Среда, 2 декабря 1942 г.

В междуречье Волги и Дона советские войска, понеся значительные потери, предпринимали более слабые атаки. В большой излучине Дона наступление противника было отбито нашей контратакой. Скоростные итальянские и тяжелые германские бомбардировщики наносили удары по войскам противника в среднем течении Дона.

Четверг, 3 декабря 1942 г.

Предпринятые вчера противником атаки крупными силами пехоты и танков между Волгой и Доном также разбились об упорное сопротивление германских войск. При поддержке авиации наши войска нанесли противнику огромные потери; подбито 60 танков.

Суббота, 5 декабря 1942 г.

В междуречье Волги и Дона 4 декабря советские войска вновь предпринимали безуспешные атаки, поддержанные крупными танковыми соединениями. 75 танков было уничтожено, 13 — подбито. Противнику нанесены также большие потери в живой силе и технике. Мощной атакой наших танковых войск были разгромлены танко-кавалерийские части противника; захвачено 2 000 пленных и 14 орудий. Итальянские разведгруппы добыли на Донском фронте важные сведения.

Среда, 9 декабря 1942 г.

Новые попытки советских войск прорвать наши позиции на Восточном Кавказе и в районе между Волгой и Доном вчера были отражены с большими для противника потерями. Захвачены пленные и трофеи. В результате контратак в большой излучине Дона наша мотопехота без потерь со своей стороны выбила противника с его позиций, подбито 46 советских танков.

Четверг, 10 декабря 1942 г.

В междуречье Волги и Дона были окружены и уничтожены прорвавшиеся части противника. На других участках советские войска в ходе безуспешных атак несут большие потери. Только на данном участке фронта за 8 и 9 декабря противник потерял 104 танка. Несмотря на упорное сопротивление, наши пехотные и танковые части отбросили противника в большой излучине Дона, отбили его контратаки и уничтожили 16 танков.

Понедельник, 14 декабря 1942 г.

В... районах южного участка фронта продолжались исключительно ожесточенные бои с крупными силами противника. Наши танковые соединения, двигавшиеся из района юго-западнее Ст., разгромили крупную вражескую группировку. Противник предпринял неудачные контратаки, потеряв при этом более 20 танков. В ходе проведенного за последние дни рейда по Калмыцким степям в тыл противника было захвачено большое количество пленных и значительно нарушены коммуникации противника.

Вторник, 22 декабря 1942 г.

В Ст. противник, предприняв атаку через Волгу, пытался закрепиться, но был отброшен в ожесточенном ближнем бою. Оборонительные бои в среднем течении Дона продолжаются с неослабевающей силой.

Пятница, 25 декабря 1942 г.

В течение вчерашнего дня наши героически сражающиеся войска, поддержанные вновь введенными соединениями, перешли на нескольких участках в районе Дона в контрнаступление. В ожесточенных боях они уничтожили моторизованные и танковые части противника, пытавшиеся прорваться в наш тыл через стыки во вновь организованной полосе обороны.

Вторник, 29 декабря 1942 г.

В междуречье Волги и Дона и в большой излучине Дона в ожесточенных оборонительных боях были отбиты новые атаки противника. Окруженная несколько дней назад вражеская группировка была уничтожена. С 24 декабря на данном участке нашими войсками при поддержке авиации было уничтожено или захвачено 65 танков, 30 орудий, большое количество тяжелого и легкого пехотного оружия и другая военная техника, а также захвачено большое число пленных. Потери противника убитыми превышают в несколько раз количество пленных. В оборонительных боях в большой излучине Дона особенно отличилась итальянская дивизия «Джулия».

Пятница, 1 января 1943 г.

В районе Терека, в Ст. и в большой излучине Дона противник, продолжая свои безуспешные атаки, понес большие потери; подбито 33 танка.

Воскресенье, 3 января 1943 г.

В районе Дона продолжаются тяжелые оборонительные бои. По всему фронту противник был отбит и потерял 38 танков. В боях особенно отличилась 6-я танковая дивизия.

Пятница, 8 января 1943 г.

В районе среднего течения Дона и северо-западнее Ст. наши войска продолжали вчера вести тяжелые, успешные оборонительные бои с крупными силами советских пехотных и танковых войск. На различных участках противник был отброшен контратаками и понес большие потери; уничтожено 32 танка.

Понедельник, 11 января 1943 г.

На Северном Кавказе, в районе Ст. и на Дону в тяжелых боях были отбиты многочисленные атаки превосходящих сил советской пехоты и танков с большими для них потерями. Крупные соединения нашей авиации поддерживали действия наземных войск. Пехотные и танковые силы контратакой разгромили несколько частей противника. Уничтожено и подбито 136 танков, из них только в районе Ст. 60. Истребительная авиация сбила 20 советских самолетов, потеряв только два.

Вторник, 12 января 1943 г.

В районе Ст. и на Дону противник продолжал наступление на прежних направлениях, введя в бой новые крупные силы. В ожесточенных боях, неоднократно переходя в контратаку, наши войска отбили противника, уничтожив 63 танка, из них только 45 в районе Ст. В ходе контратаки была окружена и уничтожена вражеская стрелковая дивизия и захвачено более 1 000 пленных. В большой излучине Дона один только германский танковый корпус подбил и уничтожил, начиная с 6 декабря 1942 г., 511 советских танков.

Суббота, 16 января 1943 г.

В районе Ст. наши войска, ведущие уже несколько недель героические оборонительные бои с наступающим со всех сторон противником, вчера также отбили атаки крупных соединений пехоты и танков, нанеся врагу серьезный урон. Командование и войска показали тем самым блестящий пример героизма германского солдата.

Среда, 20 января 1943 г.

Несмотря на огромные лишения, войска, обороняющиеся в Ст., прочно удерживали свои позиции, отбив все атаки противника.

Пятница, 22 января 1943 г.

Наша группировка в Ст., окруженная тесным кольцом противника и оказывающая ему упорное сопротивление, вчера продолжала вести тяжелые бои с превосходящими силами наступающих советских войск. Несмотря на героическое сопротивление, частям, обороняющим Сталинград, не удалось предотвратить прорыва с западного направления, что вынудило наши войска перенести свои позиции на несколько километров вглубь. Было уничтожено значительное количество советских танков. В большой излучине Дона и в его среднем течении по-прежнему продолжаются тяжелые бои с переменным успехом.

Воскресенье, 24 января 1943 г.

В Ст. обстановка усложнилась вследствие дальнейшего вклинения крупных сил противника с запада. Несмотря на это, наши войска по-прежнему стойко удерживают постепенно суживающееся кольцо обороны вокруг города, показывая тем самым блестящий пример героизма германского солдата. Своими доблестными действиями они сковывают крупные неприятельские силы и уже несколько месяцев подряд парализуют коммуникации противника на одном из важнейших участков.

Понедельник, 25 января 1943 г.

Героически и самоотверженно сражаясь с превосходящими силами противника в Ст., бессмертной славой покрыла свои знамена 6-я армия.

Вторник, 26 января 1943 г.

Войска, обороняющиеся в Ст., объединились на небольшом участке в южной и центральной частях городских руин. Под командованием своих генералов они продолжают оказывать героическое сопротивление, получая, несмотря на исключительно неблагоприятные летные условия, всемерную поддержку авиации.

Среда, 27 января 1943 г.

Боеспособные еще части 6-й армии прочно засели в руинах Ст. Мобилизовав все имеющиеся средства обороны, они отражают беспрерывные советские атаки с земли и с воздуха и тем самым сковывают силы нескольких советских армий. В ожесточенных боях разгромлена прорвавшаяся в город часть противника.

Четверг, 28 января 1943 г.

В Ст. войска продолжают оказывать противнику героическое сопротивление. Атаки советских войск в западном и южном секторах города захлебнулись.

Пятница, 29 января 1943 г.

В Ст. противник продолжает на южном участке ожесточенные атаки, которые сдерживаются нашими обороняющимися частями, несмотря на страшные лишения и многократное превосходство противника в силах.

Суббота, 30 января 1943 г.

В Ст. все по-прежнему. Мужество обороняющихся войск не сломлено.

Воскресенье, 31 января 1943 г.

В Ст. противник, подтянув со всех сторон свои войска к нашим оборонительным позициям, нанес концентрированный удар. Южная оперативная группа, героически сражающаяся под личным командованием генерал-фельдмаршала П.*, была зажата на небольшом участке в здании универмага и теперь оказывает последнее сопротивление. В северной части города обороняющиеся войска во главе с командиром 11-го армейского корпуса отбивают атаки противника на западном участке Тракторного завода.

Понедельник, 1 февраля 1943 г.

В Ст. южная группа 6-й армии под командованием генерал-фельдмаршала П. после более чем двухмесячной героической обороны под натиском превосходящих сил противника сложила оружие. Северная группа под командованием генерала пехоты Штр.** продолжает прочно удерживать свои позиции. Переходя в контратаки, она отражает натиск противника. На остальных участках великой оборонительной битвы на востоке с неослабевающим ожесточением продолжаются упорные бои.

Вторник, 2 февраля 1943 г.

В Ст. после мощной артиллерийской подготовки значительно превосходящие силы противника перешли в наступление на последний бастион обороняющихся войск — Тракторный завод. Ночью, после того, как наши героически сражающиеся части почти полностью израсходовали свои боеприпасы, врагу удалось на нескольких участках прорвать монолитную до того круговую оборону 11-го армейского корпуса.

Среда, 3 февраля 1943 г.

Сражение за Ст. окончено. 6-я армия под образцовым командованием генерал-фельдмаршала П. до последнего вздоха была верна своей присяге, однако неблагоприятное стечение обстоятельств и натиск превосходящих сил противника заставили ее сложить оружие. Еще не настало время анализировать ход операций, приведших к подобному развитию событий. Но одно уже можно сказать сегодня: жертвы 6-й армии были принесены не напрасно. Выполняя свою историческую миссию, она в течение нескольких месяцев сдерживала натиск шести советских армий. Окруженная плотным кольцом противника, испытывая небывалые лишения, она на протяжении последующих недель продолжала в тяжелых боях сковывать крупные силы врага, предоставив тем самым германскому командованию время и возможность принять контрмеры, от реализации которых зависела судьба всего Восточного фронта. Решая поставленную перед ней задачу, 6-я армия продержалась до тех пор, пока авиация, несмотря на героические усилия и огромные потери, оказалась не в состоянии обеспечить доставку по воздуху необходимых грузов, а возможность прийти на выручку окруженным войскам, постепенно уменьшаясь, не исчезла вовсе. Гордо были отвергнуты два предложения противника о сдаче. Знамя со свастикой, поднятое на одну из самых высоких руин Ст., развевалось над полем последней битвы. До последнего патрона сражались плечом к плечу генералы, офицеры, унтер-офицеры и рядовые. Они погибли, чтобы жила Германия. Несмотря на лживые измышления большевистской пропаганды, их пример будет жить в веках. В настоящее время дивизии 6-й армии возрождаются.

---

* П. — Паулюс.
** Штр. — Штрекер.

II. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРЕССЫ

(Ежедневный инструктаж имперского руководителя печати)

Понедельник, 23 ноября 1942 г.

№ 302/42

В порядке информации:

а) Ни в коем случае не следует упоминать в газетных заголовках сообщение из сегодняшней сводки главного командования вооруженных сил о тяжелых оборонительных боях в районе Ст.

б) День рождения Франко...

в) Пока что в газетах не следует публиковать сообщения из-за границы, содержащие письма немецких военнопленных из Советской России, ждать установок на этот счет.

Вторник, 24 ноября 1942 г.

№ 303/42

1. ...Антикоминтерновский пакт...
2. Комментарий обстановки в районе южнее Ст. и в большой излучине Дона, пока не станет ясен исход операций, следует ограничить указанием на тяжесть оборонительных боев.
3. В порядке информации:

   а) Содержащиеся в сводке главного командования сведения о тяжелых оборонительных боях на Востоке в прессе подробно не освещать, однако информацию можно снабдить заголовками на две колонки.

   б) По этому поводу напоминаем директиву, запрещающую давать сообщения о новом зимнем обмундировании для наших солдат на Восточном фронте. Нельзя также перепечатывать статью из журнала «Наши сухопутные войска» от 24 ноября о новом зимнем снаряжении.

Четверг, 26 ноября 1942 г.

№ 305/42.

Сообщение о тяжелых оборонительных боях на Востоке давать, как и раньше, под заголовками на две колонки.

Суббота, 5 декабря 1942 г.

№ 313/42

Военная обстановка на Востоке характеризуется существенными успехами, достигнутыми нашими войсками в ходе тяжелых оборонительных боев. Однако принятого до сих пор сдержанного тона изложения обстановки на всех фронтах не следует менять.

Среда, 9 декабря 1942 г.

№ 316/42

1. Сообщение об успешных наступательных боях на центральном участке Восточного фронта, содержащееся в сводке главного командования, заслуживает быть особо выделенным.

   Разъяснения:

2. Внимание газет обращается на то, что под понятием «выделить» не следует подразумевать широкого освещения; на первых полосах давать только сообщения об успешных наступательных боях на центральном участке Восточного фронта, содержащиеся в сводке главного командования.

Пятница, 11 декабря 1942 г.

№ 318/42

Специального выделения заслуживает сообщение об успешных оборонительных боях на Восточном фронте, приведших к окружению вражеской группировки на центральном участке фронта и к уничтожению 1662 советских танков.

Вторник, 22 декабря 1942 г.

№ 328/42

О продолжающихся тяжелых оборонительных боях между Волгой и Доном сообщать в соответствии со сводкой главного командования. При этом следует подчеркнуть тяжелые потери большевиков, особенно в танках.

(В последующие дни не было никаких прямых или косвенных упоминаний о Ст.)

Вторник, 5 января 1943 г.

№ 5/43

Целесообразно выдвинуть снова на передний план сообщения о тяжелых оборонительных боях на различных участках Восточного фронта.

Пятница, 22 января 1943 г.

№ 21/43

1. В предстоящих воскресных выпусках следует, обращаясь к читателям, указать на серьезность боев на Восточном фронте и на необходимость решительного повышения производительности труда в тылу, а также со всей убедительностью показать, что война требует от всех огромного напряжения сил для достижения победы.
2. В порядке информации:
   Используйте регулярно пропагандистские лозунги, как например:
   «Победа или большевизм!»
   «Тотальная война — это мобилизация всего народа!»
   «Только твердая воля побеждает судьбу!»
   «Тотальная война — все силы для победы!»

Суббота, 23 января 1943 г.

№ 21/43 (дополнение)

1. В связи с предстоящим введением трудовой повинности для женщин и другими организационными мероприятиями по ведению тотальной войны, показать, что великие жертвы во имя германской нации, героически приносимые окруженными в Ст. германскими войсками, станут моральным стимулом, который приведет весь немецкий народ к истинно героическим деяниям, еще более укрепляя его волю к победе и к напряжению всех сил. При этом на долю немецкой прессы выпадает особая публицистическая задача. Страстным описанием беспримерной самоотверженности героев Ст. побудить всех до единого соотечественников вступить в ряды Великого фронта борьбы, а также закалить нашу волю к победе. Руководству редакций следует подготовиться к этим серьезным мероприятиям, которые продлятся по 30 января включительно, с тем, чтобы, получив ожидаемые воззвания и сводки, обеспечить необходимые эффективные материалы.
   В редакционных статьях воскресных выпусков следует подчеркнуть, что немецкий народ всеми своими помыслами с героическими бойцами в Ст.
2. Разъяснение к пункту 1:
   Пункт 1 инструктажа за исключением последнего абзаца дается только для информации. Категорически запрещается помещать какие-либо сообщения о введении трудовой повинности для женщин и о других организационных мероприятиях до получения официальных данных.

Воскресенье, 24 января 1943 г.

№ 22/43.

В порядке информации:
Достойным образом продолжать освещать героический эпос Ст.

Дата неразборчива.

№ 24/43

По-прежнему на первом плане — героическая борьба в Ст.

Четверг, 28 января 1943 г.

№ 26/43

1. На первых полосах утренних газет в пятницу дать сообщение о введении трудовой повинности для мужчин и женщин. На прессу возлагается при этом задача убедительно разъяснить и всемерно подчеркнуть национальное и военное значение этого мероприятия, проводимого для тотальной мобилизации. На отчаянный большевистский натиск на Востоке весь немецкий народ отвечает решительными действиями, которые обеспечат ему и впредь превосходство над врагами. Как в заголовках, так и в самом изложении следует особенно подчеркнуть, что речь идет об обязательствах перед нашими героическими солдатами.
2. По-прежнему уделять достойное внимание тяжелым боям на Восточном фронте. Для более наглядного описания продолжающейся героической битвы в Ст. следует прежде всего использовать наиболее интересные отклики из европейской прессы.

Пятница, 29 января 1943 г.

№ 27/43

1. Все газеты 30 января 1943 г. выпустить под лозунгом исключительной решимости и твердой уверенности в победе, подав его как яркий, захватывающий призыв ко всем нашим соотечественникам.
2. Речь рейхсмаршала, которая будет произнесена, вероятно, 30 января, следует печатать только по тексту германского информбюро; отклики — отовсюду.

Суббота, 30 января 1943 г.

№ 28/43 (1-е дополнение).
Так как поступление текста речи рейхсмаршала, обращенной к вооруженным силам, ожидается несколько позже, просьба пока что публиковать достойные отклики с косвенным изложением содержания речи.

№ 28/43 (2-е дополнение).

В порядке информации:

а) Газетам рекомендуется наилучшим образом подать сообщение о присвоении защитникам Ст.— генерал-полковнику П. звания генерал-фельдмаршала, а генералу артиллерии Гейтцу — звания генерал-полковника; сообщение германского информбюро подкрепить биографическими данными и фотоснимками.

б) При перепечатке откликов иностранной прессы о Ст. выделять все то, что свидетельствует о героизме, стойкости и солдатской дружбе. Было бы неправильным давать формулировки, подобно следующей: «Герои Ст., стоящие насмерть, отдают свои жизни».

в) Учитывая обстановку в Ст., спортивный раздел всех газет в понедельник необходимо отнести на задний план. Спортивные сообщения снабдить только деловыми заголовками.

Понедельник, 1 февраля 1943 г.

№ 29/43

1. О героической гибели южной группировки в Ст. сообщить только по получении текста сводки главного командования. Достойно излагая это событие, следует иметь в виду, что более крупная группировка в северной части города продолжает оказывать героическое сопротивление.

Вторник, 2 февраля 1943 г.

№ 30/43

Достойным образом освещать обострившуюся обстановку в Ст.

Среда, 3 февраля 1943 г.

№ 31/43

1. Героическая битва за Ст. окончена. Многодневным трауром весь немецкий народ почтит память своих сыновей, сражавшихся до последнего вздоха и последнего патрона; они выполнили свой долг, разбив основные силы большевистских войск на Восточном фронте. Героическая битва за Ст. станет отныне величайшим эпосом немецкой истории. Тем самым перед немецкой прессой поставлена одна из ответственнейших публицистических задач. На основании и в духе ожидаемого сегодня специального сообщения главного командования немецкая пресса должна изобразить это волнующее событие, затмевающее величайшие героические сражения мировой истории, и окружить этот возвышенный, благородный пример мужества и готовности к самопожертвованию во имя победы немецкого народа священным ореолом героизма. Пример самоотверженности солдат, сражавшихся в Ст., еще больше укрепит дух и силы немецкого народа, его волю к победе, добиваться которой он будет с еще более непреклонной решимостью.

2. Разъяснение к пункту 1.

Объявленный трехдневный траур в связи со специальным сообщением об окончании героической битвы за Ст. означает, что все увеселительные заведения на этот период должны быть закрыты, пресса же должна публиковать материалы, соответствующие этому героическому моменту. Упомянутое специальное сообщение следует подать как пример величайшего героизма, причем заголовки должны вытекать не столько из текста сообщения, сколько из самого духа излагаемого материала. Передовица, написанная по поводу специального сообщения, должна определить план изложения всего материала. При оформлении газет следует учесть следующее:

а) Газеты выходят без траурной рамки. На первой странице для подкрепления излагаемого материала можно поместить несколько иллюстраций героического содержания.

б) Весь номер должен быть построен в духе первой страницы. Это значит, что в течение трех дней следует помещать только серьезные материалы, без разделов спорта и юмора. Поскольку в течение этих дней будут публиковаться материалы героического звучания, желательно не допускать траурных нот; воспевать героизм наших солдат в Ст. следует, однако, в мужественном национал-социалистском стиле, без громких фраз и сентиментов. Раны, которые нанесла многим немецким семьям жертвенная гибель солдат, зарубцуются. Героическая же битва за Ст. переживет века. Задача немецкой прессы — достойно осветить это событие. Немецкие журналисты должны вписать новые строки в мировую историю и создать миф о Ст., который придаст силы грядущим поколениям немецкого народа и обяжет его на новые подвиги. Внимание газет обращается на то, что с военной точки зрения еще не настало время для анализа тактических и оперативных действий, приведших к подобной обстановке в Ст. Это распространяется и на передовые статьи.

Четверг, 4 февраля 1943 г.

№ 32/43

По-прежнему сообщать о героических жертвах солдат Ст. как о большом обязательстве германской нации и тем самым выражать мнение народа. Излагая это, пресса призвана выражать твердую уверенность в нашей победе.

Пятница, 5 февраля 1943 г.

№ 33/43

К концу недели газеты снова будут заниматься обычной публицистической деятельностью, подчеркивая твердую решимость германской нации добиться победы. В передовых статьях, особенно воскресных выпусков, следует подвести итог героическим событиям предшествующих недель, на которые немецкий народ отвечает непреклонной решимостью продолжать войну. Именно пример борцов Ст., их солдатский героизм еще больше укрепят нашу твердую уверенность в победе и покажут, что Германия полна решимости развернуть новые силы.

Суббота, 6 февраля 1943 г.

№ 34/43

Итак, немецкая пресса заканчивает специальное освещение героических боев в Ст. признанием твердой решимости германского народа добиться победы.

Четверг, 11 февраля 1943 г.

№ 38/43

1. В настоящее время готовится к печати брошюра с официальным изложением хода боевых действий под Ст. До ее выхода в свет запрещаются всякие публикации на эту тему, если они содержат какую-либо новую информацию или подробности операции.
2. Разъяснение к пункту 1.

   Со стороны военных ведомств дается следующее указание: героическая битва под Ст. по своим психологическим и военным последствиям имеет такое принципиально важное значение, что освещать ее можно лишь в официальных сообщениях главного командования. Смысл и ход этого события должны быть разъяснены немецкому народу в брошюре, написанной на высоком публицистическом уровне. Поэтому все рассуждения, комментарии, различные передовые статьи, рассматривающие вопросы героических боев под Ст. или содержащие не опубликованные до сих пор подробности, временно печатать не следует.

   Исключение при этом составляют только сводки главного командования, а также информация, пропущенная цензурой главного командования после 8 февраля. Материалы о Ст., имеющиеся в настоящее время в редакциях или те, которые будут поступать в будущем, следует сдавать в управление прессы на местах. О планах издания вышеупомянутой брошюры не сообщать.

   (В последующих секретных информациях Ст. больше не упоминался.)

III. ДИРЕКТИВЫ ПО ВЕДЕНИЮ ВОЙНЫ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

(Из приложения № 2 к Уставу сухопутных войск)

Зимние условия.

Русская зима связана с продолжительными жестокими холодами (от —40°С до —50°С), часто перемежающимися оттепелью, снегопадами, буранами, туманом и плохой видимостью...

Защита от холода и снега.

Следует самым решительным образом предостеречь от употребления спиртных напитков для защиты от холода. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды кожи и создает впечатление согревания. Его следует выдавать только в тех случаях, когда предстоит длительное пребывание в теплом помещении. Те, кому приходится выходить из помещения на воздух (часовые), не должны получать алкоголя.

Обмундирование и снаряжение.

Для ведения боевых действий на Востоке и на Севере в зимних условиях солдаты получают положенное им дополнительное зимнее обмундирование из имеющейся в нашем распоряжении одежды. Кроме того, войскам необходимо по собственной инициативе предпринимать все возможное для наиболее целесообразного использования зимнего обмундирования и особенно дополнительных подручных средств для борьбы с холодом.

Вспомогательные мероприятия для защиты от холода:

...Внутрь каски положить фетровую подкладку — лучше всего верхнюю часть старой фетровой шляпы, в крайнем случае можно использовать носовой платок или газетную бумагу. Ремешок каски не затягивать, чтобы не нарушать кровообращения.

...Особенно чувствительны к морозу ноги. Чаще менять носки. Испытанным средством от обморожения являются стельки из соломы, ткани или бумаги, а также пучки соломы, нарезанные по размеру обуви, и обернутые вокруг ступни листы газеты (складки тщательно расправлять!).

...Мотоциклистам. Защищать грудь от встречного ветра прокладками из газет между рубахой и курткой. Обертывать колени для защиты от холода несколькими

слоями мягкой газетной бумаги, лучше всего между кальсонами и носками, достающими до колен, чем предотвращается соскальзывание бумаги...

...Газетная бумага, сложенная в несколько слоев, представляет собой прекрасную защиту от холода. Поэтому необходимо постоянно иметь при себе достаточный запас газет.

В качестве подручных средств защиты от холода войскам выделяются в достаточном количестве следующие предметы: бумажные колпаки, бумажные жилетки, бумажные кальсоны, бумажные портянки, бумажные спальные мешки, бумажные прокладки. Все указанные предметы носить между нижним бельем и верхним обмундированием.

IV. ЭХО БИТВЫ В ПРОПОВЕДЯХ СВЯЩЕННИКОВ

Проповедь, прочитанная священником Н.

Жертвы войны

Бог сказал: «Возьми сына единственного твоего, которого ты любишь (Исаака), и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение (на одной из гор, о которой я скажу тебе)». (Моис., 22.2).

В преддверии войны стоит колоссальный жертвенник. Неисчислимы дары, возлагаемые на него. Кто при этом не уповает на бога, тому полезно вспомнить о тех, кто больше страдал, и подумать над тем, как удалось им пережить свои страдания и не сломиться под их тяжестью. Священное писание знает достойных. Один из них — Авраам. Он должен был пожертвовать своим единственным сыном, которого любил.

1. Можно ли утверждать, однако, что Авраам страдал больше, чем те, кто получает сегодня печальные известия с поля брани: твой муж, твой жених, твой сын, твой брат погиб?! Да, Аврааму пришлось страдать больше.

Мы ДОЛЖНЫ были обнажить свой меч и освободить наших соотечественников из рук жестоких притеснителей. Сыны нашей отчизны ДОЛЖНЫ были идти в бой. Но там, где открываются врата войне, там прокладывается и дорога смерти. Так ДОЛЖНО быть. И в этой необходимости, несмотря на ее кровавую суровость, заключено нечто облегчающее.

Этого-то облегчения как раз и не было у Авраама.

Авраам САМ должен был принести в жертву Исаака; отец сам должен был наложить руку на сына. Сколь тягостное требование! Никому из нас господь не предлагал подобного. И, наконец: знал ли Авраам о том, что следует за смертью, знал ли он о воскресении из мертвых и вечной загробной жизни? Представления его об этом были столь же смутными, сколь попытка разглядеть в предрассветные сумерки долину, окутанную густым белесым туманом.

Насколько же легче нам! Мы знаем того, кто лишил смерть ее могущества. Мы знаем, как он в хижине Иаира, на кладбище в Вифании и у врат Наима вырвал из когтей смерти ее жертвы.

Не пытайтесь возражать, что Аврааму все-таки было легче, ибо господь избавил его в конце концов от свершения тягчайшей обязанности. Нет, это вовсе не так. Внешнее послушание было не самым трудным. В борьбе с самим собой принять послушное решение: «Да, я действительно хочу по велению господа принести в жертву сына своего» — вот что было самым трудным.

2. Но если ему действительно было труднее, чем тем, кто сегодня приносит войне свои жертвы, как же сумел он нести это бремя? Он получил эту несказанно тяжкую ношу из рук господа. Непоколебима была его уверенность, и он говорил себе: «Господь приказал мне принести эту жертву». И он молча повиновался.

Вот этому-то и следует нам учиться у Авраама. К кому бы ни пришла с театра войны горестная весть — тот, кого ты любишь, пал на поле боя,— крепись и думай: «Это господь мой призывает меня, настал мой час принести авраамову жертву».

Мы знаем, что ни один волос не падет с головы нашей без воли божьей, можно себе представить, что уж жизнь человеческая не станет достоянием смерти, если господь того не пожелает. Пожелай он того, то кто мы, чтобы осмелиться и сказать: нет, я не согласен?! Неужели послушание наше разобьется о первую заповедь «И возлюби господа твоего» (превыше всего)? Неужели позволим мы посрамить себя язычникам, принимавшим героическую смерть храбрых сынов своих с радостной покорностью, повторяя про себя: «Как сладостно и почетно умирать за отечество»?

Проповедь, прочитанная священником Л.

Бог — убежище наше и защита

Смиритесь, так взывает к нам наш псалом, он призывает нас в этот трудный час, когда во всем мире и в сердцах наших бушует неистовая свирепая буря! Смиритесь, братья мои, те, кому пришлось покинуть семью свою, и дом, и отчизну и нести тяжкую службу за народ и отечество. Смиритесь, сестры и братья мои, кому пришлось проводить на поле брани своих мужей, отцов и братьев, чьи сердца разрываются от боли, а очи рыдают. Смиритесь: горе ваше не более велико, чем наш Спаситель. Сми-

ритесь и не бойтесь, ибо с нами бог наш, спасший нас и воззвавший к нам. Мы в руке его и спокойны, что ни смерть и ни жизнь, ни ангел, ни князь и никакое насилие, ни настоящее и ни будущее, ни высокое, ни низкое и никакая другая тварь, ни бомбы и ни гранаты, ни заградительный огонь, ни ядовитые газы не в состоянии отлучить нас от любви бога, господа нашего Иисуса Христа. «Смиритесь и познайте, я есть бог ваш»,— говорит господь. И этот бог есть убежище наше. Господь наш — убежище наше. Сделаем отсюда в этот трудный час три вывода.

Средь неистовой мировой бури не испытаем страха и ужаса!

Средь бушующей бури народов бог — наш щит и оружие!

На войне и среди погибели бог — наша защита!

Первый наш вывод: среди неистовой мировой бури не испытываем страха и ужаса!

Мы и на самом деле не знаем, какие тяготы и ужасы, беды и страдания несет нам будущее. Кто из нас не вспоминал об ужасах 1914—1918 годов? Мы не знаем, какие раны и мучения уготованы нам. Мы знаем, правда, сколь сильна ныне Германия, не то что в 1914 году. Мы знаем, что у нас ныне совершенно иное вооружение и обширные запасы продовольствия, все у нас ныне совершенно иное, чем 25 лет назад. Мы знаем, что у нас сильное правительство, также совершенно иное, чем 25 лет назад. Все это мы знаем, и, однако, никто из нас не знает того, что нам предстоит. Мы сильны сейчас, как, быть может, ни один другой народ мира, и тем не менее мы знаем: мощь наша ничего не даст нам, и мы погибнем, если, да, если нам не поможет господь! Мы защищены мощным оружием, но кто даст нам гарантию, что все, кто ушел в поход, вернутся целыми и невредимыми, что те, кто ушел в поход, вообще все до одного вернутся? В самой жизни и на войне мы окружены смертью. Кого мы ищем, кто нам поможет, кто смилостивится над нами? Только один ты, господь! В 32-м псалме слово господне гласит: «Не спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око господне над боящимися его и уповающими на милость его. Это он душу их спасет от смерти...»

Мы не знаем, что нас ожидает, но мы, христиане, знаем одно — это является нашей твердой нерушимой верой, которую познали мы через нашего господа Иисуса Христа. Мы знаем: будь что будет, бог — убежище наше и защита.

Да, бог — убежище наше и защита. Поэтому смиритесь и узнайте: я есть бог ваш. Смиритесь, братья мои, смиритесь, родители и жены, невесты и сестры, и вверьте себя тому, кто есть бог ваш, а он — ваше убежище и защита. Ибо сказал пророк: «Смирение и надежда укрепят дух ваш».

V. КАК ЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ!

(В вопросах и ответах)

1-й офицер.

О. В начале декабря я еще находился в Берлине и, заканчивая там свою деятельность, имел возможность услышать о ст. котле из уст известного тогда эксперта. Этим известным экспертом был генерал-майор Шм. Информация состоялась 6 или 8 декабря. Генерал Шм. впервые сообщил нам о положении вещей и о некоторых подробностях котла и также изложил намерения германского главного командования по этому поводу.

В. Эта беседа состоялась в каком-нибудь центральном военном учреждении?

О. Нет, это был доклад о положении на фронте для слушателей офицерских курсов, на которых я тогда учился, и среди прочего был затронут воспрос о Ст. Точка зрения Шм. была довольно интересной. Он полагал, что имеются благоприятные исходные позиции для двустороннего охвата Ст. с юга и с севера с целью окружения готовящихся там к наступлению русских войск. Все это, как мы считаем, было вполне в рамках возможного. Интересовало нас его сообщение только потому, что Шм. был убежден, что дивизии, находящиеся в котле, смогут выдержать несколько месяцев, используя имеющиеся у них запасы. Но те из нас, кто сам участвовал в наступлении через Калмыцкие степи и в междуречье Волги и Дона, знали, как выглядят в действительности эти дивизии. И все же мы думали, что командование в Берлине узнает об истинном положении вещей, так как мы всегда питали к нему большое доверие.

В Харькове я просидел на аэродроме два дня. Как раз в это время войска противника вклинились на севере Донского фронта, на участке итальянской армии. Затем я полетел дальше в Р., а из Р. в Н. На аэродроме в Н. 4 января царила полная неразбериха. Зима, впрочем, была не очень-то суровой. Погода стояла мягкая, сырая. Мы, уже привыкшие к России, воспринимали события не очень трагично и думали, что все обойдется. В котел я вылетел на «хейнкеле-111», примостившись между хлебом и боеприпасами. Добраться к пулеметам вряд ли удалось бы, весь фюзеляж был забит, ведь приходилось использовать каждый квадратный сантиметр, чтобы взять больше груза.

В. Полет был групповой?

О. Нет, одиночный. Групповых тщательно избегали, вероятно, они были нецелесообразны. Каждая машина, как только была готова, немедленно стартовала.

В. А истребителей вы не видели?

О. Видел, но затем мы снова нырнули в плотные облака. Только когда подлетели к Ст. и стемнело, а облака рассеялись, мы увидели внизу линию фронта, обозначенную частично огнем пехоты, а частично сигнальными ракетами и огнем артиллерии. Весь котел, диаметр которого составлял в то время примерно 50 км, просматривался довольно ясно. Приземлились мы в абсолютной темноте. И сразу же вслед за приземлением на наши головы посыпались бомбы.

В. Это было в Басаргино?

О. Да, это был аэродром в Басаргино. Собственно, в Басаргино работа была организована нормально. Там имелись погрузочные команды, которые располагались на краю аэродрома. Абсолютно ни у кого не было никаких особых предчувствий или, боже упаси, каких-либо сомнений насчет благополучного исхода.

В. Итак, рассказы о том, что Гум.* был якобы усеян сбитыми машинами и что раненые не могли дождаться эвакуации, не соответствовали действительности. Такая обстановка создалась позже?

О. Да, в крайней форме это проявилось позже. Конечно, вокруг валялось несколько сбитых машин, их убирали. Раненые располагались частично в землянках, а частично в палатках, так что их тоже не было видно. Во время посадки никто не штурмовал самолеты. О своем прибытии каждый докладывал начальству, а пилот немедленно готовил машину к старту.

В. И это было после 4—5 января?

О. Я думаю, это было 4.

2-й офицер.

О. Я прибыл в дивизию, которая находилась неподалеку от аэродрома Б. на отдыхе. Дивизия, собственно говоря, давно уже была не дивизией, так как половина ее осталась за пределами котла вместе со всеми тылами. В котел попало лишь несколько подразделений танкового полка. Практически мы были, если можно так выразиться, полудивизией, и от этой полудивизии осталось всего две трети. А от этих двух третей танковый полк был представлен одной третью. Артиллерийский полк был в полном составе, но не мог быть использован по назначению. Все орудия вместе с тягачами были расставлены, как на учебном полигоне, ибо не было ни горючего, ни снарядов. Из двенадцати батарей удалось составить одну-единственную. Дивизия находилась в резерве и из штаба армии получила задание в ближайшие дни (6.1) сформировать так называемые «крепостные» батальоны. Задача состояла в том, чтобы объехать отдельные дивизии котла и выяснить, где еще сохранился основной костяк подразделения... Эти сколоченные заново батальоны наскоро обучали, насколько это было возможно в данной обстановке, чтобы люди хотя бы знали друг друга и имели представление, кто выполняет какие функции, а затем их передавали в распоряжение армии.

4-й офицер.

О. Вначале можно еще было удержать вклинивающиеся войска противника. Однако натиск их был такой, что, как мы полагали, долго он продолжаться не мог... Мой генерал и я получили задание выехать на юг, в дивизию генерала П. **, чтобы консультировать его как танкисты. Мы прибыли туда около шести часов вечера. Командир дивизии был человек пожилой. Но у него был бравый молодой подполковник. В землянке мы просидели без дела два часа, наблюдая, как эти два человека, имея в своем распоряжении всего один телефон и одного комбата где-то на переднем крае в степи, который передавал только сообщения о критических ситуациях, оперировали остатками своей дивизии. Причем не полками и не батальонами, а просто двумя отделениями — половиной взвода, одной противотанковой пушкой и одним штурмовым орудием. Но этот подполковник В., которого я и по сей день помню, обладал необыкновенной сообразительностью и спокойствием. На каждое донесение, которое поступало с переднего края и было одно мрачнее другого, он всегда немедленно находил ответ, подсказывал, как выйти из того или иного положения. За эти два часа, которые мы там провели, произошел разгром дивизии, всего в пяти или шести километрах от нас. Неожиданно прибыл резервный батальон, а вернее — один обер-лейтенант и сто пятьдесят рядовых. Обер-лейтенант доложил, что он прибыл с людьми для того, чтобы задержать надвигающуюся катастрофу. Генерал его радостно приветствовал, но тут же спросил: «Что с вами? Вы еле стоите?» На что обер-лейтенант ответил, что у него температура 39°, да еще ранение. «Ну, а где ваши люди?» — «Они здесь, среди них есть легко обмороженные и даже больные. Я был бы очень благодарен, если бы мы получили что-нибудь поесть, так как за последние два дня мы съели только по двести граммов хлеба. Прежде чем мы отправимся дальше, я просил бы накормить людей».

Им выдали немного продовольствия, и они ушли. Что с ними стало, я не знаю. Вероятно, их где-нибудь всех перебили. Мы же вернулись к себе.

---

* Гум.— Гумрак.

** П.— Пфейфер.

5-й офицер.

О. 13 или 14 января фронт приблизился к нашим позициям в деревне Д. Из штаба армии пришел приказ дальше не отступать, ведь все равно нет смысла. Нам было совершенно ясно, что на этом участке нас ждет конец. Первым делом мы заморозили все автомашины, залив в радиаторы воду. Из орудий мы вынули замки и тоже налили в стволы воду. Мы заливали воду куда только можно было. Затем мы покинули землянки. Потом, часов через 12 или 15, неожиданно пришел приказ, отменяющий ранее присланное распоряжение: дивизии отойти на противоположную сторону железнодорожной линии, где предполагалось занять оборонительный рубеж.

7-й офицер.

О. Все это время мы пытались любым способом вывезти из котла технических специалистов. Речь шла главным образом о танковых экипажах, автослесарях и личном составе мастерских. Мы понимали, что нецелесообразно бросать в бой с винтовкой в руках танковый экипаж, который уже сработался и в течение двух лет прошел через всю Европу.

8-й офицер.

О. Поздно вечером мы получили приказ сосредоточиться в центре города. В то время я был командиром дивизии, вернее, ее остатка, примерно из 250 человек. Точного места мне не указали, приказ гласил: «Сосредоточиться в центральной части Ст. и наладить связь со штабом армии». Получив указание, я выбрал на карте точку, которая бросилась мне в глаза,— это была Красная площадь*. Я подумал: вот чудесный прямоугольник, и расположен в центре, значит, туда и пойдем.

В. И сколько времени продолжался ваш поход?

О. Мы шли туда примерно 6—7 часов.

В. И что было там?

О. На Красной площади мы нашли два подвала, в которых смогли разместиться почти все, сколько нас еще оставалось. Это было важно, потому что мы стали по меньшей мере целым подразделением.

В. Штаб армии размещался в универмаге?

О. Да, напротив нас.

В. Что вы можете рассказать о нем?

О. Это большое угловое здание, и путь к нему был довольно опасным. От площади в сторону Волги и речки Царицы вели открытые улицы; эти улицы просматривались — поэтому Красная площадь находилась под обстрелом. Но там стояло несколько трамвайных вагонов и будок, можно было, пробежав 20 метров, укрыться на короткое время. И вот я побежал к зданию штаба армии. Вход в него был со двора, двор же был открыт с севера. Если я правильно припоминаю, там был пологий спуск для грузовиков. Он переходил в коридор, который вел дальше в длинный подвал. Почти в самом конце его была комната фельдмаршала фон П.

9-й офицер.

В. Говорят, что 30 января над городом состоялся воздушный парад?

О. Да, это было 30 января. В день десятой годовщины победы национал-социализма. Конечно, русским было бы очень важно именно в этот день овладеть Ст. В этот день, кажется, под вечер, но, может, это было и утром, над нами появилась армада самолетов. Стояла ясная, солнечная зимняя погода. Они появились над Красной площадью, над руинами, за которые мы еще цеплялись, и пролетели парадным строем. Число их точно я не могу назвать. Может, их было шестьдесят, восемьдесят, а может и сто. Пролетая на высоте примерно 500 метров, так, чтобы мы не могли достать их из своих винтовок, а ничего другого, кроме винтовок, у нас в то время уже не было, они даже не открыли своих бомбовых люков, а просто, как в мирное время, пролетели парадным строем раз или два над Красной площадью. Это произвело подавляющее впечатление на окруженные войска. Получилось так, что русские не считали даже необходимым использовать свои самолеты для каких-либо боевых действий, ради того, чтобы продемонстрировать свое превосходство в воздухе. Раскройся сейчас хотя бы один бомбовый люк и выпади оттуда хотя бы одна или две бомбы, мы бы по крайней мере видели, что еще что-то значим для противника.

10-й офицер.

О. На Волжском фронте, как и раньше, было абсолютно спокойно. Никаких попыток выйти из окружения мы не предпринимали, потому что на этот счет не было приказа.

В. А не известно ли вам об отдельных попытках выбраться из котла по льду?

О. Известно. В последние две ночи люди из моей дивизии делали такие попытки, но все они вернулись, так как кругом все было заминировано, и притом так густо, что выбраться было безнадежно.

В. Не знаете, удалось кому-нибудь все же?

О. О том, что кому-нибудь это удалось, я не знаю. Мне известны только попытки, которые кончились плачевно.

---

* По-видимому, автор имеет в виду площадь Павших борцов.

В. Они дошли до противоположного берега?

О. Нет, они погибли от мин, пройдя только треть пути. Мины лежали очень густо.

11-й офицер.

О. После того, как русские захлопнули котел, наша дивизия несколько дней оборонялась на южном участке, а затем была переброшена на запад и северо-запад в район населенных пунктов П. и Д. Заслуживает упоминания тот факт, что примерно с 7 января русские изменили свою наступательную тактику. Если в первые дни нам удавалось отразить русские танки с пехотой перед нашими позициями, то начиная с этого дня русские стали подавлять танками только отдельные гнезда сопротивления. Это происходило следующим образом: русские танки выходили из своих укрытий и с расстояния тридцати-сорока метров выпускали несколько снарядов по укрепленной точке, а сопровождающая пехота забрасывала ее гранатами и захватывала без особых усилий. Обычно уже после обстрела из танковых орудий гарнизон точки становился небоеспособным.

В. Сколько человек было в вашем окопе?

О. Обычно четверо или пятеро. Это был мой артиллерийский наблюдательный пункт.

В. А где же была ваша артиллерия?

О. Примерно в двух—двух с половиной километрах позади. Всякая связь с батареей к этому времени была потеряна, так как средства связи пришли в негодность. Но даже если бы у меня была связь с моим лейтенантом, это ничего бы не дало, так как он не имел права открывать огонь по моему распоряжению; для этого нужен был приказ командира полка. Из-за недостатка боеприпасов батарея могла сделать всего пять выстрелов в день. Эти пять выстрелов в этот день были уже произведены. Чтобы получить разрешение на дальнейшее ведение огня, необходимо было доложить командиру полка боевую обстановку, наличие боеприпасов на батарее, в данном случае на моей, и только после этого командир полка мог в зависимости от обстановки разрешить один, два, три выстрела.

12-й офицер.

О. 15 января мы двигались в восточном направлении, чтобы повернуть затем на юг, в сторону К. Вдруг где-то раздался выстрел, вероятно, из танка, по группе отходящих войск, которые не спасались бегством, а, видимо, только что закончили перегруппировку. Раздался возглас «русские танки», и вот отходившие в обычном походном порядке части превратились в беспорядочную массу, которая потекла на восток. При этом машины давили пехоту, а сами пехотинцы затевали безобразные драки.

13-й офицер.

В. Сколько у вас было всего орудий?

О. Четыре.

В. И все пропало? А что было дальше?

О. В эту ночь от моей батареи осталось только одно орудие. А именно, орудие лейтенанта Х. Позднее мне снова дали батарею, составленную из орудий, расчеты которых погибли.

В. Что же произошло с вашей батареей? Удалось вам попасть в Ст.?

О. Батарея, строго говоря, перестала существовать. Как только командиру удавалось захватить где-либо орудие, он говорил: одно или два орудия — это уже батарея.

На южном участке в районе К. мы снова получили орудия, но они попали в руки русских, так как мы их не смогли оттянуть назад. И начиная с этого момента, по-моему, это было уже 23 или 24 января, моя батарея перестала существовать. Если судить по личному составу, то она уже давно не существовала, потому что у меня не осталось почти ни одного человека. В виде пополнения я получал из других подразделений два-три, а то и четыре артиллериста. Часто я даже не знал этих людей в лицо. Лейтенант Х., который был непосредственно у орудий, тот, видимо, знал их. Мне же обычно докладывали: мы получили пятерых новеньких, мы снова можем стрелять. Лейтенант Х., например, докладывал мне: на каждое орудие у меня осталось по два-три человека. Расчет одного орудия составляет пять человек. Вот так и получилось, что батарея как таковая давно уже не существовала, а просто определенным образом возрождалась заново и существовала как совершенно новая боевая единица.

14-й офицер.

О. Мне поручили в кратчайшие сроки сделать из пекарей, мясников и всех тыловиков, кого я смогу собрать, солдат. Это было трудновато. Мороз достигал 30—35°, кругом снег. Большой землянки, в которой людям можно было что-то показать, у нас не было. Они лишь кое-как владели винтовкой. Я пытался найти более или менее образованных людей, чтобы обучить их стрельбе из пулеметов. Но чтобы стрелять из пулемета при тридцатипятиградусном морозе, нужно быть очень хорошо подготовленным.

17-й офицер.

О. На следующее утро обстановка немного стабилизировалась; пожалуй, это даже сильно сказано. Просто нам удалось кое-как приспособить для обороны несколько домов. К этому времени от моего подразделения практически уже не осталось никого, мне нечем было удерживать людей, так как продовольствие кончилось.

В. Люди разбегались просто по другим подразделениям?

О. Да, они убегали в другие подразделения, где еще имелись запасы.

1-й солдат.

О. Я был в дивизионном саперном подразделении. Нас, дивизионных саперов, раздали поротно полкам для оказания технической помощи — ставить мины и укреплять местность. Нас снабдили прежде всего огнеметами.

В. У вас были огнеметы? Снабжали вас ими регулярно?

О. Да, ими нас снабжали регулярно. В каждом взводе было обучено три-четыре огнеметчика, и мы умели пользоваться огнеметами с самого начала еще во Франции, когда мы были в 296-й, а потом — в 305-й пехотной дивизии. Владение огнеметом входило в обычную саперную подготовку, так же как переправа на штурмовых лодках, обслуживание компрессоров и минирование.

В. Использовались ли огнеметы в Ст.? Не могли бы вы назвать отдельные места, где они применялись?

О. Точно я не знаю, в ноябре были позиционные бои.

В. А между домами?

О. И между домами и вдоль улиц.

В. Известно ли вам, что в конце октября или в начале ноября в Ст. были специально доставлены на самолетах саперы?

О. До тех пор, пока авиация была в состоянии обеспечивать доставку, мы один раз получили пополнение.

2-й солдат.

В. Кем вы были?

О. Обер-ефрейтором, а по должности ротным писарем. В бою выполнял должность связного.

В. Значит, вы многое видели.

О. Перейдя Дон, мы действовали на северной отсечной позиции, обеспечивая северный фланг 40-километрового участка шоссе, ведущего от Дона на Ст. Пробыли мы там примерно 14 дней. После этого поступили в распоряжение командования, нас перебросили в северную часть Ст., и мы расположились в балке в районе В. Это было еще на Дону.

Войска начали занимать исходное положение около Гор. 10 октября. 14 октября было предпринято крупное наступление на северный район Ст. Уже в первый день мы понесли довольно большие потери и в ходе боев продвинулись до Волги к Белым Домам. Здесь для нас были отрыты ходы сообщения, по которым мы могли скрытно передвигаться. После того, как был взят «Красный Октябрь», начались затяжные позиционные бои до самой Волги. Волга уже замерзла.

В. Она уже в октябре замерзла?

О. Нет, в декабре*.

3-й солдат.

О. Это были молодые ребята. Могу сказать, что для нашей роты было выделено примерно 12—15 человек, а для всего батальона, мне кажется, примерно 30—40 человек. Они были доставлены в Ст. по воздуху просто как пополнение, без оружия. Прилетел даже один офицер, только что окончивший училище, но он погиб уже через два дня. Они прибыли без техники и без оружия. Оснащать их пришлось нам. Конечно, жаль, что у них не было боевого опыта. Дней через восемь вообще невозможно было утверждать, что кто-либо из них еще уцелел.

4-й солдат.

О. Моя задача состояла в первую очередь в регистрации мертвых и раненых. Я вынужден был это делать потому, что обязан был ежедневно докладывать о нашем численном составе и о потерях мертвыми, ранеными и пропавшими без вести.

В. Но днем вы, вероятно, не могли выходить?

О. Да, мост находился постоянно под обстрелом.

В. Это был временный мост, сооруженный саперами?

О. Да, русская артиллерия вела по нему беспрерывный огонь. Два или три раза мне удалось проскочить. Ранило меня позже, в самом Ст., когда я находился уже у Белых Домов. Рапорт о боевом снаряжении и численном составе я должен был доставлять к 6 или 7 часам вечера на командный пункт батальона и при этом сдавать собранные личные опознавательные знаки. Эти знаки отправлялись воздушной почтой в центральные военно-учетные органы вермахта. Так было до начала декабря, но потом

---

* Волга замерзла 8 января, а в декабре был ледостав. *(Прим. автора.)*

всякий централизованный учет потерь стал вообще невозможен. И тем не менее я день и ночь продолжал бегать.

В. Вы бегали с одного опорного пункта на другой?

О. Так точно. Я был подробно информирован о том, что нам завтра предстоит. Ночью мы получали приказ: завтра в 3 часа 30 минут или 4 часа начнется атака. С нами будут взаимодействовать такие-то подразделения, такие-то зенитные части и т. д.

19-й офицер (штабист).

В. Начните, пожалуйста, со своих личных переживаний.

О. Начну с наступления дивизии через Дон. Стояла очень ясная, солнечная погода; мы располагались на исходных позициях в донских лесах в резерве и были рады, что нам не приходится наступать в передних рядах. Но вскоре мы узнали, что в 3 часа начнется наступление.

В. Назовите, пожалуйста, дату.

О. 21 августа 1942 года. Мы узнали, что действующие впереди полки, особенно 203-й полк, понесли большие потери. Объяснялось это тем, что высоты в четырех километрах восточнее Дона оборонялись крупными силами русских, которые уничтожали переправляющиеся через реку наши войска ружейно-пулеметным огнем между рекой и высотами. Эти высоты, взятые окончательно 22 августа 1942 года с большими потерями и после введения в бой нашего полка, позволили подтянуть 16-ю и другие танковые дивизии, которые должны были наступать на Ст. через степи. В то время мы были недовольны генералом К., которому удалось переправиться правее нас, у В., а говоря точнее, восточнее В. Ведь попытка нашего полка переправиться в районе В. сорвалась именно из-за сильного огня с тех самых высот, расположенных в четырех километрах восточнее реки. А генералу К. удалось относительно легко переправиться со своей дивизией, после того как мы уже взяли эти высоты. Насколько я помню, он первым доложил (не знаю, будет ли это подтверждено историей) о том, что занял донские высоты. Мы закрепились на плацдарме, а 14-й танковый корпус с 16-й танковой дивизией двинулись на Ст.

21-й офицер (штабист).

О. Боевая ценность вновь прибывших людей была совершенно недостаточной. К тому же мы были вынуждены делиться с ними своими незначительными запасами продовольствия. Именно среди них появились первые признаки недисциплинированности и неповиновения. Но в той ситуации было бессмысленно подвергать их дисциплинарным взысканиям или отдавать под суд. И я, как это ни ужасно, понимал, что единственный оставшийся для нас выход — это плен. По моему предложению командир дивизии наградил нескольких моих офицеров, унтер-офицеров и рядовых Железным крестом первой и второй степени. Для меня было особой честью вручить награжденным их ордена.

23-й офицер (штабист).

О. Ночь прошла в оттягивании фланговых подразделений и последних контратаках, чтобы облегчить положение на флангах. Возвратившиеся штурмовые группы доложили о невозможности выполнить поставленную задачу. Повсюду они наталкивались на группы пленных, перемешавшиеся с русскими частями, и на подразделения соседних дивизий. Мы были почти полностью окружены, разведывательные дозоры русских продвигались уже далеко позади нас к Волге. Видел группы пленных немцев, охраняемых одиночными русскими солдатами.

25-й офицер (штабист).

О. 30 января мы еще как-то пытались, где это было возможно, задержать русских у Красной площади. А рано утром 31 января, примерно около 8 часов (следует заметить, что у нас было одно время, а у русских — другое), так вот, около 8 часов утра я прибыл со своим адъютантом на Красную площадь, а там уже стояли русские с двумя или тремя танками Т-34. Это был конец.

26-й офицер (штабист).

О. В соответствующем штабе, к сожалению, слишком поздно пришли к убеждению, что положение котла безнадежно. В войсках же, чем больше в этом убеждались, тем больше занимались вопросом передвижения в случае катастрофы. В нашем штабе существовали даже более или менее организованные группы, подготовленные к действиям в случае катастрофы. Но только в случае катастрофы, а не раньше. Были даже такие, кто говорил: «Меньше всего русские следят за восточным направлением». Они считали, что можно глубокой зимой двинуться на восток, куда-то по направлению к Китаю.

VI. БЕСЕДЫ С ВОЕННЫМИ ВРАЧАМИ ИЗ СТ.

1-й врач.

В. До того, как котел захлопнулся, имелись случаи обычных заболеваний, например, воспаление легких, грипп и т. д. В каких случаях солдата отпускали с переднего края? Мог он, например, с температурой 40,1° уйти с позиций?

О. За исключением указаний об инфекционных заболеваниях, среди которых прежде всего имели в виду инфекционную желтуху, не было никаких конкретных приказов, определяющих, в каких случаях больной или раненый мог быть эвакуирован. Что же касается высокой температуры, то здесь ограничений не было.

В. Изменились ли указания, касающиеся первого вопроса, после того, как котел захлопнулся? Были ли введены какие-нибудь более жесткие ограничения?

О. И во время пребывания в котле от вышеназванного принципа не отступали. Наоборот, раненые или больные старались, насколько это было возможно, остаться в своем подразделении и сохранить за собой место под крышей.

2-й врач.

В. Отмечались ли в котле психические заболевания? Если да, то какие из них были самыми частыми?

О. Психическая нагрузка, которой все подвергались, была, естественно, очень тяжелой. Причины крылись в потере надежды на прорыв, в уменьшающемся рационе, отсутствии почты с родины, холоде, в ужасающих условиях существования. Другие же впадали в крайний оптимизм, проявлялся он в отращивании бород в память о котле. Я вспоминаю также случаи голодных галлюцинаций в первые дни нашего марша в плен. Люди видели недостроенные дома или блиндажи, которых в действительности не было.

3-й врач.

В. Проводились ли в котле какие-нибудь мероприятия по борьбе с вшивостью, возможно ли было что-либо предпринять в этом отношении?

О. Практически не было никакой возможности бороться со вшами. Вначале вшивость была незначительной, борьбу вели успешно подручными средствами, кипятя в баках белье. Иногда пытались даже дезинфицировать обмундирование в старых духовках. Но часто при этом белье сгорало.

Армейский врач.

О. В октябре 1942 года возникли определенные трудности с эвакуацией раненых и больных с позиций, находящихся непосредственно перед Ст. Но вот русские захлопнули котел. Вместе со штабом начальника тыла армии я должен был отойти через Дон в Н. Как только закончилось окружение, я заявил, что хочу слетать в котел, чтобы на месте ознакомиться с положением.

В. Как же выглядел штаб 6-й армии?

О. Мне кажется, это были русские блиндажи, построенные для зенитно-артиллерийского дивизиона. Там П. возложил на меня заботу о том, чтобы все поступающие раненые по возможности надежно и быстро были эвакуированы из котла. Я обосновался на аэродроме в Басаргино. Туда же для выполнения подсобной работы я взял с собой санитарную роту. В ее обязанности входило собирать раненых из блиндажей и землянок летного и технического состава и заботиться о том, чтобы самолеты сразу же после разгрузки немедленно загружались ранеными и чтобы раненые, насколько это возможно, получали все необходимое на время короткого перелета (1—2 часа) и были переписаны. Через некоторое время работа блестяще наладилась.

В Какой контроль проводился на аэродроме?

О. Каждый раненый прибывал со справкой от своей части, с указанием фамилии, вида ранения и необходимости эвакуации.

В. Были, наверно, попытки симуляции?

О. Да.

В. Не могли бы вы рассказать о каком-нибудь случае?

О. Был такой случай. Майор медицинской службы доложил мне о прибытии какого-то офицера с повязкой на плече. Я решил осмотреть его сам и когда снял повязку, то увидел, что у него никакой раны нет. Мы его не эвакуировали.

В. Он был предан военно-полевому суду?

О. Вероятно, его отдали под суд. Но это была не моя задача. Я просто сообщил о случившемся в штаб. Так как подобные случаи, хотя и незначительно, но все же участились (всего их было пять-шесть, а может быть и семь-восемь), то из штаба армии пришел приказ впредь эвакуировать офицеров только с моей личной подписью.

В. Вы лично составляли истории болезни на раненых?

О. Только на офицеров. Да это и понятно, при 29 тысячах это просто невозможно.

В. Но вы все равно не могли контролировать каждого офицера и осматривать его рану?

О. А это незачем было делать. Офицеры ко мне поступали по одному со справками от лечащих врачей, которые лично несли ответственность за свое заключение. Затем принималось решение: если прибывал офицер с легким сквозным ранением мышц, то его не эвакуировали. И только в тех случаях, когда было очевидно, что прибывшие относятся к тяжелораненым, они немедленно получали мою подпись.

В. Вы производили осмотр на аэродроме, или же офицеров доставляли к вам на пункт?

О. Мой пункт находился на самом аэродроме. Это был жилой вагончик. Его поставили колесами в яму, засыпали со всех сторон снегом и сверху, конечно, тоже.

В. А для осмотра раненых вам куда-то приходилось идти?

О. Нет. На том же самом аэродроме в 300—500 метрах от меня располагалась санитарная рота со своими кухнями и врачами; у нас было пять-шесть врачей, перевязочные пункты и т. д.

В. В каком-то из сообщений я читал, что на аэродроме было всего один или два самолета, а раненых скопилось несколько сот...

О. Нет, такого не случалось. Все находилось под контролем.

В. И даже в самом конце?

О. В самом конце, конечно, нет. Все изменилось после того, как мы вынуждены были оставить аэродром в Басаргино.

В. А затем вас перебросили на другой аэродром?

О. В Гум. В то время там находился штаб армии, но его скоро перевели оттуда.

В. А что происходило в Гум.?

О. В Гум. у меня был почти целый блиндаж, без прочного перекрытия, но очень удобный. Была там и вспомогательная посадочная полоса, и аэродром, и мы продолжали эвакуацию. Санитарная рота у меня тоже была, кроме того, большой пункт сбора легкораненых, откуда мы постоянно получали людей для погрузки в пустые самолеты.

В. Но контроль там, конечно, был уже не таким строгим?

О. Нет, контроль был.

В. В последние дни у вас был совсем маленький аэродром.

О. Совсем маленький, в нескольких километрах от Ст., и это был последний. Там все было также под контролем. Этим занимались унтер-офицеры медицинской службы. Однако им было не под силу обеспечить оцепление, чтобы предотвратить перегрузку самолетов. Те 29 000 человек, которые были эвакуированы из котла, я лично не пересчитывал.

В. А как выглядел ваш последний полевой аэродром?

О. Это, собственно, был не аэродром, а площадка, на которую могли садиться одиночные машины. Русские же обстреливали их с края поля из пулеметов.

В. А что вы делали потом?

О. Я перебрался в Ст., то есть в город, в свой штаб, и доложил о прибытии командующему П. Я ему сообщил, что возложенную на меня задачу — организацию отправки и эвакуацию самолетами раненых — дальше выполнять не в состоянии.

В. А где располагался штаб?

О. Штаб располагался в огромных подвальных помещениях бывшего универмага. Вот там, в штабе, я и сидел. На второй или третий день я спросил П., не будет ли каких-либо распоряжений для меня. Я не мог сидеть без дела. Он ответил, что в доме имеется медицинский пункт и мне, пожалуй, лучше всего находиться там. «А если придут русские, мы что, капитулируем?» — спросил я. «Нет, этого нам не разрешат. Вы поднимитесь наверх и скажете, что я здесь, внизу раненые, пусть примут это во внимание. И больше ничего. Это единственное, что нам разрешено». Я так и сделал.

В. Не могли бы вы рассказать что-нибудь о П.?

О. П., собственно говоря, курил целый день, чаще всего был расстроен и даже подавлен.

В. А как держался он в окружении?

О. Всегда был вежлив и любезен, но добиться от него конкретного ответа было трудно.

В. Вы уже говорили здесь, будто у вас зародились подозрения, что солдаты в котле умирают от голода, и что вы проводили вскрытие трупов.

О. Все чаще и чаще нам докладывали, что люди умирают так, будто просто засыпают. Тогда я приказал адъютанту сделать несколько вскрытий. Это были неполные вскрытия, только чтобы установить, действительно ли смерть наступила от голода. Вскрытия показали, что во всех случаях смерть наступала от голода. В ту пору мы получали по 60—70 граммов хлеба, а люди на передовой, возможно, по 100—120 граммов, не больше. Представьте себе — две крошечные булочки.

В. Как вас снабжали медикаментами?

О. Это делалось регулярно. У нас была связь с моим штабом, который находился за пределами котла; там же была и моя аптека. Штаб регулярно отправлял нам две тонны перевязочных материалов и медикаментов. Столько вмещалось в один «юнкерс».

5-й врач.

В. Я слышал, что некоторых раненых помещали в бумажные мешки. Считаете ли вы, что так и должно быть?

О. Конечно нет. Это, вероятно, была вынужденная мера, чтобы спасти их как-то от холода. У нас не было одеял. Чем же нам было накрывать их?

6-й врач.

О. На западной окраине Ст., в овраге, примерно в трех километрах от города, мы оборудовали стационарное помещение и организовали там медицинский пункт, в котором должны были работать всю зиму. Недалеко от выбранного нами места мы обна-

ружили летний лагерь с более или менее сохранившимися бараками, там мы в первую очередь надеялись раздобыть доски. Вначале мы хоронили мертвых по всем правилам; в этом отношении мы также подготовились к зиме, откопав заранее до наступления морозов большое количество могил. Но позже это стало невозможным, и мертвых мы складывали просто в большой операционной палатке санитарной роты.

10-й врач.

О. До сих пор у меня перед глазами стоит такая картина: высокий худой солдат держит в руках огромную кость, вероятно, это была бедренная кость лошади, а может быть и человеческая, и грызет ее. Я окликнул его: «Эй, что ты там делаешь?» Но он даже не слышал меня.

VII. ДНЕВНИК БИТВЫ

Вторник, 10 ноября 1942 г.

139 дней после победы под В. Дальше дело не пошло.

Среда, 11 ноября 1942 г.

Подполковник Ш. видел через стереотрубу в донских лесах русские соединения, главным образом артиллерию; капитаны Г., фон Шв. и фон К. видели, как войска занимают исходное положение. Несколько летчиков тоже кое-что видели и доложили по инстанции своему командованию. Майор М. вместе с несколькими офицерами наблюдал большие передвижения войск в районе Серафимовича. Радиоразведкой было установлено прибытие новых соединений красных.

Четверг, 12 ноября 1942 г.

Как доходила информация до штаба армии? Если унтер-офицер А. что-нибудь наблюдал, он докладывал своему офицеру. Если что-нибудь наблюдал офицер А. и докладывал своим начальникам Б. и В., то практически об этом узнавал самое большее командир корпуса. Для того чтобы о чем-нибудь могли узнать в штабе армии, нужно было получить специальную задачу. Если армия ставила задачу корпусу, корпус — дивизии, дивизия — полку, полк — батальону, а получившие задачу А., Б., В., Г., Д. что-нибудь наблюдали, то эти данные попадали на карты и в таблицы штабов вплоть до штаба группы армий. От войск, ведущих напряженные бои под Ст., поступали сведения, но в соответствии с указаниями передаче в вышестоящие инстанции они не подлежали. Все органы штаба армии отлично приспособились отбивать всякую информацию, и в течение нескольких дней их нельзя было отучить от этого. «Отбитая» информация распределялась по шести служебным каналам: сухопутным войскам, через немецкого генерала в штаб румынской армии, военно-воздушным силам, через шеф-адъютанта ф.*, инстанциям, ведающим личным составом и снабжением, а также по специальному каналу — артиллерии.

Пятница, 13 ноября 1942 г.

С севера на юг в виде ленты вдоль Дона и в районе Ст. растянулись: 376, 44-я дивизии, 384, 76, 113, 60-я моторизованная, 16-я и 24-я танковые дивизии, 3-я моторизованная, 94, 389, 305-я «Бодензее», 79, 99, 100-я егерская, 295-я «Гордая», 71-я «Счастливая», 371, 297, 29-я моторизованная, части 14-й танковой дивизии «Рейнгольд» (в резерве), 9-я зенитно-артиллерийская дивизия.

Суббота, 14 ноября 1942 г.

47 дней после небольшой победы под Орловкой.

Знал ли П., что армия застряла?

Он заметил, что продвижение остановилось. Но это еще не значило, что она застряла. Возможно, скоро удастся двинуться дальше.

Воскресенье, 15 ноября 1942 г.

Командир корпуса оптимист Штр. засмеялся, узнав, что среди офицеров распространился слух, будто в донских лесах находятся русские. Начальник генерального штаба Цейт. сообщил в ставку: «В настоящее время русские решительно ослаблены».

Понедельник, 16 ноября 1942 г.

Организация подчиненности, установленная для ст. группировки:

Гит.

Цейт.

фон Б., фон В., фон Ман.

П.

---

* Ф.— фюрер, Гит.— Гитлер; Цейт.— Цейтлер, начальник генерального штаба сухопутных сил; фон Б.— Бок, командующий группой армий «Б»; фон В.— Вейхс, сменивший впоследствии Бока, фон Ман.— Манштейн, с 28 ноября 1942 г. командующий группой армий «Дон».

Ш.*

фон Зейд., Гейтц, Штр., Ен., Хуб.

Эдлер фон Д., Пф., Шт., Александр фон Х. и так далее до последнего ефрейтора.

Вторник, 17 ноября 1942 г.

Взаимоотношения командиров:

Генерал-полковник фон Рих. звонил Ешоннеку, Ешоннек — Гер., Гер., — Шм., а Шм. звонил ф.: «Командование войсками в районе Ст. никуда не годится». Генерал фон Зейд. считал действия и большинство решений П. неправильными. Командиры дивизий Л. и фон К. вообще не терпели друг друга; трудности во взаимоотношениях были также между командирами дивизии и командирами корпусов. В одном вопросе мнение генералов было единым: нужно закрыть глаза на внутренние трения и бросить все силы на достижение успеха.

Четверг, 19 ноября 1942 г.

На рассвете 19 ноября в значительном удалении от флангов нашей армии русские перешли в наступление. В 18 часов П. доложил вышестоящему командованию свой замысел на 20 ноября: «В Ст. продолжать действие штурмовых групп». 5-я батарея 16-го артиллерийского полка обстреляла канонерские лодки, а также войска противника, оборудующие позиции на противоположном берегу Волги.

В Ст. нелетная погода.

На Кавказе в районе Майкопа — погода летная, поэтому генерал-полковник фон Рих. действует со своими летчиками там. Гит. находится в южной Германии, Гер.— в Париже, а Цейт.— в Восточной Пруссии. Фельдмаршал фон Ман.— в Витебске. Штаб 6-й армии П. расположен в Голубинском. Генерал-полковник фон В. с Зоденштерном в Старобельске; он-то как раз правильно оценил опасную обстановку.

Пятница, 20 ноября 1942 г.

Южнее Ст. в районе озера Цаца в наступление перешла 2-я группировка русских. Генерал-полковник Гот., командовавший войсками, уже через несколько часов остался без армии и вынужден был, не мешкая, покинуть штаб. Вот в этой-то запутанной обстановке в бой вступила испытанная 29-я моторизованная дивизия. Стоял густой туман. Приказ гласил: «29-й мпд в ночь на 20 ноября занять исходное положение для наступления на юге и рано утром 20 атаковать и отбросить прорвавшегося на южном участке противника в направлении Элисты и уничтожить его». Как только туман рассеялся, открылась следующая картина: на железнодорожной ветке южнее Ст. стоят эшелоны с русской пехотой. По всему пространству мелкими группами двигались танки. К 17 часам отдохнувшая 29-я дивизия вступила в бой. Командование 6-й армии вначале считало вероятным прорыв противника на северном участке в районе Клетской, где днем раньше ему удалось вклиниться в наши позиции. П. молча рассматривал карты. «Ну и влипли!» — сказал Ш. «Влипли!» — сказал генерал Штр. «Здесь мы здорово влипли»,— сказал генерал артиллерии Г. своим офицерам. «На Дону мы, кажется, влипли»,— сказал генерал-майор Л., услышав гром канонады. «Да, солидно влипли»,— сказал Пф. Генерал Хуб. кричал в телефонную трубку: «Здорово мы влипли!» «Не могу себе представить, нужно сначала разобраться»,— сказал Цейт. по телефону, прежде чем реально представил себе весь масштаб опасности. «Влипли!» — сказали фон Зейд., К., Вульц и др.

Что же произошло?

Крупная западная группа русских у Серафимовича, теперь яснее вырисовывающаяся на немецких картах, продвинулась еще на 60 километров. В качестве резерва против русских был брошен 48-й танковый корпус (практически один танковый полк), оснащенный трофейными танками, в которых почти не осталось внутреннего оборудования. Едва танки миновали деревни Д. и Ч., как в 12 часов был получен приказ о наступлении в северо-западном направлении.

Что же делал в этот момент невезучий корпус?

Он свернул со своего маршрута налево. Все его подразделения перемешались. Радиосвязь оборвалась. И вот в таком состоянии корпус двигался навстречу 5-й русской танковой армии, которая шла через населенный пункт Блинов.

Последовал приказ: отойти к реке К. Отходя, корпус получил новый приказ: остановиться. Затем — наступать в северном направлении. Потом — организовать круговую оборону. Далее — наступать в северо-восточном направлении. И, наконец,— остановиться и ждать. Корпус находился в отчаянном положении, командира вскоре арестовали и должны были расстрелять.

Первый батальон 79-го полка, первый батальон 64-го полка, подразделения 5-й и 10-й рот 64-го полка, 11-я рота 64-го полка, подразделения 16-го артиллерийского полка, остатки 2-го танкового полка, а также имевшиеся в данный момент подвижные части 6-й армии сосредоточились на рассвете в районе О. Снег доходил до колен. После 60-километрового форсированного марша по «коридору» и между реками В.** и

---

* Ш.— Шмидт, начштаба 6-й армии; фон Зейд.—Зейдлитц; Ен.— Енеке; Гер.— Геринг; фон Рих.— Рихтгофен, командующий 4-м воздушным флотом.

** В.— Волга.

Д. на западе стали появляться отдельные темные точки, а затем группы людей, идущих на восток, многие без оружия. Через час вся дорога была забита.

В ночь на 21 названные выше части армии переправились по мосту через Дон в районе Г. Высланные арьергарды спешили в С. У танков не было гусениц с шипами. Поэтому тяжелые машины превратились здесь практически в железные ящики, которые скользили, то и дело разворачиваясь поперек дороги. Поступило несколько приказов: «Создать оборонительный рубеж вдоль ручья — южнее Г.!» Несколькими минутами позднее: «Кругом, марш!» Еще чуть позже: «Предыдущий приказ — отменить! Продвигаться вперед!»

Ночью русские развернули свои северные, северо-западные и южные «клещи» на 90°, они двигались теперь в направлении К.* До поздней ночи в штабе 6-й армии шли оживленные телефонные разговоры. Генерал П. практически не спал. Его начальник штаба генерал-лейтенант Шм. спал всего только два часа. Русские танки двигались всю ночь.

В качестве срочной меры Гит. назначил фельдмаршала фон Ман. командующим вновь созданной группой армий «Дон». Учитывая плохую погоду, Ман. не воспользовался самолетом, а выехал по железной дороге.

Суббота, 21 ноября 1942 г.

В районе К. появилось около 40 русских танков. Их не пропустили. Во второй половине дня они появились на высоком западном берегу Дона, недалеко от командного пункта армии около Голубинского. Теперь штаб армии увидел опасность.

Воскресенье, 22 ноября 1942 г.

До 11 часов в штабе идут телефонные переговоры. Оперативная группа штаба вылетает в 12 часов в район намечающегося котла. Командующий армией П. и его начштаба вылетают в Нижне-Чирскую. В 13 часов туда же выезжает командующий разбитой 4-й танковой армии генерал-полковник Гот. На командном пункте армии в Нижне-Чирской Гот. и П. совещаются с сопровождающими их офицерами.

В 14 часов генерал П. вылетает со своим начальником штаба в намечающийся котел. Командный пункт армии оборудуется в небольших землянках вблизи вокзала Гум. Просмотрев карты, П. сказал Ш.: «Сейчас мы с вами расстанемся на час, подумаем, после чего встретимся и обменяемся мнениями».

Поразмыслив, они решили прорываться в юго-западном направлении.

Передовые части 51-й русской ударной армии, наступающей с юга, соединились в полдень с передовыми отрядами 5-й танковой армии (северная группа). Поздно вечером Гит. на специальном поезде покинул Оберзальцберг и направился в Лейпциг, отдав перед этим приказ 6-й армии стоять на берегу Волги.

Понедельник, 23 ноября 1942 г.

Радиограмма, отправленная вечером:

«Совершенно секретно, особой важности!

Главному командованию (в порядке информации: командованию группой армий «Б»).

Мой ф.!

С момента получения вашей радиограммы от 22 ноября вечером обстановка коренным образом изменилась. Закрыть котел на западе и северо-западе пока не удалось. Ожидается новое вклинение противника в этих местах.

Боеприпасы и горючее подходят к концу. Многие батареи и противотанковые орудия расстреляли все снаряды. Своевременное и достаточное снабжение исключено. В ближайшее время армия окончательно окажется на краю гибели, если концентрированным ударом не удастся уничтожить противника, наступающего с юга и запада.

Для этой цели необходимо немедленно снять все дивизии из Ст. и крупные силы с северного участка фронта. Конечным результатом в данном случае должен быть прорыв в юго-западном направлении, так как удерживать восточные и северные участки фронта сейчас невозможно. Хотя мы и потеряем при этом значительное количество техники и материалов, но сохраним основную массу ценных бойцов и по меньшей мере часть техники.

За это донесение я несу всю полноту ответственности, однако заявляю, что того же мнения в оценке обстановки придерживаются и командиры корпусов генералы Х., Штр., Ен. и фон Зейд.

Исходя из создавшейся обстановки, еще раз прошу предоставить мне полную свободу действий! Хайль, мой ф.!

Подпись: П.»

Генерал фон Зейд., ничего не сообщив штабу армии, приказал вечером оставить участок севернее Ст., уничтожив лишние материалы и технику с целью подготовки к прорыву в юго-западном направлении.

Цейт. позвонил в 2 часа ночи фон З., уверенный, что ему удалось убедить Гит. Генерал-полковник фон В. отдыхал, П. ложился спать, Ш. спал, фон З. ждал до 4 часов утра нового звонка от Цейт. Позднее П., фон Вей., фон З., а также Цейт. в ставке ожи-

* К.— Калач.

дали приказа на прорыв из окружения, который еще можно было бы предпринять до 28 ноября. Примерно в середине следующего дня позвонил Цейт.; по его голосу фон З. почувствовал, что произошел крупный разговор с Гит.

Вторник, 24 ноября 1942 г.

Погода немного улучшилась. Авиация брошена на подавление противника.

В одиннадцатом часу утра оборвалась телефонная связь с войсками, действующими за пределами котла.

Фон Ман. прибыл в Старобельск и беседовал с З., отправил из штаба фон Вей. радиограмму П.: «Делаем все, чтобы вас выручить». При этом он распорядился удерживать берег Волги. Во время телефонных переговоров с Цейт. фон Ман. сказал: «Прошу не сомневаться в том, что мы абсолютно уверены в возможности обеспечить 6-ю армию снабжением, иначе мы не стали бы рисковать, задерживая ее здесь, так как она может еще вырваться из котла в юго-западном направлении». После этого фон Ман. улетел в Харьков.

Русские считали, что в окружении находятся 80 тысяч человек, а генеральный штаб вермахта — примерно 400 тысяч. Начальник тыла армии назвал цифру 300 тысяч. П. полагал, что под его командованием находилось около 200 тысяч человек.

Четверг, 26 ноября 1942 г.

П. направил фон Ман. письмо:

«Глубокоуважаемый господин фельдмаршал!

Благодарю Вас за радиограмму от 24 ноября и за обещанную помощь.

Чтобы Вы могли верно оценить мое положение, позволю себе доложить следующее.

1. Когда 19 ноября началось крупное наступление русских на участке правого и левого соседа нашей армии, то не прошло и двух дней, как фланги армии оказались открытыми, и русские сумели быстро продвинуть свои моторизованные силы. Двигающиеся через Дон в западном направлении, наши мобильные соединения (14-й танковый корпус) столкнулись западнее Дона с превосходящими силами противника и оказались в очень тяжелом положении, особенно из-за недостатка горючего. Одновременно противник вышел в тыл 11-му армейскому корпусу, который удерживал в соответствии с приказом позиции на северном направлении. Так как для ликвидации опасности невозможно было снять с фронта ни одну часть, то ничего другого не осталось, как оттянуть левый фланг 11-го армейского корпуса, развернуть его в южном направлении и отвести в ходе дальнейших боев на плацдарм западнее Дона, чтобы не дать противнику отсечь части, находящиеся западнее Дона, от основной массы. При реализации указанных мероприятий был получен приказ фюрера, который требовал, чтобы левый фланг 14-го танкового корпуса нанес удар по Добринской. Однако ход событий опередил данный приказ, и я не мог его выполнить.

2. Утром 22 ноября в мое подчинение был передан также 4-й армейский корпус. Правый фланг 4-го армейского корпуса отходил в это время с юга на север через Бузиновку, вследствие чего оказались открытыми южный и юго-западный фланги. Чтобы не допустить проникновения русских в тыл армии в направлении Ст., мы вынуждены были снять часть сил из Ст. и с северного участка фронта. Сделать это с помощью соединений, действующих западнее Дона, было невозможно. Используя отведенные из Ст. части, 4-й армейский корпус сумел создать неглубокую полосу обороны на южном участке фронта, упирающуюся своим западным флангом в Мариновку. Однако 23 ноября противнику удалось вклиниться в эту полосу в нескольких местах. Исход боя не ясен. Во второй половине дня 23 ноября были обнаружены крупные танковые соединения противника в районе западнее Мариновки, что подтверждалось неоднократно в последующих донесениях. На всем участке между Мариновкой и Доном находились небольшие немецкие заслоны. Путь для русских танков и моторизованных частей был свободен. Подобная же обстановка сложилась у населенного пункта Песковатка. От вышестоящих инстанций я уже 36 часов не получал никаких приказов и информации. Через несколько часов я вынужден был бы:

а) либо стоять на западном и северном участках и наблюдать, как противник прорывает фронт армии с тыла, при этом формально выполняя отданный мне приказ удерживать достигнутые рубежи;

б) либо, приняв единственно правильное в данной обстановке решение, нанести всеми силами удар по противнику, стремящемуся разбить армию с тыла. Разумеется, при реализации данного решения нельзя будет удерживать восточный и северный участки фронта, и в дальнейшем возможен только прорыв из котла в юго-западном направлении. Приняв решение «б», я, действуя в соответствии с создавшейся обстановкой, нарушил бы, и притом уже дважды, отданный мне приказ.

3. Оказавшись в столь трудном положении, я направил ф. радиограмму с просьбой предоставить мне свободу действий. Неограниченные полномочия нужны мне, чтобы своевременно, а не слишком поздно отдать единственно правильный в данной обстановке приказ.

Прошу верить мне на слово, так как я не могу представить каких-либо доказательств в подтверждение того, что не отдам подобного приказа преждевременно, а только в самом крайнем случае.

На эту радиограмму я не получил прямого ответа... Пересылаю Вам карту с обстановкой на сегодняшний день. Если бы на юго-западный участок фронта и удалось подтянуть еще силы, обстановка на нем продолжала бы оставаться по-прежнему напряженной...

Войска Ст. фронта продолжают отражать сильные атаки противника...

В результате организованного три дня назад снабжения по воздуху удалось получить лишь незначительную долю требующегося минимального количества материалов (660 тонн — 300 рейсов в день).

Положение со снабжением может привести уже в ближайшие дни к серьезному кризису.

Однако я думаю, что армия сможет продержаться некоторое время. Сейчас еще трудно сказать, позволят ли тающие с каждым днем силы армии, недостаток блиндажей, а также нехватка строительного леса и дров длительное время удерживать район вокруг Ст.— даже если к нам будет пробито нечто вроде коридора.

Так как меня ежедневно штурмуют многочисленными вопросами относительно нашего будущего, я был бы весьма благодарен, если бы до моего сведения доводили больше, чем до сих пор, данных, которые я мог бы использовать, чтобы поднять дух и укрепить мужество моих солдат.

Позволю себе доложить, г-н фельдмаршал, что в Вашем руководстве я вижу гарантию того, что будет сделано все возможное для оказания помощи 6-й армии...

С почтением ваш П.»

Пятница, 27 ноября 1942 г.

В эти дни Гит. считал, «что в Ст. имеются самые благоприятные перспективы, какие только вообще можно себе представить». После того как многие наделали ошибок, 27 ноября фон Ман. уверенно приступил к командованию группой «Дон».

Суббота, 28 ноября 1942 г.

Фельдмаршал фон Ман. немедленно отправил главному командованию сухопутных войск донесение с новой оценкой обстановки, на которое получил ответ 3 декабря. На северо-западе, юге и западе котла были предприняты попытки организовать прочную оборону. В долине реки Кар.* в качестве опорных пунктов использовались деревни и хутора. На остальных участках обороняющиеся войска располагались на холмах в степи.

Понедельник, 30 ноября 1942 г.

Командование армии сегодня приняло решение создать армейский резерв. Потеряно много тяжелого оружия и техники, особенно в 14-й танковой дивизии. Поэтому из оставшихся солдат, усиленных обозными подразделениями, должны быть созданы пехотные части.

Вторник, 1 декабря 1942 г.

Севернее О.** противнику удалось вклиниться в нашу оборону. В этот день командование ознакомилось с первыми боевыми группами, составленными из специалистов, не находящих себе в котле применения. Среди них группа парашютистов, присланная в Ст. для того, чтобы после предполагавшейся победы там были представлены, по возможности, все рода войск.

В соответствии с директивами на всех участках котла введена жесткая экономия боеприпасов.

Частые метели, вследствие чего полеты ограничены.

Среда, 2 декабря 1942 г.

В Восточной Пруссии, в ставке, Гит. с офицерами генштаба разрабатывает операцию «Лила» по оккупированию остальной части Франции.

Штаб 6-й армии доложил, что на сокращенном рационе армия выдержит еще 12—16 дней.

Четверг, 3 декабря 1942 г.

В котле вводится строжайшее централизованное распределение продовольствия, дров, боеприпасов, горючего. Неустанно рыщут различные комиссии и инспекции, изыскивая новые возможности для экономии.

Пятница, 4 декабря 1942 г.

Туман и гололед.

Солдаты 16-й танковой дивизии целый день наблюдают за ходом боя, который начался после мощной артиллерийской подготовки правее их участка. Ночь с 4 на 5 декабря прошла в штабе армии неспокойно. П. снова не сомкнул глаз. За эти дни он основательно вымотался.

Настроение в штабе у одних подавленное, другие, наоборот, полны надежд. Приближенные начальника штаба армии генерала Ш. оценивают обстановку положительно.

---

* Кар.— Карповка.
** О.— Орловка.

Воскресенье, 6 декабря 1942 г.

24 танка 36-го танкового полка, составляющие резерв армии, в 6 час. 15 мин. при поддержке групп «Людвиг» и «Фокс» атакуют противника. Всю ночь было сыро и холодно, а к утру ударил сильный мороз. Самая благоприятная погода для обморожения.

Генерал П. провел еще одну бессонную ночь; несмотря на это, в штабе армии продолжают положительно оценивать события. Эта уверенность должна дойти вниз — до корпусов, дивизий и полков. Начальник штаба 51-го армейского корпуса, полковник К., отдал распоряжение подслушивать радиопереговоры штаба армии. Они показались ему слишком оптимистичными Как только командующий армией узнал, что его радиопереговоры перехватываются 51-м корпусом, он приказал сменить шифр. Офицер фон Ц., посланный в Ст. начальником генерального штаба Цейт., показал приготовленные им радиограммы начальнику штаба армии. Ш. счел донесения слишком пессимистичными и многое из них вычеркнул. После переговоров с начальником оперативного отдела штаба армии Ц. стал отправлять радиограммы, не показывая их предварительно Ш.

Вторник, 8 декабря 1942 г.

На всей территории котла — резкий ветер и мелкий колючий снег. Над Волгой — снег густой и мокрый. Русские организовали паромную переправу через Волгу; чтобы пересечь реку, парому приходится пробиваться между льдами 5—8 часов. Старый пароход снабжен стальным защитным поясом, но вмещает мало. Какой-то русский генерал давал указания команде парохода, кого грузить в первую очередь.

Среда, 9 декабря 1942 г.

После того как 14-й артиллерийский полк оставил плацдарм на Дону и передал свои орудия на пункт сбора в котле, он был реорганизован в пехотную роту. Около полудня солдаты услышали мощную канонаду. Это на северном участке русские начали артиллерийскую подготовку. Солдаты в спешке доели суп, получили оружие, боеприпасы, а также шерстяные одеяла, шинели и котелки. После продолжительного марша отдыхали два часа, приготовились вступить в бой. Но двигаясь сквозь метель, они заблудились, а на рассвете обнаружили превосходящие силы противника.

В районе Котельниково деблокирующие войска ждут распределения. Все еще нет частей, которые ожидались. К 10 декабря 23-я танковая дивизия пытается подойти через степи западнее Элисты.

Четверг, 10 декабря 1942 г.

На сегодня каждый полк получил разрешение произвести только три выстрела из полевых орудий, семь выстрелов из противотанковых пушек и 12 выстрелов из 20-миллиметровых орудий. В вечерних сумерках на стороне противника вдоль всего северо-западного участка котла был слышен шум моторов и особенно сильно — лязг гусениц.

Полевая жандармерия армии произвела 74 ареста. Трибунал вынес шесть приговоров. Однако общее состояние дисциплины вполне удовлетворительное для данной ситуации. В военно-уголовном кодексе содержался обширный перечень проступков, подлежащих наказанию для поддержания организации и порядка. Например:

§ 64 Самовольная отлучка.
» 69 Дезертирство.
» 77 Незаявление начальнику о дезертирстве.
» 80 Несоблюдение домашнего ареста.
» 81 Членовредительство.
» 83 Уклонение от несения службы и симуляция.
» 84 Нарушение служебного долга из страха.
» 85 Трусость.
» 89 Угрозы начальству.
» 91 Оскорбление начальника.
» 92 Неповиновение.
» 96 Сопротивление.
» 99 Подстрекательство к бунту.
» 101 Подача совместной жалобы.
» 102 Возбуждение недоверия.
» 102а Подрыв дисциплины.
» 103 Бунт.
» 147 Прочие действия, направленные против военного порядка.

К этому следует добавить также основные статьи национал-социалистского законодательства.

Пятница, 11 декабря 1942 г.

Вдоль южного участка котла на юго-запад (река А.,* город Котельниково) движутся русские соединения.

Штаб армии рассчитывает получить завтра положительную информацию.

---

* А.— Аксай.

Гит., Цейт., фельдмаршал фон Ман., командующий войсками в котле, а также генерал-полковник Гот с подчиненными ему войсками ждут с нетерпением следующего дня, когда начнется наступление с целью деблокирования окруженной группировки.

Генерал-лейтенант Пф. вместе со своим штабом вылетел из котла. Его задача — перехватывать возвращающихся из отпуска (примерно 1000 человек в день) и формировать боевые группы.

Суббота, 12 декабря 1942 г.

Первый день деблокирования. Хорошая, ясная погода. При проведении операции по деблокированию Гит. контролировал Цейт., Цейт.— фельдмаршала фон Ман., фон Ман.— генерал-полковника Гота, Гот — генерала танковых войск Фридриха К., К.,— генерал-майора Рауса, Раус — полковника Х., а последний командовал своим полком.

Наступление началось в 5 час. 20 мин. Прорыв через фронт русских в районе Котельниково не представил трудностей; 200 танков прошли, не встретив серьезного сопротивления. Были захвачены трофеи: 5 танков, 10 полевых орудий, 10 противотанковых пушек, одна реактивная установка, 5 легковых автомобилей и много стрелкового оружия. Взято 450 пленных. Полковник Х. находился все время впереди. К вечеру картина не изменилась. Со всех сторон были видны пожары. Стрельба продолжалась до глубокой ночи — вероятнее всего, для поддержания духа. После получения вечерних донесений в штабах почувствовали разочарование. Х. сообщил генерал-майору Раусу: «Либо перед дивизией находились только незначительные силы противника — тогда операцию следовало планировать совсем иначе,— либо русским удалось уклониться от боя».

Воскресенье, 13 декабря 1942 г.

Второй день операций по деблокированию. Сильный ветер, местами туман.

Богослужения не проводятся. На повороте железной дороги, в 2 километрах западнее разъезда Бирюковский, произошел короткий бой с танками противника. К сожалению, в районе С. под командирским танком полковника Х. провалился мост через реку А. Наступление прекратилось уже в 12 час. дня.

Гит., Цейт., фон Ман., Г., К., Раус, а также полковник Х. ожидали быстрых успехов.

Вечером П. несколько раз запрашивал о достигнутых успехах.

Генерал авиации фон Рих. после осмотра местности высказался относительно наступления деблокирующей армии следующим образом: «Не заметно горячего стремления прорваться в Ст. Там и сям мелкие «баталии» с противником, силы которого оценены неверно. Относительно тяжелой обстановки в Ст. командир корпуса (генерал К.) информирован поверхностно и посему не выполнил своей задачи». Офицеры сухопутных войск считали суждение генерала фон Рих. несправедливым.

Понедельник, 14 декабря 1942 г.

Третий день операций по деблокированию. Очень плохая погода, туман, моросит мелкий дождь, тепло.

12 декабря командующий пятой инстанцией (К.) считал целесообразным двинуть войска в направлении через Кр., это направление было короче и доступнее для танков шестой инстанции; (Р.) придерживался 13 декабря иного мнения, чем непосредственный исполнитель приказов (Х.). Последнего одно время поддерживал четвертый по инстанции (Гот). Серьезные разногласия возникали между четвертым и пятым по инстанции командующими (Готом и К.). Третий по инстанции не вмешивался в детали, а требовал положительных результатов. Вторая сверху инстанция (Цейт.) дважды в день запрашивала об успехах. Решительного успеха с жадным нетерпением ожидала высшая инстанция (Гит.).

Верил ли кто-нибудь из участников твердо в успех операции?

С первого дня разразившейся в Ст. катастрофы во всех действиях войск чувствовалось сомнение.

Среда, 16 декабря 1942 г.

Пятый день операций по деблокированию. Дымка, местами туман; над котлом густая облачность.

Противник с утра приготовился встретить наши войска у деревни Верхне-Кумской.

Русские атаковали северный фланг на участке 8-й итальянской армии, и через день там уже не было никакого фронта.

Четверг, 17 декабря 1942 г.

Шестой день операций по деблокированию. Неожиданно сильный мороз.

Наступление на Верхне-Кумскую было начато утром с опозданием на один час.

Медико-санитарная служба находящихся в котле войск сообщила о первом случае смерти от истощения. Донесение было отправлено в Главное военно-медицинское управление в Берлине с копией в ставку ф. Радиограмма штаба 6-й армии командованию 4-го воздушного флота: «Несмотря на великолепную солнечную погоду, 17 декабря не приземлился ни один самолет. Штаб армии просит выяснить причины, по которым были отменены полеты. Подпись: Ш.».

Активно действовала вражеская авиация. Противник перебрасывал вдоль фронта котла в южном направлении машины и орудия.

После совещания с начштаба Ш. П. отдал армии следующий приказ: «Офицер не имеет права сдаваться в плен живым; однако запрещается и преждевременное самоубийство».

Пятница, 18 декабря 1942 г.

Седьмой день операций по деблокированию. Сильный мороз, погода ясная.

Второе наступление на деревню Верхне-Кумскую окончилось также безрезультатно. Радиостанции не сообщают ничего о перемещениях деблокирующего корпуса.

В полдень в ставку прибыли утомленные поездкой итальянский министр иностранных дел граф Ч.* и начальник генерального штаба, маршал граф К. Их принимали: Д., фон В., Риб., Гер., Цейт., Кейт., Й. и Гит. Переговоры касались критической обстановки на южном участке Восточного фронта. Благодаря блестящей выдержке граф Ч. и граф К. не показали, как глубоко затронул их разгром итальянской армии. Однако они поставили вопрос: нельзя ли достигнуть компромисса с Россией? Гит. отверг такую возможность. В этот и в последующие дни он был целиком поглощен переговорами, так что даже сам Цейт. не смог попасть к нему.

Суббота, 19 декабря 1942 г.

Восьмой день операций по деблокированию.

Противник отошел от Верхне-Кумской. Х., преследуя противника, не останавливался даже ночью. Он подошел примерно на 60 километров к котлу, в населенном пункте В.**.

В юго-западной части котла около ста танков 6-й армии ожидали приказа. Было объявлено, что горючего хватит только на 30 километров.

Во второй половине дня фельдмаршал фон Ман. просил у Цейт. разрешения на прорыв 6-й армии. В 18 часов фон Ман. отдал окруженной армии следующий приказ: «В ближайшее время возможен буран». Это означало, что танки 6-й армии должны двинуться навстречу деблокирующему корпусу. Армия приказа не выполнила, фон Ман. заявил: «При других обстоятельствах я бы просто сместил своенравного командующего, но в данной ситуации это невозможно, да и Гит. не захотел бы этого».

Воскресенье, 20 декабря 1942 г.

Девятый день операций по деблокированию.

Гит. снова вернулся к вопросу о ст. котле и высказался, наконец, против капитуляции.

Среда, 23 декабря 1942 г.

Двенадцатый день операций по деблокированию.

Прощание с войсками, подошедшими к району В. 6-я танковая дивизия должна покинуть деблокирующие войска. Открытому северному флангу начали угрожать русские войска, находившиеся в данный момент уже на полпути к Ростову. Если бы им удалось занять Ростов, то в окружении оказались бы две группы армий.

Четверг, 24 декабря 1942 г.

Майор из штаба 2-го армейского корпуса В. рассказал: «Я хорошо помню, как генерал нас всех собрал, вернее, попросил зайти к нему в определенный час, это было под вечер. Генерал фон Зейд. подал каждому из нас руку и преподнес в качестве рождественского подарка ломоть хлеба».

Подполковник Б. из 389-й дивизии сообщил: «У нас было очень много железа, стали, меди и алюминия. Из этих материалов я приказал своему технику-оружейнику и его помощнику изготовить рождественские подарки: ножи для открывания писем, пепельницы, рамки для фотокарточек и т. д. Сам я даже набросал несколько эскизов, например, маленькой звездочки из листовой меди для елки, а также эскиз самой елки».

Обер-лейтенант В. из 60-й мотодивизии: «Мои друзья устроили в большой палатке настоящий праздник. Мы соорудили стол, на котором разложили хлеб и шоколад. Горели свечи. Я зачитал приказ генерал-полковника П.: «Все мы, от самого старого генерала до самого молодого солдата, стоим плечом к плечу, спаянные в единый монолит, о который разобьются все атаки противника. Мы будем удерживать крепость Ст. до тех пор, пока кольцо окружения не прорвут деблокирующие войска, присланные ф.!» После этого я вручил награжденным солдатам Железные кресты I и II степени, которые мы получили в штабе дивизии. Праздник мы закончили песней «Тихая ночь, святая ночь».

Войска фон Ман., наступавшие за пределами котла, окончательно застряли. Часть его дивизий начала беспорядочно отступать. Аэродром в Т.***, с которого шло снабжение в Ст., был оставлен противнику вместе со 100 самолетами. Об этих трудностях 6-я армия не должна была знать.

---

* Ч.— Чиано, К.— Каваллеро, Риб.— Риббентроп, Кейт.— Кейтель, Й — Йодль.
** В.— Васильевка.
*** Т.— Тацинская.

Пятница, 25 декабря 1942 г.

С самого утра жуткая метель.

Командование армии приняло атаку русских на северном участке фронта за начало крупного наступления.

В ставке ф. разрабатывают важные приказы, которые, однако, не касаются Ст. В этот день Цейт., как и 18, 19, 21, 22, 23 и 24 декабря, не мог прорваться к Гит.

Настроение в штабе группы «Дон»: 6-я армия все равно потеряна. Ей больше ничем нельзя помочь, остается только сказать ей об этом. Но сделать это никто не отваживается.

Настроение в штабе 6-й армии: от недоедания войска не в состоянии проводить длительные марши и наступательные действия без больших потерь.

Никто из корпусных командиров не мог дать совета, как действовать. В частных беседах пытались договориться, следует ли разъяснить войскам создавшуюся ситуацию и тем самым вызвать общее волнение или же оставить их в неведении. Фон Зейд. был за разъяснение ситуации. П. пытался найти компромисс: «Нельзя ли решить этот вопрос индивидуально для каждого случая?»

Суббота, 26 декабря 1942 г.

Ежедневный хлебный рацион сокращен до 50 граммов. Согласно расчетам штаба армии, это мероприятие следовало провести еще 23 декабря, однако оно испортило бы рождественское настроение. Недалеко от населенного пункта В. располагался армейский лагерь военнопленных, в котором к концу декабря находилось 3500 русских. П. приказал отправить военнопленных в западную часть котла. Он исходил при этом из того, что там они скорее всего будут освобождены русскими войсками. Позднее он приказал передать пленных русским, но это приказание, однако, не было выполнено. До сих пор еще ни разу не было случая, чтобы слабая сторона возвращала пленных сильному противнику.

Во второй половине дня П. направил командованию группы армий для передачи в ставку следующее донесение о положении 6-й армии:

«Большие потери, холода и недостаточное питание сильно ослабили за последнее время боеспособность войск. Поэтому я вынужден доложить следующее:

1. Армия сможет еще некоторое время, как и прежде, отражать атаки небольших сил противника и ликвидировать местные прорывы при условии улучшения снабжения и срочной доставки по воздуху подкреплений.

2. Если русские оттянут крупные силы от Г. и бросят их или какие-либо другие силы в наступление на Ст. крепость, то она долго не продержится.

3. Вырваться из котла возможности нет, если только не будет пробит коридор, а армия пополнена людьми и обеспечена продовольствием.

Исходя из этого, прошу доложить вышестоящим инстанциям, что необходимы самые энергичные меры для быстрого деблокирования армии, если только общая обстановка не вынуждает пожертвовать ею.

Само собой разумеется, что армия со своей стороны сделает все, чтобы продержаться до последней возможности».

Вечернее донесение:

«Сегодня авиация доставила только 70 тонн грузов. Завтра кончается хлеб, сегодня вечером — жиры. Завтра в некоторых корпусах не будет ужина. Срочно необходимы радикальные меры».

Секретное распоряжение:

«Центральной инстанцией отдано секретное распоряжение, согласно которому ни один раненый или вообще эвакуированный из котла не должен быть доставлен на запад за линию Днепра, чтобы не допустить проникновения из котла в Германию и в занятые области неконтролируемой информации».

Главное командование направило в котел выдающегося берлинского патологоанатома Х. с секретной миссией — установить причину смерти солдат, не участвующих непосредственно в боях.

Х., сделав несколько вскрытий, констатировал: под кожей и вокруг внутренних органов нет и намека на жировую ткань, внутренние органы бледные, вместо красного и желтого костного мозга — стекловидная студенистая масса, печень набухшая, сердце маленькое, коричневого цвета, правый желудочек и предсердие резко расширены.

Сопровождающий его полковник медицинской службы Д. сказал: «Старческие тела».

Х. оставался в котле до конца и сдался вместе со своими коллегами-врачами в плен.

Вторник, 29 декабря 1942 г.

«Охотничьи похождения» обер-лейтенанта Г. после перехода через Дон: через 8 дней после дня «икс» Г. застрелил сперва двоих детей, затем женщину, а потом комиссара.

Через 31 день колонне обер-лейтенанта Г. удается прорваться; 12 человек гибнут, не добежав 100 метров, 10 человек, не добежав 50 метров, остальные врываются на позиции противника и приканчивают его штыками. Через 43 дня: сбор продовольствия и ценностей в партизанском районе. В деревнях и на хуторах собраны ценности стоимостью в 50 000 марок.

Четверг, 31 декабря 1942 г.

Гит. заявил о своем намерении послать не позднее конца февраля корпус войск СС из района Харькова на выручку в Ст. От Харькова до Ст. 540 км и две реки.

Сочельник 1940 года 6-я армия провела на люксембургской границе. В полночь развлекались, стреляли трассирующими пулями.

В сочельник 1941 г. армия находилась на реке Миус. День прошел спокойно.

В сочельник 1942 г. стреляли русские, державшие армию в котле. Ровно в 24 часа ночное небо вспыхнуло от трассирующих пуль и артиллерийских залпов. Ошеломленный генерал П. вышел из своего блиндажа.

Пятница, 1 января 1943 г.

Командование 6-й армии отдало приказ о строжайшей экономии боеприпасов. В соответствии с этим ежедневно разрешалось производить: полку — три выстрела из легких полевых гаубиц, два выстрела из противотанковых пушек, два выстрела из 88-миллиметровых зенитных орудий, а корпусу — один выстрел из тяжелых полевых гаубиц. Приказано было экономить и патроны. Право на сосредоточение огня в направлении главного удара штаб армии оставил за собой.

Хитрые слуги.

Малочисленная рота итальянской Восточной армии была придана одной из отборных частей, полку «Савойя»; однако люди этого подразделения никогда не стремились стать «отборными». В ноябре их послали в Ст., так как полку нужен был лес для оборудования офицерского казино. Строительный лес можно было собрать в руинах города. Но не успела рота попасть в Ст., как захлопнулся котел. У роты не было ни командировочного предписания, ни письменного приказа, дающего права на пребывания в Ст., поэтому ее командиру не удалось добиться какого-либо статута, дающего права на получение довольствия. В роте опасались, кроме того, что взятие на довольствие повлечет за собой отправку на передовую. Итальянские офицеры, пославшие роту за лесом, считали ее пропавшей без вести, не отваживаясь доложить о нелегальном задании; сразу же после 16 декабря они бежали в западном направлении. Остатки роты — человек сорок автомехаников и кавалеристов — совершали в котле налеты на обозы с продовольствием. В январе их окружила полевая жандармерия. Военно-полевой суд приговорил всех к расстрелу. Перед расстрелом они еще пытались объяснить, как они оказались в котле.

Суббота, 2 января 1943 г.

Низкий туман. За последние 24 часа в котле не мог приземлиться ни один самолет. В этот день русские генералы В. и Р.* приняли решение предъявить ультиматум окруженной армии.

Воскресенье, 3 января 1943 г.

Издающийся в котле информационный бюллетень армии сообщил: «Истребительная эскадра «Удет», четыре самолета которой находятся в котле, сообщает о том, что ее летчиками сбит 4000-й самолет противника. Майор медицинской службы Мар. из 14-й танковой дивизии, откомандированный для преподавания в военно-медицинской академии, вылетает самолетом в Берлин. В батальонах укрепленных районов идет обычная боевая подготовка и инструктаж».

С лета 6-я армия теснила русских и как победоносная армия обладала высоким моральным духом. Этот дух сохранялся еще некоторое время, когда армия уже бездействовала, а затем начал постепенно падать. Однако в котле было трудно изменить что-либо в установившемся порядке. Переход группами требовал бы договоренности, но среди посвященных мог оказаться предатель. Перебегать же в одиночку было не менее опасно, так как по беглецу оставшиеся могли бы открыть огонь. По этой причине «переход в другое организационное состояние» практически был возможен только в том случае, если офицеры сами отдавали приказ о таком переходе или о капитуляции.

Понедельник, 4 января 1943 г.

В Н. прибыло трое лично известных Гит. исследователей Гималаев. Они должны были определить, какие продукты и защитные средства следует доставлять в Ст. в первую очередь. Потребности армии были зафиксированы в документе Ia с грифом «совершенно секретно» за номером 0874/42:

500 г. хлеба, 90 г. мясных консервов, 100 г. овощей, 90 г. продуктов на ужин, 50 г. жира, 50 г. сахара, 20 г. кореньев и соли, 15 г. напитков, 25 г. табака; итого: 940 г., а вместе с упаковкой 1130 г. Для армии в 250 000 человек это составляет 282 т. в день.

* В.— Воронов; Р.— Рокоссовский.

Вторник, 5 января 1943 г.

Русские генералы В. и Р. представили в свою Ставку проект ультиматума 6-й армии:

«6-я Германская армия, соединения 4-й Танковой армии и приданные им части усиления находятся в полном окружении с 23 ноября 1942 г. Части Красной Армии окружили эту группу германских войск плотным кольцом. Все надежды на спасение Ваших войск с юга и юго-запада не оправдались. Спешившие к Вам на помощь германские войска разбиты Красной Армией, и остатки этих войск отступают на Ростов. Германская транспортная авиация, перевозившая Вам голодную норму продовольствия, боеприпасов и горючего, в связи с успешным продвижением Красной Армии вынуждена часто менять аэродромы и летать в расположение окруженных издалека. К тому же германская транспортная авиация несет потери в самолетах и экипажах от русской авиации. Ее помощь окруженным войскам становится нереальной.

Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается; сильные морозы, холодные ветры и метепи еще впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях.

Вы, как Командующий, отлично понимаете, что у Вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежно, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла.

В условиях сложившейся для Вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного кровопролития, предлагаем Вам принять следующие условия капитуляции:

Всем германским окруженным войскам во главе с Вами и Вашим штабом прекратить сопротивление.

Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном состоянии.

Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или в любую страну, куда изъявят желание военнопленные.

Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие.

Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установлено нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь.

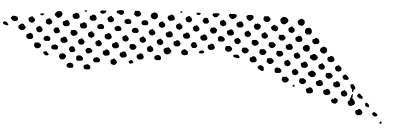
Ваш ответ ожидается в 15 час. 00 мин. по московскому времени в письменном виде через лично Вами назначенного парламентера, которому надлежит следовать в легковой машине с белым флагом по дороге на разъезд Конный — ст. Котлубань.

При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем Вас, что войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение Вы будете нести ответственность.

Представитель Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии
генерал-полковник артиллерии ВОРОНОВ,

Командующий войсками Донского фронта
генерал-лейтенант РОКОССОВСКИЙ».

(Окончание следует)



Пропуск в историю

Janusz Przymanowski. Czterej pancerni i pies. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.

За творческой деятельностью Януша Пшимановского я с интересом наблюдаю давно, более двадцати лет. Еще с той поры, когда в армейской печати стали появляться его корреспонденции и короткие рассказы о солдатском житье-бытье, подписанные псевдонимом Рекрут Жираф. Признаться, сперва-то интерес был чисто практический: в польском полку, куда я прибыл в 1944 году с группой советских офицеров-инструкторов, нас учили языку по газетным текстам.

В первых опытах Пшимановского, хотя он явно стремился сократить сроки литературного ученичества, было что-то и от истинно варшавского юмориста Веха, и от Гашека, и даже от реприз легендарного Растяпы, появившегося на сцене польского фронтового театра с легкой руки поэта-сатирика Леона Пастернака. Но, может быть, именно эти знакомые интонации и привлекли окопного читателя. А это очень важно для начинающего автора — иметь свою постоянную аудиторию.

Журналистика была для Пшимановского прямым, естественным продолжением бесед, которые он, политработник, проводил с солдатами артиллерийского дивизиона. На фронте будущему литератору представилась счастливая возможность видеть, какое место занимает на самом переднем крае слово публициста, проверять его действенность огнем, учиться снимать с вооружения слова, не находящие отклика в солдатском сердце.

Военная тематика поныне остается ведущей в творчестве Пшимановского. Часто, откладывая работу над большой прозой, он с энтузиазмом разыскивает следы героев минувшей войны, мужественных, окрыленных высокими идеями, бойцов до последней минуты жизни. Таких, как русская девушка Аня Морозова и поляк Ян Маленький. (Кстати, эти подпольщики-антифашисты знакомы советским читателям и телезрителям по книге «Вызываем огонь на себя», созданной Пшимановским в содружестве с московским писателем О. Горчаковым, и по одноименному телевизионному фильму С. Колосова.) Таких, как танкисты бригады имени героев Вестерплятте, которые, взаимодействуя с советскими гвардейцами, удержали плацдарм на Висле, откуда позднее началось знаменитое январское наступление 1945 года.

Подвигам польских танкистов-вестерплятовцев писатель посвятил очерковую книгу «В прицеле T-IV», пьесу для телевидения «Пятнадцать секунд» и, наконец, повесть «Четверо из бронетанковой». Надо сказать, что тема эта, затронутая еще Люцианом Шенвальдом в «Балладе о первом батальоне», привлекала многих литераторов и до

КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Пшимановского. Тому свидетельством антология «Ника с берегов Оки», подготовленная Виктором Ворошильским к пятнадцатилетию Войска Польского. Теперь антологию можно существенно дополнить. К поэме Ежи Путрамента «Отъезд», где убедительно показывается процесс осознания вчерашним скитальцем-эмигрантом своей высокой миссии воина-освободителя, органически подверстываются яркие воспоминания писателя об участии в формировании первого польского танкового полка. Интересна поэма Ежи Загурского «Броненосные» — строго документальная поэтическая хроника битвы на Магнушевском плацдарме. «Четверо из бронетанковой» Пшимановского — первая попытка осветить в прозе весь путь одетых в советскую броню польских солдат, от боевого крещения до последней битвы у берегов Балтики.(Да, они вернулись к тем рубежам, где в 1939 году стояли насмерть защитники Вестерплятте!)

Историки отбирают и классифицируют факты, определяя их весомость и место в общей цепи событий. Но есть и иной способ открытия и оценки факта — средствами художественной литературы. Такая литература, по меткому выражению Збигнева Залусского, выписывает факту «пропуск в историю».

В последней повести «Четверо из бронетанковой» Пшимановский окончательно утверждается на позициях прозы, в основу которой положены факты большого символического звучания.

...Вторая мировая война обрушилась на Польшу с моря. Сигналом к началу вторжения был залп линкора «Шлезвиг-Голштиния». Первый удар приняла на себя горстка защитников укрепрайона Вестерплятте, прикрывавшего Гдыню. Позиции, не пригодные к длительной обороне, было приказано удерживать не более одиннадцати часов. Гарнизон продержался восемь дней, отражая непрерывные атаки численно превосходящего врага под шквальным огнем гитлеровских кораблей и яростной бомбежкой с воздуха.

Мне вспоминается фотография из какого-то журнала: Гитлер в окружении многочисленной свиты у развалин Вестерплятте. В эту «историческую» минуту — здесь он дал свой первый бой в новой мировой войне, разжечь которую так стремился,— лицо у фюрера не праздничное, а, скорее, злобно-недоумевающее. Слишком дорого ему стоила победа на этом клочке польской земли.

Крошечный гарнизон Вестерплятте, пехотинцы, моряки, рабочие-ремонтники, взявшиеся за винтовки, показали, на что способны подлинные патриоты. Принимая от них эстафету мужества, их соотечественники, нашедшие убежище на гостеприимной советской земле, присвоили имя героев Вестерплятте своей первой танковой бригаде, подвигам которой впоследствии салютовала Москва. Оборона ранее безвестного форта на Балтике — символ беззаветной стойкости лучших сынов народа, продолжавших бороться, когда в стране не оставалось иной

власти, кроме их собственной воли к сопротивлению. Танковая бригада имени героев Вестерплятте, с ее смешанными польско-советскими экипажами,— это символ нерушимой дружбы двух братских народов, символ освобождения Польши, предвестник новой жизни.

Достоинство новой повести Пшимановского проявляется с особой рельефностью, когда вспоминаешь его раннюю повесть «Солдаты четырех рек». Там интересный замысел затушевывался недомолвками, схема не позволяла автору, несмотря на отличное знание фронтовой жизни, выйти на «оперативный простор». На фоне штабной парадности меркли образы простых фронтовиков. Герои новой книги Пшимановского — люди думающие, способные в любой обстановке принимать важные, самостоятельные решения. Примечательно — правда, это уже относится к творческой лаборатории автора,— что, работая над образами своих персонажей, писатель принципиально оставался в пределах материала, предоставленного историей бригады. Я думаю, ветераны части без труда обнаружат у героев повести черты своих боевых друзей. Янек Кос им, конечно, напомнит юного Стаха Решутека, а Елень — богатыря силезца Ендрушко.

Что касается командира машины, украинца Василия, отдавшего жизнь за свободу Польши, и механика-водителя грузина Саакадзешвили, кровью скрепившего братство с поляками, то после замечательной повести Игоря Неверли «Парень из Сальских степей» я не знаю более удачного решения в польской литературе образов советских людей. Впрочем, это не случайно — ведь Пшимановский достаточно хорошо знает душу солдата обеих братских армий. В Войско Польское он пришел уже с красной нашивкой за ранение и погонами ефрейтора Советской Армии, в которую вступил добровольцем.

Повесть об экипаже одного из тысячи танков, переданных Советским Союзом сражающейся Польше, выдержана в суровых тонах. Патетику, которой когда-то отдавал дань писатель, сменила внутренняя страстность. Но не все еще удачно в этой повести. Несколько формально, для «лирического колорита», присутствует в ней санитарка Маша. Излишне много места занимают похожие на вставные новеллы приключения пса Шарика, верного спутника Коса. Из-за обилия неожиданных встреч теряется психологический эффект самой значительной, финальной, встречи Янека с отцом-партизаном. Но отдельные просчеты не мешают нам увидеть правдивую картину сурового времени со всеми его историческими закономерностями. Пусть поле зрения героев повести сужено смотровыми щелями, пределами досягаемости танковой оптики. И все-таки они понимают свою роль в происходящих событиях. Сознательно жертвуют собой во имя того, чтобы по следу стальных гусениц провел борозду мирный пахарь грядущего.

Выигранная зачастую дорогой ценой, каждая сотня метров не просто приближает интернациональный экипаж к победе, а духовно обогащает и все теснее сплачивает. Чувством естественности боевого содружества поляков и советских людей, верой в прочность этого союза пронизано все произведение Пшимановского.

За последние годы в Польше появился ряд книг на военную тему, с неопацифистским, по мнению польской критики, уклоном. Этим книгам свойственна отмеченная Юзефом Ленартом «трактовка истории лишь как жестокой бессмыслицы». В противовес некоторым своим коллегам по перу, изображающим человека игрушкой в руках слепой судьбы, Пшимановский утверждает образ активного творца истории. Писатель дает гневную отповедь и горе-историкам из реакционного эмигрантского отребья, которые в своих «трудах» пытаются умалить вклад Войска Польского в дело общей победы над гитлеризмом, поддакивая тем самым антипольской пропаганде реваншистских кругов Западной Германии.

...Я перелистываю страницы повести. Танкисты припали к прицелам. Ревут моторы. Боевые машины снова на линии огня. Идет жаркая схватка, схватка идей.

М. Игнатов

Славный образ героя

Михайло Лалич. Свадьба. Перевод с сербохорватского Татьяны Вирта. Предисловие Б. Слуцкого. Москва, «Художественная литература», 1964. 318 стр.

Какие бы черные времена ни настали для народа, в какие бы гибельные пропасти ни бросали его исторические судьбы — среди бедствующих людей всегда находятся храбрецы, которые по самому характеру своему не способны к унынию, которых толкает к сопротивлению горькой доле самый склад их души, влюбленной в свободу и правду.

Именно таких людей избрал героями своего романа «Свадьба» югославский писатель Михайло Лалич.

В минуты кажущейся безнадежности, когда отчаяние представляется естественным чувством всякого жизнелюбивого человека, которого мучит ощущение бессильной обреченности,— особенно ярко проявляются мужественные характеры. Они внушают собратьям по несчастью надежду, которая придает павшим духом товарищам новые силы.

Колашинская тюрьма, охраняемая четниками, подручными итальянских фашистов,

оккупировавших Югославию,— это центр уничтожения приговоренных к смерти коммунистов. В этой тюрьме сидел при фашистах и автор романа М. Лалич.

Сотни обреченных коммунистов и партизан прошли через эту тюрьму. Автор сосредоточивает внимание читателя на «семерке» — на камере № 7 в этой тюрьме, где содержат смертников, закованных в кандалы.

Действие романа протекает в течение нескольких решающих дней в жизни обитателей этого жестокого фашистского застенка.

Военные судьбы черногорского народа, характер черногорцев с величавой поэтической простотой, присущей народному эпосу, раскрываются в этом компактном художественном произведении.

Для того чтобы еще больше оттенить народную силу партизан-коммунистов, автор романа широко вводит негативные персонажи — злейших врагов народа. Вот заместитель начальника тюрьмы молодой жандарм Анчич принимает от итальянцев еще одного смертника. В самом голосе, дерзком и непочтительном тоне этого нового заключенного жандарм ощущает ту «загадочную силу, которая, как из земли, пробивается из народа и зимой, и летом, и осенью, когда все в природе, кроме воды, засыпает».

И при звуке этого голоса жандарму чудится, будто итальянцы снова привезли к нему одного из тех, кто уже давно казнен здесь же, или сразу нескольких из них, воплотившихся снова в одном этом арестанте. «Они лежат в могилах, но все же ему представляется вполне возможным и вероятным, что могилы, которые молодежь каждый год на Первое мая тайно украшает цветами, не способны удержать их надолго, столько жизни было в этих людях, убежденности в правоте своего дела».

«Загадочные, гордые люди! Словно они сделаны из какого-то особо прочного материала: не проймешь их ни огнем, ни железом, да и могилой не исправишь»,— думает жандарм.

И автор показывает этих загадочных и гордых людей в разнообразии их судеб, в различии характеров.

Беспощадность, с какой М. Лалич рисует врагов народа, мгновениями выглядит почти как гротеск. «Не злой ли шарж, не карикатура ли это?» — может подумать молодой читатель, выросший после войны, не видавший в глаза фашистов в черные дни их недолгого, но бесконечно кровавого гнусного торжества. Нет, это не карикатура, молодые друзья, нет, это подлинная правда! Да, такими они и были: такими были с холуйской душонкой шкуры-жандармы и полицейские, предававшие свои народы ради сытной миски фашистских объедков со стола господ-победителей. Такими гнилыми и алчными властолюбцами, мерзостью из мерзостей, живыми мертвецами, утратившими все человеческое, были их главари — воевода Джюришич или начальник колашинской тюрьмы Йован Марковић из романа Лалича. Такими организованными тупо-циничными палачами были и гитлеровцы.

И нисколько не романтизированы полные величия и человеческой красоты образы черногорских народных борцов, партизан, коммунистов, простых людей, которых вела в бой против фашизма их совесть, осознанная как человеческий долг, как историческая необходимость.

Таков прежде всего Тадия Чемеркич — центральная фигура романа. Многосемейный черногорский крестьянин, в 1941 году совершивший подвиг, отомстив за своего убитого брата, командира партизанского батальона,— этот человек является олицетворением самой жизни.

«Хоть я и попал сюда, все же сдаваться не собираюсь!» — говорит он своим сотоварищам по «семерке», будучи уже закованным в «двойные», самые тяжелые кандалы.

И он не сдается. Живая мысль его, вся его жизнелюбивая натура неустанно ищет выхода из неволи, выхода из тюрьмы.

То измеряет он толщину стены, то задумывает план побега из больницы, симулируя заболевание, то мечтает выкрасть топор, чтобы разбить кандалы, то пытается повредить стальные кандалы, старательно щелкая закованными ногами, и добивается — треснула сталь. Всем этим его выдумкам нет конца-края.

И своим клокочущим оптимизмом, верой в освобождение заражает он остальных товарищей, не давая проникнуть в круг смертников унынию и отчаянию.

Прибаутка и непрерывные шутки звучат не только в камере смертников — эти люди не перестали шутить и посмеиваться и в самый час, казалось бы, неминуемой гибели, когда их вывели на расстрел.

— Хороший будет день. Позагорать успеем прежде, чем нас, такую ораву, в землю закопают,— балагурит гусляр, один из друзей Чемеркича.

— Нет, не будут они нас ни расстреливать, ни закапывать,— возражает тут же Чемеркич. И если нет у него убедительной аргументации, то он выдумывает хоть сновидение, которое якобы предсказывает им победу и жизнь.

Из-за стремительного наступления партизан их в тот день в самом деле не расстреляли.

— А эти чего тут ждут? — рявкнул один из начальников, ошалевший от хлопот.

— А и правда, чего мы ждем? — озорно подхватил Тадия Чемеркич.— Пошли-ка лучше по домам!

И вслед за этим у него рождается новый план побега: смазать руки салом, чтобы вытащить их из веревок, когда их будут связывать перед казнью.

Чемеркич заражает людей действенной, активной силой надежды, надежды не на случайность, а на собственную волю, на сообразительность и собранность.

КНИГИ О ВОЙНЕ
КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

В конце концов, если не удастся избавиться от гибели, то хотя бы в последний раз схватиться с врагом — только бы подороже отдать свою жизнь!..

Тадии Чемеркичу около сорока лет, а по темпераменту это юноша, он кажется сверстником своих молодых друзей — студента Лукича, самого молодого в камере крестьянского юнака, Любо Драгушича, молодого Гунча. А не по годам вдумчивый и серьезный горбатый юноша Иван Райчич кажется чуть ли не старше этого кипучего человека.

Недаром же из-под самых немецких пулеметов, направленных палачами на полсотни обреченных людей, вырываются эти отважные герои, чтобы стать народными мстителями, истребителями фашистов.

Простые и честные люди, которых ведет мужество, они идут по кровавой дороге к «свадьбе» — торжеству человеческой любви, к «свадьбе», на которой невеста — Правда, Свобода, она же и Революция, как говорит Тадия.

В тот упомянутый день не состоялся расстрел смертников. Их на ночь загнали обратно в тюрьму, чтобы покончить с ними назавтра.

И вот идет наперекор всему иронический, шутливый ночной разговор в тюрьме.

— А что такое, друг дорогой,— спрашивает Тадию Чемеркича его товарищ Томелич.— Неужто эти поганцы и у тебя луга потравили?

И Чемеркич подхватывает балагурство:

— Потравили, так их перетак, и луга мои, и поля, изгороди повалили, питомник вытоптали...

— Ах ты боже мой, вот наказанье! Вот раззор! — изображая негодование, воскликнул Томелич.— Ну, а плуг-то хоть оставили тебе?

— Плуг-то есть, куманек, да только кто же его потянет? Разве что четников впрячь в него? Таких волов сожрали, порази их проказа! Так и простоит землица моя незасеянной, если только не вырвусь я из этой паршивой богадельни!

— Ну, а что же ты надумал сеять, если вырвешься?

— Пули сеять, чтобы хоть чуточку правды для себя урвать да детишкам свободы добыть! — отвечает этот великий герой Чемеркич, который сам себя характеризует: «Я как гора, ничего со мной не делается».

Антифашистский роман Михайло Лалича — это народная, национальная книга. Ее герой — независимо от того, был у него живой прообраз или он создан автором собирательно,— будет жить среди своего народа, как неумирающий национальный герой, подобный фламандскому свободолюбцу Тилю Уленшпигелю, бессмертному, потому что в него вошла душа вдохновившего этот образ народа.

Тадия Чемеркич, его друзья и сподвижники — это простые люди, не вожди, не полководцы, не ученые или поэты — обыкновенная поросль народа, труженики, которые любят свою землю, любят жизнь и свободу.

Поэтичный и ясный роман М. Лалича достойно славит этих героев, восставших против кровавой мерзости века, чтобы ценой своей жизни уничтожить фашизм — позор человечества, стыд нашего времени.

Герои романа М. Лалича, черногорские бойцы против фашизма, станут в нашем сознании в одном ряду со всеми людьми неугасимой совести, железного сознания долга и большой любви к жизни, миру, труду.

Степан Злобин

На стороне правды

Maurizio Ferrara. I Pzati Lunghi. Bari, Leonardo da Vinci edituci, 1964.

Правда еще далеко.
Сальваторе Квазимодо

Действие повести итальянского писателя Маурицио Феррары «Широкие Луга» начинается задолго до того, как в жизни ее героя произойдут решительные перемены, которые поставят его в один ряд с героями многих романов, рассказов, стихов, кинофильмов.

По словам Л. Матти, молодого поэта из Генуи, города, славного своими антифашистскими традициями, «Сопротивление продолжается». И когда итальянские художники обращаются сегодня к героическому прошлому своей страны, для них слово «Сопротивление» становится синонимом борьбы за справедливость.

Пройдя долгий и трудный путь сомнений, прежде чем стать одним из участников этой борьбы, герой оглядывается назад, чтобы вспомнить и рассказать о том, что повлияло на сделанный им в ответственную для родины минуту выбор.

Тридцатые годы. На улицах Рима — колонны фашистов в черно-золотых мундирах, «обитые бархатом автомобили дуче и его приближенных с восседающими в них королями, министрами, послами». Посреди этого мира далеко не безобидной мишуры высится одинокая, по мнению героя повести, крепость — квартира старого интеллигента, его отца. Хозяин дома — антифашист до мозга костей, но в своем отношении к действительности он не идет дальше бессильного внутреннего протеста против враждебного ему внешнего мира. И чем больше он уходит в себя, тем решительнее убеждается сам и убеждает сына в бессмысленности любой другой позиции, кроме позиции неприятия зла и его осуждения.

«Постепенно,— вспоминает герой повести,— политическая озлобленность стала долгом, и отчужденность превратилась в гордое одиночество. И теперь уже только у меня был мужественный отец, один — против миллионов, побежденный с высоко поднятой головой».

Один — против миллионов. Против скольких миллионов? И откуда взялась эта цифра? Миллионы — безликая масса. Безликая, если смотришь на нее из окна или слышишь сквозь нарочно закрытые ставни, как она движется по улице. Ставни закрывает отец. И потому не удивительно, что не он первый, а сын понимает, что никакой безликой массы нет. И фашистская Италия — это тоже не безликая масса. Сын учится в школе. Поссорившись однажды с одноклассником, он называет его «грязным фашистом». Крамольную фразу услышал случайно оказавшийся поблизости преподаватель гимнастики, не какой-нибудь штатский, а лейтенант фашистской милиции. Казалось бы, страшные последствия неминуемы. Чего можно ждать от подтянутого франта в черном мундире, из числа тех, от кого столь решительно отгородился в своем доме-крепости отец героя повести? Но в голосе учителя нет и признака угрозы. «Безумец, сумасшедший, хочешь засадить своего отца в тюрьму, да?» — недоумевал лейтенант. И полуобняв «преступника», приказал: «Ступай в класс, живо!..»

«Значит, не все фашисты были фашистами,— рассуждает впоследствии герой повести.— И неправда, будто те, кто, подобно мне и моему отцу, отвечали: «А я никто», когда их спрашивали: «Кто ты, фашист или нет?» были никем, как я опасался. Коечто мы собой представляли, если даже лейтенант милиции... понимал что-то в ту тяжелую пору».

Говоря «мы», герой повести имеет в виду уже не только себя и своего отца. Среди итальянцев, даже среди тех, кого заставили облачиться в черные мундиры, были люди, не разделявшие взглядов фашистской верхушки. И когда эти люди поняли свое заблуждение, многие из них тоже влились в ряды борцов Сопротивления, борцов за справедливость.

«Широкие Луга» — книга о судьбе поколения, ровесника фашизма, поколения, от которого в сороковых годах в значительной степени зависели судьбы итальянцев и, конечно, судьба Италии. Во многом автобиографичная повесть написана от первого лица в форме воспоминаний, в неторопливой манере, позволяющей читателю шаг за шагом проследить долгий путь ее героя. Некоторая нарочитая монотонность авторского письма как бы подчеркивает будничность событий, через которые, а подчас и мимо которых, проходит сначала школьник, потом молодой офицер итальянской армии. Неслучайно, оглядываясь на пройденную часть пути, герой повести оценивает ее следующим образом: «До того как мне исполнилось двадцать, почти ничего не произошло».

Герою повести исполняется двадцать лет, и его призывают в армию. Италия уже воюет на стороне гитлеровской Германии. Герой повести оканчивает офицерскую школу и получает назначение в одну из воинских частей, дислоцированных в северной Италии. Размеренную и сравнительно спокойную жизнь небольшого тылового гарнизона нарушает в один прекрасный день «чрезвычайное происшествие» — арест Муссолини 25 июля 1943 года, образование правительства маршала Бадольо, роспуск фашистской партии. 3 сентября был подписан акт о капитуляции Италии, в ответ на который гитлеровцы начинают оккупацию северных и центральных районов страны (южные области уже заняты англо-американскими войсками). Итальянская армия, не имея на то приказа, не оказывает своим недавним союзникам сопротивления. Повинуясь воле старших командиров, многие из которых сохранили преданность Муссолини, целые гарнизоны покорно складывают оружие и сдаются в плен немцам. Не желая оставаться на стороне гитлеровцев, итальянские солдаты и офицеры дезертируют из армии в надежде добраться до родных мест и дождаться там окончания войны. Вместе с двумя товарищами казарму покидает и герой повести. Ночью беглецы натыкаются на немцев, которые убивают одного из них. На следующий день фашисты арестовывают другого. А герой повести становится свидетелем того, как небольшое подразделение итальянской армии по инициативе своего командира вступает в неравный бой с гитлеровцами в районе Широких Лугов.

«Часто говорят,— сказал Маурицио Феррара в беседе с корреспондентом газеты «Унита» вскоре после выхода повести в свет,— будто легко было сделать выбор в 1943 году. Это миф, подобный мифу о том, будто в 1860 году было легче стать гарибальдийцем, чем не стать им... Когда наступил момент борьбы, мы оказались к ней совершенно неподготовленными. Понадобились — я говорю о себе — примеры других, ошибки, сомнения, чтобы понять: недостаточно увидеть, на чьей стороне правда, нужно принять эту сторону».

...Бой в районе Широких Лугов выигрывают немцы. Герой повести возвращается в город и скрывается там некоторое время. Его арестовывает офицер по пропаганде из его же части, некто Арджео, ярый фашист, пошедший под начало к немцам. Почти одновременно в лапы к Арджео попадает партизанская связная Паола, которую любит герой повести. Ее пытают, и она умирает. А герой повести, отпущенный после допроса, приходит ночью к Арджео и, вооружившись его же пистолетом, конвоирует своего старого врага в расположение партизан.

Так кончается эта правдивая, небольшая, но психологически емкая книга — первое художественное произведение итальянского журналиста и публициста Маурицио Феррары, автора книг «Беседуя с Тольятти» и «Хроника итальянской жизни 1944—1958 годов» (обе книги написаны в соавторстве с Марчеллой Феррара). Так кончается повесть. Так начиналась одна из самых славных страниц в истории Италии.

Е. Ипатов

КНИГИ О ВОЙНЕ
КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Выбор — Сопротивление

Никос Катифорис. Отан эскавалеэ тон Урано. Афины, Темелио. 1964. (На греческом языке.)

«Никчемный я человек... Жена долго вбивала мне это в голову — так оно, должно быть, и есть! Иначе я не был бы учителем... Дети приходят, выучиваются и уходят, а учитель знай себе — на кафедру и с кафедры, толчет воду в ступе! А ведь я не всегда верил в свою никчемность... Мечтал о продвижении! Инспектор... А там, глядишь, министерский советник... Оттуда недалеко и до министра, реорганизовал бы просвещение, составил бы, так сказать, эпоху!... Но пришла война! И теперь эта оккупация, того и гляди, меня доканает. Что от меня осталось? Кожа да кости, да клок волос на голове... Да страх— как бы не умереть».

Так думает учитель Яннис осенью 1941 года, стоя в хвосте длинной очереди, выстроившейся перед зданием вокзала. Афины. Итало-германская оккупация. Преддверие страшной голодной зимы, которая будет стоить жизни тысячам греков. Толпы афинян осаждают оккупационную администрацию, вымаливая разрешение на выезд в провинцию. Там они рассчитывают обменять на продукты одежду, домашнюю утварь, все, что можно будет сбыть, лишь бы обеспечить себе на зиму кусок хлеба. Учитель Яннис едет в свою родную деревню на острове Левкада. Эта поездка и составляет сюжетную канву романа «Когда мы долбили небо» известного греческого прозаика и драматурга Никоса Катифориса.

Герой романа учитель Яннис по натуре своей «не герой». Преданный семьянин, скромный служащий, он, хоть и не без стыда, признается, что преследует одну лишь цель — выжить. Однако в тяжелых условиях оккупации уже для того только, чтобы выжить, ему приходится бороться.

И в этой борьбе учитель обретает новые силы, раскрывает в своем характере новые черты. Стремление выжить постепенно перерастает у него в активную волю — выжить достойно, не согнуться, не запятнать своей чести и больше того — пробудить такую же волю в других. Вот он распродает на рынке в Вонице свой бедный багаж — будильник, в течение многих лет призывавший его по утрам к самой благородной работе — воспитанию и образованию юношества, шинель, в которой он с честью воевал против фашизма на итало-греческом фронте. Рассказывая историю этих вещей, учитель собирает вокруг себя толпу взволнованных слушателей. Его слова звучат как призыв к неподчинению оккупационным порядкам.

События, развертывающиеся в заключительных главах романа, еще более отчетливо определяют новую жизненную позицию учителя. Вопреки очевидной выгоде он покидает дом богатого дяди Карнавалоса. Не без риска для жизни пробирается в итальянскую тюрьму, чтобы встретиться с заключенным братом и его товарищами. Тронутый их мужеством, оставляет в тюрьме львиную долю продуктов, которые купил для своей семьи и которые помогут заключенным организовать побег; в финале романа учитель, обвиненный в соучастии, сам попадает в тюрьму.

Иной путь избирает его друг детства Андреас. Карьера Андреаса складывается неплохо. Начав с мальчика на побегушках в ювелирном магазине дяди, он становится его компаньоном и даже в тяжелую годину оккупации умудряется ловко сводить концы с концами. Оккупация не вызывает у него ни гнева, ни протеста. Андреас терпеливо выжидает, подготавливая почву для дальнейшей деятельности. Чтобы придать больший вес своей фирме, он женится на обедневшей аристократке Рите — громкое имя ее умершего отца послужит ему в будущем неплохой рекламой. Предложение руки и сердца Андреас приурочивает к тому моменту, когда Рита и ее мать стоят уже перед угрозой голодной смерти. Под давлением матери Рита соглашается. И этот шаг становится для нее роковым. Не видя впереди никакого проблеска, презирая себя за слабость и малодушие, Рита доходит до крайней степени отчаяния и кончает жизнь самоубийством. По существу это тоже одна из жертв оккупации.

Бессильное непротивление Риты и умышленное, расчетливое непротивление Андреаса чужды подавляющему большинству героев Катифориса. Особенно явственно это ощущается в массовых сценах. Писатель дает их очень тонко, с еле уловимым юмором, успешно воссоздавая атмосферу неугасимого оптимизма греческого народа. Вот попутчики учителя — вначале сердитые, неуступчивые, готовые драться за место в поезде, а потом, когда все утряслось,— добродушные, заботливые к соседям, откровенные в своей ненависти к оккупантам. Вот земляки учителя — крестьяне, окружившие оккупантов стеной бойкота, поп, помогающий учителю проникнуть в тюрьму для свидания с братом, заключенные — неунывающие, несгибающиеся, Дина — девушка из знатной семьи, отвечающая отказом на притязания итальянского офицера.

Вне круга этих людей, за чертой проклятия — враги и их приспешники. Итальянский офицер, бросивший в тюрьму отца Дины, надеясь таким образом вырвать у нее согласие на брак. Дядя учителя Карнавалос, богатеющий на народном бедствии, измывающийся над бедными родственниками. Однокашник учителя, синьор Пипис, благословляющий фашистскую Италию за то, что она «освободила» от Греции Ионические острова. Бывший депутат парламента, готовый принять от оккупантов пост правителя острова Левкада.

Действие книги охватывает небольшой отрезок времени — один месяц 1941 года. День победы над фашизмом еще далек. Впереди немало испытаний, горечи, страданий, и все же у читателя не остается ника-

кого сомнения в том, что подлинные герои романа выйдут из этих испытаний с честью. Они сделали свой выбор, и этот выбор — Сопротивление.

Движение Сопротивления в Греции вписало немало славных страниц во всемирную историю антифашистского движения. Оно объединило в своих рядах лучшие силы национальной интеллигенции, писателей и поэтов всех литературных поколений — Варналиса и Сикельяноса, Рицоса и Врettакоса, Элии Алексиу и Риту Буми-Папа, Авгериса и Корнароса. Активное участие в движении Сопротивления принял и Никос Катифорис, уже тогда обладавший крупным именем в греческой прозе. В те годы и родились первые стихи и рассказы о Сопротивлении. Они увидели свет в нелегальной печати. Однако дальнейшая судьба литературы греческого Сопротивления была трагичной. Кровавый террор послевоенных лет поставил его участников вне закона. Под запретом оказалась и сама эта тема. На протяжении целого десятилетия правительственная пропаганда пыталась исказить историческую правду о Сопротивлении, оклеветать Коммунистическую партию Греции, оболгать павших героев. И только в конце пятидесятых годов стали появляться первые правдивые книги, пробивающие брешь в стене лжи и клеветы, воздвигнутой вокруг греческого Сопротивления. Значительным вкладом в это святое дело является и новый роман Никоса Катифориса «Когда мы долбили небо».

С. Ильинская

Дети и отцы

Thomas Valentin. Die Unberatenen. Hamburg, Claassen Verlag, 1963.

Кажется, никого в Западной Германии не удивишь ныне подобными словами, и все-таки какой устрашающий и опасный смысл вобрали они в себя: «Пока эти поляки не отдадут наши исконные немецкие земли...»

Где это говорится? На слете реваншистских землячеств? Перед скопищем гитлеровских выкормышей, рвущихся на Восток? Или это выдержка из оголтелой «Зольдатенцейтунг», без устали призывающей к новым походам? Нет, это всего-навсего обрывок повседневных разговоров, которые ведутся в учительской — вперемежку с обсуждением школьных сочинений и очередного фильма. Это беседуют учителя одной западногерманской школы.

Роман Томаса Валентина «Оставшиеся без ответа» рассказывает о жизни сегодняшней молодежи ФРГ. Это книга о жизни школы, в которой сосредоточились многие противоречия современной действительности ФРГ с ее внешним процветанием, скрывающим опасную и затяжную внутреннюю болезнь. Недаром один из героев романа, учитель Грёневольд, которому симпатизирует автор, в отчаянии говорит о «трагедии», о «кризисе школы», отражающем не только «кризис системы», но и «кризис человека».

Молодые люди, выпускники гимназии, в романе Валентина мечутся в поисках пути, томятся от сознания бесцельности, бесперспективности своего существования в стране, где, по словам юного героя романа Рулля, «свобода существует только на витрине». Они ждут ответа от старших — и не получают его.

Тема отцов и детей стала уже почти привычной в литературе Западной Германии. Но, пожалуй, немного найдется произведений, где конфликт этот был бы так заострен, где проблема поколений звучала бы с такой отчаянной силой, как в этой книге. Два непримиримых лагеря, разделенных жгучей ненавистью,— вот что такое отцы и дети, воспитатели и ученики в романе Валентина. Автор раскрывает социальный смысл этих противоречий: молодежь вправе винить старших за фашистское прошлое, за преступления перед человечеством. «Распевая хоралы и национальные гимны, вы отправлялись на войну. Прадедушка — в 1870, дедушка — в 1914. А папаша — в 1939 году. Вы уничтожили полмира... на каждого из вас приходится в среднем по убийству...» В этих строчках из школьного сочинения Рулля — суровый приговор тем «отцам», которые и ныне торжественно «хранят в шляпных картонках свои боевые кресты и медали».

Все внутренние резервы романа словно мобилизованы автором по сигналу тревоги, тревоги сердца и совести, чтобы всколыхнуть душу своего читателя, расшевелить мозг, вывести из состояния сонливой оцепенелости,— ведь именно этого добивается юный герой повествования Рулль, отчаянно пытающийся вызвать своих учителей на большой и страстный разговор.

Почти символический характер обретает в романе фигура учителя — немецкого учителя, который в свое время помогал Гитлеру воспитывать бездушное, бесчеловечное поколение нацистских солдат. Не зря так противится желанию сына стать учителем отец Рулля, человек запутавшийся и обозленный, один из многих, кого наставники некогда толкнули на путь насилий и преступлений. «Лет тридцать назад они рассказывали всю историю как раз наоборот: «Наш путь лежит через Сталинград!» И я этому верил. Подставлял башку... Потому что эти учителя восемь лет подряд до одурения твердили мне: отечество, долг, честь, отвага, Великая Германия, присяга, мужество... А нынче они забыли, что с ними произошло...»

КНИГИ О ВОЙНЕ
КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Фельдфебельский дух германской школы, прозорливо угаданный еще Генрихом Манном в его «Учителе Гнусе» и доведенный во времена фашизма до предела своеобразного совершенства, накрепко въелся в самые стены западногерманской гимназии. И двум-трем честным, порядочным учителям не по силам выветрить этот затхлый дух прошлого, хотя они искренне стараются как-то противопоставить себя наглому мещанству, воинствующему реваншизму, окопавшемуся в школе. Как мало могут они сделать в стране, где вновь оживают испепеленные, казалось, фетиши «тысячелетнего рейха», а милитаризм и военная пропаганда все больше принимают характер официальной государственной доктрины.

Трудно приходится героям Валентина, этим современным мальчикам, говорящим на супермодном жаргоне. Как ориентироваться им в сложном лабиринте жизни, как найти свой путь? Рулль мечется: должен же быть кто-то, кто скажет правду! Но кому и во что верить? От отца он долго ждет ответа на вопрос, который представляется ему самым главным: «Ради чего вы маршировали туда, по ту сторону Одера?» Но отец вместо ответа протягивает книгу нацистского писателя Ганса Гримма «Народ без пространства». А в школе? Директор Гнуц — помесь прусского унтер-офицера с чинушей новейшего образца. Он сокрушенно наблюдает за несколькими молодыми учителями, которые кажутся ему не в меру либеральными: «Нас Верден сделал мужчинами. Их Сталинград превратил в калек». Гнуц дает себе зарок, что наведет в своей гимназии «порядок», и нет нужды сомневаться: он наведет его. Учитель литературы доктор Немиц — хитрый приспособленец и карьерист — перед классом рисуется этаким вневременным правдолюбцем. Но Рулль знает, что учитель литературы, который сегодня на уроках вещает о Кафке, во времена Гитлера писал самозабвенные статейки в «Фёлькишер беобахтер».

И вот уже разговоры, странно смахивающие на речи самых озверелых реваншистов, возникают не только в учительской — иные из учеников начинают вторить старшим. И вот уже гимназист Тиц грезит о том времени, когда сможет отомстить за отца-эсэсовца и вернуть боевую славу, похороненную гитлеровцами на полях второй мировой войны. И вот уже настает момент, когда один из учителей не без страха предвкушает ядовитый вкус плодов, которые сам же помогает взращивать: «Дайте срок и этому Тицу и его дружкам, и в Германии будет новый рейх, прямое продолжение третьего». Исчезла мрачная символика гитлерюгенда, исчезли атрибуты нацистской школы, но не изменилось главное: будущее западногерманской молодежи отдано на откуп людям, сменившим свастику на черно-красно-желтые кокарды. Это они повинны в том, что и ныне из стен школы выходят юнцы, готовые в любой момент взять на вооружение лозунги фашизма.

Когда-то Гитлер заявил, что пожертвовать германской молодежью — не слишком высокая цена за то, чтобы добиться господства над Европой. Бесноватого фюрера давно уже нет в живых, но есть другие фюреры и фюреришки, которые выступают в роли воспитателей молодого поколения. Милитаристская пропаганда обрушивается на головы миллионов молодых немцев. Газетные киоски пестрят обложками «военных романов» — недаром мальчишки в романе Валентина зачитываются такими книгами, как «Подводные лодки у берегов Англии», «Танковые подразделения в Москве», «Ночные истребители над Африкой», а много ли надо юному Тицу, чтобы вообразить себе новый «дранг нах остен»?

Конечно, молодое поколение ФРГ состоит не только из бездумных и на все готовых молодчиков вроде Тица. Всей мощи официальной пропаганды с ее печатью, радио, телевидением, с ее дикими и бесчеловечными фильмами, визгливыми или скотски-сексуальными романами не хватит, чтобы оболванить всю молодежь, заставить ее добровольно превратиться в убойный скот. Не случайно именно так — «Убойный скот» — назвал свою нашумевшую пьесу западногерманский писатель Кристиан Гейслер. Отнюдь не все пассажиры его символического поезда склонны безропотно двигаться в неведомое. Жизнь все больше побуждает жителей Западной Германии внимательно прислушаться, приглядеться к тому, что происходит к востоку от границ ФРГ, в той части Германии, где нет ни Круппов, ни Фликов, ни Тиссенов, нет вообще монополий и где повседневно совершается истинное чудо социалистических преобразований. Естественно, что наибольший интерес к ГДР проявляет молодежь, вот почему так часто возникает на страницах романа Валентина разговор о демократической Германии. В молодых людях живет естественное стремление прорваться через паутину лжи, которую официальная пропаганда не устает плести вокруг первого в истории Германии государства рабочих и крестьян.

Но в том-то и заключается трагедия молодежи в ФРГ, что ее попытки узнать и понять правду по большей части остаются безрезультатными. И тогда неверие в отцов, «заварivших кашу», обращается скепсисом, грозящим перейти в цинизм.

Томас Валентин находит для своего романа иной финал: после всех поисков и разочарований его герой принимает хоть и помальчишечьи наивное, но подсказанное совестью решение: Рулль бежит в Польшу, ибо, как он говорит, там «немец больше всего обязан загладить свою вину». Учитель Грёневольд отвергает такое решение проблемы — с его точки зрения, естественнее оставаться в своей стране, чтобы здесь бороться «против несправедливости, лжи и насилия, за справедливость, правду, свободу». Смысл этого финала, да и всего романа в том, что писатель заставляет молодежь задуматься о своем пути, ощутить гражданскую ответственность за будущее страны.

И. Млечина

Против угрозы новой войны

Gegen den Tod. Stimmen deutscher Schriftsteller gegen die Atombombe. Stuttgart—Cannstatt, Studio Bibliotek I, 1964.

Книга, которую я сейчас держу в руках, вышла в свет в Федеративной Республике Германии. Книга под названием «Против смерти» появилась в стране, где так живуч дух реваншизма и где рынок наводнен всякого рода писаниями, прославляющими разбой, похождения гитлеровских ландскнехтов, жажду новых завоеваний.

«Против смерти» — книга публицистическая. Подобные издания уже стали в какой-то мере традиционными для ФРГ. Уже не первый раз там появляются сборники, посвященные острым вопросам политической жизни, где встречаются и порой сталкиваются разные мнения, которые в таком виде не могли бы найти места на страницах «большой» прессы. Для страны, где коммунистическая партия запрещена, где провозглашенная конституцией свобода печати давно уже стала формальной, это явление характерное.

В сборнике выступают более сорока авторов — писателей, ученых, людей других профессий. В нем опубликованы стихи, рассказы, статьи, высказывания. Это своего рода антивоенная антология.

Против атомной катастрофы, против угрозы новой войны в одном строю выступают писатели обеих Германий — ГДР и ФРГ. В антологии напечатаны произведения Арнольда Цвейга и Ганса Магнуса Энценсбергера, Стефана Хермлина и Оскара Марии Графа, Гюнтера Вайзенборна, Пауля Шаллюка.

Книга открывается предостережением Альберта Эйнштейна: «Мы обязаны предупредить, снова и снова предупреждать, ни на минуту не ослабляя усилий, чтобы довести до сознания народов мира и особенно их правительств: может разразиться страшное бедствие, если государства решающим образом не изменят своих отношений друг к другу и своего понимания будущего».

Высказывание знаменитого физика перекликается со словами Бертольта Брехта, прозвучавшими еще накануне второй мировой войны в одном из лучших его произведений «Жизнь Галилея». Ответственность ученого перед человечеством за судьбы мира и прогресса — вот идея этой пьесы, идущей и сейчас на многих сценах. Служение народу — высший закон для человека науки. Он не может беспринципно относиться к своим открытиям, он не должен допустить, чтобы достижения науки использовались в преступных целях. В книге «Против смерти» напечатано обращение Бертольта Брехта к людям всей земли, посланное им в 1952 году в Вену участникам Конгресса народов в защиту мира. Брехт не только говорит в нем об опасности, грозящей миру, но и решительно требует обуздать тех, кто готовится посеять смерть на земле.

В очерке «Японский рыбак» Анна Зегерс рассказывает о трагедии японских рыбаков, попавших в Тихом океане в смертоносную зону радиации, вызванной взрывом американской бомбы. Писательница гневно осуждает империалистов, играющих с огнем: «Сегодня в нашем общем небе над правыми и неправыми зловеще висит водородная бомба. Это чудовищное и последнее средство в руках тех, кто свои надежды возлагает на войну, так как все другие средства — угрозы, ложь, всякого рода приманки — уже не действуют».

Трагедия японских рыбаков явилась также темой статьи Генриха Бёля «Современник и атомная бомба» и стихотворения, созданного Вольфгангом Вейраухом по горячим следам событий. То, что произошло в мартовский день 1954 года с японскими рыбаками, пишет Бёль, мы еще, быть может, недостаточно осознали, не постигли размеров грозной опасности. «Дождь, который может на нас выпасть, воздух, которым мы дышим, будут содержать эту страшную смерть. Пекарь, ничего не подозревая, может замесить ее в хлеб, почтальон вместе с письмом принесет ее к нам в дом... Речь идет, таким образом, о жизни и смерти».

Конечно, не все в этом сборнике равноценно. Есть выступления абстрактные, без адреса, которые говорят об ужасах того рокового дня, который будто бы неотвратим. Авторы их старательно живописуют опустошение, которому подвергнется украшенная природой и трудом человеческим земля, страдания, которые будут переносить случайно уцелевшие люди. Безысходностью и глубоким пессимизмом веет, например, от рассказа Марии-Луизы Кашниц «День икс», стихотворения Дагмара Ника «Апокалипсис», Эриха Фрида «После того» и других.

А Людвиг Маркузе даже уверяет читателей, что никакие протесты, никакие марши не помогут делу мира, что все речи против холодной и горячей войны, все декларации людей доброй воли — «пустая болтовня».

Однако, как отмечает рецензент еженедельника «Ди андере цейтунг» Гейнц Брюдигам, «авторы сборника, несмотря на различные политические и религиозные убеждения, едины в одном: в сознании ответственности за судьбы человечества и жизни на Земле».

И. Голик

КНИГИ О ВОЙНЕ
КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Больше не должны звучать горны

David Bean. The Day of the Bugles. London, Secker and Warburg, 1964.

Торжественная церемония открытия памятника жертвам первой мировой войны в маленьком шахтерском городке Скорхэде на севере Англии. Звучат горны, спадает покрывало, открывается обелиск. На нем, среди других, имя шахтера Ральфа Конлона, погибшего где-то в Бельгии в последние дни войны. В толпе участников и зрителей церемонии — трехлетний Джеки Конлон, сын погибшего.

Историю его жизни, историю поколения, ставшего взрослым между двумя мировыми войнами, и рассказывает молодой английский писатель Дэвид Бин в своем первом романе «День, когда зазвучали горны».

Мы сказали: историю жизни. Да, эти слова, пожалуй, характеризуют не только содержание романа, но и его форму, его стилевые особенности.

Книга Дэвида Бина продолжает традиции английского биографического романа: она написана в повествовательной манере, ее действие, сосредоточенное вокруг судьбы центрального персонажа, развивается без сдвигов во времени.

Эта традиционность в книге Бина нигде не оборачивается эпигонством. Его роман современен в самом полном смысле слова — в нем подняты острейшие социальные и нравственные проблемы наших дней. Современен и стиль книги, динамика повествования, разбитого на законченные внутренне напряженные эпизоды, и речевые характеристики персонажей, и манера раскрытия их духовного мира.

На Бина несомненно оказали определенное влияние писатели, представляющие литературное направление так называемого «рабочего романа» — наиболее яркое в современной Англии,— Силлитоу, Стори, Барстоу и другие. От них — уменье передать атмосферу жизни рабочей Англии, воссоздать специфический быт, речь. От них и главная мысль книги, ее идейный стержень: автор разоблачает изнутри, через восприятие главного героя все ложные ценности, которые «те, кто наверху», хотят выдать за настоящие.

Сила романа «День, когда зазвучали горны» прежде всего в его антивоенном пафосе. И это вполне соответствует замыслу автора. Показывая войну с точки зрения рядового солдата — прием, разумеется, не новый,— Бин находит здесь свой, непохожий на других аспект: он сводит как бы в фокусе истинное содержание событий с той видимостью, которую стремятся им придать «те, кто наверху» в капиталистической Англии.

Это постижение истины через раскрытие противоречия между сущностью и видимостью вещей становится авторским приемом уже в той сцене в самом начале книги, о которой мы говорили.

В самом деле, местные тузы: владельцы шахты, помещик, их разряженные супруги — делают вид, что герои, чьи имена выбиты на камне, отдали жизнь за высокие идеалы — свободу, демократию, прогресс, родину. А незримо присутствующий автор своим саркастическим комментарием вскрывает истинную суть того, что произошло. Нет, говорит он, Ральф Конлон погиб не во имя высокой цели, которую ясно видел перед собой. Его смерть — одна из бесчисленных и чудовищных случайностей бессмысленной войны.

Дэвид Бин, однако, вовсе не пацифист. И в этом плане очень интересны главы книги, посвященные второй мировой войне, которая для большинства английских солдат была не только войной против фашизма, не только «битвой за Англию», но и сражением за Англию демократическую, за новое послевоенное переустройство всей жизни страны. Эта вера в лучший послевоенный мир, за который уходили сражаться Джеки Конлон и люди его поколения, оказалась обманутой. Не удивительно поэтому, что Бин, глядя на события второй мировой войны из Англии шестидесятых годов, прежде всего ощущает и передает читателю всю горечь этих обманутых надежд. Да, мир удалось спасти от угрозы фашизма, но ничего не изменилось в самой Англии ни в 1945 году, ни позже, ни в особенности теперь, а если изменилось, то лишь к худшему. Выходит, что жертвы были напрасны. Бин готов был бы признать всю героику и высокие идеалы освободительной войны, но сейчас для него важнее всего напомнить, насколько огромны жертвы, насколько несоразмерны с результатами, достигнутыми в самой Англии.

Отсюда страшные эпизоды боев в пустыне у Тобрука и Эль-Аламейна, бессмысленная гибель товарищей Джеки Конлона и поразительное по своей разоблачительной силе, почти гротескное описание боя, за который Конлон получил свой Крест Виктории. Отсюда и заключительная сцена романа.

Снова открывают памятник в Скорхэде. На этот раз на полированной глади все того же — и это знаменательно — обелиска выбиты имена новых героев, тех, кто пал в сражениях второй мировой войны. Снова звучат горны, снова произносят речи, и снова в толпе Джеки Конлон. Ему теперь сорок лет. Среди новых имен на обелиске имя фронтового товарища Конлона — Джима Спэргоу. Это его и еще троих английских солдат убил Джек Конлон в кровавой неразберихе Дюнкерка, когда никто не понимал, что происходит, и часть Конлона вела огонь по своим. Этот бой вспоминает Джеки, когда звучат горны. И движимый внутренней необходимостью хоть как-то разоблачить очередную ложь, он снимает свой Крест Виктории — единственный высший военный орден в округе — и кладет его на ступени у основания обелиска.

Затем, повернувшись спиной к оратору, он молча уходит прочь.

В отличие от многих других писателей направления «рабочего романа» Дэвид Бин, однако, не ограничивается этим, пока еще пассивным неприятием лжи и фальши окружающего мира, характерным для героя книги. Он идет дальше Стори и Барстоу, его гуманизм действеннее. И если многие коллеги Бина возводят аполитичность своих героев в принцип, декларируя их нежелание прикасаться к тому лживому и прогнившему, что являет собой политика «тех, кто наверху», то Бин, наоборот, утверждает политическую борьбу рабочего класса как единственную возможность оздоровить общество и восстановить социальную справедливость.

Это относится и к периоду между двумя войнами, в показе которого Бин несомненно обнаруживает глубокое идейное родство с прогрессивными литературными традициями тридцатых годов, и к Англии годов шестидесятых.

Сын Джеки Конлона Ральф-младший — мы покидаем его уже юношей — видит и старается осмыслить причины тех явлений и событий, которые раздавили и лишили веры в жизнь его отца. Ральф пытается разобраться в будущем с позиций борьбы, с позиций классовых и как бы принимает эстафету у поколения тридцатых годов. Это поколение представлено в романе прежде всего Биллом Конлоном — дядей Джека. Образ Билла — важнейший в книге для понимания позиции самого автора — дан в сопоставлении с другим характером, весьма типичным для современной Англии, старшим братом Джеки Ральфом Конлоном. Билл — человек убежденный в действенности марксистских идей, закаливший свою убежденность в классовых боях тридцатых годов и в схватках с фашизмом у стен Мадрида. До глубокой старости сохраняет Билл этот живой огонь, оставаясь интернационалистом и в дни шовинистического угара.

Ральф-старший — его антипод. В тридцатые годы, будучи безработным, он участвовал в стихийных выступлениях рабочих. Тогда же он приобщился к марксизму. Но марксизм всегда оставался для Ральфа лишь догмой, лишь мертвой буквой, оторванной от повседневной жизни и борьбы его товарищей. Ральф Конлон сделал социализм своей профессией — он стал сначала профсоюзным деятелем из тех, кого рабочие зовут «боссами», а потом членом парламента. Куцая «национализация» промышленности, так называемое участие рабочих в управлении экономикой страны, все то, что Билл разоблачал как ложь и обман, а Джеки воспринимал как гибель своих надежд, Ральф превозносил с официальных трибун.

Осуждая Ральфа, Бин выворачивает наизнанку и выставляет напоказ всю фальшь так называемого «государства благоденствия», всю лживость псевдопатриотических лозунгов «защиты отечества», тех самых, что когда-то стоили жизни отцу Джека, а сегодня прикрывают создание объединенных атомных сил, баз для американских подводных лодок на английской территории.

Книга Дэвида Бина — страстный призыв не допустить новой войны, сделать все, чтобы никогда больше не зазвучали горны военной тревоги. И Бин верит, что самый младший из Конлонов и его сверстники услышат этот призыв.

И. Кулаковская

Репортаж с винтовкой в руках

Письма из Южного Вьетнама. Ханой, Издательство литературы на иностранных языках, 1964.

Из впечатлений о Демократическом Вьетнаме во время зимней поездки этого года запало в память посещение одного сельского кооператива неподалеку от Ханоя. После того как крестьяне рассказали нам о своих делах, они подвели нас к небольшому домику, чем-то напоминавшему нашу южнорусскую или украинскую мазанку. Оказалось, что это был предмет особой гордости местных жителей: «самодеятельный» музей, посвященный истории села.

Музей не претендовал на профессиональное оформление, но каждый экспонат в нем говорил не менее красноречиво, чем хорошо оформленный зал в большом музее. Вот первый экспонат: фотография человека, запряженного в соху. Так пахали при колонизаторах. Дальше лежат заржавевшие от времени гранаты и самодельные бомбы, самодельные обрезы и пики. Этим оружием били оккупантов. Потом фотография: три отрубленные головы местных крестьян, выставленные колонизаторами для устрашения. Квадратный лоскут красной материи с побелевшей от времени звездой — знамя партизанского отряда. Фотография первой дружной пахоты на освобожденной земле. Первая школа, выстроенная самими крестьянами. Первая почетная грамота, полученная кооперативом за хорошую работу...

Глядя на все это, я вспомнил маленькую книжку, приобретенную в Ханое, — «Письма из Южного Вьетнама» и строки одного письма, которые звучали своеобразным аккомпанементом к скупым экспонатам сельского музея, показывая всю силу убежденности борцов Южного Вьетнама в неизбежности их победы.

Каждое из напечатанных в сборнике писем от товарищей, родных, близких и любимых, оставшихся южнее 17-й параллели — по ту сторону стены, воздвигнутой американцами и их марионетками, дошло

до адресата нелегким путем, многие руки проносили его через походы в оборонительных линиях, тайными тропами в джунглях. Они говорят о разном: о страданиях обездоленных и оскорбленных на оккупированной территории, о пафосе борьбы бойцов Национального фронта освобождения, о помощи простых людей партизанам, о высоком духе патриотов, которых не могут сломить ни казни, ни напалм, ни бомбы.

Вот письмо из так называемой «стратегической деревни» — одной из многих, созданных американцами по всему Южному Вьетнаму для того, чтобы изолировать население от частей Национального фронта освобождения. Из такой маленькой деревушки, обнесенной высокой и густой изгородью, людям не разрешалось сделать ни шагу. Там жили они впроголодь, в тесноте, вместе с домашним скотом. «Принуждение к тяжелым работам,— пишет автор письма,— грубый грабеж стали обычными».

Мужа одной женщины по имени Шау разбил паралич. Однако каратели требуют, чтобы он работал или же уплатил восемьдесят пиастров. Но «откуда взять эти деньги, когда в семье не осталось ни зернышка риса?» И Шау решила остричь волосы и продать их — хотя есть ли для вьетнамской женщины большее несчастье и позор!

И когда народ поднялся, чтобы разрушить «стратегическую деревню», то впереди всех шла женщина «с головой, плотно обвязанной платком».

А вот образ старухи, решившей во что бы то ни стало выручить партизан, атакованных с суши и с воздуха американо-дьемовцами. Еще вчера самым ценным для нее и других крестьян была солома — единственный корм для коров на весь сезон дождей. Но в тот момент...

Впрочем, вот как описывает этот случай сестра в письме брату, живущему к северу от 17-й параллели: «Я смотрела на тетушку, еще не понимая, что она делает. Она вытащила целую кучу соломы, схватила охапку поленьев, положила на солому и подожгла. Поднялся большой столб дыма. Только теперь я поняла ее. Но этот столб дыма был не в состоянии закрыть землю от глаз летчиков. Они уже обстреливали наших в поле. Тетушка закричала: «Нам, иди сюда! Люди! Поджигайте поле, поджигайте, спасайте наших!» Соседи, в большинстве старухи, женщины и дети, побежали в поле. Каждый поджигал стерню, траву, кучи хвороста и поленьев пробкового дуба, оставленные в поле для просушки. Занялся огонь. Ветер погнал клубы дыма на поле боя. Самолеты начали обстреливать крестьян... Все разбегались с горевшей соломой в руках под жестоким огнем врага. Огонь горел на всем поле. Черный дым застлал небо. Чем дальше ширилось море огня, тем гуще поднимался дым. Клубы темного дыма покрыли поле боя. Прекратив стрельбу, самолеты с воем кружились в высоте над полем. Улучив удобный момент, бойцы самообороны поднялись в атаку... Они продолжали преследовать врагов до самого берега реки».

Безыскусные строки писем проникнуты неподдельным чувством, а подчас и подлинным поэтическим порывом. В Ханое мне говорили, что каждый вьетнамец в душе — поэт. И если нахлынули чувства, то стихи рождаются тут же, сами собой. Авторы многих писем настолько переполнены чувством, что кажется, будто взволнованные слова вот-вот сами выстроются в стихотворные строки и строфы.

Боец отряда Национального фронта Нгуен Нгок Б. пишет своим землякам на Севере: «Сколько образов из жизни Северного и Южного Вьетнама возникает в моем мозгу, они не тускнеют, они вызывают бесконечную тоску:

Сколько тоски,
Сколько бесконечной любви,
Временно нам надо быть далеко друг от друга,
Обещаем встретиться в тот день, когда на небе рассеются облака.

Какое счастье будет в день воссоединения и встречи, друзья!»

А вот еще строки об истоках веры народа: «И в дни особенной печали, в дни самые темные народ утешает себя... и поет:

Смотрим на гору Тхиен-тхай,
Вспоминаем тех, кто делал революцию, помним всех и все...
Пока будут зеленые горы, пока будет революция,
Жизнь нашего народа будет светлой!»

«Жизнь нашего народа будет светлой!» Эти строки могли бы послужить лучшим эпиграфом к этой небольшой книжке писем — своеобразному коллективному репортажу с винтовкой в руках.

С. Беглов

Лицом к огню

Madeleine Riffaud. De votre envoyée spéciale. Paris, Editions français réunis, 1964.

На обложке портрет Мадлен Риффо. Волевое, энергичное, обаятельное лицо. Такой мы видели ее совсем недавно. В Париже. И в Москве. А под портретом знаменательные строчки: Париж — 1944... Берлин — 1952... Вьетнам — Алжир — 1952—1962... Ханой — Хайфон — 1954... Орлеанвиль — 1954... Оран — 1962... Константина — 1956... Париж — 1961... Сайгон... Бизерта...

Этапы славной боевой жизни и деятельности Мадлен. Всегда на линии огня. Всегда в бою. Бой этот не прекращается вот уже двадцать лет. Не раз фашисты покушались на жизнь Мадлен. И всегда эта хрупкая женщина — коммунистка, член «партии расстрелянных» — возвращалась в строй.

Признательный эпиграф другого бойца передних линий, писателя Пьера Куртада. И взволнованное предисловие Этьена Фажона, директора «Юманите», и прекрасный портрет юной Мадлен, написанный Пикассо, и портреты реальных персонажей книги — юных парижан, алжирцев, тунисцев,— испытанных борцов за свободу, и подростков — африканских и азиатских гаврошей...

Все это сразу вводит нас в бурную атмосферу событий, которые описываются в этой поистине замечательной книге.

«От вашего специального корреспондента». Это не роман. Это не мемуары. Это даже не очерки. Это — боевые корреспонденции, написанные в разгар боев, с линии огня. Это репортаж прекрасной журналистки, поэта, истинного «комбатанта». Репортаж человека, который никогда не был «окопным туристом», а всегда сам находился в центре сражений, был «тружеником битв» («prolétaire des batailles»), по очень точному определению Анри Барбюса. Это целая цепь оперативных сообщений по телеграфу, по телефону, сообщений, публикация которых не может ждать ни минуты, сообщений острых, темпераментных, гневных и лиричных. Корреспонденции перемежаются стихами. О силе стихов Мадлен Риффо не раз говорили и Элюар, и Арагон.

— В стихах ее,— сказал Поль Элюар,— слышался отзвук биения миллионов сердец.

И все это читается как лучший роман. А среди многочисленных его персонажей — в центре — сам автор (почти ничего не говорящий о себе!). Всегда юная, страстная, отважная, никогда не равнодушная — наша Мадлен.

Еще не достигнув восемнадцати лет, студентка Мадлен Риффо вступила в ряды борцов парижского Сопротивления.

1944 год. Арест. Пытки. Приговор к смерти. В тюрьме Френ она пишет песню о великом мужестве перед лицом самой смерти.

Освобождение. Новые бои. Нападение на фашистский поезд на вокзале Бельвиль-Виллет. Группа, возглавляемая Мадлен, забрасывает фашистов гранатами, отрезает им путь к отступлению, берет пленных.

За боевые заслуги Мадлен награждена высшей наградой — «Военным крестом с пальмами» и многими другими знаками отличия.

Парижские улицы в те августовские дни восстания. Отражение атаки немецких «тигров» на баррикады повстанцев.

Как выразительна маленькая новелла о юном Гавроше Сопротивления. Он был еще очень молод, и ему не давали оружия. Но он сам раздобыл где-то гранату и гордо повесил ее на поясе. Показалась немецкая машина. Он первый хотел поразить врагов. Он вырвал предохранитель и уже замахнулся... Но внезапно увидел, что в машине — свои. До взрыва гранаты — считанные секунды. Бросать гранату нельзя. И мальчик лег на гранату, чтоб она, взорвавшись, не поранила друзей.

...Я листаю эти горячие страницы. И вместе с Мадлен переношусь во Вьетнам.

Мадлен Риффо.

Рисунок Пикассо

Стихи переплетаются с боевыми донесениями. И как боевые донесения звучат стихи.

Грязная война... Французские самолеты бомбят Хайфон. Напалмом выжигают мирные города и селения. Сотни тысяч вьетнамцев гибнут от огня колонизаторов. Да и в каждой французской семье — траур. Мужественный моряк Анри Мартен отказался воевать в Индокитае. Его бросают в тюрьму. Его судят.

По всей Франции, по всему миру разносится клич: «Освободите Анри Мартена!» Грузчики, моряки, металлисты, строители выходят на улицы французских городов с плакатами: «СВОБОДА МАРТЕНУ!», «ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!».

В этой общей борьбе значительную роль играют гневные, страстные строки Мадлен. «От вашего специального корреспондента». По телефону.

А потом Международный фестиваль молодежи в Берлине. Мадлен встречается с делегатом борющегося Вьетнама, тогда молодым поэтом Нгуен Дин Тхи. Жаркие, долгие беседы. Поэт рассказывает о насилиях колонизаторов, о выжженной земле, о вьетнамских борцах за свободу.

...Я вижу эту берлинскую ночь. И этих двух собеседников — двух поэтов: хрупкую,

неутомимую Мадлен и бронзового, собранного, как пружина, Нгуен Дин Тхи.

И снова целая цепь корреспонденций Мадлен. В «Ви увриер», в «Юманите».

О том, как мужественно борются патриоты, они знают, что истинная Франция — не кровавые парашютисты, а Анри Мартен и Раймонда Дьен.

Об индокитайских Орадурах. О том, как сожжены были парашютистами три девочки: Хуонг (Аромат), Тхи (Нежность) и Ван (Радость).

О том, как, вернувшись в свою деревню, старая мать нашла голову сына, посаженную на бамбуковый кол...

О том, как маленькие школьники продолжают учиться ночью в джунглях, в окопах при свете масляных ламп.

А потом — Женева. Город переговоров. Не удалось колонизаторам сломить сопротивление вьетнамского народа. Весь мир требует прекращения огня во Вьетнаме. Люди доброй воли добились победы — 21 июля 1954 года огонь прекращен.

Мадлен передает об этом в Париж по телефону. И голос ее дрожит от волнения. Больше не повезут поезда солдат и оружие во Вьетнам. У Анри Мартена и его жены Симоны родилась дочь.

Жизнь побеждает.

Но... бдительность, бдительность и еще раз бдительность.

Индокитай разделен. И в Южном Вьетнаме свирепствуют колонизаторы.

Она столько слышала, Мадлен, об этой стране и столько писала о ней. Вьетнамские джунгли часто видела она во сне. Она должна увидеть их наяву.

И она поехала во Вьетнам.

В военном «джипе» Мадлен исколесила всю страну. Она видела остатки проволочных заграждений, рвов, дотов. Последние французские солдаты покидали страну. И десятки вьетнамцев в городах, деревнях, джунглях рассказывали французской писательнице о том, как ждали они освобождения. Кончилось время, когда они «питались ветром и спали на тумане»...

— Вы можете описывать, конечно, и пейзажи,— сказал ей при встрече президент Хо Ши Мин.— Но обратите больше внимания на наших людей.

Корреспонденции Мадлен Риффо из Вьетнама — это цикл новелл-исповедей.

Галерея ее персонажей многообразна. Но особое внимание, как всегда, уделяет она детям, вьетнамским гаврошам. Один был «адъютантом небесного стража». Его пост был высоко на горе. Он следил за воздухом, предупреждая о налетах. Другой был связным у партизан в джунглях. Третий — чтецом у неграмотных стариков и старух.

Сколько замечательных людей повстречала она в этой стране. 25-летняя партизанка Шан. Мадлен протянула ей руку, но... Шан оказалась безрукой. Она трудилась с семи лет на плантациях сахарного тростника, потом на заводе. Машина оторвала ей руки. Хозяин выбросил ее на улицу. Она хотела умереть. Но жизнь победила. В годы войны Шан, безрукая, носила на плечах партизанам тяжелые корзины с продуктами. Она научилась писать заостренным бамбуком на широких древесных листьях. И обучила сотню партизан.

Мадлен крепко обняла ее. А слепой Лай Ван Вьет, который был вожаком партизан? Разве не был он героем из легенды?

Тысячи километров пути. Сотни встреч. Ей не хотелось расставаться с новыми друзьями. Но разгорелся пожар на другом континенте, в Африке — в Алжире.

И она спешит туда. Снова на линию огня. И снова читатели «Юманите» и «Ви увриер» слышат голос Мадлен Риффо. «От вашего специального корреспондента».

Маленький алжирец Амар. (Его смышленое, гневное и озорное лицо запечатлено на одной из фотографий, украшающих книгу Риффо.) Амар — чистильщик обуви. Он закрывает лицо, когда «французская тетя» пытается сфотографировать его. Он не хочет, чтобы его снимали на коленях, за чисткой французских сапог.

Как и вьетнамские ребята, Амар подружится с этой необычной французской тетей...

И опять сотни и тысячи километров в пути. Здесь нет джунглей. Здесь пустыня. Верблюды. Редкие оазисы. Но и здесь жестокость колонизаторов, держащих в плену целый народ. Это арсенал Европы. Среди пальм — радары и аэродромы. Изнурительный труд шахтеров в белых тюрбанах, испачканных угольной пылью.

История Алжира — это история убийств и насилий. Французский генерал Гарбе цинично сказал: «Насилие составляет здесь часть фольклора».

Как звенит ее возмущенный голос:

— Французы, и вы можете жить с этим ножом в сердце? И вы можете выдержать взгляд человека, у которого изнасиловали жену, взгляд матери, у которой отняли сына, взгляд ребенка, оставшегося бездомным?..

Сигналом к восстанию звучит первый выстрел алжирской революции в стране скал, солнца и ветра, в Ореесе 1 ноября 1954 года.

Корреспонденции Мадлен Риффо — точно летопись алжирской войны, страницы обвинительного акта.

Мадлен приезжала в Париж, участвовала в демонстрациях протеста, беседовала с французскими солдатами в поездах, отправляемых на фронт, писала статьи, очерки, стихи и песни. И снова возвращалась в Алжир, на линию огня. Она узнала о том, что ее маленький друг Амар больше не чистит французских сапог. Что он воюет в маки, в горах, за свободу родины. И она написала в «Юманите» о горечи, которую испытывали многие французские юноши, посланные воевать с алжирскими гаврошами.

Она писала о безымянных борцах и о жестоких карателях. Часто газету «Юманите» запрещали именно из-за ее правдивых корреспонденций. Часто белые пятна (цензура!) зияли на полосах газеты. Но на следующее утро газета опять выходила

И опять на всю Францию звучал голос Мадлен Риффо. «От вашего специального корреспондента»...

Она сумела проникнуть в тюрьму города Константины, видела заключенных в кандалах, видела гильотину во дворе тюрьмы и написала в «Юманите» правду о жестоких пытках, правду, которую отрицал министр Андре Мальро.

Она бросила перчатку в лицо Мальро, поведав о трагической судьбе Башира Мекки, Башира Мерада, Хосина Джелфи (в лагере Боссюэ) и Мухаммеда Ламара в одной из парижских тюрем.

Она рассказала правду о гибели молодого ученого Мориса Одена, арестованного вместе с Анри Аллегом. На суде его место между Анри Аллегом и Ахмедом Аккашем пустовало. Он будто бы бежал и бесследно исчез. Но в действительности он был замучен палачами.

О «деле Одена» заговорил весь мир, возмущенный зверствами французских фашистов.

Корреспонденция Мадлен об убийстве адвоката-кабильца Ольд Одиа взбудоражила весь Париж. Похороны Одиа превратились в массовую демонстрацию. А Мадлен писала в «Юманите», что убийцы и палачи бродят на свободе и убивают вновь и вновь.

Она писала о пытках на улице Соссе, в том самом доме, где ее в сорок четвертом году пытали гестаповцы. Быть может, и орудия пыток перешли к французским палачам по наследству.

А потом она поехала в Тунис, куда были эвакуированы алжирские дети. На страницах «Юманите» появились ее корреспонденции «из ада».

В результате очерков Мадлен, в результате кампании, поднятой «Юманите», в Тунис хлынули потоки медикаментов и продовольствия для детей Алжира. А как бичевала она деголлевского министра Дебре, пытавшегося задержать транспорты, обрекавшего на смерть тысячи маленьких алжирцев. Она напомнила слова Арагона:

Еще раз между зеркалом и тобой
отныне глаза мертвых детей...

«Я обличаю господина Панона,— бросила она в лицо префекту парижской полиции.— Довольно политики гильотины!»

Война в Алжире окончена. Но французская реакция не унимается. Провокационный налет на мирный Тунис. Бомбежка Бизерты.

Мадлен Риффо среди вьетнамских партизан

Мадлен Риффо уже там. Ей угрожают, ее машину обстреливают. Но ничто не может остановить ее.

Мне пришлось побывать в тот год в Тунисе и слышать, с какой любовью произносят там имя Мадлен Риффо.

Зима 1962 года. Снова Париж. Бесчинства оасовцев. Убийство рабочего Буасье. Расстрел полицией мирной демонстрации. 9 убитых и среди них юноша Даниэль Фери. Всеобщая забастовка протеста. Похороны жертв. Миллион парижан движется к Пер-Лашез. Боевая корреспонденция Мадлен «Убийцы!».

Оасовцы снова зверствуют в Алжире. Мадлен в Кабилии, в Константине, в Оране.

«Оран в огне,— сообщает она по телефону в «Юма».— Черное от дыма небо».

...Она находилась в ста метрах от телефонной станции Орана, когда та взлетела на воздух.

Маленький автомобиль Мадлен Риффо еле выбрался из горящего города. Но тут ее настигли оасовцы. На полной скорости в автомобиль Мадлен врезалась большая машина. Сноп огня. Потеря сознания.

Друзья-алжирцы не дали ей попасть в руки оасовцев. Очнулась она в госпитале. Раненая, она все же потребовала телефон. И продиктовала последнее сообщение в «Юманите». «От вашего специального корреспондента».

Потом ее доставили на самолете в Алжир. Это была ночь с 30 июня на 1 июля. Через несколько часов Алжир голосовал за свою независимость.

Перелистываешь последнюю страницу книги Мадлен Риффо, и опять возвращаешься к началу, и долго вглядываешься в ее лицо, и слышишь ее грудной, до самого сердца доходящий голос.

...Автор книги опять на боевом посту — Южный Вьетнам в огне. «Юманите» сообщает крупным шрифтом на первой полосе: «Наша специальная корреспондентка в Южном Вьетнаме Мадлен Риффо прислала нам первый рассказ о битве при Трюнг Бо».

«Я вам пишу из далекого далека,— сообщала Мадлен.— Я не знаю, дойдут ли до вас эти строчки. Потоки огня низвергаются на лес, и маленькая замаскированная лампочка, мерцающая рядом с моей пишущей машинкой, светится одиноким огоньком в ночи джунглей».

Бок о бок с героическими вьетнамскими партизанами шагала Мадлен, как когда-то рядом с борцами французского Сопротивления. Она была под огнем американских бомбардировщиков, она испытала все трудности боевых будней. Она писала о том, что слово «невозможно» исключено из лексикона вьетнамских партизан. Слова «независимость, мир, демократия» начертаны на их боевых знаменах. Она писала и о том, как налаживается новый быт в джунглях, как учатся дети в замаскированных школах, как героически работают врачи, создающие новые лекарства, исцеляющие от эпидемий, от укусов ядовитых змей.

В феврале 1965 года Мадлен Риффо вернулась в Париж. Она привезла с собой новую книгу... Сотни тысяч французов увидели на телевизионных экранах первый южновьетнамский документальный фильм, который сопровождала своими комментариями Мадлен Риффо. Коробки, где находились ленты, уцелели чудом. Не раз операторов засыпала земля, взметенная осколками бомб.

А когда парижские патриоты, возмущенные американскими провокациями, собрались перед зданием американского посольства, в первых рядах демонстрантов были Мадлен Риффо, Раймонда Дьен и Анри Мартен.

...Каждое утро десятки тысяч читателей «Юманите», получив свою любимую газету, прежде всего читают очерки с переднего края, главы нового документального романа одной из самых героических журналисток мира, боевого друга и соратника вьетнамского, тунисского, алжирского народов — Мадлен Риффо.

«От вашего специального корреспондента»...

Александр Исбах

В Болгарии завершено издание собрания сочинений М. А. Шолохова в 8 томах (на снимке — один из томов).

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

КНИГИ М. А. ШОЛОХОВА ЗА РУБЕЖОМ — СЕГОДНЯ

Исполнилось шестьдесят лет со дня рождения выдающегося советского писателя Михаила Александровича Шолохова. Имя его известно во многих странах мира. Шолоховские произведения переводились и продолжают переводиться на десятки иностранных языков. Мы публикуем несколько сообщений о последних переводах произведений М. А. Шолохова и о событиях культурной жизни, свидетельствующих о популярности его творчества за рубежом.

Издательство Германской Демократической Республики «Фольк унд вельт» подготовило собрание сочинений Шолохова в 9 томах. Осенью этого года выйдут в свет два первых тома: «Ранние рассказы» и «Рассказы и публицистика».

В Норвегии недавно вышел сборник, включающий 11 ранних рассказов Шолохова. В связи с этим критик Мартин Наг писал в газете «Фрихетен»: «Это суровые, красочные рассказы, проникнутые живым обаянием и гуманизмом. В них правдиво воссоздается картина страны, которая начала строить новую жизнь. Автор рассказывает о том, как великий русский народ... осознал свою силу и взял свою судьбу в собственные руки».

В Демократической Республике Вьетнам хорошо знакомы с героями шолоховских произведений. В стране были переведены и изданы за последнее время «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека».

В журнале «Иллюстрейтид уикли оф Индиа» напечатан отзыв писателя Мулка Радж Ананда о «Донских рассказах». Индийский писатель называет их «классическими произведениями, которые по силе воздействия на читателя можно сравнить с «Севастопольскими рассказами» Л. Н. Толстого.

В Индии шолоховские произведения — «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Донские рассказы», «Судьба человека» — в самое последнее время выходили на языках бенгали, тамили, телугу, пенджаби, гуджерати, малаялам.

Новое издание «Тихого Дона» выпущено в свет издательством «Геликон» (Венгрия).

Государственный издательский институт Польши (ПИВ) подготовил к выпуску новое, иллюстрированное издание рассказа Шолохова «Судьба человека». Книга будет представлена на международном издательском конкурсе в Лейпциге.

Театральный коллектив Мингэй (Япония) под руководством режиссера Уно Дзюкити показал инсценировку «Поднятой целины».

Японское издательство «Синтио-ся» ежегодно переиздает «Тихий Дон» и «Поднятую целину». Рассказ «Судьба человека» вышел недавно одиннадцатым изданием.

В Англии начиная с 1959 года «Тихий Дон» издавался пять раз. «Донские рассказы» за последние три года были изданы дважды.

Герои произведений Шолохова близки трудящимся революционной Кубы, где осуществлено издание «Поднятой целины» и первого тома «Тихого Дона».

В связи с выходом во Франции «Поднятой целины», в еженедельнике «Леттр франсез» была опубликована большая статья Андре Вюрмсера, посвященная творчеству Шолохова. Незадолго до этого было завершено издание «Тихого Дона», работа над переводом которого велась в течение нескольких лет.

В Болгарии в издательстве «Наука и жизнь», по сообщениям печати, готовится к выпуску исследование «М. А. Шолохов. Идеи, образы, распространение в Болгарии».

Произведения Шолохова популярны в странах Латинской Америки. В Аргентине изданы «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека».

Второе издание «Тихого Дона» выпущено в США; первое издание было предпринято в 1959 году. Критики сравнивают это произведение с «Войной и миром» Л. Н. Толстого.

В течение последнего года «Тихий Дон» выпущен в Финляндии, ФРГ, Ливане.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

СТИХИ ЭЙЛИН ПАЛМЕР

Вышла книга Эйлин Палмер «Мир без чужих?», где впервые собраны стихи разных лет, созданные этой писательницей — одной из представительниц знаменитой в истории австралийской литературы семьи Палмеров. Окончив в 1935 году Мельбурнский университет, Эйлин Палмер уехала в Испанию и в рядах интербригад защищала завоевания Республики. В сборнике есть произведения, посвященные героям этой битвы с фашизмом, объединившей людей разных национальностей и гражданства, например «Вспоминая Гарсиа Лорку», стихи о Джоне Корнфорде и др. Эйлин Палмер включила в книгу и сделанные ею вольные переводы из Пушкина, Гейне, Арагона, Гильена. (Она известна также как переводчица вьетнамской поэзии.)

По словам рецензента газеты «Трибюн», сборник «Мир без чужих?» «обнаруживает поэта чуткого, интернационалиста по духу... В произведениях Эйлин Палмер есть эмоциональная сила, ум и мастерство».

АВСТРИЯ

В венском выставочном зале «Альбертина» открыта выставка произведений умершего пять лет назад известного художника Георге Гросса, которого преследовали во времена нацизма. Среди его работ — значительное количество антивоенных. Здесь воспроизводится сатирический рисунок Гросса «Генералы».

(Газета «Фольксштимме»)

АНГЛИЯ

«ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ»

Печать сообщает о выходе сатирического научно-фантастического романа Майкла Фрейна «Оловянные солдатики». Действие его происходит в некоем научно-исследовательском институте автоматики, где проводятся эксперименты с электронными вычислительными машинами. Определенным образом программированные автоматы-роботы проходят специальную проверку. Однако они не сразу улавливают нюансы «поведения» в современном капиталистическом обществе.

Как должны поступить два автомата, находящиеся на плоту, который может выдержать вес только одного? Что делает добросовестный автомат? Он определяет данные другого автомата, приходит к выводу, что тот совершеннее,— и сам «прыгает» в воду! Руководство института недовольно: здесь явная ошибка в программировании! Ставится новая задача: наладить производство таких автоматов, которые, оказавшись в подобной ситуации, сбросят с плота «лишний вес», а не будут заниматься самопожертвованием...

По сравнению с «этикой» автоматов этика руководства института не нуждается в комментариях. С сарказмом описывает автор сцены подготовки бюрократического аппарата — высших чи-

новников от науки — к приезду коронованной особы, которая согласилась торжественно открыть новый филиал института. Чиновники рады: наконец-то нашлось занятие по их «способностям». В институте уже давно все делается вычислительными машинами, но беда в том, что электронный мозг не может понять ни подхалимства, ни глупой суеты вокруг приема монарха.

Рецензент журнала «Обзёрвер» называет роман Фрейна «Оловянные солдатики» «остроумнейшей сатирой на английскую современность».

КАК ЭКРАНИЗИРУЮТСЯ РОМАНЫ

Роман Алана Силлитоу «В субботу вечером, в воскресенье утром» и повесть «Одинокий бегун», как известно, послужили материалом для двух английских фильмов, демонстрировавшихся в последние годы во многих странах Европы и в США. В связи с успехом этих фильмов во Франции редакция еженедельника «Нувель обсерватёр» попросила Силлитоу рассказать, как он создавал сценарии по своим произведениям.

В статье Силлитоу высказаны некоторые интересные мысли об экранизации литературных произведений.

«Как экранизируются романы? Это очень сложная задача, которая никогда еще не была разрешена достаточно успешно,— писал Силлитоу в своей статье.— Причина очень проста: проекция книги на экран, преобразование одного вида искусства в другой в художественном плане никогда еще не осуществлялись безболезненно... Режиссеры, которые при экранизации всецело полагаются на роман, как правило, проваливаются и создают просто развлекательные фильмы».

Силлитоу рассказал о том, как получил предложение экранизировать роман «В субботу вечером, в воскресенье утром». «Я совершенно не разбирался в современных течениях в кино и не понимал, как можно сделать фильм на основе моего романа,— продолжал писатель,— и сказал об этом продюсеру Гарри Зальцману, на что тот ответил:

— А вы сами напишите сценарий!

— Но я никогда в жизни не писал сценариев!

— Тем лучше! Сейчас речь идет о фильме нового жанра.

Я согласился, исходя только из тех соображений, что если кто-нибудь другой будет писать сценарий, то роман наверняка исказят. Чтобы восстановить близость с героями, мне пришлось раз двенадцать перечитать роман. Только тогда я снова овладел темой и начал думать о сценарии».

Английский режиссер и сценарист Ричард Брукс работает над экранизацией романа «Лорд Джим» известного писателя конца прошлого и начала нынешнего века Джозефа Конрада-Коженевского, который в двадцатилетнем возрасте вынужден был покинуть свою родину — Польшу — и поселиться в Англии. «Я хочу, чтобы все поняли Конрада,— сказал Брукс в беседе с корреспондентом польского еженедельника «Экран».— Потому что понять его — значит полюбить». На снимке: кадр из фильма «Лорд Джим»; в заглавной роли — Питер О'Тул.

(Еженедельник «Экран»)

БИРМА

СОКРОВИЩА ВОЗВРАЩЕНЫ

...Это произошло в 1885 году. При захвате Бирмы английскими войсками были вывезены из Мандалайского дворца бесценные сокровища бирманского народа, известные под названием

«Мандалайские регалии». В них входило 167 предметов, главным образом изделий из золота, искусно выполненных в народных традициях замечательными бирманскими мастерами.

Только благодаря счастливой случайности «Мандалайские регалии» не постигла судьба многих других сокровищ, захваченных колонизаторами в Бирме и в других странах: уникальная по своей художественной ценности коллекция не была продана с аукциона, а попала в один из музеев Англии.

Сразу же после провозглашения независимости правительство Бирмы начало переговоры о возвращении «Регалий», однако только недавно, как сообщает корреспондент журнала «Истерн уорлд», английские власти вынуждены были уступить.

Передача «Мандалайских регалий» состоялась без всякой шумихи. Да это и понятно: слишком много сокровищ, награбленных колонизаторами в Азии и Африке, еще ждут своего возвращения законным хозяевам.

БОЛГАРИЯ

ИНТЕРВЬЮ С ДРАГОМИРОМ АСЕНОВЫМ

— Когда меня спрашивают, что представляет главную опасность для болгарской литературы, я в шутку отвечаю: собрания и заседания. Произведения — вот что нам нужно! — сказал известный писатель Драгомир Асенов в беседе с корреспондентом еженедельника «Литературен фронт».

— Сейчас я усиленно работаю над последним романом трилогии, две части которой уже увидели свет,— продолжал писатель.— Это романы «Коричневые горизонты» и «Большой каменный дом». Последняя часть трилогии будет называться «Плод ветров», а вся трилогия — «В тени Герострата». Цель последнего романа — показать созревание важнейшего человеческого чувства — чувства ответственности перед самим собой, перед своей совестью. Это, по-моему, одна из основных проблем нашего времени. Наше отношение к этой проблеме отличает нас, писателей-коммунистов, от художников типа Кафки, Камю и других, утверждающих полнейшее бессилие человека так или иначе определить свое место в жизни. Творчество этих художников — перевернутая страница...

Борцу против фашизма Георгию Димитрову посвятил воспроизводимую здесь работу (мозаичный портрет) художник Иван Ненов.

(Журнал «Изкуство»)

Асенов — известный драматург. В настоящее время он обдумывает пьесу с условным названием «Вид на вершины». Писатель работает также над повестью из современной жизни.

— Есть еще одна интересная тема, которая меня волнует,— сказал Асенов.— Мы много спорим о новаторстве и традициях. Но для нас, писателей социалистического мира, есть и еще одна проблема — проблема открытия нового в жизни... Писатели социалистических стран имеют завидное преимущество: они вступили на новый тематический континент... Когда мы читаем советские романы первого периода — «Разгром», «Чапаев», «Тихий Дон»,— мы видим, что писатель понял: он исследует неведомые земли. Не затрагивая вопроса о степени талантливости, нужно сказать, что я ощущаю этот дух открывательства и в ряде произведений современных молодых советских писателей. Это книги Айтматова, Конецкого, Казакова, Семенова, Аксенова.

КИНОФЕСТИВАЛЬ БАЛКАНСКИХ СТРАН

Как сообщает болгарская печать, в Софии состоялась встреча кинематографистов балканских стран, посвященная обсуждению вопроса о проведении регионального кинофестиваля.

После двухдневного обмена мнениями между пред-

— Мы освободили Болгарию у Плевны!
— А мы — в Берлине!

(Рисунок Б. Ангелушева из журнала «Изкуство»)

ставителями кинематографий Болгарии, Греции, Румынии, Турции, Югославии и Албании был утвержден статут кинофестиваля балканских стран, цель которого — содействовать средствами киноискусства сближению народов Балканского полуострова и пропагандировать принципы взаимопонимания и международного сотрудничества.

Статутом предусматривается, что фестиваль не будет носить характер состязания; к участию в нем не будут допускаться фильмы, наносящие урон престижу какой-либо из балканских стран.

Впервые такой фестиваль состоится в августе нынешнего года в Варне. В 1966 г. предполагается провести его в Турции, в 1967 г.— в Румынии, в 1968 г.— в Греции, в 1969 г.— в Югославии, в 1970 г.— в Албании.

ВЕНГРИЯ

ТЕАТР МОЛОДЫХ

В нынешнем сезоне в столице Венгрии функционирует новый театр, получивший название «Будапештская молодежная сцена». Труппа театра состоит из двухсот юношей и девушек, которые предварительно прошли большую и серьезную подготовку, изучая под руководством опытных преподавателей основы драматического искусства, пения, музыки, танца, пантомимы, а также историю театра и т. д. Разработан репертуар театра, рассчитанный на четыре года. В него включены лучшие произведения мировой и венгерской классической и современной драматургии.

«Театр был создан для того,— рассказал корреспонденту газеты «Непсабадшаг» руководитель и главный режиссер «Будапештской молодежной сцены» Миклош Бенде,— чтобы ставить классические и современные произведения социалистической литературы и этим способствовать развитию эстетической культуры молодежи, формированию у нее социалистического мировоззрения».

ГДР

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ: «КТО СОЛИДАРЕН СО МНОЙ?»

Известный немецкий писатель Арнольд Цвейг выступил в газете «Нейес Дейчланд» со следующей декларацией: «Правительство Федеративной Республики Германии заявляет, что мы должны сосуществовать с ядерной бомбой сегодняшнего дня и с убийцами дня вчерашнего. Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса.

Правительство Германской Демократической Республики заявляет, что следует отказаться от атомного оружия, что нельзя допустить реабилитации преступников, виновных в массовых убийствах людей. Я полностью присоединяюсь к этому заявлению. 1965 год не должен стать годом позора в истории Германии.

Кто из моих коллег-писателей солидарен со мной?»

На этот призыв откликнулись многие писатели. «Общество и закон должны помешать амнистии преступников,— заявил Людвиг Ренн.— Мы и наши дети должны быть ограждены от новых преступлений. Я решительно присоединяюсь к Арнольду Цвейгу».

«Каждый уважающий себя писатель должен откликнуться на призыв Арнольда Цвейга,— сказала Анна Зегерс.— Нельзя допустить, чтобы поколение, не знавшее войны, стало жертвой лжи и обмана со стороны преступников прошлых войн и поджигателей войн будущих».

«Приветствую инициативу Арнольда Цвейга,— написал Франц Фюман.— Не могу примириться с мыслью, что приходится жить рядом с убийцами и их покровителями, рядом с атомными минами».

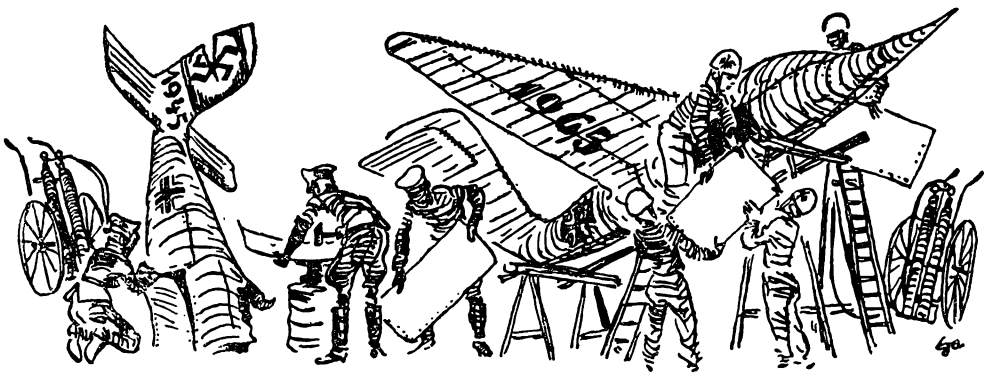
Писатель Герберт Нахбар сказал: «Нельзя прощать чудовищных преступлений прошлого, за них надо наказывать. Мы должны избежать новых преступлений».

«Люди моего поколения еще полностью не оправились от опустошительных последствий второй мировой войны. Мы знаем, к чему стремятся те, кто виновен в развязывании последней войны. Нельзя допустить всеобщего уничтожения»,— такими словами выразила солидарность со своими коллегами писательница Криста Вольф.

Заявление Арнольда Цвейга поддержали также писа-

В берлинском кинотеатре «Космос» на Карл-Маркс-аллее недавно состоялась премьера фильма «Приключения Вернера Хольта» по одноименному роману Дитера Нолля. Съемками фильма, которые продолжались год, руководил режиссер Иоахим Кунерт. Выступая перед журналистами на пресс-конференции, состоящейся после просмотра фильма, Кунерт сказал: «Хотелось бы, чтобы наша картина стала вкладом в борьбу людей за предотвращение новой атомной войны, которая может превратить нашу планету в пустыню». На снимке: Клаус-Петер Тиле в роли Хольта в одном из эпизодов фильма.

(Газета «Берлинер цейтунг»)



«К двадцатой годовщине мы должны преодолеть последствия своего поражения» — сатирический рисунок Яздзевского, опубликованный газетой «Нейес Дейчланд».

тели Макс Вальтер Шульц, Карл Грюнберг, Макс Циммеринг, Гюнтер Цвойдрак, Хорст Заломон и другие. К заявлению присоединился творческий коллектив театра «Берлинер ансамбль».

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

«ЧИТАЮТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПИСАТЕЛИ»

Под таким названием в Западном Берлине прошли чтения писателями ГДР своих произведений перед студентами, рабочими, литераторами. В чтениях приняли участие 23 писателя (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 2, 1965). В их числе выступили Анна Зегерс, Эрик Нейч, Макс Вальтер Шульц.

Во время обсуждения в студенческом общежитии Зигмундсхоф романа «След камней» его автор Эрик Нейч ответил на многочисленные вопросы слушателей. «Я приехал из мира, где социализм стал действительностью,— сказал Нейч.— То, что описано в романе, вполне реально для нашей страны. Задача писателей ГДР — ускорить победу социализма в области экономики и культуры». Нейч много говорил о месте писателя в жизни ГДР, о роли писателя в строительстве нового общества.

Несколько дней спустя в том же студенческом общежитии прочел отрывки из своей неоконченной повести Макс Вальтер Шульц.

Выступление Анны Зегерс в Западном Берлине завершило чтения. Писательница прочла рассказ «Тростник» из сборника «Сила слабых», над которым она сейчас работает. Это история незаметной, скромной женщины Марты Эмрих, которая совершила подвиг — спасла во время войны антифашиста.

Отвечая на вопросы слушателей о взаимоотношениях двух Германий, Зегерс заявила: «Германская Демократическая Республика много раз делала предложения Федеративной Республике о мире и сотрудничестве. Не наша вина, что эти предложения не нашли поддержки».

ФРГ

ХРОНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В Западной Германии этот фильм демонстрировался недолго. О нем ни строчки не написано в прессе, хотя снимался он на Гамбургской студии «Реаль-фильм», а его название — «Жизнь Адольфа Гитлера» — могло импонировать многим, даже самым придирчивым, боннским цензорам. Однако содержание фильма пришлось не по вкусу западногерманским властям. «Жизнь Адольфа Гитлера» — сильный разоблачительный кинодокумент, хроника нацистских преступлений в Европе. Авторы фильма — западногерманский продюсер Вальтер Коппель, английский режиссер-документалист Поль Рота и известный романист, автор сценария, не назвавший своего имени, использовали немало архивных материалов, чтобы показать, чем был фашизм в истории немецкого народа.

По сообщениям демократической прессы, в ГДР этот фильм демонстрировался с большим успехом. По отзывам обозревателей из ГДР, фильм «Жизнь Адольфа Гитлера» не только рассказывает о прошлом, но и предупреждает об опасном курсе боннских реваншистов, готовящихся к новым военным авантюрам.

Одновременно пресса ГДР отмечает, что личность Гитлера в фильме выглядит не совсем убедительно. Он показан только как весьма опасный демагог, одержимый бредовой идеей завоевания мира, обманувший в конце концов свой народ. Видимо, пресловутая западная «свобода» (напомним: автор сценария побоялся назвать свое имя!) помешала авторам фильма до конца обнажить истоки возникновения фашизма в Германии.

ГРЕЦИЯ

ПЕСНИ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

В августе прошлого года в Афинах вышла небольшая книжечка под названием «Кровавые дни» — сборник

песен Сопротивления. Пресса встретила его благожелательно. Составитель сборника получил множество благодарственных откликов, в том числе от участников вооруженной борьбы против фашистских оккупантов в греческих горах — генералов Авгеропулоса и Мантакаса, от популярного греческого композитора Теодоракиса и др.

А несколько месяцев спустя на страницах афинских газет появилось сообщение, показавшееся сначала невероятным: составитель сборника привлекался к судебной ответственности. Преследование Национального Сопротивления, гонения на его участников, возведенные во времена Караманлиса в официальный курс греческого правительства, таким образом, продолжаются. «Найдется ли грек,— спрашивает корреспондент газеты «Авги»,— который не восстанет, не выразит свой протест против привлечения на скамью подсудимых песен Сопротивления, песен народа, пожертвовавшего всем в борьбе за свободу?»

В числе включенных в сборник «Кровавые дни» — народные песни на слова известных греческих поэтов Василиса Ротаса, Софии Мавроиди-Пападаки.

«По чистой случайности,— пишет корреспондент «Авги»,— в сборник не попало стихотворение Костиса Паламаса «Вперед», положенное на музыку и ставшее одной из песен Сопротивления. Эта случайность уберегла знаменитого поэта-классика от скамьи подсудимых...»

КНИГИ ВАСИЛИСА ВАСИЛИКОСА

Имя молодого прозаика Василиса Василикоса широко известно греческим читателям. Его публикации в газетах и журналах встречаются с большим интересом. Положительные отзывы критики получила недавно его книга «Американские мифы» — путевые заметки и наблюдения над американским образом жизни. «Книга Василиса Василикоса,— пишет в газете «Авги» критик Тасос Вурнас,— глубоко и правдиво раскрывает перед читателем относительность американского благополучия. Его перо, словно скальпель хирурга, снимает яркую внешнюю оболочку и обнажает гнойную рану. Подобно сознающему свой долг врачу, писатель ставит диагноз и выносит приговор омертвевшему организму, который не излечат уже никакие местные операции. Внимательнейший наблюдатель, он показывает чудовищную ложь американского образа жизни — мясорубки, перемалывающей не только мясо и кости, но и человеческие души». С особой похвалой отозвалась критика о художественной манере писателя, о его блестящем юморе и убийственном сарказме.

Вскоре после «Мифологии Америки» в издательстве «Темелио» вышел сборник рассказов Василиса Василикоса «Фотографии». В беседе с корреспондентом газеты «Димократики аллаги» Василис Василикос сказал: «В «Фотографиях» я хотел выразить то, что смог увидеть в нашей стране. Мерой успеха той или иной книги является, на мой взгляд, не отрешенность от жизни, что свидетельствует обычно о неспособности вникнуть в сущность явлений, а полнота жизни. Все должно быть сказано, все должно выражать социальную позицию писателя».

ДАНИЯ

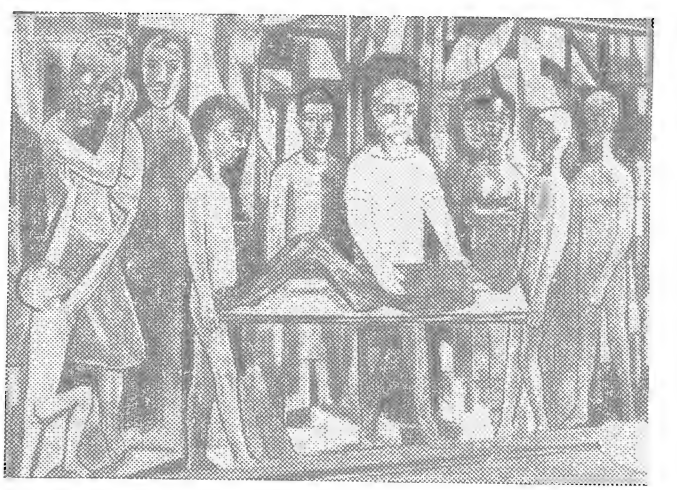
ПОСВЯЩАЕТСЯ ШВЕЙЦЕРУ

Известный датский художник Хагедорн-Ольсен закончил керамическое панно, над которым работал свыше четырех лет. Панно посвящено знаменитому ученому, врачу Альберу Швейцеру.

«Я меньше всего руководствовался стремлением добиться формального портретного сходства,— заявил художник в интервью газете «Политикен».— Думаю, нетрудно заметить определенную символику панно, в котором я попытался выразить гуманистическую деятельность Швейцера. Я стремился показать братство и равенство в труде, которые сложились между ученым и его африканскими друзьями».

«Я уверен,— сказал далее Хагедорн-Ольсен,— что рано или поздно все без исключения африканские народы сорвут цепи колониального рабства и выйдут на просторы свободной жизни. В их борьбе им обеспечена поддержка всех честных людей, таких как Альбер Швейцер, который посвятил свою жизнь Африке».

Панно Хагедорна-Ольсена, посвященное Альберу Швейцеру. *(Газета «Политикен»)*



Панно было впервые выставлено для публичного обозрения в день, когда отмечалась 90-летняя годовщина со дня рождения ученого.

Как сообщает датская пресса, по желанию художника керамическое панно с портретом Швейцера будет установлено в интерьере больницы, которая строится в городке Глострупу. Хагедорн-Ольсен выразил также пожелание, чтобы больница носила имя замечательного гуманиста.

ДРВ

«БУРЯ» — ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ СЕЗОНА

Пьеса Дао Хонг Кама «Буря», идущая на сцене Ханойского драматического театра, по отзывам печати,— одна из лучших постановок нынешнего сезона, которая пользуется неизменным успехом у вьетнамского зрителя. Режиссер-постановщик Тхань Нгок Кан сумел воссоздать на сцене современную историю одной южновьетнамской семьи, историю, каких немало произошло за последние годы, когда американский империализм начал активно вмешиваться во внутренние дела вьетнамского народа.

Главная героиня пьесы — молодая женщина по имени Ван, ожидающая ребенка. Именно в это время южновьетнамские власти арестовывают ее мужа, бывшего участника движения Сопротивления против французских колонизаторов. Власти жестоко расправляются с мужем Ван. Затем и ее бросают в концлагерь, где родившийся ребенок погибает. Трагедия Ван усугубляется еще и тем, что ее младший брат становится офицером южновьетнамской армии.

Ван притворяется душевнобольной и, обманув лагерную администрацию, выходит на свободу. Она становится разведчицей, собирает для Освободительной армии важные сведения о дислокации сил южновьетнамской военщины. Однако смелая разведчица вновь попадает в руки врага; неожиданно она встречается со своим братом. К этому времени он уже начинает понимать, на чьей стороне правда. Освободив сестру, он участвует в смелой диверсии и решительно переходит на сторону революции.

«Буря», по отзывам критики, вселяет уверенность в неизбежную победу прогрессивных сил в борьбе вьетнамского народа за независимость и объединение Родины. Этим и объясняется ее успех у зрителей.

ИНДИЯ

ИСКУССТВО БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ

Больше месяца в центре искусств «Куника» в столице Индии Дели была открыта выставка работ индийского художника Яшванта Сингха. Выставка вызвала оживленные комментарии печати.

«Картины самого известного из наших сюрреалистов,—писал корреспондент еженедельника «Линк»,— безусловно свидетельствуют о его внушительном таланте. Посетителей заинтересуют некоторые работы, в частности «Одиночество». Но даже шедевры этого незаурядного мастера оставляют впечатление какого-то автоматизма, механической работы над холстом. Недаром его нынешняя выставка почти ничем не отличается от той, которую он организовал три года назад».

Одновременно корреспондент поднимает принципиальные вопросы о настоящем и будущем различных «модных» течений в живописи Индии. «Вся беда наших доморощенных кубистов, экспрессионистов, сюрреалистов,— продолжал корреспондент,— заключается не только в том, что они не могут, да, видимо, и не хотят понять традиционную психологию индийца, который в практической жизни является глубоким реалистом,— дело еще в том, что их искусство не имеет основы в индийском образе мышления. Оно принесено с Запада и механически пересажено на нашу почву. По сути дела, абстракционисты повторяют зады западного искусства, и если нефигуративные картины, как бы порочны сами по себе они ни были, еще могут найти какой-то спрос у европейского обывателя, то индийского зрителя они оставляют глубоко равнодушным».

«В Индии абстракционизм,— писал в заключение корреспондент «Линк»,— воспринимается как явление, в высшей степени космополитическое. Здесь у него нет будущего».

СОКРОВИЩА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОПАСНОСТИ

По сообщениям печати, в знаменитых храмовых пещерах Багха вырезана и украдена часть потолка, покрытого редчайшими фресками.

Всего несколько месяцев назад в одном из древнейших храмов Кхайджурахо исчезла двадцать одна скульптура. В храме Байджнатх Дхам зияет пустотой место, где еще совсем недавно красовалось изображение бога Солнца. По свидетельству индийских экспертов, эту групповую скульптуру, созданную безыменными индийскими ваятелями более тысячи лет назад, воссоздать невозможно. Аналогичная судьба постигла и храмы Андхры — там пропало 56 скульптур, высеченных из камня. Музей Наланда за короткое время лишился 188 редких бронзовых скульптур. В Калькуттском музее похищены коллекции старинных монет периода Гупты и Великих Моголов. Пострадали от краж и сокровища храмов Танджора, и художественные фонды многих музеев страны.

Недавно посол Индии в Швейцарии сделал грустное открытие: в одной из частных коллекций он неожиданно обнаружил голову Будды, принадлежавшую в свое время музею Мадуры и считавшуюся «давно утерянной». Калькуттский ученый случайно наткнулся на изображение Будды VII века, похищенное из музея

Наланда и подготовленное к вывозу из Индии.

Нередки также случаи, когда индийское правительство в целях стимулирования интереса к национальной культуре за границей посылает многие редкие произведения индийского искусства для экспозиции в другие страны, и они зачастую не возвращаются в Индию. Так, например, коллекция скульптур из храма Солнца в Канараке, вывезенная в качестве экспоната выставки за границу, до сих пор не вернулась на свое место. Автор статьи в индийской газете «Пэтриот» пишет, что индийцы, посетившие нью-йоркскую выставку 1964 года, были крайне удивлены, обнаружив на стендах ценнейшие индийские скульптуры XVII века.

По неофициальным подсчетам, только за последние несколько лет кражи различных ценностей древней индийской культуры (главным образом статуй) из национальных музеев и пещерных храмов страны принесли ворам более 150 миллионов рупий дохода.

Этот хорошо организованный грабеж, по словам автора статьи, тесно связан с растущим интересом иностранных музеев и коллекционеров к бесценным сокровищам индийской культуры. Однако проблема эта волнует не одну Индию. Сходные сообщения поступают из Италии, где ежегодно исчезают произведения искусства на внушительные суммы. Не так давно египетские власти обнаружили пропажу многих весьма ценных экспонатов Каирского музея, которые сегодня числятся лишь в каталогах.

Индийские власти, правда, пытаются как-то бороться с хищениями культурных ценностей. Однако их усилия явно недостаточны. «Если мы хотим сохранить ценнейшее наследие нашей многовековой культуры,— говорится в статье,— правительство должно принять самые действенные меры по их охране. Кроме того, здесь не обойтись без широкой поддержки всего населения».

ИРАК

ИНТЕРВЬЮ С АЛЬ-ДЖАВАХИРИ

Имя национального иракского поэта Мухаммеда Махди аль-Джавахири широко известно на Арабском Востоке. Его считают крупнейшим современным арабским поэтом, совестью иракского народа.

Но аль-Джавахири до сих пор лишен возможности жить и творить в родной стране. Прежнее баасистское правительство Ирака лишило его, как и многих других видных представителей национальной культуры, иракского гражданства, и эта вопиющая несправедливость до сих пор не исправлена.

Журнал «Аль-Джадид» напечатал недавно изложение интервью, которое аль-Джавахири дал чехословацким журналистам. Поэту был задан вопрос, каково участие арабских литераторов в национально-освободительной борьбе, которую ведут сейчас арабские народы. Аль-Джавахири ответил, что в настоящее время, по его мнению, степень участия арабских писателей в народном движении явно отстает от размаха этого движения.

Аль-Джавахири рассказал далее, что за три года, проведенные в эмиграции, им написано около 30 поэм и стихотворений на различные темы. Эти произведения войдут в его новый сборник «Письма из изгнания», который подготовлен к печати.

ИТАЛИЯ

«ДНЕВНИКИ» ДЗАВАТТИНИ

Известный кинодраматург и теоретик киноискусства Чезаре Дзаваттини, которого в Италии называли «мозгом неореализма», решил вернуться к литературной деятельности, почти полностью оставленной им ради кино. Дзаваттини — крупнейший писатель-сатирик, повести и романы которого, написанные в 30—40-х гг., были важным вкладом в итальянскую антифашистскую литературу.

Как сообщают газеты, Дзаваттини обязался до конца этого года передать издателю Бомпиани полный текст своих «Дневников», которые он ведет начиная с 1940 года по сегодняшний день. До сих пор была опубликована (главным образом в журнале «Чинема нуово») лишь незначительная часть этого большого произведения, жанр которого определить довольно трудно. Рядом с записями действительно дневникового характера там встречаются литературные портреты, зарисовки, маленькие новеллы и эссе, высказывания по вопросам политики и эстетики и т. д. В целом это интереснейший документ истории и культуры Италии за последние 25 лет, написанный в характерной для Дзаваттини остроумной полемической форме.

В нынешнем году писатель предполагает опубликовать также «Письма с Кубы» — повесть, написанную им во время пребывания на Острове Свободы, где он помогал создавать молодую кубинскую кинематографию.

Издатель Бомпиани заявил, что в этом году будет предпринято и новое издание всей прозы Дзаваттини — его книги стали в Италии почти библиографической редкостью.

Вместе с тем Дзаваттини продолжает активно работать для кино — он закончил сценарий фильма «Новый мир», по которому режиссер Де Сика уже начал съемки в Париже. Его герои — студенты университета, итальянец и француженка, полюбившие друг друга.

В одном из последних интервью Дзаваттини заявил: «У меня в портфеле по меньшей мере два киносценария большого общественного звучания, но я не знаю, как и когда они будут поставлены. Вы знаете, как обстоят сейчас дела в итальянском кино: снимают не те фильмы, которые *хотят* поставить, а те, которые *можно* поставить».

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЖЕРМАНЕТТО

Газета «Унита» поместила большую статью Оттавио Чекки «В записках цирюльника — бунт старой Италии», посвященную 80-летию со дня рождения Джованни Джерманетто — итальянского писателя, революционера и коммуниста, умершего в 1959 году в Советском Союзе, который стал его второй родиной. Рассказывая о славной жизни автора «Записок цирюльника», о его итальянских и советских друзьях, в числе которых были Пальмиро Тольятти и Максим Горький, Чекки призывает хранить «светлую память о нашем товарище, его борьбе против фашизма, его гуманности, о безыскусном мастерстве его книги».

Известностью на родине и за рубежом пользуется детская танцевальная труппа из Тибета, в репертуар которой входят праздничные, военные, обрядовые танцы тибетцев. Недавно труппа побывала на гастролях в Дели. На снимке: участники труппы исполняют свадебный танец «Амбо».

(Газета «Стейтсмен»)

КАНАДА

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА «ЛГП-30»

«Свирепая любовь и маленькая девочка могут похоронить мирного соседа».

«Миролюбивая свеча утешала трубу».

Что это — бред сумасшедшего? Нет, это белые стихи таинственного незнакомца «ЛГП-30», изданные недавно в Квебеке отдельным сборником, 1300 экземпляров которого уже распроданы.

Сборник стихов «ЛГП-30» настолько понравился некоторым литературным критикам, сторонникам «антипоэзии», что они даже выразили надежду, что талантливый автор, быть может, подарит признательному человечеству второй том своих замечательных стихов...

Недавно журнал «Маклинз» поведал миру, если можно так выразиться, биографию таинственного поэта. «ЛГП-30» — это построенная в Монреальском университете электронная вычислительная машина. Профессор Жан Бодо ввел в нее 600 французских слов и дал задание по составлению фраз в соответствии с французской грамматикой и синтаксисом. «ЛГП-30» в течение нескольких часов «выдал» несколько тысяч «лирических белых стихов», собранных и изданных под интригующим названием «Машина, пишущая стихи». Так началась литературная карьера «ЛГП-30»...

КИТАЙ

РАССКАЗЫ НАЧИНАЮЩИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Передовая статья одного из номеров журнала «Вэньибао» озаглавлена «Приветствуем новых бойцов, пришедших на литературную арену». В ней рассказывается о молодых литераторах, дебютировавших в последнее время очерками и рассказами на страницах китайских литературных журналов.

Начинающие писатели, говорится в статье, «вышли из рядов рабочих, крестьян и солдат; они трудятся и борются на различных постах социалистической революции и социалистического строительства. Это трудовая молодежь, воспитанная социалистическим строем. Сами они — участники той жаркой борьбы, которую описывают... Большинство из них умеют и трудиться и писать, а это означает, что они — ценные творческие работники».

Первые рассказы и очерки начинающих писателей напечатали журналы «Жэньминь вэньсюэ», «Мэнъя» и «Цзефан цзюнь вэньи». Так, в журнале «Жэньминь вэньсюэ» помещен «Форум рассказа», включающий десять коротких рассказов молодых писателей.

МАЛЬГАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

С ВЕРОЙ В УСПЕХ

На Мадагаскаре создан Мальгашский институт драматического искусства и фольклора. Недавно актеры-любители, занимающиеся в этом институте, показали в столице Мальгашской Республики Тананариве блестящий спектакль «Рабекижана», в основе которого лежит сюжет мольеровского «Мещанина во дворянстве». Пьеса переведена на мальгашский язык, действие ее перенесено на Мадагаскар. Очень выразителен Рабекижана в исполнении Армана Ратсимбы. Во втором отделении молодые актеры читают стихи мальгашских поэтов Жака Рабемананзары, Рабеаривело, Ранаиво и

других. Успех представления таков, что число желающих заниматься в институте уже превысило сто человек, и его директору Одеаму Ракото — актеру и режиссеру — приходится отказывать новым кандидатам.

В интервью журналу «Африк» Одеам Ракото рассказал, что он уже перевел на мальгашский язык все пьесы Мольера, а сейчас переводит на французский некоторые драматические отрывки из мальгашских авторов, что позволит молодым артистам продемонстрировать свое мастерство на различных сценах мира.

«Наш институт задуман как настоящая студия, где обучают всем дисциплинам, связанным с драматическим искусством, музыкой, танцем...— сказал Ракото.— Меня не пугает серьезность поставленной задачи. Энтузиазм молодежи вселяет уверенность в будущие успехи».

ОАР

ТАУФИК АЛЬ-ХАКИМ О СЕБЕ

Событием в литературной жизни ОАР явился выход в свет автобиографической книги «Тюрьма жизни» одного из ведущих египетских писателей и драматургов Тауфика аль-Хакима. Книга посвящена детским и отроческим годам писателя (более поздний период своей жизни, связанный с ученьем в Сорбоннском университете, Тауфик аль-Хаким описал в книге «Цвет жизни»). По словам литературного обозревателя журнала «Аль-Мусаввар» аль-Алима, новая книга аль-Хакима — не обычная автобиография писателя, которых немало в египетской литературе. Это глубоко философское произведение, ставящее важные вопросы об истоках формирования человеческой личности. По мнению критика, «Тюрьма жизни» дает ключ к пониманию многих особенностей творчества Тауфика аль-Хакима.

ПОЛЬША

«МЕДАЛЬОНЫ» ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ...

Имя известной польской писательницы Зофьи Налковской, ныне покойной, автора нескольких крупных произведений, ассоциируется с небольшой тонкой книжицей, вышедшей двадцать лет назад под скромным названием «Медальоны».

Видная общественная деятельница, Налковская в первые месяцы после освобождения страны работала в составе комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше. Она побывала в местах бывших гитлеровских концлагерей, встречалась с бывшими узниками фашизма, внимательно выслушивала их рассказы, которые никого не могут оставить равнодушными. И не просто выслушивала, а здесь же, по горячим следам, творчески воплотила все увиденное и услышанное ею в короткие новеллы-медальоны, которые по силе воздействия на читателя могут соревноваться с иными монументальными произведениями.

«Иностранная литература» писала о «Медальонах» десять лет назад, в связи с выходом из печати однотомника Налковской. Однако сегодня, когда в ФРГ по сути дела реабилитируют нацистских преступников, в памяти невольно возникают образы, созданные выдающейся писательницей.

Вот новелла «Профессор Шпаннер», рассказывающая о «деятельности» фашиста-изувера, который экспериментировал в области изготовления мыла из человеческого жира. Налковская делает читателя свидетелем этого преступления: она ведет его в подвалы «анатомического института», где нацисты творили свое гнусное дело.

В другой новелле, «У железнодорожного полотна», писательница передает рассказы тех, кому довелось ехать в эшелонах с узниками, направлявшимися в лагери уничтожения. Иногда самым смелым и сильным по пути удавалось бежать, выломав доски из пола вагона. Некоторых из них настигали пули охранников, как было с героиней этой новеллы, которой тоже суждено было умереть.

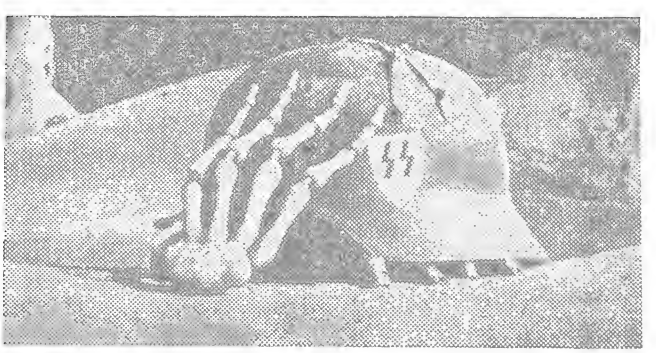
Налковская пишет о планомерном уничтожении людей различных национальностей, в особенности евреев, цыган, которых гитлеровцы свозили в лагери уничтожения из всех стран Европы; об умерщвлении в Освенциме сотен детей, которые не могли выполнять какую-либо работу...

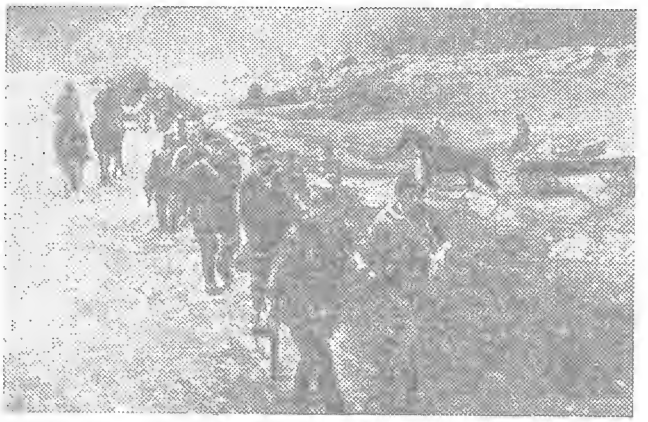
«Подобным образом задуманное и осуществленное мероприятие было делом рук человеческих»,—говорит пи-

---

Антивоенная и антифашистская тематика находит отражение в польских кукольных и мультипликационных фильмах. На снимке: кадр из фильма Ежи Котовского «Тень времени».

(Еженедельник «Экран»)





Один из эпизодов фильма «Цвета борьбы».
(Еженедельник «Фильм»)

сательница, раскрывая перед читателем политические и экономические планы руководителей Третьей империи, направленные на безраздельное завладение огромными оккупированными территориями со всеми их природными и культурными богатствами.

Прошло двадцать лет, но и сегодня репортажи Налковской с мест гитлеровских преступлений не потеряли своей актуальности.

ФИЛЬМ О ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЕ

Кинорежиссер Ежи Пассендорфер известен как художник одной темы — им сняты несколько фильмов, посвященных героической борьбе польских патриотов против гитлеровских захватчиков. Советские зрители имели возможность ознакомиться с его мастерством в фильме «Покушение», рассказывающем о молодых героях польского Сопротивления, а также в фильме «Возвращение» (на наших экранах он демонстрировался под названием «В поисках прошлого»). Пассендорфер, кроме того, снял фильмы «Взорванный мост» и «Крещенные огнем», а недавно на экраны страны вышла его последняя картина «Цвета борьбы» по книге воспоминаний Мечислава Мочара. Сценарий по книге Мочара написан писателем Войцехом Жукровским.

Фильм «Цвета борьбы» — это, по свидетельству рецензентов, волнующий рассказ о боевых действиях партизанских отрядов Гвардии Людовой, которые боролись за новую, социалистическую Польшу. Однако, как известно, антифашистское подполье в стране не было единым по своим политическим устремлениям. Бок о бок с Гвардией Людовой сражались бойцы Армии Краевой, командование которой вынашивало далеко идущие антинародные планы.

В фильме есть эпизод, показывающий совместные действия отрядов АК и ГЛ против оккупантов. Однако после боя оба отряда расходятся в разные стороны. На прощание бойцы приветствуют друг друга поднятым вверх оружием. «Этим жестом, — пишет рецензент еженедельника «Экран»,— они как бы хотят сказать друг другу «до свидания», не подозревая, что этого «свидания» придется ждать долго. Таким образом, фильм Пассендорфера еще раз реабилитирует солдат отрядов АК и еще раз обвиняет их руководство, которое направило этих людей по пути военного бездорожья».

По отзывам кинокритики, в фильме хорошо передана атмосфера партизанской жизни со всеми ее трудностями и опасностями.

В главных ролях снимались актеры Тадеуш Шмидт, Кшиштоф Хамец, Войцех Семен.

СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Государственном научном издательстве в Варшаве выпущен третий том «Словаря современных польских писателей», работа над которым была начата в 1963 году. «Словарь» содержит сведения о писателях Польши за последние 50 лет. Он представляет собой как бы продолжение «Библиографии польской литературы» Г. Корбута.

Несмотря на некоторые упущения (хронологически словарь доведен до 1950 года), по мнению специалистов, «Словарь» будет ценным справочным изданием для широких слоев читателей.

В настоящее время готовится к выпуску четвертый том «Словаря», который будет включать указатели ко всему изданию и содержать различные дополнения и исправления.

РУМЫНИЯ

ФИЛЬМ ПО РОМАНУ Э. БАРБУ

Завершается экранизация романа Эуджена Барбу «Северное шоссе», предпринятая режиссером Юлианом Миху.

...Идет ненавистная народу война против Советского Союза, затеянная кликой националистов во главе с Антонеску. На рабочей окраине Бухареста собрались подпольщики-коммунисты — герои фильма Инна, Матей, Думитран. Они готовятся к выполнению срочного задания антифашистского подполья... Таков один из начальных эпизодов фильма

Встреча Инны и Думитрана (Л. Георгиу и Г. Диника) в одном из эпизодов фильма «Северное шоссе».

(Журнал «Чинема»)

о решающем периоде в истории революционной борьбы, когда благодаря сокрушительным ударам, нанесенным фашизму Советской Армией, встал вопрос о захвате власти румынским пролетариатом.

Герои фильма живут в дни великих исторических событий — в период подготовки и проведения вооруженного восстания народа под руководством коммунистов против фашизма. По отзывам критики, герои фильма «Северное шоссе» — живые люди, умеющие бороться и любить; они способны ошибаться и сомневаться, но закаленная в борьбе воля помогает им преодолеть сомнения и преграды.

ПРИСУЖДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

В Бухаресте состоялось присуждение ежегодных премий Союза писателей РНР.

В области прозы лучшими произведениями признаны: сборник молодого прозаика Фануша Нягу «Покинутый полустанок», повести Думитру Раду Попеску «Олтянское лето» и «Девушка с юга», а также повесть Ференца Паппа, пишущего на венгерском языке, «Под корнями». Премиями, кроме того, отмечены: сборник стихов Никиты Стэнеску «Видение чувств», сборник репортажей Паула Ангела о новой жизни в долине реки Серет. Известный литературный критик Пауль Джорджеску награжден премией за сборник «Размышления о литературе». Премия за лучшую детскую книгу присуждена Джелу Науму, автору рассказа «Вторая книга об Аполодоре».

США

«ЭКТОРС СТУДИО» — ТЕАТР ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СТАНИСЛАВСКОГО

В небольшом помещении в двух кварталах от Бродвея ютится «Экторс студио», которая объединяет приверженцев системы Константина Сергеевича Станиславского в Нью-Йорке. Студию создал и руководит ею известный режиссер Ли Страсберг, ученик Станиславского и его горячий последователь.

В настоящее время в студии учатся 304 актера, при ней создан театр. Его коллектив примет участие в театральном фестивале в Лондоне. Страсберг покажет в Англии две пьесы: «Три сестры» Чехова и «Блюз для мистера Чарли» Болдуина (опубликована в журнале «Иностранная литература» № 11 за 1964 г.). В перспективе — поездки на гастроли в Париж и в Москву.

Однако само существование «Экторс студио» поставлено ныне под удар. Как сообщает корреспондент агентства Ассошиэйтед пресс, студия Страсберга находится в тяжелом финансовом положении. Нет средств на ее содержание, на новые постановки. С большим трудом были собраны деньги на поездку в Лондон.

Центр подлинной театральной культуры не отвечает коммерческим установкам зрелищного бизнеса Бродвея, и потому театр, представляющий передовое искусство, вынужден работать в тяжелейших условиях.

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ ГОНОРАР?

Американская «писательница» Арлен Зэковски несколько лет назад объявила войну роману как литературному жанру. Ныне она, по сообщению корреспондента «Таймс литерари саппльмент», идет еще дальше — объявляет войну синтаксису и структуре литературной речи. «В искусстве,— пишет она в своем новом «произведении» под названием «Абраксас»,— фраза должна быть уничтожена! Остаться могут только слова. Они рождают мысль...» Грамматика, синтаксис — все это предрассудки, вещает Арлен Зэковски, призывая писателей создавать «шедевры литературы» из разрозненных и бессвязных слов.

Оказывается, литературное произведение — это «комплекс слов». И вообще, писатель вовсе не призван что-то дать читателю. В «новом романе», напротив, основная роль принадлежит читателю: важно то, что он вообразит себе, читая роман без фраз! Короче говоря, писатель может нанизывать любые слова в любом порядке, а читателю предоставляется «право» думать об этой абракадабре все, что ему заблагорассудится,— так считает Арлен Зэковски.

Осталась невыясненной одна деталь: кто будет получать гонорар? Писатели или читатели?

ТУРЦИЯ

«ПРАВДА О НАЗЫМЕ ХИКМЕТЕ»

Корреспондент стамбульского журнала «Йон», сопровождавший турецкую парламентскую делегацию в ее поездке в Москву, заявил по возвращении на родину: «В Москве знают таких турецких писателей, как Назым Хикмет, Орхан Кемаль, Азиз Несин, Орхан Ханчерлиоглу, Фахри Эрдинч и других лучше, чем мы сами. Их произведения переводятся и издаются огромными тиражами. Они с большим интересом читаются советской публикой».

Впервые за долгие годы журнал «Йон» начал печатать стихи Назыма Хикмета: отрывки из «Дестана о национально - освободительной войне», «Автобиографию», «Ореховое дерево» и другие.

Отвечая недоброжелателям поэта, корреспондент журнала писал: «Раздаются недовольные голоса, почему, дескать, орган националистов «Йон» печатает стихи Назыма Хикмета. Мы печатаем их потому, что Назым Хикмет, чьи пьесы ставят в Египте и Алжире, в Италии, Соединенных Штатах и во Франции, является неотъемлемой частью турецкой национальной культуры...»

«Мы странная нация,— вторит ему корреспондент газеты «Джумхуриет».— Мы экспортируем за границу не только рабочих, врачей и инженеров, но и поэтов! И все потому, что не даем возможности нашим поэтам жить и дышать на родине. Так я пишу, отлично зная, что Назым Хикмет был коммунистом. Но если бы этого было достаточно, чтобы вычеркнуть поэта из родной поэзии и культуры, то вообще трудно было бы писать историю мировой литературы...

Мы живем в такое странное время,— продолжает корреспондент,— когда бегство в Америку считается патриотизмом, а жизнь в России — изменой родине. Поэта на двенадцать лет заточили в тюрьму, потом грозились убить, а когда он, спасая жизнь, вынужден был эмигрировать, его назвали «изменником родины»! Настало время сказать всем правду о Назыме Хикмете».

СУД НАД... ГРАКХОМ БАБЕФОМ

Недавно в турецком переводе вышли записки революционера и мыслителя Великой французской революции Гракха Бабефа. Прокуратура Турции издала приказ о немедленной конфискации книги и возбудила судебное дело против переводчиков по обвинению в... «коммунистической пропаганде».

Союз турецких литераторов выступил с решительным протестом. «Подобные действия,— писали турецкие литераторы,— имеют целью ввергнуть турецкое общество в мрак средневековья. Мы не удивимся, если завтра будут запрещены книги и статьи о средневековых крестьянских восстаниях и революциях рабов в древнем мире. А может, лучше всего написать такую всемирную историю, в которой не было бы ни восстаний, ни революций, и заставить каждого турка вызубрить ее наизусть? Но тогда что могли бы мы рассказать о революции Кемаля Ататюрка, свергнувшей султанское самодержавие, или о революции 27 мая (имеется в виду свержение реакционного правительства Мендереса 27 мая 1960 г.— *Ред.*), которая дала нам нынешнюю конституцию? Мы уверены, что к нашему протесту присоединятся все честные и здравомыслящие люди страны!»

Вслед за этим писатели пришли на площадь Таксим в Стамбуле и возложили цветы к подножию памятника жертвам и героям турецкой революции.

Той же ночью были арестованы руководители Союза литераторов, крупнейшие писатели и поэты: Мелих Джевдет Андай, Яшар Кемаль, Шюкран Курдакул, Мемед Фуад, Едиб Джансевер и другие — всего девять человек.

В защиту писателей выступили газеты, общественность страны. «Снова судим Бабефа,— с иронией писал корреспондент газеты «Улус».— Может быть, на этот раз повесим?»

После нескольких заседаний суд при большом стечении публики вынужден был оправдать обвиняемых по делу Гракха Бабефа.

«Мы только исполнили свой долг,— заявил после суда Мелих Джевдет Андай.— Нам не пристало держать народ в невежестве, подавляя свободу мысли и запрещая издание книг».

ФРАНЦИЯ

КНИГА О РАВЕНСБРУКЕ

В издательстве Файар вышла книга Симоны Сен-Клэр «Равенсбрук». В годы войны писательница сама была активным участником Сопротивления, руководила одной из подпольных групп. Она была арестована фашистами и брошена в концентрационный лагерь Равенсбрук.

Двадцать лет прошло с тех пор, как Симона Сен-Клэр покинула лагерь, но воспоминания ее со временем не потускнели. Она рассказывает об «обычной» жизни в лагере, делает читателей как бы свидетелями физических и моральных страданий узниц, повествует об ужасающей нужде и мужестве женщин-заключенных, представительниц многих наций, не потерявших и в этих нечеловеческих условиях своего достоинства, продолжавших бороться.

Рассказывая о пережитом, автор книги призывает людей хранить память о жертвах фашистского террора.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ГЛАЗАМИ ЕГО УЧАСТНИКОВ

Как сообщает корреспондент газеты «Юманите», во Франции предпринято многотомное издание «Сопротивление глазами его участ-

Во Франции выпущена новая марка, посвященная 20-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей (на снимке).

(Газета «Комба»)

ников». Издательство Данель выпустило два первых тома. В них собраны рассказы очевидцев об одной из наиболее героических страниц новейшей французской истории. Каждый повествует о том, что лично ему пришлось пережить и увидеть.

В первом томе — «Освобождение Парижа» — опубликованы воспоминания Роль-Танги, Дебю-Бриделя, Роже Кокто, Жана Марлье. Это живые рассказы о событиях 1944 года: о работе подпольного генерального штаба, об установлении связи с союзниками. Очень интересны, например, воспоминания Дебю-Бриделя о заседании Национального совета Сопротивления, на котором Бидо, обманывая своих коллег, пытался склонить их к перемирию, которого добивались немцы.

Во втором томе повествуется о борьбе тех, кто ушел в маки́. Жорж Жуно рассказывает о трагическом отступлении своего отряда после 21 июля 1944 года; маркиз Дени де Шампо пишет о том, что привело его в маки и каким глубоким уважением проникся он к своему командиру, молодому парню из народа.

«Сопротивление глазами его участников» — одна из немногих изданных во Франции книг, которые дают правильное представление о событиях того времени»,— писал корреспондент «Юманите».

ПРОТИВ «УДАРНОЙ СИЛЫ»

Новый фильм Ива Чампи «Небо на голове» предостерегает человечество от необдуманных действий, которые могли бы привести к атомному конфликту.

...Радарные установки обнаружили таинственные предметы, летающие над Землей. Противники уже готовы обрушить друг на друга всю огневую мощь. Атомная война кажется неизбежной. Кое-кто, ослепленный антисоветской пропагандой, торопит начать военные действия.

В последний момент выясняется, что тревога ложная. На сей раз катастрофу удалось предотвратить...

По мнению корреспондента газеты «Юманите», Ив Чампи сумел доказать бессмысленность создания французской «ударной силы»; выход заключается в полном запрещении атомного оружия.

СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ БАЛЬЗАКУ

В Париже в здании Мютюалите по инициативе Центра научных марксистских исследований состоялся двухдневный семинар, посвященный творчеству Бальзака. В семинаре приняли участие крупнейшие специалисты - бальзаковеды Франции, съехавшиеся в Париж со всех концов страны, а также бальзаковеды Чехословакии, Польши и других стран. Все материалы семинара были опубликованы затем в специальном номере журнала «Эроп».

Открывая семинар, главный редактор журнала «Эроп» и руководитель секции литературы Центра Пьер Абраам сказал: «С какой целью и кем был организован этот семинар, как он подготавливался? На этот вопрос лучше всего ответить, изложив предшествующие события в хронологическом порядке. Еще зимой прошлого года на заседании литературной секции Центра обсуждался вопрос о выходе в 1965 году нескольких томов «Истории литературы Франции». Глава о Бальзаке, входящая в один из томов, вызвала большие споры. Продолжать дискуссию при закрытых дверях или привлечь к ней более широкий круг лиц? Мы остановились на последнем. Были намечены темы выступлений, арендовано помещение и разосланы приглашения за границу».

«Париж обвиняют в монополизации культуры. Теперь, благодаря Бальзаку, провинция берет реванш,— сказал далее Пьер Абраам.— Что же касается иностранцев, которых мы пригласили и которые не приехали, то это не их и не наша вина. Проблема въездных виз еще не решена так, как бы того хотелось всем, кто выступает против политического и административного вмешательства в вопросы культурного обмена. В результате ректор романского факультета в университете Гумбольдта в Берлине (ГДР) Рита Шобер и сотрудница того же университета Криста Бевернис, обе — авторы интересных исследований о Бальзаке, так и не получили въездных виз, несмотря на договоренность с французским министром иностранных дел... Подобный остракизм, направленный против граждан ГДР, в наше время — такой же возмутительный факт, как расовая дискриминация».

На семинаре были затем заслушаны доклады Андре Моруа «Бальзак и действие», Жанн-Мари Вурде «Провинциальный городок», Анни Юберсфельд «Кризис 1831—1833 гг.», Жана Брюа «Бальзак и французский рабочий класс», Яна Фишера (Чехословакия) «Реализм и его методы», Андре Вюрмсера «Размышления об искренности Бальзака», Ги Готье «Бальзак и кино» и другие. В дискуссии приняли участие Натали Сар-

рот, Жан-Луи Барро, Роже Файоль.

«Все сделанные здесь сообщения — ценный вклад в исследования о Бальзаке и о его творчестве,— сказал в заключительном слове Пьер Абраам.— Все то новое, что прозвучало в докладах, касается ли это открытия до сих пор не известных текстов или иного толкования давно изданных произведений, проливает новый свет на бессмертное творение Бальзака — «Человеческую комедию».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

О СОБЫТИЯХ ПРОШЛОГО — ПО-СОВРЕМЕННОМУ

Участие чехословацкой молодежи в борьбе против гитлеровцев, ее стремление к новой жизни, ее мечты о том времени, когда война кончится,— такова тема нового романа Яна Отченашека «Хромой Орфей», выпущенного издательством «Ческословенски списователь».

В центре романа — пять юношей, мобилизованных фашистскими властями отбывать трудовую повинность. В книге рассказывается, как они организовали нелегальную группу «Орфей», как эта группа участвовала в движении Сопротивления.

Война в романе Отченашека — это не просто события недавнего прошлого. Огнем испытывались характеры людей и идеи. Отченашек пишет о войне в тесной связи с сегодняшним днем. В жизни своих двадцатилетних героев, в их поведении он ищет истоки мировоззрения сегодняшнего поколения, которое своими руками строит социалистическую Чехословакию.

Автор обнажает в книге конфликт между личным и общественным, между пассивностью и активностью, конфликт, который особенно остро ощущался во время оккупации. Отченашек полемизирует с пассивностью всех видов — с равнодушием, безразличием, невмешательством, незаинтересованностью и т. п.

ЮГОСЛАВИЯ

ПОЭЗИЯ ДЕСАНКИ МАКСИМОВИЧ

Новосадское издательство «Матица српска» выпустило новый сборник стихов Десанки Максимович «Требую помилования». Критика тепло встретила новые стихи известной поэтессы. Так, критик Борислав Михайлович пишет в газете «Политика», что они представляют собой «апогей творчества» Десанки Максимович и что ее книга — «один из самых значительных поэтических сборников последнего десятилетия».

Новые стихи поэтессы даны в форме «лирической дискуссии» с «Законником Стефана Душана», относящимся к XIV веку. Поэтесса восстает против сурового и немилосердного средневекового закона и требует гуманности к Человеку.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«ЗАПРЕТИТЬ, ИЗЪЯТЬ, НЕ ВПУСКАТЬ!..»

Список книг иностранных авторов, запрещенных в ЮАР, в последнее время значительно пополнился. Вот выдержки из официального правительственного распоряжения, предписывающего «запретить все книги, находящиеся в противоречии с государственной доктриной строгого разделения рас»:

«Игрок» Достоевского: «Изъять, т. к. карточная игра запрещена местной лютеранской церковью! Кроме того, у Достоевского опасные связи с Россией...»

«Карибские тайны» Агаты Кристи, автора многих десятков детективных романов: «Запретить, т. к. речь идет о Карибском бассейне, населенном цветными»...

«Другая страна» Джеймса Болдуина: «Запретить, т. к. автор негр».

«За рекой, в тени деревьев» Эрнеста Хемингуэя: «Запретить, т. к. автор дружил с неграми».

Джон Стейнбек: «Вообще не впускать в страну, т. к. его взгляды несовместимы с поддержанием порядка и спокойствия в республике».

«Чочара» Альберто Моравиа: «Запретить, т. к. высказанные в книге мысли опасны для нашего государства».

Справочник «Достижения народного здравоохранения в Румынской Народной Республике»: «Категорически запретить ввоз в страну, т. к. эта книга носит подрывной характер».

Этот список можно было бы продолжить. Следует упомянуть еще об одном пункте, как основании для запрета: «Любое упоминание коммунизма». Если цензор, полистав книгу, наткнется на слово «коммунист», он обязан ее немедленно запретить.

Фервурдовские расистские законы никого не удивляют, однако последние запреты в области литературы можно сравнить лишь с книжными аутодафе в гитлеровской Германии.

ЯПОНИЯ

ПРОТИВ ЭРЗАЦ-РОМАНОВ

Молодой японский писатель Сё Сибата, получивший недавно за свой первый роман «Так текли наши дни» одну из наиболее популярных литературных премий Японии — «Премию Акутагава», в беседе с другим молодым широко известным писателем, Кэндзабуро Оэ, высказал свое мнение по проблемам романа.

«Я хочу написать настоящий большой роман,— сказал Сибата.— Роман, подобный тем, которые писались в Европе в XIX веке... Моя цель — настоящий роман, и пусть он будет похож на романы XIX века. Конечно, обстановка, в которой мы живем, отличается от обстановки прошлого века, и поэтому отличаться будут и результаты».

Сибата высказал мнение, что так называемый авангардистский роман, о котором сейчас столько говорят на Западе и в Японии, это не что иное, как эрзац настоящего романа, средство, к которому писатели прибегают тогда, когда они не способны создать настоящее произведение.

Авторы этого номера

В мае народы мира отмечают двадцатилетие победы над фашизмом. Наш майский номер мы открываем циклом стихов «Голоса, зовущие к миру». Поэты разных стран, уже известные читателю и делающие первые шаги в литературе, призывают отстоять и сохранить мир, завоеванный такой дорогой ценой двадцать лет назад.

В этот цикл входят стихи:

ЭДУАРДО ГАЛЬЕГОСА МАНСЕРЫ — EDUARDO GALLEGOS MANCERA (род. в 1915 г.) — венесуэльского общественного деятеля и литератора.

АХМАДА НАДИМА КАСМИ (род. в 1916 г.) — автора многих сборников рассказов, повестей и драматических произведений, получивших признание читателей не только в Пакистане, но и в Индии.

УМБЕРТО САБЫ — UMBERTO SABA (1883—1957) — одного из крупнейших итальянских поэтов, автора многочисленных поэтических сборников, объединенных в книгу песен «Il Canzoniere».

ХУЛИИ АГУСТИНЫ ЭСКАЛОНЫ — JULIA AGUSTINA ESCALONA — пятнадцатилетней кубинской поэтессы.

ФРЭНКА МАРШАЛЛА ДЭВИСА — FRANK MARSHALL DAVIS (род. в 1905 г.) — американского поэта-негра. Перу Ф. М. Дэвиса принадлежит несколько книг стихов, которые пронизывает одна волнующая поэта тема — тема борьбы против бесправия негров в Америке.

КАРЛА СЭНДБЕРГА — CARL SANDBURG (род. в 1878 г.) — выдающегося американского поэта и прозаика, собирателя американского фольклора.

ЮЛИАНА ТУВИМА — JULIAN TUWIM (1894—1953) — выдающегося польского поэта, чьи стихи и поэмы неоднократно переводились на языки народов СССР. Соотечественники поэта знакомились со многими произведениями русской и советской поэзии в его переводах.

■

МАРИЯ РУТКЕВИЧ — MARIA RUTKIEWICZ.

Записки польской коммунистки Марии Руткевич, публикуемые в этом номере с небольшими сокращениями, воспроизводят несколько героических страниц из истории борьбы польских коммунистов с фашизмом. «Граница бытия» («Granca istniena») — так называет М. Руткевич, непосредственная участница событий, свои воспоминания, рассказывая о работе в рядах польского Сопротивления в тяжелые годы немецкой оккупации.

Книга вышла в Польше в 1964 году.

■

МАКС ФРИШ — MAX FRISCH (род. в 1911 г.).

Пьеса «Бидерман и поджигатели» («Herr Biedermann und die Brandstifter», 1958), антифашистская по своему духу, впервые на русском языке знакомит советских читателей с творчеством видного швейцарского писателя — романиста и драматурга. Макс Фриш пишет на немецком языке.

Писателя волнует положение интеллигенции в буржуазном мире, социальные и этические проблемы, стоящие перед ней, в том числе проблема ответственности человека перед обществом. Наиболее известны из его произведений пьеса «Китайская стена» («Die chinesische Mauer», 1946), романы «Штиллер» («Stiller», 1954), «Гомо Фабер» («Homo Faber», 1957), пьеса «Андорра» («Andorra», 1961) и др.

■

РОБЕРТ ШЕКЛИ — ROBERT SHECKLEY (род. в 1928 г.).

Опубликованные в этом номере рассказы Роберта Шекли — научно-фантастические по жанру — в большинстве своем проникнуты ненавистью к войне. Мы предпосылаем им короткое введение советских писателей-фантастов А. и Б. Стругацких. Рассказы взяты из разных сборников.

Первый сборник рассказов этого американского писателя, мастера научной фантастики, «Не тронутый рукой человека» («Untouched by Human Hands») вышел в 1954 году и был хорошо принят читателями и критикой, отметившей появление нового оригинального таланта. Затем вышли другие его книги: «Гражданин в космосе» («Citizen in Space», 1955), «Бессмертие с доставкой на дом» («Immortality Delivered», 1958), роман «Путешествие за завтра» («Journey Beyond Tomorrow», 1962).

■

Участники нашей анкеты:

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ — ARNOLD ZWEIG (род. в 1887 г.) — выдающийся немецкий писатель и общественный деятель (ГДР). Многие его романы переведены на русский язык.

МИХАЙЛО ЛАЛИЧ (род. в 1914 г.) — черногорский писатель (Югославия), автор нескольких романов. Роман «Свадьба» переведен на русский язык.

АЛЬВА БЕССИ — ALVAH BESSIE (род. в 1906 г.) — американский писатель и журналист, один из деятелей Голливуда, в свое время брошенный в тюрьму «за неуважение к конгрессу». Его роман «Антиамериканцы» переведен на русский язык.

ИВ ЧАМПИ — YVES CIAMPI (род. в 1921 г.) — французский кинорежиссер, знакомый советскому зрителю по фильму «Кто вы, доктор Зорге?».

ДЖОН ГОВАРД ЛОУСОН — JOHN HOWARD LAWSON (род. в 1895 г.) — американский драматург и искусствовед, автор ряда книг по теории и практике театра и кино, переведенных на русский язык. Его пьесу «Чудеса в гостиной» см. в № 11 нашего журнала за 1962 год.

ЯН МЮРДАЛЬ — JAN MYRDAL (род. в 1927 г.) — шведский писатель, автор многих романов, из которых романы «Возвращение» и «Стокгольмская история» изданы в русском переводе.

НАТАЛИ САРРОТ — NATHALIE SARRAUTE (род. в 1900 г.) — французская писательница, представительница так называемой школы «нового романа».

ЭРИХ ФРОММ — ERICH FROMM (род. в 1900 г.) — американский социолог и психолог, профессор университета в Мехико.

АРМАН ЛАНУ — ARMAND LANOUX (род. в 1913 г.) — французский писатель. Его роман «Майор Ватрен» был напечатан в «Иностранной литературе» №№ 8, 9, 10 за 1957 г.

СТАНИСЛАВ ВЫГОДСКИЙ — STANISŁAW WYGODZKI (род. в 1907 г.) — известный польский писатель, чьи произведения неоднократно переводились на русский язык.

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД — KATHARINE SUSANNAH PRICHARD (род. в 1884 г.) — старейшая австралийская писательница, известная советскому читателю по трилогии «Девяностые годы», «Золотые мили» и «Крылатые семена», изданной в русском переводе.

■

АЛЕКСАНДР КЛЮГЕ — ALEXANDER KLUGE (род. в 1932 г.).

Юрист по образованию, Александр Клюге приобрел известность как режиссер и кинодраматург благодаря своим фильмам «Жестокость из камня» («Brutalität in Stein», 1959), «Любовь» («Amore», 1960) и «Скачки» («Rennen»,1961).

Его первая книга «Биографии» («Lebensläufe», 1962) представляет собой краткое описание девяти вымышленных биографий, изложенных таким образом, что у читателя создается впечатление современности прошлого.

Документальная повесть «Описание одной битвы» («Schlachtbeschreibung»), главы из которой публикуются в этом номере, — второе беллетристическое произведение западногерманского писателя. Книга вышла в ФРГ в 1964 году. Мы предпосылаем ей предисловие К. М. Симонова.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

В № 3 «Иностранной литературы» за 1965 год на стр. 283 в заметке «Это случилось в Виши» было ошибочно указано, что в том же номере публикуется названная пьеса А. Миллера.

Пьеса «Это случилось в Виши» будет напечатана в седьмой книжке журнала за 1965 год.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Оформление художника **В. Ф. Лактионова** Технический редактор **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 09217 Сдано в производство 11/III-65 г. Подписано к печати 29/V-65 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=10 бум. л.; печ. л. 27,4. Зак. 587.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Индекс 70394

Цена 80 коп.